ВАМПИРСКИЕ АРХИВЫ

КНИГА 1. ДЕТИ НОЧИ



СТИВЕН КИНГ, ЭНН РАЙС
ГОВАРД Ф. ЛАВКРАФТ
РОДЖЕР ЖЕЛЯЗНЫ
И ДР.

•

Отто Пенцлер Вампирские архивы: Книга 1. Дети ночи

Посвящается моему другу Харлану Эллисону, чьи целостность и достоинство суть антитезы, исследуемому в этой книге объекту

Ким Ньюман Предисловие

Итак, почему вампиры?

Теоретически истории о вампирах — будь то романы, фильмы, телесериалы, рассказы, оперы, песни или анекдоты — представляют собой разновидность хоррор-культуры. Долгое время вампир был всего лишь одним из ключевых персонажей — или важнейших тем — этой культуры, принадлежащим к пантеону тьмы наряду с оборотнем (чьи метаморфозы затрагивают и его городского родственника доктора Джекила), чудовищем Франкенштейна (с широким кругом сородичей от големов до киборгов), призраком (вкупе с домами, где призраки обитают), мумией, зомби, маньяком-убийцей и некоторыми другими; каждый из них имеет собственные подвиды и является героем персональных антологий — хотя «Большая книга слуг-горбунов», призванная завершить этот ряд, еще ожидает своего появления.

Стивен Кинг сравнивает эти основополагающие фигуры с символами из колоды карт Таро, но существуют и другие метафорические определения. Человеку моего возраста эти персонажи видятся монстрами компании «Аврора» — теми фосфоресцирующими сборными игрушками, которые детвора клеила в шестидесятые и семидесятые годы. Вампиром «Авроры» был, разумеется, Бела Лугоши в роли Дракулы, чей образ студия «Юниверсал пикчерз» фактически сделала своим фирменным знаком. В этом образе соединились эффектный оперный плащ, фрак, медальон, белый галстук — облачение, впоследствии побудившее Джорджа Хэмилтона в «Любви с первого укуса» вопросить: «Ты хотел бы провести пятьсот лет одетым как метрдотель?» Помимо любопытных голосовых модуляций («Я… Драааакулааа») и подведенных глаз, Лугоши привнес в роль гипнотические пассы, о которых Мартин Ландау в «Эде Вуде» говорит: «Чтобы так делать, нужно иметь очень гибкие суставы и родиться венгром».

Для рождения подобного образа вампира потребовались века. Его фольклорные корни глубоки и разнородны — здесь и кровососущие мертвецы, и демоны, и оборотни, присутствующие едва ли не в каждой

культуре. На исходе восемнадцатого столетия вампир шагнул из мира легенд в романтическую литературу, оказав влияние на роковых героев и героинь готической прозы и поэзии. Эти притягательные злодеи зачастую предстают в ситуациях, которые мы сегодня ассоциируем с вампирами (даже в тех случаях, когда их нельзя отнести к числу последних). Они обитают в обветшалых замках, плетут интриги с целью погубить юные невинные души, обладают гипнотической властью над своими жертвами и слугами, предпочитают одежды черного цвета (с редкими вкраплениями белого); они бледны и худощавы, заимствуют элементы внутреннего убранства своих жилищ из склепов и подземелий, пребывают под гнетом семейных проклятий, заключают сделки с дьяволом, сторонятся или богохульствуют при виде религиозной символики, выходят из укрытий главным образом в ночную пору и т. п.

Лорд Рутвен, явленный в «Вампире» Джона Полидори, — типичный готический злодей, который, однако, заслуживает того, чтобы его помнили как первого вампира. Я повторю сказанное, сделав акцент на этих словах: лорд Рутвен — первый вампир. Можете выбросить за ненадобностью всю фольклорную традицию, женщин-змей, пьющих кровь, Петра Благоевича, Влада Колосажателя и пресловутых южноамериканских летучих мышей. Они, возможно, по-своему значительны и интересны, но они не являются вампирами в том смысле, который я имею в виду. А лорд Рутвен таковым является. От него ведут свое происхождение несметные толпы вампиров в последующей беллетристике — исключая разве что кровососущие растения, которые изображены в «Цветении странной орхидеи» Герберта Джорджа Уэллса или «Маленьком магазинчике ужасов», да работающий на крови автомобиль в «Корпорации Вампир» Йозефа Несвадбы. До Рутвена вампиризм был чем-то, что дурной человек или монстр совершал либо намеревался совершить («а сейчас я выпью горячей крови»); после повести Полидори, опубликованной в 1819 году, вампир стал особым существом, специфической разновидностью готического злодея. Это не грязный омерзительный восточноевропейский крестьянин-зомби, описанный в трактате дома [1] Огюстена Кальме, а жестокий, утонченный, аристократичный светский щеголь, который удовлетворяет свои желания в манере мелодраматического злодейства, анахроничной даже для девятнадцатого века.

Стоит напомнить, что замысел Полидори содержал в себе значительный элемент шутки. Сочиненная им повесть — это злая сатира на его друга-нанимателя лорда Байрона, подразумевающая, что привычки и нравственные принципы поэта выдают в нем вампира; в подобной манере

позднейшие карикатуристы будут рисовать, например, Маргарет Тэтчер со змеиными клыками. Большинство читателей не уловили иронии, но восприняли образ — во всяком случае, «уличение» Байрона в том, что он пьет кровь знатных дам (которых затем оставляет так быстро, как только позволяет его увечная нога), лишь способствовало росту его славы. За восемьдесят лет до появления «Дракулы» Брэма Стокера Рутвен стал персонажем-брендом — он перекочевал в продолжения, написанные другими авторами, и многочисленные театральные постановки (музыкальные и драматические), а также инспирировал низкопробные подражания вроде бульварного сериала «Вампир Варни». У Рутвена варварские иностранные манеры (как и Байрон, вампиры связаны с Грецией), однако он англичанин (а в некоторых пьесах — шотландец в клетчатом килте); вот почему воплощенный британец Кристофер Ли, чей Дракула многим обязан Рутвену, так же убедителен в роли вампира, как и венгр Лугоши. Стокеровский вампир безвкусно одевается (его видят «в соломенной шляпе, которая ему не идет»), меж тем образ Дракулы, созданный Лугоши на сцене и на киноэкране, наделен шиком, заимствованным через Рутвена у Байрона. Более того, сама ситуация проникновения вампира в светское общество (у Стокера Дракула проникает через окно, тогда как Дракула Лугоши, предъявив визитную карточку, шествует в гостиную) также восходит к Полидори — хотя сатирический подтекст «Вампира» заключается в том, что хищное кровопитие не противоречит, а, наоборот, вполне соответствует принятым в свете правилам «хорошего тона».

Разумеется, картина была бы неполной без женской вариации вампирского образа, и та наконец появилась в «Кармилле» (1871) Шеридана Ле Фаню, где вампир — мнимо бесхитростная непрошеная гостья, заманивающая свои жертвы в сети обольщения. Вообще говоря, Ле Фаню — писатель получше многих — создает характер более сложный, чем доминантная belle dame sans merci, [2] которыми вампирши обычно предстают на экране: Кармилла — это пассивно-агрессивный монстр, неотвязчивый и безрассудный, болезненно-беспомощный и при этом отнимающий жизнь у тех, кто опрометчиво проявляет к нему участие (тогда как миссис Эмворт в одноименном рассказе Эдварда Фредерика Бенсона, напротив, сама ухаживает за пациентами, отчего они чахнут день ото дня). Ле Фаню первым всерьез задумался над вопросом, который позднее станет ключевым для повествований о вампирах, а именно: как разделаться с этими существами. Предложенный им рецепт (кол в сердце), взятый из санкционированной Кальме европейской фольклорной традиции,

со временем сделался куда более распространенным, чем, например, тот выход, который нашел для себя Варни (самоубийственный прыжок в жерло вулкана). Стокер в «Дракуле» (1897) выводит различные вампирские образы, восходящие к Полидори и Ле Фаню и предваряющие появление его собственного злодея. Граф Дракула, монстр мужского пола, окружен сонмом невест и слуг.

Вероятно, не будь книги Стокера, вампиры никогда не добились бы лидерства на той территории, где они ныне правят. В этом случае горгоны, вурдалаки или химеры, возможно, выделились бы из общего круга монстров, размножились и заняли пустующую нишу. «Дракула» не произвел мгновенной сенсации: его первые продажи не идут ни в какое сравнение с продажами «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Луиса Стивенсона или романа Генри Райдера Хаггарда «Она», и сам Стокер не снискал ни той литературной репутации, которую создал Оскару Уайльду «Портрет Дориана Грея», ни того невероятно широкого читательского отклика, который вызвали рассказы Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. В 1898 году сверхуспешным романом о вампирах стала «Война миров» Уэллса, где, напомню, прибывшие на Землю марсиане выкачивают из людей кровь. Постепенно благодаря театральным, а затем киноадаптациям «Дракула» стал общепризнанным, затем классическим, а затем всепроникающим культурным феноменом. Сегодняшний Дракула — это, строго говоря, не Дракула Стокера, а смесь лорда Рутвена, Варни, стокеровского героя, Носферату в исполнении Макса Шрека, Лугоши, Кристофера Ли, Гэри Олдмана, Джека Пэланса, Фрэнка Ланджеллы, графа Шокулы, Джейми Гиллиса в «Дракула сосет», Дракулы Фреда Саберхагена, серии комиксов Джина Колана «Могила Дракулы», Лестата Энн Райс, Влада Колосажателя из книги Флореску и Макнелли, Барлоу Стивена Кинга, Хитклифа, Байрона собственной персоной, Генри Ирвинга, Джека Потрошителя, вышеупомянутых игрушек компании «Аврора» (наряду с прочими сувенирами от «Юниверсал пикчерз») и множества других луковичных слоев.

Когда я сам как писатель обратился к этой теме (в книге «Anno Dracula» и связанных с нею романах и рассказах), я был вынужден заключить, что Дракула не является единым, цельным и неизменным существом, а представляет собой конгломерат всех вышеперечисленных созданий, людей и образов. По Стокеру, Дракула может обращаться в волка, летучую мышь или туман — его продолжатели доказали, что Дракула способен быть одновременно старым весельчаком дедушкой Мюнстером, болезненным романтическим субъектом в исполнении Клауса Кински и

воплощением абсолютного зла. Последнее на момент написания этого предисловия серьезное приращение образа связано с нефтедобытчиком Дэниелом Плейнвью, которого сыграл Дэниел Дэй-Льюис в фильме Пола Томаса Андерсона «И будет кровь» [3] по роману Эптона Синклера; в трактовке Дэй-Льюиса и Андерсона Плейнвью, спящий, точно мертвец, на дощатом полу и возглашающий: «Я пью твой молочный коктейль!» со смаком, достойным Лугоши, — это сочетание Джона Хьюстона и графа Дракулы (хотя я отчетливо различаю в уговаривающе-угрожающем шепоте Дэй-Льюиса, замышляющего высосать жизненные соки из пересохшей земли, скрипучий голос графа в исполнении Джека Пэланса).

«Носферату» (1922) Фридриха Вильгельма Мурнау был маргинальным в коммерческом отношении проектом (даже на фоне немецкой киноиндустрии того времени) — и снискал печальную известность, в частности, благодаря настойчивым попыткам вдовы Брэма Стокера запретить постановку фильма или заработать на ней. «Вампир» (1932) Карла Теодора Дрейера, формально являющийся киноадаптацией «Кармиллы», оказался еще дальше от мейнстрима. «Дракула» (1931) Тода Браунинга, величайшее достижение в вампирском кино первой половины столетия, не произвел столь сильного эффекта, как вышедший в конце того же года «Франкенштейн» Джеймса Уэйла. В последующих фильмах этого жанра «Юниверсал» недвусмысленно преподносила чудовище Франкенштейна как своего главного монстра, Дракула же занимал подчиненное положение (как, например, в двух кинолентах сороковых годов с участием разных монстров, где Джона Кэррадайна в роли графа затмевают пресловутое чудовище, человек-волк, безумный ученый и даже слуги-горбуны); это отразилось и на отношениях студийных звезд хоррора — Борису Карлоффу, выступавшему под маской чудовища, всегда доставались сливки, которых не удавалось снять Лугоши. Лишь на самом последнем этапе, с возвращением Лугоши в строй в фильме «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» (1948), графу представилась возможность занять первое место, хотя, заметим, и в этом случае его имя отсутствует в названии картины.

Когда студия «Хаммер филмз» взялась за возрождение жанра фильмов о монстрах, она изменила очередность, заданную «Юниверсал», и начала с «Проклятия Франкенштейна» (1957), за которым годом позже последовал «Дракула». Но ко времени создания Фрэнсисом Фордом Копполой «Дракулы Брэма Стокера» (1992), каковой неизбежно привел к появлению «Франкенштейна Мэри Шелли» (1994) Кеннета Браны, негласная иерархия поменялась вновь. В период между пятидесятыми и девяностыми фильмы

о вампирах превзошли киновариации на тему Франкенштейна по количеству и кассовым сборам приблизительно в десять раз. Сезон засухи, которая наступила на территории вампирских романов после выхода «Дракулы» и которая лишь изредка уменьшалась с появлением таких заметных произведений, как «Я — легенда» (1954) Ричарда Матесона, «Доктора носят алое» (1960) Саймона Рэйвена и «Немного твоей крови» (1961) Теодора Старджона, в конце концов сменился настоящим половодьем, начавшимся в середине семидесятых годов, когда были опубликованы три важнейшие книги, возродившие этот жанр к жизни. Это «Салимов удел» (1975) Стивена Кинга, сочетающий сюжетную схему «Дракулы» с антуражем «Пейтон-плейс» Грэйс Металиус; «Запись Дракулы» (1975) Фреда Саберхагена — роман, пересказывающий события книги Стокера с точки зрения графа (и остающийся лучшим среди многочисленных произведений, которые выявляют в стокеровской истории новые смыслы); и, наконец, «Интервью с вампиром» (1976) Энн Райс, действие которого едва ли не целиком разворачивается среди вампиров (одной из новаций автора является мысль о том, что вампирам присущи родственные чувства, плюрализм мнений и разнообразие характеров).

Все эти значительные книги представляют собой реинкарнации «Дракулы», но разворачивают тему в неожиданных направлениях, открывая путь вампирским мелодрамам и романтическим комедиям, вампирской альтернативной истории, вампирским детективам, «миксам» с другими известными сюжетами (Саберхагену принадлежит также «Дело Холмса/Дракулы», 1978), домашним питомцам-вампирам, вампиризму как метафоре наркозависимости, сексуальной свободы или венерической болезни (Стокер мимоходом затронул все эти темы), вампирскому юмору, вампирскому кунг-фу, вампирской постапокалиптической научной фантастике, вампирской эротике (и, чего греха таить, вампирскому порно), вампирам-панкам, вампирам-готам (что напрашивается само собой), вампиршам-лесбиянкам, ироничным постмодернистским вампирам, вампирам-бездельникам, вампирам-республиканцам, вампирским ролевым играм, вампирской моде и даже нескольким традиционным вампирам, отставшим от этой пестрой толпы. Не исключено, что вампирские повествования занимают сегодня больший сегмент рынка, чем весь остальной хоррор; и, по правде говоря, многие современные романы, комиксы и фильмы о вампирах отнюдь не преследуют первичную для этого жанра цель напутать аудиторию и скорее вызваны к жизни потребностью в сублимации, различные виды которой удовлетворяют отделы мелодрам, боевиков и комиксов о супергероях в книжных магазинах и пунктах

видеопроката.

Вампиры пребывают в добром здравии (хотя мало кто из них признается в этом) — наперекор приливам и отливам моды на других монстров (сейчас в фаворитах зомби, тогда как серийные убийцы остались не у дел) они всегда с нами, вечно юные, как Лестат и Кармилла, или вечно дряхлые, как Носферату. Это впечатляющее собрание вампирских историй подробно объясняет почему.

Нил Гейман Предисловие

Так или иначе, мы получаем тех вампиров, которых заслуживаем.

Еще ребенком и, позднее, подростком я страстно увлекался вампирами. Первым произведением на эту тему, которое мне довелось прочитать, стал «Дракула» (обнаруженный в доме Кристофера Харриса среди книг его отца), и он дался мне с трудом, несмотря на то что я был смышленым восьмилетним ребенком. Я захотел большего. Я жаждал вампиров, подобных тем, что появляются во вступительных главах книги, а не скучных охотников за вампирами, пишущих друг другу бесконечные письма. Я жаждал увидеть, как выдвигаются клыки. Я жаждал действия.

Первым фильмом ужасов, который я увидел, был «Сын Дракулы» с Лоном Чейни-младшим в роли графа, строящего злодейские козни в пещере у болотистой заводи. Я наблюдал за тем, как он превращается в летучую мышь и спит в гробу, и был очарован им, несмотря на страх, который он мне внушал. Прежде я думал, что запертая дверь — надежная защита от чудовищ, но Дракула проникал сквозь дверную щель в виде дыма, и это напугало меня. Оказалось, что двери не спасают, даже когда они заперты.

Семь лет спустя я купил на станции Ист-Кройдон экземпляр романа Стивена Кинга «Салимов удел»; на обложке черным цветом было вытиснено детское лицо с красной каплей в уголке рта. Помню то волнение, с которым я читал эту книгу, сразу заподозрив в ней вампирскую историю, — равно как и тот восторг, что я испытал, когда мои подозрения подтвердились. Оказалось, что это и вправду вампирская история, одна из величайших вампирских историй, такая, какую я с детства мечтал прочитать. Теперь же, оглядываясь на то время, я задаюсь вопросом, насколько мое тогдашнее волнение объяснялось тем, что в 1975 году не было романов о вампирах (или они мне просто не попадались, когда я был подростком?). Рассказы, которые периодически появлялись в «Панораме ужасов» [4] и других подобных изданиях, только разжигали мой аппетит; будучи слишком мал, чтобы смотреть по вечерам «хаммеровские» фильмы, где вампиры кусают грудастых блондинок, я восполнял этот пробел фантазиями и позднее испытал разочарование оттого, насколько они были

бедны в сравнении с реальностью.

Я нуждался в вампирах. У меня их не было. Несколькими годами позже, уже пробуя себя в качестве писателя, я стал сочинять вампирские рассказы, потому что мне хотелось прочесть их, а также потому, что никто не писал о вампирах того, что мне хотелось прочесть. (Это, кстати, очень хороший стимул для всякого литературного творчества.) Я писал восторженные рецензии на дрянные фильмы, если в них присутствовали вампиры. В середине девяностых я продал сценарий вампирского телесериала, а затем, когда мне сказали, что я не смогу контролировать конечный продукт, не дали никаких гарантий того, что проект рассчитан на серьезное восприятие, а напротив, намекнули на то, что все делается для гоготания или для стёба, я забрал своих вампиров и ушел домой. Потому что я не хотел ронять их престиж. Потому что я берег их.

А потом, в один прекрасный день, вампиры оказались повсюду. Шагу не ступить, не наткнувшись на них. Появились паранормальные вампирские мелодрамы первого класса и паранормальные вампирские мелодрамы второго класса. Вампиры проникли на телевидение и в кино, в спальни и на форумы оппозиции (где попадаются странные печальные одинокие люди с зубами, сделанными по специальному заказу). Повсюду вампиры, разоблаченные как очевидная метафора безгенитального секса — или, как выразился Стивен Кинг, воспользовавшись фразой Эрики Йонг, «секса без расстегивания ширинки».

И в нежити есть жизнь. Как ни крути, вампира невозможно убить ни одним из тех стильных, мнимостаринных викторианских приспособлений, что продаются на eBay и включают кол, свежий чеснок и серебряные пули на случай возможной встречи с оборотнем. Своей популярностью они обязаны превосходной литературе о вампирах, формировавшейся более ста лет. В качестве метафоры или чего-то другого — чего-то, что волнует кровь, заставляет вас грезить о бессмертии и мраке, беспокойно мять одеяло или, по крайней мере, с тревогой глядеть на запертую дверь, через которую они как-никак могут проникнуть в виде тумана, — вампиры всегда будут с нами.

Так что дождитесь темноты — и начинайте читать…

Отто Пенцлер Введение Да будет кровь!

Почти все, что вы, как вам кажется, знаете о вампирах, правда. Или нет. Попытки осмыслить вампирский миф напоминают попытки понять идею Бога. Все зависит от типа культуры, эпохи и даже от воображения и легковерия — или веры — отдельного человека.

То представление о вампирах, которое является общепринятым в

современном западном мире, сложилось благодаря каноническому викторианскому роману Брэма Стокера «Дракула». Для большинства читателей и кинозрителей вампир — это бессмертное кровососущее создание, наделенное сверхъестественными возможностями и способное превращаться в тех или иных животных, например в летучую мышь или волка. В дневные часы он спит, как правило, в гробу либо могиле, а с наступлением темноты или с восходом луны выходит на охоту, обычно кусая своих жертв в шею и выпивая их кровь. В часы бодрствования ему нельзя причинить вреда, но можно отогнать его с помощью распятия, святой воды или чеснока. Спящего же вампира можно убить, пронзив его сердце деревянным или серебряным колом или отрубив ему голову.

Миф о вампирах берет начало в глубокой древности как восточной, так и западной культуры. Согласно древнееврейскому преданию, Лилит, первая жена Адама, пила кровь мужчин и нападала на младенцев, превращая их в лилим, или детей Лилит, которые затем также начинали предаваться кровавым пиршествам. Этот миф от древности унаследовало Средневековье.

В Древней Греции вампиры были детьми Гекаты, прекрасными женщинами, которые соблазняли невинных и высасывали у них кровь. Как и их родственники в других культурах, эти создания умели принимать облик различных животных. Их нападению человек мог подвергнуться как днем, так и ночью. Другим кошмаром древнегреческой мифологии была ламия, коварное чудовище с лицом горгоны, клыками и змеиным языком, убивавшее детей, чтобы пить их кровь.

Среди иных вариаций мифа, относящихся к последним двум тысячелетиям, — вампироподобное существо, которое наводило ужас на племена американских индейцев, с воронкообразным ртом, позволявшим высасывать у спящего человека мозг через ушную раковину; китайский монстр чиан-ши с горящими зелеными глазами и неимоверно длинными, вызывавшими сильную боль при ходьбе когтями, который обычно передвигался прыжками, нападая на свои жертвы и отрывая им головы; охотившиеся на нетрезвых или душевнобольных женщин индийские вампиры, которых, впрочем, затмевает Кали, терзаемая такой нестерпимой жаждой, что, не найдя жертвы, разрывает себе горло, дабы напиться собственной крови; шотландская глейстиг, которая принимает облик прекрасной юной девы и посредством танцев доводит мужчину до изнеможения, после чего обескровливает его; и, наконец, бразильская жарарака, заползающая в ночной темноте в дома и пьющая как молоко, так и кровь спящих женщин. Можно с уверенностью сказать, что нет ни одной

культуры, в которой не существовало бы мифа о кровососущих существах, наделенных сверхъестественными способностями.

Естественно (или, вернее будет сказать, противоестественно), что в подобных обстоятельствах, при таком распространении веры в тот или иной вариант вампирского мифа, находится множество реальных людей, у которых обнаруживаются классические симптомы вампиризма, укрепляющие эту веру в массовом сознании.

В числе наиболее жутких из реально существовавших вампиров следует назвать графиню Элизабет Батори (1560–1614); ее фамильный замок, в котором она прожила большую часть жизни, находился на границе Венгрии, Австрии и современной Словакии. Начало разыгравшемуся там кошмару положили пытки слуг — за любой мелкий проступок Батори наказывала их с поистине извращенной жестокостью, зашивая рты девушкам, посмевшим заговорить во время работы, втыкая им булавки под ногти и в другие части тела, погружая их посреди зимы в студеную реку или бросая в снег и поливая ледяной водой, пока жертвы не умирали от обморожения.

Однажды горничная, причесывая ее, нечаянно выдернула волос, и графиня ударила девушку так сильно, что у той на лице выступила кровь, капли которой упали на руку Батори. Когда она вытерла их, то заметила, что ее увядшая кожа в этом месте стала такой же молодой, как и у горничной. Графиня тотчас приказала слугам привести к ней наиболее красивых юных девственниц и перерезать им горло, а кровь слить в ее огромную ванну. Убедив себя в том, что кровавое омовение возвращает ей былую красоту, она вскоре ощутила потребность в новых жертвах и послала в близлежащую деревню своих людей, которые предлагали невинным юным красавицам места горничных и служанок. Когда в окрестностях замка стали находить обескровленные тела, жители деревни сразу заподозрили, что он является гнездом вампира. Графине, в свою очередь, вскоре стало ясно, что кровавые ванны не приносят желаемого эффекта, и наперсница-ведьма убедила ее в том, что необходима более доброкачественная кровь — кровь тех, кто принадлежит к благородному сословию. Щедрыми посулами Батори удалось завлечь в замок двадцать пять обедневших девушек знатного происхождения, и в последующие две недели двадцать три из них были умерщвлены. Их исчезновение усилило общую уверенность в том, что они стали жертвами вампиров, и побудило жителей деревни и местного священника обратиться за помощью к парламенту. Премьер-министр Венгрии граф Турзо, двоюродный брат графини, вторгся в ее замок и обнаружил помещение с изуродованными

телами жертв и нескольких девушек, которые томились взаперти в ожидании смерти. Он приказал изолировать графиню в одной из комнат замка, заложив кирпичами двери и окна и оставив лишь маленькое отверстие, через которое можно было подавать еду. Обвиненная в убийстве не менее 650 молодых женщин и девушек, но не признавшая своей вины и не раскаявшаяся в содеянном, Элизабет Батори провела в этом заточении последние три года своей жизни.

Если вообще возможно всерьез говорить о существовании человека, наделенного бессмертием вампира, то, несомненно, в связи с Распутиным, который, как известно, был жестоко избит, подвергся отравлению, способному убить десяток обычных людей, получил множественные пулевые ранения в грудь — и, несмотря на все это, остался жив. Лишь после того как его, завернутого в оконную штору, сбросили в замерзшую реку, он наконец испустил дух. Когда труп Распутина выловили из воды, его окоченевшие руки были вытянуты вперед, как будто он пытался процарапать лед, не позволявший ему всплыть на поверхность. Причиной смерти стало утопление, хотя вскрытие выявило наличие в теле яда и пуль, которые должны были сделать свое дело. Легенды гласят, что вампиры сторонятся проточной воды, и это заставляет видеть в обстоятельствах гибели Распутина один из эффективных способов истребления нечисти.

Самой известной личностью, ассоциирующейся с мифом о вампирах, является Влад III, прозванный Колосажателем, средневековый правитель соседней с Трансильванией области Валахия на территории современной Румынии. Вовлеченный в Крестовые походы, призванные пресечь экспансионизм Оттоманской империи, он повел свое войско на турок, стремясь выбить их с берегов Дуная. Жестокий и опытный воитель, Дракула добился в этой борьбе определенных успехов, однако значительное численное превосходство мусульманской армии вынудило его отступить; возвращаясь в свой замок, он отравил все встретившиеся на пути колодцы и сжег собственные деревни, чтобы лишить преследовавших его турок пищи и воды. Достигнув окрестностей замка, воины султана увидели выставленные по обеим сторонам дороги колья с насаженными на них головами двадцати тысяч турецких пленников, и зрелище это было столь устрашающим, что турки отказались от дальнейшего преследования и повернули назад.

Нет никаких свидетельств того, что Влад Колосажатель был вампиром, однако очевидная жестокость и неуемная кровожадность валашского правителя (общее число его жертв, среди которых не только турецкие солдаты, но и женщины, дети и даже животные, колеблется от тридцати до

сорока тысяч) сделали его идеальной ролевой моделью для позднейшего образа Дракулы. Сознавая это, Стокер закрепил ассоциацию своего героя с исторической личностью, поселив графа Дракулу в замке, который разительно напоминает неприступную горную цитадель Влада, возведенную трудами сотен строителей, скончавшихся в процессе ее сооружения.

«Дракула», несомненно, является наиболее известным, но далеко не первым произведением на вампирскую тему — ему предшествует «Вампир» (1819) Джона Полидори. Ситуация, в которой родился замысел этой повести, стала одним из самых примечательных моментов истории литературы о сверхъестественном. Читая «Кристабель», вампирскую поэму Сэмюеля Тэйлора Кольриджа, своему другу Перси Биши Шелли, его жене Мэри Уолстонкрафт Шелли и своему врачу доктору Полидори, лорд Байрон предложил каждому из них сочинить столь же пугающую историю. В тот вечер был задуман и начат «Франкенштейн» Мэри Шелли, а второразрядный беллетрист Полидори, вдохновившись байроновской идеей, сочинил первую в английской литературе повесть о вампире, которая, увы, слишком скучна, чтобы включать ее в настоящее собрание.

Ни одно из этих произведений не оказало сколь-либо серьезного влияния на замысел «Дракулы» Стокера; данная честь выпала выдающемуся творцу мрачной литературы Шеридану Ле Фаню и его повести «Кармилла» (1871), главная героиня которой — вампирша с лесбийскими наклонностями, способная превращаться в огромную кошку, — шокировала викторианскую читающую публику.

В этом томе широко представлен величественный готический мир разрушенных замков и аббатств, покои и склепы которых служат убежищами вампиров. Здесь есть многочисленные церковные шпили, облака, плывущие на фоне полной луны, статные мужчины во фраках, норовящие ночной порой вонзить зубы в шею какой-нибудь прекрасной и невинной молодой женщины, и гробы со снятыми крышками, являющие миру своих ужасных обитателей.

Впрочем, вампиры, как показано в этой книге, могут иметь очень разный облик: некоторые из них внешне напоминают обычных людей, некоторые сталкиваются с обескураживающими, подчас даже анекдотическими проблемами, а некоторые, коих вовсе не томит жажда крови, стремятся высосать из своих жертв жизнь тем или иным метафорическим способом. Здесь собраны истории, написанные как мужской, так и женской рукой, истории из каждой литературной эпохи последних полутора веков вплоть до произведений наиболее талантливых

авторов нашего времени. Здесь есть хорошо известные классические рассказы и некоторое количество тех, что вам едва ли доводилось читать прежде.

Независимо от того, будете вы поглощать этот том мелкими порциями или предадитесь продолжительному пиршеству, вас, смею надеяться, ждет чертовски зубастое чтение.

Предшественники Дракулы

М. Э. Брэддон

Мэри Элизабет Брэддон (1835–1915) родилась в лондонском районе Сохо; в семнадцатилетнем возрасте она предприняла попытку сделать сценическую карьеру под псевдонимом Мэри Сейтон, однако оставила это поприще после того, как написала свой первый роман «Окторун, или Луизианская лилия» (1859, опубл. 1861–1862). В 1860 году ее пьеса «Любовные истории Аркадии» была поставлена на сцене театра «Стрэнд». Вскоре после выхода в свет ее второго романа, «Трижды мертвый, или Тайна вересковой пустоши» (1860), Брэддон познакомилась с издателем Джоном Максвеллом, за которого позднее вышла замуж.

Одна из наиболее плодовитых писательниц своего времени, перу которой принадлежит свыше восьмидесяти романов, необычайно популярных у читателей тогдашних публичных библиотек, Брэддон при жизни снискала славу «королевы сенсационной прозы». Самый знаменитый ее роман, «Тайна леди Одли» (1862), переиздавался бессчетное количество раз и стал «гвоздем» не одного театрального сезона. В 1860-е годы, на пике своей творческой активности, Брэддон ежегодно писала по три объемистых романа, как правило, публиковавшихся тремя отдельными томами каждый. В ее прозе современники ценили главным образом мастерство сюжетосложения — Уильям Мейкпис Теккерей с восхищением говорил, что если бы он умел сочинять такие сюжеты, как у мисс Брэддон, то был бы величайшим из авторов, пишущих на английском языке.

Большинство ее книг представляют собой детективные, сенсационные и приключенческие повествования, однако время от времени она также писала романы и рассказы о сверхъестественном.

Рассказ «Добрая леди Дакейн» был впервые опубликован в «Стрэнд мэгэзин» в феврале 1896 года; впоследствии многократно включался в различные антологии готической прозы.

Добрая леди Дакейн

I

Белла Роллстон пришла к выводу, что единственный способ, которым она может заработать себе на хлеб и время от времени отщипывать корочку

для матери, — это выйти в огромный неведомый мир и стать компаньонкой какой-нибудь леди. Белле сгодилась бы любая леди — лишь бы у той достало денег, чтобы платить ей жалованье, и чудаковатости, чтобы обречь себя на общество наемной компаньонки. Пять шиллингов, неохотно отсчитанных от тех соверенов, которые попадали в распоряжение матери и дочери так редко и таяли так быстро, пять полновесных шиллингов перекочевали к шикарно одетой даме в конторе на Харбек-стрит, Уэст-Энд, Лондон, в надежде, что именно эта Высокопоставленная Особа подыщет мисс Роллстон подходящее место и подходящее жалованье. Высокопоставленная Особа придирчиво оглядела две полукроны, которые Белла положила на стол, проверяя, нет ли среди них флоринов, а затем занесла описание Беллиных умений и требований в грозного вида гроссбух.

— Возраст? — лаконично осведомилась она.

— В июле исполнилось восемнадцать.

— Образование?

— В общем-то, никакого. Если бы меня чему-нибудь обучили, я стала бы гувернанткой: мне кажется, компаньонка — это на ступень ниже.

— В наших книгах содержатся сведения об очень образованных дамах, которые стали компаньонками или наставницами молодых девушек.

— Да-да я знаю! — пролепетала Белла с искренностью словоохотливой юности. — Но это совсем другое дело. Маме пришлось продать пианино, когда мне было двенадцать, так что я, к сожалению, совсем разучилась играть. И мне надо было помогать маме с шитьем, поэтому на учебу времени не оставалось.

— Прошу вас, не тратьте времени на рассказ о том, чего вы не умеете, и будьте любезны сообщить, что вы умеете, — оборвала ее Высокопоставленная Особа, зажав в изящных пальцах перо и изготовясь писать. — Можете ли вы читать вслух по два-три часа кряду? Вы деятельны и покладисты, рано встаете, любите пешие прогулки, предупредительны, обладаете приятным характером?

— Я могу подтвердить, что все это так, кроме разве что приятного характера. Правда, мне кажется, нрав у меня довольно добрый, и я очень постараюсь быть полезной тем, кто заплатит за мои услуги. Я же хочу, чтобы они видели — я достойна своего жалованья.

— Тем дамам, которые ко мне обращаются, не нужны слишком разговорчивые компаньонки, — сурово произнесла Особа и захлопнула гроссбух. — Мои клиентки в основном принадлежат к аристократии, а в этих кругах принята определенная сдержанность.

— Да-да, конечно, — сказала Белла, — но ведь я сейчас разговариваю с вами, а это другое дело. Я хочу рассказать вам о себе все-все, раз и навсегда.

— Хорошо, что только раз! — заметила Особа и поджала губы.

Особа была неопределенного возраста и туго затянута в черное шелковое нарядное платье. Цветом лица она была обязана пудре, а с ее макушки красиво ниспадали чужие волосы. Возможно, девическая свежесть и живость Беллы раздражающе подействовали на нервы, расшатанные восьмичасовым рабочим днем в жаркой комнате на третьем этаже дома на Харбек-стрит. Самой же Белле обстановка этого официального учреждения — брюссельский ковер, бархатные занавески и кресла, французские часы, громко тикавшие на мраморной каминной полке, — показалась царской роскошью по сравнению с третьим этажом в Уолворте, где миссис Роллстон с дочерью кое-как просуществовали последние шесть лет.

— Как вы думаете, в ваших книгах есть что-нибудь, что мне подойдет? — проговорила, запинаясь, Белла после паузы.

— Ах, определенно нет, в настоящее время я ничего не вижу, — ответила Особа, кончиками пальцев рассеянно сметая Беллины полукроны в ящик стола. — Видите ли, вы еще так неопытны, так молоды для того, чтобы стать компаньонкой леди с положением в обществе. Жаль, что у вас недостает образования для гувернантки при маленьком ребенке — вам это подошло бы больше.

— А как вы думаете, поиски места для меня займут много времени? — с сомнением спросила Белла.

— Право, не могу сказать. А что, у вас есть какие-то особые причины для подобного нетерпения? Надеюсь, не любовная связь?

— Любовная связь! — воскликнула Белла, вспыхнув. — Какие глупости! Мне нужно место, потому что мама бедна, а я не желаю быть для нее обузой. Я хочу получать жалованье, которое смогу разделить с нею.

— Едва ли у вас будут оставаться лишние деньги от того жалованья, которое вы можете получить в вашем возрасте и с вашими манерами, выдающими крайнюю, крайнюю неискушенность! — заявила Особа, которую все сильнее раздражали Беллины ясные глаза, розовые щечки и неукротимая живость.

— Если бы вы были так добры и вернули бы мне деньги, я, возможно, смогла бы обратиться в другое агентство, с менее аристократичными клиентами, — сказала Белла, которая, как она заявила матери, когда они репетировали это собеседование, твердо решила не допускать, чтобы о нее

вытирали ноги.

— Ни в каком другом агентстве ради вас не станут так стараться, как здесь, — отвечала Особа, чьи хищные пальцы никогда не выпускали ни монетки. — Вам придется подождать, когда представится вакансия. Ваш случай исключительный, но я о вас не забуду и, если появится что-нибудь подходящее, напишу вам. Большего я обещать не могу.

Полупрезрительный наклон вельможной головы, обремененной чужими волосами, дал понять, что собеседование окончено. Бодрым шагом преодолев дорогу до Уолворта, Белла в разгар сентябрьского дня вернулась домой и как наяву изобразила Высокопоставленную Особу — к большому удовольствию матери и хозяйки квартиры, которая, внеся в маленькую обшарпанную гостиную поднос с чаем, немного задержалась, чтобы поаплодировать представлению мисс Роллстон.

— Ну и обезьянка! — сказала хозяйка. — Вы бы, мэм, лучше на сцену ее пристроили. Была бы она актрисой — сразу бы разбогатела!

II

Белла ждала и надеялась, прислушивалась к стуку почтальона, который приносил огромную груду писем в роскошные гостиные второго этажа и лишь жалкую горстку на нищий третий, где мать с дочерью большую часть дня сидели, занимаясь шитьем — вручную и на швейной машинке. Миссис Роллстон была леди по рождению и образованию, но ей случилось выйти замуж за негодяя, и последние полдюжины лет она была худшей из вдов — женой, которую бросил муж. К счастью, она была отважна, предприимчива, хорошо умела шить и смогла зарабатывать на жизнь для себя и своей единственной дочери, делая плащи и накидки для одного модного дома в Уэст-Энде. Жизнь у них была небогатая. Дешевая квартирка на грязной улице, пересекающей Уолворт-роуд, скудные обеды, непритязательная пища, поношенная одежда — таков был удел матери и дочери; но они любили друг друга так нежно и настолько легко воспринимали жизненные невзгоды, что им как-то удавалось быть счастливыми.

Однако сейчас мысль о том, чтобы выйти в мир и стать компаньонкой какой-нибудь славной дамы, глубоко засела у Беллы в голове, и хотя она боготворила мать и разлука их разбила бы оба любящих сердца, девушка жаждала самостоятельности и волнующих перемен, подобно тому как в былые времена пажи стремились стать рыцарями и отправиться в Святую землю, дабы преломить копья с неверными.

Белле уже надоело бегать вниз всякий раз, когда в дверь стучал почтальон, и слышать от чумазого слуги, который забирал письма с пола

вестибюля, неизменное: «Для вас ничего нет, мисс». «Для вас ничего нет, мисс», — в очередной раз усмехнулся слуга доходного дома, и тогда Белла наконец взяла себя в руки, отправилась на Харбек-стрит и спросила Высокопоставленную Особу, как так получилось, что для нее до сих пор не сыскалось место.

— Вы слишком молоды, — сказала Особа, — и вы требуете жалованья.

— Конечно, — ответила Белла. — А что, разве другие не требуют?

— Юные леди ваших лет обычно ищут приличный дом.

— Мне это не важно, — отрезала Белла. — Я хочу помогать маме.

— Зайдите через неделю, — сказала Особа. — А если я услышу о чем-нибудь раньше этого срока, я вам напишу.

Письма от Особы не пришло, и ровно через неделю Белла надела самую красивую шляпку, которая реже других попадала под дождь, и зашагала на Харбек-стрит.

Был унылый октябрьский день, в воздухе висела серая мгла, которая к ночи обещала обратиться в туман. Сквозь нее ярко сверкали витрины расположенных вдоль Уолворт-роуд магазинов, которые девушка, выросшая в Бельгравии или на Мэйфер, не удостоила бы и взглядом, однако Беллу они притягивали и искушали. Там было столько вещей, которые ей так хотелось иметь и которые она никогда не сможет купить.

В это мертвое время года Харбек-стрит часто бывает совсем пустой — длинная-длинная улица, бесконечная череда уходящих вдаль в высшей степени респектабельных домов. Контора Особы находилась в дальнем конце, и Белла поглядела вдоль длинной серой улицы едва ли не с отчаянием — пеший путь из Уолворта утомил ее больше обычного. В эту минуту мимо проехал экипаж — старомодная желтая коляска на удобных рессорах, запряженная парой крупных серых лошадей, с величественнейшим кучером и сидевшим рядом с ним рослым лакеем.

«Прямо карета феи-крестной, — подумалось Белле. — Не удивлюсь, если она когда-то была тыквой».

Дойдя до конторы Особы, Белла, к своему изумлению, обнаружила, что желтая коляска остановилась поблизости, а рослый лакей ждет у крыльца. Белле даже сделалось не по себе при мысли о том, что, войдя в контору, она может столкнуться с владелицей этого великолепного экипажа. Девушка мельком увидела ее, когда коляска проезжала мимо, успев заметить украшенный перьями капор и горностаевый воротник.

Величественный прислужник Особы провел Беллу наверх и постучал в дверь кабинета.

— Мисс Роллстон, — доложил он извиняющимся тоном, покуда Белла ждала снаружи.

— Проводите ее сюда, — быстро ответила Особа, и затем Белла услышала, как она полушепотом объясняет что-то клиентке.

Белла вошла, являя собой свежий, цветущий образ юности и надежды, и не успела она посмотреть на Особу, как взгляд ее оказался прикован к владелице экипажа.

Никогда еще ей не доводилось видеть такой древней старухи, как старая леди, сидевшая у камина Особы: крошечная ветхая фигурка, сверху донизу утопавшая в горностаях, морщинистое личико под капором с перьями, настолько иссушенное годами, что от него остались лишь пара глаз и острый подбородок. Нос тоже был острый, орлиный, но небольшой, и он попросту терялся между выступающим подбородком и огромными сверкающими глазами.

— Леди Дакейн, это мисс Роллстон.

Скрюченные, как птичьи когти, и унизанные драгоценными камнями пальцы поднесли двойной лорнет к неестественно блестевшим черным глазам леди Дакейн, которые увеличились за стеклами до гигантских размеров и уставились на Беллу ужасно строго.

— Мисс Торпинтер все мне о вас рассказала, — проскрежетал старческий голос, прилагавшийся к глазам. — Крепкое ли у вас здоровье? Вы сильны, деятельны, способны хорошо есть, крепко спать, с удовольствием гулять, радоваться всему, что есть в жизни хорошего?

— Я не знаю, что такое болезнь или праздность, — ответила Белла.

— Тогда, я думаю, вы мне подходите.

— Разумеется, в том случае, если вам будут предоставлены совершенно удовлетворительные рекомендации, — вставила Особа.

— Мне не нужны рекомендации. Видно, что эта девушка честна и невинна. Я ей доверяю.

— Это так похоже на вас, дорогая леди Дакейн, — промурлыкала мисс Торпинтер.

— Мне нужна сильная молодая девушка, здоровье которой не причинит мне никаких хлопот.

— В этом отношении вам прежде так не везло, — промурлыкала Особа, чьи голос и манеры в присутствии старухи начали источать текучую сладость.

— Да, получилось несколько неудачно, — пробурчала леди Дакейн.

— Но я уверена, что мисс Роллстон вас не разочарует, хотя, конечно, неприятный случай с мисс Томсон, которая казалась просто образцом

здоровья… и мисс Бленди, которая говорила, что не была у врача с того времени, как ей делали прививку…

— Вранье, — пробормотала леди Дакейн, а затем, повернувшись к Белле, коротко спросила: — Надеюсь, вы не возражаете против того, чтобы провести зиму в Италии?

В Италии! От этого слова веяло волшебством. Юное хорошенькое личико Беллы залилось румянцем.

— Я всю жизнь мечтала побывать в Италии, — выдохнула она.

Из Уолворта — в Италию! Каким далеким, каким невозможным казалось такое путешествие этой романтичной мечтательнице!

— Что ж, ваша мечта сбудется. Приготовьтесь уехать с вокзала Чаринг-Кросс поездом класса люкс ровно через неделю в одиннадцать часов. Будьте на вокзале за четверть часа до отправления. Мои слуги проводят вас и помогут с багажом.

Леди Дакейн поднялась из кресла, опираясь на костыль, и мисс Торпинтер повела ее к дверям.

— А что касается жалованья?.. — спросила Особа по дороге.

— Ах да, жалованье как обычно — и если девушка хочет получить четверть вперед, напишите мне, я пришлю чек, — небрежно ответила леди Дакейн.

Мисс Торпинтер проводила свою клиентку до самого крыльца и подождала, пока та усядется в желтую коляску. Когда она, слегка запыхавшись, вернулась в кабинет, то начала обращаться к девушке с прежней надменностью, которую Белла находила столь унизительной.

— Считайте, что вам несказанно повезло, мисс Роллстон, — заявила она. — У меня в книгах записаны десятки юных леди, которых я могла бы рекомендовать этой клиентке, однако я не забыла, что просила вас зайти сегодня, и решила предоставить место именно вам. Старая леди Дакейн — одна из лучших в моих книгах. Она дает компаньонке сто фунтов в год и оплачивает все дорожные расходы. Вы будете купаться в роскоши.

— Сто фунтов в год! Какая прелесть! А что, мне нужно будет очень нарядно одеваться? Леди Дакейн любит светскую жизнь?

— В ее возрасте?! Нет, она живет уединенно, в собственных апартаментах; при ней только горничная-француженка, лакей, личный врач и посыльный.

— А почему те две компаньонки ее оставили? — спросила Белла.

— У них начались нелады со здоровьем.

— Бедняжки! Значит, им пришлось уйти?

— Да, им пришлось уйти. Полагаю, вы хотите получить четверть

жалованья вперед?

— Да, конечно, если можно! Мне надо будет кое-что купить.

— Очень хорошо, я напишу леди Дакейн, она пришлет чек, и я вышлю вам остаток — за вычетом моих комиссионных за год.

— Честно говоря, я не помню, чтобы вы говорили о комиссионных.

— Вы же не думаете, что я держу контору ради удовольствия.

— Конечно нет, — промямлила Белла, вспомнив о пяти шиллингах вступительного взноса; но ведь нельзя рассчитывать, что тебе подарят сотню в год и зиму в Италии всего за пять шиллингов.

III

От мисс Роллстон, Кап-Феррино — миссис Роллстон, Бирсфорд-стрит, Уолворт, Лондон:

Милая мама, как бы мне хотелось, чтобы ты увидела эти места: синее небо, оливковые рощи, лимонные и апельсиновые сады между утесами и морем, что таится в лощине меж огромных гор, и летние волны, танцующие у тонкой кромки гальки и плавника, которую итальянцы считают пляжем! Ах, как мне жаль, дорогая мама, что ты всего этого не видишь, не купаешься в лучах этого солнца, из-за которого так трудно поверить в дату, стоящую в начале письма. Ноябрь! Воздух — как в Англии в июне, солнце такое жаркое, что без зонта не пройти и нескольких ярдов. Каково мне думать, что ты в Уолворте, когда я здесь! Слезы наворачиваются при мысли о том, что ты, наверное, никогда не увидишь этот прелестный берег, это чудное море, эти летние цветы, которые цветут зимой. Под моим окном, мама, растет живая изгородь из розовых гераней — такая густая, пышная, словно это дикие цветы, — а по аркам и решеткам вокруг террасы вьются дижонские розы — цветущий розовый сад в ноябре! Только вообрази все это! Ты не можешь даже представить себе, в какой роскошной гостинице мы остановились. Она почти новая, и, когда ее строили и украшали, о расходах явно не думали. Стены наших комнат обиты бледно-голубым атласом, от которого становится еще заметнее, что цвет лица у леди Дакейн как пергамент; но поскольку она, если не ездит в коляске, весь день сидит в углу балкона и греется на солнышке, а вечерами дремлет в кресле у камина и не видится ни с кем, кроме собственных слуг, ее цвет лица не имеет почти никакого значения.

У леди Дакейн самый красивый номер в гостинице. Моя спальня примыкает к ее — очаровательная комната, всюду голубой атлас и белые кружева, белая мебель, отделанная эмалью, зеркала на каждой стене, так что я в жизни так подробно не изучала собственный задиристый профиль. На самом деле эта комната должна была служить туалетной леди Дакейн,

но та велела, чтобы мне постелили на одной из стоящих там голубых атласных кушеток — прелестнейшая кроватка, которую солнечным утром можно подкатить к окну: она на колесиках и двигается очень легко. У меня такое чувство, словно леди Дакейн — моя чудаковатая старенькая бабушка, которая куда-то пропадала и вот нашлась, — очень-очень богатая и очень-очень добрая.

Она совсем не строгая. Я много читаю ей вслух, и она дремлет и клюет носом. Иногда я слышу, как она стонет во сне, как будто ей снится что-то мучительное. Когда она устает слушать, как я читаю, то велит Франсине, своей горничной, почитать ей французский роман, и я слышу, как она то и дело ахает и хихикает, как будто эти книги ей интереснее Диккенса и Вальтера Скотта. Я слабовата во французском и не могу читать также быстро, как Франсина. У меня много свободного времени, так как леди Дакейн часто отпускает меня, предоставляя самой себе; и тогда я часами брожу по окрестным холмам. Здесь все дышит такой прелестью! Я блуждаю в оливковых рощах, всякий раз подбираясь все ближе к сосновым лесам, которые растут вверх по склону, а над соснами виднеются заснеженные горы, чьи белые пики высятся над темными холмами. Ах, бедняжечка моя, как же мне рассказать тебе, на что похоже это место, — тебе, чьи бедные усталые глазки видят лишь противоположную сторону Бирсфорд-стрит? Иногда я остаюсь на террасе перед гостиницей — это любимое место прогулок всех постояльцев. Ниже террасы раскинулись сады и теннисные корты, где я иногда играю с одной очень милой девушкой — единственной, с кем я здесь подружилась. Она на год старше меня и прибыла в Кап-Феррино с братом — он то ли врач, то ли студент-медик. Лотта сказала, что он сдал экзамен на бакалавра медицины в Эдинбурге перед самым отъездом. В Италию он приехал только ради сестры. Минувшим летом она опасно простудилась, и доктора прописали ей провести зиму за границей. Они сироты, одни-одинешеньки на всем белом свете, и очень нежно относятся друг к другу. Славно, что у меня есть такая подруга, как Лотта. Она — воплощенная благовоспитанность. Не могу удержаться от этого слова — ведь многие девушки в этой гостинице ведут себя так, что, я уверена, ты бы содрогнулась, увидев их. Лотта воспитывалась у тетушки, где-то в глухой провинции, и почти ничего не знает о жизни. Брат не позволяет ей читать романы, ни французские, ни английские, покуда сам не прочтет их и не одобрит.

— Он обращается со мной как с ребенком, — говорила мне Лотта, — но я не возражаю, ведь так приятно знать, что меня кто-то любит и заботится о том, что я делаю, и даже о том, что я думаю.

Наверное, от этого некоторые девушки так стремятся замуж — им хочется, чтобы о них заботился и руководил ими человек сильный, отважный, честный и преданный. Мне такого не нужно, милая мама, ведь у меня есть ты, а ты для меня — все на свете. Никакой муж никогда не встанет между нами. Если мне когда-нибудь и случится выйти замуж, супруг будет занимать в моем сердце лишь второе место. Но я не думаю, что когда-либо стану чьей-то женой или хотя бы узнаю, каково это, когда тебе делают предложение. В наше время ни один молодой человек не может позволить себе жениться на девушке, у которой за душой ни пенни. Жизнь слишком подорожала.

Мистер Стаффорд, брат Лотты, очень умен и очень добр. Он думает, что мне тяжеловато жить с такой старушкой, как леди Джейн, но ведь он же не знает, как мы бедны, то есть мы с тобой, и какой чудесной кажется мне жизнь в таком прелестном месте. Я чувствую себя самовлюбленной негодницей — ведь я наслаждаюсь всей этой роскошью, в то время как ты, желая ее куда больше моего, лишена ее и едва представляешь себе, какова она, — ведь правда, мамочка? — поскольку мой бездельник-отец начал опускаться сразу после вашей свадьбы и с тех пор ты видела в жизни лишь невзгоды, тяготы и заботы.

Это письмо было написано, когда Белла пробыла в Кап-Феррино менее месяца, до того, как пейзаж утратил прелесть новизны, а наслаждение роскошью начало приедаться. Она писала матери еженедельно — столь длинные письма, подобные дневнику сердца и ума, могут писать только девушки, которые всю жизнь провели под материнским крылом. Белла всегда писала весело, но, когда наступил новый год, миссис Роллстон показалось, что она различает за живыми подробностями рассказов о людях и окрестностях нотку меланхолии.

«Бедную девочку потянуло домой, — подумала она. — Ее сердце на Бирсфорд-стрит».

Возможно, дело было еще и в том, что Белла скучала по своей новой подруге и спутнице Лотте Стаффорд, которая отправилась с братом в небольшое путешествие в Геную и Специю и даже в Пизу. Они должны были вернуться до наступления февраля, но тем временем Белла, естественно, могла почувствовать себя очень одинокой среди всех тех чужих ей людей, чьи манеры и поступки она так живо описывала.

Материнское чутье не ошиблось. Белла и вправду была не так счастлива, как прежде, сразу после переезда из Уолворта на Ривьеру, когда она испытала прилив удивления и восторга. Ее охватила апатия, причины которой она сама не знала. Белле больше не доставляло удовольствия

взбираться на холмы и размахивать тросточкой апельсинового дерева от переполняющей сердце радости, легко прыгая по каменистой почве и колкой траве горных склонов. Аромат тимьяна и розмарина, свежее дыхание моря более не влекли ее. Она с тяжелой тоской думала о Бирсфорд-стрит и лице матери — они были так далеко, так далеко! А потом Белла вспоминала о леди Дакейн, сидевшей у груды оливковых поленьев в жарко натопленной гостиной, вспоминала этот профиль иссохшего щелкунчика, эти горящие глаза — с неодолимым ужасом.

Постояльцы гостиницы рассказали ей, что воздух Кап-Феррино способствует расслаблению и больше подходит старости, а не юности, болезни, а не здоровью. Так, несомненно, оно и было. Белла чувствовала себя хуже, чем в Уолворте, однако твердила себе, что страдает лишь от разлуки с дорогой подругой детства, с матерью, которая была ей кормилицей, другом, сестрой, опорой — всем на свете. Она пролила из-за этого немало слез, провела множество меланхолических часов на мраморной террасе, с тоской глядя на запад и сердцем пребывая в тысяче миль от Кап-Феррино.

Однажды она сидела на своем любимом месте на восточной стороне террасы, в тихом укромном уголке под сенью апельсиновых деревьев, и вдруг услышала, как внизу в саду беседует пара из числа завсегдатаев Ривьеры. Они расположились на скамье у стены террасы.

Белла и не думала слушать их разговор, пока ее внимание не привлекло имя леди Дакейн, а тогда уж она прислушалась, причем ей и в голову не пришло, что она делает что-то дурное. Ведь ни о каких тайнах они не говорили, просто обсуждали знакомую по гостинице.

Это были пожилые люди, которых Белла знала только в лицо: англиканский священник, полжизни проводивший зиму за границей, и крепкая, дородная, состоятельная старая дева которую обрек на ежегодные странствия хронический бронхит.

— Я встречала ее в Италии последние лет десять, — говорила пожилая дама, — но так и не поняла, сколько же ей на самом деле.

— Полагаю, никак не меньше ста лет, — ответил священник. — Ее воспоминания простираются до эпохи Регентства. Тогда она, очевидно, была в расцвете сил, а судя по замечаниям, которые мне доводилось от нее слышать, она вращалась в парижском обществе в золотой век Первой Империи, еще до развода Жозефины.

— Сейчас она стала неразговорчива.

— Да, жизнь в ней едва теплится. С ее стороны мудро держаться в уединении. Удивляюсь, почему ее врач-итальянец, этот старый шарлатан,

давным-давно не свел ее в могилу.

— Должно быть, он, наоборот, не дает ей умереть.

— Моя дорогая мисс Мэндерс, неужели вы считаете, будто эти заграничные знахари способны продлевать кому-либо жизнь?

— Но однако же, она жива — и постоянно держит его при себе. Лицо у него действительно неприятное.

— Неприятное? — отозвался священник. — По-моему, сам враг рода человеческого не смог бы превзойти его в уродстве. Жаль ту бедную девушку, которой приходится жить между престарелой леди Дакейн и доктором Парравичини.

— Но ведь старая леди очень добра к своим компаньонкам.

— Не сомневаюсь. В деньгах она, прямо скажем, не нуждается; слуги прозвали ее «добрая леди Дакейн». Это настоящий дряхлый Крез, только женского пола, — она понимает, что никогда не сможет растратить все свое состояние, и не в восторге при мысли о том, что этим богатством насладится кто-то другой, когда она окажется в гробу. Те, кто настолько зажился на свете, рабски привязаны к жизни. Пожалуй, она действительно щедра к этим бедным девочкам, но не в состоянии сделать их счастливыми. Они даже умирают у нее на службе.

— Не говорите так, мистер Кэртон; насколько мне известно, лишь одна бедняжка умерла прошлой весной в Ментоне.

— Да, а другая бедняжка умерла в Риме три года назад. Я тогда был там. Добрая леди Дакейн оставила ее на попечении одной английской семьи. Девушка была окружена всей мыслимой роскошью. Старая леди была очень щедра и заботлива — но девушка все равно умерла. Говорю вам, мисс Мэндерс, нехорошо, когда девушка живет с двумя такими пугалами, как леди Дакейн и Парравичини!

Они заговорили о другом, но Белла едва их слышала. Она сидела, словно окаменев, и ей казалось, будто ледяной ветер слетел на нее с гор и подкрался к ней с моря, пока ее не охватил озноб — на ярком солнце, под укрытием апельсиновых деревьев, среди всей этой пышности и красоты.

Да, эта пара и впрямь производила жутковатое впечатление: старуха в своей дряхлости напоминала ведьму-аристократку, и Белла никогда не видела лиц, настолько похожих на восковую маску, как лицо врача леди Дакейн, человека неопределенного возраста. Ну и что с того? Преклонные годы достойны всяческого уважения, к тому же леди Дакейн сделала Белле так много добра. Доктор Парравичини был тихим, безобидным ученым и редко отрывал глаза от книги. В специально отведенной ему гостиной он ставил естественнонаучные опыты — по химии, а возможно, и алхимии.

Но при чем же здесь Белла? Доктор всегда был с ней учтив — на свой рассеянный лад. Она жила в великолепной гостинице, состояла в услужении у богатой пожилой леди — ничего лучше и быть не могло.

Конечно, Белла скучала по юной англичанке, с которой так подружилась, а может быть, и по брату англичанки — ведь мистер Стаффорд много беседовал с ней, интересовался книгами, которые она читала, и развлечениями, которые она себе придумывала в свободное время. «Когда будете свободны от дежурства, как говорят сестры милосердия, приходите в нашу маленькую гостиную, и мы помузицируем. Вы, разумеется, играете и поете?» В ответ Белла вспыхнула от стыда и вынуждена была признаться, что давным-давно позабыла, как играют на пианино. «Мы с мамой иногда пели дуэтом по вечерам, без аккомпанемента», — сказала она, и слезы навернулись на ее глаза при мысли об убогой комнатушке, получасовом перерыве в работе, швейной машинке, стоявшей на месте пианино, и печальном голосе матери, таком ласковом, таком искреннем, таком дорогом.

Иногда Белла начинала сомневаться, удастся ли ей когда-нибудь увидеться с любимой матерью. Ее одолевали дурные предчувствия. Девушка сердилась на себя за то, что дает волю меланхолии.

Однажды она спросила француженку — горничную леди Дакейн — о двух компаньонках, которые умерли в последние три года.

— Бедняжки, они были такие тощенькие, — сказала Франсина. — Когда они поступили на службу к милади, то были свежие и бодрые; но они слишком много ели и ленились — вот и умерли от роскоши и безделья. Милади была к ним слишком добра. Им было нечем заняться, и они начинали воображать то да се — будто воздух им вредит, будто они не могут спать…

— Я сплю хорошо, но с тех пор, как мы приехали в Италию, мне несколько раз снился странный сон…

— Ах, вы даже не думайте об этих снах, иначе с вами случится то же самое, что с теми девушками! Они тоже любили смотреть сны — и засмотрелись до могилы!

Сон несколько тревожил Беллу — не потому, что он был страшным или дурным, а потому, что она никогда раньше не чувствовала во сне ничего подобного: ей чудилось, что у нее в голове вертятся колеса, громко воет ураган, но воет ритмично, как будто тикают огромные часы, и вот посреди этого рева ветра и волн Белла словно бы падала в обморочную заводь, выпадала из обычного сна в сон куда более глубокий, в полное небытие. А затем, после периода черноты, слышались голоса, снова

жужжали колеса, все громче и громче — и опять наступала чернота, — а затем Белла просыпалась, слабая и унылая.

Как-то раз она пожаловалась на этот сон доктору Парравичини — это был единственный случай, когда ей понадобился его профессиональный совет. Перед Рождеством ее довольно сильно покусали москиты, и она даже испугалась, обнаружив на руке глубокую ранку, которую могла объяснить лишь ядовитым укусом одного из этих мучителей. Парравичини надел очки и внимательно изучил воспаленную отметину на пухлой белой ручке; Белла стояла перед ним и леди Дакейн, закатав рукав выше локтя.

— Да, это уже не шутки, — заметил доктор. — Он попал прямо в вену. Вот ведь вампир! Но не тревожьтесь, синьорина, у меня есть особая мазь, от которой все у вас заживет. Если заметите другие такие укусы, непременно покажите мне. Если их не лечить, это может быть опасно. Эти твари питаются всякой заразой и везде ее распространяют.

— Неужели столь крошечные существа могут так сильно кусаться? — спросила Белла. — Рука выглядит так, словно ее полоснули ножом!

— Вас бы это не удивляло, если бы вы увидели жало москита под микроскопом, — ответил Парравичини.

Белле пришлось мириться с укусами москитов — даже когда они попадали в вену и оставляли такие некрасивые ранки. Это повторялось еще несколько раз, правда, не слишком часто, и Белла обнаружила, что мазь доктора Парравичини лечит эти укусы очень быстро. Если даже он и был шарлатаном, как прозвали его враги, то по крайней мере эту маленькую операцию он проделывал легкими и нежными прикосновениями.

От Беллы Роллстон — миссис Роллстон, 14 апреля:

Милая, милая мама!

Только посмотри — вот чек на мое жалованье за вторую четверть года: двадцать пять фунтов! И никто не отщипнет от него целую десятку комиссионных, как в прошлый раз, — так что все это тебе, дорогая мамочка! На карманные расходы мне с лихвой хватает тех денег, которые я привезла с собой, ведь ты настояла на том, чтобы я оставила себе больше, чем хотела. Здесь не на что тратить деньги, кроме как иногда на чаевые слугам или несколько су детям и попрошайкам, — разве что у тебя уж очень много денег, ведь все, что тут можно купить — черепаховые панцири, кораллы, кружева, — так смехотворно дорого, что смотреть на все эти товары должны лишь миллионеры. Италия — пиршество для глаз, но для покупок я предпочитаю лавки на Ньюингтон-роуд.

Ты так серьезно спрашиваешь меня, хорошо ли я себя чувствую, что я боюсь, не были ли мои письма в последнее время очень уж скучны. Да,

дорогая, у меня все благополучно — просто я уже не так сильна, как была, когда постоянно ходила пешком в Уэст-Энд за полуфунтом чая исключительно ради моциона — или в Далвич посмотреть на картины. В Италии славно отдыхается; вот и я чувствую то, что местные жители называют «истомой». Но я так и вижу, как твое милое лицо омрачается тревогой, когда ты читаешь эти строчки. Мама, я не больна, честное слово, честное слово! Просто немного устала от этих красот, как, наверное, можно устать от созерцания картины Тернера, если она висит на стене напротив и ты все время на нее смотришь. Я думаю о тебе каждый день и каждый час, думаю о тебе и о нашей уютной комнатке, о нашей милой старенькой гостиной с креслами из руин твоего старого дома, и как Дик щебечет в своей клетке над швейной машинкой. Ах, милый Дик — от его пронзительного гомона впору было с ума сойти, а мы с тобой льстили себя мыслью, что он питает к нам нежную привязанность. В следующем письме обязательно сообщи мне, что он жив и здоров.

Моя подруга Лотта и ее брат так и не вернулись. Из Пизы они отправились в Рим. Вот счастливые! А в мае они должны быть на итальянских озерах — Лотта пишет, что еще не знает, на каком именно. Переписываться с ней было одно удовольствие — она доверяла мне все свои маленькие сердечные тайны. На той неделе мы все поедем в Белладжо — через Геную и Милан. Ну разве не прелестно? Леди Дакейн путешествует крайне неторопливо, если, конечно, ее не запихнут в роскошный экспресс. Мы проведем два дня в Генуе и день в Милане. Как же я замучаю тебя разговорами об Италии, когда вернусь домой!

Сто, двести, тысяча поцелуев от обожающей тебя Беллы.

IV

Герберт Стаффорд часто говорил с сестрой о той хорошенькой юной англичанке с таким свежим цветом лица — она была словно мазок розовой краски приятного оттенка среди бледных болезненных постояльцев гранд-отеля. Молодой врач вспоминал о своей новой знакомой с сочувственной нежностью — ведь она была совсем одна в огромной, многолюдной гостинице, полностью зависела от древней старухи, тогда как все остальные были вольны ни о чем не думать и наслаждаться жизнью. Это была тяжкая участь; к тому же бедная девушка, по-видимому, преданно любила мать и тяжело переносила разлуку с ней — врач думал о том, что они были одиноки и очень бедны и стали друг для друга всем на свете.

Однажды утром Лотта сказала, что в Белладжо они снова встретятся.

— Старушка со свитой будут там раньше нас, — сказала она. — Как прекрасно, что я снова увижу Беллу. Она такая веселая, такая живая — хотя

иногда ее одолевает тоска по дому. У меня еще никогда не было такой близкой подруги, как она.

— Мне она больше всего нравится как раз тогда, когда тоскует по дому, — заметил Герберт. — Тогда я убеждаюсь в том, что у нее есть сердце.

— Что тебе до ее сердца? Ты ведь не в анатомическом театре! Не забывай, Белла совсем нищая. Она призналась мне, что ее мать шьет плащи для одного магазина в Уэст-Энде. Ниже пасть уже невозможно.

— Полагаю, Белла нравилась бы мне не меньше, даже если бы ее мать делала спичечные коробки.

— В общем-то, ты прав, конечно, прав. Спичечные коробки — достойное занятие. Но нельзя же жениться на девушке, чья мать шьет плащи.

— Эту тему мы с ней пока что не обсуждали, — ответил Герберт, которому нравилось поддразнивать сестру.

За два года работы в больнице он соприкоснулся с суровой реальностью жизни так тесно, что отверг все социальные предрассудки. Рак, чахотка, гангрена оставляют мало иллюзий относительно человечества. Суть всегда одна и та же — восхитительная и страшная, достойная жалости и ужаса.

Мистер Стаффорд с сестрой прибыли в Белладжо ясным майским вечером. Солнце спускалось за горизонт, когда пароход подошел к причалу, и в золотых лучах пылала и темнела великолепная пелена пурпурных цветов, которые в это время года покрывают каждую стену. На причале в ожидании вновь прибывших стояла группа женщин, и среди них Герберт заметил бледное личико, при виде которого забыл о своем привычном самообладании.

— Вот она! — прошептала Лотта, стоявшая рядом с братом. — Но как ужасно она изменилась! Просто на себя не похожа!

Спустя несколько минут они уже здоровались, и осунувшееся лицо Беллы просияло от радости встречи.

— Я так и думала, что вы сегодня приедете, — сказала она. — Мы здесь уже неделю.

Она не добавила, что встречала пароход каждый вечер и по нескольку раз каждый день. Гостиница «Гранд-Бретань» находилась невдалеке от причала, и Белле было несложно улизнуть, когда раздавался звон корабельного колокола. Она радовалась новой встрече со Стаффордами, радовалась обществу друзей — доброта леди Дакейн никогда не вселяла в нее такой уверенности в себе.

— Бедняжечка, ты, наверное, страшно болела! — воскликнула Лотта, когда девушки обнялись.

Белла попыталась ответить, но ей помешали слезы.

— Что случилось, милая? Наверное, эта ужасная инфлюэнца?

— Нет-нет, я не болела, просто чувствовала себя не такой бодрой, как обычно. Наверное, воздух Кап-Феррино мне не совсем подходит.

— Должно быть, он тебе противопоказан! В жизни не видела, чтобы люди так менялись. Пожалуйста, позволь Герберту тебя полечить. Ты знаешь, он теперь дипломированный врач. Он консультировал очень многих больных инфлюэнцей в гостинице «Лондрес», и они были рады получить совет любезного доктора-англичанина.

— Не сомневаюсь, он очень умный, — нерешительно проговорила Белла. — Но беспокоиться, право слово, не о чем. Я не больна, а если бы и была больна, врач леди Дакейн…

— Тот ужасный человек с желтым лицом? По мне уж лучше бы рецепты выписывал кто-нибудь из семейства Борджа! Надеюсь, ты не принимала его снадобий?

— Нет, дорогая, я ничего не принимала. Я никогда не жаловалась ни на какие недуги.

Этот разговор происходил по дороге в гостиницу. Номера для Стаффордов были заказаны заранее — это были премилые комнаты на первом этаже, выходившие в сад. Более пышные апартаменты леди Дакейн располагались этажом выше.

— Кажется, ваши комнаты как раз под нашими, — заметила Белла.

— Значит, тебе будет проще забегать к нам, — ответила Лотта, однако сказанное ею было не совсем верно, так как парадная лестница проходила в середине здания.

— Ах, мне и так будет проще простого! — сказала Белла. — Боюсь, мое общество вам еще надоест. Леди Дакейн в теплую погоду спит по полдня, поэтому у меня полно свободного времени, а ведь с утра до вечера думать о маме и доме ужасно грустно.

Голос ее дрогнул при этих словах. Даже если бы словом «дом» называлось не их убогое обиталище, а самый прекрасный дворец, какой только способны создать искусство и богатство, Белла не могла бы думать о нем нежнее. В этом прелестном саду у залитого солнцем озера в окружении романтических холмов, расстилавших кругом свою красоту, девушка тосковала и терзалась. Она скучала по дому — и вдобавок ее преследовали страшные сны, точнее, тот самый постоянно повторявшийся кошмар со странными ощущениями, похожий не столько на сон, сколько на

галлюцинацию, — жужжание колес, падение в бездну, резкое пробуждение. Этот сон Белла видела незадолго до отъезда из Кап-Феррино, но с тех пор он не повторялся, и она начала надеяться, что воздух в краю озер подходит ей лучше и эти странные ощущения больше не вернутся.

Мистер Стаффорд прописал ей лекарство и заказал его в аптеке неподалеку от отеля. Это было сильное укрепляющее средство, и после двух бутылочек, одной-двух прогулок в лодке по озеру и нескольких походов по холмам и лугам, где расцвели весенние цветы и настал настоящий земной рай, Белла приободрилась и похорошела как по волшебству.

— Чудесная микстура, — говорила она, но в глубине души, вероятно, понимала, что исцелили ее добрый голос доктора, дружеская рука, которая помогала ей войти в лодку и сойти на берег, и прелестное озеро.

— Надеюсь, ты не забываешь, что ее мать шьет плащи, — предостерегала брата Лотта.

— Или делает спичечные коробки — по мне так это одно и то же.

— Ты хочешь сказать, что не женишься на ней ни при каких обстоятельствах?

— Я хочу сказать, что, если когда-нибудь полюблю женщину так сильно, что задумаюсь о женитьбе, мне не будет дела до ее богатства и положения в обществе. Но я боюсь… я боюсь, что твоя бедная подруга не доживет до того дня, когда станет чьей-нибудь женой.

— Ты думаешь, она настолько серьезно больна?!

Мистер Стаффорд вздохнул и оставил вопрос без ответа.

Однажды, когда они собирали гиацинты на горной лужайке, Белла рассказала мистеру Стаффорду о своих снах.

— Это удивительно — совсем не похоже на сон, — заметила она. — Вы наверняка сумеете найти этому какое-то разумное объяснение. То ли у меня голова на подушке неправильно лежит, то ли что-то разлито в воздухе…

А затем она описала свои ощущения — как что-то начинает душить ее во сне, потом жужжат колеса, так громко, так ужасно, а затем наступает пустота — и внезапное пробуждение.

— Вам когда-нибудь давали хлороформ? Ну, скажем, у зубного врача?

— Нет, никогда; доктор Парравичини тоже меня об этом спрашивал.

— Недавно?

— Нет, давным-давно, еще в поезде.

— А доктор Парравичини прописывал вам какие-нибудь лекарства, когда вы начали чувствовать слабость и недомогание?

— Да, время от времени он давал мне укрепляющее, но я терпеть не могу лекарства и почти ничего не принимала. И потом я ведь не больна, хотя и чувствую себя немного слабее, чем обычно. Когда я жила в Уолворте, то была до смешного крепкой и здоровой и каждый день подолгу ходила пешком. Мама постоянно посылала меня за чем-нибудь в Далвич или Норвуд — она думала, что мне вредно слишком засиживаться за швейной машинкой, — а иногда, впрочем очень-очень редко, и сама гуляла со мной. Обычно же, пока я наслаждалась моционом и свежим воздухом, она не покладая рук трудилась дома. И еще она очень внимательно следила за тем, что мы едим, — пища у нас всегда была хотя и простой, но обильной и полезной. Благодаря маминым заботам я и выросла такой здоровой и сильной.

— Бедняжка моя, сейчас ты не кажешься ни здоровой, ни сильной, — сказала Лотта.

— К сожалению, Италия не пошла мне впрок.

— Возможно, причина твоего недуга — не Италия, а то, что ты сидишь взаперти с леди Дакейн.

— Но я же не сижу взаперти! Леди Дакейн добра до нелепости, она позволяет мне весь день напролет гулять или сидеть на балконе, если я захочу. С тех пор как я служу у нее, я прочитала больше романов, чем за всю предыдущую жизнь!

— Значит, она совсем не похожа на других старых дам — они, как правило, сущие рабовладелицы, — сказал Стаффорд. — Удивительно, что она наняла компаньонку, если так мало нуждается в обществе.

— Ах, я всего лишь вхожу в ее свиту. Она необычайно богата, и жалованье, которое она мне платит, ее не обременяет. Что же касается доктора Парравичини, я знаю, что он хороший врач: он лечит укусы этих кошмарных москитов.

— Для этого сойдет простой нашатырный спирт, надо только помазать им сразу после укуса. Но в это время года москитов нет, они не могут вас тревожить.

— Нет, почему же, есть; как раз перед отъездом из Кап-Феррино меня укусили. — С этими словами Белла подняла просторный батистовый рукав и показала след от укуса, который Стаффорд пристально изучил, причем вид у него был удивленный и озадаченный.

— Это не москит, — сказал он.

— Нет, москит — или же в Кап-Феррино водятся гадюки!

— Это вообще не укус. Вы меня обманываете. Мисс Роллстон, вы позволили этому гнусному итальянскому шарлатану пускать вам кровь. Не

забывайте, так погубили величайшего человека в Европе. С вашей стороны это была непростительная глупость.

— Мистер Стаффорд, мне ни разу в жизни не пускали кровь!

— Чушь! Позвольте мне взглянуть на другую руку. Там тоже остались следы укусов?

— Да; доктор Парравичини говорит, что у меня кожа плохо заживает и яд москитов действует на меня сильнее, чем на других.

Стаффорд осмотрел при ярком солнце все следы на обеих ее руках — старые и новые.

— Вас покусали очень сильно, мисс Роллстон, — сказал он, — и я уж проучу этого москита, если доберусь до него. А теперь скажите мне, дорогая моя девочка, скажите честно и откровенно, как сказали бы другу, который искренне тревожится о вашем здоровье и счастье, как сказали бы матери, если бы она была здесь и стала вас расспрашивать, — знаете ли вы об этих следах что-нибудь кроме того, что это укусы москитов, или хотя бы подозреваете что-нибудь?

— Нет, конечно! Нет, честное слово! Я никогда не видела, как москит кусает меня. Но ведь этих маленьких негодников никто не замечает. Однако я слышала, как они гудят за занавесками, и помню, что эти ядовитые разбойники часто жужжали надо мной.

Ближе к вечеру, когда леди Дакейн выехала прогуляться со своим врачом, Белла с друзьями пили чай в саду.

— Мисс Роллстон, как долго вы собираетесь служить у леди Дакейн? — спросил Герберт Стаффорд после задумчивого молчания, перебив пустячную девичью болтовню.

— Пока она не перестанет платить мне двадцать пять фунтов за три месяца.

— Даже если вы почувствуете, что эта служба губит ваше здоровье?

— Здоровье у меня испортилось не из-за службы. Вы же видите, что делать мне нечего — разве что читать вслух по часу или около того разок-другой в неделю да иногда написать письмо какому-нибудь лондонскому торговцу. Ни у кого другого я не была бы в такой степени предоставлена самой себе. И никто другой не стал бы платить мне сто фунтов в год!

— Значит, вы намерены стоять до последнего, даже погибнуть на посту?

— Как две другие компаньонки?! Нет! Если только я почувствую, что серьезно больна — по-настоящему больна, — я не задумываясь прыгну в поезд и покачу обратно в Уолворт!

— А что случилось с двумя другими компаньонками?

— Они обе умерли. Леди Дакейн очень не повезло. Потому-то она меня и наняла — она выбрала меня, потому что я была крепкая и румяная. Наверное, ей неприятно, что я стала такая бледная и слабая. Кстати, когда я ей рассказала, какое замечательное укрепляющее вы мне прописали, она пожелала повидаться с вами и поговорить о собственном здоровье.

— Я тоже буду рад увидеться с леди Дакейн. Когда она это сказала?

— Позавчера.

— Вы могли бы спросить у нее, не примет ли она меня нынче вечером?

— С удовольствием! Любопытно, что вы о ней скажете. Посторонним она кажется довольно-таки страшной, однако доктор Парравичини говорит, что когда-то она славилась красотой.

Было уже почти десять вечера, когда мистера Стаффорда запиской призвали к леди Дакейн, чей посыльный явился, дабы проводить доктора в гостиную ее милости. Когда посетителя впустили, Белла читала вслух, и в ее нежном негромком голосе он уловил усталость, словно чтение требовало от нее усилий.

— Закройте книгу, — произнес сварливый старушечий голос. — Вы тянете слова, как мисс Бленди.

Стаффорд увидел маленькую сутулую фигурку, что согнулась над грудой оливковых поленьев, пылавших в камине, дряхлую, ссохшуюся фигурку в роскошном одеянии из черной и бордовой парчи, тощую шею, торчавшую из пены венецианских кружев, схваченных бриллиантами, которые вспыхнули, словно светлячки, когда дрожащая старушечья головка повернулась ему навстречу.

Глаза, смотревшие на него с этого лица, блестели почти так же ярко, как бриллианты, — единственная живая черта на узкой пергаментной маске. Стаффорду приходилось в больнице видеть ужасные лица, на которых болезнь оставила свои страшные отметины, но еще никогда человеческое лицо не производило на него столь гнетущего впечатления, как это — морщинистое, бесстрастное, вселявшее неописуемый ужас тем, что оно пережило саму смерть и должно было уже давным-давно скрыться под крышкой гроба.

По другую сторону камина стоял доктор-итальянец — он курил сигарету и глядел на крошечную старушку, склонившуюся над огнем, так, словно гордился ею.

— Добрый вечер, мистер Стаффорд; Белла, вы можете идти в свою комнату, писать эти ваши бесконечные письма к матушке в Уолворт, — сказала леди Дакейн. — По-моему, она пишет по странице о каждом

полевом цветке, который ей встретится в лесу или на лужайке. Не знаю, о чем ей здесь еще писать, — добавила она, когда Белла тихо удалилась в хорошенькую спаленку, примыкавшую к просторным апартаментам леди Дакейн. Здесь, как и в Кап-Феррино, Белле отвели комнату, смежную со спальней старой дамы. — Я так понимаю, мистер Стаффорд, вы имеете отношение к медицине.

— Я дипломированный врач, но у меня еще нет своей практики.

— У вас уже есть пациент — моя компаньонка; так она мне сказала.

— Да, конечно, я прописал ей лекарство и счастлив, что оно пошло ей на пользу; однако мне кажется, что улучшение лишь временное. Ее случай потребует более основательного лечения.

— О каком случае вы говорите? Девушка ничем не страдает, абсолютно ничем, кроме девичьей глупости — многовато свободы, маловато работы.

— Насколько я знаю, две предыдущие компаньонки вашей милости умерли от той же болезни, — сказал Стаффорд, поглядев сначала на леди Дакейн, которая нетерпеливо дернула трясущейся головой, а затем на Парравичини, чье желтое лицо слегка побледнело под пристальным взглядом гостя.

— Не утомляйте меня разговорами о моих компаньонках, — отрезала леди Дакейн. — Я послала за вами, чтобы получить консультацию касательно моего собственного здоровья, а не самочувствия стайки малокровных девиц. Вы молоды, а медицинская наука, если верить газетам, стремительно развивается. Где вы учились?

— В Эдинбурге, затем в Париже.

— Две хорошие школы. И вы знаете все эти новомодные теории, современные открытия, которые так напоминают мне средневековое колдовство, Альберта Великого и Джорджа Рипли? Вы изучали гипноз, электричество?

— И переливание крови, — проговорил Стаффорд очень медленно, глядя на Парравичини.

— Не сделали ли вы каких-либо открытий, позволяющих продлить человеческую жизнь, не нашли ли какого-нибудь эликсира, какого-то особого средства? Молодой человек, я хочу продлить себе жизнь. Вот этот господин был моим личным врачом на протяжении тридцати лет. Он делает все возможное, чтобы поддерживать мое существование, — все, что в его силах. Он изучает все новейшие научные теории, но он сам стар, он стареет с каждым днем, разум его слабеет, он одержим предрассудками, не способен воспринимать новые идеи, не в состоянии освоить новые

доктрины. Он уже свел бы меня в могилу, если бы я не была начеку.

— Вы неимоверно неблагодарны, эчеленца, — проговорил Парравичини.

— О, вам не на что жаловаться. Я заплатила вам многие тысячи за то, что вы не давали мне умереть. Каждый год моей жизни раздувает ваше состояние, и вы знаете, что, когда я умру, вам не достанется ничего. Все, что у меня есть, я завещала дому для нуждающихся родовитых женщин, достигших девяностого года жизни. Так вот, мистер Стаффорд, я богата. Подарите мне еще несколько лет солнечного света, еще несколько лет на земле, и у вас будет престижная медицинская практика в Лондоне — я введу вас в Уэст-Энд.

— Сколько вам лет, леди Дакейн?

— Я родилась в тот день, когда казнили Людовика Шестнадцатого.

— Тогда, я думаю, вы сполна получили свою долю солнечного света и земных радостей и должны провести немногие оставшиеся дни, каясь в грехах и стараясь искупить свою вину за те молодые жизни, которые вы принесли в жертву собственному жизнелюбию.

— Что вы имеете в виду, сударь?

— Ах, леди Дакейн, надо ли мне облекать в слова и ваши прегрешения, и еще более тяжкие прегрешения вашего врача? Бедная девушка, состоящая при вас на жалованье, из-за хирургических экспериментов доктора Парравичини лишилась крепкого здоровья и дошла до крайне опасного состояния, и я ничуть не сомневаюсь, что две ее предшественницы, которые погибли у вас на службе, испытали на себе тот же самый метод лечения. Я могу самолично доказать — и привести самые убедительные свидетельства любому консилиуму врачей, — что доктор Парравичини давал мисс Роллстон хлороформ, а затем пускал ей кровь и проделывал это время от времени с тех самых пор, как она поступила к вам в услужение. Подорванное здоровье девушки говорит само за себя, следы от ланцета на ее руках ни с чем не перепутаешь, а описание повторяющихся ощущений, которые сама она называет кошмарами, безошибочно указывает на то, что ей во сне давали хлороформ. Если вас уличат в подобных действиях — таких преступных, таких подлых, — вас ждет наказание, лишь немногим уступающее смертному приговору.

— Мне смешно слышать, — сказал Парравичини, с беспечным видом взмахнув костлявыми пальцами, — мне смешно слышать и ваши теории, и ваши угрозы. Я, Леопольд Парравичини, не боюсь, что закон заинтересуется моими действиями.

— Забирайте девушку, я и слышать о ней больше не хочу! —

вскрикнула леди Дакейн дребезжащим старушечьим голосом, который так разительно расходился с силой и пылкостью повелевавшего им злобного старческого разума. — Пусть едет к своей матери, я не хочу, чтобы у меня опять умерла компаньонка. Право слово, девиц в мире хватает с избытком!

— Леди Дакейн, если вы когда-нибудь заведете себе другую компаньонку или возьмете себе на службу другую юную англичанку, я сделаю так, что весть о ваших преступлениях прогремит по всей Англии!

— Мне больше не нужны девицы! Я не верю в его эксперименты! Они были крайне опасны, опасны для меня не меньше, чем для девушки, — достаточно одного воздушного пузырька, и мне конец! Хватит этого опасного шарлатанства! Я найду себе нового врача, лучше, чем вы, сударь, первооткрывателя вроде Пастера или Вирхова, гения, который не даст мне умереть! Забирайте вашу барышню, молодой человек. Женитесь на ней, если хотите. Я выпишу чек на тысячу фунтов, и пусть она убирается на все четыре стороны, ест говядину с пивом и снова становится крепкой и полнотелой. Мне больше не нужны подобные эксперименты. Слышите, Парравичини? — мстительно взвизгнула она с перекосившимся от злобы желтым морщинистым лицом и яростно сверкающими глазами.

На следующий же день Стаффорды увезли Беллу Роллстон в Варезе; девушка крайне неохотно покинула леди Дакейн, чье щедрое жалованье позволяло так замечательно помогать дорогой маме. Однако Герберт Стаффорд настоял на отъезде, причем обращался с Беллой спокойно и хладнокровно, словно он был семейным врачом и ее полностью вверили его заботам.

— Неужели вы полагаете, что ваша мать позволила бы вам остаться здесь и умереть? — спросил он. — Если бы миссис Роллстон знала, как вы больны, она примчалась бы за вами, как ветер!

— Я не поправлюсь, пока не вернусь в Уолворт, — отвечала Белла, которая этим утром была подавлена и немного слезлива (обратная сторона вчерашнего воодушевления).

— Сначала мы посмотрим, не поможет ли вам неделя-другая в Варезе, — возразил Стаффорд. — Вы вернетесь в Уолворт, когда сможете пройти без учащенного сердцебиения хотя бы половину дороги, ведущей на вершину Монте-Дженерозо.

— Бедная мама, как она будет рада видеть меня и как огорчится, узнав, что я потеряла такое выгодное место!

Этот разговор происходил на борту судна, когда они отплывали от Белладжо. Тем утром Лотта пришла в спальню подруги в семь часов, задолго до того, как приподнялись, впуская дневной свет, сморщенные веки

леди Дакейн, и даже до того, как Франсина, горничная-француженка, вскочила с постели, помогла упаковать в саквояж самое необходимое, проводила Беллу вниз и выпихнула за порог так стремительно, что девушка не успела оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления.

— Все улажено, — заверила ее Лотта. — Вчера вечером Герберт побеседовал с леди Дакейн и договорился, что ты уедешь нынче утром. Видишь ли, она не любит инвалидов.

— Да, не любит, — вздохнула Белла. — Как неудачно, что я тоже подвела ее — совсем как мисс Томсон и мисс Бленди.

— Так или иначе, ты, в отличие от них, жива, — заметила Лотта, — и Герберт говорит, что ты не умрешь.

Белла ужасно терзалась оттого, что ее уволили так бесцеремонно и ее нанимательница с нею даже не попрощалась.

— Что же скажет мисс Торпинтер, когда я снова приду к ней искать место? — горестно вздохнула Белла, когда завтракала с друзьями на борту парохода.

— Возможно, вам больше не придется искать место, — сказал Стаффорд.

— Вы хотите сказать, что здоровье не позволит мне состоять при ком-либо?

— Нет, ничего подобного я не имел в виду.

Лишь после ужина в Варезе, когда Беллу уговорили выпить полный бокал кьянти и она так и засияла после столь непривычного для нее стимулирующего средства, мистер Стаффорд вынул из кармана письмо.

— Я забыл передать вам прощальное письмо леди Дакейн, — произнес он.

— Значит, она мне все-таки написала? Как я рада — мне было неловко оттого, что мы расстались так холодно, ведь она была очень добра ко мне, а если она мне и не нравилась, то только потому, что она такая невообразимо старая!

Белла вскрыла конверт. Письмо было короткое и деловое.

Прощайте, дитя. Выходите замуж за своего доктора. Прилагаю прощальный подарок вам в приданое.

Аделина Дакейн.

— Сто фунтов, жалованье за целый год… нет… ах, это же… Это же чек на тысячу! — воскликнула Белла. — Какая же она щедрая душа! Милая, милая старушка!

— Ей просто хотелось, чтобы вы считали ее милой, Белла, — сказал Стаффорд.

На борту парохода Стаффорд все чаще называл Беллу по имени. Словно бы само собой разумелось, что он будет опекать девушку до возвращения в Англию.

— Пока мы не высадимся в Дувре, я возьму на себя привилегии старшего брата, — сказал он. — А затем — что ж, все будет так, как вы пожелаете.

Видимо, вопрос об их дальнейших взаимоотношениях был улажен к обоюдному удовольствию еще до того, как они переплыли Ла-Манш, поскольку в следующем Беллином письме к матери содержались три сенсационных заявления.

Во-первых, там говорилось, что прилагаемый чек на тысячу фунтов следует вложить в привилегированные акции на имя миссис Роллстон и что сама эта сумма и проценты с нее станут ее личными доходами до конца жизни.

Во-вторых, Белла собиралась очень скоро вернуться домой.

И наконец, ближайшей осенью она намеревалась выйти замуж за мистера Герберта Стаффорда.

Не сомневаюсь, мама, что ты будешь обожать его не меньше, чем я, — писала Белла. — А все благодаря доброй леди Дакейн. Я никогда не вышла бы замуж, если бы не могла обеспечить для тебя небольшой доход. Герберт говорит, что со временем мы сможем его увеличивать и что, где бы, мы ни жили, для тебя в нашем доме всегда отыщется уголок. Слово «теща» Герберта не пугает.

Уильям Гилберт

Уильям Гилберт (1804–1890) родился в Бишопстоуке, графство Хэмпшир, и переехал, с родителями в Лондон семи лет от роду. Он служил мичманом в Ост-Индской компании, а позднее в течение нескольких лет был младшим хирургом в военно-морском флоте. Его ранние, анонимно опубликованные романы — такие, как «Богач и Лазарь, или Приключения одного врача в бедном квартале» (1858) и «Семья ткача» (1860) — строятся на контрастном изображении богатства и бедности. Другими темами сочинений Гилберта были его неприязнь к организованной религии и пагубные последствия пьянства, среди которых он называет «преступление, распутство, самоубийство, убийство, жестокость, нищету, слабоумие и умопомешательство». Наибольшую популярность писателю принесли экскурсы в область магического и сверхъестественного, в частности книги «Волшебное зеркало» (1865) — о зеркале, исполняющем желания, — и «Чародей горы» (1867), где собраны рассказы (ранее публиковавшиеся в журнале «Аргоси») о таинственном маге и астрологе по

имени Инноминато (Безымянный), живущем в средневековой Италии и стремящемся употребить свои способности на пользу людям.

Более всего Уильям Гилберт, вероятно, известен как отец драматурга Уильяма Швенка Гилберта — соавтора композитора Артура Салливана.

Рассказ «Последние владетели Гардонеля» впервые был опубликован в июле — сентябре 1867 года в журнале «Аргоси», а затем переиздан в составе сборника «Чародей горы» (Лондон: Страхан, 1867).

Последние владетели Гардонеля

I

Одно из самых живописных мест долины Энгадин — разрушенный замок Гардонель недалеко от деревни Мадалин. Во времена феодалов он был родовым поместьем баронов, и вместе с замком от отца к сыну передавалась по наследству и вся долина. Два последних барона приходились друг другу братьями. Молодые, красивые, хорошо сложенные, по своей природе они были скорее дьяволы, чем люди: чрезвычайно жестокие, алчные и деспотичные. Пока братья были слишком малы, о родовом имении заботился отец. Он на редкость справедливо относился к крестьянам в своем поместье и потому жил с сыновьями в таком довольстве, каким могли похвастаться немногие из крупнейших феодалов страны, — большинство из них были своевольны и слишком требовательны к своим рабам. В последние годы жизни старого барона одолевал жестокий недуг, так что он почти не покидал замка. Право распоряжаться имуществом и крестьянами перешло в руки сыновей. Передав им бразды правления, отец не желал окончательно отойти от дел и требовал подробного отчета обо всем, что происходит в имении. Зная повадки своих отпрысков и подозревая, что они постараются скрыть от него допущенные ошибки, он приставил к ним тайных агентов, которые должны были сообщать старику, говорят ли сыновья правду. Но агенты, вероятно, знали, что ему уже недолго осталось, и неизменно описывали поведение обоих молодых людей в самых радужных тонах, хотя уже тогда их образ жизни был далек от благочестивого. Напротив, дурные поступки братьев вызывали ужас у обитателей долины, которые частенько задумывались о том, что их ожидает в не столь отдаленном будущем.

После смерти старого барона Конрад, старший сын, унаследовал замок Гардонель и всю долину Энгадин; младшему, Герману, отошли огромные владения в Брешии, также принадлежавшие отцу. Уже в те давние времена население северной Италии поддерживало тесные связи с жителями долины Энгадин. Старый барон также пожелал, чтобы его состояние, если один из сыновей умрет бездетным, перешло к другому.

Теперь Конрад владел замком и его окрестностями, а Герман — поместьями в Южных Альпах, которые, хотя и были намного меньше, чем земли, отошедшие старшему брату, обладали огромной ценностью. Несмотря на то что наследство было поделено между братьями не поровну, они по-прежнему любили друг друга, у них были одинаковые вкусы, и это казалось незыблемым, подобно тому как разделявшие их горы незыблемы в их вечном покое.

Конрад едва успел пробыть одну-единственную неделю феодалом Энгадина, когда жители долины, на свою беду, поняли, сколь велика разница между ним и старым бароном. Вместо двух десятков вооруженных слуг, которых держал его отец, Конрад увеличил численность гарнизона до трехсот человек, и никто из его солдат не родился в долине. Это были настоящие головорезы из Богемии, Германии и Италии, которые тогда наводняли пограничные территории кантона Гризонс, и нашедшие убежище в горах разбойники, готовые на любое злодеяние и не знавшие жалости. Из них барон выбрал в телохранители злодеев, не знакомых с диалектом, на котором говорили крестьяне Энгадина, чтобы, делая свое дело, они не могли внять просьбам и оправданиям, с которыми к ним нередко обращались. Естественно было бы предположить, что содержание такой армии вооруженных слуг повлекло за собой большие расходы. Однако это заключение отнюдь не верно, поскольку барон оказался так же скуп, как и деспотичен. Он исхитрился содержать охрану, обложив фермеров помимо обычных феодальных податей огромными налогами. И горе тем несчастным селянам, что по бедности или из чувства справедливости не хотели расстаться с последними грошами. Тогда в деревню, не заплатившую сполна, посылали солдат для взимания долгов. Им было разрешено останавливаться в крестьянских домах, пока деньги не будут выплачены. Солдаты очень хорошо знали: если они не выполнят приказ, в замок лучше не возвращаться. Поэтому по отношению к крестьянам они были жестоки и беспощадны, вымогая деньги под пытками и любыми другими способами, которые казались им действенными. Взыскав долги, в наказание солдаты отнимали у несчастных крестьян все, что попадалось на глаза, а оставшееся имущество нередко приводили в негодность. Бесчисленные жалобы на жестокое обращение достигали ушей барона, но никогда не находили ответа или сочувствия. Барон считал, что действия его людей не являются противозаконными, наоборот, он наказывает преступников, посмевших не заплатить причитающиеся с них налоги и подати.

Грабительским набегам барона Конрада подвергалась не только долина

Энгадин. Летом, когда с гор сходил снег и солдаты могли преодолеть перевал, они делали вылазки в Итальянские Альпы, где безнаказанно разоряли дома и совершали всевозможные злодеяния, а нагрузившись добычей, возвращались в замок. Громкие жалобы доходили и до властей Милана. Но там не слишком торопились наказать обидчиков до наступления зимы, а в холодное время года перейти через перевал не рискнул бы никто, тем более армия. Когда снова наступала весна, в правительстве занимались другими неотложными делами и о наказании мародеров забывали. К тому же в дела территорий, куда повадились разбойники, итальянские власти Милана предпочитали не вмешиваться. Местное население было заражено ересью, похожей на нынешнее протестантство, и говорило не по-итальянски, а на особом диалекте. Правительство посчитало неблагоразумным наказать барона, как он того заслуживал, по требованию тех, кто этого не заслуживал вовсе. Единственным порицанием, которое все-таки было вынесено, стало отлучение барона от церкви папой. Но поскольку владелец замка и его слуги не принадлежали ни к одной из религий, их это только рассмешило.

И вот однажды во время разбойничьей вылазки в Вальтелин, недалеко от Бормио, барон увидел девушку необычайной красоты. Его сопровождали только двое слуг, но этого было достаточно, чтобы схватить ее и отвезти в Гардонель. Но если барон попытался бы это сделать, ему бы наверняка помешали крестьяне, работавшие на соседних полях, принадлежавших отцу девушки. К тому же барону было известно, что городская стража вооружена, предупреждена о его возможном появлении и в случае тревоги примчится через несколько минут. Поэтому барон, а он был не только своеволен, но и хитер, попытался завязать беседу с прекрасной незнакомкой. Его комплименты были встречены холодно, и барону пришлось удовольствоваться тем, что он узнал у одного из крестьян, как зовут девушку и где она живет. Ему рассказали, что зовут ее Тереза Биффи, что она дочь состоятельного фермера и что этот фермер с женой и четырьмя детьми, из которых Тереза самая старшая, живет на окраине деревни, захваченной бароном.

Получив эти сведения, он тут же направился к дому фермера и внимательно его рассмотрел. Дом оказался довольно большой и прочный, каменный, с железными решетками на окнах и крепкой дубовой дверью, которая надежно запиралась изнутри. Обойдя его вокруг, барон вернулся к слугам, которых, во избежание подозрений, оставил неподалеку, где их непросто было заметить.

— Лудовико, — сказал барон человеку, который был у него

лейтенантом и неизменно сопровождал своего хозяина во всех экспедициях, — как следует запомните этот дом. Думаю, в один прекрасный день, а скорее, в одну прекрасную ночь вам придется сюда наведаться.

Лудовико ответил, что горит желанием выполнить любой приказ хозяина, после чего барон и его люди покинули деревню.

У барона не выходила из головы красота Терезы Биффи, он был очарован ею. Его любовь к ней, вместо того чтобы со временем сойти на нет, с каждым днем становилась все сильнее. Наконец барон решил сделать ее своей женой. Около месяца спустя после того как барон увидел девушку, он приказал Лудовико ехать к Биффи и просить руки его дочери от имени барона. То, что можно получить отказ, даже не приходило ему в голову. Лудовико немедленно отправился в путь, в назначенное время достиг дома фермера и передал ему предложение барона. К великому удивлению Лудовико, он получил от Биффи решительный отказ. Не осмеливаясь передать хозяину столь невежливый ответ, Лудовико продолжал расписывать великие блага которые получит фермер и его семья, если предложение барона будет принято. Он объяснял, что не только Тереза станет самой знатной леди и будет владеть огромным богатством — золотом и драгоценностями, но и остальные члены семьи также станут благородными, а ее братья, когда вырастут, получат должности при бароне, и, кроме того, им отойдут большие поместья в долине Энгадин.

Фермер терпеливо выслушал Лудовико.

— Скажите вашему хозяину, — начал он свой ответ, — что я понимаю, какие огромные блага получит мое семейство, если мы примем его предложение. Скажите ему: хоть я не благороден и не богат, но и не беден; а будь я столь же беден, как слепой нищий, которого вы встретили по дороге, то все равно отверг бы подобное предложение от такого мерзавца, как барон. Вы правы, когда говорите, что все знают о его могуществе и богатстве. Но богатство свое он сколотил, грабя и богатых и бедных, тех, кто не сумел дать ему отпор, а могущественным стал тогда, когда взял на службу банду грабителей и головорезов, которые по его приказу рады убить первого встречного. Вы получили ответ, а теперь вам лучше поскорее удалиться, ибо я уверен: любой, кто служит барону Конраду, встретит самый недружелюбный прием у жителей здешних мест.

— То есть вы решительно отказываете? — переспросил Лудовико.

— Решительно, и без малейших колебаний, — был ответ фермера.

— И желаете, чтобы я передал ваш ответ в тех же выражениях?

— До последнего слова, — подтвердил фермер. — Но вы можете

добавить любые подобные выражения, которые вам нравятся.

— Будьте осторожны, — посоветовал Лудовико. — У вас еще есть время передумать. Если вы настаиваете, чтобы я передал барону ваши слова, я, разумеется, так и сделаю. Но барон не привык сносить оскорбления, а значит, скоро вам придется проститься с этим миром. Последуйте моему совету — примите его предложение, не то будет слишком поздно.

— Другого ответа я не дам, — сказал Биффи.

— Мне очень жаль, — тяжело вздохнул Лудовико, — теперь у меня нет выбора.

Он сел на коня и ускакал.

Не стоит, однако, думать, что совет, который Лудовико дал фермеру, его настойчивые просьбы и убедительные доводы были вызваны искренним душевным порывом. Напротив, едва услышав отказ фермера, Лудовико понял, что тот ни за какие блага не примет предложение барона. Поэтому, продолжая беседу, он исподтишка, но внимательно осматривал комнаты, прикидывая, как проще в них пробраться, поскольку рассудил, что скоро его пошлют сюда с гораздо менее мирной миссией.

Барон страшно разгневался, услышав ответ фермера.

— Вы трус и подлец! — закричал он Лудовико. — И вы оставили в живых мерзавца, который передал вашему хозяину такой ответ?

— Прошу вас, — сказал Лудовико. — Что я мог сделать?

— Проткнуть ему сердце! — возразил барон. — Я знаю, вы так и поступили с какой-то старухой за менее тяжкий проступок. Если бы на месте Биффи была его жена, вы наверняка выказали бы больше храбрости.

— Поступи я, как мне хотелось, — начал Лудовико, — я убил бы его на месте. Но тогда мне вряд ли удалось бы увезти с собой юную особу. В доме и на полях было слишком много народу. Поэтому я и посчитал, что надо передать вам ответ, прежде чем действовать дальше. Надеюсь, ваше сиятельство будет так добр и позволит мне наказать этого человека в награду за то терпение, с каким я его выслушал.

— Наверное, вы поступили мудро, Лудовико, — помолчав, заметил барон. — Сейчас я слишком зол на этого мерзавца и не могу говорить спокойно. Но завтра мы продолжим разговор.

На следующий день барон послал за лейтенантом.

— Лудовико, у меня есть для вас поручение, — сказал он. — Думаю, оно придется вам по вкусу. Возьмите с собой шесть человек, которым доверяете, и отправляйтесь после обеда в Бормио. Переночуйте по пути в какой-нибудь деревне, но не вздумайте ни словом обмолвиться о цели

поездки. Завтра утром вы покинете деревню по отдельности, чтобы вас не видели вместе во избежание подозрений. Встретитесь около дома фермера. Придете туда перед самым вечером, чтобы осмотреться на местности, так как, вероятно, вам придется напасть на дом. Но не показывайтесь никому на глаза, иначе все испортите. Как только закончите, спрячьтесь где-нибудь поблизости и дождитесь полуночи, когда все в доме крепко заснут. В этот час вам легче будет пробраться внутрь, чем ближе к рассвету. Я бы предпочел, чтобы вы вошли в дом, не применяя силу, но если не удастся, делайте, как посчитаете нужным. Увезите девушку, не причинив ей вреда. Если ее отец окажет сопротивление, убейте его, но только в крайнем случае. Я не хочу, чтобы его дочь меня возненавидела. Ничто не должно вам помешать добыть ее. Сожгите дом, делайте что хотите, но привезите ее сюда. Если выполните задание быстро и я останусь доволен, обещаю вам и вашим людям самую щедрую награду. А теперь ступайте и отправляйтесь в путь как можно скорее.

Лудовико обещал выполнить поручение барона как можно лучше и вскоре покинул замок в сопровождении шести отпетых головорезов, которых выбрал из всех солдат барона.

Биффи, без раздумий передавший барону столь дерзкий ответ, через некоторое время почувствовал сильное беспокойство, представив, как барон воспримет его послание. Он нисколько не раскаивался, что отказался от сделанного предложения, но понимал, что барон, человек жестокий и мстительный, непременно найдет способ отомстить. Единственное, что фермер мог сделать, — это как следует укрепить замки и засовы, оставить при себе хотя бы одного работника, чтобы в случае нападения послать его в Бормио за помощью, и рассказать о случившемся соседям. Все они без колебаний обещали помочь Биффи, чем только смогут, ибо местные жители стали относиться к нему как к храбрецу, который с негодованием отказался отдать дочь за барона.

Уже около полуночи на следующий день после отъезда Лудовико из замка Биффи проснулся, оттого что кто-то стучал в дверь его дома и просил впустить. Это был Лудовико. Ему и его людям не удалось тайно проникнуть в дом, и он велел остальным спрятаться, а сам решил взять крепость хитростью, прежде чем применять силу. На вопрос, кто он такой, Лудовико ответил, что он бедный путешественник, заблудился и просится на ночлег: он так устал, что не может сделать и шага.

— Мне жаль вас, — сказал Биффи, — но я не могу позволить вам войти в дом до наступления утра. Поскольку ночь тихая и теплая, вы можете спать на соломе под окнами, а утром я впущу вас и накормлю

завтраком.

Снова и снова Лудовико умолял впустить его, но все было напрасно. Биффи остался непреклонен в своем решении. В конце концов терпение разбойника лопнуло.

— Если не впустишь меня, мерзавец, — взревел он, изменившись в лице, — я сожгу дом дотла. Видишь, мне хватит людей, чтобы это сделать. — Он указал на подходивших солдат. — Так что лучше немедленно впусти меня.

Биффи сразу понял, с кем имеет дело. Вместо того чтобы ответить, он отошел от окна и разбудил домочадцев. Растолкал и работника, велел ему вылезти из окна позади дома, мчаться к соседям и рассказать, что на дом напали люди барона. Работник должен был сказать, чтобы они вооружились и спешили на помощь, и отправиться в Бормио за подмогой. Бедняга честно хотел выполнить приказ хозяина, но, вылезая из окна, упал и расшибся, так что с трудом мог передвигаться. Он хотел было уползти, но его заметили люди барона, догнали и убили.

Лудовико, видя, что ни тайно, ни угрозами в дом войти не удастся, попытался выломать дверь, но она была так основательно забаррикадирована изнутри, что из этого ничего не вышло. Тем временем Биффи и его домочадцы продолжали закладывать дверной проем вязанками дров и придвигать тяжелую мебель. Лудовико понял, что через дверь им в дом не попасть, и велел найти лестницу, чтобы добраться до окон второго этажа, поскольку на первом маленькие и высокие окна оказались наглухо закрыты, как это было принято в итальянских домах того времени. Но сколько они ни искали, лестницу найти не удалось. Лудовико задумался, что делать дальше. Была уже глубокая ночь, и он понимал, что если не успеет все сделать до рассвета, крестьяне выйдут в поле и поднимут тревогу. Наконец один из солдат предложил взять дрова, сложенные в поленницы за домом, положить их перед дверью и поджечь, добавив, что пламя вскоре заставит жильцов спасаться через окна второго этажа.

Едва он это сказал, как все принялись за дело. Дрова были уложены перед дверью высотой в несколько футов, искру высекли, ударяя кремнем о рукоятку меча над грудой опавших листьев. Огонь разгорелся мгновенно. Дрова были сухие, и уже через минуту дом охватил огонь. Но того, на что так надеялся Лудовико, не произошло. Правда, люди бросилась к окнам в передней части дома, но, увидев, как сильно разгорелось пламя, в страхе отступили. Крики женщин и детей, обезумевших от ужаса, смешивались с ревом огня, который, пожирая дрова и мебель, сложенные у двери, уже добрался до запасов корма для скота и кукурузы на первом этаже.

Лудовико скоро понял, что весь дом в огне и положение становится отчаянным. Мало того, что блеск пламени мог привлечь внимание соседей, страшно было подумать, как разгневается хозяин, если девушка погибнет в пожаре, и какое наказание постигнет его людей и самого Лудовико, если они вернутся ни с чем. Он стал кричать Биффи и домочадцам, чтобы они прыгали в окна — его люди их спасут. Лудовико не сразу поняли, но в конце концов Биффи поднес к окну двух младших детей и, опустив их как можно ниже, бросил в руки Лудовико и его людей. Дети оказались на земле, целые и невредимые.

Биффи повернулся к остальным и увидел, что за его спиной стоит Тереза. Он взял ее за руку, чтобы вывести вперед, и они почти добрались до окна, когда девушка услышала крик матери, неизлечимо больной и прикованной к постели. Не раздумывая, Тереза вернулась, чтобы помочь ей, и мужчины внизу, подумавшие, что добыча уже у них в руках, — а судьба остальных членов семьи их не слишком интересовала — были раздосадованы. Лудовико с тревогой ждал, когда Тереза снова появится в окне, но тщетно. Огонь охватил все строение, занялась крыша. Крики обитателей дома стихли. Тех, кто не задохнулся в дыму, пожрало ревущее пламя. Яркий свет чудовищного костра озарял всю округу.

По стечению обстоятельств, крестьянину, который жил в четверти мили от дома Биффи, нужно было на дальнее поле. Он поднялся раньше обычного, увидел огонь и тотчас разбудил соседей. Вооружившись, они отправились туда, где стряслась беда, сообразив, что дом загорелся не случайно. Тревога докатилась и до соседней деревни, оттуда до Бормио, и в скором времени целая толпа вооруженных мужчин спешила на тушение пожара. Добравшись до места, они обнаружили лишь огромную кучу пепла. Вокруг не было ни души: Лудовико и его люди скрылись.

К тому времени рассвело, и сгрудившиеся вокруг крестьяне стали искать причину пожара. Сначала они посчитали произошедшее несчастным случаем, но скоро обнаружили тело убитого работника, а потом — двух спасшихся детей, которые в страхе убежали и прятались в густой роще. С большим трудом удалось из них вытянуть, что дом подожгли разбойники, хотевшие их ограбить. Общее подозрение сразу пало на барона Конрада, ибо его постыдная репутация была лучшим тому подтверждением.

Как только Лудовико понял, что соседи подняли тревогу, он и его люди поспешили к лошадям, которых спрятали среди деревьев в миле от дома Биффи. Солнце только-только взошло, и вокруг уже можно было различить очертания предметов, но на расстоянии все скрывала тьма. Вдруг один из них указал на неясную фигуру в белом, замаячившую неподалеку.

Лудовико на мгновение замер, чтобы рассмотреть ее, и все увидели, что неясный силуэт словно отлетает прочь.

— Это та самая девушка, — сказал кто-то. — Она выбралась из огня. Она была в белом, когда отец подвел ее к окну. Я хорошо ее разглядел и не могу ошибиться.

— Это действительно та самая девушка, — подтвердил другой. — Я ее тоже видел.

— Надеюсь, вы правы, — сказал Лудовико, — тогда это настоящая удача. Если вернемся к барону без нее, нас ждет неласковый прием.

Они пошли быстрее, но, как ни ускоряли шаг, фигура в белом их опережала. Лудовико, начавший подозревать, что Тереза хочет сбежать от них, приказал своим людям мчаться за ней со всех ног и догнать. Но, как они ни старались, им не удалось приблизиться к девушке ни на йоту. Тем временем становилось все светлее, и фигуры уже почти не было видно. Прежде чем разбойники нашли лошадей, она растаяла в воздухе.

II

Перед тем как сесть на коня, Лудовико стал держать со своими людьми совет, что делать дальше: уехать сразу или обыскать окрестности и найти девушку. И то и другое было небезопасно. Если задержаться с отъездом, на них нападут крестьяне, они наверняка идут за ними по пятам. Если вернуться к барону без Терезы, можно с уверенностью сказать, что за провал операции им грозит нешуточное наказание. Наконец Лудовико пришла мысль, что хорошая ложь может удовлетворить барона и утишить его гнев, в то время как спастись от разъяренных крестьян надежды нет. Поэтому он приказал людям сесть на коней, отправляться к барону и сказать, что Тереза спаслась из огня и попросила их о помощи, но неожиданно появилась вооруженная толпа из Бормио, и девушка стала искать у нее защиты. Его люди могли подтвердить почти все, так как по-прежнему думали, что размытая фигура в белом и есть та самая девушка. На обратном пути Лудовико и его спутники с трудом перешли через перевал из-за сильного снегопада (дело было поздней осенью). На следующий день они достигли Гардонеля.

Гнев барона, когда он услышал, что его солдаты не справились с поручением, не поддавался описанию. Он приказал, чтобы Лудовико бросили в темницу, где он оставался более месяца. Его освободили лишь тогда, когда барону в одной из экспедиций понадобился человек, обладающий навыками и храбростью Лудовико. Остальных тоже наказали, хотя и не так строго, как командира, на которого они, разумеется, переложили всю вину.

Некоторое время после возвращения Лудовико барон вынашивал планы по поимке Терезы (поскольку он безоговорочно поверил словам Лудовико о ее спасении) и мести жителям Бормио за их живое участие в этом деле. Для осуществления своих планов он и освободил Лудовико из заточения.

Прошла зима, под лучами весеннего солнца быстро таял снег в горах. Однажды утром трое забрызганных грязью путешественников, по виду почтенных горожан, прибыли в гостиницу при монастыре и попросили аудиенции у Инноминато. В замок отправили посыльного, который вскоре вернулся и сообщил, что хозяин замка желает видеть посетителей, и немедленно. Когда они добрались до цели, то увидели, что к их встрече все готово, включая роскошную трапезу. Сначала путешественники держались несколько скованно, но побороть неловкость им помогли дружелюбие и любезность астролога. Разделив с ними трапезу, Инноминато спросил о цели визита. Один из путешественников, очевидно выбранный как представитель, поднялся с места и обратился к хозяину:

— Нас отправили к вашей светлости жители Бормио как делегацию, чтобы просить совета и помощи в том затруднительном положении, в котором мы оказались. Поздней осенью барон Конрад, феодал Энгадина, был в наших местах с не слишком благовидной целью, когда случайно увидел очень красивую девушку по имени Тереза Биффи, отец которой владел большой фермой в полутора милях от города. Говорят, на барона эта девушка произвела такое впечатление, что вскоре он послал к ее отцу гонца с предложением взять ее в жены. Биффи, которому была хорошо известна дурная репутация барона, решительно отклонил его предложение в самых неприглядных выражениях, и это страшно разгневало барона. Он решил не только заполучить девушку, но и отомстить за нанесенное оскорбление и послал вооруженных солдат, которые ночью напали на дом фермера и пытались войти, выломав дверь. Это им не удалось, и тогда они убили работника, посланного за подмогой в соседнюю деревню, и подожгли дом. Кроме двоих детей, которым удалось спастись, вся семья, включая молодую девушку, погибла в огне. Однако, судя по всему, барон (нет сомнения, что об этом ему сообщили лазутчики) получил ложное сообщение, что девушка сбежала и ее взяли под свою защиту жители Бормио. Тогда он прислал вооруженный отряд, который прибыл ночью в дом судьи и взял в заложники его единственного сына, мальчика пятнадцати лет. Его отвезли в замок барона. Люди барона сказали: если Терезу Биффи не передадут им до первого дня мая месяца, они не только казнят юношу, но барон отомстит всему городу. Испуганные этой угрозой,

мы в который раз обратились за защитой к правительству Милана; но, хотя нас приняли весьма учтиво и обещали помочь, у нас есть серьезные основания сомневаться, что мы эту помощь получим. Само собой, до сегодняшнего дня не было принято никаких мер, к нам не прислали ни одного солдата, хотя время, оставшееся до казни юноши, почти истекло. Поэтому горожане, услышав о вашей великой силе и мудрости, о том, что вы готовы прийти на помощь попавшим в беду, защитить слабых и угнетенных, решили просить вас взять город под свою защиту. Ибо барон такой человек, что можно не сомневаться: он сделает, как обещал.

Инноминато выслушал посланца терпеливо и внимательно и сказал, что у него нет ни солдат, ни слуг, тогда как у барона, чей греховный образ жизни ему известен, их много.

— Но всем известна великая мудрость вашей светлости, и после всего, что мы о вас слышали, мы уверены, вы сумеете нас защитить.

— Ваша история, — ответил Инноминато, — очень печальная, и вас, конечно, кто-то должен оградить от козней барона. Не буду скрывать: помочь вам в моих силах. Скажите несчастному судье, чтобы не тревожился о сыне. Я заставлю барона отпустить его. Уверен, мальчик жив, хотя и заточен в темницу. Что до ваших друзей, приславших вас сюда, скажите, что барон не причинит им вреда. Все, что вы должны сделать, — дать знать барону, что я спрятал девицу Терезу Биффи так, что барон никогда не найдет ее без моего на то желания.

— Но Тереза Биффи, — возразил посланец, — погибла вместе с отцом. Барон отомстит и вам, когда обнаружит, что вы не можете передать ему девушку.

— Ничего не бойтесь и делайте, как я сказал, — велел Инноминато. — Барон вас не тронет. Ступайте.

Делегация вернулась в Бормио и в точности передала жителям слова Инноминато. Хотя то, чего они достигли, удовлетворило далеко не всех, однако после долгих раздумий решено было действовать по совету астролога. Но это оказалось не так просто. В конце концов один из самых известных горожан, человек безрассудной храбрости, решил отправиться к барону, чтобы передать ему сообщение Инноминато. Его предложение было сразу и с благодарностью принято, и на следующий день он уже был в пути. Прибыв в замок Гардонель и объяснив цель своего визита, он был тут же сопровожден к барону, который сидел в большом зале, окруженный многочисленным отрядом вооруженных людей.

— Ну, — спросил барон, как только вошел посланец, — жители города наконец-то опомнились и прислали мне девицу Терезу?

— Нет, барон, — был ответ, — поскольку у них ее нет. Но они знают, где вы сможете получить сведения о ней.

— И где же?

— Единственный человек, которому известно, где ее можно найти, знаменитый астролог, который живет в замке недалеко от Лекко.

— Похоже, вы решили надо мной подшутить, — заметил барон сурово. — Надо быть или дураком, или храбрецом, чтобы на это решиться.

— Я ни тот и ни другой, ваше сиятельство. Я не шучу с вами. Все, что я сказал, истинная правда.

— Как вы об этом узнали?

— Из собственных уст Инноминато.

— Значит, вы обращались к нему за помощью, — гневно сказал барон.

— Не совсем так, ваше сиятельство, — отвечал делегат. — Мы обращались к нему за советом, что делать, если вы на нас нападете или сделаете с сыном судьи то, что обещали.

— И что он вам ответил?

— Только то, что я уже сказал: он один знает, где найти Терезу Биффи, и вы не сможете забрать ее без его позволения.

— Он говорил пренебрежительно, передавая мне это? — осведомился барон.

— Я бы так не сказал, ваше сиятельство.

Барон умолк, а потом спросил у посланца, сколько вооруженных слуг у Инноминато.

— Кажется, ни одного, — последовал ответ. — Во всяком случае, пока делегация горожан была в замке, мы таких не заметили.

Барон молчал, погруженный в свои мысли. Он предпочел бы встретиться с любым другим противником, нежели с Инноминато, чья репутация была ему известна и чьей учености он страшился больше, чем войска любого дворянина, — неважно, сколько солдат тот мог против него выставить.

— Мне кажется, — сказал он, — меня собираются обвести вокруг пальца. И если я прав, вас ждет ужасная месть. А вы останетесь здесь, — продолжал он, резко повернувшись к посланнику и бросая на него свирепый взгляд. — И будете моим заложником, пока я не нанесу визит Инноминато. А если меня обманули, вы умрете на том самом эшафоте, что и сын судьи.

Посланник напрасно протестовал, указывая на неблагородство такого поступка. Барон не захотел его слушать, и несчастного тут же увели и бросили в темницу.

Хотя барону вовсе не хотелось говорить с Инноминато, он все же немедленно стал готовиться к поездке и уже на следующий день отправился в путь, сопровождаемый только четырьмя слугами. Следует упомянуть, что барон всячески избегал встреч с Инноминато, так велика была его неприязнь к этому человеку. Но в действиях барона был некий фатализм, словно какая-то сила влекла его к Терезе.

Барон выбрал окольную дорогу к замку Инноминато. Во-первых, ему казалось неблагоразумным ехать через Вальтелин; а во-вторых, он подумал, что, заехав по пути к брату, сможет получить подробные сведения о таинственном человеке, с которым должен встретиться, поскольку жители Бергамо знали о нем гораздо больше, чем те, кто жил в долине Энгадин.

Барон благополучно прибыл в замок брата, где нашел подтверждение доходившим до него слухам о великой силе и учености астролога. Погостив денек у брата, он направился в Лекко. Под вымышленным именем барон оставался там в течение двух дней, ожидая сообщения от одного из своих людей, которого выслал вперед, чтобы узнать, есть ли в замке Инноминато вооруженная охрана. Склонный к предательству, барон всюду подозревал измену. Человек вернулся в назначенное время и сообщил: с большим трудом ему удалось все разведать, и он абсолютно убежден, что в замке нет не только вооруженного отряда, но даже, к его радости, ни одного солдата Инноминато целиком полагался на защиту тайных сил.

Совершенно уверенный, что опасность ему не угрожает, барон со своими людьми покинул Лекко и уже через несколько часов достиг монастырской гостиницы. Оттуда астрологу передали, что барон желает нанести ему визит. Через некоторое время пришел ответ. Инноминато согласился принять барона при условии, что тот прибудет один, поскольку его сопровождающим не дозволяется войти в замок. Барона не воодушевляла мысль в одиночку оказаться во власти опасного противника, к тому же, что было вполне вероятно, владеющего тайным оружием, и он несколько минут колебался. Но из любви к Терезе Биффи принял приглашение и последовал в замок за посыльным.

Инноминато принял гостя со сдержанной любезностью и, даже не предложив сесть, поинтересовался целью его визита.

— Возможно, вы слышали обо мне, — сказал барон. — Я лорд Энгадин.

— Откровенно говоря, — ответил Инноминато, — мне отлично известны ваше имя и репутация. И мне доставило бы гораздо больше удовольствия знать о них как можно меньше.

— Мне странно слышать ваш тон, — заметил барон, прилагая

огромные усилия, чтобы сдержать поднимающийся в нем гнев. — У человека с моим положением, конечно, есть враги, но меня несколько удивляет, что человек с вашей репутацией столь предвзято ко мне относится, принимая на веру обвинения в мой адрес.

— Вы судите обо мне неверно, — возразил Инноминато. — Итак, повторяю: какова цель вашего визита?

— Из послания, которое мне передали дерзкие жители Бормио, — начал барон, — я понял, что вам известен человек, у которого сейчас живет юная девица по имени Тереза Биффи. Я хочу узнать, верно ли это утверждение?

— Я сказал несколько иначе, — отозвался Инноминато. — Но допустим, что это так. И все-таки сначала я должен узнать, почему вас это интересует.

— У меня нет причин скрывать это от вас, — кивнул барон. — Я хочу сделать ее своей женой.

— В таком случае я вам помогу, — сказал астролог. — Но только при условии, что вы немедленно освободите посланца, которого держите в заточении без всякой причины, и юного сына судьи, а также предоставите им охрану для возвращения в Бормио. Еще вы должны пообещать, что прекратите досаждать жителям этой местности. Сделайте все это, и я обещаю, что Тереза Биффи не только станет вашей женой, но и принесет с собой приданое и свадебный убор, достаточно великолепный даже для того высокого положения, которое она обретет.

— Торжественно обещаю вам, — ответил барон, — что, как только состоится свадьба, посланец из Бормио и сын судьи покинут мой замок совершенно свободно и беспрепятственно. Помимо этого, я дам им хороший эскорт в дорогу.

— Вижу, вы уже замышляете предательство, — сказал Инноминато. — Но я не изменю своих требований. Через неделю после их возвращения в Бормио Тереза Биффи прибудет в замок Гардонель для свадебной церемонии. Теперь вам известны мои условия, и я требую сказать прямо, согласны вы на них или нет.

— Какие гарантии, что вы выполните обещание? — осведомился барон.

— Я даю вам слово. Это и есть гарантия.

Барон замолчал.

— Я принимаю ваше предложение, — наконец сказал он. — Но вы должны понять меня, господин астролог. Если не сдержите обещание, будь вы хоть в десять раз сильнее, я все равно вам отомщу. Я не тот человек,

который бросает слова на ветер.

— Я к этому готов, — невозмутимо ответил Инноминато. — Конечно, если у вас появится возможность осуществить вашу угрозу, так как на данный момент вы ее не имеете. Не думайте, что, если меня не окружают вооруженные до зубов головорезы, я слабее вас. Вы даже не представляете, как беспомощны сейчас. Взгляните на эту птицу, — продолжал он, снимая с гвоздя, вбитого в стену, деревянную клетку с обыкновенным воробьем, — она так же беспомощна в моих руках, как и вы. Более того, сейчас я наделю ее властью над вами, гораздо большей, чем моя над ней.

С этими словами он открыл дверцу клетки, воробей выпорхнул в окно и через мгновение скрылся из виду.

— Эта птица, — продолжал астролог, — будет следовать за вами, пока я не велю ей вернуться. Я не хочу, чтобы вы сомневались в правдивости моих слов. Лживость — неотъемлемая часть вашей натуры, поэтому вам трудно поверить в ее отсутствие в других. Прежде чем наказать вас за предательство, которое — я абсолютно в этом уверен — вы совсем скоро замыслите против меня, я буду честно вас предупреждать. Поскольку вы сами предатель, для вас естественно подозревать измену в других. Как только вы решите не выполнять обещания и не отпускать пленников или же задумаете что-то против меня, перед вами явится воробей. Если вы немедленно оставите эту мысль, с вами не случится ничего плохого, но если нет, вскоре вас постигнет страшная кара. В любое время и в любом месте птица окажется рядом с вами, и вы не сможете ничего с этим поделать.

Барон оставил Инноминато и возвратился со своими людьми в Лекко, где провел остаток дня в сборах в обратную дорогу. Возвращение окольным путем, каким он прибыл в Лекко, заняло бы слишком много времени, а он стремился быстрее вернуться в замок, чтобы немедленно освободить пленников и заняться приготовлениями к свадьбе с Терезой Биффи. Открыто поехать через Вальтелин с охраной — что было самой короткой дорогой — показалось ему слишком опасным. Поэтому барон решил разделиться и отослал трех людей назад, в замок своего брата, чтобы вернуть тому лошадей, которых они позаимствовали. Затем он и четвертый его человек (немец, который ни слова не говорил по-итальянски, и поэтому от него можно было не ждать вероломства) замаскировались под двух тирольских торговцев, возвращающихся на родину. Барон также купил двух мулов и кое-какие припасы в дорогу, чтобы не останавливаться на ночлег в деревнях, через которые придется проезжать, так как их могли узнать и отомстить.

На следующее утро барон и его слуга с двумя мулами ступили на борт парусного корабля с экипажем из шести человек, который был нанят специально для этого случая, и отправились в Колико. В начале пути они плыли по восточной части озера, но через несколько миль ветер, до этого умеренный, так усилился, что гребцы с трудом удерживали корабль на плаву. Капитан решил пересечь озеро, чтобы оказаться под защитой гор с другой его стороны. На полпути перед ними показались башни замка Инноминато, что напомнило барону о разговоре с его владельцем и о том, как пренебрежительно он с ним обошелся. Чем дольше барон смотрел на замок, тем сильнее разгорался в нем гнев.

— Мы еще встретимся, наглец, и тогда я сумею отомстить за оскорбление, которое ты нанес мне вчера! — не в силах сдержать ярость, громко воскликнул барон, к немалому удивлению матросов.

Едва он успел произнести эти слова, как воробей, очевидно, принесенный с берега порывом ветра, на мгновение опустился на борт и тут же улетел. Барон сразу вспомнил слова Инноминато о предостережении, связанном с этой птицей. Он почувствовал нечто, похожее на страх, постарался изменить ход мыслей и уже собирался отвернуться от замка, как гребцы в один голос закричали об опасности, и барон увидел, что в их сторону на всех парусах несется тяжело груженное судно раза в четыре больше их корабля, угрожая разбить его в щепки. Если бы это произошло, он и его люди сразу бы пошли на дно. К счастью, капитан странного судна услышал крики гребцов и быстро повернул штурвал, чтобы спасти им жизнь. Но корабль барона все-таки получил удар в корму такой силы, что едва не затонул.

Теперь барон Конрад понял, что слова Инноминато не были пустой угрозой, и, чувствуя себя всецело в его власти, решил по мере сил не осыпать его оскорблениями. Корабль продолжил путь и поздно вечером благополучно прибыл в Колико, где барон со слугой и мулами сошел на берег и без промедления отправился в путь. Они ехали, пока не наступила ночь. В поисках места для ночлега они смотрели по сторонам, но не видели ни жилья, ни какого-нибудь укрытия. Ко всему прочему, начался ливень. Продолжив путь, они уж было смирились с тем, что придется провести ночь под открытым небом, когда заметили совсем близко какой-то домишко. Дверь была открыта, виднелись отблески очага. Барон решил попроситься переночевать. Чтобы убедиться, что здесь им не грозит опасность, он велел слуге разведать, стоит ли дом отдельно или за ним начинается деревня. Если это селение, придется быть особенно осторожным, чтобы остаться неузнанным. Слуга бросился выполнять

приказ и вскоре вернулся с известием, что дом уединенный и он не смог отыскать поблизости других домов. Обрадованный, барон подошел к двери и стал просить обитателей дома дать ему кров на эту ночь, обещая, что наутро щедро их вознаградит. Крестьянин и его жена, больные и истощенные старики, охотно предложили путникам те скромные удобства, что имелись в их убогом жилище. Они привязали мулов за домом и внесли внутрь поклажу и сено, чтобы приготовить постель для барона и его слуги, состряпали нехитрый ужин из тех запасов, что принесли с собой гости, и вскоре барон и его слуга крепко спали.

Наутро они поднялись рано и отправились в дорогу. Через несколько часов барон, беседовавший со слугой, вдруг замолчал и погрузился в свои мысли. Он обдумывал условия, поставленные Инноминато, и неожиданно решил их не выполнять. Едва он стал думать об этом, как мимо головы мула стремительно пролетел воробей, а слуга, ехавший рядом, тронул барона за плечо и указал на движущийся в их сторону отряд из восьми или десяти вооруженных людей в четверти мили от них. Барон, опасаясь, что это местные жители, которые собираются на него напасть, и понимая, что нельзя терять ни минуты, поторопился скрыться в густой чаще и стал следить оттуда за проходившим мимо отрядом. Приблизившись к тому месту, где прятались барон и его слуга, отряд остановился, по-видимому заметив на дороге отпечатки копыт их мулов. Некоторое время люди совещались, словно раздумывая, что предпринять, но в конце концов вожак отдал приказ, и они продолжили путь. Немного выждав, барон покинул укрытие.

В тот день больше не произошло ничего, достойного упоминания. Поздно вечером они миновали Бормио незамеченными, благополучно достигли подножия горного перевала и на рассвете начали подъем. Погода была прекрасная, ярко светило солнце. Барон, считая, что опасности путешествия позади, был в отличном расположении духа и беседовал со слугой. У самой вершины тропинка сузилась настолько, что два мула не могли ехать рядом, и барон оказался впереди. Он задумчиво молчал, поглощенный мыслями о скорой свадьбе и о том, сколько времени может занять у посланца и сына судьи возвращение в Бормио. Как вдруг его посетила следующая мысль: он решил после выполнения всех условий спрятать где-нибудь поблизости людей, которые будут сопровождать заложников домой. После свадебных торжеств они захватят другого заложника, чтобы барон мог выдвинуть свои требования в отместку за нанесенное ему оскорбление. Это решение только зародилась у него в голове и еще не стало окончательным, как барон снова получил

доказательство силы астролога. На землю прямо перед ним слетел воробей и сидел не шелохнувшись, пока мул не приблизился к нему вплотную, а затем вспорхнул у самого лица барона. Проследив глазами за полетом птицы, когда та поднялась выше, барон почувствовал, как задрожала снежная гора у подножия одной из вершин. Мысли о предательстве тут же исчезли. Он закричал слуге, и оба ринулись вперед, чудом избежав лавины, сошедшей мгновение спустя на тропу, по которой они только что ехали.

Теперь барон еще больше убедился в огромной силе Инноминато, и его страх перед ним так усилился, что он решил больше не замышлять против него никакого предательства и отгонять любые мысли о мести.

На следующий день после прибытия в замок Гардонель барон приказал привести посланца и сына судьи. Самым любезным тоном он сказал, что весьма сожалеет о причиненных им неудобствах, но поведение жителей Бормио не оставляло ему выбора. Он готов признать, что посланец сказал правду, хотя после разговора с Инноминато не уверен, что жители города были дружелюбно к нему настроены или вовсе не виноваты. Тем не менее он не хочет показаться слишком суровым и даже не прочь подружиться с горожанами, если те пообещают больше не наносить ему оскорблений, — хотя как именно его оскорбили, сказать было трудно.

— В то же время не думаю, — продолжал он (в эту минуту алчность взяла верх), — что будет справедливо отпустить вас без выкупа.

Едва он произнес эти слова, как в окно влетел воробей и стал метаться по залу, пока не вылетел в то же самое окно. Присутствующие, заметив птицу, смотрели на нее довольно равнодушно — но не барон. Он отлично знал, что это предупреждение от астролога, и оглядывался, желая понять, какое несчастье может с ним произойти, если он не переменит мысли. После исчезновения птицы не последовало ничего необычного. Барон сменил тему и сказал пленникам, что они могут отправляться в путь, когда захотят. Чтобы обезопасить путешествие, он пошлет с ними четырех вооруженных слуг. Барон сдержал обещание, и несколько дней спустя его люди вернулись с известием, что посланец и сын судьи благополучно добрались до дома.

III

Сразу после отъезда пленников барон начал делать приготовления к свадьбе, поскольку, ненавидя в душе Инноминато, он все же был абсолютно уверен, что тот сдержит обещание. Его уверенность еще больше окрепла, когда от астролога прибыл посланец, сообщивший, что в следующую среду его нареченная невеста прибудет вместе со свитой, и Инноминато уведомляет об этом, чтобы все было готово для церемонии.

Барон не жалел ни денег, ни сил, чтобы бракосочетание получилось пышным и великолепным. Заброшенную часовню замка привели в порядок, отремонтировали алтарь и увешали стены гобеленами. В большом зале шли приготовления к грандиозному пиру, который должен был состояться после церемонии. На возвышении в главном зале, куда войдет невеста, поставили два парадных кресла для барона и его будущей жены.

Настал день свадьбы. Все было готово к приему невесты. Поскольку часа ее прибытия не знал никто, все, занятые в церемонии, поднялись с петухами и пребывали в ожидании и готовности; барон, в сильном волнении, взобрался на пожарную вышку, чтобы отдать приказания, как только кавалькада окажется в его поле зрения. Проходил час за часом, но Терезы не было видно. В конце концов барон начал ощущать сильное беспокойство по поводу ее приезда.

Наконец туман, покрывавший часть долины, рассеялся, и барон испытал облегчение: вдалеке он увидел группу путешественников, приближающихся к замку. Там были и всадники, и пешие. Впереди на прекрасной белой лошади ехала невеста, ее лицо было закрыто плотной вуалью. С двух сторон ее сопровождали великолепно одетые кавалеры, сзади — фрейлина и двое слуг; в арьергарде трусили несколько мулов, груженных тюками. Барон спустился с вышки и подошел к воротам замка, чтобы встретить невесту. Один из кавалеров свиты, исполняя желание своей хозяйки, поехал вперед, чтобы переговорить с бароном.

— Леди Тереза, — сказал он барону, — просит вас о любезности позволить ей переменить платье, прежде чем она встретится с вами.

Барон, разумеется, охотно согласился, а затем удалился в зал, предназначенный для церемонии приема. Очень скоро в замок прибыла Тереза. Ей помогли сойти с лошади, и она проследовала вместе с фрейлиной и горничной, которую нанял барон, в свои покои, а двое погонщиков мулов отнесли наверх большой сундук с подвенечным платьем.

Не прошло и часа, как Тереза вышла из комнаты, чтобы быть представленной барону, и в сопровождении придворного отправилась в зал. Как только она вошла, у всех присутствующих вырвался возглас восхищения: настолько необычайной была ее красота. Барон, задыхаясь от нетерпения, двинулся навстречу, но прежде чем он подошел, Тереза опустилась на колени и оставалась так, пока барон не поднял ее.

— Не надо становиться передо мной на колени, прекраснейшая, — сказал он. — Наоборот, все присутствующие должны склониться в восхищении перед вашей удивительной красотой, а не вы перед ними.

С этими словами барон взял Терезу за руку и подвел к одному из кресел, стоявших на возвышении, а затем, опустившись в соседнее кресло, приказал начинать церемонию представления. То и дело к ней подводили кого-то, и всех она приветствовала с учтивостью и дружелюбием, чем очень расположила к себе присутствующих.

Когда церемония представления подошла к концу, барон приказал всем присоединиться к процессии, взял Терезу за руку и повел в часовню. Когда все заняли свои места, священник провел венчание, и новобрачные вместе со слугами и гостями направились в пиршественный зал. Трапеза оказалась превосходной, но гости не отрывали глаз от барона и его невесты. Трудно было бы найти пару красивее. Барон, повторимся, обладал мужественной красотой лица и тела, а его невеста превзошла бы в красоте любого смертного. Даже роскошные одеяния меркли, не выдержав такого соперничества.

Когда возгласы удивления и восхищения постепенно стихли, гости начали пировать. У всех было прекрасное настроение, в зале раздавались шутки и смех. Даже барон стал дружелюбным и любезным, и трудно было представить, что это жестокий и хладнокровный тиран. Его лицо сияло добротой и расположением. Хотя он всецело был занят невестой, но все же успевал уделять внимание гостям и много раз поднимался с места, чтобы проследить за слугами. Наконец он обвел взглядом столы, словно кого-то искал, и подозвал мажордома. Тот склонился к хозяину, чтобы выслушать указания.

— Я не вижу придворных леди Терезы, — сказал барон.

— Ваша светлость, их здесь нет, — ответил мажордом.

— Как нет? — раздраженно переспросил барон. — Вы должны найти для них место в зале. Где они?

— Ваша светлость, их здесь нет, — повторил мажордом, который по выражению лица барона понял, что тот разгневан. — Они покинули замок сразу, как только с мулов сняли груз, а ее светлость направилась в свои покои. Я проверял приготовленные для них комнаты, когда слуга сообщил что придворные и их слуги покинули замок. Я поспешил за ними и просил вернуться, ибо был уверен, что ваше сиятельство расстроится, если они не останутся на пир. Но они ответили, что получили приказ уехать из замка сразу, как только увидят, что леди Терезу благополучно встретили. Я снова и снова просил их остаться, но тщетно. Они поспешили обратно, а я вернулся в замок.

— Невоспитанные мерзавцы! — вскричал барон в гневе. — Задать бы им плетей, чтоб научились себя вести!

— Не сердитесь на них, — сказала Тереза и нежно накрыла ладонью руку мужа, — они повиновались приказу своего хозяина.

— Клянусь, — сказал барон, — однажды я отомщу ему за это оскорбление. Ничтожество, деревенщина, вот он кто!

Едва он произнес эти слова, как оглянулся в поисках воробья, но птица не появилась. Ее отсутствие встревожило барона еще больше: он испугался, что месть астролога падет на его голову без предупреждения. Тереза, видя выражение его лица, всячески постаралась успокоить барона, но ей это удалось лишь отчасти. Он продолжал тревожно озираться, пытаясь понять, откуда ждать беды. Он поднес было кубок к губам, но подумал, что вино может быть отравлено. От еды он отказался по той же причине. Мысль, что он может умереть, едва обретя долгожданное счастье, поразила барона. Но благодаря нежным уговорам Терезы, а также отсутствию каких-либо видимых признаков гнева Инноминато он наконец совершенно успокоился и продолжал пировать.

Задолго до окончания пира барон и его жена покинули зал и через свои покои вышли на террасу замка. День быстро клонился к вечеру, было тепло и тихо, на небе ни облачка. Некоторое время они рука об руку прогуливались по террасе, а потом опустились на скамью. Барон обвил рукой талию Терезы, которая склонила голову ему на плечо, и они наблюдали, как солнце величественно садится за горы. Оно почти скрылось, когда барон взял жену за руку.

— Ты замерзла, дорогая, — заметил он. — Идем в дом.

Тереза ничего не ответила, но встала с места и позволила мужу проводить ее в комнату, выходившую на террасу и освещаемую большой медной лампой, свисавшей на цепи с потолка. Когда они оказались под самой лампой, свет которой казался ярче по мере наступления сумерек, Конрад снова обнял жену и нежно прижал ее голову к своей груди. Они простояли так несколько минут, упоенные счастьем.

— Ты правда любишь меня, Тереза? — спросил барон.

— Люблю вас? — переспросила Тереза, пряча лицо у него на груди. — Да, больше всех на свете. Мое существование зависит от вашей жизни. Когда она прервется, наступит и мой конец.

— Поцелуй меня, любимая, — сказал оглушенный счастьем Конрад, как только она произнесла эти слова.

Тереза не поднимала лица с его груди. Конрад, чтобы преодолеть ее смущение, положил руку на голову Терезы и нежно запрокинул ее, чтобы поцеловать в губы.

И вдруг застыл, задохнувшись от ужаса. В свете лампы, горевшей у

него над головой, он не увидел ангельских черт Терезы. Это было отвратительное лицо трупа, восставшего из могилы. Лишь в глазницах, сиявших жутким фосфорическим светом, мерцали признаки жизни. Конрад хотел выбежать из комнаты и позвать на помощь, но тщетно. Одной рукой она крепко обвила барона за талию, закрыв ему рот липкой ладонью, и со страшной силой швырнула на пол. Склонилась над ним, прильнула к его шее губами и стала медленно сосать кровь; барон, не в состоянии ни шевельнуться, ни закричать, понял, какая страшная судьба его ждет.

Несколько часов Конрад оставался в руках своей жены-вампира. Наконец силы покинули его, и он потерял сознание. Очнулся барон, когда солнце давно встало. Поднявшись с пола, бледный и дрожащий от страха, он стал дико озираться вокруг, опасаясь, что Тереза все еще здесь. Но он был в комнате совершенно один. Несколько минут Конрад раздумывал, как быть. Наконец он поднялся с кресла, чтобы выйти из комнаты, но был так слаб, что едва держался на ногах. Он направился во внутренний двор. Все, кого он встречал, склонялись в глубоком поклоне, но на лицах было написано удивление: так не похож был барон на стройного молодого человека, которого они видели накануне. Услышав веселый детский смех, барон свернул туда, откуда он доносился. К его немалому замешательству, он нашел там свою жену Терезу в полном расцвете красоты; она играла с детьми, матери которых пришли взглянуть на нее и теперь стояли поодаль, восхищенные снисходительной добротой баронессы к их малышам.

Конрад в изумлении застыл на месте, глядя на жену. Ему показалось, что события прошлой ночи были всего лишь кошмарным сном. Но чем тогда объясняется его слабость? Тереза, продолжая развлекаться с детьми, случайно подняла голову и заметила мужа. Она вскрикнула от радости и, схватив на руки красивого ребенка, с которым играла, подбежала к мужу.

— Смотрите, милый Конрад, какой славный малыш! Он похож на херувима!

Барон несколько мгновений смотрел на жену, не произнося ни слова.

— Мой дорогой муж, что случилось? — встревожилась Тереза. — Вы нездоровы?

Конрад ничего не ответил. Он резко повернулся и поспешил прочь, в то время как Тереза, с выражением тревоги и беспокойства на лице, следила за ним глазами. Не останавливаясь, он вошел в малую гостиную, где каждое утро отдавал приказания подчиненным, и опустился в кресло, чтобы разобраться с мыслями. В комнату вошел Лудовико, в обязанности которого входило каждое утро являться к хозяину за инструкциями, и, учтиво поклонившись барону, остался стоять в стороне, ожидая, пока барон

заговорит с ним и бросая любопытные взгляды на изменившегося хозяина. Наконец барон спросил, отчего он так странно на него смотрит.

— Простите мою смелость, ваша светлость, — сказал Лудовико, но я опасался, что вы заболели. Должно быть, я ошибся.

— Что заставило вас думать, что я нездоров? — осведомился барон.

— Лицо у вашей светлости гораздо бледнее, чем обычно, и на шее маленькая ранка. Надеюсь, вы не сильно пострадали?

Последнее замечание Лудовико говорило о том, что ночные события не были галлюцинацией. Какое еще нужно доказательство, если на шее у него остались следы зубов жены-вампира? Барон понимал, что действовать надо немедленно, и это помогло ему собраться с мыслями. Он решил поехать к отшельнику, жившему в горах в четырех лигах [5] от замка. Тот был знаменит не только своим благочестием, но и тем, что изгонял злых духов. Барон велел Лудовико без промедления оседлать выносливого мула, поскольку дорога к жилищу отшельника была не только трудной, но и опасной.

Лудовико поклонился и, узнав, что других приказаний не будет, вышел из комнаты, удивляясь, зачем хозяину понадобился мул, ведь обычно тот ездил на самых резвых жеребцах. Но объяснил это тем, что барона, должно быть, одолел серьезный недуг и он хочет обратиться к искусному врачевателю.

Как только Лудовико вышел из комнаты, барон позвал одного из проходивших мимо слуг и велел принести завтрак, надеясь, что обильная еда даст ему силы для путешествия. Отчасти он оказался прав, хотя сил ему придало скорее выпитое вино, потому что ел барон мало и без аппетита.

Он спустился во внутренний двор замка, стараясь избежать встречи с женой. Там он нашел оседланного мула и отправился в путь. Сначала барон ехал медленно, все еще чувствуя себя слабым и вялым, но, поднявшись выше в горы, взбодрился под прохладным бризом. Он стал думать, как избавиться от ужасной вампирши, на которой женился и в чьей истинной сущности не оставалось сомнений. Он размышлял об этом, пока не оказался на узкой тропе, спускавшейся с высокой горы. Было трудно удержаться в седле, и барон прикладывал все усилия, чтобы не упасть. Но страха он не испытывал, думая о том, как избавиться от Терезы и отомстить Инноминато. Эта месть будет справедливым наказанием за его вероломство. Чем дольше барон думал о мести, тем взволнованнее становился.

— Жалкий негодяй! — воскликнул он наконец. — Дай только избавиться от мерзкой твари, которую ты мне прислал, и клянусь, я сожгу

тебя живьем в твоем замке! Это будет тебе справедливым возмездием за колдовство!

Едва Конрад успел произнести эти слова, как оказалось, что тропа, по которой он ехал, ведет по крутому склону к бездонной пропасти. Он успел соскочить с мула, из-под копыт которого полетели камни, и стал отступать назад, отчаянно хватаясь за все подряд, чтобы удержаться на краю пропасти. Но за что бы он ни цеплялся, ничто не помогало — он постепенно соскальзывал к краю бездны. Попытки спастись становились все неистовее по мере того, как барон приближался к верной гибели. Его ноги уже висели над пропастью, когда ему удалось ухватиться за камень, который держался лучше других, и задержать падение. Он в ужасе смотрел на пропасть внизу, и вдруг перед его глазами возникли воспоминания, такие ясные, словно он видел все воочию. Несчастный крестьянин, подстреливший дичь, которая все еще билась среди ветвей, его жена и дети, бесполезно умолявшие барона о пощаде.

Видение исчезло, и он вспомнил мальчика с ножом в руке, нанесшего удар собственной матери за обиду, которую она ему причинила.

Воспоминания сменяли друг друга. На сей раз он очутился в деревушке, все жители которой лежали мертвые в своих домах, потому что в начале зимы он в приступе гнева велел солдатам забрать у них все припасы. Начавшаяся вскоре метель не позволила крестьянам выйти из дома, и все они погибли.

Мысли барона вернулись к бедственному положению, в котором он оказался. Он бросил взгляд в пропасть, разверзшуюся под ним, и, будто во сне, увидел дом фермера Биффи, его самого с женой и детьми, довольного и счастливого.

И в этот миг камень, за который он держался изо всех сил, стал двигаться, и барон уже попрощался с жизнью, когда вдруг рядом сел воробей, вспорхнул и умчался прочь.

— Спасите меня, — вскричал барон, — и, клянусь, никто ни о чем не узнает!

Не успел он произнести эти слова, как на склоне появился пастух с длинным посохом. Пастуху было хорошо известно, что барон за человек, и все же он поспешил ему на помощь. Добравшись до выступа скалы в нескольких футах над головой барона, он протянул ему свой длинный посох, в который барон так вцепился, что едва не утащил в пропасть и пастуха. К счастью, тот был очень силен. Барон с трудом дотянулся до выступа скалы, и пастух тащил его, пока барон не оказался на безопасном расстоянии от бездны. Как только Конрад понял, что самое страшное

позади, он безумным взглядом обвел все вокруг, голова у него закружилась, и он рухнул на землю без чувств.

Когда барон пришел в себя, он был так слаб, что не мог вернуться в замок до захода солнца. Поэтому охотно отправился вслед за пастухом в его хижину в горах, где ему предложили переночевать. Пастух достал все припасы, какие только нашлись в хижине, и приготовил сытный ужин. Но у Конрада не было аппетита, и даже изысканные деликатесы сейчас показались бы ему безвкусными. Быстро стемнело. Пастух приготовил постель из охапки листьев, положив на нее плащ, и измученный барон крепко проспал до утра. Ничто не нарушило его сон.

Ночной отдых придал ему сил, и наутро барон собрался вернуться в замок с пастухом, которого пообещал щедро наградить. Он больше не собирался к отшельнику, памятуя о гневе Инноминато. В последнее время он получил достаточно доказательств его огромной силы. Вскоре барон благополучно добрался до дома, и пастух, получив обещанную награду, отправился восвояси. Войдя во двор замка, барон нашел свою жену в большой тревоге и печали, окруженную слугами. Завидев мужа, она с криками радости и удивления бросилась к нему, чтобы заключить в объятия. Но барон резко отодвинул ее в сторону и поспешно направился в комнату, где обычно отдавал распоряжения. Лудовико, услышавший о прибытии хозяина, ждал его там.

— Лудовико, — сказал барон, как только увидел своего лейтенанта, я хочу, чтобы вы как можно скорее сделали то, что я прикажу, причем втайне от всех. Идите и приготовьте двух хороших лошадей — одну для вас, другую для меня. Возьмите необходимые припасы и снаряжение на два-три дня. Как только все будет готово, покиньте замок, не сказав никому ни слова, и ждите меня в лиге от горы, я догоню вас не позже чем через два часа. Исполните все в точности и не пожалеете.

Лудовико оставил барона, чтобы выполнить приказ, и сразу же в комнату вошел слуга с вопросом, может ли войти леди Тереза.

— Скажите хозяйке, — ответил барон чрезвычайно ласково, — я сейчас очень занят и надеюсь, она извинит меня, но я с нетерпением буду ждать ее после полудня.

Барон удалился в свои покои, обдумывая подробности плана действий. Он решил навестить брата Германа и спросить у него совета, как лучше поступить в этом ужасном положении. Если не удастся придумать ничего лучше, он отдаст Герману замок Гардонель и всю долину Энгадин с условием, что брат обеспечит ему ренту — достаточную, чтобы вести привычный образ жизни, а сам отправится в дальние страны, где его не

сможет настигнуть чудовище, которым оказалась его жена. Разумеется, он не собирался встречаться с Терезой после полудня. Он просто отменил ее визит, чтобы выбраться из замка незамеченным.

Спустя час после того как Лудовико его оставил, барон торопливо вышел из замка через черный ход, несмотря на слабость, и поспешил навстречу верному слуге, который ждал его с лошадьми. Барон оседлал коня и в сопровождении Лудовико отправился к брату, куда прибыл через три дня целым и невредимым. Герман с радостью его встретил, хотя и был немало удивлен тем, как он изменился.

— Мой дорогой Конрад! — воскликнул брат. — Что с тобой случилось? Ты выглядишь таким бледным и измученным. Ты был болен?

— Хуже, в тысячу раз хуже, — ответил Конрад. — Пойдем туда, где мы сможем остаться наедине, и я расскажу тебе все.

Герман привел брата в свои покои, где Конрад рассказал ему о страшных событиях, которые с ним произошли. Герман внимательно слушал, поначалу думая, что брат повредился рассудком. Но рассказ Конрада был таким обстоятельным и ясным, что Герман изменил свое мнение. Он обещал подумать над предложением Конрада отдать ему долину Энгадин в ренту. Но прежде чем перейти к этому вопросу, он посоветовал Конраду отправиться на его виллу на побережье, милях в десяти от Генуи. Там, в тишине и покое, силы его быстро восстановятся.

Конрад поблагодарил и охотно принял его предложение. Два дня спустя он отправился в путь и к концу недели благополучно прибыл на виллу.

Вечером после приезда Конрад, который весь день бродил по вилле и окрестностям, сидел у окна с видом на море. Вечер был удивительно тихий, и барон наслаждался покоем, чего не было уже несколько дней. Солнце садилось в море, взошла луна, и звезды одна за другой засияли в безоблачном небе. Солнце, опускавшееся в морские воды, напомнило ему, как он висел над пропастью. Едва барон подумал об этом, как кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел, что перед ним стоит, сияя ослепительной красотой, его жена Тереза!

— Дражайший Конрад, — сказала она с любовью, — почему вы так свирепо на меня смотрите? С вашей стороны было очень невежливо оставить меня, не сказав ни слова о ваших намерениях.

— Мерзкая тварь! — воскликнул Конрад, вскакивая с кресла. — Оставь меня! Почему ты меня преследуешь?

— Не будьте ко мне так жестоки, мой дорогой муж, — продолжала Тереза. — Чтобы угодить вам, меня взяли из могилы, и мое существование

теперь зависит от вас.

— Скорее, моя смерть, — возразил Конрад. — Еще одна ночь, подобная той, и я труп.

— Нет, дорогой Конрад, в моих силах дать вам бессмертие. Выпейте это. — Она взяла со стола позади нее серебряный кубок. — И завтра все плохое кончится.

Конрад бессознательно принял у нее кубок и хотел было поднести к губам, но вдруг замер, содрогнувшись, и поставил его обратно на стол.

— Это кровь, — сказал он.

— Конечно, мой дорогой муж, — ответила Тереза, — что же еще? Моя жизнь зависит от вашей, и когда вы умрете, не станет и меня. Выпейте, прошу вас, — настаивала она, протягивая ему кубок. — Смотрите, солнце уже скрылось в волнах, еще минута, и станет темно. Выпейте, Конрад, заклинаю, или эта ночь будет для вас последней.

Конрад снова взял кубок, но не смог поднести к губам и снова поставил на стол. В комнату проник лунный свет, словно подтверждая, что день на исходе. Тереза, превратившись в ужасную вампиршу, бросилась к мужу и, сбив его с ног, впилась зубами в полузажившую рану на шее. Наутро в комнату вошли слуги и обнаружили на полу мертвого барона. Терезы нигде не было, и с тех пор никто о ней не слышал.

Нам осталось рассказать немногое. Герман стал хозяином замка Гардонель и долины Энгадин и обращался со своими вассалами еще более жестоко, нежели его брат. Наконец, доведенные до крайности, они подняли восстание и убили его. Долина впоследствии стала частью кантона Гризонс.

Энн Кроуфорд

Энн Кроуфорд, баронесса фон Рабе (1846—?) — сестра некогда необычайно популярного американского писателя Ф. Мэриона Кроуфорда, но о самой Энн Кроуфорд, однако, известно крайне мало. Ее брат провел значительную часть жизни в Италии, и там же происходит действие самого известного из рассказов Энн Кроуфорд, из чего можно заключить, что и она жила в этой стране.

Кампанья — равнина к северу от Рима, чрезвычайно любимая художниками-пейзажистами XIX столетия.

Рассказ «Таинственное происшествие в Кампанье» был впервые опубликован под псевдонимом фон Диген в альманахе «Время колдовства: Рождественный ежегодник Анвина на 1887 год» под редакцией сэра Генри Нормана (Лондон: Т. Фишер Анвин, 1886). Позднее, в 1891 году, тот же издатель выпустил это произведение в составе книги Кроуфорд

«„Таинственное происшествие в Кампанье“ и „Тень на волне“», вышедшей в серии «Библиотека псевдонимов» (также под псевдонимом фон Диген).

Таинственное происшествие в Кампанье

I Рассказ Мартина Детайе о том, что произошло в Винья-Мардзиали

Голос Марчелло звучит у меня в ушах. Наверное, потому, что после многих лет разлуки я встретил старого знакомого, который принимал участие в его необычайной истории. Мне захотелось рассказать об этом, и я попросил месье Саттона помочь мне. Он записал все, что помнил о тех событиях, и теперь пожелал объединить свои воспоминания с моими, чтобы поведать о Марчелло.

Однажды весной он появился в моей небольшой мастерской среди лавровых деревьев и зеленых аллей виллы Медичи.

— Идем, сын мой, — объявил он, — оставь свои краски.

Он без церемоний забрал у меня палитру.

— На улице ждет экипаж, мы едем искать место уединения.

Говоря эти слова, он мыл кисти, что смягчило мое сердце, поскольку я очень не любил это делать. Затем снял с меня бархатную куртку и подхватил висевшее на гвозде приличное пальто. Я позволил ему одеть себя, как ребенка. Мы всегда делали, как он хотел, и Марчелло знал это. Уже через мгновение мы сидели в экипаже и ехали по виа Систина. Мой попутчик велел кучеру править к воротам Сан-Джованни.

Я должен рассказать эту историю, как могу, хотя мои приятели — а они не знают, как хорошо я говорю по-английски, — объясняли мне, что писать — это совсем другое дело. Месье Саттон попросил меня сделать это на его языке, потому что он совсем забыл мой и не отважится писать на нем, но все же пообещал исправить мои ошибки, ибо то, о чем я должен рассказать, может быть, не покажется смешным, поэтому надо заставить людей улыбаться, когда они будут читать про Марчелло. Я сказал ему, что хочу написать об этом для своих соотечественников, а не для его; но он напомнил, что у Марчелло было много друзей-англичан, которые все еще живы, и что англичане лучше помнят о былом, чем мы. Уговаривать его оказалось бесполезно, он ни за что не уступал, и поэтому я согласился с его желанием. Я подумал, что у него есть причина, о которой он мне не говорит, но для него она очень важна. Я переведу все это на свой язык для моих соотечественников. Мне всегда кажется, что ваши английские фразы заворачивают в сторону, или пытаются заглянуть за угол, или встают на голову, и у них столько же хвостов, как у бумажного змея. Я постараюсь не пользоваться родным языком, но месье Саттон должен простить меня, если я забудусь. Он может быть уверен, что я делаю это не для того, чтобы его

оскорбить. Теперь, когда я все объяснил, позвольте мне продолжить.

Когда мы проехали воротами Сан-Джованни, экипаж поплелся как черепаха. Но Марчелло никогда не был практичным. Да и как он мог быть практичным, спрашиваю я вас, если постоянно думал об опере? Мы еле ползли, а он мечтательно глядел перед собой. Наконец, когда мы добрались до той части города, где начинались небольшие виллы и виноградники, он стал озираться вокруг.

Это место довольно известно. За железными воротами с поржавевшими именами и инициалами начинается прямая аллея, вдоль которой растут розы и лаванда. Аллея ведет к заброшенному дому, позади него — запущенный сад. Таких домов сколько угодно в Кампанье. Здесь так тихо и уединенно, что если вас будут убивать, криков никто не услышит. Мы останавливались у таких ворот, Марчелло вставал, заглядывая внутрь, но нигде ему не нравилось. Он хотел во что бы то ни стало найти место, которое бы его полностью устроило, но пока ничего не находил. Он вскакивал и бежал к воротам, возвращался и говорил что-то вроде: «Окна такой формы, что это помешает моему вдохновению» или «Эта желтая краска заставит меня провалить дуэт во втором акте». Один дом ему совсем было понравился, но тут он заметил ноготки, растущие вдоль тропинки, а он их ненавидел. Так мы продолжали ехать и искать, и я уж думал, что сегодня удача от нас отвернулась. Но мы все-таки нашли то, чем он остался доволен, хотя место было слишком уж уединенное, и я представил, как это, должно быть, здорово: жить вдали от мира, под сенью печальных олив и зеленых дубов — вы называете их падубами.

— Я стану здесь жить и прославлюсь! — решительно сказал он и потянул за железный прут.

В доме раздался громкий звонок. Мы подождали, он нетерпеливо позвонил еще раз и топнул ногой.

— Тут никто не живет, старина! Идем, уже вечереет, здесь довольно сыро, а ты знаешь, что сырость для тенора…

Он снова топнул.

— Разве ты тенор? — перебил он меня. — Глупец! Басом быть гораздо лучше, ему ничто не повредит. А ты, оказывается, тенор, а еще называешь себя моим другом! Отправляйся домой без меня.

«Интересно как? Пешком?»

— Отправляйся и пой любовные песенки своим тощим английским девицам! Они отблагодарят тебя чашкой мерзкого чая, и ты окажешься в раю! А это мой рай, и я останусь здесь, пока не прилетит ангел и не откроет дверь!

Раздраженный и капризный, он вел себя так, когда чувствовал, что его любят, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как ждать; я обернул горло носовым платком от сырого воздуха и пропел один или два пассажа.

— Тихо! Замолчи! — воскликнул он. — Я не услышу, если кто-нибудь подойдет.

Наконец дверь открыл сторож, или гвардиано, как их там называли. Он посмотрел на нас, как на умалишенных. Безусловно, один из нас был сумасшедший, но только не я. Марчелло говорил на довольно хорошем итальянском языке, правда с французским акцентом, но человек его понял, особенно когда Марчелло вынул кошелек. Я слышал, как он на одном дыхании привел множество чрезвычайно убедительных доводов, затем в грубую ладонь гвардиано легла золотая монета, и оба направились к дому, при этом сторож покорно кивал. Марчелло обернулся.

— Поезжай домой, — бросил он через плечо, — или опоздаешь на свою жуткую английскую вечеринку! Я остаюсь ночевать.

Ну и ну! Я воспользовался его разрешением и уехал. Для тенора голос — такой же тиран, как ревнивая женщина. Кроме того, я был страшно зол, но в конце концов рассмеялся. У Марчелло был темперамент творческой натуры, и его поведение казалось нам то абсурдным, то надменным, то чрезвычайно раздражающим; но обычно это продолжалось недолго, и все мы чувствовали: если бы мы были похожи на него, наши картины стоили бы дороже. Я не успел добраться до городских ворот, как мое раздражение улеглось и я начал упрекать себя, что оставил его в столь уединенном месте с кошельком, набитым деньгами, поскольку Марчелло был довольно состоятельным человеком. Кошелек мог вызвать у гвардиано мысль об убийстве. Что может быть проще: убить спящего Марчелло и похоронить где-нибудь подальше под оливковыми деревьями или в разрушенных катакомбах, которых так много на окраинах Кампаньи. Удобных мест там сколько угодно. Я остановил экипаж и велел кучеру возвращаться, но он покачал головой и сказал, что в восемь часов ему надо быть на пьяцца Сан-Пьетро. Лошадь захромала, словно поняла хозяина и решила ему подыграть. Что мне оставалось делать? Я сказал себе, что это судьба, и поехал на виллу Медичи, где мне пришлось выложить немалую сумму за поездку, после чего кучер поспешил удалиться (при этом лошадь совершенно перестала хромать), оставив меня удивляться событиям этого странного дня.

Я плохо спал той ночью, хотя моя ария заслужила аплодисменты, а английские девицы были со мной очень любезны. Я старался не думать о Марчелло, и это мне удавалось, пока я не лег спать. Но, как я уже сказал,

выспаться мне не удалось.

Я представлял, что гвардиано уже убил его и похоронил под покровом ночи. Я видел, как он тащит тело по темным переходам, красивая голова Марчелло бьется о камни. Он засыпает землей окровавленный труп в нише под черной аркой и возвращается, чтобы пересчитать золотые монеты. Наконец я заснул, и мне приснилось, что Марчелло стоит у ворот и топает ногой; я проснулся. Уснуть больше не удалось, я поднялся, как только рассвело, оделся и отправился в мастерскую в конце лавровой аллеи. Надевая куртку для занятий живописью, я вспомнил, как он снял ее с меня. Я взял кисти, которые он для меня вымыл; они были чистые лишь наполовину, жесткие от краски и мыла. Я был рад рассердиться на него и слегка обругать, поскольку думал: если я ругаю его, значит, он жив. Я достал набросок его головы, который сделал для картины, где Муций Сцевола держит руку в пламени, и тут же простил Марчелло: кто смог бы смотреть на это лицо и не любить его?

Я увлеченно работал, старательно передавая черты Марчелло, презрение и упрямство в его взгляде, когда он посмотрел на меня у ворот. Это идеально соответствовало моему замыслу! Неужели я никогда больше его не увижу? Вы спросите, почему я не оставил работу, чтобы узнать, не случилось ли с ним что-нибудь, но у меня имелось на это несколько причин. Вскоре должна была состояться ежегодная выставка, а я только начал картину, и мои товарищи держали пари, что я не успею. Я ждал натурщика, чтобы писать царя этрусков. Этот парень жарил каштаны на пьяцца Монтанара и с огромным удовольствием согласился позировать. К тому же, честно говоря, утро заставило меня по-другому взглянуть на ночные кошмары. Мне хорошо работалось, так как свет падал с северной стороны, хотя, признаться, я не слишком капризен. Усевшись перед мольбертом, я сказал себе, что веду себя как дурак и что Марчелло в безопасности. Запах красок вернул мне рассудительность. Каждую секунду я ждал, что войдет Марчелло, уставший от своих причуд, и даже подготовил и отрепетировал небольшую речь. Кто-то постучал в дверь, и я крикнул «Войдите!» — думая, что это Марчелло. Но вошел Пьер Магнен.

— Вас хочет видеть какой-то парень из деревни, — сказал он. — У него ваш адрес, записанный на грязной бумажке рукой Марчелло, и письмо, но он его не отдает, говорит, что должен видеть «синьора Мартино». Он чертовски похож на убийцу! Пойдите поговорите с ним и задержите, я сделаю с него набросок.

Я последовал за Магненом через сад к воротам, поскольку привратник не впустил посетителя, и нашел там вчерашнего гвардиано. Он показал

белые зубы и приветствовал нас, как полагается христианину: «Добрый день, синьоры». Здесь, в Риме, он не был похож на убийцу обычный деревенский парень, недалекий, черный от загара. Он приехал на простой крестьянской телеге, косматую лошадь привязал к кольцу в стене. Я протянул руку за письмом и сделал вид, что не могу его разобрать, так как Магнен остановился в полутемной прихожей с альбомом в руках. Письмо было написано карандашом на листке, вырванном из записной книжки.

Старина! Я отлично провел здесь ночь, и этот человек будет служить мне, пока я не передумаю. Со мной ничего не случится, разве что я буду божественно спокоен, в голове у меня уже звучит знакомый мотив. Отправляйся ко мне домой и собери кое-что из одежды, и все рукописи, а также побольше нотной бумаги, несколько бутылок бордо и отдай все это посыльному. Поторопись!

Впереди у меня слава! Если захочешь увидеться, приезжай не раньше чем через восемь дней. Приедешь до срока — ворота тебе не откроют. Гвардиано — мой раб, и у него приказ убить злоумышленника, если тот попытается войти без приглашения, притворяясь другом. И он это сделает: он уже признался мне, что убил троих.

(Разумеется, это была шутка. Я хорошо знал манеру Марчелло.)

Когда поедешь, ступай на почту и забери мои письма, полученные до востребования. Вот моя визитка, чтобы не было вопросов. Не забудь перья и бутылку чернил!

Твой Марчелло.

Мне ничего не оставалось, как прыгнуть в телегу, сказать Магнену, закончившему рисунок, чтобы запер мою мастерскую, и отправиться выполнять распоряжения Марчелло. Мы приехали к его жилищу на виа дель Говерно Веккьо, и там я собрал все, что нужно. Хозяйка комнат путалась под ногами, задавая тысячу вопросов о том, когда вернется синьор. Он заранее заплатил за комнаты, поэтому она могла не беспокоиться об арендной плате. Когда я сказал, где он, хозяйка покачала головой и разразилась целой речью о тамошнем дурном воздухе, приговаривая «Бедный синьорино!» так печально, словно его уже похоронили, а потом мрачно смотрела нам вслед из окна. Она разозлила меня, заставив вспомнить о суевериях. На углу виа дель Тритоне я спрыгнул с телеги в расстроенных чувствах, дал посыльному франк и крикнул вдогонку: «Передай привет синьору!» Но тот не расслышал, лошадь затрусила прочь, и мне захотелось поехать к Марчелло. Он часто бывал невыносим, но мы всегда его любили.

Восемь дней прошли гораздо быстрее, чем я ожидал, и вот в четверг, в

яркий солнечный день я собрался в путь. В час дня пришел на пьяцца Ди Спанья и договорился с кучером, у которого была сытая лошадь. Я припомнил, во сколько мне обошлось неделю назад желание Марчелло обрести уединение, и мы довольно быстро поехали к Винья-Мардзиали, хотя я почти забыл, как называлось это место. Сердце у меня колотилось, и я не понимал, почему так взволнован. Мы добрались до железных ворот. На мой стук вышел гвардиано, и не успел я ступить на длинную, обсаженную цветами аллею, как увидел, что мне навстречу спешит Марчелло.

— Я знал, что ты придешь, — сказал он и крепко пожал мне руку.

Мы направились к небольшому серому дому с чем-то вроде портика и несколькими балконами. Перед домом я увидел солнечные часы. Окна первого этажа были зарешечены, и в целом это место, к моему облегчению, выглядело достаточно безопасным и пригодным для жилья. Марчелло сказал, что гвардиано спит не здесь, а в хижине по дороге в Кампанью и что он, Марчелло, каждый вечер запирает двери. Я был рад услышать это.

— А что ты ешь? — спросил я.

— О, у меня есть козлятина, сушеные бобы и полента, пекорино и вдоволь черного хлеба и кислого вина, — с улыбкой ответил он. — Не думай, что я голодаю.

— Не переутомляйся, старина, — сказал я. — Ты нам дороже, чем твоя опера.

— Я выгляжу переутомленным? — спросил он, повернув ко мне лицо, освещенное ярким дневным светом.

Похоже, его покоробило мое опрометчивое высказывание об опере.

Я с серьезным видом изучал его лицо. Марчелло взглянул на меня с вызовом.

— Вовсе нет, — неохотно ответил я, не понимая, в чем дело.

В его глазах я заметил беспокойство, взгляд был обращен внутрь, а на веки легла едва заметная тень. Виски запали, красивое лицо было словно подернуто пеленой, оно казалось каким-то странным, далеким. Мы остановились у двери, и Марчелло открыл ее. У нас за спиной послышались медленные, отдающиеся эхом шаги гвардиано.

— Вот мой рай, — сказал Марчелло, и мы вошли в дом, который не слишком отличался от других.

Из холла с лепными барельефами наверх вела лестница, украшенная античными обломками. Марчелло легко взбежал по ступенькам, и я услышал, как он запер какую-то дверь и вытащил ключ. Затем он вернулся и встретил меня на лестничной площадке.

— Это мой рабочий кабинет, — сказал Марчелло и открыл низкую дверь.

Ключ торчал в замке, значит, это была не та комната, которую он запер.

— Только попробуй сказать, что я не напишу здесь ангельскую музыку! — воскликнул он.

После темного коридора меня ослепил яркий свет. Сначала я стал моргать, как сова, а потом увидел большую комнату, в которой из мебели были только грубо сколоченный стол и стул, заваленный нотной бумагой.

— Ты ищешь мебель, — рассмеялся он. — Она снаружи. Смотри!

Он поманил меня к трухлявой, изъеденной древоточцем двери со вставкой из зеленоватого стекла очень плохого качества и толкнул ее. Дверь выходила на ржавый железный балкон. Марчелло был прав: мебель оказалась снаружи. Моему взору открылся божественный вид. Сабинские горы, Албанские холмы, широко раскинувшаяся Кампанья с ее средневековыми башнями и разрушенными акведуками и равнина до самого моря. Все это сияло на солнце и наполняло душу покоем. Неудивительно, что здесь он мог писать! Балкон заворачивал за угол дома, и справа внизу я увидел аллею падубов, которая заканчивалась в роще высоких лавров, по-видимому, очень старых. Среди них стояли разбитые статуи и остатки древних саркофагов, и даже с верхнего этажа я слышал, как вода льется струей из старинной маски в простой длинный желоб. Я заметил загорелого гвардиано на грядках с капустой и луком и засмеялся, вспомнив, как сделал его убийцей! С шеи парня на загорелую грудь свисала ладанка, и он по-простецки уселся на обломок колонны, чтобы съесть кусок черного хлеба с луком, который только что вытащил из земли и нарезал ножом, совсем не похожим на кинжал. Но я не рассказал Марчелло о своих мыслях: он бы только посмеялся надо мной. Мы стояли, глядя, как гвардиано набирает ладонями воду из фонтана и пьет, а потом Марчелло свесился с балкона и окликнул его: «Э-э-й!» Ленивый гвардиано поднял голову, кивнул и медленно поднялся с камня, куда стал на колени, чтобы дотянуться до воды.

— Пора обедать, — повернулся ко мне Марчелло. — Я ждал тебя.

На лестнице послышались тяжелые шаги гвардиано, и он вошел, держа в руках корзину со странной едой.

Из корзины явился пекорино — сыр из овечьего молока, черный хлеб, по твердости похожий на камень, большая миска салата, на вид из сорняков, и колбаса, заполнившая комнату сильным запахом чеснока. Гвардиано исчез и возвратился с блюдом криво нарезанных кусков козлятины и горой дымящейся поленты.

— Я же говорил, что живу хорошо, теперь видишь? — хвастался Марчелло.

Еда ужасная, но деваться было некуда. К счастью, терпко-кислое вино, отдающее землей и кореньями, способствовало перевариванию обеда.

— А как твоя опера? — спросил я, когда мы покончили с едой.

— Ни слова об этом! — воскликнул Марчелло. — Ты видишь, что я пишу! — И он повернулся к груде исписанной бумаги. — Но не заговаривай со мной об этом. Я боюсь спугнуть вдохновение.

Это было не похоже на Марчелло, любившего поговорить о своих трудах, и я с удивлением взглянул на него.

— Идем, — сказал он, — прогуляемся по саду, и ты расскажешь мне о наших товарищах. Чем они занимаются? Нашел ли Магнен натурщицу для Клитемнестры?

Я выполнил его просьбу, как всегда, и, присев на каменную скамью за домом, мы смотрели на лавровую рощу и говорили о картинах и студентах. Мне захотелось прогуляться по падубовой аллее, но Марчелло остановил меня.

— Если боишься сырости, не ходи туда, — сказал он, — там как в погребе. Лучше останемся здесь и будем любоваться великолепным видом.

— Хорошо, давай останемся, — привычно согласился я.

Он зажег сигару и молча предложил мне. Ему не хотелось говорить, я тоже молчал. Время от времени он отпускал ничего не значащие замечания, я отвечал тем же. Казалось, мы, закадычные друзья, вдруг стали чужими людьми, которые не знают друг друга и недели. Или что мы не виделись так давно, что поневоле отдалились друг от друга. Что-то заставляло его чураться меня. Да, дни его одиночества, словно годы, вызвали между нами застенчивость, даже церемонность! Я уже не мог запросто хлопнуть его по спине и отпустить дружескую шутку. Должно быть, он чувствовал то же самое, так как мы были похожи на детей, которые с нетерпением ждали игры, а теперь не знают, во что играть.

В шесть часов я уехал. Это не было обычное расставание с Марчелло. Мне казалось, что вечером я найду своего старого друга в Риме, а здесь оставляю только его бесплотную тень. Он проводил меня до ворот, пожал руку, и на мгновение в его взгляде мелькнул настоящий Марчелло. Но мы ничего не сказали друг другу.

— Дай знать, когда захочешь увидеться, — обронил я, прощаясь.

— Спасибо, — ответил он.

Всю обратную дорогу до Рима я чувствовал холод его руки и думал о том, что с ним произошло.

В тот вечер я рассказал о своем беспокойстве Пьеру Магнену. Он покачал головой и предположил, что у Марчелло приступ малярии, а в таком состоянии люди кажутся немного странными.

— Он не должен там оставаться! Нам надо увезти его оттуда как можно скорее! — воскликнул я.

— Мы оба знаем Марчелло. Ничто не сможет его заставить поступить вопреки его собственному желанию, — ответил Пьер. — Оставь его в покое, и он сам устанет от своих причуд. Обычный приступ малярии не убьет его, и в один прекрасный вечер он окажется среди нас, веселый и жизнерадостный, как всегда.

Но Пьер ошибался. Я упорно трудился над картиной и закончил ее, а Марчелло так и не появился. Может, я слишком много работал или долго находился в сырой мастерской. Как бы там ни было, я заболел. Так сильно я не болел ни разу в жизни. Болезнь свалила меня, когда почти стемнело, — это я отчетливо помню, хотя совершенно забыл то, что произошло впоследствии, или, скорее, никогда об этом не знал. Бесчувственного, меня нашел Магнен. Он рассказывал, что сначала я долго не приходил в себя, потом стал бредить и в бреду говорил только о Марчелло. Я уже сказал, что все случилось в сумерках. Именно на закате солнца можно увидеть цвета в их истинном великолепии. Художники знают об этом, и я заканчивал картину, последними мазками тщательно выписывая голову Муция Сцеволы, точнее Марчелло.

В целом картина удалась; но мне показалось, что голова — главное в моей работе — стала размываться и исчезать, а лицо — бледнеть и удаляться, покрытое странной дымкой. Глаза начали закрываться. Меня нелегко испугать, и я знаю, какие фокусы с цветом может проделывать определенное освещение. В тот момент как раз зашло солнце, сгущались сумерки. Поэтому я отстранился, чтобы посмотреть на картину издали. И в этот самый миг побелевшие губы приоткрылись и испустили вздох! Разумеется, это была иллюзия. К тому времени я, должно быть, был уже очень болен и бредил, и мне показалось, что это был настоящий вздох или, по крайней мере, попытка вздохнуть. Тогда я и упал в обморок. Очнувшись, я обнаружил, что лежу в кровати, рядом стоят Магнен и месье Саттон, по комнате осторожно ходит сестра милосердия с аптекарскими пузырьками, и все трое шепотом переговариваются. Я вытянул руки. Они были худые и желтые, с длинными бледными ногтями. Словно издалека я услышал голос Магнена, который произнес: «Слава богу!» А теперь месье Саттон расскажет вам то, о чем я узнал впоследствии.

II Рассказ Роберта Саттона о том, что произошло в Винья-Мардзиали

Я привязан к Детайе и очень рад быть ему полезным, но никогда не разделял его восхищения Марчелло Соувестре, хотя и ценил талант последнего. Безусловно, надо сказать, что он был многообещающий парень, но при этом странный, взбалмошный, а нам, англичанам, трудно понять таких людей. Я писатель, это моя профессия, но у меня никогда не было потребности изучать подобные характеры. Повторяю, я всегда рад быть полезным Детайе, он добрый малый, и я охотно оставил свои занятия, чтобы дежурить у его постели. Магнен знал, что я друг Детайе, и когда его известили, что Детайе давно и серьезно болен, он поспешил ко мне. Я нашел Детайе в бреду. Он говорил только о Марчелло.

— Скажи мне, что это за мотив? Я знаю, похоронный марш!

Тут он стал напевать своеобразную мелодию, которую я записал, поскольку разбираюсь в музыке. Ничего подобного я прежде не слышал. Сестра милосердия серьезно посмотрела на меня. Откуда ей было знать, что нам все это интересно и что наблюдение вошло у нас в привычку? Бедный Детайе все повторял эту любопытную мелодию, потом остановился и, похоже, вообразил свою картину и стал кричать, что она исчезает.

— Марчелло! Марчелло! Ты тоже исчезаешь! Позволь мне приехать к тебе!

Он был слаб, как ребенок, и не мог встать с постели, разве что в бреду.

— Я не могу приехать! — продолжал он. — Они связали меня!

Тут он попытался перегрызть воображаемые веревки, связывающие запястья, и наконец разрыдался.

— Неужели никто не передаст мне хоть словечко от тебя? Ах, если б я знал, что ты жив!

Магнен посмотрел на меня. Я понимал, о чем он думает. Он останется здесь, а мне надо идти. Не могу сказать, что я делал это неохотно. Сидеть у кровати Детайе и слушать его бред было изматывающим занятием, а то, чего хотел Магнен, казалось трудной, но весьма интересной задачей при моем ремесле. Поэтому я согласился. Я много слышал о странном уединении Марчелло от Магнена и Детайе, который рассказывал мне об этом по дороге на ужин в Академию, где я был частым гостем.

Я понимал, что звонить в ворота Винья-Мардзиали бесполезно. Меня бы не только не впустили, но вдобавок я вызвал бы гнев и подозрение Марчелло, — а я ни минуты не сомневался в том, что он жив, хотя и допускал, что у него легкое помешательство, как это бывает с его соотечественниками: их так легко вывести из равновесия. Сумасшествие обычно усугубляется в конце дня и вечером. Нервы умалишенного теряют способность сопротивляться, и крепкий мужчина может легко с ним

справиться. Поэтому я решил попробовать разузнать что-то именно ночью. К тому же так проще остаться незамеченным. Я знал, что Марчелло любит гулять тогда, когда надо лежать в постели, и не сомневался, что увижу его. Этого мне было вполне достаточно.

Решив пройти длинный путь до порта Сан-Джованни пешком, на следующее утро я так и сделал. Я шел и шел, пока не увидел справа от дороги железные ворота на которых было написано: «Винья-Мардзиали». Я продолжал идти прямо, не останавливаясь, пока не пришел к небольшой, поросшей кустарником тропинке, которая вела направо, к Кампанье. Посыпанная щебнем, она была закрыта со всех сторон разросшимся плющом и кустами, и на ней до сих пор оставались следы недавних ливней. Но не было ни одного следа, из чего я заключил, что люди по ней не ходят. Я стал осторожно пробираться по этой тропе, внимательно глядя под ноги и постоянно оглядываясь, — привычка, приобретенная во время одиноких прогулок по Абруцци. С собой у меня был отличный револьвер, мой старый приятель, и я никого не боялся. Но мое приключение показалось мне чрезвычайно увлекательным, так что неприятностей не хотелось. Тропинка привела меня на равнину, как я и рассчитывал, хотя заросли кустарника закрывали вид. Оказавшись внизу, я осмотрелся и понял, что теперь Винья-Мардзиали слева, довольно далеко. Я сразу заметил падубовую аллею за серым домом, которая заканчивалась лавровой рощей, и грядки с зеленью. Посреди огорода стояла хижина, крытая соломой, — по-видимому, в ней жил садовник. Я стал искать конуру, но не нашел. Значит, сторожевого пса не было. В конце этого нехитрого огорода был довольно широкий участок, поросший травой. Он заканчивался забором, через который мне ничего не стоило перепрыгнуть. Теперь я знал, куда идти, но мне захотелось рассмотреть все получше. Я был прав, что не стал спешить, потому что обнаружил протекавший за забором ручей, довольно полноводный из-за дождей, слишком глубокий, чтобы перейти его вброд, и слишком широкий, чтобы перепрыгнуть. Мне пришло в голову, что можно взять доску из забора и перебросить ее через ручей, как мостки. Прикинув ширину ручья, я решил, что доска достаточно длинная. Затем выбрался наверх и вернулся к Детайе, который все еще был в бреду.

Поскольку он ничего не понимал, мне показалось глупой затеей снова идти куда-то, чтобы сделать ему приятное. Но он мог прийти в себя, и, кроме того, меня заинтересовало мое приключение. Поэтому я согласился с Магненом, что мне надо поесть и отдохнуть, а ночью вернуться в Винья. Я сказал квартирной хозяйке, что еду в деревню и вернусь на следующий день, а после этого отправился к Назарри, где запасся бутербродами и

наполнил флягу местным хересом. Я не любитель выпить, но вечером могло быть прохладно.

Около семи часов я вышел из дома и отправился той же дорогой, что и утром. Достигнув тропинки, я подумал, что еще слишком светло и меня могут заметить, когда я стану перебираться через ручей. Поэтому я прилег прямо под оградой, скрытый от глаз густым плющом.

Наверное, с непривычки утренняя прогулка меня утомила, и я провалился в сон. А когда проснулся, уже была ночь; звезды сияли, сырой туман пробирался за воротник и холодил шею. Было жестко и зябко. Я глотнул из фляги довольно противного напитка, но это меня согрело. Посмотрел на часы, которые показывали без четверти одиннадцать, встал, отряхнул с одежды листья и ягоды ежевики и стал спускаться по тропинке. Добравшись до забора, сел и стал думать. Что я хотел найти? Что должен был найти? Не знаю. Я хотел лишь убедиться, что Марчелло жив; но в этом не было ничего особенного, поскольку я был уверен, что с ним все в порядке. Глупец, я позволил себе увлечься загадкой, которая не стоит выеденного яйца. Что ж, в конце концов, я смогу описать свое бестолковое поведение в какой-нибудь повести, которую напишу, а если для главы этого будет недостаточно, прибавлю то, что еще впереди.

— Ступай! — сказал я себе. — Ты, безусловно, осел, но это может оказаться поучительным.

Я бесшумно вынул из забора верхнюю доску. Там был лаз, и доска легко поддалась. Не без труда я перебросил ее через ручей, осторожно перешел по этим самодельным мосткам и начал пробираться к лавровой роще, стараясь делать это быстро и бесшумно.

Повсюду была темень, и мои глаза постепенно стали различать предметы. Вокруг не было ничего особенного: несколько каменных скамеек полукругом, фрагменты колонн с установленными на них античными бюстами. Правее было что-то вроде арки, от которой шли вниз несколько ступенек. Вероятно, это был один из многочисленных входов в катакомбы. Скамейки стояли вокруг каменного стола, врытого в землю. Кругом не было ни души. Я почувствовал себя уверенно, сел за стол и, уже привыкнув к темноте, принялся за бутерброды, так как отчаянно проголодался.

Теперь, когда я зашел так далеко, неужели не произойдет ничего, что вознаградило бы меня за мои старания? Вдруг мне пришла мысль, что глупо ждать, когда Марчелло выйдет, чтобы встретиться со мной и начать проделывать у меня на глазах свои безумные выходки. Не знаю, почему я решил, что он появится в роще, — возможно, потому, что мне это казалось

наиболее подходящим местом. Надо было пойти и понаблюдать за домом: если бы я увидел свет в одной из комнат, то убедился бы, что Марчелло там. Любой дурак сделал бы это на моем месте, но романист придумывает сюжет и ждет, что его персонажи будут действовать по придуманным им правилам, как марионетки. Я каждый раз удивляюсь, когда понимаю, что эти персонажи — живые люди. В конце падубовой аллеи я разглядел дом. Вышел из тени деревьев и оказался на грядках с капустой и луком. Если бы кто-нибудь вышел на балкон, то легко бы заметил меня на открытом пространстве. Как только я снова спрятался под падубами, в окне верхнего этажа — не балконном, а другом — вдруг вспыхнул свет. Но вскоре погас, зато засветилось овальное окошко над дверью нижнего этажа.

Я едва успел спрятаться за самое толстое дерево, как дверь отворилась. Скрип петель позволил мне незаметно вскарабкаться по наклонному стволу и распластаться на ветке.

Как я и ожидал, вышел Марчелло. Он был очень бледен и двигался механически, словно лунатик. Я был потрясен, увидев, как исхудало его лицо, озаренное свечой, которую он держал в руке. Блики света отбрасывали глубокие тени на впалые щеки. Взгляд был застывший, глаза дико сверкали и, казалось, ничего не видели. Губы были почти белые, рот оскален, так что я видел поблескивавшие зубы. Свеча выпала из руки Марчелло, и он медленно, странными размеренными шагами подошел к тени, которую отбрасывали падубы. Я наблюдал за ним сверху. Думаю, он вряд ли бы меня заметил, даже если б я оказался у него на пути. Когда он прошел мимо, я спустился с дерева и последовал за ним. Снял обувь и шел совершенно бесшумно; кроме того, я был уверен, что он не обернется.

Марчелло двигался все тем же механическим шагом, пока не достиг рощи. Там я опустился на колени позади старого саркофага у входа и стал ждать. Что он собирался сделать? Марчелло стоял тихо, не оглядываясь, словно у него внутри остановился часовой механизм. Я почувствовал, что испытываю интерес к происходящему, прежде всего с точки зрения психологии. Вдруг он вскинул руки, точно воин, смертельно раненный на поле битвы, и я подумал, что он сейчас упадет. Вместо этого Марчелло сделал шаг вперед.

Я посмотрел в том же направлении и увидел женщину, которая, должно быть, пряталась, пока я ждал перед домом. Она появилась из темноты, медленно приблизилась и положила голову на плечо Марчелло. Протянув руки, он крепко прижал ее к себе, и женщина уткнулась лицом ему в шею.

Так вот в чем дело! Моя сумасбродная затея привела к тому, что мне

пришлось стать свидетелем заурядной любовной интрижки! Его опера, его уединение ради работы, его нежелание видеться с Детайе, пока он сам не пришлет за ним, — все это для того, чтобы скрыть вульгарное похождение, которое, по известным причинам, в городе было невозможно. Как я разозлился! Если Марчелло проводил ночи напролет в этой промозглой дыре, неудивительно, что он так плохо выглядит и кажется полубезумным! Я очень хорошо знал, что Марчелло не святой. Он на это и не претендовал. Но я никогда не считал его дураком! У него было множество любовных историй, и, поскольку он был осторожен и не напускал на себя ненужную таинственность, никому и в голову не приходило совать нос в его дела. Не стоило так поступать и теперь. Я сказал себе, что всему виной смесь французской и итальянской крови: утонченность и легкомыслие французов и склонность к ухищрениям, свойственная итальянцам! Я вспомнил все подробности моей тайной экспедиции. Похоже, причиной моего гнева стало разочарование драматурга, которое я испытал, не обнаружив его убитым. Я презирал себя за свое сегодняшнее приключение, которое завершилось самым нелепым образом: я видел женщину в его объятиях. Ее лица нельзя было разглядеть, фигура с головы до ног была закутана во что-то длинное и темное; но было ясно, что она высокая и стройная, а из-под драпировки выглядывали ослепительно белые руки. Я внимательно их разглядывал. К моему неудовольствию, пара пошла дальше, и, тесно прижавшись друг к другу, они спустились по ступенькам. Даже уединение лавровой рощи не удовлетворяло страсть Марчелло к таинственности! Какое-то время я не двигался, а затем прокрался туда, где они скрылись, и стал слушать. Но все было тихо, и я осторожно чиркнул спичкой и посмотрел вниз. Рядом были ступеньки. Они исчезали в темноте, которая словно поднималась снизу и поглощала их. По всей вероятности, это были катакомбы или старая римская баня, где Марчелло наверняка устроился со всеми удобствами. Думаю, у парочки намечался романтический ужин. Мой пустой желудок подсказывал, что лучше простить Марчелло и прекратить преследование. Честно говоря, я был так же голоден, как и рассержен. Поэтому я сел на каменную скамью и стал доедать бутерброды.

У меня и мысли не возникло, чтобы подождать, пока влюбленная парочка поднимется наверх. Я все узнал, и это оказалось сущей чепухой! Мне хотелось вернуться в Рим до того, как я успокоюсь, и сказать Магнену, насколько дурацкое поручение он мне дал. Если он захочет возразить — тем лучше!

Всю обратную дорогу я сочинял язвительные речи на французском, но слова застыли у меня на языке, когда я увидел, что городские ворота

заперты. Мне и в голову не пришло взять пропуск, а Магнен должен был меня предупредить. Вот еще один повод вознегодовать!

Я в раздражении шагал вперед-назад, и это меня согревало. Рядом с воротами были дома и лавки, но свет нигде не горел, а мне не хотелось привлекать к себе внимание, колотя в дверь среди ночи. Пришлось спрятаться в нишу в городской стене. К тому времени оставаться в укрытии уже вошло у меня в привычку. Я устроился поудобнее, укрылся пальто, глотнул из фляжки и стал ждать. Наконец ворота открылись, и я проскользнул внутрь, стараясь не выглядеть разбойником, который провел ночь за городом. Охранник внимательно взглянул на меня, по-видимому, удивляясь, почему я без поклажи. Будь у меня рюкзак, я мог бы сойти за простодушного английского туриста, который находит удовольствие в том, чтобы пешком тащиться сюда из Фраскати или Альбано. Но человек в длинном пальто, который, засунув руки в карманы, неторопливо входит на рассвете в городские ворота, будто возвращаясь с прогулки, разумеется, озадачил чиновников, которые посмотрели на меня и пожали плечами.

К счастью, несмотря на ранний час, на площади возле Латеранского дворца мне удалось взять извозчика, так как я смертельно устал, и вскоре я уже был в своей квартире на виа делла Кроче, куда меня торопливо впустила квартирная хозяйка. Я наконец сбросил одежду, влажную от вечерней росы, и лег спать. Гнев мой немного поутих, но я не огорчался, что он и вовсе пройдет: меня одолевал сон. Час или два для Магнена большого значения не имеют — пусть думает, что я до сих пор брожу вокруг Винья-Мардзиали! Я хотел спать, и мне было все равно, о чем он сейчас думает.

Спал я довольно долго. Меня разбудила стоявшая надо мной квартирная хозяйка Сора Нанна.

— Вас хочет видеть какой-то синьор, — сказала она.

— Это я, Магнен! — раздался голос у нее за спиной. — Я не мог дождаться, когда вы придете!

Он выглядел измученным после бессонной ночи.

— Детайе по-прежнему бредит, — продолжал он, — ему хуже. Рассказывайте, ради бога! Почему вы молчите?

И он потряс меня, словно думал, что я все еще сплю.

— Вам нечего сказать? Вы должны были хоть что-то узнать! Вы видели Марчелло?

— О да, я его видел.

— И?

— С ним все в порядке, он жив. Он был в объятиях женщины.

Я услышал, как Магнен хлопнул дверью и со словами «Чертов мальчишка!» помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки. Я чувствовал себя совершенно счастливым оттого, что мои слова произвели на него такое впечатление, повернулся на другой бок и снова погрузился в сон с почти доброжелательным чувством к Магнену, который сейчас, наверное, в страшном гневе бежит по Испанской лестнице. К сожалению, это не могло помочь несчастному Детайе! Он не услышит мои новости. Как следует выспавшись, я встал, освежился в ванной и поел, а потом отправился навестить Детайе. В том, что я оказался в дураках, не было его вины, и я жалел его.

Детайе я нашел в бреду, как и накануне, только в гораздо худшем состоянии, как и говорил Магнен. Хриплым слабым голосом он беспрестанно кричал: «Марчелло, берегись! Никто не может тебя спасти!» Эти крики были похожи на звон погребального колокола. Еще он шевелил ногами — так, словно устал от долгой дороги, но должен непременно дойти до цели. Потом он замер и разразился рыданиями, как ребенок.

— Так болят ноги, — жалобно бормотал он, — и я так устал! Но я приду! Они преследуют меня, но я сильный!

И он стал бороться со своими невидимыми преследователями, потом затих и стал петь, чередуя пение с предостерегающими возгласами. Голос, которым он пел, сильно отличался от голоса, которым он говорил. Он снова и снова повторял одну и ту же мелодию, называя ее траурным маршем, и слушать ее было очень неприятно. Если это и был траурный марш, то явно не для христианских похорон. Когда Детайе пел, по щекам его текли слезы, и Магнен, сидя рядом, нежно вытирал их, словно женщина. Между пением Детайе сжимал руки, но не сильно, потому что ослаб, и душераздирающе кричал:

— Марчелло, я никогда не увижу тебя снова! Зачем ты оставил нас?

Наконец, когда он на мгновение умолк, Магнен поднялся с места, подозвал сестру милосердия, чтобы она его подменила, отвел меня в соседнюю комнату и закрыл за собой дверь.

— Теперь подробно расскажите мне, как вы нашли Марчелло, — сказал он.

Я рассказал ему о своем бессмысленном путешествии, позабыв, однако, упомянуть, как был возмущен, поскольку Магнен выглядел несчастным и утомленным и на него трудно было сердиться. Он заставил меня несколько раз повторить, как выглядел Марчелло и как он себя вел, когда вышел из дома. Казалось, это произвело на Магнена гораздо большее впечатление, чем вся эта любовная история.

— У больных бывает удивительная интуиция, — сказал он с серьезным видом, — и мне действительно кажется, что Марчелло очень болен и находится в опасности. Подумать только!

Тут Магнен замолчал и подошел к двери.

— Сестра! — позвал он негромко.

Она поняла и, поправив постель больного и осушив его слезы, бесшумно приблизилась, все еще сжимая влажный носовой платок. Это была довольно высокая и крепкая женщина с проницательными черными глазами и недюжинным самообладанием. Странно, но почему-то она носила монашеское имя Клавдий, больше подходящее для мужчины.

— Сестра, — обратился к ней Магнен, — который был час, когда он пытался вскочить с постели и нам пришлось его долго удерживать?

— Чуть больше половины двенадцатого, — быстро ответила сестра.

Магнен повернулся ко мне.

— В котором часу Марчелло вышел в сад?

— Может быть, в половине двенадцатого, — неохотно ответил я. — С тех пор как последний раз смотрел на часы, могло пройти три четверти часа. Имейте в виду, я не могу в этом поклясться!

Не переношу, когда люди ищут таинственные совпадения, а Магнен пытался сделать именно это.

— Вы уверены, что на часах было именно столько, сестра? — спросил я не без сарказма.

На меня смотрели большие черные глаза.

— Я слышала, как часы церкви Тринита-деи-Монти пробили половину двенадцатого прямо перед тем, как это случилось, — ответила она спокойно.

— Будьте так любезны, расскажите господину Саттону, что произошло, — попросил Магнен.

— Минутку, месье.

Она стремительно и неслышно подошла к Детайе, приподняла его своими сильными руками и поднесла к его губам стакан, из которого он непроизвольно выпил. Затем вернулась к нам и встала так, чтобы видеть больного в открытую дверь.

— Он ничего не слышит, — сказала она, повесив носовой платок на стул, чтобы он высох. — Было половина двенадцатого, и пациент стал очень беспокойным — гораздо беспокойнее, чем прежде. Прошло, наверное, четыре или пять минут после того, как били часы, и он вдруг затих, а потом задрожал так, что затряслась кровать.

Сестра прекрасно говорила по-английски, как многие монахини,

поэтому я не перевожу, а привожу ее собственные слова.

— Он все дрожал, я подумала, что у него начинается приступ, и сказала месье Магнену, чтобы он был готов пойти за доктором. Но тут дрожь прекратилась, тело одеревенело, волосы встали дыбом, а глаза вылезли из орбит, хотя пациент ничего не видел, — чтобы проверить это, я нарочно поводила перед ним свечой. Вдруг он вскочил с кровати и ринулся к двери. Я не знала, что он такой сильный. Прежде чем он достиг двери, я схватила его, взяла на руки — он стал очень легкий — и отнесла в постель, хотя он сопротивлялся, как ребенок. Месье Магнен пришел из соседней комнаты, когда он снова пытался убежать, и мы держали его, пока он не сдался, все еще выкрикивая имя месье Соувестре. Потом его стало знобить, он обессилел, и я дала ему немного крепкого бульона, хотя время ужина давно прошло.

— Думаю, вы должны рассказать обо всем сестре, — предложил Магнен, поворачиваясь ко мне. — Лучше, когда сиделка все знает.

— Конечно, — ответил я, — хотя не думаю, что это касается сиделки.

— Сиделки касается все, что имеет отношение к пациенту, — вмешалась сестра. — И вряд ли меня что-то удивит.

С этими словами она села и спрятала руки в длинные рукава, приготовившись слушать. Я повторил все, что рассказал Магнену. Она ни разу не отвела своих блестящих глаз от моего лица и слушала хладнокровно, словно доктор, которому описывают трудный случай, а мне все-таки было неловко рассказывать сестре милосердия о любовниках.

— Что вы об этом скажете, сестра? — спросил Магнен, когда я закончил.

— Я ничего не скажу, месье. Достаточно того, что я об этом знаю.

Она поддернула рукава, взяла носовой платок, который успел просохнуть, и невозмутимо вернулась на свой пост возле кровати.

— Интересно, удалось ли мне ее удивить? — спросил я у Магнена.

— О нет, — ответил он. — Сестры столько видят, поэтому они отстраненные, как исповедники; они не позволяют себе личного отношения к пациентам. Я видел, как невозмутимо сестра Клавдий слушала самый отвратительный бред, лишь надвигая на лицо накидку, когда до ее ушей доносились ужасные богохульства. Это было в конце лета, когда умер бедняга Джастин Револ. Вас здесь не было.

Магнен положил руку на лоб.

— Вы плохо выглядите, — заметил я. — Идите и постарайтесь уснуть, а я побуду здесь.

— Хорошо, — согласился он, — но вы пообещаете запомнить все, что

он будет говорить, и рассказать мне, когда я проснусь.

Он рухнул на жесткий диван как подкошенный и через мгновение уже спал. Я, так разозлившийся на него всего несколько часов назад, подсунул подушку ему под голову.

Расположившись в соседней комнате, я стал слушать монотонный бред Детайе, а сестра Клавдий читала молитвенник. В комнате было сумрачно, когда тихо вошли студенты и окружили больного, покачивая головами. Они оглядывались в поисках Магнена, и я указал на соседнюю комнату, прижимая палец к губам. Они кивнули и на цыпочках удалились.

Мне не стоило труда повторить слова Детайе Магнену, когда тот проснулся, поскольку Детайе повторял одно и то же. На ночь пришла другая монахиня, и, поскольку сестра Клавдий должна была вернуться лишь завтра в полдень, я предложил Магнену установить часы дежурства. Магнен, нервный и изнуренный, казалось, ждал повторения приступа, случившегося прошлой ночью. Новая сестра была милая и изящная невысокая женщина. Когда она склонялась над больным, ее добрые карие глаза наполнялись слезами. Она то и дело крестилась, сжимая распятие, висевшее на четках, прикрепленных к поясу. Она показалась мне спокойной и умелой и давала порошки так же пунктуально, как сестра Клавдий.

Вечером пришел доктор и внес изменения в схему приема лекарств. Он ничего не сказал о пациенте, а просто объявил, что надо ждать кризиса. Магнен послал за ужином, и мы в молчании сидели над тарелками, не испытывая ни малейшего желания есть. Магнен не отрываясь смотрел на часы.

— Если сегодня ночью будет то же самое, он умрет! — сказал Магнен и опустил голову в ладони.

— Тогда он умрет по самой глупой причине, — раздраженно ответил я, так как подумал, что он собирается заплакать, как это делают французы, и мне захотелось привести его в чувство. — Он умрет из-за бездельника, который ставит себя в глупое положение, ввязавшись в историю, которая закончится через неделю! Соувестре может болеть сколько ему угодно! Только не просите, чтобы я отправился за ним ухаживать.

— Это не болезнь, — медленно сказал Магнен, — это что-то ужасное, непонятное, и это меня беспокоит. Думаю, я стал таким нервным из-за Детайе. Слушайте! — прибавил он. — Пробило одиннадцать. Надо смотреть за ним!

— Если вы действительно ждете нового приступа, надо предупредить сестру, — сказал я.

В нескольких словах Магнен объяснил ей, что может произойти.

— Хорошо, месье, — ответила сестра и спокойно села рядом с кроватью.

Магнен улегся на подушку, я примостился рядом. Не было слышно ничего, кроме непрерывных причитаний Детайе.

А теперь, прежде чем продолжить рассказ, я должен остановиться, чтобы попросить вас мне верить. Это почти невозможно, я понимаю, потому что сам всегда смеялся над подобными историями и никакие заверения не могли заставить меня поверить в них. Но я, Роберт Саттон, клянусь, что все было именно так. Больше мне добавить нечего. Все, рассказанное здесь, истинная правда.

Мы пристально смотрели на Детайе. Он лежал с закрытыми глазами и был очень беспокойным. Вдруг затих, а потом начал дрожать, в точности как описывала сестра Клавдий. Это была странная непрерывная дрожь, заметная во всем теле, и железная рама кровати задребезжала, словно ее трясли чьи-то сильные руки. Потом он словно одеревенел, как и говорила сестра, и я не преувеличу, если скажу, что его коротко стриженные волосы встали дыбом. Лампа на стене слева от кровати отбрасывала тень, и когда я посмотрел на неподвижный профиль Детайе, казавшийся нарисованным на стене, то увидел, что волосы медленно поднимались, пока линия, где они соединялись со лбом, не стала совершенно другой — резкой и будто обрубленной, а не плавной. Его глаза широко открылись и с ужасом уставились в одну точку, а затем жутко выпучились. Но нас он, конечно, не видел.

Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. Невысокая сестра стояла рядом с больным, ее губы сжались и побелели, но она казалась совсем спокойной.

— Не пугайтесь, сестра, — шепнул Магнен.

— Да, месье, — ответила она деловым тоном, подошла к пациенту еще ближе и взяла его руки, твердые, как у трупа, в свои теплые ладони.

Я прижал руку к его сердцу, которое билось очень тихо, и подумал, что оно остановилось. Склонившись к губам, я не почувствовал дыхания. Казалось, это оцепенение будет вечным.

И вдруг, безо всяких причин, Детайе с огромной силой сбросил свое тело с кровати и в один прыжок оказался почти в середине комнаты, разбросав нас в стороны, как перышки. Через мгновение я уже был рядом, вцепившись в него изо всех сил, чтобы помешать добраться до двери. Магнена отбросило на стол, и я услышал, как бьются пузырьки с лекарствами. Опершись на руку, он вскочил и бросился на помощь. Из

раны на его запястье капала кровь. Сестра подбежала к своему пациенту. Детайе яростно оттолкнул ее. Она упала на колени, но естественный порыв сиделки заставил ее набросить шаль на его открытую грудь. Мы четверо, должно быть, представляли собой престранное зрелище!

Четверо? Нас было пятеро! Перед нами в дверях стоял Марчелло Соувестре! Мы все увидели его, когда он там появился. Бескровное неподвижное лицо было повернуто в нашу сторону. Руки висели безвольно, такие же белые, как лицо. Лишь в глазах, обращенных на Детайе, теплилась жизнь.

— Слава богу, наконец-то вы приехали! — воскликнул я. — Не стойте там, как идиот! Помогите нам!

Но он не двинулся с места. Я страшно разозлился и, оставив Детайе, бросился к Марчелло, чтобы подтолкнуть его вперед. Протянув руки, я наткнулся на дверь и почувствовал, как меня окутывает что-то вроде паутины. Она залепила мне рот и глаза, ослепила и стала душить, а потом задрожала, расплылась и исчезла.

Марчелло не было!

Детайе выскользнул из рук Магнена и рухнул на пол, как безжизненное тело, словно у него переломились руки и ноги. Сестру сотрясала дрожь, но она встала на колени и попыталась приподнять ему голову. Мы с Магненом взглянули друг на друга, наклонились, подняли Детайе на руки и отнесли в кровать, в то время как сестра Мари тихо подбирала с пола осколки.

— Вы видели это, сестра? — услышал я хриплый шепот Магнена.

— Да, месье! — ответила она дрожащим голосом, взявшись за распятие, и сразу заговорила другим, деловым тоном: — Месье позволит перевязать его запястье?

И хотя ее пальцы дрожали, а рука Магнена тряслась, повязка вышла безукоризненная.

Магнен пошел в соседнюю комнату, и я услышал, как он тяжело упал на стул. Детайе, похоже, спал. Дыхание его было размеренным, глаза мирно прикрыты веками, руки спокойно лежали поверх стеганого одеяла. Он не двинулся с тех пор, как мы его уложили. Я тихонько вошел в комнату, где в темноте сидел Магнен. Он не пошевелился.

— Марчелло мертв! — сказал он.

— Он мертв или умирает, — ответил я, — и мы должны поехать к нему.

— Да, — прошептал Магнен, — мы должны поехать к нему, но в живых мы его не застанем.

— Мы поедем, как только рассветет, — решил я, и мы замолчали.

Когда наконец наступило утро, Магнен пошел к Детайе и увидел, что наш товарищ по-прежнему спокойно спит.

— Не надо никому рассказывать об этой ночи, — сказал он сестре Мари.

— Вы правы, месье, — негромко ответила она.

Мы почувствовали, что ей можно доверять. Детайе все еще спал. Был ли это кризис, о котором говорил доктор? Вполне возможно, но, разумеется, нам бы хотелось, чтобы он проходил не в такой жуткой форме. Я заставил Магнена позавтракать, прежде чем пуститься в путь, и позавтракал сам, хотя не могу сказать, что чувствовал вкус еды.

Мы наняли закрытый экипаж, так как не знали, что именно привезем обратно, хотя ни один из нас не высказывал свои мысли вслух. Было раннее утро, когда мы добрались до Винья-Мардзиали. По пути мы не обменялись ни единым словом. Я позвонил. Кучер с любопытством наблюдал за нами. На звонок поспешно явился гвардиано, о котором вам уже рассказывал Детайе.

— Где синьор? — спросил я через ворота.

— Chi lo sa? [6] — ответил он. — Разумеется, здесь. Он не покидал Винья. Позвать его?

— Позвать?

Я понимал, что Марчелло никогда не услышит голос кого бы то ни было из смертных, но старался представить, что он все еще жив.

— Нет, — ответил я. — Впустите нас. Мы хотим сделать ему сюрприз. Он будет доволен.

Слуга заколебался, но все-таки открыл ворота, и мы вошли, оставив экипаж ждать снаружи. Мы направились прямо в дом; задняя дверь оказалась распахнутой. Ночью была буря, и сорванные с деревьев листья и ветки засыпали прихожую. Они лежали на пороге, и это говорило о том, что дверь оставалась открытой с тех самых пор, как они сюда попадали. Гвардиано оставил нас, вероятно, опасаясь гнева Марчелло из-за того, что он впустил нас, и мы беспрепятственно стали подниматься по лестнице. Впереди шел Магнен, поскольку из описания Детайе он знал дом лучше, чем я. Детайе рассказывал об угловой комнате с балконом, и мы надеялись, что Марчелло там, поглощенный работой, но звать его не стали.

Марчелло в комнате не оказалось. Бумаги были разбросаны по столу, как если бы он недавно писал, но чернильница, вся в пыли, давно пересохла; думаю, он не пользовался ею много дней. Мы тихо прошли в другие комнаты. Может быть, Марчелло еще спит? Но его не было и там.

Кровать оказалась не разобранной, и не похоже, что этой ночью он в ней спал. Все комнаты были отперты, кроме одной, и эта закрытая дверь заставила наши сердца забиться сильнее. Но Марчелло вряд ли был там, поскольку в замке не обнаружилось ключа. Я увидел, что дневной свет пробивается в замочную скважину. Мы позвали Марчелло по имени, но ответа не услышали. Громко постучали, но изнутри не раздалось ни звука. Тогда я надавил плечом на старую, треснувшую в нескольких местах дверь, и она распахнулась.

В комнате ничего не было, кроме подставки, на которой скульптор ваяет свои произведения. На ней стояло нечто, покрытое белой тканью, на полу валялись инструменты. При виде еще влажного покрывала мы глубоко вздохнули. Оно могло провисеть здесь несколько часов, но никак не сутки. Мы не стали его поднимать.

— Он очень расстроится, — сказал Магнен.

Я кивнул, поскольку среди художников считается едва ли не преступлением посмотреть работу скульптора за его спиной, пока он сам ее не обнародовал. Мы не выразили удивления, что Марчелло занялся скульптурой. Нам казалось неуместным обсуждать это, мы словно сговорились ничего не замечать. Ткань свисала почти до самого пола. Видны были только очертания женской головы и груди. Из коридора наверх вела небольшая винтовая лестница. Поднявшись по ней, мы оказались в бельведере, откуда открывался превосходный вид. Бельведер представлял собой маленькую открытую террасу на крыше дома, и мы сразу увидели, что там никого нет.

Мы обошли весь дом, довольно небольшой, построенный без затей и явно предназначенный разве что для непродолжительного летнего отдыха. Мы стояли на балюстраде, и весь сад был как на ладони. Там мы увидели только гвардиано, который лежал среди капустных грядок, заложив руки за голову, и дремал. Я с самого начала подумал, что надо поискать в лавровой роще, но заглянуть сперва в дом казалось естественным. Мы молча спустились по лестнице и направились в рощу.

Когда мы приблизились, к нам лениво подошел гвардиано.

— Вы видели синьора? — спросил он, и его глуповатое спокойное лицо заставило меня поверить, что он не имеет отношения к исчезновению Марчелло.

— Еще нет, — ответил я, — но мы, конечно, встретим его где-нибудь. Наверное, он пошел прогуляться, мы его подождем. Что это?

Я старался говорить небрежно.

Мы стояли возле небольшой арки, о которой вам уже известно.

— Это? — переспросил он. — Я там никогда не был, но, говорят, подземелье очень старое. Синьоры желают осмотреть его? Я принесу фонарь.

Я кивнул, и он ушел в свою хижину. В кармане у меня лежали несколько свечей, так как я намеревался осмотреть это место, если мы не найдем Марчелло. Именно там он скрылся прошлой ночью, и меня очень занимало это обстоятельство. Но я ничего не сказал про свечи, так как это могло навести на мысль, что мы заранее планировали поиски, и возбудить ненужное любопытство.

— Когда ты в последний раз видел синьора? — спросил я гвардиано, когда тот вернулся с фонарем.

— Вчера вечером, я принес ему ужин.

— В котором часу?

— Как раз исполняли «Аве Мария», синьоры, — ответил он. — Он всегда ужинает в это время.

Было бесполезно задавать другие вопросы. Парень, по всей видимости, не отличался наблюдательностью и сейчас бессовестно врал, чтобы мы остались довольны.

— Позвольте мне пойти вперед, — сказал Магнен, подхватывая фонарь.

Мы стали спускаться по лестнице. Холодный воздух наполнял легкие, но мы все-таки задыхались. Внизу был непроглядный мрак. Ступеньки, насколько я мог видеть при свете свечи, современные, как и своды над ними. В стену вмурована табличка, и, несмотря на волнение, я остановился, чтобы прочесть надпись, может быть, потому, что был рад хоть немного отдалить то, что ждало нас внизу.

Надпись на табличке гласила: «Questo antico sepolcro Romano scopri il Conte Marziali nell’ anno 1853, e piamente conservo». По-английски это означало: «Граф Мардзиали обнаружл эту древнеримскую гробницу в 1853 году и свято сохранил ее».

Чтобы прочесть эту надпись, мне потребовалось гораздо меньше времени, чем сейчас, чтобы записать ее, и я поспешил за Магненом, чьи шаги внизу были едва слышны. Я торопился, порыв холодного воздуха погасил мою свечу, и я шел, держась за стену, темную и липкую, когда сердце у меня замерло: я услышал донесшийся снизу крик. Крик ужаса!

— Где вы? — закричал я.

Магнен звал меня, он не слышал моего отклика.

— Я здесь! Тут темно!

Я спешил, как только мог, но впереди было несколько поворотов.

— Я его нашел! — раздалось снизу.

— Он жив? — закричал я.

Ответа не последовало.

Последний короткий пролет лестницы — и я увидел свет фонаря. Он шел из низкого дверного проема, в котором стоял Магнен и вглядывался в темноту. По его лицу, освещенному фонарем, который он держал над головой, я понял, что наши опасения подтвердились.

Марчелло был там. Он лежал, вытянувшись на полу и уставившись в потолок, мертвый и, как я сразу заметил, уже окоченевший.

Мы стояли над ним, не произнося ни слова. Я опустился на колени и дотронулся до тела, чтобы развеять последние сомнения.

— Он мертв уже несколько часов, — сказал я, словно не знал этого прежде.

— Со вчерашнего вечера, — добавил Магнен с ужасом в голосе и не без тайного удовлетворения заметил: — Видите, я был прав.

Голова Марчелло слегка откинулась назад. Красивые черты лица не были искажены. Он выглядел как человек, который умер от изнеможения — неосознанно соскользнул из жизни в смерть. Воротник был расстегнут, и виднелась бледная грудь. Над сердцем мы увидели маленькое пятно.

— Дайте фонарь, — шепнул я и наклонился ниже.

Это было крошечное пятнышко, тусклое, багрянисто-коричневое. Наверное, за ночь оно поменяло цвет.

Я внимательно осмотрел его. Пятно выглядело так, словно кровь сначала собрали у самой поверхности кожи, а затем сделали прокол или крохотный разрез. К этому заключению меня привело небольшое подкожное кровоизлияние. Крошечная капля свернувшейся крови закрывала почти незаметную ранку. Я исследовал ее концом спички, которую взял у Магнена. Ранка едва уходила под кожу, таким образом, это не мог быть след от удара стилета, хотя и узкого, или пулевого отверстия. Все это было очень странно, и, повинуясь одновременному порыву, мы оглянулись, чтобы посмотреть, нет ли кого у нас за спиной и не обнаружится ли другой выход. Было бы безумием полагать, что убийца, если таковой и был, остался рядом со своей жертвой. Может, Марчелло соблазнил смазливую крестьянку и ему отомстил ее ревнивый любовник? Но это не был удар ножа. Может, все дело в капле яда, попавшего в ранку?

Мы осмотрелись, и я увидел, что на глазах у Магнена выступили слезы, а его лицо такое же бледное, как у того, кто лежал на полу и чьи веки я безуспешно пытался закрыть. Помещение было низкое, красиво украшенное лепниной, как и комната, где мы сидели с Марчелло. Крылатые

гении, грифоны и арабески, выполненные с редким изяществом, покрывали стены и потолок. Другой двери, кроме той, через которую мы вошли, не было. В центре помещения стоял мраморный саркофаг, украшенный обычными сюжетами: с одной стороны Геркулес, ведущий за собой фигуру, закутанную в покрывало, с другой танцующие нимфы и фавны. В середине саркофага мы увидели следующую надпись, глубоко вырезанную в камне, со следами въевшейся красной краски:

D. M.
VESPERTILIAE THC AIMA-
????????C Q FLAVIVS VIX
IPSE SOSPES MON
POSVIT

— Что это? — прошептал Магнен.

Это были всего лишь кирка и длинный лом вроде тех, которые деревенские жители используют для того, чтобы вырубать блоки известкового туфа, и Магнен ударился о них ногой. Кто мог принести их сюда? Должно быть, они принадлежали гвардиано, но он сказал, что ни разу не спускался сюда, и я верил ему, зная, как итальянцы боятся темноты и уединенных мест; но зачем эти инструменты понадобились Марчелло? Нам и в голову не пришло, что любознательность археолога заставила его попытаться открыть саркофаг, крышку которого никто никогда не двигал с места, о чем свидетельствовали слова «свято сохранил».

Когда я осмотрел инструменты и поднялся, взгляд мой упал на полоску известкового раствора там, где крышка соединялась с нижним камнем, и я заметил, что часть ее удалена, вероятно, киркой, лежавшей у моих ног. Я поцарапал раствор ногтем и нашел, что он очень рыхлый. Я молча поднял кирку, Магнен светил фонарем. Не знаю, что побудило нас сделать это. У меня в голове не было ни одной мысли, только непреодолимое желание увидеть, что внутри. Удалив большую часть известкового раствора, я заметил небольшой фрагмент у самой земли, которого до сих пор не видел. Оставалось совсем немного, чтобы закончить работу. Я выхватил фонарь из рук Магнена и поставил на землю, где он ярко осветил мертвое лицо Марчелло. При свете фонаря я обнаружил небольшое отверстие между двумя массивными камнями и вставил туда конец лома, вбив его поглубже ударом кирки. Полетели осколки, камень треснул. Магнен задрожал.

— Что вы собираетесь делать? — спросил он, глядя туда, где лежал Марчелло.

— Помогите! — крикнул я, и мы вдвоем навалились на лом.

Я сильный человек, поэтому почувствовал слепую ярость, когда камень не поддался. Что, если крышка захлопнется? Новым ударом кирки я вбил лом еще глубже и, используя его как рычаг, мы навалились изо всех сил. Камень немного сдвинулся, и мы в изнеможении остановились, чтобы передохнуть.

С потолка свисал обрывок ржавой цепи, на которую когда-то вешали лампу. Взобравшись на саркофаг, я быстро привязал к ней фонарь.

— Теперь продолжим! — сказал я, и мы снова стали двигать крышку.

Она приподнялась, и мы начали ее раскачивать, пока она не потеряла равновесие и не упала в противоположную сторону. От грохота, как нам показалось, сотряслись стены, и я на мгновение оглох, в то время как с потолка на нас падал дождь из осыпавшейся штукатурки. Наконец мы взяли себя в руки, наклонились над саркофагом и заглянули внутрь.

Свет фонаря ярко освещал то, что было внутри, и мы увидели — как передать это? — мы увидели там, среди истлевших тряпок, тело прекрасной женщины, которая лежала как живая, с нежно-розовым лицом, мягкими темно-красными губами и грудью цвета перламутра, словно приподнимавшейся, как если бы женщина сладко спала. Сгнившие лохмотья, в которые она была завернута, составляли жуткий контраст с ее прекрасными формами, свежими, как утро! Руки были вытянуты вдоль тела, розовые ладони слегка повернуты наружу, глаза закрыты так умиротворенно, как у спящего ребенка, а длинные волосы, сиявшие в тусклом свете фонаря подобно красному золоту, заплетены в мелкие косички и тщательно уложены вокруг головы, лишь надо лбом из прически выбивались непослушные завитки. Я мог поклясться, что в голубых венах на ее божественно прекрасной груди течет живая горячая кровь!

Мы остолбенели, и Магнен, задыхаясь, склонился над саркофагом, бледный как смерть, гораздо бледнее, чем когда-либо, не отрывая глаз от почти улыбающегося лица. Я не сомневаюсь, что побледнел не меньше при виде этого необъяснимого зрелища. Пока я смотрел, красные губы, казалось, стали еще краснее. Они и правда стали еще краснее! Между ними показались жемчужные зубы. Раньше их не было видно. И тут по округлому подбородку потекла яркая рубиновая капля и соскользнула на шею. Охваченный ужасом, я смотрел на оживающий труп, пока не отвел глаза, не выдержав этого зрелища. Взгляд мой снова упал на надпись, но теперь я смог увидеть и прочитать ее целиком «К Веспертилии» — было написано по-латыни, и даже в латинском имени женщины было что-то дьявольское. Но самое страшное скрывала греческая надпись ?????????????? — «кровопийца, женщина-вампир». А Флавиус — ее

возлюбленный — vix ipse sospes, «сам едва спасшийся» из смертельных объятий, похоронил ее здесь и запечатал могилу, надеясь на тяжелый камень и крепкий раствор, чтобы навсегда замуровать прекрасное чудовище, которое он любил.

— Мерзкая убийца! — воскликнул я. — Ты убила Марчелло!

Я вдруг ощутил, как меня охватывает спокойствие мстителя.

— Дайте кирку, — сказал я Магнену.

Говорил я очень тихо. Он подобрал кирку и передал ее мне, словно во сне. Вид у Магнена был совершенно идиотский, на лбу блестели бисерины пота. Я взял нож и отщепил от деревянной ручки кирки отличный заостренный кол. Потом безо всякого отвращения влез в саркофаг. Ноги мои потонули в окутывающей Веспертилию истлевшей ткани, которая рассыпалась под ботинками, как пепел.

Мгновение я смотрел на белоснежную вздымающуюся грудь, где ажурное переплетение вен просвечивало сквозь кожу, подобно бирюзе, и выбирал место, а потом одним ударом глубоко воткнул в нее кол острым концом и придавил каблуком.

Раздался страшный вопль, пронзительный и ужасный, я даже подумал, что сейчас оглохну, но и тогда не почувствовал страха. Бывают минуты, когда мы становимся особенно сильны духом. Я замер, вглядываясь в ее лицо, которое на глазах менялось, эти изменения были страшными и — последними!

— Грязная вампирша! — размеренно и гневно произнес я. — Больше ты никому не причинишь вреда!

И, не оглядываясь на это проклятое лицо, выбрался из ужасной могилы.

Мы подняли Марчелло и медленно понесли его по крутой лестнице. Это оказалось трудной задачей, поскольку проход был узкий, а тело окоченело. Я заметил, что до конца второго пролета ступеньки были древние, а более поздний туннель наверху оказался несколько шире. Выбравшись на поверхность, мы увидели гвардиано, лежавшего на каменной скамье. Он не хотел остаться без вознаграждения. Я дал ему несколько франков.

— Видите, мы нашли синьора. — Я старался говорить непринужденно. — Он очень слаб, мы отнесем его в экипаж.

Я закрыл лицо Марчелло носовым платком, но гвардиано понял, что он мертв. Окоченевшие ноги говорили сами за себя, но итальянцы не любят впутываться в подобные дела. Они боятся полиции, как дети.

— Бедный синьорино! — сказал гвардиано. — Он очень болен. Лучше

отвезти его в Рим.

Пока мы шли с нашей ношей по падубовой аллее, он держался от нас подальше и даже не подошел к воротам, чтобы его не заметил кучер, дремавший на козлах. Мы с трудом втащили тело Марчелло в коляску. Возница обернулся и с подозрением посмотрел на нас. Я объяснил, что наш друг очень плох, и сунул ему золотой, велев ехать на виа дель Говерно Веккьо. Он взял деньги и хлестнул лошадей, чтобы поскорее добраться до места. Мы сидели в коляске, поддерживая твердое тело, которое подпрыгивало на каждом ухабе, как сломанная кукла. Наконец мы добрались до виа дель Говерно Веккьо. Никто не видел, как мы внесли Марчелло в дом. У двери не было ступенек, и мы остановились поближе к входу, чтобы скрыть свою ношу. Мы внесли тело в комнату, положили на кровать и заметили, что глаза уже закрыты. Наверное, они прикрылись от дорожной тряски, хотя это едва ли возможно. Квартирная хозяйка повела себя так, как и следовало ожидать, ведь я уже говорил, что знаю итальянцев. Она тоже сделала вид, что синьор очень болен, и предложила привести доктора, а когда я решился сказать ей, что он умер, заявила, что это, должно быть, случилось только что, поскольку она видела, как он посмотрел на нас и снова закрыл глаза. Она всегда говорила, что он слишком мало ест и непременно заболеет. Да, его свели в могилу слабость и дурной воздух, к тому же он слишком много работал. Мы с радостью согласились с ее фантазиями, так как не хотели связываться с полицией, и она побежала разносить новость по кварталу.

Так умер Марчелло Соувестре, и так закончила наконец свой земной путь кровопийца Веспертилия.

Осталось рассказать немногое. Марчелло, успокоенный и красивый, лежал на кровати. Проститься с ним пришли студенты, они стояли и молча смотрели на него, а потом опустились на колени, чтобы помолиться, совершили крестное знамение и навсегда оставили его.

Мы поспешили на виллу Медичи, где спал Детайе, и сестра Клавдий смотрела на него с довольным выражением обычно строгого лица. Она бесшумно поднялась, когда мы вошли, и встретила нас на пороге.

— Он поправится, — мягко сказала она.

Сестра оказалась права. Когда Детайе проснулся и открыл глаза, он сразу узнал нас.

— Слава богу! — выдохнул Магнен.

— Я был болен? — спросил Детайе очень слабым голосом.

— Всего лишь лихорадка, — поспешил ответить Магнен. — Но все позади. Вас пришел навестить месье Саттон.

— А Марчелло приходил? — был следующий вопрос.

Магнен смотрел на него не отрываясь.

— Нет, — только и ответил он, надеясь, что выражение его лица доскажет остальное.

— Неужели он и правда умер?

Магнен наклонил голову.

— Бедный друг! — пробормотал Детайе, опустил тяжелые веки и снова уснул.

Спустя несколько дней после похорон Марчелло мы отправились в Винья-Мардзиали, чтобы забрать вещи, которые ему принадлежали. Когда я аккуратно собирал рукописную партитуру оперы, мой взгляд упал на один отрывок. Он показался мне похожим на тот, что Детайе постоянно напевал в бреду; я его записал. Как ни странно, когда я позже напомнил ему о той мелодии, для него это стало новостью. Детайе заявил, что Марчелло не позволил ему заглянуть в рукопись. Что касается бюста, спрятанного в другой комнате, мы не стали его тревожить и оставили разрушаться вдали от людских глаз.

Элиза Линн Линтон

Элиза Линн Линтон (1822–1898) родилась в Кесвике, графство Камбрия, в семье священника. Женщина независимых взглядов, она в 1845 году самостоятельно отправилась в Лондон в качестве протеже поэта Уолтера Сэвиджа Лэндора.

Опубликовав несколько романов, не имевших особого успеха, она сменила литературные занятия на ремесло журналиста и стала сотрудничать в газете «Морнинг кроникл» и журнале «Круглый год», который издавал Чарльз Диккенс. В 1858 году она вышла замуж за У. Дж. Линтона, знаменитого поэта и гравера по дереву; спустя десятилетие они развелись, но, по-видимому, оставались в хороших отношениях, так как она взяла на воспитание одну из его дочерей от первого брака. После развода ее бывший муж эмигрировал в США, и Линтон вернулась к беллетристике, на сей раз добившись широкой известности благодаря таким романам, как «Подлинная история Джошуа Дэвидсона» (1872) и «Кристофер Киркленд» (1885), — в значительной мере автобиографическим, несмотря на то что повествование в них ведется от лица мужчины. Ее взгляды нередко приводили исследователей в замешательство: сильная женщина с ярко выраженной индивидуальностью и независимым стилем поведения, она вместе с тем была решительной противницей феминистского движения, утверждавшего в общественном сознании образ «новой женщины».

Ее весьма неторопливая, размеренная манера повествования едва ли

способна удержать внимание современного читателя, и сегодня книги Линтон вспоминают редко.

Рассказ «Убийство мадам Кабанель» был впервые опубликован в авторском сборнике «„Шелковая нить“ и другие истории» (Лондон: Чатто энд Уиндус, 1880).

Убийство мадам Кабанель

Деревушку Пьевро в Бретани не затронул прогресс, не осветила своим светом наука. Ее жители были простыми, невежественными, суеверными людьми и о благах цивилизации имели так же мало представления, как об учености. Всю неделю они занимались тяжелым трудом, возделывая неплодородную землю, которая давала взамен скудный урожай. По воскресеньям и дням святых посещали мессу в небольшой каменной часовне, безоговорочно принимая на веру все, что говорил им господин кюре, как и многие другие вещи, о которых он не упоминал. Все незнакомое казалось им дьявольским, а не прекрасным.

Единственной связью между жителями деревни и внешним миром, царством разума и прогресса, был месье Жюль Кабанель, истинный хозяин этих мест. Он одновременно исполнял обязанности мэра, мирового судьи и всех публичных должностных лиц. Иногда он ездил в Париж, откуда возвращался с немалым запасом всевозможных новинок, вызывавших зависть, восхищение или страх в зависимости от умственных способностей тех, кто их видел.

Месье Жюль Кабанель не считался красавцем, но душу имел добрую. Это был невысокий, коренастый, непритязательный мужчина со спутанной копной иссиня-черных волос и такой же иссиня-черной бородой. Он был склонен к полноте и любил пожить в свое удовольствие. Некоторые его качества могли возместить недостаток личного обаяния. Он был очень неплохой человек, просто самый обыкновенный и непривлекательный.

До пятидесяти лет он оставался видным женихом, но по-прежнему сопротивлялся попыткам поймать его в сети, которые предпринимали мамаши незамужних девиц, и свято оберегал от посягательств свою свободу и холостяцкую жизнь. Возможно, его красивая экономка Адель несколько способствовала столь упорному нежеланию вступать в брак. Поговаривали, что она захаживает в местный трактир «Вдова настоятеля», но никому и в голову не приходило с ней равняться. Она была гордая и неразговорчивая женщина, со странными представлениями о чувстве собственного достоинства, но возражать ей никто не осмеливался. Так, какие бы слухи ни ходили в деревне, они не достигали ни ушей Адель, ни ее хозяина.

Но вот, весьма неожиданно, Жюль Кабанель, остававшийся в Париже гораздо дольше обычного, приехал домой с женой. У Адель были только сутки, чтобы подготовиться к этому загадочному возвращению; задача казалась трудновыполнимой. Но она сделала все, как всегда, молча и решительно; устроила комнаты так, чтобы хозяину понравилось, и даже добавила к обычным милым украшениям букетик на столе в гостиной.

«Странные цветы для невесты», — удивилась про себя маленькая Жаннетт (деревенская дурочка, которую иногда брали в дом для помощи по хозяйству), заметив гелиотроп, который во Франции называют «вдовьим цветком», алые маки, белладонну и аконит. Такой букет вряд ли подходит для свадьбы, и это знала даже глупая маленькая Жаннетт.

Тем не менее цветы стояли там, куда их поставила Адель; и если месье Кабанель и выразил неудовольствие, скорчив гримасу, то мадам, казалось, ничего не поняла, поскольку улыбнулась с неопределенным и отчасти снисходительным видом, который принимают люди, которые не осознают смысла происходящего.

Мадам Кабанель была иностранка — англичанка, юная, хорошенькая и белокурая, как ангел.

— Дьявольская красота, — сделали заключение пьевронцы со смесью насмешливости и страха, ибо в эти слова они вкладывали гораздо больше значения, чем хотели показать.

Смуглые, худые и низкорослые, они не могли оценить округлых форм, высокого роста и свежего лица англичанки. Они никогда не видели ничего подобного, и поэтому в ее красоте для них было больше зла, нежели добра. Чувство, которое появилось при первом взгляде на мадам, только усилилось, когда все заметили, что хоть она и пришла на мессу вовремя, а это достойно похвалы, но не знала текстов служебника и крестилась неправильно. Поистине дьявольская красота!

— Тьфу! — сказал Мартин Бриоли, старый могильщик на небольшом кладбище. — С ее красными губами, розовыми щеками и пухлыми плечами она похожа на вампира, как будто всю жизнь попивала кровь.

Он изрек это однажды вечером с тяжелым вздохом осуждения, сидя в трактире «Вдова настоятеля». Мартин Бриоли считался самым мудрым человеком в округе, не считая господина кюре, мудрого в своей области, где был не сведущ Мартин, и месье Кабанеля, мудрого в своей области, в которой не были сведущи Мартин и кюре. Он знал все о погоде и звездах, о травах, которые растут на равнинах, и о пугливых диких животных, которые их поедают; он умел предсказывать и с помощью особого приспособления мог найти родник, скрытый глубоко под землей. Он также

знал, где искать клад в сочельник, если ты достаточно быстрый и храбрый, чтобы войти в расселину в скале и вовремя из нее выйти; он собственными глазами видел Белых Дам, [7] танцующих в лунном свете, и бесенят, играющих и шаловливо прыгающих у пруда на опушке. И он точно знал, кто из жителей Ла-Креш-эн-Буа — деревни, с которой они враждовали, — мог быть оборотнем, и никто не сомневался в правоте его слов! Эти познания носили по большей части мистический характер; поэтому, если Мартин Бриоли плохо отзывался о ком-то, все подхватывали, если же он говорил о ком-то хорошо — на это не обращали внимания.

Фанни Кемпбелл, которая теперь была мадам Кабанель, ни в Англии, ни где-либо еще не смогла бы привлечь к себе столь пристального внимания, как в таком скучном, невежественном, а следовательно, кишащем сплетнями местечке, как Пьевро. За ее плечами не было никакой романтичной тайны; ее история была достаточно банальна и по-своему печальна. Будучи сиротой, очень юная и очень бедная, она служила гувернанткой. Хозяева поссорились с ней и оставили в Париже, не заплатив, совсем одну и почти без средств. Выйти замуж за такого человека, как месье Кабанель, она могла только мечтать. Прежде Фанни никто не любил, следовательно, ее с легкостью заполучил первый мужчина, который был с нею добр как раз тогда, когда ей грозила нищета. И она приняла немолодого поклонника, который больше подходил на роль отца, чем мужа, с чистой совестью и искренним желанием как можно лучше исполнять супружеские обязанности, не считая себя мученицей или жертвой, подчинившейся жестоким обстоятельствам. Она не знала ни о красивой экономке Адель, ни о ее маленьком племяннике, которому хозяин любезно позволил жить в своем доме и которому кюре давал уроки. Возможно, если бы она знала о них, то дважды подумала бы, прежде чем решиться жить под одной крышей с женщиной, составившей свадебный букет из маков, гелиотропа и ядовитых цветов.

Главной чертой мадам Кабанель был добрый нрав. О нем говорили округлые, мягкие черты ее лица и фигуры, добрые синие глаза и неизменная безмятежная улыбка. Все это еще больше раздражало и без того вздорных французов и тем более вызывало отвращение у Адель. Казалось невозможным рассердить мадам или догадаться, что она оскорблена, когда экономка, по обыкновению, говорила с ней с глубоким презрением; Адель не прекращала попыток поставить мадам на место. Но та принимала надменную сдержанность Адель и то, что она дерзила и продолжала играть роль домоправительницы, с неизменным добродушием; то и дело благодарила Адель, что она так любезно взяла на себя все

обязанности по дому.

Благодаря спокойной и размеренной жизни, когда все способности Фанни в некотором роде впали в спячку, когда она наслаждалась существованием, столь отличным от полной лишений и тревог жизни последних лет, как и следовало ожидать, расцвела ее красота, Фанни посвежела и окрепла. Ее губы стали краснее, щеки розовее, плечи еще более пухлыми, чем когда-либо; но пока она расцветала, жители деревушки стали болеть, и даже старики не могли припомнить, чтобы за сезон столько людей заболело и умерло. Хозяин тоже немного прихворнул, а малыш Адольф заболел очень сильно.

Эпидемии болезней в неосушенных деревнях обычное дело во Франции и Англии; французские дети, к сожалению, умирают постоянно. Но Адель это представлялось чем-то сверхъестественным, и, забыв о своей привычке к сдержанности, она взахлеб говорила с каждым встречным и поперечным о таинственной болезни, поразившей Пьевро и дом Кабанеля. Она полагала, что это больше, чем просто болезнь, но не могла ни дать ей название, ни найти средство, которое вылечило бы ее маленького племянника. Она говорила, что творятся странные дела и что в Пьевро с недавних пор все изменилось к худшему. Жаннетт нередко замечала, что Адель сидит, глядя на англичанку с убийственным выражением красивого лица, переводя взгляд со свежего личика и пышного тела иностранки на бледного, чахлого, исхудавшего ребенка. Потом Жаннетт рассказывала, что этот взгляд Адель заставлял ее стынуть от ужаса.

Однажды ночью Адель, словно не в силах больше терпеть, примчалась в дом старого Мартина Бриоли, чтобы тот объяснил ей, что происходит и как от этого избавиться.

— Дело в том, мадам Адель, — сказал Мартин, перетасовав засаленные гадальные карты и выложив их на стол по три, — что тут нечто большее, чем видят люди. Кто-то видит только, что бедный малыш вдруг заболел, это вполне возможно. И в этом нет никакого вреда, причиненного человеком? Господь посылает болезни всем нам и делает мое ремесло прибыльным. Но маленького Адольфа поразил не Господь. Я вижу пожелание злой женщины!

Он снова перетасовал карты и нетерпеливо их разложил. Морщинистые руки дрожали, он произносил слова, которые Адель не могла разобрать.

— Да защитят нас святой Иосиф и все святые! — воскликнул он. — Иностранка, англичанка, та, которую называют мадам Кабанель, — она не законная мадам! О горе!

— Говорите, папаша Мартин! Что вы имеете в виду? — воскликнула Адель, хватая его за руку.

Ее черные глаза смотрели дико, ноздри раздувались, губы — тонкие, изогнутые, трепещущие — раздвинулись, показав маленькие квадратные зубы.

— Повторите ясно, что вы сказали!

— Бруколак! [8] — низким голосом произнес Мартин.

— Я так и знала! — воскликнула Адель. — Я так и знала. Ах, мой Адольф! Будь проклят тот день, когда хозяин привел в дом этого белолицего дьявола!

— Неспроста эти красные губы, мадам Адель, — продолжал Мартин, кивая головой. — Посмотрите на них — они блестят от крови! Я говорил это с самого начала, и карты сказали то же самое. Я вытащил червы и пиковую даму в тот вечер, когда хозяин привез ее, и сказал себе: «Ха-ха, Мартин! Ты на верном пути, парень, на верном пути!» И, мадам Адель, я ни разу с него не свернул! Бруколак! Вот что говорят карты, мадам Адель. Вампир. Смотрите — и увидите, смотрите — и увидите, и поймете, что карты говорят правду.

— А когда мы поймем, Мартин? — хриплым шепотом спросила Адель.

Старик снова перетасовал карты.

— Когда мы поймем, мадам Адель? — переспросил он, растягивая слова. — Вы знаете старый пруд у леса? Старый пруд, где шныряют гномы и где Белые Дамы ломают шеи тем, кто натолкнется на них в лунном свете? Может, Белые Дамы поступят так же с английской женой месье Кабанеля? Кто знает?

— Они могут, — мрачно заметила Адель.

— Смелее, храбрая женщина! — подбодрил ее Мартин. — Они это сделают.

Единственным действительно симпатичным местом в Пьевро было кладбище. Вокруг деревни таинственно разрастался мрачный лес; по широкой равнине можно было идти весь долгий летний день, но так и не дойти до конца. Все это мало подходило для прогулок молодой женщины, как и бедные поля, которые крестьяне с трудом возделывали, выращивая зерновые. Поэтому мадам Кабанель, при всей своей лености, как все англичане, имевшая врожденную любовь к ходьбе и свежему воздуху, довольно часто посещала небольшое кладбище. У нее не было с ним связано никаких сентиментальных чувств. Она не знала никого из покойников, лежавших в узких гробах, и не беспокоилась ни об одном из

них; но ей нравилось смотреть на милые клумбы, венки из бессмертника и прочее; кладбище было не так далеко от дома, чтобы прогулка ее утомила. К тому же отсюда открывался прекрасный вид на равнину, темную полоску леса вдали и горы.

Пьевронцы этого не понимали. Они не могли представить, что кто-то в здравом уме будет постоянно ходить на кладбище — не в День поминовения и не для того, чтобы украсить могилы близких, а просто побродить среди гробов и отдохнуть, глядя на равнину и горы за ней.

— Совсем как… — говоривший это, некто Лезуф, вдруг замолчал.

Он сказал это в трактире «Вдова настоятеля», где по вечерам собиралась вся деревня, чтобы обсудить события, произошедшие за день. Главной темой вот уже три месяца, с самого приезда, была мадам Кабанель, ее иноземные привычки, грешное незнание молитвослова и странное поведение. Жители деревни перекидывались шутливыми вопросами: как все это нравится мадам Адель? что станется с малышом Адольфом, когда появится законный наследник? И добавляли, что месье храбрый человек, так как заставил двух диких кошек жить под одной крышей, — и что из этого будет? Наверняка ничего хорошего.

— Она бродила среди могил, совсем как кто, Жан Лезуф? — переспросил Мартин Бриоли и, приподнявшись с места, добавил приглушенно, но вполне отчетливо, так что было слышно каждое слово: — Я скажу, как кто, Лезуф. Как вампир! У мадам Кабанель красные губы и красные щеки, а на ваших глазах погибает маленький племянник мадам Адель. У мадам Кабанель красные губы и красные щеки, и она часами сидит среди могил. Сможете отгадать загадку, друзья мои? Для меня ответ так же ясен, как благословенное солнце.

— Да уж, папаша Мартин, вы нашли правильное слово — как вампир! — задрожав, согласился Лезуф.

— Как вампир! — стонущим эхом отозвались остальные.

— Я первый сказал «вампир», — заметил Мартин Бриоли. — Вспомните, я сказал это первый.

— Верно! Так и было, — ответили все. — Вы сказали правду.

Недружелюбие, с которым встретили и которое сопровождало молодую англичанку с тех самых пор, как она приехала в Пьевро, достигло апогея. Семя, брошенное Мартином и Адель, наконец пустило корни. Пьевронцы были готовы обвинить в неверии и безнравственности любого, кто не согласен с их решением. Они объявили, что симпатичная мадам Кабанель, обыкновенная, ни в чем не повинная молодая женщина с привлекательной наружностью, данной ей природой, и превосходным

здоровьем, сосет кровь ребенка и живет среди могил, чтобы сделать своей добычей тех, кого недавно похоронили.

Маленький Адольф становился все бледнее и худее; жестокое летнее солнце сказывалось на полуголодных обитателях грязных хижин, окруженных неосушенными болотами; и прежнее несокрушимое здоровье месье Жюля Кабанеля сильно пошатнулось. Доктор, который жил в Креш-эн-Буа, глядя на все это, покачал головой и сказал, что дело плохо. Когда Адель стала настаивать, чтобы он объяснил, что случилось с ребенком и месье, он уклонился от ответа; вернее, произнес слово, которого никто не понял и не смог повторить. Правду говоря, доктор был недоверчивый человек, у которого все вызывало подозрение. Он выдвигал теории, а затем искал доказательства их правильности. Он предположил, что Фанни тайно отравила и мужа и ребенка; и хотя он ни словом не намекнул на это Адель, она продолжала считать, что во всем виновата мадам Кабанель.

Что до месье Кабанеля, то он был человек без воображения и не подозрительный; человек, который просто смотрел на жизнь и не боялся никого оскорбить; человек эгоистичный, но не жестокий; человек, для которого превыше всего собственное удовольствие, и поэтому он не может представить, чтобы кто-то вступил с ним в противоборство или не желал относиться к нему с любовью и уважением. Однако он любил свою жену, ибо никогда прежде не любил женщину. Грубо скроенный, простой по своей природе, он любил ее со всей силой и страстью глубоко спрятанной поэтической натуры; и если таковая была в нем не слишком сильна, зато ее смело можно было считать подлинной. Но и в него закрались сомнения, когда то Адель, то доктор стали вести с ним загадочные разговоры, одна о дьявольском влиянии, другой (с помощью записок) о том, что ему надлежит быть осторожным, особенно в отношении того, что он ест и пьет, как это приготовлено и кем. Адель постоянно намекала на вероломность англичанок и на то, что светлые волосы и чудесный цвет лица — от дьявола. Несмотря на всю его любовь к молодой жене, непрерывно капавший яд не мог не возыметь действия. Но о его стойкости и преданности говорило то, что это действие все же было очень небольшим.

Однажды вечером, когда мадам, как обычно, отправилась на прогулку, Адель припала к ногам месье Кабанеля.

— Почему вы оставили меня ради нее? — воскликнула она. — Меня, которая любила вас и была вам предана, ради нее, которая гуляет среди могил, пьет вашу кровь и кровь нашего ребенка? Ради нее, у которой только и есть, что дьявольская красота, и которая вас не любит!

Месье Кабанеля словно ударило электрическим током.

— Несчастный глупец, что я наделал! — воскликнул он, прижался головой к плечу Адель и заплакал.

Сердце Адель прыгало от радости. Неужели ее власть будет восстановлена? Неужели она избавится от соперницы?

С того вечера отношение месье Кабанеля к молодой жене изменилось, но мадам Кабанель была слишком легкомысленна и доверчива, а если что и замечала — так она любила мужа не слишком сильно, скорее относилась к нему со спокойным дружелюбием, а потому и не переживала. Она приняла его неприветливость и резкость с таким же добродушием, как и все остальное. Было бы мудрее с ее стороны кричать, устраивать сцены и закатывать месье Кабанелю скандалы. Тогда они лучше поняли бы друг друга; французы любят громко и с удовольствием выяснять отношения.

По природе своей мягкосердечная, мадам Кабанель часто ходила в деревню, предлагая больным свою помощь. Но никто, даже последний бедняк, не встретил ее учтиво и не принял от нее хоть что-то. Если она хотела дотронуться до умирающего ребенка, мать, дрожа, торопливо брала его на руки; если она говорила с больным, его тусклые глаза смотрели на нее со странным ужасом, и он слабым голосом бормотал на местном наречии слова, которых она не понимала. Но одно и то же слово звучало всегда: «Бруколак!»

«До чего же эти люди ненавидят англичан!» — думала она, отворачиваясь, немного обиженная, но слишком флегматичная, чтобы испытывать неудобство или тревожиться.

То же самое происходило дома. Если она хотела сделать что-нибудь для ребенка, Адель яростно отказывалась от помощи. Как-то она грубо выхватила мальчика из рук хозяйки, приговаривая:

— Мерзкий бруколак! Как ты смеешь делать это у меня на глазах?

Однажды, когда Фанни, беспокоясь о муже, предложила приготовить для него чашку крепкого английского бульона, доктор посмотрел на нее так, словно хотел пронзить взглядом. Адель опрокинула кастрюлю.

— Для вас это недостаточно быстро, мадам? — дерзко спросила она, хотя на глаза ей навернулись горячие слезы. — Что ж, сперва вам придется убить меня!

Фанни ни на что не реагировала; она только подумала, что доктор плохо воспитан, так как слишком пристально посмотрел на нее, а Адель ужасная злючка со скверным характером. Английские экономки совсем другие!

Но месье Кабанель, которому рассказали об этой сцене, позвал Фанни к себе.

— Ты ведь не причинишь мне вреда, женушка? — сказал он ласковее, чем обычно в последнее время. — Не сделаешь мне ничего плохого? Ведь ты добра и любишь меня?

— Плохого? Что плохого я могу сделать? — удивилась Фанни, широко открыв свои голубые глаза. — Что плохого я могу сделать моему лучшему и единственному другу?

— А я твой друг? Твой возлюбленный? Твой муж? Ты любишь меня, дорогая? — спросил месье Кабанель.

— Дорогой Жюль, кто мне здесь дороже и ближе? — ответила она и поцеловала мужа.

— Благослови тебя Бог! — пылко сказал он.

На следующий день месье Кабанелю пришлось уехать по срочному делу. Он сказал, что должен отлучиться на два дня, но постарается приехать раньше. И молодая жена осталась одна среди врагов, даже без такой ненадежной охраны, как его присутствие.

Адель ушла. Была темная и жаркая летняя ночь, и малыша Адольфа лихорадило больше, чем днем. К тому же он был очень беспокойным. К вечеру ему стало совсем худо. И хотя Жаннетт были даны строгие указания не позволять мадам до него дотрагиваться, ее напугало состояние мальчика; поэтому, когда мадам вошла в комнату, чтобы предложить свою помощь, Жаннетт с удовольствием избавилась от ноши, которая была для нее слишком тяжела, и позволила леди взять его на руки.

Сидя с ребенком на коленях, Фанни то ворковала, то пела ему колыбельную. Ей показалось, что приступ миновал, и малыш уснул. Но мальчик прикусил себе губу и язык, и теперь из его рта сочилась кровь. Он был симпатичный малыш, а смертельная болезнь сделала его трогательно прекрасным. Фанни наклонила голову, поцеловала бледное спокойное личико — и на ее губах осталась его кровь.

Пока она продолжала склоняться над ним — ее женское сердце тронула тайна собственного будущего материнства, — в комнату быстро вошла Адель в сопровождении старого Мартина и других деревенских жителей.

— Смотрите на нее! — закричала она, хватая Фанни за руку и поднимая ее лицо за подбородок, — смотрите, что она делает! Друзья, взгляните на моего ребенка — он мертвый, мертвый в ее руках, а на ее губах его кровь! Вам нужны еще доказательства? Она вампир, и вы видите это собственными глазами!

— Да! Да! — хрипло заревела толпа. — Она вампир, существо, проклятое Богом, и враг человека! Тащите ее к оврагу! Она должна

умереть, как заставила умирать других!

— Умри, как заставила умереть моего мальчика! — сказала Адель.

И многие, кто во время эпидемии потерял родственника или ребенка, повторили за ней:

— Умри, как заставила умереть моего!

— Что все это значит? — спросила мадам Кабанель, поднявшись и представ перед толпой с храбростью истинной англичанки. — Какой вред я причинила хоть одному из вас, зачем вы явились сюда в отсутствие моего мужа, отчего эти злые взгляды и наглые слова?

— Какой вред ты причинила? — воскликнул старый Мартин, подходя к ней. — Ты колдунья, и ты околдовала нашего доброго хозяина. А еще ты вампир, который питается нашей кровью! Разве у нас нет доказательств? Посмотри на свой рот, проклятый бруколак. Вот лежит твоя жертва, которая обвиняет тебя в своей смерти!

Фанни презрительно улыбнулась.

— Я не собираюсь отвечать на ваши безумные обвинения, — сказала она, подняв голову. — Вы мужчины или дети?

— Мы мужчины, мадам, — ответил мельник Легро, — и как мужчины мы должны защитить тех, кто слабее. У нас у всех были подозрения — и у меня больше, чем у других, потому что трое моих малышей ушли в мир иной до срока, — и теперь они подтвердились.

— Я укачивала умирающего ребенка и старалась его успокоить! — заявила мадам Кабанель с невольной горячностью.

— Ни слова больше! — крикнула Адель и потянула ее руку, которую все это время не выпускала. — К пруду ее, друзья, если не хотите увидеть, как умрут все ваши дети вслед за моим ребенком и детьми нашего доброго Легро!

Толпу сотрясла дрожь, раздался стон, прозвучавший как проклятие.

— К пруду! — кричали они. — Пусть демоны заберут ее!

В мгновение ока Адель связала белые руки, форма и красота которых так часто раздражали ее, заставляя ревновать; прежде чем бедная девушка успела закричать, Легро зажал ей рот мускулистой рукой. Хотя уничтожение монстра, по их мнению, не было убийством человека, тем не менее они не хотели слышать крики, казавшиеся вполне человеческими, как и сама мадам Кабанель. Молча и угрюмо ужасный кортеж направился в лес, унося живой груз с завязанным ртом, беспомощный, словно труп. За исключением Адель и старика Мартина, эти люди не были враждебно настроены против мадам Кабанель, скорее их подстегивало непреодолимое желание защитить себя. Они были палачами, а не врагами; и палачами их

сделал самосуд, а не закон. Но постепенно толпа таяла, пока их не осталось всего шестеро, в том числе Легро и Лезуф, потерявший единственную сестру.

Пруд был в английской миле от дома Кабанель. Мрачное уединенное место, куда не каждый храбрец отважился бы пойти в одиночку после наступления сумерек, даже в сопровождении кюре; но компания добавляет храбрости, сказал старый Мартин Бриоли; полдюжины крепких мужчин во главе с такой женщиной, как Адель, не побоялись бы даже гномов и Белых Дам.

Они несли свою ношу так быстро, как могли, и все это в абсолютной тишине. Кортеж двигался по торфянику. Один или двое несли факелы; ночь была темной, и в пути могла подстерегать опасность. Они приближались к пруду, и их жертва становилась все тяжелее. Она давно перестала бороться, и теперь лежала в руках своих носильщиков, точно мертвая. Но никто не говорил ни об этом, ни о чем-то другом. Они не обменялись ни словом, и кое-кто из оставшихся уже начал сомневаться, мудро ли они поступили и не стоит ли все сделать по закону. Только Адель и Мартин твердо намеревались довести начатое до конца, да еще Легро. Но он был слаб и по-человечески сожалел о том, что, как он чувствовал, обязан сделать. Что касается Адель, то ревность женщины, мучения матери и суеверный страх не заставили бы ее и пальцем пошевельнуть, чтобы облегчить страдания жертвы или понять наконец, что она самая обыкновенная женщина, а не вампир.

Вокруг становилось все темнее, а расстояние до места расправы — все короче. Наконец они добрались до пруда, куда хотели бросить перепуганного монстра, вампира — невинную бедняжку Фанни Кабанель. Когда они опустили свою ношу на землю, свет факелов осветил ей лицо.

— Великий Боже! — воскликнул Легро и стащил шляпу. — Она мертва!

— Вампиры не умирают, — возразила Адель. — Это только видимость. Спросите папашу Мартина.

— Вампир не может умереть, пока его не заберет дьявол или не похоронят с осиновым колом в сердце, — нравоучительно сказал Мартин Бриоли.

— Я не хочу на это смотреть, — проговорил Легро; то же самое сказали и остальные.

Они вытащили кляп изо рта бедной девушки; и пока она лежала в мерцающем свете, с прикрытыми голубыми глазами и смертельно бледным лицом, в жителях деревни на мгновение проснулось сочувствие, словно над

головами прошумел легкий ветерок.

Вдруг все услышали звук конских копыт, доносившийся с равнины. Они посчитали: две, четыре, шесть лошадей; а их только четверо безоружных мужчин, не считая Мартина и Адель. С одной стороны им грозила людская месть, с другой — могущественные и злобные лесные духи. Поэтому храбрость их испарилась, и они потеряли присутствие духа. Легро со всех ног помчался в темный лес, Лезуф последовал за ним. Двое других побежали по равнине, в то время как всадники приближались. Только Адель держала факел высоко над головой, освещая себя, охваченную темными страстями и желанием мести, и труп своей жертвы. Она не хотела ничего скрывать, она сделала свое дело и теперь торжествовала. Всадники подскакали к ней — впереди Жюль Кабанель, а за ним доктор и четверо сельских полицейских.

— Негодяи! Убийцы! — только и сказал Жюль, спрыгнув с лошади и прижавшись губами к бледному лицу жены.

— Хозяин, — обратилась к нему Адель, — она заслужила смерть. Она вампир, она убила нашего ребенка.

— Глупости! — воскликнул Жюль Кабанель, отбрасывая ее руку. — О моя любимая жена! Ты, не причинившая вреда ни человеку, ни зверю, убита людьми, которые хуже, чем животные!

— Она постепенно убивала вас, — возразила Адель. — Спросите месье доктора. Чем болел хозяин, месье?

— Не вмешивайте меня в это чудовищное преступление, — сказал доктор, осматривая умершую. — Чем бы ни болел хозяин, она не должна была здесь лежать. Вы стали ей судьей и палачом, Адель, и вы должны ответить за это по закону.

— Вы тоже так считаете, хозяин? — спросила Адель.

— Я тоже так считаю, — подтвердил месье Кабанель. — Вам придется ответить перед законом за невинную жизнь, которую так безжалостно забрали вы и эти легковерные убийцы, которых вы переманили на свою сторону.

— Разве не надо было отомстить за нашего ребенка?

— Хотите сделать это вместо Бога, женщина? — строго спросил месье Кабанель.

— А как же годы нашей любви, хозяин?

— Они лишь напоминают о ненависти, Адель, — ответил месье Кабанель и повернулся к бледному лицу своей мертвой жены.

— Тогда мое место свободно, — горько воскликнула Адель. — Ах, мой маленький Адольф, как хорошо, что ты ушел раньше!

— Стойте, мадам Адель! — закричал Мартин.

Но прежде чем он успел протянуть руку, Адель, испустив вопль, прыгнула в пруд, где собиралась утопить мадам Кабанель. Они услышали, как ее тело ударилось о воду и с глухим всплеском ушло на дно.

— Против меня нет доказательств, Жан, — сказал старый Мартин державшему его полицейскому. — Я не завязывал ей рот и не тащил на плечах. Я могильщик из Пьевро, и, право же, вы, несчастные создания, после смерти не обойдетесь без моей помощи! Я буду иметь честь вырыть могилу для мадам, даже не сомневайтесь. И, Жан, — зашептал он, — пусть эти богатые аристократы говорят все, что хотят, они ведь ничего не знают. Она вампир, и в нее надо воткнуть осиновый кол! Мне лучше знать! Если ее не пригвоздить к земле, она встанет из могилы и будет пить нашу кровь. Так делают все вампиры.

— Молчать! — рявкнул полицейский. — Отправишься в тюрьму вместе с убийцами. И держи язык за зубами.

— В тюрьму вместе с мучениками и благочестивыми людьми, — возразил старый Мартин. — Так общество вознаграждает своих лучших сограждан!

И с этой верой он жил и умер в Тулоне, до своего последнего дня пребывая в убеждении, что оказал обществу благодеяние, избавив его от чудовища, которое уничтожило бы всех до единого жителей Пьевро, и этим увековечил свое имя. Но Легро и его товарищ Лезуф стали всерьез сомневаться в том, что поступили правильно той темной летней ночью в лесу. Хотя они всегда утверждали, что ни в чем не виноваты, ибо действовали из лучших побуждений, постепенно они перестали верить в старого Мартина Бриоли и его мудрость — пусть правосудие вершится по закону и без их помощи. Они продолжали молоть муку и чинить обувь жителям деревни и жили праведной жизнью, как учил господин кюре и наставляли жены.

Мэри Чолмондели

Мэри Чолмондели (1859–1925) родилась в Шропшире, половину жизни провела в заботах о больной матери и умерла, так и не выйдя замуж. Несмотря на то что она и ее семья вели довольно уединенную жизнь, они были знакомы со многими литераторами той эпохи. Ее дядя Реджинальд дружил с Марком Твеном, а ее племянница Стелла Бенсон также стала романисткой.

Мэри Чолмондели — автор более дюжины романов, в том числе высоко оцененных читателем детективов «Сокровища Дэнверсов» (1886), «Сэр Чарльз Дэнверс» (1889), «Диана Темпест» (1893) и «Узники» (1906);

среди сборников рассказов на различные темы, также принадлежащих ее перу, — «Нижняя ступень» (1908) и «„Любовь всей его жизни“ и другие истории» (1921). Самым известным ее сочинением является сатирический роман «Красное» (1899), одно из наиболее удачных литературных воплощений «Новой женщины» — британского культурного движения 1880 — 1890-х годов, утверждавшего идеи женской эмансипации и резко высмеянного в «Дракуле» Брэма Стокера.

Рассказ «Освободи!» был впервые опубликован в издании «Темпл бар: Лондонский журнал для городских и сельских читателей» в апреле 1890 года. Позднее вошел в американское издание авторского сборника рассказов «Моль и ржа» (Нью-Йорк: Додд и Мид, 1902), однако отсутствует в лондонском издании этой книги, выпущенной в свет в том же году Джоном Мерреем.

Освободи!

Мертвецы — среди нас! Их должна была поглотить холодная земля, но они все еще с нами.

Несколько лет назад я увлекался архитектурой и путешествовал по Голландии, изучая постройки этой интересной страны. В то время я еще не знал, что увлекаться искусством недостаточно. Искусство тоже должно увлечься вами. Я никогда не сомневался, что мой чрезвычайный энтузиазм будет вознагражден. Когда же обнаружил, что искусство — строгая госпожа, которая не собирается немедленно отвечать на мои знаки внимания, естественно, стал поклоняться другой святыне. Помимо искусства, в мире есть и иные вещи. Теперь я садовник-декоратор.

Но в то время, о котором пишу, у меня был настоящий роман с архитектурой. Вместе со мной путешествовал товарищ, который впоследствии стал одним из лучших современных архитекторов. Это был стройный человек с решительным и нервным выражением лица, тяжелой челюстью и неторопливой речью, чрезвычайно поглощенный работой, что вскоре мне показалось утомительным. Он обладал способностью спокойно и уверенно преодолевать препятствия, и в этом ему не было равных. Впоследствии он стал моим шурином, поэтому мне очень хорошо известно это его свойство. Моим родителям мой товарищ сильно не нравился, и они не давали согласия на брак; сестра его совсем не любила и отказывала ему раз за разом; тем не менее он в конце концов женился на ней.

Позднее я стал думать, что одной из причин, по которым он выбрал меня в компаньоны для путешествия, было желание набраться смелости перед тем, что он потом называл «союзом с моей семьей», но в то время мне такая мысль не приходила в голову. Я редко встречал людей,

одевавшихся в столь небрежной манере, и тогда, несмотря на июльскую жару, стоявшую в Голландии, он не выходил на улицу без высокого накрахмаленного воротничка, совершенно не подходящего для такой погоды.

Я частенько подтрунивал над его роскошными воротничками, спрашивал, почему он их носит, но ответа не получал. Однажды вечером, когда мы возвращались на нашу квартиру в Миддлберге, я едва ли не в тридцатый раз пристал к нему с этим вопросом.

— За каким дьяволом вы их носите? — спросил я.

— Вы много раз спрашивали меня об этом, — ответил он в своей неторопливой педантичной манере, — но всегда мне было не до того. Теперь я свободен и расскажу вам свою историю.

И он выполнил обещание.

Я записал его рассказ как можно ближе к оригиналу.

Десять лет назад меня попросили сделать научный доклад об английских фресках в Институте британских архитекторов. Я хотел сделать это как можно лучше, не упустив мельчайших деталей, поэтому штудировал множество книг по моей теме и изучал каждую фреску, которую только мог найти. Мой отец, а он был архитектор, оставил мне все свои бумаги и тетради по архитектуре. Я тщательно их изучил и нашел в одной из тетрадей небольшой набросок, сделанный почти пятьдесят лет назад, особенно меня заинтересовавший. Внизу мелким разборчивым почерком отца было написано: «Фреска на восточной стене склепа Приходская церковь. Вет-Вейст-он-зе-Волдз, Йоркшир (через Пикеринг)».

Набросок так меня очаровал, что я решил поехать туда и увидеть фреску своими глазами. Правда, я слабо представлял, где находится Вет-Вейст-он-зе-Волдз, но очень хотел, чтобы мой доклад имел успех. В Лондоне было жарко, и я отправился в неблизкий путь не без удовольствия, взяв с собой единственного спутника — собаку по кличке Брайан, огромное, чрезвычайно пестрое существо.

Я приехал в Пикеринг в Йоркшире после полудня и методом проб и ошибок начал изучать местные направления, пока несколько часов спустя не оказался наконец на маленькой станции в девяти или десяти милях от Вет-Вейст. Ехать было не на чем, поэтому я взвалил чемодан на плечо и пошел по длинной белой дороге, уходившей вдаль через голую местность без единого деревца. Я шел, должно быть, уже не один час по пустоши, поросшей вереском, когда меня догнал доктор и подвез, высадив в миле от пункта назначения. Эта миля показалась мне длинной, и уже совсем стемнело, когда я различил впереди слабое мерцание огней и понял, что

добрался до Вет-Вейст. Уговорить кого-то пустить меня на ночлег стоило немалых трудов. Наконец трактирщик предоставил мне постель. Я очень устал, поэтому сразу лег, опасаясь, как бы он не передумал, и заснул под журчание ручейка, протекавшего под моим окном.

На следующее утро я встал рано и после завтрака спросил, как пройти к дому священника. Оказалось, это совсем рядом. В Вет-Вейст все было совсем рядом. Селение состояло из серокаменных одноэтажных домов, построенных здесь и там без всякой системы. Дома были того же цвета, что и каменные стенки, отделявшие поля от соседней пустоши, и мостики через ручей, бежавший по одной стороне широкой серой улицы. Все здесь было серое. Даже церковь — ее невысокую башню я заметил неподалеку, — казалось, была построена из того же серого камня. Как и дом священника, до которого меня провожали гурьбой косматые и неотесанные ребятишки, почти с вызовом бросая на меня и Брайана любопытные взгляды.

Священник оказался дома, и после небольшой заминки меня впустили. Оставив Брайана охранять мои рисунки и чертежи, я направился за лакеем в обшитую панелями комнату с низкими потолками, где у зарешеченного окна сидел старик. Лучи утреннего солнца падали на его седую голову, склоненную над беспорядочно разложенными книгами и бумагами.

— Мистер… — начал он, медленно поднимая глаза и не отрывая пальца от строчки в книге.

— Блейк.

— Блейк, — повторил он и замолчал.

Я сказал, что я архитектор, приехал посмотреть фреску в церковном склепе, и попросил ключи.

— Склеп… — сказал священник и пристально взглянул на меня, приподняв очки. — Склеп закрыт уже тридцать лет. С тех пор как…

Он запнулся.

— Вы меня обяжете, если дадите ключи, — снова сказал я.

— Нет, — покачал он головой. — Никто больше не войдет туда.

— Жаль, — заметил я, — потому что ради этого я проделал немалый путь.

Я рассказал, ему о научном докладе, который меня попросили сделать, и о том, какие трудности мне приходится преодолевать.

Священник заинтересовался.

— А! — сказал он, положил ручку и убрал палец со страницы. — Понимаю. И я когда-то был молод и честолюбив. Судьба то и дело забрасывала меня в какое-нибудь уединенное место, и вот уже сорок лет я

забочусь об исцелении душ в этой глуши, хотя уже небезызвестен в литературных кругах. Может быть, вам довелось прочитать мою брошюру о сирийской версии «Трех истинных посланий» Игнатия?

— Сэр, — ответил я, — стыдно признаться, но у меня нет времени на чтение даже очень известных книг. Единственное, что меня интересует, — это искусство. Вы же знаете, ars longa, vita brevis. [9]

— Вы правы, сын мой, — кивнул старик.

Явно разочарованный, тем не менее он смотрел на меня доброжелательно.

— Есть разные дары, и если Господь наделил вас талантом, развивайте его. Не держите под спудом.

Я сказал, что так и сделаю, если он даст мне ключи от склепа. По-видимому, моя настойчивость произвела на старика впечатление, и он задумался.

— Почему бы и нет? — пробормотал он себе под нос. — Молодой человек кажется вполне приличным. А суеверие — не что иное, как неверие в Бога!

Он медленно встал, вытащил из кармана большую связку ключей и отпер дубовый шкаф, стоявший в углу комнаты.

— Они должны быть здесь, — бормотал старик, заглядывая внутрь, — но за эти годы здесь скопилось столько пыли. Посмотрите, сын мой, среди этих пергаментов должны быть два ключа; один железный, очень большой, а другой стальной, длинный и тонкий.

Я поторопился подойти, чтобы помочь, и почти сразу нашел в боковом ящике два связанных вместе ключа, которые старик узнал с первого взгляда.

— Вот они, — обрадовался он. — Длинным открывается первая дверь на нижней ступеньке лестницы, той, что спускается от наружной стены церкви, рядом с мечом, вырезанным в стене. Вторым открывается (с большим трудом, как и закрывается) железная дверь в коридоре, ведущем к склепу. Сын мой, вам для вашей работы на самом деле нужно войти в склеп?

Я ответил, что абсолютно необходимо.

— Тогда возьмите их, — сказал старик, — а вечером принесете обратно.

Я сказал, что мне может понадобиться несколько дней, и попросил разрешения держать ключи у себя до тех пор, пока не закончу работу, но он был непреклонен.

— Кроме того, — добавил священник, — не забудьте запереть первую

дверь внизу лестницы, прежде чем отопрете следующую, и обязательно заприте вторую дверь, пока будете внутри. Потом, когда выйдете, заприте и железную дверь, и деревянную.

Я пообещал, что все сделаю, и, поблагодарив, поспешно удалился, довольный, что получил-таки ключи. Брайан и чертежи по-прежнему ждали меня у крыльца, и я ускользнул от бдительных глаз моей свиты из ребятишек, направившись по узкой дорожке, что вела от дома священника к церкви, которая была совсем рядом, окруженная с четырех сторон вековыми тисами.

Церковь меня заинтересовала: судя по всему, ее построили на руинах, поскольку в кладку стен были включены многочисленные фрагменты каменных капителей и арок со следами старинной резьбы. Кое-где были вырезаны кресты, один из них, на большом мече, привлек мое внимание. Пытаясь рассмотреть его ближе, я споткнулся и, глянув под ноги, заметил пролет узкой каменной лестницы, позеленевшей от плесени и мха. Очевидно, это и был вход в склеп. Я быстро спустился по ступенькам, стараясь не упасть, так как они были влажные и скользкие. Брайан последовал за мной, ничто не заставило бы его остаться наверху. Спустившись вниз, я оказался почти в полной темноте, и пришлось зажечь спичку, чтобы найти замочную скважину и подходящий к ней ключ. Деревянная дверь отворилась внутрь довольно легко, хотя земля и мусор у входа говорили о том, что ею не пользовались много лет. Войдя внутрь, что было не просто, так как дверь не хотела открываться больше чем на восемнадцать дюймов, я тщательно запер ее за собой, хотя предпочел бы оставить открытой: не слишком приятно оказаться запертым и в случае чего не иметь выхода.

Я не без труда зажег свечу и, пробравшись по низкому и чрезвычайно сырому коридору, подошел к следующей двери. Возле нее сидела жаба, выглядевшая так, словно прожила здесь не меньше столетия. Когда я опустил свечу к полу, она пристально посмотрела на пламя немигающими глазами и медленно отступила к щели в стене, оставив возле двери маленькую ямку, выдавленную в земле. Я заметил, что эта дверь была железная, с длинным засовом, правда сломанным. Немедленно вставив в замок второй ключ, я с большим трудом открыл заржавевшую дверь и сразу почувствовал на лице холодное дыхание склепа. Оказавшись внутри, я испытал минутную досаду при мысли о том, что надо запереть за собой и эту дверь, но почувствовал, что обязан это сделать. Оставив ключ в замке, я взял свечу и осмотрелся. Это оказалось низкое помещение под крестовым сводом, вырезанным в скале. Сложно было определить, где кончается

склеп, поскольку свет пламени, куда бы он ни падал, освещал лишь сводчатые проходы или отверстия, выбитые в скале, которые, скорее всего, когда-то служили семейными склепами. Особенностью склепа Вет-Вейст, о которой нигде не упоминалось, была любопытная композиция из черепов и костей, уложенных примерно на четыре фута в высоту по обе стороны. Черепа были симметрично сложены слева, всего лишь в нескольких дюймах от низкого сводчатого потолка, а справа точно так же были сложены большие берцовые кости. Но фреска! Я напрасно оглядывался, стараясь ее отыскать. Заметив в дальнем углу склепа низкий сводчатый проход, не заложенный костями, я направился туда и оказался в комнате поменьше. Я держал свечу над головой, и первое, на что упал свет, оказалось фреской. Я сразу понял, что она уникальна. Кое-как, дрожащими руками, сложив вещи на грубую каменную полку, по-видимому жертвенник, я стал внимательно рассматривать фреску. Ее закрывала запрестольная перегородка, которая, вероятно, служила алтарем в те времена, когда священники были объявлены вне закона. Фреска относилась к началу пятнадцатого века и идеально сохранилась, так что я мог догадаться по тому, как была положена штукатурка, где художник каждый день начинал работу и где заканчивал, нанося штукатурку на стену и разглаживая мастерком. Фреска представляла собой великолепное изображение Вознесения. Нет слов, чтобы описать охвативший меня восторг, когда я стоял и смотрел на нее, представляя, как открою миру этот потрясающий образец английской фрески. Опомнившись наконец, я открыл сумку с принадлежностями для рисования, зажег все свечи, которые принес с собой, и принялся за работу.

Брайан держался рядом, и хотя я был доволен, что нахожусь не в полном одиночестве и у меня есть хоть какая-то компания, время от времени мне хотелось, чтобы он остался наверху. Брайан казался беспокойным, и даже вид такого множества костей его не утешил. Но наконец, когда я несколько раз подряд подал ему команду, он улегся на каменный пол и остался лежать неподвижно, все еще сохраняя настороженный вид.

Я работал несколько часов, прежде чем прервался и дал отдых глазам и рукам. Тогда-то я впервые обратил внимание, какая глубокая тишина меня окружает. Сюда не доносился ни один звук из внешнего мира. Церковные часы, которые тикали громко и тягуче, когда я спускался по лестнице, не посылали сюда даже еле слышного шепота на своем железном языке. Было тихо, как в могиле. Это и была могила. Те, кто оставался здесь, на самом деле погружались в тишину. Я повторил эти слова про себя, или,

скорее, они сами прозвучали у меня в голове.

«Погружались в тишину».

Из задумчивости меня вывел слабый звук. Я сидел, не двигаясь, и слушал. В хранилищах и других подземельях часто попадаются летучие мыши.

Звук повторился — слабый, осторожный, довольно неприятный. Не знаю, какие звуки издают летучие мыши, приятные или нет. Внезапно раздался шум от падения, мгновение тишины, и — почти неуловимый, но отчетливый звук, словно от поворота ключа.

Я оставил ключ в замке, после того как повернул его, и теперь пожалел, что так сделал. Я взял свечу и возвратился в большой склеп. Мне кажется, я не настолько изнежен, чтобы нервничать, услышав шум, происхождение которого неизвестно. Тем не менее, признаюсь честно, я бы предпочел, чтобы такого не происходило. Подойдя к железной двери, я услышал другой отчетливый (я бы сказал, торопливый) звук. И подумал, что допустил большую ошибку. Подойдя к двери и осветив замок, чтобы вынуть ключ, я заметил, что другой ключ, висевший рядом на коротком шнурке, слегка колеблется. Лучше бы никакого шевеления не было, потому что оно показалось мне беспричинным; я положил ключи в карман и повернулся, чтобы продолжить работу. И тут увидел на полу то, что и вызвало шум. Это был череп, очевидно, только что соскользнувший с самого верха одной из горок, сложенных из костей, он откатился в сторону и теперь лежал у моих ног. Место, откуда он упал, было в нескольких дюймах ниже сводчатого потолка в проходе у меня за спиной. Я наклонился, чтобы поднять череп, но сообразил, что могу потревожить другие черепа, если положу его на вершину груды. Да и разбросанные зубы собирать не хотелось. Поэтому я оставил череп там, где он был, и вернулся к работе. Вскоре она так меня захватила, что я очнулся, лишь когда свечи стали догорать и гаснуть одна за другой.

Тогда, с сожалением вздохнув, поскольку закончить не удалось, я повернулся к выходу, чтобы уйти. Бедняга Брайан, который все не находил себе места, подпрыгнул от радости. Когда я открыл железную дверь, он ринулся мимо меня, и через мгновение я услышал, как он скулит, царапается и даже, я бы сказал, бьется в деревянную дверь. Заперев железную, я пошел по коридору как можно быстрее и, едва открыл деревянную, мимо меня будто пронесся вихрь — это по ступенькам промчался Брайан и скрылся из виду. Остановившись, чтобы вынуть ключ, я почувствовал себя одиноким и покинутым. Смутное ощущение тревоги, витавшей вокруг, не проходило даже на свободе, под лучами солнца.

День близился к вечеру, и, совершив прогулку к дому священника, чтобы отдать ключи, я уговорил семью трактирщика позволить мне принять участие в их трапезе. Все расположились на кухне. Жители Вет-Вейст были тогда простыми людьми с откровенными и беззастенчивыми манерами, что до сих пор можно встретить в глухих селениях, особенно в йоркширской глубинке; но я понятия не имел, что во времена почтовых марок за пенни и дешевых газет в каком-то уголке Великобритании, пусть и отдаленном, может быть подобное незнание внешнего мира.

Когда я взял на колени соседского ребенка — хорошенькую маленькую девочку с ореолом льняных волос, какого я ни у кого больше не видел, — и стал рисовать ей птиц и животных, обитающих в иных краях, меня немедленно окружила толпа детей. Даже взрослые подходили к двери и наблюдали издали, переговариваясь на неизвестном мне скрипучем наречии, которое, как я потом узнал, называется йоркширским диалектом.

На следующее утро, выйдя из своей комнаты, я почувствовал: в деревне что-то случилось. Когда я подошел к бару, моих ушей достиг гул голосов, а из открытого окна следующего дома донесся пронзительный жалобный вопль.

Женщина которая принесла мне завтрак, была вся в слезах и, отвечая на мои расспросы, сказала, что соседский ребенок, маленькая девочка, которую я держал на коленях накануне вечером, ночью умерла.

Я почувствовал сострадание, которое вызвала у всех смерть маленького существа, а безудержные стенания бедной матери лишили меня аппетита.

Поспешив приняться за дело, я забрал по пути ключи и в компании Брайана снова спустился в склеп, где с упоением рисовал и измерял. В этот день у меня не было времени прислушиваться к звукам, реальным или воображаемым. Брайан тоже казался очень довольным и мирно спал около меня на каменном полу. Я работал, пока не начали догорать свечи, и с сожалением убрал тетради, потому что не успел в этот день закончить работу, хотя очень на это рассчитывал. Придется прийти сюда еще раз, ненадолго. Когда вечером я зашел, чтобы вернуть ключи, старый священник встретил меня в дверях и спросил, не желаю ли я зайти и выпить с ним чаю.

— Успешно ли продвигается ваша работа? — спросил он, когда мы сели в длинной комнате с низкими потолками, где я уже был и где он, похоже, проводил все свое время.

Я кивнул и показал свои рисунки.

— Вы, конечно, видели оригинал? — спросил я.

— Один раз, — ответил он, пристально глядя на листы.

По-видимому, ему не хотелось это обсуждать, и тогда я заговорил о здании церкви.

— Здесь все старое, — сказал он. — Сорок лет назад я был молод и приехал сюда, потому что не имел средств, а меня вынуждали жениться. Меня угнетало, что все здесь такое старое. К тому же это место было очень далеко от мира, по которому я время от времени испытывал такую тоску, что с трудом переносил ее. Но я сам выбрал свою судьбу и вынужден был этим довольствоваться. Сын мой, не женитесь молодым, по любви, которая в это время действительно могущественная сила, она отклоняет сердце от учебы, а маленькие дети заставляют забыть о честолюбивых помыслах. Не женитесь и в среднем возрасте, когда женщина — всего лишь женщина со скучными разговорами, и тогда вы не будете обременены женой в старости.

У меня было свое представление о браке, я считал, что жена — это тщательно выбранный компаньон, имеющий склонность к домашним делам, послушный и преданный, который к тому же может принести хорошее приданое человеку свободной профессии. Но мое мнение, однажды выработанное, я не собирался обсуждать с посторонними, поэтому сменил тему и поинтересовался, неужели во всех окрестных деревнях жизнь такая же патриархальная, как в Вет-Вейст.

— Да, здесь все старое, — повторил он. — Мощеная дорога, что ведет в Дайк-Фенс, — это вьючная тропа, проложенная во времена римлян. Дайк-Фенс недалеко, всего в четырех или пяти милях, селение такое же старое и всеми забытое. Реформация так и не добралась туда. Она остановилась здесь. Поэтому в Дайк-Фенс до сих пор есть и католический священник, и колокол, и поклонение святым. Это возмутительная ересь, что я и объясняю моим прихожанам каждую неделю, предъявляя им истинные доктрины. И, я слышал, этот самый священник так предался Сатане, что проповедовал против меня, говорил, будто я скрываю истину от моей паствы. Но я не обращаю внимания ни на это, ни на его памфлет по поводу «Посланий Климента», где он безуспешно пытается опровергнуть утверждение, касающееся слов святого Асафа, которое я четко сформулировал и убедительно доказал.

Старый священник, по-видимому, оседлал любимого конька, и мне пришлось слушать его некоторое время, прежде чем уйти. Он шел за мной до самой двери, и мне удалось сбежать лишь потому, что старик захромал и отвлекся.

Наутро я пришел за ключами в третий и последний раз, решив уехать пораньше на следующий день. Я устал от Вет-Вейст, к тому же мной

овладело какое-то мрачное предчувствие. В воздухе витало ощущение беды — так в прекрасную солнечную погоду чувствуется приближение бури.

Но сегодня, к моему удивлению, в ключах мне было отказано. Однако я не смирился с отказом (это не в моих правилах), и после недолгого ожидания меня проводили в комнату, где, как обычно, сидел священник, вернее, ходил взад и вперед.

— Сын мой, — сказал он с горячностью, — я знаю, зачем вы пришли, но это бесполезно. На этот раз я не могу дать вам ключи.

Я ответил, что, напротив, рассчитываю получить их немедленно.

— Это невозможно, — повторил он. — Я совершил ошибку, чудовищную ошибку. И больше никогда с ними не расстанусь.

— Но почему?

Он помолчал в нерешительности.

— Старый священник Абрахам Келли умер прошлой ночью, — сказал он негромко и помолчал. — Доктор только что приходил рассказать мне об этом случае, который кажется ему загадочным. Я не хочу, чтобы слухи дошли до местных жителей, он рассказал это только мне: на горле старика доктор обнаружил четкие следы удушения. У ребенка были такие же, но менее явные. Никто, кроме доктора, не видел этих следов, и он недоумевает, что бы это могло быть. Я же — увы! — догадываюсь об их происхождении, но это было бы слишком чудовищно, слишком!

Я не понимал, какое отношение все это имеет к склепу, но, желая успокоить старика, осведомился, что именно он считает чудовищным.

— Это долгая история, и, возможно, постороннему человеку она может показаться глупостью, но я все-таки расскажу ее вам, так как чувствую: если не объясню причину, по которой отказываюсь дать ключи, вы не перестанете просить меня об этом.

В самом начале, когда вы интересовались склепом, я сказал, что он закрыт уже тридцать лет, и так оно и было. Тридцать лет назад этот мир покинул некий сэр Роджер Деспард, владетель поместий Вет-Вейст и Дайк-Фенс, последний из рода, который теперь, благодарение Богу, пресекся. Он был человеком мерзостной жизни, не боящимся ни Бога, ни людей, не имеющим сострадания к невинным, и, я думаю, Бог предал его мучениям уже в этом мире, поскольку он многое перенес от своих пороков, особенно от пьянства, и его терзали семь дьяволов. Он ненавидел своих домашних и вообще все, на небе и на земле.

В конце концов чаша его беззаконий переполнилась, он лежал при смерти, и я отправился увещевать его на смертном ложе. Я слышал, что его охватил страх и дьявольские лики тесно обступили со всех сторон, так что

очень немногие могли находиться рядом с ним. Но увидев его, я понял, что в душе этого человека нет места раскаянию. Даже находясь при смерти, он насмехался надо мной и моей верой, утверждал, что Бога и ангелов не существует, и проклинал всех. На следующий день, к вечеру, у него началась агония, он бредил, говорил, что его душит дьявол. На столе лежал охотничий нож, и из последних сил он подполз и схватил его. Никто не мог с ним совладать. Он поклялся страшной клятвой, что, даже если ему придется гореть в аду, он оставит одну руку на земле и не успокоится, пока та не заставит истечь кровью из глотки и не задушит другого человека, совсем как сейчас душат его. И он отрезал себе кисть правой руки и никого не подпустил, чтобы остановить кровь. Она залила весь пол и протекла на потолок комнаты внизу. Сразу после этого он умер.

Меня позвали ночью и рассказали о клятве. Я посоветовал не говорить об этом, взял мертвую руку, до которой никто не рискнул дотронуться, и положил в гроб рядом с телом. Я посчитал, пусть лучше он заберет ее с собой: если случится сильно страдать, он сможет протянуть обе руки к Господу. Но история получила огласку, люди были напуганы. Роджера Деспарда похоронили с предками, он был последним из рода, а значит, склеп больше не понадобится. Я запер его и держал ключи у себя, никому не позволяя входить туда. Этот человек действительно вел жизнь, полную зла, и дьявол не был окончательно побежден и брошен в оковах на дно огненного озера. Но со временем вся эта история забылась, как многое за тридцать лет. И когда вы приехали и спросили ключи, моим первым побуждением было отказать вам, но потом я подумал, что это просто суеверие. К тому же я чувствовал, что вы попросите во второй раз, если вам откажут в первый. Вот почему отдал вам ключи, к тому же я видел, что вы требуете их не из праздного любопытства, но единственно из желания совершенствовать данный вам талант.

Старик умолк. Я думал, как мне заполучить ключи в последний раз.

— Я уверен, сэр, — наконец сказал я, — что такой просвещенный и образованный человек, как вы, не может серьезно относиться к нелепым суевериям.

— Это так, — ответил он, — но все же очень странно, что с того момента, как открыли склеп, умерли два человека, причем следы удушения ясно видны на горле старика и немного слабее — на горле ребенка. Крови не было, но во второй раз хватка оказалась сильнее, чем в первый. В третий раз, возможно…

— Подобные суеверия, — наставительно заметил я, — являются следствием недостаточной веры в Бога. Вы как-то сами это сказали.

Я говорил тоном моралиста, который часто оказывает воздействие на людей честных и скромных.

Он согласился, обвиняя себя в том, что недостаточно верует; но даже после этого мне пришлось продолжить борьбу за ключи. Только когда я наконец объяснил ему, что если какое-то зло и было выпущено в первый день, то теперь мое присутствие или отсутствие в склепе уже ничего не изменит, мне удалось настоять на своем. Я был молод, он стар; потрясенный тем, что произошло, он все-таки уступил, и я заполучил ключи.

Не буду отрицать, в тот день я спускался по лестнице со смутным, не поддающимся объяснению омерзением, которое только усилилось оттого, что мне пришлось запереть за собой обе двери. Тогда я впервые вспомнил о слабом бренчании ключа и о прочих звуках, которые слышал в первый день; вспомнил, как упал череп. И направился туда, где он лежал до сих пор. Я уже упоминал, что стены из черепов были такие высокие, что не доставали всего нескольких дюймов до потолка низких сводчатых проходов, ведущих в дальние части склепа. Упавший череп оставил после себя небольшое отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть в него руку. Я впервые заметил, что в сводчатом проходе наверху был вырезан герб и полустертое имя Деспард. Это, без сомнения, и был склеп семьи Деспард. Я не мог удержаться от того, чтобы снять еще несколько черепов и заглянуть внутрь, просунув свечу в отверстие как можно дальше. Склеп был полон доверху. Друг на друге громоздились старые гробы, их обломки и рассыпанные кости. Моя решительность угасла от неприятного впечатления, которое произвело на меня это зрелище. Гроб, ближе всех стоявший к сводчатому проходу, был почти целый, лишь по крышке шла глубокая трещина. Я не мог вытянуть руку так, чтобы свет пламени упал на медную табличку, но не сомневался, что это гроб зловещего сэра Роджера. Я положил черепа на место, включая тот, что скатился вниз, и тщательно закончил работу. Проведя в склепе не больше часа, я рад был уйти.

Если бы можно было сразу покинуть Вет-Вейст, я непременно бы сделал это, так как меня охватило непреодолимое желание уехать из этих мест. Но оказалось, на станции останавливается только поезд, на котором я приехал, и в этот день другого не будет.

Подчинившись неизбежному, я гулял с Брайаном до позднего вечера, делал наброски и курил. День был необычайно жаркий, и даже после того как солнце опустилось за выжженную пустошь, стало не намного прохладнее. Не было ни дуновения ветерка. Вечером, устав бродить по тропинкам, я вернулся к себе и, просмотрев свежим взглядом готовый

доклад, вдруг принялся за работу, чтобы написать о фреске в Вет-Вейст. Обычно я пишу с трудом, но в тот вечер слова приходили сами собой, и мне оставалось лишь успевать их записывать. Я писал и писал, пока свечи не догорели. Лунный свет показался мне почти таким же ярким, как солнечный, так что я даже попытался писать при нем, но было недостаточно светло.

Пришлось убрать рукопись. Ложиться спать было еще слишком рано, церковные часы только пробили десять, и я сел у открытого окна и высунулся наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Это была необыкновенно красивая ночь, я смотрел, возбужденный торопливым письмом и нетерпением, и понемногу успокаивался. Луна, будто очерченная циркулем, скользила по спокойному небу, как под парусом, — если вы позволите мне употребить это поэтическое выражение. Селение было освещено, словно днем; ярко озарилась и церковь в окружении первозданных тисов, а пустоши виднелись довольно смутно, как сквозь вощеную бумагу.

Я долго сидел, облокотившись на подоконник. Было еще довольно жарко. Обычно меня нелегко выбить из равновесия, заставить радоваться или огорчаться. Но в ту ночь, в глухой деревушке на торфяных болотах, когда рядом сидел Брайан, положив голову мне на колено, не знаю отчего, на меня стала наваливаться бесконечная тоска.

Я вспомнил склеп и бесчисленных мертвецов, которые там лежали. Конец человеческой жизни во всем его величии тогда меня не затронул, но теперь казалось, что смерть витает в самом воздухе.

Что проку, спрашивал я себя, в упорном труде? Зачем вкладывать в него душу, тратить молодые годы, прилагать длительные усилия, если в конце концов талант и бездарность, трудолюбие и леность равно окажутся в могиле и одинаково забудутся? Труд ждал меня в течение долгих лет, даже если я не думал об этом, до самого конца, а затем, в качестве награды, — могила. Даже если ценой тяжелого труда я и преуспею, что у меня останется? Могила. Пока руки и глаза еще позволят работать или когда я потеряю силу и зрение, рано или поздно меня ждет одно — могила.

Я не прошу меня извинить за слишком меланхоличные размышления, так как уверен, что они были вызваны влиянием луны, и я предпринимал попытки в этом разобраться. Луна в разных четвертях всегда оказывала определенное влияние на то, что я назвал бы поэтической стороной моей натуры.

Я очнулся, только когда луна оказалась прямо напротив меня, и, оставив окно открытым, взял себя в руки, разделся и лег.

Уснул я почти сразу, но не думаю, что проспал долго. Меня разбудил Брайан. Он низко и глухо рычал, как иногда делал во сне, зарываясь носом в подстилку. Я прикрикнул на него, а когда это не возымело действия, заворочался в постели, нащупывая спичечный коробок или еще что-нибудь, чтобы бросить в собаку. Луна освещала комнату, я посмотрел на пса и увидел, что тот поднял голову, проснувшись. Я сделал ему замечание и собрался заснуть, но он снова стал утробно и свирепо рычать, разбудив меня окончательно. Теперь он встряхнулся, встал и начал бродить по комнате. Я сел в кровати и позвал собаку, но она не обратила на меня ни малейшего внимания. Вдруг я увидел, что Брайан резко остановился в лунном свете, оскалился и припал на передние лапы, наблюдая за чем-то в воздухе. Я с ужасом смотрел на него. Он сошел с ума? Глаза от злобы налились кровью, головой он водил из стороны в сторону, словно следил за быстрыми перемещениями врага. Внезапно он превратился в разъяренный клубок, подпрыгнул и большими прыжками помчался ко мне через комнату, натыкаясь на мебель. Глаза его бешено вращались, зубы клацали, пытаясь ухватить что-то в воздухе. Он взбесился. Я вскочил с постели и бросился к собаке, хватая ее за горло. Луна скрылась за облаком, но в темноте я чувствовал, что Брайан пробует дотянуться до меня, клыки почти доставали до моего горла. Меня душили. Собрав все силы, я схватил его за горло и потащил по комнате, чтобы разбить ему голову о железную ножку кровати. Это был мой единственный шанс. Я чувствовал, как по шее у меня течет кровь. Я задыхался. Через несколько секунд отчаянной борьбы я ударил пса головой о ножку кровати и услышал хруст черепа. Я ощутил, как он содрогнулся и застонал, и тут же лишился чувств.

Когда я пришел в себя, то лежал на полу, окруженный жильцами, мои руки, в чем-то красном, все еще сжимали горло Брайана. Кто-то поднес свечу, и сквозняк из окна заставил пламя дрогнуть. Я посмотрел на Брайана. Он был мертв. Кровь из его разбитой головы сочилась у меня по рукам, В большой пасти он держал что-то, чего я не мог рассмотреть в тусклом свете.

Свечу поднесли еще ближе.

— О боже! — вскричал я. — Вот! Смотрите! Смотрите!

— Он обезумел, — сказал кто-то, и я снова упал в обморок.

Я был болен около двух недель и не приходил в себя. Об этом потерянном времени я и теперь не могу думать без горького сожаления. Очнувшись, я обнаружил, что старый священник и жильцы ухаживали за мной. Сколько раз я слышал рассуждения о том, что в мире нет добра, но со своей стороны могу честно сказать, что видел в жизни столько добра, что

вряд ли когда-нибудь смогу отплатить тем же. Деревенские жители очень трогательно относятся к заболевшим путешественникам.

Я не мог оставаться спокойным, не поговорив с доктором, который нанес мне визит и уверил, что в назначенный день я буду в состоянии сделать доклад. Это успокоило меня, и я успел рассказать ему, что видел, прежде чем снова лишиться чувств. Доктор внимательно меня выслушал и убежденно сказал, что это, скорее всего, галлюцинация, вызванная шоком от внезапного бешенства собаки.

— Вы видели ее, после того как она сдохла? — спросил я.

Доктор ответил утвердительно. Пасть была вся в крови и пене, зубы судорожно сжаты. Но поскольку сильная жара, по-видимому, стала причиной необычайно опасного бешенства, он сразу предал труп земле.

Мой товарищ умолк, так как мы подошли к дому и стали подниматься по лестнице. Потом он зажег свечу и медленно опустил воротничок.

— Смотрите, следы видны до сих пор, — сказал он. — Но я совсем не боюсь умереть от бешенства. Мне сказали, что такие необычные шрамы не могли оставить зубы собаки. Присмотритесь, и вы увидите пять отпечатков пальцев. Вот поэтому я и ношу высокие воротнички.

Амброз Бирс

Амброз Гвиннет Бирс (1842–1914) родился в округе Мейгс, штат Огайо, и воспитывался в городе Элкхарт, штат Индиана; он был десятым из тринадцати детей в семье, эксцентричный отец которой дал всем своим отпрыскам имена, начинавшиеся на букву «А». Когда началась Гражданская война, Бирс вступил добровольцем в ряды армии северян и вскоре после участия в сражении при Шайло получил звание первого лейтенанта.

Каждое мгновение его жизни и каждое написанное им слово, кажется, проникнуты мрачностью и цинизмом, благодаря которым он заслужил прозвище «Бирс с горчинкой». Почти десять лет он вел колонку в издававшейся Уильямом Рэндольфом Херстом газете «Сан-Франциско экзаминер», сделавшись за это время одним из самых серьезных и влиятельных американских журналистов.

Сегодня его помнят главным образом как автора поразительного «Словаря сатаны», согласно которому святой — это «мертвый грешник в пересмотренном издании», обласкать — значит «породить неблагодарность», а рождение — «первое и наихудшее из несчастий». Самый известный его рассказ — «Случай на мосту через Совиный ручей», в котором приговоренному к смерти пленнику за мгновение до того, как веревка ломает ему шею, кажется, будто он спасся, — был трижды

экранизирован и дважды адаптирован для телевидения (Родом Серлингом, а впоследствии Альфредом Хичкоком).

В 1913 году Бирс отправился в качестве корреспондента в охваченную революцией Мексику, где примкнул к повстанческой армии Панчо Вильи. Его последнее письмо, адресованное другу, было написано 26 декабря 1913 года; затем он исчез, и обстоятельства этого исчезновения — одного из самых знаменитых в истории США — по сей день остаются необъясненными.

Рассказ «Смерть Хэлпина Фрейзера» впервые был напечатан в авторском сборнике «Может ли это быть?» (Нью-Йорк: Касселл, 1893).

Смерть Хэлпина Фрейзера

Ибо перемена, творимая смертью, куда больше, чем было показано. И хотя чаще возвращается вспять душа усопшего, являясь взорам живущих и для того принимая облик покинутого ею тела, есть достоверные свидетельства, что тело, оставленное душой, ходило среди людей. И те, кто повстречался с ним и оставался жив, утверждали, что подобный ходячий труп лишен всех естественных привязанностей и даже воспоминаний о них — у него остается одна лишь ненависть. Известно также, что порой душа, бывшая в бренной жизни доброй, становится злой по смерти.

Гали

Глава I

Однажды темной ночью посреди лета человек, спавший в лесу глубоким сном без сновидений, внезапно проснулся, поднял голову с земли и, поглядев несколько мгновений в обступавшую его черноту, произнес: «Кэтрин Ларю». Он не добавил к этому ничего, и ему было совершенно невдомек, откуда эти слова взялись у него на языке.

Человека звали Хэлпин Фрейзер. Он проживал в Сент-Хелене, а где он проживает ныне — большой вопрос, ибо он умер. Если ты запросто укладываешься спать в лесу, не имея под собой ничего, кроме сухих листьев и сырой земли, а над собой — ничего, кроме ветвей, с которых упали листья, и небес, с которых низверглась земля, то ты вряд ли можешь рассчитывать на особенное долголетие; а Фрейзеру уже исполнилось тридцать два. В этом мире есть люди, миллионы людей, и едва ли не самых лучших, которые считают этот возраст весьма преклонным. Я говорю о детях. Тому, кто смотрит на жизненную переправу с пристани отправления, любой паром, который отплыл достаточно далеко, кажется почти достигшим противоположного берега. Впрочем, я отнюдь не утверждаю, что Хэлпин Фрейзер умер от простуды.

Весь день он провел в холмах в западной части долины Напы, охотясь

на голубей и прочую мелкую дичь. Под вечер сделалось пасмурно, и в сумерках он потерял ориентировку; и хотя он знал, что всегда надо идти под уклон — это лучший способ выбраться, если заблудился, — он так и не успел до темноты найти тропу, и ночь застала его в лесу. Не в силах продраться сквозь заросли толокнянки и других кустов, удрученный и до предела уставший, он улегся на землю под большим земляничным деревом и уснул как убитый. Через несколько часов, в самой середине ночи, один из таинственных посланцев Господа, скользя на запад вместе с первым проблеском рассвета во главе неисчислимой рати своих сподвижников, шепнул будоражащее слово на ухо спящему, который сел и произнес, сам не понимая почему, имя, которого не знал.

Хэлпин Фрейзер не был ни философом, ни ученым. То обстоятельство, что, пробудившись ночью от глубокого сна посреди дремучего леса, он вслух произнес имя, которого не было у него в памяти и которое едва ли ухватило его сознание, не вызвало в нем пытливого желания исследовать этот феномен. Он просто подумал, что тут что-то не так, и по его телу пробежала легкая дрожь, вполне объяснимая ночной прохладой; после этого он опять лег и уснул. Но теперь уже он видел сон.

Ему снилось, что он идет по пыльной дороге, которая отсвечивает белым в густеющих летних сумерках. Откуда, куда и зачем он идет по ней — ничего этого он не знал, хотя происходящее казалось ему простым и естественным, как обычно бывает во сне, — ведь в Стране Закрытых Глаз нет места тревожному удивлению и критический разум отдыхает. Вскоре он приблизился к развилке; от проезжего пути ответвлялась менее торная дорога, по которой, показалось ему, давно никто не ходил, ибо идущего подстерегала какая-то беда; несмотря на это, он свернул на нее без колебаний, влекомый властной необходимостью.

Двигаясь вперед, он почувствовал, что в пути его сопровождают некие невидимые существа, природу которых он никак не мог разгадать. Из-за деревьев по обе стороны дороги до него долетали прерывистые, невнятные шепотки на чужом наречии, которое, впрочем, он отчасти понимал. Ему казалось, что он улавливает обрывки чудовищного заговора против его тела и души.

Уже давно наступила ночь, но бесконечный лес, сквозь который он шел, был пронизан бледным сиянием, не имеющим видимого источника, — ничто в этом таинственном свете не отбрасывало тени. Лужица в старой колее — в таких всегда скапливается дождевая вода — блеснула алым. Он наклонился и погрузил в нее руку. Пальцы его окрасились — то была кровь! И тут он увидел, что она разлита повсюду. Широкие листья трав,

буйно разросшихся по краям дороги, были покрыты пятнами.

Сухую пыль между колеями испещряли красные ямки, как после кровавого дождя. На стволах деревьев виднелись большие алые потеки, и кровь росой капала с их ветвей.

Он смотрел на все это со страхом, который вполне уживался в нем с чувством закономерности происходящего. Ему казалось, что он терпит наказание за некое преступление, суть которого, несмотря на сознание вины, он никак не мог припомнить. Муки совести усиливали окружавший его ужас. Тщетно листал он в памяти страницы жизни в обратную сторону, силясь добраться до рокового прегрешения; события и образы теснились в его мозгу, одна картина сменяла другую или переплеталась с ней, рождая невнятицу и хаос, — но то, что он искал, ускользало от него. От сознания неудачи страх его возрастал: ему чудилось, что он убил человека во тьме — неизвестно кого, неизвестно зачем. Положение его было ужасно: беззвучно разливавшийся таинственный свет таил в себе невыразимую угрозу; ядовитые растения и деревья тех пород, что, по народным поверьям, враждебны человеку, обступали его, не таясь; со всех сторон доносились зловещие шепоты и вздохи существ не нашего мира — и наконец, не в силах более терпеть, в страстном желании рассеять тяжкие чары, сковывавшие его и принуждавшие к молчанию и бездействию, он закричал во всю силу своих легких! Голос его словно рассыпался на бессчетное множество диковинных голосов, которые, бормоча и заикаясь, уносились все дальше и дальше и наконец замерли в лесной глуши; все вокруг осталось по-прежнему. Но попытка сопротивления воодушевила его. Он сказал вслух:

— Я не хочу сгинуть бесследно. По этой проклятой дороге могут пройти и добрые силы. Я оставлю им послание и весть о себе. Я расскажу им о своих обидах и гонениях — я, несчастный смертный, раскаявшийся грешник, кроткий поэт!

Хэлпин Фрейзер, надо сказать, был поэтом, как и раскаявшимся грешником, только во сне.

Вынув из кармана красный кожаный бумажник, одно отделение которого содержало чистые листы бумаги, он обнаружил, что у него нет карандаша. Он отломил от куста веточку, обмакнул в лужу крови и судорожно принялся писать. Но едва он коснулся бумаги кончиком ветки, как из запредельных далей до него донесся дикий, нечеловеческий смех; он словно приближался, становясь все громче и громче, — холодный, бездушный, безрадостный хохот, подобный крику одинокой гагары у полночного озера; вот он усилился до неимоверного вопля, источник

которого был, казалось, совсем близко, — и мало-помалу затих, будто издававшее его зловредное существо удалилось обратно за грань нашего мира. Но Хэлпин чувствовал, что это не так, — оно не двигалось, оставаясь тут, рядом.

Душою и телом его стало овладевать странное ощущение. Он не смог бы сказать, какое из его чувств было затронуто — и были ли они затронуты вообще; скорее это походило на непосредственное знание — необъяснимую уверенность в чьем-то властном присутствии, в близости некой сверхъестественной злой силы иной природы, нежели роившиеся вокруг невидимые существа, и более могущественной, чем они. Ему было ясно, что отвратительный хохот исходил именно от нее. И теперь он чувствовал, что она приближается к нему; с какой стороны, он не знал — не смел выяснять. Все его прежние страхи померкли или, вернее, были поглощены гигантским ужасом, всецело его охватившим. Только одна мысль еще билась в нем — мысль о том, что ему надо закончить послание добрым силам, которые, пролетая сквозь заколдованный лес, могут когда-нибудь вызволить его, если ему не будет даровано благословенное уничтожение. Он писал с лихорадочной быстротой, веточка в его пальцах все источала и источала кровь, но вдруг посреди фразы руки его отказались служить и повисли плетьми, бумажник упал на землю; и не в силах двинуться и даже крикнуть, он явственно увидел перед собой белое лицо и безжизненные глаза матери, неподвижно стоящей в могильном облачении!

Глава II

В детстве и юности Хэлпин Фрейзер жил с родителями в Нэшвилле, штат Теннесси. Фрейзеры были люди зажиточные и занимали достойное положение в обществе — вернее, в тех его осколках, что пережили катастрофу гражданской войны. Их дети получили самое лучшее воспитание и образование, какое только можно было получить в то время и в тех краях, и благодаря усилиям наставников отличались и хорошими манерами, и развитым умом. Но Хэлпин, который был младшим в семье и не мог похвастаться железным здоровьем, был, пожалуй, слегка избалован. Этому способствовали как чрезмерная забота матери, так и небрежение отца. Фрейзер-отец, как всякий южанин со средствами, был завзятым политиком. Дела государственные — точнее говоря, дела его штата и округа — поглощали его внимание почти безраздельно, и голоса членов семьи редко достигали его ушей, оглушенных громом словесных баталий, к которому он нередко присоединял и свой голос.

Юный Хэлпин отличался мечтательным, романтическим характером, был склонен к праздной созерцательности и любил литературу куда

больше, чем право, которое должно было стать его профессией. Те из его родственников, кто верил в новомодную теорию наследственности, приходили к выводу, что черты Майрона Бэйна, его прадеда по материнской линии, вновь предстали в Хэлпине взорам луны — того самого светила, влиянию которого Бэйн был при жизни столь сильно подвержен, что выдвинулся в первый ряд поэтов колониальной эпохи. Примечательно, но, кажется, никем еще не подмечено, что, хотя едва ли не каждый из Фрейзеров был гордым обладателем роскошного тома «поэтических трудов» предка (издание, вышедшее на семейный счет, давно уже исчезло из негостеприимной книготорговли), никто, странным образом, не спешил отдать дань великому усопшему в лице его духовного преемника. К Хэлпину скорее относились как к интеллектуальной белой вороне, которая того и гляди опозорит стаю, начавши каркать в рифму. Теннессийские Фрейзеры были народ практичный — не в том весьма распространенном смысле, что их занимали лишь грязные делишки, а в смысле здорового презрения ко всему, что отвлекает мужчину от естественного политического поприща.

Справедливости ради надо сказать, что, хотя в юном Хэлпине довольно точно отразились характер и темперамент знаменитого дореволюционного барда, как их описывают история и семейные предания, о том, унаследовал ли он божественный дар, можно было только гадать. По правде говоря, он ни разу не был замечен в ухаживаниях за музой — более того, он и двух строчек в рифму не смог бы написать, не накликав на свою голову убийственного смеха. Впрочем, никто не мог поручиться, что в один прекрасный миг дремлющий в нем дар не пробудится и рука его не ударит по струнам лиры.

Так или иначе, Хэлпин был довольно странный юноша. С матерью его связывали весьма прочные узы, ибо втайне эта женщина сама была верной поклонницей великого Майрона Бэйна, хотя такт, столь многими справедливо приписываемый ее полу (что бы там ни говорили злостные клеветники, утверждающие, что это не что иное, как лукавство), заставлял ее скрывать свою слабость ото всех, кроме дорогого ее сердцу единомышленника. Общая тайна связывала их еще больше. Да, мать избаловала юного Хэлпина, но и он, без сомнения, сделал все, чтобы ей в этом помочь. С приближением той степени зрелости, какой способен достичь южанин, не интересующийся предвыборными схватками, отношения между ним и его красавицей матерью, которую с раннего детства он называл Кэти, становились все более близкими и нежными. В этих двух романтических натурах с необычайной яркостью проявилось

свойство, природу которого обычно не понимают, — преобладание эротического начала во всех привязанностях жизни, способное придать большую силу, мягкость и красоту даже естественной близости кровных родственников. Мать и сын были неразлучной парой, и незнакомые люди часто ошибались, принимая их за влюбленных.

В один прекрасный день Хэлпин Фрейзер вошел к матери в спальню, поцеловал ее в лоб, поиграл ее черным локоном, выбившимся из-под шпильки, и спросил с плохо скрытым волнением:

— Ты не будешь против, Кэти, если я на несколько недель съезжу по делам в Калифорнию?

Кэти незачем было отвечать словами — на вопрос сына помимо ее воли ответили побледневшие щеки. Разумеется, она будет очень даже против; слезы, выступившие в ее больших карих глазах, дали тому дополнительное подтверждение.

— Ах, сынок, — сказала она, заглядывая ему в глаза с бесконечной нежностью, — мне следовало знать заранее. Не зря всю вторую половину ночи я лежала и плакала, потому что в первую половину мне приснился дедушка Майрон; он стоял у своего портрета — такой же молодой и красивый, как на нем, — и указывал на твой портрет, висящий рядом. Я взглянула и не смогла разглядеть твоего лица — тебя нарисовали с покрытым лицом, как мертвого. Твой отец только посмеялся, но мы-то с тобой знаем, мой милый, что подобное так просто не снится. И под краем ткани я увидела у тебя на шее следы чьих-то пальцев — прости меня, но не в наших с тобой правилах скрывать такие вещи друг от друга. Может быть, ты дашь этому сну другое толкование? Может быть, он не означает, что ты поедешь в Калифорнию? А если поедешь, может быть, меня с собой возьмешь?

Следует признать, что это остроумное толкование сна в свете только что открывшихся улик не показалось сыну, который мыслил несколько более логически, вполне удовлетворительным; в ту минуту у него создалось впечатление, что сон предвещает нечто более простое и ощутимое, хоть и менее трагическое, нежели поездка к Тихому океану. Хэлпин Фрейзер был склонен понимать его в том смысле, что ему грозит удушение на родной земле.

— Нет ли в Калифорнии каких-нибудь целебных источников? — продолжила миссис Фрейзер прежде, чем он успел открыть рот, чтобы изложить свое толкование сна. — Я полечилась бы от ревматизма и невралгии. Погляди — пальцы меня совсем не слушаются; похоже, что они беспокоили меня во сне.

Она протянула ему руку, чтобы он убедился сам. Какой диагноз молодой человек поставил и счел за лучшее с улыбкой скрыть, повествователю неизвестно; однако со своей стороны он чувствует себя обязанным сказать, что пальцев более гибких и менее способных причинять по ночам страдания еще не предъявлял для медицинского осмотра ни один пациент, жаждущий, чтобы ему прописали смену обстановки.

В итоге эти двое странных людей, имеющих одинаково странные представления о долге, распрощались: один поехал в Калифорнию, как того требовали интересы клиента, другая осталась дома в соответствии с желанием мужа, которое тот если и испытывал, то вряд ли удосужился внятно высказать.

Однажды темной ночью, прогуливаясь поблизости от сан-францисского порта, Хэлпин Фрейзер неожиданно, к немалой своей досаде и удивлению, заделался матросом. Его, как говорится, «умыкнули» на борт одного весьма и весьма лихого парусника, который тут же отплыл в дальние моря. Несчастия Фрейзера длились дольше, чем само путешествие; корабль выбросило на берег необитаемого острова на юге Тихого океана, и прошло долгих шесть лет, прежде чем спасшихся моряков взяла на борт и доставила в Сан-Франциско одна предприимчивая торговая шхуна.

Хотя кошелек у Фрейзера был тощее некуда, душою он остался так же горд, как в те годы, которые уже казались ему седой стариной. Он не пожелал принять вспомоществование от чужих людей и в ожидании новостей и денег из дома поселился вместе с товарищем по несчастью и спасению поблизости от городка Сент-Хелена; в один из этих дней он и отправился в лес поохотиться и помечтать.

Глава III

Видение, представшее перед мечтателем в заколдованном лесу, — существо, столь похожее и столь не похожее на его мать, — было воистину ужасно! Оно не пробудило в его сердце ни намека на любовь и тоску по родному дому; ему не сопутствовали ни трогательные воспоминания о блаженном прошлом, ни какие-либо положительные чувства — всепоглощающий страх просто не оставил для них места. Он рванулся было прочь, но ноги его словно налились свинцом, ступни приросли к земле. Руки повисли, как плети; лишь глаза еще повиновались ему, да и их он не осмеливался отвести от безжизненных глазниц призрака, который, он знал, был не душою, лишенной тела, но самым страшным из существ, которыми кишел этот колдовской лес, — телом без души! Этот пустой

взгляд не выражал ни любви, ни жалости, ни понимания — ничего, что давало бы малейшую надежду на пощаду. «Апелляция не пройдет», — прозвучала в голове Хэлпина неуместная фраза на профессиональном жаргоне, только усилившая ужас этой сцены; так ужасает гробница, внезапно озаренная огнем сигары.

Бесконечно долго — так долго, что мир, казалось, поседел от старости и греха и заколдованный лес, исторгший из себя страшный призрак и словно исполнивший тем самым свое предназначение, исчез из его сознания со всеми своими образами и звуками, — видение стояло в шаге от него, вперив в него бессмысленно-жестокий взгляд хищника; и вдруг оно вскинуло руки и бросилось на него с безумной яростью! Нападение высвободило в Хэлпине телесную энергию, хотя воля оставалась скованной, как и была; дух его по-прежнему был заворожен, но сильное и ловкое тело, наделенное собственной жизнью, слепой и нерассуждающей, сопротивлялось отчаянно и искусно. Какое-то время он, как во сне, наблюдал со стороны за этим диковинным поединком между мертвым рассудком и машиной из плоти и крови; затем вернулся в свое тело, словно впрыгнув в него, и борющийся механизм обрел направляющую волю, столь же бдительную и яростную, как и воля его отвратительного соперника.

Но под силу ли смертному одолеть существо из его же сновидения? Воображение, сотворившее врага, уже тем самым побеждено; исход сражения определяется его причиной. Все усилия были напрасны; сноровка и упорство, казалось, расточались в пустоте; он уже чувствовал, как ледяные пальцы смыкаются на его горле. Прижатый спиною к земле, он увидел над собой на расстоянии ладони мертвое перекошенное лицо — и все покрылось мраком. Звук, подобный дальней барабанной дроби, — гомон невнятных голосов — резкий крик вдалеке, разом обрубивший все звуки, — и Хэлпину Фрейзеру приснилась собственная смерть.

Глава IV

Теплая ясная ночь сменилась сырым туманным утром. Накануне, ближе к вечеру, у западного склона горы Сент-Хелена, около самой ее вершины, где громоздятся каменистые кручи, можно было увидеть небольшое скопление водяных паров — всего лишь легкое уплотнение атмосферы, не облако, а скорее намек на облако. Это было нечто столь зыбкое, столь эфемерное, столь похожее на сон, что так и хотелось сказать: «Гляди скорей! Через минуту уже ничего не будет».

Через минуту облако заметно увеличилось и сгустилось. Одним краем касаясь вершины, оно простирало противоположный край все дальше и дальше над горным склоном. Оно ширилось как к северу, так и к югу,

вбирая в себя маленькие облачка, зависшие над горой на том же уровне, казалось, с единственной целью — быть поглощенными. Оно все росло и росло, и вот уже из долины перестала быть видна макушка горы, и вот уже вся долина накрыта широким непроницаемо-серым полотнищем. В Калистоге, которая находится на краю долины у самого подножия горы, ночь выдалась беззвездная, а утро — пасмурное. Туман опустился на дно долины и пополз на юг, захватывая одно ранчо за другим, и наконец затопил город Сент-Хелена, лежащий в девяти милях от горы. Дорожную пыль словно дождем прибило; с древесной листвы капала влага; птицы притаились в своих гнездах; утренний свет был тусклым и призрачным — все лишилось и цвета, и блеска.

На рассвете двое мужчин вышли из города Сент-Хелена и двинулись в направлении Калистоги. За плечами у них висели ружья, но человеку мало-мальски понимающему сразу стало бы ясно, что это не охотники на зверя и птицу. Это были Холкер, помощник шерифа из Напы, и Джералсон, детектив из Сан-Франциско. Они отправились поохотиться на двуногую и бескрылую дичь.

— Далеко еще? — спросил Холкер; на увлажненной поверхности дороги за ними тянулись светлые сухие следы.

— Белая молельня? С полмили всего, — ответил его спутник. — Кстати, — добавил он, — это и не молельня, и не белая. Это бывшая школа, давно уже серая от старости и запущенности. Когда-то, когда она была еще белая, там иногда собирались верующие, и рядом вы увидите весьма романтическое кладбище. Но угадайте, зачем я вас вызвал, да еще вооруженного?

— Я никогда не докучал вам лишними вопросами и не собираюсь этого делать. Когда найдете нужным, сами скажете. Впрочем, осмелюсь предположить, что нам предстоит арестовать одного из покойников на кладбище.

— Помните Бранскома? — спросил Джералсон, проявив к остроумию спутника то безразличие, которого оно вполне заслуживало.

— Этого парня, который перерезал горло собственной жене? Еще бы. Неделя работы псу под хвост и немалые траты. За его поимку обещали пятьсот долларов, но ищи ветра в поле. Вы что, хотите сказать…

— Вот именно. Все это время он крутился у вас под носом. По ночам он приходит к Белой молельне на старое кладбище.

— Черт возьми! Ведь там могила его жены.

— И вы с вашими людьми должны были догадаться, что рано или поздно он туда явится.

— Казалось бы, туда-то он как раз не должен был соваться.

— Но все другие места вы уже обнюхали как следует. Так что мне ничего не оставалось, как устроить засаду там.

— И вы обнаружили его?

— Как бы не так, это он меня обнаружил! Мерзавец застал меня врасплох, я ноги едва унес. Хорошо, не пропорол меня насквозь. Да, он парень не промах; и если вы нуждаетесь в деньгах, то половины вознаграждения мне вполне хватит.

Холкер добродушно рассмеялся и заметил, что как раз сейчас он в долгу, как в шелку.

— Для начала я просто покажу вам место, и мы разработаем план, — пояснил детектив. — Но я решил, что оружие нам не помешает даже при дневном свете.

— Как пить дать, он псих, — сказал помощник шерифа. — Вознаграждение обещано за его поимку и водворение в тюрьму. А психов в тюрьму не сажают.

Холкера так сильно взволновала эта возможная несправедливость, что он непроизвольно остановился посреди дороги, а когда двинулся дальше, то уже не такой энергичной походкой.

— Похоже на правду, — согласился Джералсон. — Должен признать, что таких небритых, нестриженых, неряшливых, и прочее, и прочее типов я встречал разве только среди членов древнего и достославного ордена бродяг. Но раз уж я в это дело ввязался, я не могу так все бросить. На худой конец удовольствуемся славой. Кроме нас, ни одна живая душа не знает, что он находится по эту сторону Лунных гор.

— Ладно, — сказал Холкер, — давайте уж осмотрим место. — И он прибавил некогда популярное изречение, которое выбивали на могильных камнях: — «Куда и вы ляжете в свой черед», и ляжете очень скоро, если старина Бранском не захочет терпеть столь наглое вторжение. Кстати, я слыхал, что настоящая его фамилия другая.

— Какая же?

— Не помню. Я потерял к мерзавцу всякий интерес, и она вылетела у меня из головы — что-то вроде Парди. Женщина, чье горло он имел неосторожность перерезать, была вдовой, когда он ее встретил. Приехала в Калифорнию искать каких-то родственников — иногда приходится это делать. Но все это, думаю, вам известно.

— Еще бы.

— Но каким чудом вы, не зная настоящего имени, нашли нужную могилу? Человек, от которого я его услышал, говорил, что оно вырезано на

изголовной доске.

— Мне неизвестно, какая из могил — ее. — Джералсон с заметной неохотой признал отсутствие в своем плане столь важного звена. — Я осматривал место в целом. Одной из наших задач сегодня будет отыскать эту могилу. Вот она. Белая молельня.

Дорога, которая долго шла среди полей, теперь левым краем прижалась к лесу, состоящему из дубов, земляничных деревьев и гигантских елей, — в тумане смутно и призрачно темнели только нижние части стволов. Подлесок, местами довольно густой, всюду был проходим. Поначалу Холкер не увидел никакой молельни, но, когда они свернули в лес, сквозь туман проглянули ее неясные серые очертания; она казалась очень большой и далекой. Но, пройдя всего несколько шагов, они неожиданно увидели ее совсем близко — потемневшую от сырости постройку весьма скромных размеров. Как большинство сельских школ, она была выдержана в ящично-коробочном архитектурном стиле; фундамент был сложен из камней, крыша поросла мхом, окна без стекол и переплетов зияли пустотой. Это была руина, лишенная всякой живописности, руинам свойственной, — типично калифорнийский суррогат того, что европейские путеводители представляют как «памятники старины». Едва удостоив взгляда это унылое строение, Джералсон двинулся дальше сквозь пропитанный влагой подлесок.

— Сейчас покажу, где он меня засек, — сказал он. — Вот и кладбище.

Там и сям среди кустов стали попадаться оградки, порой всего с одной могилой внутри. Понять, что это именно могилы, можно было по бесцветным камням или догнивающим доскам в изголовье и изножье, накренившимся под всевозможными углами или упавшим на землю, по остаткам штакетника, а нередко — только по осевшим холмикам, покрытым палой листвой. Иной раз место, где лежали останки какого-нибудь несчастного смертного, который, покинув «тесный круг скорбящих друзей», был, в свой черед, ими покинут, — это место не обозначалось ничем, разве что небольшим углублением в земле, оказавшимся более долговечным, чем след в душах «безутешных» близких. Дорожки, если они когда-нибудь тут и были, заросли травой; на некоторых могилах уже вымахали деревья внушительных размеров, корнями и ветвями оттеснившие в сторону могильные ограды. Повсюду был разлит дух гнилости и запустения, который как нельзя более уместен и полон значения именно в селениях забытых мертвецов.

Двое спутников — первым Джералсон, за ним Холкер — решительно прокладывали себе путь сквозь молодую поросль, но вдруг сыщик резко

остановился, издал тихий предостерегающий возглас, взял дробовик на изготовку и застыл как вкопанный, пристально всматриваясь во что-то впереди. Его напарник, хотя и не видел ничего, постарался, насколько позволяли заросли, принять такую же позу и замер, готовый к любым неожиданностям Секунду спустя Джералсон осторожно двинулся вперед, Холкер — за ним.

Под огромной разлапистой елью лежал труп мужчины. Молча встав над ним, они принялись разглядывать то, что всегда первым бросается в глаза, — лицо, положение тела, одежду, — в поисках ясного и немедленного ответа на невысказанный вопрос, рожденный сочувственным любопытством.

Мертвец лежал на спине, ноги его были широко раскинуты. Одна рука была выброшена вверх, другая отведена в сторону и согнута в локте, так что костяшки пальцев едва не касались шеи. Оба кулака были крепко стиснуты. Вся поза говорила об отчаянном, но безуспешном сопротивлении — только вот кому или чему?

Рядом лежали дробовик и охотничья сумка, сквозь сетку которой виднелись перья убитых птиц. Повсюду были заметны признаки яростной схватки: молодые побеги сумаха были согнуты и ободраны; по обе стороны от ног трупа прошлогодние листья были разметаны чьими-то, явно не его, ногами; у бедер в земле виднелись две вмятины от человеческих колен.

Что это была за схватка, им стало ясно при взгляде на кожу мертвеца. Если грудь и кисти рук у него были белые, то лицо и шея — темно-багровые, почти черные. Плечи трупа лежали на небольшом возвышении, шея была вывернута под невозможным углом, вылезшие из орбит глаза слепо смотрели вверх, в направлении от ног. Среди пены, наполнявшей разинутый рот, чернел распухший язык. Шея была страшно обезображена — на ней виднелись не просто следы человеческих пальцев, но вмятины и кровоподтеки от двух могучих рук, глубоко вдавившихся в податливую плоть и не ослаблявших свирепой хватки долгое время после смерти несчастного. Грудь, шея и лицо были мокрые, одежда была пропитана влагой; волосы усеяли капельки росы.

Все это спутники увидели и поняли без слов, почти мгновенно. Помолчав, Холкер произнес:

— Бедняга! Худо ему пришлось.

Джералсон тщательно осматривал близлежащий лес, держа дробовик обеими руками, палец — на взведенном курке.

— Чувствуется рука маньяка, — сказал он, шаря глазами по лесным зарослям. — Бранском Парди поработал.

Вдруг Холкер заметил среди разбросанных по земле листьев что-то красное. Это был кожаный бумажник. Он поднял его и открыл. Там оказались листы белой бумаги для заметок, и на первом стояло имя «Хэлпин Фрейзер». На нескольких последующих листах чем-то красным были в спешке нацарапаны с трудом читаемые строки, которые Холкер стал разбирать вслух, пока его напарник продолжал всматриваться в смутные серые очертания обступившего их тесного мирка, вздрагивая от звука капель, то и дело падавших с отягощенных росой ветвей:

Лес чародейный надо мной навис,
Разлито в нем полночное свеченье,
Тут с миртом ветвь сплетает кипарис
В зловещем братстве, в темном единенье.
Дурман и белена цветут у ног,
Коварная топорщится крапива,
Плетет бессмертник траурный венок,
И в три погибели согнулась ива.
Не кличет птица, не гудит пчела,
И свежий ветер листьев не колышет,
Здесь Тишина на землю налегла,
Здесь лишь она одна живет и дышит.
Мне слышатся неясные слова,
Что шепчут призраки о тайнах гроба,
Кровь капает с деревьев, и листва
Во тьме недоброй светится багрово.
Кричу я! Но изнемогает плоть,
Томится сердце, дух и воля стынут,
Громаду зла не в силах побороть,
Стою пред ней, потерян и покинут.
Но вот незримо…

Холкер умолк — читать было больше нечего. Текст обрывался посередине строки.

— Похоже на Бэйна, — сказал Джералсон, который слыл своего рода всезнайкой. Он стоял, рассматривая тело, теперь уже не столь настороженный.

— Кто такой Бэйн? — спросил Холкер без особого любопытства.

— Майрон Бэйн, им зачитывались на заре нашей истории, больше ста лет назад. Страшно мрачный; у меня есть его собрание сочинений. Этого стихотворения там нет — должно быть, забыли включить.

— Холодно, — сказал Холкер. — Пошли отсюда; надо вызвать

коронера из Напы.

Джералсон, промолчав, послушно двинулся следом. Обходя небольшое возвышение, на котором лежали голова и плечи убитого, он задел ногой какой-то твердый предмет, скрытый под гниющими листьями, и не поленился вытолкнуть его на свет божий. Это была упавшая изголовная доска с едва различимой надписью «Кэтрин Ларю».

— Ларю, ну конечно! — воскликнул Холкер, внезапно придя в возбуждение. — Да ведь это же настоящая фамилия Бранскома, он Ларю, а никакой не Парди. И разрази меня гром — на меня точно просветление какое нашло, — фамилия убитой женщины была Фрейзер!

— Тут какая-то мерзкая тайна, — сказал детектив Джералсон. — Терпеть не могу подобных штучек.

Вдруг из тумана, словно из бесконечной дали, до них донесся смех — низкий, нарочитый, бездушный смех, не более радостный, чем лай гиены, пробирающейся по ночной пустыне; звук постепенно усиливался, становясь все громче и яснее, все отчетливее и ужаснее, пока им не почудилось, что смех исходит почти от самой границы узкого круга видимости — смех столь неестественный, нечеловеческий, адский, что души видавших виды охотников за людьми преисполнились невыразимого страха. Они не сдернули с плеч ружья и даже не вспомнили о них — от такой угрозы оружием не защититься. Хохот начал стихать, ослабевая так же медленно, как нарастал вначале; достигнув силы оглушительного вопля, от которого чуть не лопались их барабанные перепонки, он теперь словно отдалялся, пока наконец замирающие звуки, механически безрадостные до самого конца, не канули в безмолвие и беспредельность.

Джулиан Готорн

Джулиан Готорн (1846–1934), уроженец Бостона, был единственным сыном известного американского писателя Натаниеля Готорна. Его отец в течение нескольких лет занимал пост американского консула в Англии, семья много путешествовала по Европе, и Джулиан, получавший домашнее образование, проявил интерес к рисованию и философии, а затем, по возвращении в США, учился на инженера-строителя в Гарварде. Этот род занятий, однако, ему наскучил, и в конце концов вопреки желанию родителей он избрал для себя писательскую стезю. Компенсируя недостаток дарования наблюдательностью, он написал множество романов и рассказов, значительная часть которых представляет собой образцы детективной, «страшной» и мистической прозы. Многие его рассказы, однажды появившиеся на журнальных страницах, и по сей день не собраны под книжной обложкой.

Первый же написанный им рассказ, «Взаимная любовь, или Незаконное проникновение», был немедленно принят к печати журналом «Харперс уикли», предложившим за него гонорар в 50 долларов; за этим вскоре последовали публикации в «Скрибнере мэгэзин» и «Липпинскоттс мансли мэгэзин». Как журналист Готорн писал о голоде в Индии 1897 года в «Космополитен» и освещал события испано-американской войны 1898 года в «Нью-Йорк джорнал». Неудачно вложив деньги в фермерское хозяйство на Ямайке, он принял участие в литературном конкурсе, написал под псевдонимом (по слухам, за восемнадцать дней) роман «Прирожденный дурак» (издан под его именем в 1896 году) и получил за него премию в 10 тысяч долларов. В 1913 году он был обвинен в почтовом мошенничестве, связанном с фальшивыми горными разработками, и приговорен к году тюрьмы.

Рассказ «Тайна Кена» был впервые опубликован в «Харперс нью мансли мэгэзин» в ноябре 1883 года; позднее перепечатан в авторском сборнике «„Исчезновение Дэвида Пойндекстера“ и другие истории» (Нью-Йорк: Эпплтон, 1888)

Тайна Кена

Как-то раз прохладным осенним вечером, на исходе последнего октябрьского дня, довольно холодного для этого времени года, я решил зайти на час-другой к своему другу Кенингейлу. Он был художником, а также музыкантом-любителем и поэтом; при доме у него была великолепная студия, где он обыкновенно коротал вечера. В студии имелся похожий на пещеру камин, стилизованный под старомодный очаг усадьбы елизаветинской поры, и в нем, когда того требовала наружная прохлада, ярко полыхали сухие дрова. Было бы как нельзя более кстати, подумал я, зайти в такой вечер к моему другу, выкурить трубку и поболтать, сидя у камелька.

Нам уже очень давно не доводилось вот так запросто болтать друг с другом — по сути дела, с тех самых пор, как Кенингейл (или Кен, как звали его друзья) вернулся в прошлом году из Европы. Он заявлял тогда, что ездил за границу «в исследовательских целях», — чем вызывал у всех нас улыбку, ибо Кен, насколько мы его знали, менее всего был способен что-либо исследовать. Жизнерадостный юнец, веселый и общительный, он обладал блестящим и гибким умом и годовым доходом в двенадцать — пятнадцать тысяч долларов; умел петь, музицировать, марал на досуге бумагу и весьма недурно рисовал — некоторые его портретные наброски были отменно хороши для художника-самоучки; однако упорный, систематический труд был ему чужд. Выглядел он превосходно: изящно

сложенный, энергичный, здоровый, с выразительным лбом и ясными, живыми глазами. Никто не удивился отъезду Кена в Европу, никто не сомневался, что он едет туда за развлечениями, и мало кто ожидал в скором времени вновь увидеть его в Нью-Йорке, — ибо он был одним из тех, кому Европа приходится по нраву. Итак, он уехал; и спустя несколько месяцев до нас дошел слух, что Кен обручился с красивой и богатой девушкой из Нью-Йорка, которую встретил в Лондоне. Вот практически и все, что мы слышали о нем до того момента, когда он — довольно скоро и неожиданно для всех нас — снова появился на Пятой авеню; Кен не дал никакого сколь-либо удовлетворительного ответа тем, кто желал узнать, отчего ему так быстро наскучил Старый Свет; все упоминания об объявленной помолвке он пресекал в столь категоричной форме, что становилось ясно: эта тема не подлежит обсуждению. Предполагали, что девушка нашла ему замену, но, с другой стороны, она вернулась домой вскоре после Кена, и, хотя ей не раз делали предложения руки и сердца, она и по сей день не замужем.

Каковы бы ни были истинные причины этого разрыва, окружающие скоро заметили, что Кен по возвращении утратил прежнюю беспечность и веселость; он выглядел мрачным, угрюмым, стремился к уединению, был сдержан и молчалив даже в присутствии своих ближайших друзей. Все говорило о том, что с ним что-то произошло или же он сам что-то совершил. Но что именно? Убил кого-то? Или сошелся с нигилистами? Или это было следствие неудачной любовной истории, которую он пережил? Некоторые уверяли, что уныние Кена не продлится долго. Однако к тому времени, о котором я рассказываю, его мрачность не только не рассеялась, а скорее усилилась и грозила стать постоянным свойством его натуры.

Хотя я дважды или трижды встречал Кена в клубе, в опере или на улице, мне до сих пор не представился случай возобновить наше знакомство. В былые времена между нами существовала более чем близкая дружба, и я полагал, что он не откажется вернуться к прежним отношениям. Но из-за происшедшей с ним перемены, о которой я так много слышал и которая не укрылась и от моих собственных глаз, я ожидал нынешнего вечера не только с радостью, но и с живительным любопытством. Дом Кена находится в двух или трех милях от основной части нью-йоркских жилых кварталов, и, пока я быстрым шагом приближался к нему в прозрачных сумерках, у меня было время перебрать в уме все то, что я знал о своем друге и что мог предполагать о его характере. В конце концов, не таилось ли в глубине его натуры, под покровом его всегдашнего жизнелюбия, нечто странное и обособленное, что могло в благоприятных обстоятельствах развиться в… во что? В тот

момент, когда я задал себе этот вопрос, я достиг порога дома; минутой позже я с облегчением ощутил сердечное рукопожатие Кена и услышал приглашение войти, в котором сквозила неподдельная радость. Он втащил меня внутрь, принял у меня шляпу и трость и затем положил руку мне на плечо.

— Рад тебя видеть, — повторил он с необыкновенной серьезностью, — рад тебя видеть и заключить в объятия — и сегодня вечером больше, чем в какой-либо другой вечер года.

— Почему именно вечером?

— О, это не важно. Кстати, даже хорошо, что ты не сообщил мне о своем визите заранее: перефразируя поэта, неготовность — всё. [10] Ну а теперь можно выпить по стаканчику виски с содовой и сделать несколько затяжек из трубки. Мне было бы страшно провести сегодняшний вечер в одиночестве.

— Это посреди такой-то роскоши? — удивился я, оглядывая пылающий камин, низкие дорогие кресла и прочее богатое и пышное убранство комнаты. — Думаю, даже осужденный на смерть убийца обрел бы здесь душевный покой.

— Возможно; однако на данный момент это не совсем моя роль. Но неужели ты забыл, что нынче за вечер? Сегодня — канун ноября, и, если верить преданиям, в эту ночь мертвые восстают из могил, а феи, домовые и прочие призрачные создания обладают большей свободой и могуществом, чем в любое дррое время. Сразу видно, что ты никогда не бывал в Ирландии.

— До этой минуты я полагал, что и ты там ни разу не был.

— Я бывал в Ирландии. Да…

Кен сделал паузу, вздохнул и погрузился в раздумье; впрочем, вскоре он с видимым усилием очнулся и направился к застекленному шкафу в углу комнаты, чтобы взять табак и напитки. Я тем временем бродил по студии, разглядывая наполнявшие ее различные украшения, редкости и диковины. Здесь имелось множество вещей, способных вызвать восхищение и вознаградить внимательного исследователя; ибо Кен был настоящим коллекционером и обладал превосходным художественным вкусом, равно как и средствами культивировать его в себе. Но меня более всего заинтересовали несколько эскизов женской головы, сделанных наспех масляной краской; они находились в укромном уголке студии и, похоже, не предназначались для взоров публики или критики. Их было три или четыре, и на всех было запечатлено одно и то же лицо, но с различных точек зрения и в разном обрамлении. На первом наброске голову скрывал

темный капюшон, чья тень не позволяла полностью различить черты лица; на втором девушка, казалось, печально смотрела в решетчатое окно, освещенное бледным светом луны; на третьем она представала в роскошном вечернем платье, с драгоценностями, сверкавшими в волосах, на мочках ушей и на белоснежной груди. Выражение лица тоже было разным: взгляд, сдержанно-проницательный на одном эскизе, становился нежно-манящим на другом, пылал страстью на третьем, а затем в нем начинала играть почти неуловимая озорная насмешка. И на всех изображениях это лицо было исполнено необыкновенного и пронзительного очарования, не уступавшего изумительной природной красоте его черт.

— Ты нашел эту модель за границей? — спросил я наконец. — На тебя явно снизошло вдохновение, когда ты рисовал ее, и я ничуть этим не удивлен.

Кен, который в это время готовил пунш и не следил за моими перемещениями, поднял голову и произнес:

— Я не думал, что их кто-нибудь увидит. Эти эскизы не удались мне, и я собираюсь их сжечь; но я не знал покоя до тех пор, пока не попытался воспроизвести… О чем ты спрашивал? За границей? Да… то есть нет. Все это было нарисовано здесь, в последние полтора месяца.

— Что бы ты сам о них ни думал, это определенно лучшие из тех твоих работ, которые мне доводилось видеть.

— Ладно, оставь их и скажи мне, что ты думаешь об этом напитке. Своим появлением на свет он обязан твоему приходу, и, по-моему, он сейчас попадет куда надо. Я не могу пить один, а эти портреты — не вполне подходящая компания, хотя, насколько я знаю, по ночам она покидает холст и садится вот в то кресло. — Затем, поймав на себе мой вопрошающий взгляд, Кен добавил с торопливой усмешкой: — Сегодня, видишь ли, последняя ночь октября, когда случаются довольно странные вещи. Ну, за встречу.

Мы сделали по большому глотку ароматного дымящегося напитка и одобрительно глянули на стаканы. Пунш был великолепен. Кен открыл коробку сигар, и мы пересели к камину.

— А теперь, — заметил я после непродолжительной паузы, — не помешало бы немного музыки. Кстати, Кен, банджо, которое я подарил тебе перед твоим отъездом, все еще у тебя?

Он так долго не отвечал мне, что я усомнился, расслышал ли он вопрос.

— Оно у меня, — произнес он наконец, — но оно больше никогда не

издаст ни звука.

— Оно сломано? И его нельзя починить? Это был превосходный инструмент.

— Оно не сломано, но восстановить его действительно невозможно. Сейчас сам увидишь.

Сказав это, Кен встал, направился в другую часть студии, открыл черный дубовый сундук и вынул оттуда продолговатый предмет, обернутый куском выцветшего желтого шелка. Он протянул его мне, и, развернув ткань, я увидел то, что когда-то, возможно, и было банджо, но сейчас мало походило на этот инструмент. На нем виднелись все признаки глубокой старости. Дерево грифа было изъедено червями и покрыто гнилью. На пожухлой и ссохшейся пергаментной деке зеленела плесень. Обод, сделанный из чистого серебра, стал таким темным и тусклым, что напоминал старое железо. Струны отсутствовали, а большая часть колков выпала из расшатанных гнезд. В целом эта вещь выглядела так, словно она была сделана до всемирного потопа и затем пребывала в забвении на полубаке Ноева ковчега.

— Да, любопытная реликвия, — сказал я. — Где ты ее раздобыл? Я и не подозревал, что банджо изобрели так давно. Ведь ему явно не меньше двухсот лет, а возможно, намного больше.

Кен мрачно усмехнулся.

— Ты совершенно прав, — сказал он, — ему по крайней мере сто лет, и тем не менее это то самое банджо, которое ты подарил мне в прошлом году.

— Едва ли, — возразил я, в свою очередь улыбаясь, — поскольку оно было изготовлено по моему заказу специально в дар тебе.

— Я знаю об этом; но с тех пор прошло два столетия. Я сознаю, что это невероятно и противоречит здравому смыслу, однако это сущая правда. Это банджо, которое было сделано в прошлом году, существовало в шестнадцатом веке и с того времени пришло в негодность. Погоди. Дай мне минуту, и я докажу тебе, что так оно и есть. Ты помнишь, что на серебряном ободе были выгравированы наши имена и проставлена дата?

— Да, и кроме того, там стояла моя личная метка.

— Прекрасно, — сказал Кен и потер обод уголком желтой шелковой ткани. — А теперь смотри.

Я взял у него ветхий инструмент и осмотрел потертое место. Конечно, это было немыслимо, но там значились именно те имена и та дата, которые некогда наказал выгравировать я; и, более того, там виднелась моя личная метка, всего полтора года назад нанесенная мною от нечего делать при

помощи старой гравировальной иглы. Убедившись, что никакой ошибки быть не может, я положил банджо на колени и в замешательстве уставился на моего друга. Кен курил, сохраняя мрачное спокойствие и неотрывно глядя на полыхавшие в камине дрова.

— Признаться, я заинтригован, — сказал я. — Ну давай же, признавайся — что это за шутка? Каким образом тебе удалось за несколько месяцев состарить несчастное банджо на целые столетия? И для чего ты это сделал? Я слышал об эликсире, способном противостоять воздействию времени, но, похоже, твое средство, наоборот, заставляет время убыстряться в двести раз в одной конкретной точке пространства — тогда как во всех других местах оно продолжает двигаться своей обычной неспешной поступью. Поведай свою тайну, волшебник. Нет, в самом деле, Кен, как такое могло произойти?

— Я знаю об этом не больше твоего, — ответил он. — Либо ты, я и все прочие люди на свете сошли с ума, либо произошло чудо, столь же необъяснимое, как и любое другое. Как я сам это объясняю? Расхожее выражение, основанное на опыте многих, гласит, что в определенных обстоятельствах, в моменты серьезных жизненных испытаний, мы способны в единый миг прожить годы. Но это не физический, а психологический опыт, который применим только к людям и не может быть распространен на бесчувственные вещи из дерева и металла. Ты думаешь, что все это — какой-то хитроумный обман или фокус. Если так, то я не знаю его секрета. Я никогда не слышал о таком химическом веществе, которое могло бы за несколько месяцев или лет привести кусок дерева в столь жалкое состояние. Но подобного срока и не потребовалось. Год назад в этот самый день и час это банджо звучало так же мелодично, как в день своего появления на свет, а спустя всего лишь сутки — я говорю истинную правду — оно стало таким, каким ты его видишь сейчас.

Это поразительное заявление было сделано с непритворной торжественностью и серьезностью. Кен верил в каждое сказанное им слово. Я не знал, что и думать. Конечно, мой друг мог быть не в своем уме, хотя и не обнаруживал никаких распространенных симптомов помешательства; но, так или иначе, существовало банджо — свидетель, чьи безмолвные показания невозможно было опровергнуть. Чем дольше я размышлял об этой истории, тем более непостижимой она мне представлялась. Мне предлагали поверить, что две сотни лет равны двадцати четырем часам. Кен и банджо свидетельствовали в пользу этого равенства; все земные знания и весь житейский опыт говорили о том, что подобное невозможно. Что было правдой? Что есть время? Что такое

жизнь? Я чувствовал, что начинаю сомневаться в реальности всего сущего. Такова была тайна, которую мой друг пытался разгадать с тех пор, как вернулся из-за границы. Неудивительно, что эта тайна его изменила, — скорее следовало удивляться тому, что она не изменила его сильнее.

— Ты можешь рассказать мне все с самого начала? — спросил я наконец.

Кен сделал глоток из стакана с виски и провел рукой по густой каштановой бороде.

— Я еще ни с кем не говорил об этом, — сказал он, — и не собирался когда-либо говорить. Но я попробую дать тебе некоторое представление о том, что со мной произошло. Ты знаешь меня лучше, чем кто бы то ни было; ты поймешь то, о чем я расскажу, насколько это вообще можно понять, и тогда тяжесть, лежащая у меня на сердце, вероятно, будет угнетать меня не так сильно. Ибо, смею тебя уверить, это слишком жуткое воспоминание, чтобы пытаться изжить его в одиночку.

И вслед за этим Кен без долгих околичностей поведал мне историю, которая приводится ниже. Замечу кстати, что он был прирожденным рассказчиком, обладал глубоким, выразительным голосом и мог удивительно усиливать комический или патетический эффект фразы, растягивая отдельные звуки. Его живое лицо также чутко откликалось на различные проявления смешного и серьезного, а форма и цвет глаз позволяли передать множество разнообразных эмоций. Печальный взор Кена был необыкновенно искренним и проникновенным; а когда мой друг обращался к какому-нибудь загадочному месту своего повествования, его взгляд становился неуверенным, меланхоличным, изучающим и, казалось, настойчиво взывал к воображению слушателя. Но его рассказ вызывал во мне слишком сильный интерес, и я не замечал этих оттенков настроений, хотя они, несомненно, оказывали на меня свое влияние.

— Ты помнишь, что я отбыл из Нью-Йорка на пароходе компании «Инман лайн», — начал Кен. — Я высадился на побережье в Гавре и, совершив обычную туристическую поездку по континенту, прибыл в Лондон в июле, в самый разгар сезона. Мне оказали теплый прием, я свел знакомство со многими людьми, приятными в обхождении и известными в обществе. Среди них была и юная леди, моя соотечественница, — ты знаешь, о ком я говорю; я увлекся ею необычайно, и незадолго до отбытия ее семьи из Лондон мы обручились. На время нам пришлось расстаться, так как ей предстояла поездка на континент, а мне хотелось посетить Северную Англию и Ирландию. В первых числах октября я сошел на берег в Дублине и, пропутешествовав по стране около двух недель, оказался в

графстве Корк.

Этот край богат на самые чарующие виды, когда-либо открывавшиеся взору человека, и, кажется, не так хорошо известен туристам, как другие, куда менее живописные места. Это также немноголюдный край: за время своих странствий я не видел ни одного чужеземца, да и местные жители встречались мне крайне редко. Казалось невероятным, что такая прекрасная местность может быть столь пустынна. Прошагав дюжину ирландских миль, набредаешь на два-три домика с единственной комнатой внутри, и зачастую у одного или двух из них отсутствует крыша и полуразрушены стены. Немногочисленные селяне, впрочем, приветливы и гостеприимны — особенно когда слышат, что вы прибыли из того земного рая, куда уже перебралось большинство их родственников и друзей. На первый взгляд они довольно бесхитростны и простоваты, однако на деле это такой же странный и загадочный народ, как и всякий другой. Они так же суеверны и так же верят в чудеса, знамения, фей и волшебников, как их предки, которым проповедовал святой Патрик, и вместе с тем это изворотливые, недоверчивые, прагматичные и беспринципные лжецы. Одним словом, за время своего путешествия я не встречал другого народа, общество которого доставляло бы мне такое удовольствие и который вызывал бы во мне столько добрых чувств, любопытства и вместе с тем антипатии.

Наконец я достиг городка на морском побережье, о котором могу сказать лишь, что он находится в нескольких милях к югу от Баллимачина. Мне доводилось видеть Венецию и Неаполь, я путешествовал по Корниш-роуд, я провел целый месяц на нашем острове Маунт-Дезерт, и, признаться, все они, вместе взятые, не столь прекрасны, как этот яркий, полный сочных цветов, серебристого света и нежного мерцания старинный портовый городок, вокруг которого теснятся высокие холмы, а черные подножия прибрежных скал врезаются в прозрачную синеву моря. Это очень древнее поселение, чья история насчитывает столетия. Когда-то в нем проживало две или три тысячи человек; сегодня едва наберется пять-шесть сотен. Половина домов частично или полностью развалилась, многие из тех, что уцелели, пустуют. Горожане сплошь бедны, большинство пребывает в крайней нужде и слоняется по улицам, босиком и с непокрытыми головами, — женщины в причудливых черных и темно-синих накидках, мужчины в таких необычных одеяниях, в которые только ирландцу придет в голову облачиться, дети полуголые. Единственные, кто выглядит прилично, — это монахи, священники и солдаты из крепости, стоящей на гигантских руинах своей предшественницы, которая существовала здесь во времена Эдуарда

Черного Принца или в более раннюю эпоху; в ее поросших мхом бойницах виднеются жерла нескольких пушек, из которых солдаты периодически упражняются в стрельбе по утесу на противоположной стороне порта. Гарнизон крепости состоит из дюжины рядовых и трех или четырех офицеров и унтер-офицеров. Время от времени они, вероятно, сменяют друг друга на своих постах — хотя те, что попадались мне на глаза, похоже, успели стать неотъемлемой частью местного пейзажа.

Я остановился в замечательной маленькой гостинице, единственной в этом городке, и пообедал в баре площадью девять на пятнадцать футов, с висящим над каминной полкой портретом Георга I (репродукцией, покрытой для сохранности лаком). На следующий день после ужина в баре — который, без сомнения, является общественной собственностью — появился некий юный джентльмен и заказал себе скромную трапезу и бутылку крепкого дублинского пива. Мы быстро разговорились; оказалось, что это офицер из крепости, лейтенант О’Коннор, превосходный образчик молодого ирландского военного. Выложив мне все, что знал о городке и его окрестностях, о своих друзьях и самом себе, он выразил готовность выслушать любую историю, которую я надумаю ему рассказать; и мне доставило удовольствие помериться с ним в откровенности. Мы сделались закадычными друзьями, заказали полпинты виски «Кинахан», и лейтенант с большой похвалой отозвался о моих соотечественниках, о моей родине и моих сигарах. Когда О’Коннор собрался уходить, я вызвался проводить его — ведь снаружи светила дивная луна — и простился с ним у ворот крепости, пообещав, что завтра вернусь и познакомлюсь с его товарищами. «И смотри, будь осторожен, дружище! — крикнул он, когда я повернулся в сторону дома. — Поверь, это кладбище — страшное место, и вполне вероятно, ты встретишь там женщину в черном!»

Упомянутое кладбище было заброшенным и пустынным местом в непосредственной близости от крепости: некоторые из тридцати-сорока шероховатых надгробных камней еще продолжали кое-как удерживать вертикальное положение, однако многие были настолько покорежены и разрушены временем, что напоминали торчащие из земли бесформенные древесные корни. Кто такая женщина в черном, я не знал и не стал задерживаться, чтобы выяснить это. Меня никогда не терзал страх перед потусторонними силами, и, по правде говоря, хотя мой путь пролегал через труднопроходимую местность, я добрался до гостиницы без каких бы то ни было приключений, если не считать рискованного карабкания по разрушенному мосту, перекинутому через глубокий ручей.

На следующий день я вспомнил о встрече, назначенной в крепости, и

не нашел причин пожалеть о своем обещании; и мои дружеские чувства были с лихвой вознаграждены — главным образом, пожалуй, благодаря моему банджо, которое я захватил с собой: оно оказалось для собравшихся в новинку и имело у них большой успех. Главными участниками этого круга, помимо моего друга лейтенанта, были командующий гарнизоном майор Моллой — колоритный бывалый вояка с обветренным лицом, и доктор Дадин, врач, — высокий сухопарый остряк, неистощимый на байки и анекдоты, в рассказывании которых ему не было равных. Слушая его, мы изрядно повеселились и впоследствии еще не раз предавались подобному веселью. Меж тем октябрь быстро подходил к концу, и мне пришлось вспомнить, что я всего-навсего путешествую по Европе и не являюсь жителем Ирландии. Майор, врач и лейтенант единодушно и горячо воспротивились моему предполагаемому отъезду, но, поскольку с этим ничего нельзя было поделать, они устроили в мою честь прощальный ужин в крепости, в канун Дня всех святых.

Как бы мне хотелось, чтобы ты побывал со мной на том ужине и своими глазами увидел, что такое ирландская дружба! Доктор Дадин был в ударе; майор затмевал лучших офицеров из романов Левера; [11] лейтенант, охваченный жизнерадостным весельем, сыпал шутками и отпускал комплименты в адрес местных красоток. Что до меня, я заставил банджо звучать так, как оно не звучало еще никогда, и остальные подхватили исполняемый мотив во всю силу своих легких, подобных которым не часто встретишь за пределами Ирландии. Среди историй, коими потчевал нас доктор Дадин, была легенда о Керне из Кверина и его жене Этелинде Фионгуала, чья фамилия означает «белоплечая». Кажется, девушка сперва была обручена с неким О’Коннором (здесь лейтенант причмокнул), но в брачную ночь была похищена компанией вампиров, которые, похоже, были тогда для Ирландии сущим бедствием. Но в то время, когда они несли ее, бесчувственную, на ужин, где ей предстояло стать не едоком, а едой, [12] юный Керн из Кверина, охотясь на уток, встретил упомянутую компанию и разрядил в нее свое ружье. Вампиры разбежались, и Керн принес прекрасную леди, все еще находившуюся без сознания, в свой дом.

— И кстати, мистер Кенингейл, — заметил доктор, вытряхивая пепел из трубки, — направляясь сюда, вы прошли мимо этого дома. Помните, тот, с темным арочным проходом внизу и большим двустворчатым угловым окном, так сказать, нависающим над дорогой…

— Многоуважаемый доктор Дадин, забудьте вы про дом, — перебил его лейтенант. — Неужели вы не видите — нам не терпится узнать, что случилось с прелестной мисс Фионгуала, храни ее Господь, после того как

я отнес ее целой и невредимой наверх…

— Ей-богу, я могу рассказать вам об этом, мистер О’Коннор! — воскликнул майор, взболтав остатки виски в своем стакане. — Этот вопрос должен решаться исходя из общих принципов, как сказал полковник О’Халлоран, когда его спросили, что бы он сделал, если бы был герцогом Веллингтоном и пруссаки не появились бы в решающий момент под Ватерлоо. Клянусь, сказал тогда полковник, что…

— Эй, майор, почему вы перебиваете доктора, а мистер Кенингейл позволяет своему стакану пустовать?.. Храни нас Бог! Бутылка закончилась!

В сумятице, последовавшей за этим открытием, нить рассказа доктора потерялась — без особой надежды вновь ее отыскать; вечер затягивался, и я почувствовал, что пора уходить. Потребовалось некоторое время, чтобы мое намерение дошло до собравшихся, и еще большее время, чтобы его осуществить; так что, когда я, вдыхая свежий прохладный воздух, стоял за воротами крепости и в моих ушах еще звучали прощальные возгласы собутыльников, вокруг была уже глубокая ночь.

С учетом того, сколько я выпил в тот вечер, я на удивление неплохо держался на ногах и потому, когда через несколько десятков футов все же споткнулся и упал, то приписал это не действию виски, а неровности дороги. Когда я поднялся, мне как будто послышался чей-то смех, и я подумал, что это лейтенант, который провожал меня до ворот, потешается над моей неловкостью; но, оглядевшись, я увидел, что ворота заперты и вокруг нет ни души. Более того, этот смех, казалось, раздался совсем близко и, судя по высоте голоса, был скорее женским, а не мужским. По всей вероятности, мне это почудилось: рядом никого не было, и у меня просто разыгралось воображение; иначе надо было признать, что поверье о торжестве бесплотных духов в ночь на Хеллоуин — не поэтический вымысел, а сущая правда. Суеверные ирландцы считают, что споткнуться — это не к добру, но тогда я не вспомнил об этой примете, а если бы вспомнил, то лишь рассмеялся бы про себя. В любом случае, я ничуть не пострадал при падении и не мешкая продолжил путь.

Однако найти дорогу оказалось на удивление трудно — или, лучше сказать, я как будто бы шел теперь неправильной дорогой. Я не узнавал ее; я мог бы поклясться, что вижу ее впервые, — не будь я совершенно уверен в обратном. Луна, хотя и затмеваемая облаками, стояла высоко в небе, однако и ближайшие окрестности, и общий вид округи были мне незнакомы. Справа и слева возвышались темные, молчаливые холмы, а дорога по большей части круто уходила вниз, словно стремясь отправить

меня в земные недра. Местность оглашали странные звуки, и временами мне казалось, что я бреду посреди невнятного бормотания и таинственного шепота, а в отдалении, между холмами, снова и снова разносится дикий смех. Из темных теснин и расщелин веяло холодным воздухом, и его бесплотные пальцы легко касались моего лица. Мною стали овладевать серьезное беспокойство и страх, для которых не существовало никакой реальной причины — кроме того, что я запаздывал домой. Повинуясь странному инстинкту, свойственному людям, которые сбились с пути, я прибавил шагу, но то и дело косился через плечо, ощущая за собой слежку. Но ни одной живой души позади меня не было. Правда, луна за это время поднялась еще выше, и медленно плывшие по небу облака отбрасывали на голую долину сумеречные тени, очертания которых порой смутно напоминали гигантские силуэты людей.

Не знаю, как долго я шел, пока не обнаружил с некоторым удивлением, что приближаюсь к кладбищу. Оно располагалось на отроге холма, и вокруг него не было ни ограды, ни какой-либо иной защиты от случайных прохожих. Облик этого места заставил меня усомниться, что я видел его прежде и что передо мной — тот самый погост, который мне не раз доводилось миновать, направляясь к друзьям; последний отделяли от крепости несколько сотен ярдов, а в эту ночь я преодолел расстояние по меньшей мере в несколько миль. Кроме того, когда я подошел ближе, то заметил, что надгробия выглядят не такими старыми и ветхими, как на том кладбище. Но более всего мое внимание привлекла фигура, прислонившаяся или присевшая на одну из огромных каменных плит, что стояла вертикально возле самой дороги. Это была женская фигура в черном, и при ближайшем рассмотрении, оказавшись в нескольких ярдах от нее, я понял, что она облачена в каллу, или длинный плащ с капюшоном, — старинное и самое распространенное одеяние ирландских женщин, несомненно испанского происхождения.

Я был немного испуган ее появлением — настолько внезапным оно было — и весьма удивлен тем, что какое-то человеческое существо могло очутиться в эту ночную пору в столь безлюдном и мрачном месте. Поравнявшись с незнакомкой, я непроизвольно остановился и устремил на нее пристальный взгляд. Но луна светила ей в спину, просторный капюшон плаща полностью скрывал ее черты, и я не смог различить ничего, кроме блеска глаз, казалось, с живостью отразивших мой собственный взгляд.

— Вы, похоже, знаете эти места, — заговорил я наконец. — Не могли бы вы подсказать мне, где я нахожусь?

В ответ таинственная особа весело рассмеялась, и ее смех, сам по себе

приятный и благозвучный, заставил мое сердце биться чаще, чем при недавней быстрой ходьбе; ибо интонация и тембр голоса как две капли воды напоминали — либо мое воображение убедило меня в этом — смех, который я услышал час-другой назад, поднимаясь после падения. В остальном же это был смех молодой и, вероятно, привлекательной женщины; и тем не менее в нем слышалось нечто неистовое, высокомерное, издевательское, что мало соответствовало представлениям о человеке или, во всяком случае, не могло исходить от существа, наделенного привязанностями и слабостями, подобными нашим. Но такое впечатление, несомненно, возникло у меня под влиянием необычных и таинственных обстоятельств встречи.

— Конечно, сэр, — произнесла она. — Вы находитесь у могилы Этелинды Фионгуала.

Сказав это, она поднялась и указала на надпись, начертанную на камне. Я подался вперед и без особого труда разобрал имя и дату, которая свидетельствовала о том, что погребенная в этой могиле рассталась со своей телесной оболочкой два с половиной столетия назад.

— А как ваше имя? — осведомился я.

— Меня зовут Элси, — отозвалась она. — Но куда вы держите путь в последнюю октябрьскую ночь, ваша честь?

Я сказал ей, куда направляюсь, и спросил, не может ли она подсказать мне, в какую сторону нужно идти.

— Конечно, ведь мне и самой надо туда же, — ответила Элси. — И если ваша честь последует за мной и сыграет мне что-нибудь на этом чудесном инструменте, дорога покажется нам не столь длинной.

И она указала на завернутое в ткань банджо, которое я держал под мышкой. Я терялся в догадках насчет того, как она узнала, что это музыкальный инструмент; возможно, подумал я, она видела меня играющим на банджо, когда я гулял в окрестностях городка. Как бы то ни было, я ничего на это не возразил и, более того, дал понять Элси, что, когда мы доберемся до места, она получит более существенную награду. На это она опять рассмеялась и выразительным движением поднесла к голове руку. Я высвободил банджо, тронул пальцами струны и заиграл причудливую танцевальную мелодию, под звуки которой мы устремились по дороге. Элси шла чуть впереди, двигаясь в такт музыке. Ее поступь была такой легкой, плавной, упругой, что еще немного — и я подумал бы, будто она, словно бесплотный дух, парит над землей. Мое внимание привлекли ее стопы необыкновенной белизны, и я предположил, что она босая, но потом не без удивления разглядел белые атласные туфли, затейливо

расшитые золотыми нитями.

— Элси, — произнес я, растягивая шаг, чтобы поравняться с нею, — где вы живете — и на какие средства?

— Разумеется, я живу своим трудом, — ответила она. — И если вы позднее захотите узнать как, вам нужно прийти и посмотреть своими глазами.

— Скажите, для вас обычное дело — ходить ночной порой за холмы в таких туфлях?

— А почему я не должна это делать? — в свой черед спросила она. — И откуда у вас на пальце это прелестное золотое кольцо?

Кольцо, не обладавшее большой ценностью, я углядел в скромной антикварной лавке в Корке. Это была очень старомодная, видавшая виды вещица, которая, как уверял продавец, могла некогда принадлежать кому-то из первых королей или королев Ирландии.

— Оно вам нравится? — поинтересовался я.

— Ваша честь подарит его Элси? — наклонив голову, вкрадчиво спросила она.

— Возможно, Элси, но при одном условии. Я — художник и рисую портреты разных людей. Если вы пообещаете прийти ко мне в студию и позволите нарисовать вас, я дам вам это кольцо и вдобавок немного денег.

— И вы дадите мне это кольцо сейчас? — уточнила Элси.

— Да, если вы пообещаете.

— А вы мне еще сыграете? — продолжала она.

— Сколько захотите.

— Но быть может, я окажусь недостаточно хороша для вас, — сказала она, украдкой глянув на меня из-под темного капюшона.

— Я рискну, — со смехом отвечал я, — хотя, с другой стороны, я не против того, чтобы посмотреть на вас заранее и лучше запомнить.

С этими словами я протянул вперед руку, намереваясь откинуть скрывавший ее капюшон. Но Элси каким-то образом, ускользнула от меня и вновь засмеялась — все с той же дразнящей интонацией.

— Сперва дайте мне кольцо — и затем сможете меня увидеть, — уговаривающим тоном произнесла она.

— Тогда протяните руку, — ответил я, снимая кольцо с пальца. — Когда мы познакомимся ближе, Элси, вы не будете столь недоверчивы.

Она вытянула вперед тонкую, изящную руку, и я надел кольцо на ее указательный палец. Когда я это проделал, половинки ее плаща слегка разошлись, и я мельком увидел белое плечо и платье, сшитое, насколько я смог разглядеть в этой неверной полутьме, из роскошной и дорогой ткани;

кроме того, я заметил — или мне это только показалось — ледяной блеск драгоценных камней.

— Эй, осторожнее! — пронзительно воскликнула вдруг Элси.

Я огляделся и неожиданно для себя осознал, что мы стоим посреди полуразрушенного моста, перекинутого через ручей, который стремительно бежал далеко внизу. Перила моста с одной стороны были разбиты, и я в самом деле находился в одном шаге от бездны. Осторожно миновав развалившийся пролет, я обернулся, чтобы помочь Элси, но ее нигде не было.

Что сталось с девушкой? Я звал ее, но ответа так и не последовало. Я внимательно осмотрел обе стороны моста, однако не обнаружил никаких следов ее присутствия. Если только она не кинулась в пропасть, разверзшуюся подо мной, ей абсолютно негде было спрятаться — по крайней мере, все возможные укрытия я осмотрел. И тем не менее она исчезла; и поскольку ее исчезновение, вероятно, было преднамеренным, я в конце концов заключил, что все попытки отыскать ее бесполезны. Когда придет время, она объявится сама — или же не вернется совсем. Она очень ловко ускользнула от меня, и мне следовало с этим смириться. Пожалуй, это приключение стоило потери кольца.

Продолжив путь, я испытал заметное облегчение оттого, что снова стал узнавать окружающую местность. Мост, который я пересек, был тем самым, что я упоминал несколько раньше; я находился в миле от города, и дорога лежала прямо передо мной. Более того, облака на небе совершенно рассеялись, и луна сияла в полную силу. Что ни говори, а Элси оказалась надежным проводником — она вывела меня из зачарованной страны обратно в реальный мир. Несомненно, это было необыкновенное приключение; я размышлял над ним с тайным удовольствием, по мере того как не спеша шел вперед, напевая и аккомпанируя себе на банджо. Но что это? Чьи легкие шаги послышались у меня за спиной? Они напоминали шаги Элси; но Элси там не было. Однако, прежде чем я достиг окраины города, это впечатление или иллюзия — звук легких шагов позади или рядом со мной — возникло еще несколько раз. Оно не заставило меня занервничать — наоборот, я испытал удовольствие при мысли, что меня преследуют подобным образом, и предался романтическим и радостным грезам.

Миновав пару домишек, лишенных крыш и поросших мхом, я оказался в начале узкой, извилистой улицы, которая идет через весь город и в определенном месте несколько расширяется, словно для того, чтобы путник мог как следует рассмотреть удивительный старый дом, стоящий на

северной ее стороне. Это величественное каменное здание напомнило мне некоторые дворцы старой итальянской знати, которые я видел на континенте, и весьма вероятно, что оно было построено кем-то из итальянских или испанских иммигрантов два-три столетия назад. Лепнина выступающих окон и аркообразного входа была густо испещрена резьбой, а на фасаде красовался герб в виде горельефа, хотя я не мог разобрать, что именно на нем изображено. Лунный свет озарял эту живописную громаду, подчеркивая ее великолепие, и вместе с тем делал ее похожей на видение, которое может исчезнуть, когда сияние луны угаснет. Вероятно, я не раз видел этот дом прежде, и тем не менее у меня не осталось о нем ясных воспоминаний; до сей поры мне, так сказать, не доводилось рассматривать его пристально. Прислонившись к стене на противоположной стороне улицы, я долго разглядывал интересовавший меня дом. Массивное угловое окно было поистине превосходно. Оно нависало над мостовой, отбрасывая на нее густую косую тень; двустворчатый переплет был забран решеткой с ромбовидными стеклами. Как часто в былые времена это окно открывала прелестная рука, являя ожидавшему в лунном свете ухажеру очаровательное лицо его высокородной возлюбленной! То были прекрасные дни, которые давным-давно миновали. В этом величавом здании уже давно не обитал никто, кроме летучих мышей и хищных птиц. Где теперь пребывают те, кто его строил? И кем они были? Вероятно, даже их имена ныне забыты.

Пока я, вскинув голову, рассматривал особняк, меня посетило одно предположение, очень скоро превратившееся в уверенность. Уж не тот ли это дом, о котором мне рассказывал вечером доктор Дадин, дом, который некогда был пристанищем Керна из Кверина и его загадочной невесты? Здесь имелись и выступающее окно, и аркообразный вход, о которых упоминал доктор. Да, вне всяких сомнений, это был тот самый дом. У меня вырвался тихий возглас неожиданного интереса и удовольствия, и мои мысли приняли более мечтательное и вместе с тем более ясное направление.

Что сталось с прекрасной дамой после того, как Керн доставил ее, бесчувственную, на руках в свой дом? Она очнулась, и впоследствии они поженились и жили счастливо остаток дней — или же продолжение этой истории было трагическим? Я припомнил, что где-то читал, будто жертвы вампиров обычно сами становятся вампирами. Затем мне пришла на ум та могила на склоне холма. Она определенно находилась на неосвященной земле. Почему ее похоронили именно там? Белоплечая Этелинда! О, почему я не жил в то время; или почему его нельзя вернуть посредством

какого-нибудь волшебства? Тогда я разыскал бы в ночи эту улицу и, стоя здесь, под самым ее окном, не раздумывая заиграл бы на своей лютне и играл бы до тех пор, пока Этелинда не откроет осторожно окно и не выглянет наружу. Воистину сладостная мечта! Что же мешало мне воплотить ее в жизнь? Всего лишь пара столетий или около того. А в самом ли деле время — вечный предмет насмешек поэтов и философов — столь неподатливо и неизменно, что его невозможно преодолеть малой толикой веры и воображения? Так или иначе, у меня было банджо — прямой и законный наследник лютни, а память о Фионгуале заслуживала любовной песни.

Вслед за этим, настроив инструмент, я начал исполнять старинную испанскую любовную песню, текст которой обнаружил во время своих странствий в одной забытой богом библиотеке и к которой сам сочинил музыку. Пел я тихо, поскольку малейший звук; отдавался эхом на пустынной улице, а моя песня предназначалась только для слуха моей госпожи. Слова были одушевлены пылом древнего испанского рыцарства, и я вложил в них всю силу страсти, какая отличала влюбленных в рыцарских романах. Несомненно, белоплечая Фионгуала смогла бы их услышать, пробудиться от своего многовекового сна, подойти к решетчатому переплету и взглянуть вниз! Чу! Что там? Что за огонек — что за тень как будто порхнула по комнатам заброшенного дома и теперь приближается к двустворчатому окну? Мои глаза обмануты игрой лунного света, или же решетчатое окно и в самом деле пришло в движение — в самом деле отворяется? Нет, это не галлюцинация, никакого обмана чувств тут нет. Есть лишь молодая, прекрасная, облаченная в роскошный наряд женщина, которая выглядывает из окна и молча делает мне знак приблизиться.

Слишком изумленный, чтобы сознавать свое изумление, я пересек улицу и остановился под самым окном, и когда женщина склонилась ко мне, ее лицо очутилось прямо надо мной на расстоянии всего лишь в два человеческих роста. Она улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй; что-то белое мелькнуло в ее руке, а затем, порхнув по воздуху, упало к моим ногам. В следующее мгновение она исчезла, и я услышал, как закрывается окно.

Я подобрал то, что она уронила; оказалось, что это тонкий кружевной носовой платок, привязанный к головке искусно выточенного бронзового ключа. Несомненно, то был ключ от входной двери, означавший, что меня приглашают войти. Сняв с него платок, от которого исходило приятное, едва уловимое благоухание, напоминавшее аромат цветов в старинном саду,

я направился к сводчатому дверному проему. У меня не было никакого дурного предчувствия, я не испытывал даже удивления. Все шло так, как я желал и как должно было идти: средневековые времена вернулись, и я почти физически ощущал, что с моего плеча свешивается бархатный плащ, а на поясе покачивается длинная рапира. Остановившись перед дверью, я вставил ключ в замок, повернул и почувствовал, как язычок сдвинулся с места. Мгновением позже дверь отворилась — по-видимому, изнутри; я переступил через порог, дверь снова закрылась, и я остался в одиночестве в темноте пустого дома.

Впрочем, нет, не в одиночестве! Когда я вытянул перед собой руку, дабы на ощупь определить, куда идти, ее встретила другая рука, нежная, тонкая и холодная, которая кротко легла в мою и повела меня вперед. Я не сопротивлялся. Вокруг была непроглядная тьма, но я слышал совсем рядом тихий шелест платья, а в воздухе, которым я дышал, чувствовалось прелестное благоухание, ранее исходившее от платка; меж тем пожатие отзывчивых холодных пальцев маленькой ручки, неразлучной с моей рукой, то слабело, то, напротив, становилось сильнее. Так, легким шагом, мы преодолели длинный извилистый коридор и поднялись по лестнице. Еще один коридор — и вот мы замерли на месте; открылась дверь, и из проема полился поток мягкого света, в который мы и ступили, по-прежнему держась за руки. На этом тьма и неизвестность закончились.

Внушительных размеров комната была обставлена и отделана с пышностью, характерной для минувших столетий. Стены были обиты тканями спокойных цветов; в блестящих серебряных канделябрах горели десятки свечей, умножаемых высокими зеркалами, которые располагались по углам комнаты. Массивные потолочные балки из темного дуба, сходившиеся под прямым углом, покрывала искусная резьба; портьеры и чехлы для кресел были пошиты из узорчатого полотна. У дальней стены стояла широкая оттоманка, а перед ней стол, на котором красовались огромные серебряные блюда с великолепными угощениями и хрустальные бокалы с вином. Сбоку возвышался огромный камин, в широкой и глубокой топке которого можно было бы сжечь целые древесные стволы. Огонь в нем, однако, не горел — виднелась только груда погасших углей; да и сама комната, при всей ее роскоши, была холодной — холодной как могила, холодной, как рука моей возлюбленной, — и от этого холода в мое сердце закрался едва различимый озноб.

Но моя возлюбленная — как прекрасна она была! Я окинул интерьер лишь беглым взглядом, ибо мой взор и мои мысли были всецело поглощены ею. Она была одета в белое платье, точно невеста; в ее темных

волосах и на белоснежной груди сверкали бриллианты; восхитительное лицо и тонкие губы были бледны, что особенно подчеркивал темный блеск глаз. Она смотрела на меня с какой-то странной, еле заметной улыбкой; и вместе с тем, несмотря на эту странность, в ее облике и манере держаться чувствовалось что-то смутно знакомое, похожее на припев из песни, слышанной очень давно и вспоминавшейся вопреки переменам жизненных обстоятельств. Мне казалось, что какой-то частью своей натуры я узнал ее, что я знал ее всегда. Она была той самой женщиной, о которой я грезил, которую я видел в мечтах, той женщиной, чьи лицо и голос преследовали меня с отроческих лет. Я не знал, встречались ли мы прежде в реальной жизни; вероятно, я, сам того не осознавая, искал ее повсюду, а она ждала меня в этой роскошной комнате, сидя у этих погасших углей до тех пор, пока в ее жилах не застыла кровь, которую отныне мог согреть только пыл моей любви.

— Я думала, ты забыл меня, — сказала она, кивая, словно в ответ на мои мысли. — Эта ночь наступила так поздно — наша единственная ночь в году! Как возликовало мое сердце, когда я услышала твой милый голос, который пел песню, так хорошо мне знакомую! Поцелуй меня — мои губы так холодны!

Они и вправду были холодны — холодны как уста смерти. Но тепло моих губ как будто их оживило, и они слегка порозовели, а на щеках появился слабый румянец. Она сделала глубокий вдох, словно пробуждаясь от длительной летаргии. Неужели ей передалась частичка моей жизненной энергии? Я готов был пожертвовать ее всю без остатка. Моя избранница подвела меня к столу и указала на яства и вино.

— Поешь и выпей вина, — сказала она. — Ты долго странствовал, и тебе нужно подкрепиться.

— А ты не присоединишься ко мне? — спросил я, разливая вино.

— Ты — единственное угощение, которое мне нужно, — ответила она. — Это вино слабое и холодное. Дай мне вина, такого же красного и теплого, как твоя кровь, и я до дна осушу свой бокал.

При этих словах, сам не знаю почему, по моему телу пробежала легкая дрожь. С каждой минутой моя возлюбленная, казалось, обретала все большую жизненную силу, тогда как меня все глубже пробирал стоявший в комнате холод.

Внезапно она предалась необыкновенному веселью, захлопала в ладоши и принялась с детской беспечностью танцевать вокруг меня. Кем она была? И был ли я самим собой? Или она все же смеялась надо мной, когда намекала, что мы в прошлом принадлежали друг другу? Наконец она

остановилась передо мной, скрестив на груди руки, и я увидел, как на указательном пальце ее правой кисти блеснуло старинное кольцо.

— Откуда у тебя это кольцо? — осведомился я.

Она тряхнула головой и рассмеялась.

— Ты серьезно? — спросила она. — Это мое кольцо — то самое, что связывает тебя и меня, то самое, что ты подарил мне, когда полюбил впервые. Это кольцо Керна — волшебное кольцо, а я твоя Этелинда — Этелинда Фионгуала.

— Да будет так, — произнес я, отбрасывая все сомнения и страхи и безоглядно отдаваясь во власть ее чарующих загадочных глаз и страстных губ. — Ты моя, а я твой, и мы будем счастливы, сколько бы нам ни суждено было прожить.

— Ты мой, а я твоя, — повторила она, кивнув с озорной улыбкой. — Сядь подле меня и спой ту нежную песню, что пел мне давным-давно. О, теперь я проживу добрую сотню лет!

Мы опустились на оттоманку, и, пока Этелинда устраивалась поудобнее на подушках, я взял банджо и начал петь. Песня и музыка оглашали пространство величественной комнаты, отдаваясь ритмичным эхом. И все это время я видел перед собой лицо и фигуру Этелинды Фионгуала в украшенном драгоценностями подвенечном наряде, устремлявшей на меня взгляд пылающих глаз. Она уже не выглядела бледной, а была румяной и оживленной, как будто внутри ее горело пламя. Я же, напротив, стал холодным и безжизненным — и тем не менее тратил остаток жизненных сил на то, чтобы петь ей о любви, которая никогда не умрет. Но в конце концов мой взор потускнел, в комнате как будто сгустилась тьма, фигура Этелинды то прояснялась, то делалась расплывчатой, напоминая мерцание угасающего костра. Я подался к ней и почувствовал, что теряю сознание, а моя голова склоняется на ее белое плечо.

В этом месте Кенингейл на несколько мгновений прервал свой рассказ, бросил в огонь свежее полено и затем продолжил.

— Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я очнулся и обнаружил, что нахожусь один в просторной комнате полуразрушенного дома. Ветхая драпировка клочьями свисала со стен, паутина густыми пыльными гирляндами покрывала окна, лишенные стекол и рам и заколоченные грубыми досками, которые давно прогнили и теперь сквозь щели и дыры пропускали внутрь бледные лучи света и сквозняки. Летучая мышь, потревоженная этими лучами или моим движением, сорвалась с куска обветшалой драпировки совсем рядом со мной и, покружив у меня

над головой, устремила свой порывисто-бесшумный полет в более темный угол. Когда я, шатаясь, поднимался с груды хлама, на которой лежал, что-то с треском упало с моих коленей на пол. Подобрав этот предмет, я обнаружил, что это мое банджо — такое, каким ты видишь его сейчас.

Вот, собственно, и вся история. Мое здоровье оказалось серьезно подорвано; из моих жил как будто выпустили всю кровь; я был бледен и изможден, и холод… О, этот холод! — прошептал Кенингейл, придвигаясь к огню и вытягивая к нему руки, жаждавшие тепла. — Я никогда не избавлюсь от него; я унесу его с собой в могилу.

Джозеф Шеридан Ле Фаню

Джозеф Шеридан Ле Фаню (1814–1873), которого принято считать отцом современного рассказа о привидениях, родился в Дублине в состоятельной протестантской семье. Хотя он и получил степень в области права, он не стал практикующим адвокатом, предпочтя юриспруденции карьеру журналиста. С конца 1930-х годов он сотрудничал с «Дублин юниверсити мэгэзин» — влиятельным дублинским журналом, в кагором увидели свет многие его ранние рассказы и владельцем которого (наряду с несколькими другими изданиями) ему впоследствии довелось стать. Несмотря на присущую ему политическую активность, Ле Фаню, как правило, не допускал в свои произведения современный материал.

Некоторые из его романов пользовались в свое время необычайной популярностью — в частности, готические детективы «Рука Уайлдера» (1863) и «Дядя Сайлас» (1864), по которому в 1947 году был поставлен одноименный фильм с участием Джин Симмонс и Деррика Де Марии (в американском прокате шел под названием «Наследство»).

Сегодня, однако, Ле Фаню помнят главным образом благодаря его атмосферным рассказам о привидениях; среди наиболее известных — «Зеленый чай», в котором призрак маленькой обезьянки заставляет священника перерезать себе горло бритвой, «Давний знакомый» (о смертоносных демонах, преследующих свои жертвы) и классическая вампирская повесть «Кармилла», по мотивам которой снято множество фильмов, в том числе «Вампир» (1932), «Кровь и розы» (1960), «Склеп вампира» (1964), «Любовницы-вампирши» (1970), «Кармилла» (1989), «Кармилла» (1999), «Вампиры против зомби» (2004) и др.

Впервые «Кармилла» была опубликована в декабре 1871 — марте 1872 года в альманахе «Темно-синий»; позднее в несколько переработанном виде вошла в авторский сборник «В тусклом стекле» (Лондон: Бентли, 1872).

Кармилла

Пролог

В записке, которая была приложена к нижеследующему повествованию, доктор Гесселиус дает подробный комментарий и ссылается на свой трактат, посвященный тому же предмету, что и данный манускрипт.

Трактат, свидетельствующий, как и все прочие труды доктора, о проницательности и обширных познаниях автора, примечателен еще и тем, что таинственные явления анализируются в нем сжато и с недвусмысленной ясностью. Надобно заметить, что в собрании трудов этого поразительного человека данный трактат составит всего лишь один том из многих.

Публикуя рассказ остроумной леди исключительно ради развлечения публики, я считаю неуместным чем-либо его предварять; таким образом, по зрелом размышлении я решил не помещать здесь ни резюме, ни выдержек из рассуждений многоученого доктора по поводу предмета, который (как он заявляет) «затрагивает, вероятно, сокровеннейшие тайны нашего двойственного существования и его промежуточных форм».

Ознакомившись с манускриптом, я, привлеченный умом и аккуратностью, свойственными, по-видимому, давней корреспондентке доктора Гесселиуса, пожелал и сам вступить с нею в переписку. К своему немалому огорчению, я узнал, однако, что ее уже нет в живых.

Впрочем, она едва ли смогла бы многое добавить к своему столь точному и обстоятельному (я полагаю) рассказу, который следует ниже.

Глава I Детский испуг

Мы живем в Штирии, в Австрии. Богачами нас не назовешь, но обитаем мы в замке, или schloss’e. [13] Скромного дохода в этих краях хватает на все с избытком. Восемь-девять сотен в год делают чудеса. При всей нашей бедности мы слывем здесь состоятельными людьми. Мой отец — англичанин, я ношу английскую фамилию, хотя в Англии никогда не была. Но, живя здесь, в этих уединенных и неприхотливых местах, где все так удивительно дешево, я в самом деле не вижу, каким дополнительным комфортом или даже роскошью мы могли бы обзавестись, будь у нас много больше денег.

Мой отец состоял на австрийской службе. Уйдя в отставку и располагая пенсией и наследством, он купил по дешевке это феодальное владение и немного земли при нем.

Невозможно себе представить окружение более живописное и уединение более полное. Замок стоит на небольшой возвышенности в лесу. Дорога, очень старая и узкая, проходит перед подъемным мостом (он ни

разу на моей памяти не поднимался); наполненный водой ров обнесен частоколом и служит пристанищем множеству лебедей и белым флотилиям водяных лилий.

Над всем этим красуется schloss: многооконный фасад, башни, готическая капелла.

Перед воротами замка лес отступает, образуя очень живописную, неправильных очертаний поляну, а направо крутой готический мост переносит дорогу через речной поток, петляющий в густой тени леса.

Я уже говорила, что место это очень уединенное. Судите сами: если смотреть от двери холла в сторону дороги, то лес, среди которого стоит наш замок, простирается на пятнадцать миль вправо и на двенадцать влево. Ближайшая обитаемая деревня находится на расстоянии семи ваших английских миль. Ближайшим обитаемым замком издавна был schloss старого генерала Шпильсдорфа, почти в двадцати милях вправо.

Я сказала «ближайшая обитаемая деревня», потому что всего лишь в трех милях к западу, то есть в направлении замка генерала Шпильсдорфа, есть разрушенная деревня, в ней причудливая маленькая церковь; теперь она стоит без крыши. В боковом приделе — заброшенные могилы гордого рода Карнштайн, ныне угасшего; этот род владел некогда chateau, [14] теперь тоже опустевшим, который возвышается в чаще леса над молчаливыми руинами городка.

Почему обезлюдели эти странные и меланхолические места? По сему поводу существует легенда, которую я поведаю вам в другой раз.

Теперь я должна вам рассказать, сколь немногочисленное общество собирается за обеденным столом в нашем замке (я не говорю здесь о слугах и жильцах примыкающих к замку строений). Слушайте и удивляйтесь! Это всего-навсего мой отец, самый добрый человек на земле, но уже немолодой, и я. В то время, о котором я рассказываю, мне было всего лишь девятнадцать. С тех пор минуло восемь лет. Я и мой отец — вот и вся семья владельцев замка. Моя мать, дворянка из Штирии, умерла, когда я была совсем маленькой, но почти с самого младенчества меня опекала моя добрая гувернантка. Ее полное приветливое лицо было знакомо мне всегда, сколько себя помню. Это мадам Перродон, уроженка Берна. Ее забота и добродушие частично возместили мне потерю матери, о которой у меня даже не осталось воспоминаний, так рано я ее лишилась. Мадам была третьей персоной за нашим обеденным столом. Была и четвертая, мадемуазель де Лафонтен, дама, которую, думаю, можно назвать «воспитательницей манер». Она говорила на французском и немецком, мадам Перродон — на французском и ломаном английском; добавьте сюда

наш с отцом английский, на котором мы говорили каждый день, отчасти чтобы не забыть этот язык, отчасти из патриотических побуждений. В результате получался вавилон, вызывавший насмешки посторонних. Не буду пытаться воспроизвести его в этом рассказе. Были еще две-три молодые дамы, примерно моего возраста, мои подруги, которые время от времени гостили у нас; а я иногда, в свою очередь, бывала в гостях у них.

Вот и все общество, которым мы довольствовались; но были еще, конечно, случайные визиты «соседей», которых отделяли от нас всего каких-то пять или шесть лиг. Тем не менее могу вас заверить, жизнь моя была довольно уединенной.

Мои благоразумные гувернантки контролировали меня лишь настолько, насколько это было возможно в случае с довольно избалованной девушкой, единственный родитель которой во всем предоставлял ей едва ли не полную свободу.

С детства не могу забыть один эпизод, который произвел на меня ужасное впечатление, не изгладившееся до сих пор. Это одно из моих самых ранних детских воспоминаний. Некоторые сочтут его столь незначительным, что не стоило бы и упоминать его здесь. Но скоро вы поймете, почему я о нем рассказываю. Детская комната, в которой жила я одна, находилась в верхнем этаже замка и представляла собой обширное помещение с высоким дубовым потолком. Мне было тогда шесть лет, не больше. Однажды ночью я проснулась, огляделась, не вставая с кровати, и обнаружила, что горничной в комнате нет. Не было и няни, и я решила, что осталась одна. Я не испугалась, потому что принадлежала к числу тех счастливых детей, которым, стараниями взрослых, никогда не приходилось слышать рассказов о привидениях, волшебных сказок и всего прочего, что заставляет нас прятать голову под одеяло, когда внезапно заскрипит дверь или задрожит пламя погасающей свечи и на стене запляшет тень от столбика кровати, вытягиваясь в сторону твоего лица. Я была лишь обижена и раздосадована, обнаружив, что мной, как я решила, пренебрегли, и начала хныкать, готовясь зареветь во весь голос, но тут, к своему удивлению, увидела у края кровати строгое, но очень красивое лицо, смотревшее на меня. Это была молодая женщина, которая стояла на коленях, положив руки на одеяло. Приятно пораженная, я перестала хныкать. Женщина приласкала меня, легла в мою постель и с улыбкой притянула меня к себе. Сладостное чувство покоя сразу же овладело мной, и я снова заснула. Проснулась я, внезапно ощутив, будто две иглы одновременно очень глубоко вонзились мне в грудь. Я громко закричала. Женщина отпрянула, не спуская с меня глаз, а затем соскользнула на пол и,

как мне показалось, спряталась под кроватью.

Тут только я действительно испугалась и завопила во всю мочь. Няня, горничная, экономка вбежали в комнату, выслушали мой рассказ и принялись на все лады истолковывать услышанное, всячески стараясь тем временем меня успокоить. Но я, хотя и была еще ребенком, заметила на их лицах бледность и непривычную тревогу. Они заглядывали под кровать, под столы, осматривали комнату, рывком открывали шкафы, а экономка прошептала няне: «Потрогайте эту вмятину на постели — там кто-то лежал, чем угодно могу поклясться; это место еще теплое».

Помню, как обнимала и целовала меня горничная и как все три женщины осматривали мою грудь — то место, где чувствовалась боль от укола, — и объявили, что никаких следов не обнаружили.

Экономка и две другие служанки остались дежурить на всю ночь, и с тех пор, пока мне не исполнилось четырнадцать лет, в детской всегда находилась какая-нибудь из служанок.

Происшествие это надолго расстроило мои нервы. Послали за доктором; это был бледный пожилой человек. Хорошо помню его длинное мрачное лицо, слегка рябое, и каштановый парик. Долго еще он приходил к нам через день и давал мне лекарство, которое я, разумеется, терпеть не могла.

На следующее утро после этого видения я все еще была напугана до полусмерти и не соглашалась оставаться одна ни на минуту, даже при свете дня.

Помню, как пришел наверх мой отец, как он стоял у кровати, весело что-то говорил, задал много вопросов няне и громко смеялся над одним из ответов; как он похлопал меня по плечу, поцеловал, сказал, чтобы я не боялась, что все это был сон и ничего больше и вреда от него не будет.

Но я не успокоилась, ибо знала, что визит странной женщины был не сном, и я ужасно боялась.

Немного утешило меня уверение горничной, что это она приходила в спальню и легла в кровать рядом со мной и что спросонья я не узнала ее лица. Однако и это не вполне удовлетворило меня, хотя слова горничной подтвердила няня.

Помню, как в тот же день в комнату вошел почтенный старый человек в черной сутане в сопровождении няни и экономки, немного поговорил с ними, потом со мной — очень ласково. Лицо у него было милое и доброе. Он сказал мне, что сейчас они будут молиться, соединил мои руки и попросил меня тихо повторять, пока они молятся: «Господи, внемли всем молящим за нас, во имя Господа нашего Иисуса». Думаю, слова были

именно такие, потому что я часто повторяла их про себя, а няня и годы спустя велела мне включать эти слова в мои молитвы.

Я очень хорошо помню задумчивое, ласковое лицо этого седовласого человека в черной сутане, помню, как он стоял в этой скромно отделанной коричневой комнате с высоким потолком, среди неуклюжей мебели в стиле, бывшем в моде триста лет назад; как скудный свет рассеивал сумрак, проникая через маленькое окно с частым переплетом. Священник преклонил колени, три женщины сделали то же, и он громко молился дрожащим голосом — как мне показалось, очень долго. Я позабыла всю мою жизнь, предшествовавшую этому событию, и некоторый период после него тоже смутен; но сцены, которые я только что описала, выступают из тьмы подобно живым фантасмагорическим картинкам.

Глава II Гостья

А теперь я собираюсь поведать о событиях столь необыкновенных, что лишь при полном доверии ко мне вы не примете эту историю за выдумку. Тем не менее они не только произошли в действительности, но я сама была их участницей.

Был чудесный летний вечер. Отец пригласил меня, как иногда делал и прежде, совершить вместе с ним небольшую прогулку вдоль опушки леса, по той красивой большой поляне перед замком, о которой я уже говорила.

— Генерал Шпильсдорф не сможет в ближайшие дни к нам приехать, — сказал отец во время прогулки.

Генерал собирался погостить у нас несколько недель, и мы ожидали его прибытия на следующий день. Он должен был привезти с собой молодую даму, свою племянницу и воспитанницу, мадемуазель Райнфельдт, которую я никогда не видела, но, по описаниям, представляла как весьма очаровательную девушку и надеялась провести в ее обществе много счастливых дней. Молодая дама, живущая в городе или в окружении многочисленных соседей, и представить себе не может, как я была разочарована. Этот визит и связанное с ним новое знакомство заполняли мои мысли и мечты уже много недель.

— А когда же он приедет? — спросила я.

— До осени не приедет. Не раньше чем через два месяца думаю, — ответил отец. — И я теперь очень рад, дорогая, что ты так и не познакомилась с мадемуазель Райнфельдт.

— Почему? — Я испытывала одновременно и разочарование и любопытство.

— Потому что молодая леди умерла. Я совсем забыл, что не сказал тебе об этом, но тебя не было в комнате, когда я вечером получил письмо от

генерала.

Я была потрясена. В своем первом письме, шесть или семь недель назад, генерал Шпильсдорф упоминал, что его племяннице нездоровится, но там не было даже отдаленного намека на такую опасность.

— Вот письмо генерала, — сказал отец, протягивая мне письмо. — Он не помнит себя от горя; похоже, им овладело отчаяние, когда он писал это письмо.

Мы уселись на грубо сделанную скамью под величественными липами. Солнце во всем своем меланхолическом великолепии садилось за лесом; река, которая течет мимо нашего дома в сторону упомянутого уже мной старого готического моста, в двух шагах от нас огибала одну за другой купы стройных деревьев, отражая в своем потоке постепенно блекнувшее малиновое небо. Письмо генерала Шпильсдорфа было таким необычным, страстным, местами противоречивым, что я прочла его дважды, во второй раз вслух для отца, и все еще не могла в нем разобраться; оставалось разве что предположить, что генерал от горя повредился рассудком.

В письме было сказано:

Я потерял мою дорогую дочь — я ведь был привязан к ней, как к дочери. В последние дни болезни моей дорогой Берты я был не в силах написать Вам. До этого мне и в голову не приходило, какая опасность ей грозит. Я ее потерял, а теперь мне известно все, но слишком поздно. Она умерла в невинной умиротворенности, в блаженной надежде на вечное спасение. Виной всему тот дьявол, который предательски воспользовался нашим легкомысленным гостеприимством. Я думал, что дал приют в своем доме невинности, веселью — душе, во всемподобной утраченной мной Берте. Боже! Как я был глуп! Благодарю Тебя за то, что дитя мое умерло, не ведая причины своих страданий. Она отошла в лучший мир, не имея ни малейшего представления ни о природе своей болезни, ни об отвратительных страстях, повлекших за собой все эти несчастья. Я посвящу остаток своих дней поискам этого чудовища, чтобы уничтожить его. Мне сказали, что можно надеяться на успех моего благого и праведного дела. Пока что я блуждаю в потемках. Проклинаю свое самодовольное неверие, свое презренное высокомерие, слепоту, упрямство — но поздно. Я не могу сейчас угисать или говорить яснее. Мысли путаются. Как только немного приду в себя, я какое-то время посвящу наведению справок; возможно, для этого мне даже придется отправиться в Вену. Как-нибудь осенью, месяца через два или раньше, если буду жив, наведаюсь к Вам, с Вашего разрешения; тогда и расскажу все то, что не

решаюсь сейчас доверить бумаге. Прощайте. Молитесь за меня, дорогой друг.

Такими словами заканчивалось это странное письмо. Хотя мне так ни разу и не пришлось увидеться с Бертой Райнфельдт, глаза мои наполнились слезами при этом неожиданном известии; я была и поражена и разочарована до глубины души.

Солнце уже село, и наступили сумерки, когда я вернула отцу письмо генерала.

Был мягкий ясный вечер, и мы медленно прогуливались, размышляя, что бы могли значить неистовые и отрывочные фразы, которые я только что читала. Нам предстояло одолеть еще почти милю, чтобы выбраться на дорогу, проходящую вдоль фасада замка. К тому времени уже ярко сияла луна. На подъемном мосту мы встретили мадам Перродон и мадемуазель де Лафонтен, которые с непокрытыми головами вышли полюбоваться чудесным лунным светом.

Приближаясь, мы слышали их оживленную беседу. Мы присоединились к ним на подъемном мосту и обернулись, чтобы тоже насладиться дивным зрелищем.

Поляна, по которой мы только что прогуливались, лежала перед нами. Слева узкая дорога, виясь, уходила под купы царственных дерев и терялась в лесной чаще. Справа та же дорога вела к живописному горбатому мосту, вблизи которого стояли руины башни, некогда охранявшей проход; за мостом на крутой возвышенности смутно виднелись в тени деревьев несколько серых, увитых плющом глыб.

На лугах расстилалась тонкая пелена тумана, похожая на дым, окутывая даль прозрачным покрывалом; в лунном свете кое-где мерцала река.

Более приятную, умиротворенную сцену невозможно себе представить. Новость, которую я только что услышала, придала меланхолический оттенок этому зрелищу; но ничто не могло нарушить его глубокую безмятежность, зачарованную красоту туманной панорамы.

Мы с отцом, ценителем красивых пейзажей, молча смотрели вдаль. Обе гувернантки стояли чуть позади, превозносили красоту сцены и упражнялись в красноречии по поводу лунного света.

Мадам Перродон была особа средних лет, полная, романтическая. Она и говорила и вздыхала на поэтический манер. Мадемуазель де Лафонтен (отец ее был немец, и потому она претендовала на познания в психологии, метафизике, отчасти в мистике) объявила, что такой интенсивный свет луны, как хорошо известно, указывает на особую духовную активность.

Яркий свет полной луны влияет на сны, на сумасшедших, на нервных людей и прочая, и прочая; луна оказывает удивительное, жизненно важное физиологическое воздействие. Мадемуазель рассказала, что ее кузен, служивший помощником капитана на торговом судне, однажды в такую же ночь задремал на палубе, лежа навзничь, обратив лицо к луне. Ему приснилось, что какая-то старуха вцепилась когтями ему в лицо. Пробудившись, он обнаружил, что лицо его самым ужасающим образом перекосилось; с тех пор его черты так и не обрели былой симметрии.

— Луна этой ночью исполнена одилической и магнетической сил, — сказала она, — взгляните назад, на фасад замка: как вспыхивают и мерцают серебром его окна, будто невидимая рука зажгла в комнатах огни в ожидании чудесных гостей.

Бывает такое праздное состояние души, когда не хочется говорить, но звук чужой речи приятен для нашего равнодушного слуха; и я вглядывалась в даль, с удовольствием прислушиваясь к беседе, напоминавшей позвякиванье колокольчиков.

— На меня нашла хандра этой ночью, — прервал паузу отец и процитировал Шекспира которого имел обыкновение читать вслух, чтобы не забывать английский:

Не знаю, отчего я так печален.

Мне это в тягость; вам, я слышу, тоже.

Но где я грусть поймал, нашел… [15]

Дальше забыл. У меня такое чувство, будто нам грозит какая-то большая беда. Думаю, это имеет отношение к горестному письму бедного генерала.

В тот же миг наше внимание привлекли непривычные звуки: шум колес экипажа и стук множества копыт.

Звуки, казалось, приближались со стороны возвышенности за мостом, и очень скоро оттуда появился экипаж. Сначала по мосту проехали двое всадников, за ними последовала карета, запряженная четверкой лошадей, а замыкали процессию еще двое верховых.

По виду это был дорожный экипаж, принадлежавший знатной особе, и наше внимание было немедленно поглощено примечательным зрелищем. А через несколько мгновений события приняли совсем неожиданный оборот. Как только экипаж пересек середину круглого моста, одна из передних лошадей испугалась. Паника передалась остальным; сделав пару рывков, вся четверка пустилась в бешеный галоп, пронеслась между двумя передними верховыми и загрохотала по дороге, приближаясь к нам со скоростью урагана.

Волнение, вызванное этой сценой, переросло в тревогу, когда мы отчетливо услышали протяжные женские крики, доносившиеся из окна экипажа.

Мы все бросились вперед, охваченные любопытством и ужасом, отец молча, остальные — издавая испуганные восклицания.

Напряженное ожидание продолжалось недолго. Перед подъемным мостом замка на пути экипажа стояла с одной стороны великолепная липа, а с другой — старинный каменный крест. При виде его лошади, летевшие во весь опор, свернули в сторону, так что колесо экипажа наткнулось на выступающие корни дерева.

Мне было ясно, что сейчас произойдет. Я закрыла глаза и отвернулась, не в силах вынести это зрелище, и в то же мгновение услышала крик своих старших приятельниц, которые все видели.

Любопытство заставило меня открыть глаза. На дороге царил полнейший хаос. Две лошади лежали на земле, два колеса вращались в воздухе; мужчины снимали постромки; внушительного вида дама выбралась из экипажа и стояла, ломая руки и время от времени поднося к глазам платок. Через дверцу экипажа извлекли тем временем молодую даму, не подававшую признаков жизни. Мой милый папа, со шляпой в руках, уже стоял рядом со старшей дамой, очевидно, предлагая ей воспользоваться всеми средствами, имевшимися в замке, для оказания помощи. Дама, казалось, не слышала его; она не спускала глаз со стройной девушки, которую уложили возле пригорка.

Я подошла. Молодая дама, очевидно, была оглушена, но, во всяком случае, жива. Мой отец, гордившийся своими медицинскими познаниями, ощупал запястье девушки и заверил старшую даму, объявившую себя ее матерью, что пульс, пусть слабый и неровный, все же четко различим. Дама сложила руки и обратила глаза вверх, как будто благодаря Небеса, но тут же снова принялась разыгрывать сцену скорби. Некоторым людям, думаю, свойственна такая театральность.

Это была, что называется, интересная для своего возраста женщина; прежде она, должно быть, считалась красавицей. Роста она была высокого, но не худа, одета в черный бархат, довольно бледна, но с гордым и внушительным, хотя и необычайно взволнованным сейчас лицом.

— Когда же придет конец моим несчастьям и горестям? — стенала она, когда я приблизилась. — Поездка моя — это дело жизни или смерти, один час промедления все погубит. Кто знает, скоро ли мое дитя придет в себя и сможет продолжать путешествие. Придется покинуть ее; я не могу, не смею медлить. Не скажете ли, где находится ближайшая деревня?

Придется оставить дочь там; вернусь я через три месяца, а до того мне не удастся ни повидать мою дорогую девочку, ни даже получить от нее весточки.

Я потянула отца за рукав и горячо зашептала ему на ухо: «Папа, пожалуйста, попроси оставить ее у нас — это будет чудесно. Ну пожалуйста».

— Если мадам доверит свое дитя заботам моей дочери и ее верной гувернантки, мадам Перродон, и разрешит ей эти три месяца погостить у нас, на моем попечении, она окажет нам этим великую честь. А мы уж приложим все усилия, чтобы сберечь доверенное нам сокровище.

— Я не могу этого сделать, сударь, это значило бы безбожно злоупотребить вашей добротой и любезностью, — отвечала дама смущенно.

— Напротив, вы бы оказали нам величайшую любезность в ту минуту, когда мы особенно в этом нуждаемся. Моя дочь только что претерпела жестокое разочарование из-за несостоявшегося визита, которого она долго ждала и который предвкушала с большой радостью. Если вы доверите молодую леди нашему попечению, это как нельзя лучше утешит мою дочь. Ближайшая деревня на вашем пути расположена далеко, и там нет такой гостиницы, где вы могли бы поместить свое дитя. Поездка же на большое расстояние для нее опасна. Если, как вы говорите, дела ваши не терпят отлагательств, придется вам расстаться с дочерью здесь, и, можете мне поверить, мы о ней позаботимся лучше, чем кто бы то ни было.

В осанке и внешности дамы сквозило нечто столь неординарное, впечатляющее, а манеры ее были столь примечательны, что, даже не видя пышности ее свиты, можно было предположить в ней важную особу.

К этому моменту экипаж был уже поднят, а лошади, вполне усмиренные, опять запряжены.

Дама бросила на свою дочь взгляд, который мне показался не таким любящим, как можно было ожидать, судя по предыдущей сцене; потом она подала знак моему отцу и удалилась вместе с ним на несколько шагов, так что разговор их стал недосягаем для слуха. Лицо дамы сделалось сосредоточенным и суровым, совсем не таким, как раньше.

Я была поражена тем, что отец, казалось, не заметил этой перемены, и сгорала от любопытства: что же она нашептывала отцу почти в самое ухо с такой серьезностью и поспешностью?

На разговор дама потратила минуты две, самое большее три, потом повернулась и, пройдя несколько шагов, оказалась рядом со своей дочерью, которую поддерживала мадам Перродон. На мгновение она опустилась на

колени подле дочери и зашептала ей что-то на ухо. Мадам предположила, что это было краткое благословение. Потом, быстро поцеловав девушку, вошла в экипаж, дверца закрылась, лакеи в пышных ливреях вскочили на запятки, верховые пришпорили лошадей, форейторы щелкнули хлыстами, лошади с места в карьер ударились в галоп, угрожая снова понести, и экипаж полетел прочь, сопровождаемый двумя верховыми, замыкавшими кавалькаду.

Глава III Мы сравниваем наши впечатления

Мы провожали глазами кортеж, пока он не скрылся из виду в туманном лесу, вслед за чем замерли в ночном воздухе стук копыт и грохот колес.

Пережитое приключение можно было бы счесть галлюцинацией, если бы не присутствие молодой дамы, которая как раз открыла глаза. Лицо ее было обращено в другую сторону. Я видела только, как она подняла голову, осматриваясь, и услышала мелодичный голос, жалобно произнесший:

— Мама, где ты?

Наша добрая мадам Перродон откликнулась несколькими ласковыми фразами, стараясь успокоить ее.

Потом незнакомка спросила:

— Где я? Что это за место? — И добавила: — Я не вижу экипажа. А матушка, где она?

Мадам отвечала на все ее вопросы, какие только расслышала, и постепенно молодая дама припомнила, как произошел несчастный случай, и обрадовалась, услышав, что никто не пострадал. Узнав, что мама оставила ее здесь и обещала вернуться месяца через три, она заплакала.

Я собиралась присоединиться к мадам Перродон, утешавшей незнакомку, но мадемуазель де Лафонтен, удержав меня за руку, сказала:

— Не подходите; одного собеседника ей сейчас более чем достаточно. При таких обстоятельствах малейшее возбуждение может пойти во вред.

Я подумала: «Как только ее благополучно уложат в постель, я непременно поднимусь в ее комнату».

Тем временем отец послал слугу на лошади за врачом (тот жил в двух лигах отсюда), а для молодой дамы готовили спальню.

Наконец незнакомка встала и, опираясь на руку мадам, медленно прошла по подъемному мосту к воротам замка.

Слуги уже ожидали в холле и тут же проводили девушку в ее комнату.

В качестве гостиной мы обычно использовали продолговатую комнату с четырьмя окнами, смотрящими на ров, подъемный мост и тот лесной пейзаж, который я только что описала.

Обставлена она старинной дубовой мебелью с большими резными шкафами-горками и стульями, обитыми малиновым утрехтским бархатом. Стены увешаны гобеленами. На них, заключенные в широкие золотые рамы, красуются человеческие фигуры в натуральный рост, в старинных, очень любопытных одеяниях. Представленные здесь персонажи охотятся с соколом, просто охотятся и вообще развлекаются. Комната очень уютная, не слишком официальная. Здесь мы пили чай, так как мой отец, склонный при каждом удобном случае проявлять патриотизм, настаивал на том, чтобы этот национальный напиток регулярно появлялся на столе наряду с кофе и шоколадом.

Той ночью мы сидели здесь при свечах и обсуждали вечерние происшествия.

Мадам Перродон и мадемуазель де Лафонтен присутствовали тоже. Молодая незнакомка погрузилась в глубокий сон, как только ее уложили в кровать, и обе дамы поручили ее заботам слуг.

— Как вам понравилась наша гостья? — спросила я, едва мадам вошла в комнату. — Расскажите мне о ней все.

— Я от нее в восторге, — ответила мадам. — Она, думаю, самое прелестное создание, какое я когда-либо видела; примерно вашего возраста и такая кроткая и милая.

— Она настоящая красавица, — вступила в разговор мадемуазель, которая успела на минутку заглянуть в комнату незнакомки.

— А голосок какой приятный! — добавила мадам Перродон.

— А вы заметили, когда экипаж подняли, что там была женщина, осведомилась мадемуазель, — которая не выходила наружу, только выглядывала в окно?

— Нет, мы ее не видели.

Тогда мадемуазель описала ее: отвратительная черная женщина, на голове что-то вроде цветного тюрбана. Она все время таращилась из окна экипажа, ухмыляясь и кивая в сторону обеих дам. Глаза горящие, с огромными яркими белками, зубы оскалены, будто в приступе ярости.

— А вы заметили, что за безобразный сброд эти их слуги? — спросила мадам.

— Да, — сказал отец, только что вошедший в комнату, — вид у них разбойный, в жизни не видел никого уродливей. Надеюсь, они не ограбят бедную леди в лесу. Но, правда, в ловкости этим негодникам не откажешь: вмиг все привели в порядок.

— Я бы сказала, что их утомило слишком долгое путешествие, — предположила мадам. — Вид у них неприглядный, это верно, но, кроме

того, удивительно исхудавшие и хмурые лица. Честно говоря, я сгораю от любопытства; но, вероятно, молодая леди обо всем нам завтра расскажет, если будет хорошо себя чувствовать.

— Не думаю, — произнес отец, таинственно улыбаясь и покачивая головой, будто что-то скрывал от нас.

Это еще более подстегнуло мое любопытство. Очень уж мне хотелось узнать, что произошло между ним и дамой в черном бархате во время краткого, но серьезного разговора непосредственно перед ее отъездом.

Как только мы остались одни, я пустились в расспросы. Долго уговаривать отца не пришлось.

— Не вижу особых причин от тебя это скрывать. Она говорила, что ей неловко обременять нас заботами о своей дочери; сказала, что ее дочь — девушка хрупкого здоровья, нервозная, но никакого рода припадкам не подвержена, равно как и галлюцинациям, и что она, в сущности, вполне нормальный человек. Заметь, кстати, что я никаких вопросов не задавал.

— Странно, к чему были эти оговорки? — вмешалась я. Не вижу в них необходимости.

— Во всяком случае, это было сказано, — усмехнулся отец, — а раз ты хочешь знать все, что произошло, а не произошло почти ничего, то я не опускаю никаких подробностей. Потом моя собеседница добавила: «Я предприняла далекую поездку, жизненно важную для меня, — здесь она сделала ударение, — срочную и секретную; вернуться за дочерью мне удастся не ранее чем через три месяца. Все это время она будет хранить молчание о том, кто мы такие, откуда приехали и куда направляемся». Вот и все, что я узнал. Мать нашей гостьи очень чисто говорит по-французски. При слове «секретная» она помолчала несколько секунд, глядя мне в глаза пристально и сурово. Думаю, она придает этому большое значение. Уехала она чрезвычайно поспешно, это ты сама видела. Надеюсь, я не сделал слишком большой глупости, взяв на себя заботу об этой молодой леди.

Что касается меня, то я была в восторге. Я изнывала от нетерпения, ожидая, когда доктор наконец позволит мне увидеться и поговорить с гостьей. Вы, городские жители, даже представить себе не можете, что означает для нас, в нашей глуши, появление новых друзей.

Доктора пришлось ждать почти до часу, но уйти и лечь в постель мне было бы не легче, чем догнать пешком экипаж, уносивший княгиню в черном бархате.

Когда врач спустился в гостиную, мы услышали очень хорошие новости о состоянии пациентки. Она уже сидела, пульс стал ровным.

По всей видимости, здоровье ее было в полном порядке. Она не

получила никакого увечья, небольшой шок прошел, не оставив следа. Мой визит, без сомнения, не нанесет ей вреда, если мы обе захотим встретиться. Получив разрешение, я тотчас послала узнать, позволит ли мне наша гостья зайти на несколько минут в ее комнату.

Служанка немедленно вернулась с ответом, что та желает этого больше всего на свете.

Можете быть уверены, что я не замедлила воспользоваться разрешением.

Гостью поместили в одну из самых красивых комнат нашего замка, разве что не в меру величественную. На стене напротив кровати висел мрачный гобелен, изображавший Клеопатру со змеей на груди, на остальных стенах были представлены другие торжественные классические сцены. Мрачность старинных гобеленов, немного поблекших, искупалась богатой позолоченной резьбой и пышностью прочей отделки.

Горели свечи. Незнакомка сидела в кровати; на ее стройную красивую фигуру был наброшен тот самый подбитый шелком халат, расшитый цветами, которым мать прикрыла девушке ноги, когда бедняжка лежала на земле.

Что же заставило меня, когда я приблизилась к гостье с небольшой приветственной речью, мгновенно замолкнуть и отпрянуть на несколько шагов? Сейчас расскажу.

Передо мной было то самое лицо, которое я видела в детстве в столь памятную мне ночь, лицо, о котором я многие годы так часто размышляла с ужасом, когда никто не догадывался, о чем я думаю.

Лицо это, миловидное, даже красивое, в первый миг, когда я его увидела, несло на себе все тот же отпечаток меланхолии.

Но почти мгновенно на нем вспыхнула странная, подчеркнутая улыбка узнавания.

Не меньше минуты длилось молчание, и она наконец заговорила — я не смогла.

— Поразительно! — воскликнула гостья. — Двенадцать лет назад я видела ваше лицо во сне, и с тех пор оно постоянно меня преследует.

— В самом деле поразительно! — повторила я, с усилием подавляя ужас, на несколько секунд сковавший мне язык. — Двенадцать лет назад, в видении или наяву, я, без сомнения, вас видела. С тех пор я не забывала ваше лицо. Оно все время стояло у меня перед глазами.

Ее улыбка смягчилась. То, что представилось мне в ней странным, исчезло, а ямочки на щеках теперь показались восхитительными.

Я пришла в себя и, вспомнив о законах гостеприимства,

приветствовала гостью и описала то удовольствие, которое доставил ее нечаянный визит нам всем, в особенности мне.

Произнеся эти слова, я взяла ее за руку. Я была немного застенчива, как и все одинокие люди, но обстоятельства придали мне красноречия и даже смелости. Гостья пожала мою руку и накрыла ее своей. Глаза ее горели. Она быстро взглянула мне в лицо, снова улыбнулась и покраснела.

Она очень мило ответила на мое приветствие. Я села рядом с ней, не переставая удивляться, и она сказала:

— Послушайте, я вам поведаю о том, что мне тогда привиделось; это просто чудо, что обе мы видели друг друга во сне живо, будто в реальности, и такими, какие мы сейчас, — хотя тогда, разумеется, обе были детьми. Мне было лет шесть. Я проснулась после какого-то спутанного, тревожного сна и оказалась в комнате, непохожей на мою детскую. Стены ее были обшиты грубой работы панелями из какого-то темного дерева, вдоль стен — шкафы, кровати, стулья, скамьи. Мне показалось, что кровати пустые и, кроме меня, в комнате никого нет; осмотревшись вокруг и особенно залюбовавшись железным подсвечником с двумя ветвями — который я, без сомнения, узнала бы, доведись мне снова его увидеть, — я стала пролезать под одной из кроватей, чтобы добраться до окна, но, когда поднималась, услышала чей-то плач. Взглянув вверх (я еще не встала с колен), я увидела вас — без малейшего сомнения, — как вижу сейчас: красивая молодая дама с золотистыми волосами и большими голубыми глазами, а губы… ваши губы… Это были вы, в точности как сейчас. Вы мне понравились; я вскарабкалась на постель и обняла вас; кажется, мы обе уснули. Меня разбудил крик: вы сидели в кровати и кричали. От испуга я соскользнула на пол и — так мне почудилось — на мгновение потеряла сознание. Придя в себя, я снова оказалась дома, в своей детской. С тех пор мне и запомнилось ваше лицо. Я не могла ошибиться, это не простое сходство. Именно вы — та дама, которую я тогда видела.

Настала моя очередь рассказать о своем видении, что я и сделала, поразив мою новую знакомую до глубины души.

— Не знаю, кто кого должен больше бояться, — произнесла она, снова улыбаясь. — Не будь вы так прелестны, я бы вас очень боялась, а теперь, тем более поскольку мы обе такие молодые, я чувствую только, что мы с вами познакомились двенадцать лет назад и уже подружились; во всяком случае, с самого раннего детства судьба назначила нам быть подругами. Не знаю, испытываете ли вы ко мне такое же странное притяжение, как я к вам; у меня никогда не было подруги — неужели я найду ее теперь? — Она вздохнула, устремив на меня страстный взгляд своих красивых темных

глаз.

По правде говоря, я испытывала странное чувство по отношению к прекрасной незнакомке. Я чувствовала, говоря ее словами, «притяжение» к ней, но и отталкивание тоже. И все же притяжение резко преобладало. Она интересовала меня и покоряла: она была так красива и так необыкновенно обаятельна.

Я заметила теперь, что гостьей как будто овладевают усталость и апатия, и поспешила пожелать ей доброй ночи.

— Доктор считает, — добавила я, — что вам на эту ночь нужен присмотр. Одна из наших горничных будет ночевать в вашей комнате. Вы увидите: это очень толковая и спокойная девушка.

— Это так любезно с вашей стороны, но я не засну: я никогда не могла спать в присутствии посторонних. Мне не понадобится никакая помощь, и, признаюсь в своей слабости, меня преследует страх перед грабителями. Наш дом однажды ограбили и убили двух слуг, так что я всегда запираюсь на ключ. Это стало привычкой. Вы так любезны — знаю, вы меня простите. Я вижу, в двери есть ключ. — Она на мгновение обняла меня своими прелестными руками и прошептала на ухо: — Спокойной ночи, дорогая; мне очень жаль с тобой расставаться, но — спокойной ночи; завтра утром, но не слишком рано, мы снова увидимся.

Гостья со вздохом откинулась на подушку; ее красивые глаза следили за мной нежно и меланхолично. Она снова пробормотала: «Спокойной ночи, моя радость».

В молодых людях симпатия и даже более сильные чувства вспыхивают мгновенно. Мне льстила ее очевидная любовь ко мне, ничем пока не заслуженная, нравилось то, как она мгновенно прониклась ко мне доверием. Она решительно намеревалась стать моей очень близкой подругой.

Наступил следующий день, и мы встретились снова. Я была во многих отношениях в восторге от своей новой приятельницы.

При свете дня ее внешность ничуть не проигрывала — она была, несомненно, самым красивым созданьем, какое я когда-либо встречала, а неприятное воспоминание о лице, виденном в детском сне, уже потеряло эффект неожиданности.

Она призналась, что испытала подобный же шок, увидев меня, и точно такую же легкую антипатию, какая примешивалась к моему восхищению ею. Теперь мы вместе посмеялись над нашим мимолетным испугом.

Глава IV Ее привычки. Прогулка

Я уже говорила вам, что меня очаровывало в ней почти все. Но не

совсем все.

Она была выше среднего роста. Вначале я опишу ее. Она была стройна и удивительно грациозна. За исключением вялости — крайней вялости — движений, ничто в ее облике не указывало на болезненность. Прекрасный цвет лица; черты мелкие и изящные; глаза большие, темные и блестящие; волосы совершенно удивительные. Ни у кого мне не случалось видеть таких густых и длинных волос, как у нее. Я любовалась ими, когда они были распущены; нередко погружала в них руку, приподнимала и смеялась, удивляясь их весу. Они были изысканно красивы: мягкие, глубокого темно-каштанового цвета, с золотым отливом. Мне нравилось, как они ниспадали в беспорядке под собственной тяжестью, когда она сидела, откинувшись на спинку стула, в своей комнате и что-нибудь рассказывала мелодичным, низким голосом. Я сворачивала их, заплетала и расплетала, играла ими. Боже! Если бы я только знала!

Я уже говорила, что кое-что в ней мне не нравилось. В первую ночь нашего знакомства меня покорило ее доверие, но, как выяснилось, в том, что касалось ее самой, ее матери, обстоятельств, приведших ее сюда, собственно во всем, что имело отношение к ее жизни, планам и близким людям, она неизменно оставалась настороженно-скрытной. Наверное, я была неразумна, возможно, не права, и, разумеется, мне следовало уважать обязательства, наложенные на моего отца дамой в черном бархате. Но любопытство — неугомонное и бесцеремонное чувство, и ни одна девушка не станет терпеть, если от нее что-то скрывают. Ну кому будет хуже, если я узнаю то, что так страстно жажду знать? Неужели она сомневается в моих благоразумии и честности? Почему она не верит, когда я клянусь так торжественно, что ни одному смертному ни единым словом не обмолвлюсь о ее тайне?

В ее улыбчивом, меланхоличном, упорном отказе просветить меня хоть чуть-чуть мне виделась не свойственная ее возрасту холодность.

Не скажу, что мы из-за этого ссорились; она никогда со мной не ссорилась. Конечно, было очень дурно и невоспитанно с моей стороны так настойчиво ее расспрашивать, но я не могла с собой совладать; кроме того, я с тем же успехом могла бы и не упорствовать.

То, что она мне рассказала, было ничем по сравнению с моими неумеренными ожиданиями.

Все это можно свести к трем весьма общим фразам: ее звали Кармилла; она из очень древней и благородной семьи; ее дом находится к западу отсюда.

Она ни слова мне не сказала ни о том, как именовался их род, ни об их

фамильном гербе и девизе, ни о названии их владений, ни даже о том, из какой они страны.

Не следует думать, что я беспрерывно осаждала ее вопросами. Я подстерегала удобный момент и проявляла больше вкрадчивости, чем настойчивости. Раз или два, впрочем, я предпринимала прямую атаку. Но, вне зависимости от выбранной тактики, меня неизменно ждало поражение. Упреки и ласки были бесполезны. Должна добавить при этом: она уклонялась от моих вопросов так мило, так грустно умоляла меня, стараясь отвратить мое любопытство, сопровождала это таким потоком страстных заверений в любви ко мне и убежденности в моем благородстве и такими многочисленными обещаниями в конце концов раскрыть все тайны, что у меня не хватало духу долго на нее обижаться.

Она обхватывала своими прелестными руками мою голову, привлекала меня к себе и, прижавшись щекой к моей щеке, шептала мне в самое ухо: «Любовь моя, твое сердечко ранено; не считай меня жестокой: я подчиняюсь необоримому закону своей силы и слабости; если твое сердечко ранено, мое неистовое сердце кровоточит вместе с твоим. В восторге безграничного самоуничижения я живу в твоей жаркой жизни, а ты должна умереть — блаженно умереть — в моей. Против этого я бессильна; как я прихожу к тебе, так и ты в свой черед придешь к другим и познаешь восторг той жестокости, которая есть не что иное, как любовь. Потому до времени не стремись узнать больше, чем знаешь сейчас, но доверься мне всей своей любящей душой».

Когда поток слов иссякал, она, трепеща, еще теснее прижимала меня к себе, а ее теплые губы осторожно покрывали нежными поцелуями мою щеку.

Ее возбуждение и страстные речи были мне непонятны.

В таких случаях — бывало это, надо сказать, не очень часто — мне хотелось освободиться из этих нелепых объятий; но силы, казалось, оставляли меня. Ее бормотание звучало как колыбельная, я переставала сопротивляться и впадала в оцепенение. Лишь после того как она разжимала объятия, я приходила в себя.

Когда на нее находил этот стих, она мне не нравилась. Я испытывала странное, лихорадочное волнение, иногда приятное, вместе со смутным страхом и гадливостью. Пока длились эти сцены, у меня не было ясных мыслей, но любовь к ней, переходившая в обожание, уживалась во мне с отвращением. Это парадоксально, знаю, но не буду и пытаться как-то по-иному объяснить свои чувства.

Сейчас, когда с тех пор прошло уже более десяти лет, я пишу эти

строки дрожащей рукой, неуверенно, с ужасом припоминая некоторые происшествия и ситуации, относившиеся к тому тяжкому испытанию, через которое я, сама того не ведая, проходила; хотя основной порядок событий запечатлелся у меня в уме достаточно живо и четко. Но, подозреваю, в жизни всегда бывают некоторые эмоциональные сцены, сопровождающиеся необузданным, диким возбуждением наших чувств, которые вспоминаются потом очень неясно и расплывчато.

Иногда, после часа апатии, моя странная и красивая приятельница брала мою руку и снова и снова нежно пожимала ее, слегка зардевшись, устремляла на меня томный и горящий взгляд и дышала так часто, что ее платье вздымалось и опадало в такт бурному дыханию. Это походило на пыл влюбленного; это приводило меня в смущение; это было отвратительно, и все же этому невозможно было противиться. Пожирая меня глазами, она привлекала меня к себе, и ее жаркие губы блуждали по моей щеке. Она шептала, почти рыдая:

— Ты моя, ты должна быть моей, мы слились навеки.

Доведя меня до нервной дрожи, она откидывалась на спинку стула и прикрывала глаза своими миниатюрными ладонями.

— Разве мы родня? — спрашивала я. — Что это все значит? Может быть, я напоминаю тебе кого-то, кто тебе дорог? Но не нужно так делать, я этого не люблю. Я не понимаю тебя, я самое себя не понимаю, когда ты так смотришь и так говоришь.

Она вздыхала в ответ на мою горячность, потом отворачивалась и роняла мою руку.

Я тщетно пыталась выдумать какую-нибудь приемлемую теорию, объясняющую эти весьма необычные вспышки чувств. Это не было ни аффектацией, ни притворством. Несомненно, это было внезапное проявление подавленных инстинктов и эмоций. Может быть, что бы ни говорила ее мать, Кармилла была подвержена кратким припадкам умопомешательства? Или за всем этим крылась какая-то романтическая тайна? Я читала о таком в старинных книгах. Что, если какой-нибудь воздыхатель прибег к маскараду, чтобы пробраться в дом с помощью умной бывалой авантюристки? Но многое говорило против этого предположения, столь лестного для моего тщеславия.

Я не могла похвалиться ни малейшим знаком внимания, походившим на мужское восхищенное преклонение. Минуты страсти перемежались длинными интервалами обыденности, веселости, задумчивой меланхолии, во время которых — если не считать того, что иногда, как я замечала, глаза Кармиллы, полные меланхолического огня, следили за мной, — я, бывало,

почти ничего для нее не значила. За исключением очень коротких периодов загадочного возбуждения, она вела себя как обычная девушка, и в ней всегда присутствовала вялость, совершенно несовместимая с манерой держаться, свойственной мужчине в полном здравии.

У Кармиллы имелись некоторые странные привычки. Возможно, городской жительнице они не покажутся столь необычными, как нам, деревенским людям. Она спускалась в гостиную очень поздно, обычно не раньше часа, выпивала чашку шоколада, но ничего не ела, потом мы отправлялись на прогулку. Она почти сразу же уставала и либо возвращалась в замок, либо усаживалась на одну из скамеек, которые и там и тут были поставлены среди деревьев. Это была телесная слабость, ум ее не разделял. Моя подруга всегда охотно заводила беседу и говорила очень живо и умно.

Временами она мимоходом упоминала свой родной дом или какое-нибудь приключение, сценку, детское воспоминание, описывая при этом странных людей и обычаи, о каких нам никогда и слышать не приходилось. Из этих случайных намеков я заключила, что ее родные места находятся значительно дальше отсюда, чем мне думалось вначале.

Когда мы однажды днем сидели так под деревьями, мимо нас прошла похоронная процессия. Хоронили прелестную молодую девушку, которую я часто встречала, дочь одного из лесничих. Бедняга шел за гробом своей любимой дочери; она была единственным ребенком, и нельзя было не заметить, что отец совершенно убит горем. Крестьяне шли за ним парами и пели похоронный гимн.

Когда они поравнялись с нами, я встала, чтобы почтить процессию, и присоединилась к мелодичному пению.

Моя спутница довольно бесцеремонно тряхнула меня, и я с удивлением обернулась.

Она сказала резко:

— Ты что, не слышишь, как это фальшиво?

— Напротив, очень мелодично, — ответила я, раздраженная ее вмешательством. Я боялась, что участники этой маленькой процессии заметят происходящее и будут обижены. Поэтому я сразу возобновила пение, но вновь была вынуждена смолкнуть.

— У меня сейчас уши лопнут, — фыркнула Кармилла со злостью и заткнула уши своими маленькими пальчиками. — Кроме того, нечего говорить, что у нас одна вера; эти ваши церемонии приводят меня в ужас, и я ненавижу похороны. Пустая суета! Люди должны умирать, каждый умрет — и от этого станет только счастливее. Пойдем домой.

— Отец ушел со священником на кладбище. Я думала, ты знаешь, что ее хоронят сегодня.

— Ее? Я не знаю, кого это — ее, мне нет дела до крестьян, — отозвалась Кармилла, сверкнув своими красивыми глазами.

— Это бедная девушка, которой две недели назад почудился призрак, и с тех пор она уже не вставала. Вчера она умерла.

— Не говори мне о привидениях, а то я не смогу заснуть сегодня.

— Надеюсь, это не чума и не лихорадка; очень на то похоже, — продолжала я. — Всего лишь неделю назад умерла молодая жена свинопаса. Она рассказывала, что кто-то схватил ее за горло, когда она лежала в постели, и чуть не задушил. Папа говорит, что такие жуткие фантазии сопровождают некоторые формы лихорадки. За день до этого она была совершенно здорова. А тут стала чахнуть и умерла, не проболев и недели.

— Ну ладно, ее похороны, я надеюсь, позади, и ее гимн спет, и эта разноголосая тарабарщина не будет больше раздирать нам уши. Она меня вывела из себя. Сядь здесь, рядом со мной… ближе; возьми мою руку, сожми ее… крепче… крепче…

Мы прошли несколько шагов назад, к другой скамейке.

Кармилла села. В ее лице произошла перемена, которая встревожила и даже на мгновение испугала меня. Оно помрачнело и стало мертвенно-бледным. Зубы Кармиллы были стиснуты, руки тоже, она хмурила брови и поджимала губы. Глядя вниз, в землю, она принялась неудержимо лихорадочно дрожать. Она, казалось, напрягала все свои силы, чтобы подавить истерический припадок, отчаянно борясь с ним; наконец у Кармиллы вырвался низкий конвульсивный крик страдания, и постепенно она пришла в себя.

— Ну вот! Все из-за этих мучителей с их гимнами! — сказала Кармилла наконец, — Держи меня, не отпускай. Уже проходит.

И в самом деле припадок постепенно проходил; и, возможно, чтобы рассеять мрачное впечатление, которое на меня произвело это зрелище, она принялась необычайно оживленно болтать: так мы и вернулись домой.

Никогда до этого случая я не замечала у Кармиллы сколько-нибудь явственных признаков той хрупкости здоровья, о которой говорила ее мать. И ничего похожего на раздражение она тоже до сих пор ни разу не выказывала.

И то и другое рассеялось как летнее облачко, и с тех пор только один раз я была свидетельницей мимолетного проявления ее гнева. Вот как это случилось.

Однажды, глядя в окно гостиной, мы увидели на подъемном мосту, а затем и во дворе замка одного хорошо мне знакомого странствующего артиста и шарлатана. Он посещал наш замок обычно два раза в год.

Это был горбун с худыми, резкими чертами лица, обычно сопутствующими телесной ущербности. Он носил острую черную бородку и широко, до самых ушей, улыбался, показывая белые клыки. Одет он был в желтое, черное и алое, перепоясан несчетным множеством ремней и ремешков, на которых болталась всякая всячина. За спиной он нес магический фонарь и два ящика: в одном из них, как мне было хорошо известно, помещалась саламандра, а в другом — мандрагора. Эти монстры очень потешали моего отца. Они были составлены из частей обезьян, попугаев, белок, рыб и ежей, высушенных и сшитых воедино с большим искусством, неизменно потрясавшим зрителей. При госте были скрипка, коробка с приспособлениями для фокусов, пара рапир и маски, прицепленные к поясу. Свисали с него еще и прочие загадочные предметы, а в руках он держал черный посох с медными ободками. Косматая поджарая собака, спутник горбуна, следовала за ним по пятам; внезапно, почуяв что-то подозрительное, она остановилась на подъемном мосту и душераздирающе завыла.

Тем временем бродячий артист, стоя посреди двора, приподнял свою причудливую шляпу и отвесил весьма церемонный поклон, рассыпая обильные любезности на отвратительном французском и почти столь же ужасном немецком. Потом он отцепил свою скрипку, начал пиликать веселую мелодию, запел под нее, забавно фальшивя, и принялся с нелепой важностью проворно приплясывать. Это заставило меня рассмеяться, несмотря на завывания собаки.

Затем он приблизился к окну с многократными улыбками и приветствиями, держа шляпу в левой руке, а скрипку — под мышкой, и в плавной безостановочной речи стал пространно прославлять свои таланты, богатые возможности различных искусств, которые он готов поставить нам на службу, любопытные и занимательные предметы, которые продемонстрирует по первому требованию.

— Не пожелают ли ваши милости приобрести амулет против упыря, что, подобно волку, рыщет, сказывают, по здешним лесам? — проговорил горбун, роняя свою шляпу на камни. — Народ мрет от него направо и налево. А вот амулет — он никогда не подведет. Пришпильте только его к подушке — и можете смеяться упырю прямо в лицо.

Амулет этот состоял из узких длинных полосок пергамента с нанесенными на них каббалистическими знаками и чертежами.

Кармилла тотчас же купила амулет; я последовала ее примеру.

Горбун смотрел на нас снизу, мы улыбались, глядя на него сверху. Нам было весело, по крайней мере мне. Тут мне показалось, что его пронзительные черные глаза, когда он глядел вверх на наши лица, обнаружили что-то любопытное.

Вмиг он развернул кожаный футляр, заполненный всевозможными причудливыми инструментиками из стали.

— Извольте взглянуть, ваша милость, — обратился он ко мне, показывая на инструменты. — Я практикую наряду с другими полезными искусствами благородное ремесло дантиста. Черт побери эту собаку! — вставил горбун. — Заткнись, скотина! Она воет так, что милостивой госпоже ни слова не слышно. У вашей высокородной подруги, молодой госпожи справа от вас, острейшие зубки — длинные, тонкие, заостренные как шило, как иглы — ха-ха! Мне это хорошо видно отсюда, снизу, — глаза у меня зоркие. Может статься, эти зубки поранят молодую госпожу, а думаю, так и будет — и вот он я, и все, что нужно, при мне — напильник, шило, щипцы. Я их сделаю гладкими и плоскими, если ее милость пожелает, не как у рыбы, а как пристало такой красивой молодой госпоже. Что? Молодая госпожа сердится? Я был чересчур дерзок? Я оскорбил ее?

Молодая госпожа действительно выглядела очень рассерженной, когда отошла от окна.

— Как осмелился этот паяц так оскорбить нас? Где твой отец? Я потребую, чтобы он наказал наглеца. Мой отец приказал бы привязать негодяя к помпе, и выпороть хлыстом, и выжечь клеймо, да так, чтоб до костей прожгло!

Кармилла отошла на шаг-другой от окна и села. Стоило ей потерять из виду своего обидчика, как ее гнев угас так же внезапно, как вспыхнул, и к ней постепенно вернулось ее обычное настроение. Маленький горбун и его глупые выходки были забыты.

Мой отец в тот вечер был расстроен. Придя домой, он рассказал нам, что произошло еще одно несчастье, подобное двум недавним. Сестра одного молодого крестьянина из нашего имения, в миле отсюда, тяжело заболела. Произошло это, по ее словам, после нападения, похожего на предыдущие, и теперь девушка медленно, но верно угасала.

— Все это, — добавил отец, — имеет вполне естественное объяснение. Несчастные заражают друг друга своими суевериями и таким образом воссоздают в своем воображении те страшные картины, о которых рассказывали соседи.

— Именно это меня больше всего и пугает, — заметила Кармилла.

— Почему же?

— Я очень боюсь, как бы мне не почудилось что-нибудь жуткое; думаю, плод воображения ничуть не лучше реальности.

— Мы в деснице Божьей; без Его соизволения ничего не бывает, и кто любит Его, тот всегда будет спасен. Он наше прибежище, наш Создатель — и Он позаботится о своем творении.

— Какой создатель! Природа! — возразила молодая дама моему милому отцу. — А эта болезнь, которая свирепствует в округе, тоже от природы. Природа… Все происходит от природы. Все, что есть и в небесах, и на земле, и под землей, живет и действует по законам природы. Так я считаю.

— Доктор обещал прийти сегодня, — сказал отец, помолчав. — Хотелось бы знать, что он обо всем этом думает и что, по его мнению, следует делать.

— Доктора мне ничем не помогли, — произнесла Кармилла.

— А ты была больна? — спросила я.

— Так больна, как тебе и не снилось.

— Давно?

— Да, давно. У меня была та же самая болезнь; но я все позабыла, кроме боли и слабости, и не так уж это и мучительно — другие болезни хуже.

— И ты тогда была очень молода?

— Разумеется. Не будем больше говорить об этом. Ты ведь не хочешь причинить боль своей подруге? — Кармилла томно взглянула мне в глаза, любовно обняла меня за талию и увела из комнаты.

Отец читал у окна какие-то бумаги.

— Почему твоему папе нравится нас пугать? — спросила моя очаровательная подруга со вздохом, слегка вздрагивая.

— Да нет же, дорогая Кармилла, у него и в мыслях этого не было.

— Ты боишься, дорогая?

— Я очень боялась бы, если бы думала, что есть реальная угроза такого же нападения, как было с этими несчастными.

— Ты боишься умереть?

— Да, все боятся.

— Но умереть как влюбленные — умереть вместе, чтобы вместе жить… Девушки — это гусеницы, которые живут в этом мире, чтобы в конце концов стать бабочками, когда придет лето; но в промежутке они бывают личинками и куколками, знаешь ли — каждая форма с присущими ей особенностями, потребностями и строением. Так утверждает месье

Бюффон в своей большой книге, которая стоит в соседней комнате.

Позже пришел доктор и на некоторое время уединился с папой. Это был очень искусный врач; лет ему было за шестьдесят. Доктор пудрил волосы, а свое бледное лицо выбривал так гладко, что оно походило на тыкву. Из комнаты они вышли вместе, и я слышала, как папа со смехом говорил:

— Вы меня удивляете. Вы же мудрый человек. А как насчет гиппогрифов и драконов?

Доктор улыбался и отвечал, покачивая головой:

— Как бы то ни было, жизнь и смерть — состояния загадочные, и нам мало что известно о том, какие они таят в себе возможности.

Они прошли мимо, и больше я ничего не расслышала. Тогда я не знала, что имеет в виду доктор, но теперь, кажется, догадываюсь.

Глава V Удивительное сходство

Вечером из Граца прибыл сын реставратора живописи, мрачный смуглый юноша, с лошадью и повозкой, груженной двумя большими ящиками, полными картин. От нашей малой столицы, Граца, нас отделяет десять лиг, и, когда в schloss прибывал какой-нибудь ее посланец, все мы обычно толпились вокруг него в холле, чтобы послушать новости.

Это событие вызвало в наших уединенных местах настоящую сенсацию. Ящики поставили в холле, а сам столичный житель оставался на попечении слуг, пока не поужинал. Затем в сопровождении помощников, вооружившись молотком, долотом и отверткой, он вышел в холл, где мы собрались, чтобы наблюдать за вскрытием ящиков.

Кармилла сидела и смотрела равнодушно, как на свет появлялись одна за другой старые картины, почти исключительно портреты, прошедшие процесс обновления. Моя мать была из старинной венгерской семьи, и большая часть картин, которые предстояло повесить на прежние места, попала к нам от нее.

Отец держал в руке список, читал его вслух, а художник отыскивал соответствующий номер. Не знаю, так ли уж хороши эти картины, но они, несомненно, очень старые, а некоторые из них еще и весьма любопытные. В большинстве своем они имели то преимущество, что я их видела, можно сказать, в первый раз, потому что дым и пыль времени едва не погубили их совсем.

— А вот эту картину я вижу впервые, — сказал отец. — В верхнем углу — имя, насколько могу разобрать, «Марция Карнштайн», и дата, «1698», и мне хотелось бы знать, как она здесь очутилась.

Я вспомнила ее; это была небольшая картина, примерно полтора фута

в высоту, почти квадратная, без рамы, но она так потемнела от древности, что рассматривать ее было бесполезно.

Художник извлек ее с заметной гордостью. Картина была очень красива; она ошеломляла; она, казалось, жила. Это было изображение Кармиллы!

— Кармилла, дорогая, это просто чудо. На этой картине — ты, живая, улыбающаяся, готовая заговорить. Правда, красиво, папа? И посмотри — даже родинка на шее.

Отец с усмешкой подтвердил:

— Конечно, сходство поразительное. — Но смотрел он в другую сторону, не очень-то удивился и продолжал беседовать с реставратором, вполне достойным называться художником.

Тот со знанием дела рассуждал о портретах и других работах, которым его искусство только что вернуло свет и краски, в то время как я, вглядываясь в изображение, все более изумлялась.

— Можно мне повесить эту картину в своей комнате, папа? — спросила я.

— Конечно, дорогая, — улыбнулся отец. — Я очень рад, что ты обнаружила такое сходство. Если это так, то картина еще красивее, чем я предполагал.

Молодая дама словно бы не услышала этого столь приятного комплимента. Она откинулась на спинку сиденья, ее красивые глаза под длинными ресницами задумчиво глядели на меня; она улыбалась; казалось, она была в экстазе.

— И теперь легко прочесть имя в углу картины. Это не Марция; буквы как будто золотые. Здесь написано. «Миркалла, графиня Карнштайн». Над именем изображение короны, а внизу надпись: «A D. 1698». Я из рода Карнштайн, то есть мама из этого рода.

— Ах, — отозвалась Кармилла вяло, — я, видимо, тоже — очень отдаленное родство, очень древнее. Кто-нибудь из Карнштайнов еще жив сейчас?

— Нет, не осталось, наверное, никого, кто носил бы это имя. Род давно вымер — погиб, надо полагать, в одной из гражданских войн, — но руины замка находятся всего лишь в трех милях отсюда.

— Любопытно, — протянула она лениво. — Но посмотри, какая красивая луна! — Кармилла глядела в сторону приоткрытой двери холла. — Что, если нам немного прогуляться по двору, взглянуть на дорогу и на реку.

— Так похоже на ту ночь, когда ты к нам приехала.

Моя подруга с улыбкой вздохнула.

Она встала; обняв друг друга за талию, мы вышли на мощеный двор.

Не спеша, в полном молчании, мы прошли к подъемному мосту. Вид оттуда открывался чудесный.

— Значит, ты думала о той ночи. — Она почти шептала. — Ты рада, что я здесь?

— Я в восторге, дорогая Кармилла.

— И ты просила, чтобы картину, которая, по-твоему, похожа на меня, повесили у тебя в комнате, — пробормотала Кармилла со вздохом, крепче обняла меня за талию и уронила свою прелестную головку мне на плечо.

— Как ты романтична, Кармилла. Когда ты мне поведаешь свою историю, окажется, что это какой-то сплошной роман.

Она молча поцеловала меня.

— Я уверена, Кармилла, что ты была влюблена, что и сейчас продолжается какая-то любовная история.

— Я ни в кого не была влюблена и никогда не влюблюсь, — прошептала она, — разве что в тебя.

Как красива она была при лунном свете!

Взглянув на меня странно и робко, она проворно уткнула лицо в мой затылок и волосы, бурно, почти со всхлипом, вздохнула и вложила свою дрожавшую руку в мою ладонь.

Ее нежная пылающая щека прижалась к моей.

— Милая моя, — бормотала она, — я живу в тебе, а ты умрешь ради меня, ведь я так тебя люблю.

Я отшатнулась.

Кармилла смотрела на меня потухшими, бессмысленными глазами, лицо ее сделалось бледным и безжизненным.

— Кажется, похолодало, дорогая? — произнесла она сонно. — На меня напала дрожь — наверное, я задремала? Пойдем домой. Пойдем же, пойдем.

— У тебя нездоровый вид, Кармилла, немного бледный. Тебе непременно нужно выпить вина, — сказала я.

— Хорошо, выпью. Мне сейчас уже лучше. Еще немного, и будет совсем хорошо. Да, дай мне немножко вина, — отвечала Кармилла, когда мы подошли к двери. — Давай еще чуть-чуть посмотрим; может быть, я в последний раз любуюсь лунным светом вместе с тобой.

— Как ты себя чувствуешь, Кармилла, дорогая? Тебе действительно лучше?

Я начала тревожиться, как бы она не стала жертвой той странной

эпидемии, которая, как говорили, распространилась в наших местах.

— Папа будет ужасно огорчен, — добавила я, — если решит, что ты почувствовала даже самое легкое недомогание и не дала нам немедленно знать. По соседству есть очень хороший доктор, тот самый, который был у папы сегодня.

— Не сомневаюсь, что хороший. Я знаю, какие заботливые вы все, но, дитя мое, я уже прекрасно себя чувствую. Это не болезнь, а просто легкая слабость. Говорят, это у меня вялость; я неспособна напрягаться, долго идти пешком — утомляюсь быстрее трехлетнего ребенка, а по временам мне совсем отказывают силы, и тогда я становлюсь такой, какою ты меня только что видела. Но после этого я легко прихожу в себя, в считаные минуты. Посмотри, все уже в порядке.

В самом деле так оно и было. Потом мы с ней долго самозабвенно болтали, и остаток вечера прошел без «страстей», как я это называла. Я имею в виду ее странный вид и безумные речи, которые приводили меня в смущение и даже пугали.

Однако ночью случилось событие, которое придало моим мыслям совершенно новый оборот и, кажется, даже Кармиллу потрясло так, что ее вялость на время уступила место энергии.

Глава VI Очень странная болезнь

К тому времени, когда мы вернулись в гостиную и уселись пить кофе и шоколад (Кармилла, правда, не пила), моя подруга выглядела совершенно здоровой. Мадам и мадемуазель де Лафонтен присоединились к нам и составили небольшую карточную партию, а тем временем пришел папа — «на чайную церемонию», как он выражался.

Когда игра была закончена, отец сел на диван рядом с Кармиллой и спросил с легкой тревогой в голосе, не получала ли она со времени прибытия сюда известий от матери.

Она ответила:

— Нет.

Потом он спросил, не знает ли Кармилла, куда нужно адресовать сейчас письмо к ее матери.

— Не могу сказать, — отвечала она уклончиво, — но я уже подумывала об отъезде; я слишком злоупотребила вашей добротой и гостеприимством. Я вам доставила массу хлопот. Мне нужно бы взять завтра экипаж и поехать вослед маме; я знаю, где ее найти, только не смею проговориться.

— Об этом не может быть и речи! — воскликнул отец, к моему великому облегчению. — Мы не можем отпустить вас таким образом, и я

соглашусь на ваш отъезд не иначе как в обществе вашей матушки, которая оказала нам честь, решившись оставить вас здесь до своего возвращения. Я был бы очень рад узнать, что вы поддерживаете с ней связь. Сегодня вечером известия о росте загадочной эпидемии, распространившейся в наших местах, стали еще тревожнее, и, лишенный возможности получить совет от вашей матери, я чувствую, моя прекрасная гостья, что на меня ложится очень большая ответственность. Но я сделаю все, что возможно. Одно ясно: вам не следует думать о том, чтобы покинуть нас без прямого указания вашей матушки. Слишком много огорчения принесет нам ваш отъезд, чтобы мы так легко на него согласились.

— Тысячу раз благодарю вас, сударь, за ваше гостеприимство, — откликнулась Кармилла с застенчивой улыбкой. — Вы все были бесконечно добры ко мне; за всю свою жизнь я очень редко бывала так счастлива, как в этом прекрасном chateau, на вашем попечении и в обществе вашей милой дочери.

После чего отец, довольный, со старомодной галантностью поцеловал ей руку. Эта краткая речь явно ему польстила.

Я, как обычно, проводила Кармиллу в ее комнату, и мы немного поболтали, пока она готовилась ко сну.

Наконец я сказала:

— Как ты думаешь, ты будешь когда-нибудь со мной вполне откровенна?

Она с улыбкой обернулась, но молчала, только продолжала улыбаться.

— Ты не отвечаешь? — продолжала я. — Значит, не можешь сказать ничего хорошего; мне не следовало тебя об этом спрашивать.

— Ты имеешь полное право спрашивать об этом или о чем угодно другом. Ты сама не знаешь, как ты мне дорога. У меня не может быть от тебя тайн. Но я связана клятвой, страшной клятвой, и не смею рассказать свою историю даже тебе. Уже близок час, когда ты все узнаешь. Ты будешь считать меня жестокой, эгоистичной, но любовь всегда эгоистична — чем пламенней, тем эгоистичней. Ты даже представить себе не можешь, как я ревнива. Ты должна идти со мной, любя меня, к смерти; или же ненавидеть меня, но все равно идти со мной, ненавидя, через смерть и дальше. Слова «равнодушие» не существует для моей апатичной натуры.

— Ну вот, Кармилла, ты снова принялась болтать эту дикую чепуху, — прервала я ее поспешно.

— Это не я, не маленькая дурочка со множеством капризов и причуд; это ради тебя какой-то мудрец говорит моими устами. Ты была когда-нибудь на балу?

— Нет же, опять ты за свое. Расскажи мне об этом. Это, должно быть, чудесно.

— Я почти все забыла, прошли годы с тех пор.

Я рассмеялась:

— Ты слишком молода. Ты не могла еще забыть свой первый бал.

— Я вспоминаю его, но с трудом. Все это мне видится, как ныряльщику, который смотрит на мир через плотную, текучую, но прозрачную среду. Случившееся в ту ночь спутало все воспоминания, заставило их потускнеть. Я едва не была убита в моей постели, я была ранена сюда, — она коснулась груди, — и с тех пор все изменилось.

— Ты едва не умерла?

— Да, едва не умерла… жестокая любовь… странная любовь, отнимающая жизнь. Любовь требует жертв, и жертв кровавых. А теперь пора спать. Мне так лень вставать и запирать дверь…

Она лежала, подложив свои маленькие ручки под щеку, так что они тонули в ее густых волосах, головка покоилась на подушке, а блестящие глаза сопровождали все мои движения. Она улыбалась робкой, непонятной мне улыбкой.

Я пожелала ей спокойной ночи и тихо вышла из комнаты, испытывая чувство неловкости.

Я часто задавалась вопросом, молится ли когда-нибудь наша прелестная гостья? Мне определенно ни разу не случалось видеть ее стоящей на коленях. Утром она спускалась в гостиную, когда наши семейные молитвы давно были прочитаны, а вечером ни разу не покидала гостиную, чтобы присоединиться к краткой общей молитве в холле.

Если бы во время одного из наших беззаботных разговоров случайно не выяснилось, что она была крещена, я бы не знала, считать ли ее христианкой. Я ни разу не слышала от нее ни одного слова о религии. Если бы я лучше знала свет, это особенное пренебрежение или антипатия не удивили бы меня так сильно.

Страхи нервозных людей заразительны, и люди схожего темперамента через некоторое время непременно начинают им подражать.

Я позаимствовала у Кармиллы привычку запирать дверь спальни. Переняв ее причудливые опасения, я стала бояться вторжения ночных взломщиков или убийц. По ее примеру я обыскивала комнату, дабы убедиться, что нигде не затаился убийца или грабитель.

Приняв эти мудрые меры предосторожности, я ложилась в постель и засыпала всегда при свете. Это была очень давняя привычка, и ничто не могло побудить меня от нее отказаться.

В такой твердыне я могла спокойно отдыхать. Но сны проходят через каменные стены, освещают темные комнаты и затемняют светлые, а их персонажи свои выходы на сцену и уходы с нее совершают, как им вздумается, и смеются над дверными замками.

Этой ночью я видела сон, который стал началом очень странной болезни.

Я не могу назвать этот сон кошмаром, так как я ясно сознавала, что сплю. В то же время я понимала, что нахожусь в своей комнате и лежу в постели, как и было наяву. Я видела, или мне казалось, что вижу, комнату и мебель в ней в точности такими, как перед сном, только было очень темно. И тут я заметила, как у подножия кровати что-то мелькнуло — что именно, я различить не могла. Но скоро я разглядела, что это было черное как сажа животное, напоминающее громадного кота. Длиной оно было четыре-пять футов. Так я решила, когда обнаружилось, что это существо размерами не уступает каминному коврику. Животное продолжало ходить взад-вперед с гибкой и зловещей неугомонностью зверя в клетке. Кричать я не могла, хотя, как вы можете предположить, была испугана. Шаги зверя становились все быстрее, а в комнате стремительно темнело и наконец стало так темно, что я больше не различала ничего, кроме его глаз. Я почувствовала, как животное легко вспрыгнуло на кровать. Пара больших глаз приблизилась к моему лицу, и внезапно я ощутила жгучую боль, как будто две большие иглы, на расстоянии дюйма или двух одна от другой, вонзились мне в грудь. Я с криком проснулась. В комнате всю ночь горела свеча, и я увидела женскую фигуру, стоявшую в ногах кровати немного справа. Фигура была в темном свободном одеянии, распущенные волосы закрывали плечи. Она стояла как каменная: ни малейшего движения, ни дыхания. Пока я смотрела на нее, фигура каким-то образом переместилась ближе к двери; затем дверь открылась и она вышла.

Вместе с чувством облегчения ко мне вернулась способность дышать и двигаться. Моя первая мысль была, что это Кармилла вздумала подшутить надо мной и что я забыла запереть дверь. Я поспешила к двери и обнаружила, что она закрыта, как обычно, изнутри. Выглянуть наружу я побоялась — меня охватил ужас. Я кинулась в постель, накрыла голову одеялом и ни жива ни мертва пролежала до утра.

Глава VII Нисхождение

Бесполезно и пытаться передать вам, с каким ужасом я до сих пор вспоминаю происшествие той ночи. Это не похоже на преходящий испуг, вызванный страшным сном. Со временем страх, казалось, усиливался и пропитывал собой комнату, где явилось привидение, и даже мебель,

которая его окружала.

На следующий день я не решалась остаться одна ни на минуту. Я рассказала бы все папе, если бы не два обстоятельства. Во-первых, я боялась, что он посмеется над моим рассказом, а мне об этом невыносимо было и подумать; во-вторых, папа мог бы вообразить, что я стала жертвой таинственной болезни, распространившейся в округе. У меня самой таких опасений не было, а так как отцу в последнее время нездоровилось, мне не хотелось его тревожить.

Довольно было моих двух добрых приятельниц, мадам Перродон и бойкой мадемуазель де Лафонтен. Они обе заметили, что я расстроена и взволнована, и наконец пришлось поведать им о своих тревогах.

Мадемуазель рассмеялась, но мадам Перродон казалась обеспокоенной.

— Кстати, — воскликнула мадемуазель со смехом, — в длинной липовой аллее, под окном спальни Кармиллы, завелись привидения!

— Вздор! — воскликнула мадам, которая, вероятно, сочла такой разговор неуместным. — От кого вы это слышали, милочка?

— Мартин рассказывает, что он дважды, когда чинили старые ворота, вставал до рассвета и оба раза видел одну и ту же женскую фигуру, которая шла по липовой аллее.

— Еще бы не видел, ведь на лугу пасутся коровы, а их надо доить, — заметила мадам.

— Разумеется, но дурню вздумалось испугаться, и не как-нибудь, а до полусмерти.

— Только ни слова об этом Кармилле, ведь аллея видна из окна ее комнаты, — вмешалась я, — а Кармилла еще большая трусиха, чем я, если это, конечно, возможно.

Кармилла в тот день спустилась в гостиную позже, чем обычно.

— Этой ночью я так испугалась, — сказала она, когда мы собрались вместе. — Уверена, мне привиделось бы что-нибудь жуткое, если бы не амулет этого несчастного маленького горбуна, которого я так ругала. Мне снилось, как черная тень ходит у моей кровати, я проснулась в полнейшем ужасе, и несколько секунд мне действительно чудилась у камина темная фигура, но я нащупала под подушкой свой амулет, и фигура тут же исчезла. Если бы у меня не было амулета, наверняка явилось бы чудище и, возможно, стало бы меня душить, как тех несчастных, о которых нам рассказывали.

— Послушай, — вмешалась я и пересказала свое приключение. Во время рассказа Кармилла выглядела до полусмерти напуганной.

— А амулет был близко? — спросила она серьезно.

— Нет, я его бросила в китайскую вазу в гостиной, но я, конечно, возьму его с собой, когда буду ложиться спать, раз ты в него так веришь.

За давностью лет я уже не помню, даже не представляю себе, как я смогла настолько преодолеть свой страх, чтобы ночью улечься спать в одиночестве в своей комнате. Помню отчетливо, что приколола амулет к подушке. Я заснула почти мгновенно и спала всю ночь даже крепче, чем обычно.

Следующую ночь я провела так же. Спала прекрасно: глубоко и без снов. Но проснулась с ощущением усталости и тоски, однако легким, не чрезмерным.

— Ну, что я тебе говорила? — воскликнула подруга, когда я описала, как спокойно спала. — Я и сама так чудесно выспалась этой ночью; я приколола амулет к ночной рубашке, на грудь. В предыдущую ночь он был слишком далеко. Я абсолютно уверена что все это — воображение, кроме снов. Я всегда считала, что сны приносят злые духи, но наш доктор сказал, что это не так. Просто пролетает лихорадка или другая какая-нибудь болезнь — он говорил, так часто случается, — и стучится в дверь, а войти не может. Вот она и подает мимоходом тревожный сигнал.

— А в чем тогда заключаются чары амулета, как ты думаешь?

— Он окурен или пропитан каким-то лекарством, это противоядие против малярии.

— Так, значит, он действует только на тело?

— Конечно. Не думаешь же ты, что злые духи боятся каких-то обрывков ленты или ароматических веществ из аптекарской лавки? Нет, это болезни, носясь в воздухе, сначала затрагивают наши нервы и таким образом поражают мозг, но, прежде чем они овладевают тобой, противоядие их отгоняет. Я уверена, именно так и действует амулет. Никакого волшебства, все вполне естественно.

Как бы мне хотелось согласиться с Кармиллой! Однако я старалась, и неприятные впечатления стали изглаживаться из памяти.

Несколько ночей я спала спокойно, но каждое утро чувствовала ту же усталость и была вялой целый день. Я не узнавала себя. Меня постепенно охватывала странная меланхолия, и мне не хотелось от нее избавляться. Появились туманные мысли о смерти. Мной исподволь овладевало представление, что я медленно слабею, и оно, как ни странно, не было мне неприятно. Мысль эта была печальной, но состояние, ею вызванное, одновременно и сладостным. Что бы со мной ни происходило, моя душа с этим примирилась.

Я не допускала и мысли, что больна, не соглашалась ни признаться в этом папе, ни сказать, чтобы послали за доктором.

Кармилла проявляла еще большую привязанность ко мне, чем раньше, и странные приступы томного обожания случались с ней еще чаще. Она пожирала меня глазами со все большим пылом, по мере того как убывали мои телесные и душевные силы. Это походило на вспышки умопомешательства и всегда неприятно поражало меня.

Не сознавая этого, я тогда находилась на далеко не первой стадии самой странной болезни, какой когда-либо страдал смертный. Ее начальные симптомы обладают неизъяснимым очарованием — что совершенно примиряло меня с разрушительным действием этой стадии болезни. Удовольствие усиливалось, пока не достигло определенной точки, после чего к нему постепенно стал примешиваться ужас, который, как вы убедитесь, наконец обесцветил и извратил все мое существование.

Первая перемена, которая произошла со мной, была довольно приятной. Я подошла тогда очень близко к тому поворотному пункту, от которого начинается нисхождение в бездну Аверна, или в преисподнюю.

Во время сна меня начали посещать какие-то смутные, странные ощущения. В первую очередь это был приятный, прохладный трепет, какой испытываешь в воде, когда плывешь против течения. Вскоре к нему добавились сны, которые казались нескончаемыми и были так смутны, что мне никогда не удавалось вспомнить ни обстановку, ни персонажей, ни сколько-нибудь связный эпизод. От этих снов душу тяготила усталость, как после долгого периода большого умственного напряжения и опасности. Припоминалось, что я в каком-то темном месте разговаривала с людьми, которых не могла разглядеть. Особенно запечатлелся в памяти отчетливый женский голос, очень низкий, доносившийся как будто с большого расстояния, медленный, вызывавший всегда ощущение неизъяснимой торжественности и страха. Иногда мне чудилось, что чья-то рука мягко движется вдоль моей щеки и затылка. Иной раз словно бы теплые губы целовали меня, и поцелуи становились более долгими и нежными, когда добирались до шеи, но здесь губы замирали. Мое сердце билось быстрее, дыхание невероятно учащалось — и прерывалось совсем; затем следовали рыдания, перераставшие в удушье, ужасные конвульсии, и я теряла сознание.

Прошло уже три недели с начала этой непонятной болезни. Недомогание за последнюю неделю сказалось на моей внешности: лицо было утомленное, побледневшее, глаза расширились, под ними появились темные круги.

Отец часто спрашивал, не больна ли я, но с упрямством, которое мне теперь трудно объяснить, я продолжала уверять, что совершенно здорова.

До известной степени это было правдой. Я не испытывала боли, не могла пожаловаться ни на какие нарушения в организме. Моя болезнь казалась плодом воображения или нервного расстройства, и, хотя муки были ужасны, я с болезненной скрытностью хранила их при себе.

Это не могла быть та жуткая болезнь, которую крестьяне называли «упырь», потому что я болела уже три недели, а у них болезнь длилась три дня, иногда чуть больше, после чего смерть прекращала их страдания.

Кармилла жаловалась на плохие сны и возбужденные нервы, но ее нездоровье ни в коем случае не внушало таких тревог, как мое. Я говорила уже, что мое состояние было крайне опасным. Если бы я отдавала себе отчет в том, в каком положении нахожусь, я на коленях взывала бы о помощи и совете. На меня действовал наркотик чужого скрытого влияния, и мое восприятие притупилось.

Сейчас я собираюсь рассказать вам об одном сне, который привел к странному открытию.

Однажды ночью вместо голоса, который я привыкла слышать в темноте, мне послышался другой голос — мелодичный и нежный и в то же время грозный, — который сказал: «Твоя мать предостерегает тебя: берегись убийцы». Тут же неожиданно вспыхнул свет, и я увидела Кармиллу, стоявшую у изножья моей кровати в белой ночной рубашке и с подбородка до ног залитую кровью.

Я проснулась с криком. Мной владела одна мысль: Кармиллу убивают. Я помню, как вскочила с кровати, и дальше, как стою в коридоре и зову на помощь.

Мадам и мадемуазель, испуганные, выбежали из своих комнат. В коридоре всегда горела лампа; гувернантки обнаружили меня и узнали о причине переполоха.

Я настояла на том, чтобы постучать в дверь комнаты Кармиллы. Ответа не последовало. Мы принялись громко колотить в дверь. Мы звали Кармиллу, но все тщетно.

Нас охватила безумная тревога, потому что дверь была закрыта. В панике мы поспешили назад, в мою комнату. Здесь мы долго и неистово звонили в колокольчик. Если бы папина комната находилась в этом крыле дома, мы тут же позвали бы его на помощь. Но, увы, туда не долетало ни звука, а на далекую вылазку никто из нас не решился.

Вскоре, однако, по лестнице взбежали слуги. Тем временем я надела халат и комнатные туфли и мои компаньонки также успели привести себя в

порядок. Узнав голоса слуг, доносившиеся из коридора, мы вместе вышли из комнаты и возобновили наши, по-прежнему бесплодные, призывы у комнаты Кармиллы. Я велела мужчинам выломать запоры. Они это сделали, и мы, высоко подняв горящие свечи, остановились в дверях и заглянули в комнату.

Мы звали Кармиллу, но ответа так и не было. Мы осмотрели комнату. Ничего особенного там не обнаружилось. Спальня оставалась в том же виде, в каком я ее покинула, пожелав своей подруге доброй ночи. Но Кармилла исчезла.

Глава VIII Поиски

При виде комнаты, совершенно нетронутой, если не считать следов нашего насильственного вторжения, мы немного остыли и вскоре образумились настолько, что отпустили мужчин. Мадемуазель пришло в голову, что Кармилла, возможно, проснулась от грохота и стука в дверь, в панике выскочила из постели и спряталась в стенном шкафу или за гардиной и теперь не может, конечно, оттуда выйти, пока не удалятся мажордом и его верные мирмидоняне. После этого мы снова принялись искать и звать ее.

Но все было бесполезно. Наши недоумение и тревога росли. Мы осмотрели окна, но они были закрыты. Я умоляла Кармиллу, если она спряталась, положить конец этой жестокой шутке — выйти и успокоить нас, но тщетно. К тому времени я убедилась, что Кармиллы нет ни в спальне, ни в туалетной комнате, дверь которой оставалась закрытой снаружи. Там ее и быть не могло. Я терялась в догадках. Может быть, Кармилла обнаружила один из тех тайных переходов, которые, по словам старой экономки, имелись в замке, хотя сведений об их точном местоположении не сохранилось? Через некоторое время, без сомнения, будут разрешены все загадки, которые сейчас ставят нас в тупик.

Был пятый час, и я предпочла провести остаток ночи в комнате мадам. Дневной свет не принес разгадки.

На следующее утро все домочадцы, во главе с моим отцом, включились в лихорадочные хлопоты. Замок был обыскан сверху донизу. Парк тоже. Никаких следов пропавшей обнаружить не удалось. Собирались обшаривать дно реки; отец был в отчаянье: как он встретит мать несчастной девушки, что ей скажет? Я тоже рвала на себе волосы, но мое горе было совсем иного рода.

Утро прошло в тревоге и возбуждении. Был уже час дня, а известий не поступало. Я поднялась в комнату Кармиллы и обнаружила ее стоявшей перед туалетным столиком. Меня словно громом поразило. Я не могла

поверить своим глазам. Она поманила меня молча своим изящным пальчиком. Ее лицо выражало крайний испуг.

Вне себя от радости я бросилась к ней; снова и снова целовала и обнимала ее. Потом начала бешено звонить в колокольчик, желая созвать как можно больше народу, чтобы успокоительное известие поскорее дошло до моего отца.

— Кармилла, дорогая, что было с тобой все это время? Мы умирали от беспокойства, — воскликнула я. — Где ты была? Как вернулась?

— Эта ночь была ночью чудес, — отозвалась она.

— Ради бога, объясни все, что можешь.

— В третьем часу ночи, — сказала она, — когда я, как обычно, легла в постель, двери моей спальни были закрыты: и та, что ведет в туалетную комнату, и та, что выходит в галерею. Я спала спокойно и, насколько помню, без снов, но проснулась несколько минут назад на диване в туалетной комнате и обнаружила, что дверь в спальню открыта, а другая дверь взломана. Не понимаю, почему я не очнулась раньше? Стоял, должно быть, ужасный шум, а я сплю очень чутко; и как меня могли перенести с постели на диван, не разбудив при этом? Я ведь просыпаюсь от малейшего движения!

К тому времени мадам, мадемуазель, отец и большая часть слуг были уже в комнате. Кармиллу, конечно, засыпали вопросами, поздравлениями и приветствиями. Но им она могла сказать только то же, что и мне, и, казалось, менее всех других была способна придумать какое-нибудь объяснение происшедшему.

Мой отец прошелся по комнате взад-вперед, размышляя. На мгновение я перехватила направленный на него взгляд Кармиллы — хмурый и хитрый.

Когда отец отослал слуг, а мадемуазель ушла на поиски бутылочки валерианы и нюхательной соли, в комнате Кармиллы не оставалось никого из посторонних, кроме отца, мадам и меня самой. Отец в задумчивости подошел к Кармилле, очень мягко взял ее за руку, подвел к дивану и сел рядом с ней.

— Вы меня простите, дорогая, если я рискну высказать одно предположение и задать вам один вопрос?

— Кто же имеет на это больше прав? — отозвалась она. — Спрашивайте обо всем, что вам угодно, и я отвечу. Но от всего, что произошло, у меня осталось только недоумение. Я абсолютно ничего не знаю. Задавайте любые вопросы, какие вам вздумается. Но вам, конечно, известны мои обязательства перед матерью.

— Конечно, дитя мое. Я не буду касаться тех предметов, о которых вы обязаны молчать. Итак, чудеса этой ночи заключаются в том, что вас подняли с кровати и перенесли в другую комнату, не разбудив при этом. Когда это случилось, как представляется, окна были закрыты, а обе двери заперты изнутри. Я скажу вам, как я объясняю эти события, а сначала задам вопрос.

Кармилла сидела, опершись на руку. Вид у нее был унылый. Мадам и я слушали, затаив дыхание.

— Вопрос такой: не велась ли когда-нибудь речь о том, что вы ходите во сне?

— Никогда, разве что в детстве.

— Но в детстве вам случалось ходить во сне?

— Да, случалось, я знаю. Мне об этом часто говорила моя старая няня.

Отец улыбнулся и кивнул.

— Произошло вот что. Во сне вы поднялись с постели, отперли дверь, но не оставили ключ в замке, как обычно, а взяли с собой. Вы закрыли дверь снаружи, опять вынули ключ и, прихватив его с собой, отправились в одну из двадцати пяти комнат на этом этаже или в другие помещения, выше этажом или ниже. Здесь так много комнат и чуланов, такое множество громоздкой мебели, такие скопления старого хлама, что этот старый дом меньше чем за неделю полностью не обыскать. Теперь вы понимаете, что я имею в виду?

— Да, но не все, — ответила Кармилла.

— А как ты, папа, объяснишь, что она оказалась на диване в туалетной комнате, которую мы обыскали так тщательно?

— Мадемуазель Кармилла пришла туда, по-прежнему во сне, после того как вы обыскали комнату, а потом внезапно проснулась, увидела, где находится, и была удивлена не меньше всех других. Желал бы я, чтобы все тайны имели такое же простое и невинное объяснение, как ваша тайна, Кармилла, — сказал он со смехом. — Итак, мы можем поздравить себя: для того чтобы самым правдоподобным образом объяснить происшедшее, нам не пришлось привлекать ни действие наркотика, ни попытку взлома, ни отравление, ни ведьм — ничего такого, что могло бы встревожить Кармиллу или кого-нибудь еще.

Кармилла выглядела очаровательно, прекраснее и представить себе невозможно. Я подумала, что свойственная ей грациозная томность еще больше подчеркивает ее красоту. Думаю, отец молча сравнивал ее со мной, потому что он сказал:

— Хотел бы я, чтобы моя бедная Лора выглядела поздоровее. — И

вздохнул.

Таким образом всем нашим тревогам благополучно пришел конец, а Кармилла возвратилась к своим друзьям.

Глава IX Доктор

Так как Кармилла и слышать не хотела о том, чтобы в ее комнате спала служанка, той, по распоряжению отца, была устроена постель рядом с дверью спальни; таким образом попытка нашей гостьи предпринять еще одну подобную прогулку была бы пресечена тут же, в дверях.

Ночь прошла спокойно, а рано утром пришел доктор осмотреть меня. Отец послал за ним без предупреждения.

Мадам проводила меня в библиотеку, где ожидал тот самый важный маленький доктор с пудреными волосами и в очках, которого я упоминала раньше.

Я поведала ему свою историю. Во время рассказа он все больше мрачнел.

Мы с ним стояли в одной из оконных ниш, лицом к лицу. Когда я закончила рассказ, доктор прислонился к стене и с интересом, к коему примешивался ужас, устремил на меня серьезный взгляд.

После минутного размышления он спросил мадам, нельзя ли ему повидать моего отца.

Послали за отцом. Тот вошел и с улыбкой произнес:

— Полагаю, доктор, вы хотите сказать, что я, старый дурак, зря вас сюда позвал? Надеюсь, так оно и есть.

Но его улыбка померкла, когда доктор, с очень мрачным видом, знаком подозвал его к себе.

Они некоторое время беседовали в той самой нише, где доктор только что говорил со мной. Похоже, шел серьезный спор. Мы с мадам, сгорая от любопытства, стояли в дальнем конце этой обширной комнаты. До нас не долетело ни единого слова, потому что говорили они очень тихо, а фигура доктора была полностью скрыта глубокой оконной нишей. Что касается отца, то виднелись только нога, рука и плечо. Думаю, голоса звучали еще глуше из-за большой глубины ниши, образуемой окном и толщей стен.

Через некоторое время отец выглянул в комнату; он был бледен, задумчив и, как мне показалось, взволнован.

— Лора, дорогая, подойди сюда на минутку. Мадам, доктор говорит, что вас мы сейчас беспокоить не станем.

Я подошла, впервые почувствовав некоторую тревогу, потому что, хотя была очень слаба, больной себя не считала. Человеку всегда кажется, что силы можно восстановить в любую минуту, когда пожелаешь.

Как только я приблизилась, отец протянул мне руку, глядя, однако, на доктора, и сказал:

— Это, конечно, очень странно; мне трудно это понять. Лора, иди сюда, дорогая. Послушай теперь доктора Шпильсберга и соберись.

— Вы упоминали ощущение, похожее на укол двух игл, пронзающих кожу где-то возле шеи, в ту ночь, когда в первый раз видели страшный сон. Вы уже не чувствуете в этом месте боли?

— Нет, ничуть.

— Вы не могли бы указать пальцем место этого предполагаемого укола?

— Немного ниже горла — здесь, — ответила я.

Место, которое я указала, было прикрыто воротом домашнего платья.

— Теперь убедитесь сани, — сказал доктор. — Вы не будете возражать, если отец немножко опустит ворот вашего платья? Это необходимо, чтобы определить симптомы болезни.

Я согласилась. Это было всего лишь на дюйм-два ниже края воротника.

— Господи — вот оно! — воскликнул мой отец, побледнев.

— Теперь вы убедились сами, — произнес доктор с мрачным удовлетворением.

— Что это? — воскликнула я, пугаясь.

— Ничего, моя милая юная госпожа, кроме небольшого синячка размером с кончик вашего пальца. А теперь, — продолжал он, обращаясь к отцу, — вопрос в том, что нам делать?

— Это опасно? — взмолилась я, вся дрожа.

— Не думаю, моя дорогая, — ответил доктор. — Я не вижу, почему бы вам не выздороветь. Не вижу, почему бы вам не начать выздоравливать уже сейчас. Именно в этом месте возникает ощущение удушья?

— Да.

— И — постарайтесь припомнить получше — именно из этого места распространяются волны, которые вы описали, похожие на холодный встречный поток?

— Кажется, да. Думаю, так и есть.

— Ага, видите? — добавил он, обращаясь к моему отцу. — Могу я поговорить с мадам?

— Конечно.

Доктор подозвал к себе мадам и сказал:

— Я нахожу, что эта юная особа серьезно больна. Надеюсь, болезнь пройдет без последствий, но нужно будет предпринять некоторые шаги,

какие именно — я вскоре вам объясню. А тем временем, мадам, будьте добры не оставлять мисс Лору одну ни на минуту. Это все, что я могу предписать сейчас. Это чрезвычайно важно.

— Я знаю, что мы можем на вас положиться, мадам, — добавил отец.

Мадам с жаром заверила его в этом.

— Что касается тебя, дорогая Лора, — уверен: ты выполнишь предписания доктора. Я хотел бы попросить вашей консультации по поводу еще одной пациентки. Ее симптомы слегка напоминают симптомы моей дочери, с которыми вы только что ознакомились. Они намного слабее проявляются, но по характеру — те же. Эта юная госпожа — наша гостья. Вы сказали, что сегодня вечером будете в наших краях. Было бы прекрасно, если бы вы у нас поужинали и осмотрели эту молодую особу. Она встает не раньше полудня.

— Благодарю вас, — отозвался доктор. — Я буду у вас около семи вечера.

Оба повторили напоследок все свои распоряжения и вместе вышли из дому. Я видела, как они прогуливались взад-вперед между дорогой и рвом, по заросшей травой площадке перед замком, судя по всему погруженные в серьезный разговор.

Доктор назад не вернулся. Он сел на лошадь, попрощался с отцом и поехал через лес в восточном направлении. Тут же к замку со стороны Дранфельда подъехал посыльный с письмами, спешился и протянул моему отцу мешок.

Тем временем мы с мадам пытались докопаться до причин тех странных и серьезных предписаний, которые в один голос дали нам доктор и мой отец. Мадам (как она потом сказала мне) предположила, что доктор опасается внезапного припадка и того, что, не получив своевременно помощи, я могу скончаться или, по крайней мере, серьезно пострадать.

Мне такое объяснение не пришло в голову, и я вообразила (возможно, к счастью для себя), будто цель предписаний — всего-навсего обеспечить меня компаньонкой, которая проследит, чтобы я не переутомлялась, не ела незрелых фруктов и не делала всех тех бесчисленных глупостей, к которым, как принято считать, склонна молодежь.

Приблизительно через полчаса вошел отец с письмом в руках:

— Это письмо запоздало — оно от генерала Шпильсдорфа. Он мог быть здесь еще вчера, но приедет завтра, а может, и сегодня.

Папа вложил мне в руку вскрытое письмо, но не выглядел радостным, как обычно в предвкушении приезда гостей, особенно таких любимых, как генерал. Напротив, казалось, он предпочел бы, чтобы генерал провалился в

тартарары. Заметно было, что у отца на уме какая-то тайная мысль.

— Папа, милый, ты мне расскажешь?.. — начала я, внезапно взяв его за руку и умоляюще заглядывая ему в лицо.

— Возможно. — Он ласково погладил меня по голове.

— Доктор считает, что я очень больна?

— Нет, дорогая; он думает, что, если принять необходимые меры, ты будешь совсем здорова или, по крайней мере, на пути к полному выздоровлению через день либо два, — ответил он немного сухо. — Было бы лучше, если бы наш милый генерал выбрал другое время, то есть мне хотелось бы, чтобы ты была вполне здорова и могла принять его.

— Но скажи, папа, — настаивала я, — чем я больна, по мнению доктора?

— Ничем; оставь меня, — отрезал он. Я никогда не видела его в таком раздражении. Заметив, вероятно, что я обижена, отец поцеловал меня и добавил: — Через день-два ты все узнаешь; то есть все, что известно мне. А пока выбрось это из головы.

Он повернулся и вышел из комнаты. Но, прежде чем я начала обдумывать все эти странности и строить предположения, отец вернулся и объявил, что собирается в Карнштайн, распорядился приготовить экипаж к двенадцати и что мы с мадам должны сопровождать его. Он едет по делу, чтобы повидать священника, живущего неподалеку от этих живописных мест. А Кармилла, которая никогда там не была, может, когда встанет, присоединиться к мадемуазель. Та повезет все необходимое для пикника, который мы устроим в развалинах замка.

В двенадцать я была готова, и вскоре мы отправились на задуманную отцом прогулку. От подъемного моста мы повернули направо и поехали через крутой готический мост к западу, в сторону покинутой деревни и руин замка Карнштайн.

Ничего замечательней такой прогулки в лесу я и представить себе не могу. Пейзаж разнообразят отлогие холмы и лощины, поросшие красивым лесом, совершенно лишенным той правильности, какой отличаются искусственные насаждения или культивированный ландшафт.

Неровности местности часто уводят дорогу в сторону и заставляют ее красиво петлять, огибая края оврагов и крутые склоны холмов. Многообразие ландшафта кажется неисчерпаемым.

На одном из таких поворотов мы внезапно наткнулись на нашего старого друга генерала, который направлялся нам навстречу в сопровождении верхового слуги. Его багаж везли следом в наемной повозке. Когда мы остановились, генерал спешился и после обычных

приветствий легко позволил себя уговорить и занял свободное место в экипаже, а слугу с лошадью отослал в замок.

Глава X Осиротевший

В последний раз мы видели нашего соседа около десяти месяцев назад, но за это время он, казалось, постарел на несколько лет. Он похудел; свойственное ему прежде выражение добродушной безмятежности уступило место печали и тревоге. Темно-голубые глаза генерала, всегда пронзительные, теперь горели суровым огнем под лохматыми седыми бровями. Люди не меняются так под влиянием одного только горя; здесь, казалось, примешивались и другие, гневные чувства.

Не успели мы двинуться в путь, как генерал, со своей обычной прямотой, завел разговор о том, как он осиротел, по его выражению, со смертью своей любимой племянницы и воспитанницы. И тут он заговорил тоном крайнего озлобления и ярости, проклиная «адское коварство», жертвой которого она стала, и, дозволяя гневу взять верх над благочестием, удивлялся долготерпению Господню, попускающему существовать на земле страстям столь чудовищным и злобе столь дьявольской.

Мой отец, сразу заподозривший, что произошло нечто из ряда вон выходящее, попросил генерала, если это не будет для него чересчур мучительно, изложить нам обстоятельства, ставшие, по его мнению, достаточным поводом для таких драматических высказываний.

— Охотно бы рассказал, — промолвил тот, — но вы мне не поверите.

— Почему же? — спросил отец.

— Потому, — с вызовом ответил генерал, — что вы не верите ничему, вступающему в противоречие с вашими предубеждениями и иллюзиями. Я помню время, когда сам был таким, но с тех пор я многому научился.

— Испытайте меня. Я не такой догматик, как вы думаете. Кроме того, мне очень хорошо известно, что вы вообще не привыкли чему-либо верить без доказательств, и поэтому я весьма склонен уважать ваши суждения.

— Вы правы, предполагая, что меня нелегко было заставить поверить в чудеса, — а то, что со мной произошло, иначе не назовешь; экстраординарные доказательства вынудили меня считаться с фактами, которые решительно противоречат всем моим прежним воззрениям. Я стал жертвой заговора сверхъестественных сил.

Невзирая на недавнее заявление отца о вере в проницательность генерала, я заметила, как в тот миг он бросил на собеседника взгляд, в котором сквозило явное сомнение в его вменяемости.

К счастью, генерал этого не видел. Он с мрачным интересом оглядывал поляны и лесные панорамы, открывавшиеся перед нами.

— Вы направляетесь к руинам Карнштайна? — спросил он. — Да, это счастливое совпадение. Я, знаете ли, собирался попросить вас отвезти меня туда, чтобы их осмотреть. Я сейчас провожу некоторые исследования… Там ведь имеется разрушенная капелла, а в ней множество гробниц, принадлежащих этому угасшему роду.

— Так там, значит… Любопытно, — проговорил отец. — Уж не подумываете ли вы объявить себя наследником титула и состояния?

Отец сказал это весело, но генерал не присоединился к его смеху, даже не улыбнулся, как того требует вежливость, в ответ на шутку друга; напротив, вид у него был мрачный и даже свирепый. Мысли его были сосредоточены на чем-то, вызывавшем гнев и ужас.

— Отнюдь нет, — возразил он резко. — Я намереваюсь извлечь из-под земли кое-кого из этих распрекрасных особ. Я надеюсь, с Божьей помощью, совершить там благочестивое святотатство, которое избавит нашу землю от неких монстров, а честным людям даст возможность спокойно спать в своих постелях, не подвергаясь нападению убийц. Я должен, дорогой друг, рассказать вам о странных вещах; настолько странных, что несколько месяцев назад я сам отверг бы их, сочтя невероятными.

Мой отец снова взглянул на него, но на этот раз без недоверия, а скорее с пониманием и тревогой.

— Род Карнштайн, — сказал отец, — угас давно: по меньшей мере столетие назад. Моя дорогая жена по материнской линии происходила от Карнштайнов. Но имя и титул давно перестали существовать. Замок в руинах; даже деревня заброшена; в последний раз там видели дымок над крышею полвека назад, а теперь уже и крыш не осталось.

— Совершенно верно. Я многое об этом узнал со времени нашей последней встречи; многое, что вызовет ваше удивление. Но лучше рассказать все по порядку. Вы видели мою воспитанницу, мое дитя — так я ее могу назвать. Никогда не было создания более прекрасного, а всего лишь три месяца назад — и более цветущего.

— Да, бедная девочка! Когда я видел ее в последний раз, она, несомненно, была очень красива. Не могу выразить, как я был поражен и опечален. Я знаю, дорогой друг, каким это было для вас ударом.

Он взял генерала за руку, и они обменялись сердечным рукопожатием. В глазах старого солдата показались слезы. Он не пытался их скрыть. Он сказал:

— Мы с вами очень старые друзья; я знал, что вы будете мне сочувствовать, бездетному старику. Она была мне очень дорога; за заботу

она платила любовью, согревавшей мой дом и делавшей мою жизнь счастливой. Теперь всему конец. Срок, отпущенный мне на земле, близится к пределу; но, с Божьей помощью, надеюсь, прежде чем умру, оказать услугу человечеству и стать орудием Небес, отомстив демонам, что убили мое бедное дитя в расцвете надежд и красоты.

— Вы только что посулили рассказать нам все по порядку, — напомнил мой отец. — Прошу, сделайте это; уверяю, мной руководит не простое любопытство.

К тому времени мы достигли развилки, где от дороги в Карнштайн ответвляется дорога на Друншталль, откуда приехал генерал.

— Далеко еще до руин замка? — спросил генерал, беспокойно глядя вперед.

— Около полулиги. Прошу вас, расскажите нам свою историю, как обещали.

Глава XI История

— Охотно, — произнес генерал с усилием и после короткой паузы, приведя в порядок свои мысли, приступил к рассказу, одному из самых странных, какие мне доводилось слышать. — Получив ваше любезное приглашение, моя дорогая девочка с большим удовольствием предвкушала визит к вашей очаровательной дочери. — Здесь генерал, отвесил мне галантный, но меланхолический поклон. — Тем временем мы были приглашены к моему старому другу, графу Карлсфельду, чей замок находится в шести лигах по ту сторону Карнштайна. Мы должны были принять участие в fetes, [16] которые, как вы помните, он устраивал в честь своего сиятельного гостя, великого князя Карла.

— Да, и, вероятно, это были блестящие торжества, — вставил отец.

— Княжеские! Но ведь его гостеприимство поистине королевское. Не иначе как он владеет лампой Аладдина. В ту ночь, с которой начались мои несчастья, был устроен великолепный маскарад. Парк был открыт, деревья увешаны цветными фонарями. Такого фейерверка, как там, не видел даже Париж. А музыка — это, как вы знаете, моя слабость, — что за восхитительная музыка! Оркестр, возможно, лучший в мире и лучшие певцы, из крупнейших оперных театров Европы. Вы прогуливаетесь по парку, среди фантастической иллюминации; замок осиян луной, из расположенных длинными рядами окон струится яркий свет, и до вас внезапно долетают, постепенно нарастая, восхитительные голоса из какой-нибудь тихой рощи или со стороны озера, с лодок… Видя и слыша все это, я как будто переносился в дни своей юности, исполненные романтики и поэзии.

Когда закончился фейерверк и начался бал, мы вернулись в роскошную анфиладу, открытую для танцующих. Бал-маскарад, как всем известно, — красивое зрелище, но такого великолепия, как в тот раз, я никогда еще не видел.

Собралось весьма аристократическое общество. Я был едва ли не единственным из присутствующих, кто ничего собой не представлял.

Моя дорогая девочка выглядела совершенной красавицей. Маски на ней не было. Возбуждение и восторг придали неизъяснимое очарование ее чертам, и без того прелестным. Я заметил молодую даму в маске, великолепно одетую, которая, как мне показалось, следила за моей воспитанницей с необычайным интересом. Эта дама уже не в первый раз попадалась мне на глаза. Я видел ее тем вечером: сперва в большом холле, затем на террасе под окнами замка, когда она прогуливалась вблизи нас, все так же присматриваясь. Ее сопровождала дама постарше, тоже в маске, одетая богато и нарядно и державшаяся с достоинством, как важная особа. Если бы лицо молодой дамы было открыто, я, конечно, мог бы определить точнее, действительно ли она наблюдает за моей бедной девочкой. Теперь я совершенно уверен, что так оно и было.

Мы находились тогда в одной из гостиных. Моя бедная дорогая девочка присела отдохнуть после танцев на один из стульев у двери; я стоял рядом. Две вышеупомянутые дамы подошли к нам, и та, что была моложе, села на соседний стул, а ее компаньонка встала рядом со мной и некоторое время негромко говорила что-то своей подопечной.

Воспользовавшись привилегиями, данными тем, кто носит маску, она обратилась ко мне и тоном старой приятельницы, называя меня по имени, завела разговор, крайне возбудивший мое любопытство. Она упоминала многие места, где мы встречались: при дворе, в знатных домах. Она намекала на незначительные случаи, о которых я давно и думать забыл, но воспоминания о них, как обнаружилось, подспудно жили во мне и тут же явились на Божий свет.

Мне не терпелось узнать, кто же она такая. Но все расспросы дама парировала весьма искусно и деликатно. Ее знакомство со многими эпизодами моей жизни казалось почти необъяснимым; ей, по-видимому, доставляло естественное, в общем-то, удовольствие дразнить мое любопытство и наблюдать, как я, совершенно озадаченный, бросался от одного предположения к другому.

Тем временем молодая дама, которую ее мать, раз или два обратившись к ней, называла странным именем Милларка, так же просто и непринужденно вступила в беседу с моей воспитанницей.

Она сослалась на то, что ее мать — моя очень давняя знакомая. Она рассуждала о преимуществах той дерзости, которая дозволяется маскам, с дружеской непринужденностью похвалила платье моей воспитанницы и очень изящно восхитилась мимоходом ее красотой. Молодая дама развлекала мою племянницу, забавно критикуя публику, толпившуюся в бальном зале, и смеялась над шутками моей бедной девочки. Она была, когда ей этого хотелось, очень остроумной и живой собеседницей, и через короткое время девушки уже сделались близкими подругами, а молодая незнакомка опустила свою маску, под которой обнаружилось поразительно красивое лицо. Я никогда раньше ее не видел, моя дорогая девочка — тоже. Но черты этого незнакомого лица были столь обаятельны и прелестны, что их притягательной силе невозможно было противиться. Моя бедная девочка была очарована. Никогда еще я не был свидетелем такого бурного увлечения с первого взгляда, за исключением ответного увлечения самой незнакомки, которая, казалось, совершенно потеряла голову из-за моей воспитанницы.

Тем временем я позволил себе вольность, оправданную маскарадом, и задал немало вопросов старшей даме.

«Вы поставили меня в тупик, — сказал я со смехом. — Может быть, довольно? Не соблаговолите ли вы теперь снять маску, чтобы быть в равных условиях?»

«Ну возможно ли выставить более неразумное требование? — отвечала она. — Предложить даме отказаться от ее преимущества! Кроме того, почему вы так уверены, что узнаете меня? Человек меняется с годами».

«Как вы можете убедиться». Я поклонился с довольно печальной усмешкой.

«Так учат философы, — добавила она. — Почему вы думаете, что, если вы увидите мое лицо, это вам поможет?»

«Я на это надеюсь. Не пытайтесь казаться старше, чем вы есть; ваша фигура вас выдает».

«Тем не менее прошли годы с тех пор, как мы в последний раз виделись, точнее сказать, с тех пор, как вы меня видели, ведь речь идет как раз об этом Милларка — моя дочь, следовательно, я уже не молода, даже в глазах тех людей, которых годы научили снисходительности, и мне может быть неприятно подвергнуться сравнению с тем образом, который остался у вас в памяти. Вам не приходится снимать маску, так что вам нечего предложить мне взамен».

«Я взываю к вашему состраданию, когда прошу снять ее».

«А я — к вашему, когда прошу об этом не просить».

«Хорошо, тогда, по крайней мере, вы скажете мне, француженка вы или немка; вы одинаково безупречно говорите на обоих языках».

«Сомневаюсь, что я вам это открою, генерал: вы решили захватить меня врасплох и обдумываете, с какой стороны напасть».

«Во всяком случае, вы не станете отрицать, что если уж вы оказали мне честь, вступив со мной в беседу, то должен же я знать, как к вам обращаться. Madame la Comtesse?» [17]

Она рассмеялась и, без сомнения, уклонилась бы и от этого вопроса, если, конечно, считать, что ход беседы был хотя бы отчасти случайным. Я ведь теперь думаю, что все обстоятельства разговора были с величайшей хитростью подготовлены заранее.

«Что касается этого…» — начала она, но тут же ее прервал какой-то господин в черном. Его элегантную и изысканную внешность портил лишь один недостаток: смертельная, как у покойника, бледность. Одет он был не в маскарадное платье, а в обычный вечерний костюм. Незнакомец обратился к моей собеседнице без улыбки, но с церемонным, необычно низким поклоном:

«Не позволит ли Madame la Comtesse сказать ей несколько слов, которые, вероятно, ее заинтересуют?»

Дама быстро обернулась к нему и приложила палец к губам; потом сказала мне: «Проследите, чтобы никто не занял моего места, генерал, я поговорю и тут же вернусь».

Отдав игривым тоном это распоряжение, она отошла немного в сторону вместе с господином в черном и несколько минут вела с ним, казалось, серьезный разговор. Затем они вместе медленно пошли дальше через толпу и на какое-то время скрылись из виду. Я воспользовался паузой, чтобы постараться вспомнить, кто эта дама, так хорошо, по-видимому, меня знавшая.

Мне пришла было мысль обернуться и присоединиться к разговору между моей прелестной воспитанницей и дочерью графини, чтобы подготовить сюрприз: узнать к возвращению графини ее имя, титул, название замка и поместья. Но тут как раз она вернулась в сопровождении бледного человека в черном. Проговорив напоследок: «Я извещу госпожу графиню, когда ее коляска подъедет к дверям», он с поклоном удалился.

Глава XII Просьба

«Значит, нам придется расстаться с госпожой графиней, но, надеюсь, всего лишь на несколько часов», — сказал я, низко кланяясь.

«Может быть, на несколько часов, а может, и на несколько недель.

Досадно: этот разговор с ним, именно сейчас… А теперь вы меня узнали?»

Я заверил ее, что нет.

«Вы узнаете, кто я, но не сейчас. Наша дружба более давняя и близкая, чем вы, возможно, подозреваете. Я не могу пока назвать себя. Через три недели я буду проезжать мимо вашего прекрасного замка — я о нем наводила справки. Тогда я загляну к вам на час-другой и мы возобновим нашу дружбу, оставившую у меня массу приятных воспоминаний. А сейчас неожиданные новости свалились на меня как снег на голову. Нужно незамедлительно отправляться в дорогу. Предстоит тяжелое путешествие, почти сто миль пути. Я в растерянности. Мой вынужденный отказ назвать свое имя ставит меня в затруднительное положение, мне ведь придется обратиться к вам с очень необычной просьбой. Моя дочь пока не успела полностью восстановить силы. Недавно она отправилась понаблюдать за охотой, ее лошадь упала, и бедная девочка еще не оправилась от шока. Наш врач сказал, что ей в ближайшее время решительно противопоказано всякое напряжение. Соответственно, мы прибыли сюда очень медленным темпом — не больше шести лиг в день. А теперь меня призывают дела чрезвычайной важности, ехать придется безостановочно день и ночь; речь идет о жизни и смерти. В чем заключается эта экстраординарная и спешная миссия, я смогу объяснить при нашей следующей встрече, которая, надеюсь, состоится через несколько недель, и тогда уже не будет необходимости что-либо скрывать».

Она продолжала излагать свою просьбу тоном человека, который просит скорее о совете, чем об услуге. Но это относилось только к ее манере говорить, видимо совершенно неосознанной. Сама просьба была составлена в самых умоляющих выражениях, какие только можно себе представить. Заключалась она ни более ни менее в том, чтобы я на время отсутствия графини взял на свое попечение ее дочь.

Это была, с учетом всех обстоятельств, странная, чтобы не сказать дерзкая, просьба. Графиня некоторым образом разоружила меня, перечислив и признав справедливыми все возможные возражения и положившись полностью на мое рыцарство. В ту же минуту по роковой случайности, которая, казалось, предопределила все, что произошло в дальнейшем, ко мне подошла моя бедная девочка и вполголоса стала меня упрашивать пригласить к нам ее новую подругу Милларку. Она только что постаралась выяснить, как Милларка отнесется к такому приглашению, и полагает, что та будет в восторге, при условии, конечно, что матушка не станет возражать.

При иных обстоятельствах я попросил бы Берту немного подождать,

пока мы, по крайней мере, не узнаем, кто такие наши собеседницы. Но у меня не было времени на размышления. Обе дамы совместно атаковали меня. Должен признаться, что изысканная красота молодой дамы, ее необычайное обаяние, а также элегантность и аристократичность побудили меня решиться, и, побежденный окончательно, я покорился и чересчур легкомысленно принял на себя заботу о девице, которую мать звала Милларкой.

Графиня кивнула дочери, и та выслушала серьезно и внимательно ее рассказ, составленный в самых общих выражениях, о том, какие внезапные и безотлагательные дела ее призывают, а также о том, что дочь остается на моем попечении. Графиня добавила, что я — один из ее самых давних и дорогих друзей.

Я, конечно, сказал несколько слов, приличествовавших случаю, и, поразмыслив, обнаружил, что попал в довольно щекотливое положение.

Господин в черном вернулся и очень церемонно проводил даму к выходу.

Поведение незнакомца убеждало меня в том, что графиня — особа более значительная, чем можно было предположить, судя по ее скромному титулу.

Напоследок графиня предупредила меня, чтобы я до ее возвращения не пытался узнать о ней больше, чем уже мог догадаться. Нашему уважаемому хозяину, у которого она гостила, известна причина.

«Здесь, — добавила она, — нам с дочерью задерживаться небезопасно. Около часа назад я неблагоразумно сняла на минуту маску, и мне показалось, что вы меня увидели. Тогда я решилась под каким-нибудь предлогом завести с вами разговор. Если бы выяснилось, что вы видели меня, я положилась бы на ваше благородство и просила хранить мою тайну несколько недель. Теперь я знаю, что ошиблась, но, если вы сейчас подозреваете или, по размышлении, заподозрите, кто я, — точно так же полностью вверяю себя вашему благородству. Моя дочь будет также хранить тайну. Не сомневаюсь, вы время от времени будете предостерегать Милларку, чтобы она по легкомыслию не проговорилась».

Графиня прошептала дочери несколько слов, дважды поцеловала ее в спешке, удалилась в сопровождении господина в черном и исчезла в толпе.

«Из окна соседней комнаты видна дверь холла, — сказала Милларка. — Я хочу посмотреть на маму в последний раз и послать ей воздушный поцелуй».

Мы, конечно, пошли вместе с ней. Мы выглянули из окна и обнаружили красивый старомодный экипаж, окруженный толпой курьеров

и слуг. Поблизости виднелась тонкая фигура бледного господина в черном. Он укутал плечи графини толстым бархатным плащом, который держал наготове, и набросил ей на голову капюшон. Она кивнула и слегка коснулась его руки. Господин в черном несколько раз низко поклонился, дверца закрылась, и экипаж тронулся с места.

«Уехала», — промолвила Милларка со вздохом.

«Уехала», — повторил я про себя, впервые — с тех пор, как согласился исполнить просьбу графини, — задумавшись о совершенном безумии.

«Вверх и не взглянула», — добавила молодая дама жалобно.

«Возможно, графиня сняла маску и не хотела, чтобы видели ее лицо, — сказал я, — и, кроме того, она не могла знать, что вы смотрите в окно».

Милларка вздохнула и перевела взгляд на меня. Она была так красива, что я смягчился. Мне стало стыдно, что я на мгновение раскаялся в своем гостеприимстве, и я вознамерился искупить свою мысленную невежливость.

Молодая дама, снова надев маску, вместе с моей воспитанницей уговорила меня вернуться в парк, где вскоре должен был возобновиться концерт. Мы так и сделали и стали прогуливаться по террасе под окнами замка. Милларка держалась по-свойски и развлекала нас живыми описаниями и историями из жизни знатных особ, которых мы видели на террасе. Мне она с каждой минутой все больше и больше нравилась. Ее безобидные сплетни казались мне очень занимательными, ведь я так давно не был в большом свете. Я не без удовольствия думал о том, как оживит ее присутствие наши, иногда одинокие, домашние вечера.

Бал продолжался чуть ли не до восхода солнца. Великий князь любит танцевать до рассвета, так что лояльные подданные и помыслить не могли уйти и лечь спать.

Мы как раз проходили через переполненный людьми зал, когда моя воспитанница спросила, куда подевалась Милларка. Я думал, что Милларка была с ней, а она — что со мной. Мы потеряли нашу новую знакомую из виду.

Все мои попытки найти ее оказались безуспешными. Я опасался, что, на мгновение отстав от нас, Милларка растерялась, приняла кого-то другого за своих новых друзей, последовала за этими людьми и потеряла их в обширном парке, где прогуливались участники празднеств.

Тут я в полной мере осознал, какую совершил глупость, взяв на свое попечение молодую даму, о которой не знал ничего, даже ее фамилии. Связав себя обещанием, смысла которого не понимал, я не мог даже указать, когда буду наводить справки, что разыскиваемая молодая дама —

дочь уехавшей несколько часов назад графини.

Наступило утро. Когда уже совсем рассвело, я прекратил поиски. Почти до двух часов дня мы не имели известий о моей пропавшей подопечной.

Около двух в дверь комнаты моей племянницы постучала служанка и сказала, что молодая дама, на вид очень расстроенная, поручила ей узнать, где можно найти генерала барона Шпильсдорфа и молодую госпожу, его дочь, на попечении которых ее оставила мать.

Несмотря на небольшую неточность, не приходилось сомневаться в том, что это нашлась наша юная подруга; так оно и было. Если бы Небу было угодно нас от нее избавить!

Она рассказала моей бедной девочке историю, оправдывавшую ее долгое отсутствие. Очень поздно, отчаявшись нас найти, она, по ее словам, пришла в комнату экономки и там крепко заснула. Спала долго, но все же едва восстановила силы после бала.

В тот же день Милларка отправилась с нами домой. В конечном счете я был очень доволен, что у моей дорогой девочки появилась такая очаровательная компаньонка.

Глава XIII Лесник

Вскоре, однако, выяснились некоторые неприятные обстоятельства. Милларка жаловалась на крайнюю слабость — последствие нервной болезни — и никогда не выходила из своей комнаты раньше полудня. Далее случайно обнаружилось, что, хотя она всегда запирала изнутри дверь своей спальни и никогда не вынимала ключ из замочной скважины, пока не наступало время впустить горничную, помогавшую ей одеться, тем не менее иногда рано утром ее, без сомнения, не было в комнате. То же повторялось несколько раз и позже, днем. Поиски продолжались, пока Милларка сама не давала о себе знать. Несколько раз из окон замка, когда заря еще только занималась, видели, как она шла через лес на восток и выглядела при этом как сомнамбула. Это убедило меня в том, что Милларка ходит во сне. Но эта гипотеза не объясняла всех загадок. Как она покидает свою комнату, если дверь остается запертой изнутри? Как выходит из дома, не отодвинув засовы на двери или на окне?

Не успело разрешиться это недоумение, как возникли гораздо более серьезные поводы для беспокойства.

Моя дорогая девочка стала терять красоту и здоровье таким загадочным и даже ужасным образом, что я был безумно напуган.

Началось все со страшных снов, потом ей стал видеться призрак, иногда похожий на Милларку, иногда — на какое-то животное туманных

очертаний, прохаживавшееся взад-вперед у кровати. Под конец возникли непонятные ощущения. Одно из них, не лишенное приятности, но очень странное, как она говорила, напоминало поток ледяной воды, омывающей грудь. В последнее время ей казалось, будто немного ниже горла ей в тело вонзаются две большие иглы, причиняя резкую боль. Еще через несколько ночей последовало постепенно нараставшее, конвульсивное ощущение удушья, а за ним — потеря сознания.

Я легко различала каждое слово, которое произносил милый старый генерал, потому что дорога уже приближалась к той самой разрушенной деревне, где последний очаг погас больше полувека назад, и мы теперь ехали по поросшей травой обочине.

Можете себе представить, какое странное чувство я испытывала, когда в рассказе о болезни бедной девушки, которая, если бы не произошло несчастье, была бы сейчас нашей гостьей, узнавала свои собственные симптомы, столь точно воспроизведенные. Представьте себе также, каково мне было выслушивать описание привычек и загадочных странностей, свойственных не кому иному, как нашей прекрасной гостье — Кармилле!

Мы выехали на открытое место и внезапно оказались в бывшей деревне, среди торчащих труб и фронтонов, а рядом, на пригорке, высились в окружении гигантских деревьев башни и зубчатые стены разрушенного замка.

Как в страшном сне, я вышла из экипажа. В молчании, так как всем нам было о чем поразмыслить, мы быстро поднялись по склону и начали бродить по просторным комнатам, винтовым лестницам и темным коридорам замка.

— И это было когда-то роскошным владением Карнштайнов! — сказал наконец старый генерал, взглянув из большого окна за деревню на безбрежные холмистые просторы леса. — Здесь обитали дурные люди, и в этих стенах писались анналы, запятнанные кровью, — продолжал он. — Ужасно, что эти монстры и после смерти продолжают преследовать род человеческий своими свирепыми страстями. Там внизу — часовня Карнштайнов.

Он указал на серые стены полускрытой листвой готической постройки, стоявшей немного ниже на склоне.

— Я слышу там, среди деревьев, окружающих часовню, стук топора, — добавил он. — Возможно, лесоруб даст нужные мне сведения и укажет могилу Миркаллы, графини Карнштайн. Одни лишь крестьяне и хранят фамильные предания здешних знатных родов. Обладатели титулов и состояний мгновенно все забывают, стоит только угаснуть самому роду.

— У нас дома есть портрет Миркаллы Карнштайн. Не хотите ли посмотреть? — спросил мой отец.

— С меня пока довольно, дорогой друг, — ответил генерал. — Думаю, что видел оригинал, и одной из причин, которые привели меня к вам раньше, чем я первоначально намеревался, было желание осмотреть ту самую часовню, в которую мы сейчас направляемся.

— Что, вы видели Миркаллу?! — воскликнул отец. — Но она мертва уже более века!

— Не так мертва, как вы думаете. Я об этом узнал недавно.

— Признаюсь, генерал, вы меня совершенно ошеломили, — отозвался отец.

В его взгляде мне почудилась та же тень сомнения, которую я заметила раньше. Но хотя временами в манерах старого генерала отражались гнев и ненависть, признаков сумасшествия в них не было.

Когда мы проходили под тяжелой аркой готической церкви — размеры часовни позволяли присвоить ей это наименование, — генерал произнес:

— У меня, в те немногие годы, что еще отпущены мне на земле, остается только одна цель: осуществить месть, на которую, слава богу, способна рука смертного.

— О какой мести вы говорите? — вопросил отец, все более изумляясь.

— Я говорю о том, чтобы обезглавить чудовище. — Вспыхнув от ярости, генерал топнул ногой, отчего в глубине руин мрачно откликнулось гулкое эхо. Подняв сжатый кулак, он свирепо рассек им воздух, словно бы орудовал топором.

— Что?! — воскликнул отец в замешательстве.

— Отсечь ей голову.

— Отрубить ей голову?

— Да, топором, заступом — чем угодно, что может рассечь эту проклятую глотку. Увидите. — Генерал содрогнулся от гнева. Он продолжал на ходу: — На этот брус можно присесть; ваша милая дочь устала, пусть она посидит, а я в нескольких словах завершу свою страшную историю.

Прямоугольный деревянный брус, лежавший на поросшем травой полу часовни, мог служить скамьей, и я охотно села. Генерал тем временем подозвал лесоруба, который обрубал сучья, упиравшиеся в старые стены; и вот этот крепкий малый с топором в руках предстал перед нами.

Он не ведал ничего о могилах, но сказал, что один старик, здешний лесничий, который живет в настоящее время в доме священника в двух милях отсюда, знает каждое надгробие старинного рода Карнштайн. За

небольшие чаевые лесоруб брался, если мы одолжим ему одну из наших лошадей, привезти старика сюда за полчаса с небольшим; что он и сделал.

— Давно вы служите в здешнем лесу? — спросил старика мой отец.

— Я здесь в лесниках, у старшего лесничего в подчинении, сколько себя помню, — отвечал он на своем patois, [18] — а до меня — папаша мой и все мои деды и прадеды, каких я знаю. Могу вам в здешней деревне тот самый дом указать, где мои предки жили испокон веку.

— А как случилось, что деревня опустела? — спросил генерал.

— Мертвяки тут пошаливали, ваша милость. После их выследили, могилы раскопали, все, как положено, проверили и поступили по закону: головы отсекли, колья вогнали и сожгли их на костре, но прежде того они много селян сгубили. Все было устроено, как закон велит, — продолжал он, — могил раскопали видимо-невидимо, оживших мертвецов отправили на тот свет, а в деревне — все неспокойно. Но тут случилось одному знатному господину из Моравии проезжать по здешним местам. Дошло до него, что здесь за дела творятся, и взялся он избавить нашу деревню от этой напасти. Он в этих делах знал толк — в тамошних краях таких мастаков много. Вот что он сделал: дождался ночи, когда ярко светила луна, и, как зашло солнце, поднялся на башню вот этой самой церкви. Оттуда кладбище, что внизу, видно как на ладони. Глядит он и видит: вампир вылезает из могилы, полотно, в которое был завернут, рядышком складывает и шасть в деревню — народ изводить.

Чужеземный господин сошел тогда с башни, прихватил саван и взобрался с ним обратно. Вампир воротился, а савана как не бывало.

Углядел он на башне того господина из Моравии и как закричит на него. А тот ему в ответ знак подает: полезай, мол, сюда, забирай свое добро. Вампир послушался, стал карабкаться на крышу. Долез до края, а моравский господин мечом ему череп надвое и расколол и спихнул его вниз, на церковный двор. А после сошел по винтовой лестнице и отсек ему голову. А на другой день отнес ее с телом вместе в деревню, а там народ вбил в вампира кол, а после сжег, как заведено.

Тот знатный моравский господин имел позволение от тогдашнего старшего в роду перенести гробницу Миркаллы, графини Карнштайн. Так он и сделал, и скоро все позабыли, где она стояла прежде.

— А ты не можешь показать нам, где она была? — спросил генерал нетерпеливо.

Лесник покачал головой и улыбнулся.

— Теперь это ни единой живой душе неведомо, да и тело, говорят, снесли в другое место; но и этого вам в точности никто не скажет.

Закончив рассказ, лесник второпях уронил на землю топор и удалился, а мы остались дослушивать странную историю генерала.

Глава XIV Встреча

— Моей дорогой девочке, — снова заговорил генерал, — становилось все хуже и хуже. Врач, который лечил ее, оказался бессильным справиться с болезнью — а я тогда считал это болезнью. Он видел мою тревогу и предложил устроить консультацию. Я пригласил более знающего врача из Граца. Через несколько дней доктор прибыл. Он оказался добрым, набожным, а также и ученым человеком. Осмотрев вместе мою бедную воспитанницу, оба врача удалились в библиотеку для совещания. Из соседней комнаты мне слышно было, что их голоса звучат несколько резче, чем бывает при отвлеченной дискуссии. Я постучал в дверь и вошел. Оказалось, что старый доктор из Граца излагает свою теорию, а соперник оспаривает его слова с нескрываемой насмешкой, разражаясь при этом приступами хохота. С моим приходом неподобающие проявления прекратились, и перебранка закончилась.

«Сударь, — сказал мой первый врач, — мой ученый собрат, видимо, считает, что вам надобен не доктор, а заклинатель».

«Простите, — проговорил старый врач из Граца с недовольным видом. — Я изложу свой собственный взгляд на этот случай в другой раз. Остается только сожалеть, Monsieur le General, [19] что мое искусство и познания оказались ненужными. Перед уходом я буду иметь честь кое-что вам сообщить».

С задумчивым видом доктор уселся за стол и принялся писать. Глубоко разочарованный, я откланялся. Когда я повернулся, чтобы выйти из комнаты, второй врач указал через плечо на своего пишущего коллегу, а потом, пожав плечами, многозначительно постучал себя по лбу.

Консультация, таким образом, не сдвинула дело с мертвой точки. Опечаленный, я вышел в парк. Через десять или пятнадцать минут меня догнал доктор из Граца. Он попросил прощения за то, что пошел за мной, но, как он сказал, совесть не позволяла ему уйти, не добавив еще несколько слов. Он уверен, что не мог ошибиться: таких симптомов не бывает ни при одной естественной болезни. Смерть уже очень близка. Больной осталось жить день, может быть, два. Если бы удалось предотвратить роковой припадок, то при большом старании и искусстве, вероятно, можно было бы вернуть ее к жизни. Но сейчас болезнь находится на грани необратимости. Еще одна атака — и исчезнет последняя искра жизни, которая в любой момент готова погаснуть.

«О каких припадках вы говорите?» — взмолился я.

«Все сказано в этой записке, которую я передаю вам из рук в руки и ставлю непременное условие, чтобы вы послали за ближайшим священником и вскрыли письмо в его присутствии. Ни в коем случае не читайте записку до прибытия священника не исключено, что вы ею пренебрежете, а речь идет о жизни и смерти. Если вам не удастся найти священника тогда, конечно, можете прочесть записку сами».

Прежде чем окончательно распрощаться, доктор спросил, не пожелаю ли я встретиться с человеком, необычайно сведущим в тех предметах, которые, возможно, по прочтении письма будут интересовать меня более всего остального. Доктор с большой серьезностью порекомендовал мне пригласить этого человека к себе.

Священника не нашли, и я прочитал письмо один. В иное время или при иных обстоятельствах оно бы позабавило меня. Но к каким только шарлатанским выдумкам не прибегают люди в погоне за последним шансом, когда все привычные средства оказались бесполезны, а жизнь любимого существа висит на волоске?

Вы сказали бы, что не может быть ничего абсурдней, чем письмо этого ученого человека. Оно было настолько чудовищным, что могло бы послужить основанием для помещения доктора в сумасшедший дом. Он утверждал, что пациентка страдала от посещений вампира! Уколы пониже горла, которые она описывала, по его словам, были уколом двух длинных, тонких и острых зубов, которые, как хорошо известно, являются характерной принадлежностью вампиров. Не вызывает сомнения, добавлял он, наличие небольших синеватых отметок, которые все авторы, их описывающие, в один голос называют следами дьявольских губ; все симптомы, о которых рассказывала больная, в точности повторяют жалобы других жертв.

Будучи абсолютным скептиком в отношении таких сверхъестественных существ, как вампиры, я усмотрел в мистической теории, выдвинутой любезным доктором, еще один пример странной смеси ума и учености с некоторой наклонностью к галлюцинациям. Однако я был в такой беде, что предпочел действовать в соответствии с инструкциями, данными в письме, чем сидеть сложа руки.

Я спрятался в темной туалетной комнате, смежной со спальней бедной больной. В спальне горела свеча, и мне было видно, что Берта заснула. Я стоял у двери, глядя в щелку. На столике позади меня лежал меч — я в точности следовал указаниям доктора. В начале второго ночи я увидел, как некое живое существо, крупное и черное, весьма неопределенных очертаний, прокралось как будто в изножье постели, а затем проворно

припало к горлу бедной девочки, где мгновенно раздулось в большую пульсирующую массу.

Несколько мгновений я стоял словно окаменев. Потом бросился вперед с мечом в руках. Черное существо внезапно отпрянуло, скользнуло вниз, и тут же я увидел, что приблизительно в ярде от кровати, устремив на меня горящий злобой и ужасом взгляд, стоит Милларка. Недолго думая, я ударил ее мечом, но в то же мгновение она оказалась у двери, совершенно невредимая. В ужасе я бросился за ней и ударил снова. Милларка исчезла! А меч разлетелся вдребезги, угодив в дверь.

Не могу вам описать, что творилось в доме в ту жуткую ночь. Все были на ногах, все суетились. Призрак Милларки исчез. Но жертва быстро слабела и до восхода солнца умерла.

Старый генерал был взволнован. Мы не вступали с ним в разговор. Мой отец отошел немного в сторону и принялся читать надписи на могильных плитах. Продолжая изучать надгробия, он шагнул в боковой придел. Генерал прислонился к стене, вытер глаза и тяжко вздохнул. Тут я с облегчением услышала приближавшиеся голоса Кармиллы и мадам. Голоса смолкли.

Среди безлюдных руин я выслушала только что странную историю, имевшую отношение к властительным, титулованным мертвецам, чьи надгробия истлевали вокруг под покровом пыли и плюща, а с другой стороны — пугающе сходную с таинственными событиями моей собственной жизни; и вот в этом призрачном месте, в тени изобильной листвы, которая нависала со всех сторон высоко над безмолвными стенами, я почувствовала, как ко мне подкрадывается ужас. У меня сердце упало при мысли, что мои подруги не решились войти и потревожить эти печальные и зловещие развалины.

Старый генерал устремил глаза в землю и оперся рукой об основание разбитого надгробия.

И тут я с радостью увидела в узком стрельчатом дверном проеме (его венчал резной демонический гротеск — излюбленный мотив циничной и устрашающей фантазии старых мастеров готики) красивое лицо Кармиллы, входившей в сумрачную часовню.

Я уже собиралась встать и заговорить и кивнула, улыбаясь в ответ на ее необычайно обаятельную улыбку, когда наш престарелый спутник с криком схватил топорик лесоруба и бросился вперед. При виде его черты Кармиллы преобразились, превращаясь в звериные. Пока она, припадая к земле, делала шаг назад, произошла мгновенная жуткая метаморфоза. Прежде чем я успела вскрикнуть, генерал размахнулся, но Кармилла

нырнула под его ударом и, оставшись невредимой, своей крошечной ручкой схватила его за запястье. Несколько мгновений генерал пытался освободить свою руку, но она разжалась, топор упал, а девушка исчезла.

Пошатываясь, генерал прислонился к стене. Его седые волосы стояли дыбом, на лице выступила испарина, как в агонии.

Эта страшная сцена разыгралась молниеносно. Далее я помню стоящую передо мной мадам, которая нетерпеливо снова и снова задает вопрос:

— Где мадемуазель Кармилла?

Я наконец ответила:

— Не знаю… не могу сказать… она направилась туда. — Я указала на дверь, через которую только что вошла мадам. — Всего лишь минуту-другую назад.

— Но я, расставшись с мадемуазель Кармиллой, все время стояла здесь, в проходе, — и она не возвращалась.

Потом мадам начала звать Кармиллу, высовываясь поочередно во все двери, проходы и окна, но ответа не было.

— Она назвалась Кармиллой? — спросил генерал, все еще волнуясь.

— Да, Кармиллой, — ответила я.

— Ага, это Милларка. Ее же в очень давние времена именовали Миркалла, графиня Карнштайн. Прочь от этого проклятого места, моя бедная девочка, и чем скорее, тем лучше. Поезжай в дом священника и оставайся там до нашего прибытия. Иди! Лучше тебе никогда больше не видеть Кармиллу; здесь ты ее не найдешь.

Глава XV Суд и казнь

Тут в дверь капеллы, откуда появилась и где исчезла затем Кармилла, вошел самый странный человек, какого я когда-либо видела. Он был высок, узкогруд, сутул, одет в черное. Лицо у него было смуглое и высохшее, в глубоких складках; на голове причудливой формы широкополая шляпа. Волосы, длинные и седеющие, спускались ему на плечи. На носу сидели очки в золотой оправе. Шел он медленно, странной шаркающей походкой. На лице, обращенном то вверх, в небеса то вниз, в землю, казалось, навечно застыла улыбка; длинные руки чудака болтались, а тонкие кисти, облаченные в старые черные перчатки, слишком широкие для них, махали и жестикулировали будто сами по себе.

— Это он! — воскликнул явно обрадованный генерал, шагнув вперед. — Мой дорогой барон, счастлив вас видеть; я и не надеялся встретиться с вами так скоро.

Генерал подал знак моему отцу, который уже успел вернуться, и

подвел к нему этого чудного старого господина, которого называл бароном. Генерал по всей форме представил их друг другу, и они сразу вступили в серьезную беседу. Незнакомец вынул из кармана какой-то свиток, развернул его и положил на стертое надгробие, стоявшее рядом. В руках у него был пенал, которым он проводил воображаемые линии, соединявшие различные точки на бумаге. Поскольку все трое переводили взгляд то в одну, то в другую точку здания, я поняла, что в руках у барона план капеллы. Свою, можно сказать, лекцию он сопровождал время от времени чтением отрывков из потертой книжечки, пожелтевшие страницы которой были плотно исписаны.

Отец, генерал и барон, беседуя на ходу, прошлись в конец бокового придела (я стояла напротив), потом принялись большими шагами мерить расстояние; наконец все трое остановились и начали пристально разглядывать обломок стены. Они отстраняли плющ, за него цеплявшийся, постукивали тростями по штукатурке, местами соскребая, местами сбивая ее. В конце концов им удалось обнаружить широкую мраморную плиту с рельефной надписью.

С помощью лесоруба, который вскоре вернулся, они расчистили монументальную надпись и высеченный в камне герб. Это оказалось давно потерянное надгробие Миркаллы, графини Карнштайн.

Старый генерал, боюсь, не отличавшийся набожностью, воздел руки и глаза к небесам в немой благодарственной молитве.

— Завтра, — услышала я его голос, — сюда прибудет член Имперской комиссии и будет предпринято расследование в соответствии с законом. — Затем, повернувшись к старому господину в золотых очках, которого я вам описала, генерал сердечно пожал ему обе руки: — Барон, как мне благодарить вас? Как нам всем вас благодарить? Вы избавите эти края от чумы, которая более полувека косила здешних обитателей. Слава богу, мы наконец выследили нашего страшного врага.

Мой отец отвел незнакомца в сторону, генерал последовал за ними. Я догадалась: отец отводит их подальше, чтобы рассказать о моих приключениях. Во время разговора как я заметила, они нередко бросали взгляды в мою сторону.

Отец подошел ко мне, несколько раз поцеловал, и повел прочь из часовни.

— Нам пора, но, прежде чем мы отправимся домой, нам нужен в компанию тот добрый священник, который живет поблизости; нужно уговорить его поехать с нами в замок.

Священник нашелся, и я была рада наконец оказаться дома, потому что

страшно устала. Но удовлетворение быстро сменилось испугом, когда я обнаружила, что от Кармиллы нет известий. Никто не объяснил мне сцену, разыгравшуюся в развалинах часовни, и было понятно, что отец намерен пока держать меня в неведении.

Еще страшнее мне было вспоминать о происшедшем из-за зловещего отсутствия Кармиллы. Ночному сну предшествовали на этот раз странные приготовления. Две служанки и мадам дежурили ночью в спальне, а священник вместе с моим отцом — в прилегавшей к ней туалетной.

Священник совершил вечером какой-то торжественный ритуал, смысл которого я понимала не больше, чем причины из ряда вон выходящих мер предосторожности, призванных обеспечить мою безопасность во время сна.

Несколькими днями позже я узнала все.

С исчезновением Кармиллы прекратились мои ночные мучения.

Вы слышали, несомненно, об ужасном суеверии, которое распространено в Верхней и Нижней Штирии, в Моравии, в Силезии, в турецкой Сербии, в Польше, даже в России, а именно о вере в вампиров, которую принято называть суеверием.

Если чего-нибудь стоят свидетельские показания, принесенные по всей форме, в торжественной обстановке, в соответствии с судебной процедурой, перед бесчисленными комиссиями из множества членов, известных своей честностью и умом, составивших такие объемные отчеты, каких не удостоился ни один другой предмет, — если все это чего-нибудь стоит, тогда трудно отрицать существование такого феномена, как вампиризм, трудно даже сомневаться в нем.

Что касается меня, то мне не приходилось слышать другой теории, объяснявшей события, очевидцем и участницей которых я стала, кроме этих старинных и подкрепленных многочисленными свидетельствами народных верований.

На следующий день в капелле Карнштайна состоялось заседание судебной комиссии. Могила графини Миркаллы была вскрыта; генерал и мой отец опознали в той женщине, лицо которой открылось взглядам, свою вероломную и прекрасную гостью. Ее кожа, хотя со времени погребения прошло уже сто пятьдесят лет, была окрашена в теплые, живые тона, глаза открыты; из гроба не исходил трупный запах. Два медика, один состоявший на службе в комиссии, другой — со стороны следствия, засвидетельствовали тот удивительный факт, что имелось слабое, но различимое дыхание и соответствующее биение сердца. Конечности сохранили гибкость, кожа — эластичность, а свинцовый гроб был наполнен

кровью, в которую на глубину в семь дюймов было погружено тело. Таким образом, здесь имелись все признаки и доказательства вампиризма. Поэтому тело, в соответствии с издавна заведенным порядком, извлекли из гроба и в сердце вампира вогнали острый кол. При этом вампир издал пронзительный вопль, точь-в-точь похожий на предсмертный крик живого человека. Мертвецу отсекли голову, и из отделенного затылка хлынул поток крови. Тело и голову положили затем на костер и сожгли, а пепел бросили в реку. Река унесла его, а здешние края с тех пор были навечно избавлены от вампира.

У моего отца есть копия отчета Имперской комиссии с подписями всех участников заседания, удостоверяющими правдивость сказанного. Именно из этого официального документа я позаимствовала свой краткий рассказ о последней жуткой сцене.

Глава XVI Заключение

Вы возможно, считаете, что все это пишется вполне хладнокровно. Ничего подобного; я не могу вспоминать происшедшее без волнения. Только ваши неоднократно высказанные настоятельные просьбы побудили меня взяться за занятие, которое на несколько месяцев вывело меня из равновесия и снова вызвало к жизни тень неизъяснимого ужаса, многие годы наполнявшего страхом мои дни и ночи и делавшего непереносимым одиночество.

Позвольте мне добавить несколько слов о бароне Форденбурге, том самом чудаке, любознательности и эрудиции которого мы обязаны обнаружением могилы графини Миркаллы.

Он обосновался в Граце, где, живя на жалкие гроши, оставшиеся ему от когда-то роскошных родовых поместий в Верхней Штирии, посвятил себя детальному старательному исследованию вампиризма, этих чудесным образом подтвердившихся преданий. Барон изучил как свои пять пальцев все большие и малые труды, посвященные этому предмету: «Magia Posthuma», Phlegon «De Mirabilibus», Augustinus «De cura pro Mortuis», «Philosophiae et Christianae Cogitationes de Vampiris» [20] Иоганна Кристофера Харенберга и множество других — из их числа я припоминаю только те несколько книг, которые он давал моему отцу. У барона имелся объемистый сборник решений суда, основываясь на которых он вывел систему принципов (часть из них действует всегда, другие — только в отдельных случаях), управляющих существованием вампиров. Замечу между прочим, что мертвенная бледность, приписываемая этим выходцам с того света, не более чем мелодраматическая выдумка. Как в могиле, так и в человеческом обществе они являют видимость жизнеспособности и

здоровья. Будучи извлеченными на свет божий, они демонстрируют все те признаки, которые послужили доказательством, что давно умершая графиня Карнштайн ведет существование вампира.

Как они умудряются каждый день в определенные часы ускользать из могил и возвращаться в них, не потревожив могильную насыпь, гроб и саван, — всегда признавалось совершенно необъяснимым. Двойственное существование вампира поддерживается ежедневным сном в могиле. Отвратительное пристрастие вампира к человеческой крови подкрепляет его силы во время бодрствования. Вампиры склонны подпадать под очарование некоторых людей. Эта всепоглощающая страсть напоминает любовь. Следуя за предметом своей страсти, вампиру приходится проявлять неистощимое терпение и хитрость, потому что доступ к тому может быть затруднителен из-за множества различных обстоятельств. Вампир никогда не отступается, пока не насытит свою страсть, высосав до капли жизненный источник желанной жертвы. Но он с утонченностью эпикурейца будет лелеять и растягивать удовольствие и умножать его, прибегая к приемам, напоминающим постепенное искусное ухаживание. В таких обстоятельствах вампир, по-видимому, стремится к чему-то вроде взаимности и согласия. Обычно же он подступает к жертве сразу, неистово на нее набрасывается и часто удушает и высасывает за одну трапезу.

Иногда вампир, как представляется, вынужден выполнять некие особые условия. В том случае, о котором я вам рассказала, Миркалла, кажется, должна была носить если не свое настоящее имя, то, по крайней мере, составленное из тех же букв, без единого изъятия или добавления, то есть анаграмму своего имени. Имя Кармилла этому условию соответствует, Милларка — тоже.

Отец рассказал Форденбургу, когда тот жил у нас в доме две или три недели после изгнания Кармиллы, историю о моравском дворянине и вампире с карнштайнского кладбища, а потом спросил барона, как ему удалось определить точное местоположение могилы графини Миркаллы. Гротескное лицо барона сложилось в таинственную улыбку. Продолжая улыбаться, он уставился вниз, на потертый футляр от очков, повертел его в руках. Потом, подняв глаза, сказал:

— У меня имеется много дневников и других бумаг, написанных этим замечательным человеком, и в самой любопытной из них описывается то самое посещение Карнштайна, о котором вы говорите. Предание, конечно, немного все искажает. Этого человека можно назвать моравским дворянином, потому что он поменял свое место обитания, переселившись в Моравию, и был, кроме того, дворянином. Но на самом деле он был

уроженцем Верхней Штирии. Достаточно сказать, что в очень ранней юности он был страстным и пользовавшимся взаимностью обожателем прекрасной Миркаллы, графини Карнштайн. Ее ранняя смерть повергла поклонника в неутешное горе. Вампирам свойственно умножаться в числе, но подчиняясь при этом определенным законам мира призраков.

Представим себе, для начала, местность, совершенно свободную от этой напасти. Как же это зло возникает и как приумножается? Сейчас расскажу. Некий человек, более или менее безнравственный, накладывает на себя руки. Самоубийца при определенных обстоятельствах становится вампиром. Этот призрак посещает живых людей во время сна. Они умирают и в могиле почти всегда превращаются в вампиров. Так случилось и с прекрасной Миркаллой, которую преследовал один из этих демонов. Мой предок, Форденбург, титул которого я по-прежнему ношу, вскоре это обнаружил и в ходе научных изысканий, которыми он занимался, узнал еще очень многое.

Помимо прочего, Форденбург заключил, что подозрение в вампиризме, вероятно, рано или поздно падет на покойную графиню, которая при жизни была его кумиром. Кем бы она ни была теперь, он ужаснулся при мысли, что ее останки могут подвергнуться надругательству посмертной экзекуции. Мой предок оставил любопытную бумагу, в которой доказывал, что вампир, лишенный своего двойственного существования, бывает перенесен в другую жизнь, еще более страшную. Он решил спасти свою некогда любимую Миркаллу от такой участи.

Для этого мой предок прибег к хитрости. Он приехал сюда и сделал вид, что перенес останки графини Карнштайн, а в действительности только уничтожил надгробие. Когда же он состарился и с высоты прожитых лет взглянул на прошлое и по-иному оценил свой поступок, его охватил ужас. Он оставил план и заметки, которые помогли мне найти то место, и написал признание в совершенном обмане. Возможно, Форденбург собирался еще что-то предпринять, но смерть помешала ему; и только отдаленному его потомку, для многих, увы, слишком поздно, удалось выследить это чудовище в его логове.

Мы побеседовали еще немного, и помимо прочего барон сказал следующее:

— Один из признаков вампира — сила его руки. Тонкая рука Миркаллы сомкнулась как стальные тиски на запястье генерала, когда тот занес топор для удара. Но сила вампира этим не ограничивается: конечности, которые он сжимал, немеют и восстанавливают подвижность медленно и не всегда.

Следующей весной отец взял меня в путешествие по Италии. Мы пробыли там больше года. Но прошло еще много времени, прежде чем ужас от пережитого стал забываться, и теперь Кармилла вспоминается мне в двух различных образах: иногда — как шаловливая, томная, красивая девушка, иногда — как корчащийся демон, которого я видела в разрушенной церкви. И часто, задумываясь, я вздрагиваю, когда мне чудятся легкие шаги Кармиллы у двери гостиной.

Ф. Лж. Лоринг

Фредерик Лжордж Лоринг (1869–1951) — британский автор, о котором известно крайне мало; «История радиовещания в Соединенном Королевстве» (1961) А. Бриггса сообщает, что в ранние годы трансатлантических сообщений он был связан с почтовым ведомством, занимая должность инспектора телеграфной радиосвязи.

В 1973 году вышел в международный прокат снятый в Турции малобюджетный испано-американский фильм «Могила на проклятом острове» (английское прокатное название — «Склеп живых мертвецов»), поставленный Хулио Сальвадором и Рэем Дэнтоном по сценарию Рикардо Феррера с участием Эндрю Прайна, Патти Шепард и Марка Дэймона. Сюжет этой вялой, медленно развивающейся вампирской истории, судя по всему, восходит к рассказу Лоринга «Могила Сары», который, впрочем, не упомянут в титрах.

Рассказ был впервые опубликован в «Пэлл-Мэлл мэгэзин» в феврале 1900 года.

Могила Сары

Около шестидесяти лет назад мой отец был главой фирмы, занимавшейся реставрацией и отделкой церквей. Свою работу он обожал; кроме того, он изучал старинные легенды и семейные предания, которые попадались ему в ходе исследований. Отец пользовался авторитетом во всем, что касалось фольклора и историй о врачеваниях. Поскольку он тщательным образом записывал каждый запомнившийся случай, после его смерти остались очень интересные записки. Среди них я выбрал эту историю — на мой взгляд, самую странную и таинственную. Представляя ее на суд читателя, я считаю излишним извиняться за то, что речь пойдет о событиях сверхъестественных.

ДНЕВНИК МОЕГО ОТЦА

Год 1841, 17 июня. Получил письмо от моего друга, приходского священника Питера Гранта с просьбой расширить и отреставрировать алтарь его церкви в селении Хагарстоун, расположенном среди лесов на западе страны.

5 июля. Отравился в Хагарстоун со старшим рабочим Сомерсом. Очень долгое и утомительное путешествие.

7 июля. Работа началась. Церковь старинная, для любителя древностей — просто находка, поэтому я сделаю все возможное, чтобы в ходе реставрации не пострадала ни единая деталь. Правда, одну могилу все же придется передвинуть футов на десять в сторону. Замечу, что на этой могиле довольно неприятная латинская надпись; жаль, что придется передвигать именно ее. Она находится среди могил семьи Кеньон, старинного рода, полностью вымершего. Надпись гласит:

САРА

1630

Во имя покоя мертвых и благополучия живые пусть никто не тревожит этот склеп и его обитателя до самого пришествия Христа. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

8 июля. Держал совет с Грантом по поводу «могилы Сары». Нам обоим не хочется ее трогать, однако грунт в том месте просел настолько, что это небезопасно для церкви. Выбора у нас нет. Постараемся выполнить работу как можно осторожнее; все будет происходить под нашим строгим контролем.

Грант рассказал, что про эту могилу ходит одна легенда. Говорят, что это могила последней представительницы рода Кеньонов, ужасной графини Сары, убитой в 1630 году. Она жила одиноко в своем старом замке, чьи руины еще можно увидеть в трех милях от Бристоля. О графине ходили дурные слухи. Она была то ли ведьмой, то ли оборотнем; ее единственным другом и компаньоном был огромный волк. Эта тварь якобы нападала на детей, а если детей не было, то на овец и других животных, утаскивала их в замок, и там графиня высасывала из них кровь. Считали, что убить графиню нельзя, ибо она бессмертна. Правда, это оказалось вымыслом, поскольку в один прекрасный день ее задушила местная сумасшедшая крестьянка, потерявшая двоих детей — по ее словам, их утащила к себе в замок графиня. Весьма любопытная история. Она указывает, что и в наших краях существуют поверья, схожие с историями о вампирах, распространенными в Европе, точнее, в Словении и Венгрии.

Могила выложена плитами из черного мрамора, ее венчает огромная мраморная глыба того же цвета. На мраморе высечен странный рисунок: красивая молодая женщина полулежит на кушетке, ее шею обвивает веревка, конец которой женщина держит в руках. Рядом стоит огромная собака с высунутым языком и оскаленными клыками. На лице женщины застыло жестокое выражение, уголки губ слегка приподняты и видны зубы

— длинные и острые, словно у волка или собаки. Весь рисунок, хотя и превосходно выполненный, оставляет крайне неприятное впечатление.

Передвигать могилу придется по частям — сначала надгробный камень, затем все остальное. Завтра будем сдвигать камень.

9 июля. 6 часов вечера. Очень странный день.

К полудню все было готово. После обеда рабочие взялись за блоки и тросы. Надгробный камень сдвинулся легко, хотя стоял очень крепко и для верности был скреплен с мраморными плитами раствором или мастикой, чтобы внутрь могилы не попадал воздух.

Никто из нас не ожидал, что из могилы ударит такой тошнотворный, спертый воздух. Когда же надгробие медленно поднялось вверх и мы смогли заглянуть в гробницу, то увидели нечто ужасное. В могиле лежало полностью одетое тело женщины, иссохшее, съежившееся и такое бледное, словно она умерла от голода. На шее покойницы была затянута веревка. Судя по рубцам, рассказ об удушении оказался правдой.

Однако самое странное — и страшное — было то, что тело прекрасно сохранилось. Если бы не жуткая худоба, могло бы показаться, что женщина умерла совсем недавно. Плоть была мягкой и белой, широко раскрытые глаза смотрели на нас со страхом, но осмысленно. Тело лежало прямо в сырой земле, без гроба или хотя бы мешка.

Несколько минут все молча созерцали ужасное зрелище, а затем рабочие принялись умолять нас вернуть плиту на место. Разумеется, мы этого не сделали, однако я послал за плотниками, чтобы устроить нечто вроде деревянной крышки и прикрыть могилу, пока мы будем передвигать ее на новое место. Это долгое и трудное дело. Думаю, нам понадобится дня два или три.

9 часов вечера. Когда начался закат, в округе внезапно завыли собаки. Так продолжалось минут десять или пятнадцать, затем вой разом стих. Это, да еще странный туман, окутавший церковь, не дает мне покоя — я со страхом думаю о «могиле Сары». Согласно поверьям тех стран, где верят в существование вампиров, внезапное беспокойство собак и волков в закатные часы указывает на присутствие нечисти, а уж туман — это верный знак. Вампиры умеют создавать туман, чтобы под его завесой незаметно передвигаться, а в случае необходимости и скрыться.

Не осмеливаюсь рассказать о своих подозрениях священнику Гранту, поскольку он ярый противник народных суеверий. Между тем я убедился на собственном опыте, что разумность этих суеверий не только возможна, но и весьма вероятна. Придется работать в одиночку; потом попытаюсь сделать так, чтобы он помогал мне, сам того не сознавая. Буду

бодрствовать, по крайней мере, до полуночи.

22.15. Случилось то, чего я ожидал и боялся. Около десяти вновь раздался ужасающий вой. Он зазвучал со стороны церкви и начался на самых ужасных, душераздирающих нотах, так что в жилах стыла кровь. Вой длился несколько минут, затем я увидел, как рядом метнулась большая тень, словно пробежала огромная собака. Зверь на бешеной скорости мчался в поля. Если это то, чего я опасаюсь, он вернется вскоре после полуночи.

00.30. Я оказался прав. Около полуночи я увидел, что зверь возвращается. Он остановился возле того места, откуда выползал туман, задрал голову и издал тот пронзительный вой, который я уже слышал накануне.

Завтра расскажу пастору, что я видел; и если, как я и предполагаю, где-то поблизости будут обнаружены зарезанные овцы, я уговорю пастора проследить вместе со мной за таинственным ночным разбойником. Я покажу ему «могилу Сары» — возможно, пастор все поймет сам, без моей помощи.

10 июля. Сегодня утром рабочие только и говорили, что о жутком вое собак.

— Не нравится нам это, сэр, — сказал один из них, — не нравится. Кто-то здесь бродит по ночам. Нечистая сила, не иначе.

Они перепугались еще больше, когда стало известно, что ночью в одну из овчарен забралась огромная собака, утащила трех овец и перегрызла им горло.

Я рассказал священнику о том, что видел ночью, и о том, что говорят в округе. Он сразу же решил, что мы должны попытаться поймать это животное или хотя бы выяснить, что это такое. «Я уверен, — сказал пастор, — это чья-то собака. Наверное, ее привезли недавно, поскольку я знаю всех местных собак, и среди них ни одной такой огромной, как вы описываете. Впрочем, возможно, лунный свет помешал вам разглядеть ее как следует».

В тот же день я попросил священника оказать мне услугу помочь поднять деревянное надгробие на могиле. Я объяснил это тем, что мне нужно взять образец раствора, которым надгробный камень скреплялся с могильной плитой. После недолгого колебания он согласился, и мы подняли крышку. Зрелище, представшее перед нами, повергло меня в ужас, а Грант пришел в изумление.

— Господи боже! — воскликнул он. — Эта женщина жива!

Так казалось. Труп уже не напоминал скелет — он выглядел так, словно покойник умер совсем недавно. Тело было по-прежнему

сморщенным и съежившимся, однако губы налились и приобрели здоровый ярко-красный цвет. Взгляд женщины по-прежнему ужасал, но ее глаза смотрели, если можно так выразиться, совершенно осмысленно. В уголке рта покойницы я заметил маленькое темное пятнышко, однако священнику ничего не сказал.

— Берите скорее свой раствор, Гарри, — задыхаясь, сказал Грант, — и закроем могилу! Господи, спаси и помилуй! Хоть я и священник, но такие лица меня пугают!

Должен признать, у меня тоже не было никакого желания разглядывать ужасное лицо, и все же я взял пробу раствора, а также на шаг приблизился к разгадке тайны.

В тот же день могилу передвинули на несколько футов, но водрузить на место надгробный камень мы сможем лишь через два-три дня.

22.15. Вновь тот же вой на закате, тот же туман вокруг церкви, и в десять часов тот же самый огромный зверь тихо скользнул мимо меня и направился в поля. Нужно позвать священника — мы вместе будем ждать возвращения зверя. Однако следует принять меры предосторожности, ибо я подозреваю, то мы рискуем жизнью, разгуливая в ночи, где рыщет вампир. Почему бы не признать это прямо сейчас? Несомненно, огромный зверь, убегающий по ночам в поля, это вампир, воплощение злобной твари из могилы.

Слава богу, что она еще не набрала достаточно сил! Она голодала более двух веков и пока может только рыскать по округе в образе волка. Однако через день-два, когда к ней вернутся силы, ужасная женщина встанет из могилы. Вернув себе силы и красоту, она выйдет на поверхность и тогда… Тогда ей понадобятся не овцы, а люди, вернее, их жизненные силы, которые они будут отдавать в ответ на ее ласку. Люди станут жертвами, они умрут в ее мерзких объятиях, а потом воскреснут, но при этом станут вампирами.

Как хорошо, что я все это знаю, ибо маленький кусочек раствора, который я отколупнул сегодня от надгробной плиты, содержит частицу Тела Христова. Тот, кто сжимает его в руке и твердо верит в его силу, сможет пройти испытание, предстоящее сегодня мне и приходскому священнику.

00.30. Наше приключение закончилось. Пока с нами ничего не случилось.

Сделав последнюю запись в дневнике, я отправился к священнику и сказал, что разбойник вновь вышел на охоту. «Но, Грант, — сказал я, — перед тем, как мы отправимся его выслеживать, настоятельно прошу вас

дать мне возможность поступать так, как я считаю нужным. Обещайте, что будете неукоснительно следовать моим распоряжениям, не задавая вопросов».

После коротких препирательств и шуточек по поводу моего горячего желания «изловить бродячего пса» пастор дал мне такое обещание. Тогда я сказал ему, что сегодня ночью мы попытаемся выследить таинственного зверя, однако ловить его не станем. Судя по жестам, на Гранта более всего произвели впечатление слова о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Как только пробило одиннадцать, мы со священником вышли из дома.

Сначала мы хотели перебраться через полосу густого тумана, окутывающего церковь, однако он оказался таким холодным и смрадным, что мы не выдержали и повернули назад. Заняв позицию в тени тиса, откуда хорошо виден церковный двор, мы стали ждать.

В полночь вновь поднялся собачий вой, и через несколько минут мы увидели большую серую тень со сверкающими, словно лампочки, глазами. Тень неуклюже заскользила по тропинке в нашу сторону.

Священник рванулся вперед, но я крепко взял его за руку и прошептал:

— Не забывайте о своем обещании!

Потом мы стояли и смотрели, как мимо нас проскочил огромный зверь. Это был не призрак, поскольку мы ясно слышали стук когтей по каменным плитам. Зверь пробежал в нескольких ярдах от нас. По виду это был крупный серый волк, тощий и поджарый: его шерсть на загривке вздыблена, с языка капает слюна. Остановившись там, где над землей вились клубы тумана, волк повернулся в нашу сторону. Зрелище было поистине жуткое, леденящее кровь. Глаза зверя горели, как два огонька, верхняя губа приподнялась, обнажив длинные острые клыки, пасть была вымазана какой-то темной пеной.

Зверь задрал голову и издал пронзительный вой, на который моментально отозвались все окрестные собаки. Немного постояв, волк развернулся и исчез в клубах густого тумана.

Вскоре после этого туман начал рассеиваться. Через десять минут его не стало, собаки замолчали, и тьма вроде бы вновь превратилась в обычную мирную ночь. Осмотрев место, где только что стоял волк, мы обнаружили на каменных плитках темные капли пены и слюны.

— Что скажете, пастор? — спросил я. — Теперь вы видите, что во всех россказнях о женщине из могилы, тумане и воющих собаках, не говоря уж о таинственном звере, только что стоявшем здесь, есть нечто сверхъестественное? Теперь вы согласитесь помочь мне, чтобы, во-первых,

разъяснить дело до конца, а во-вторых, положить конец этому кошмару?

Недавние события оказали на священника сильное впечатление, и я желал только одного: чтобы оно стало еще сильнее.

— Для борьбы с дьяволом, — проговорил он, — все средства хороши. Перед лицом того, что я видел, могу сказать: в дело вступили злые силы. Но как, каким образом они творят свое черное дело прямо возле церкви? Нам остается лишь молить небо о спасении.

— Грант, — серьезно и торжественно сказал я, — каждый из нас должен делать свою работу. Бог помогает тому, кто помогает себе сам. С Его помощью и на основании того, что я знаю, мы начнем биться с силами зла во имя Его и бедной заблудшей души.

Затем мы вернулись домой, и я по свежим следам сел записывать ночные события в дневник.

11 июля. Рабочие вновь обеспокоены и напуганы; говорят, что ночью видели огромную собаку. Ее пытались преследовать, но она скрылась. Фермер Стотман, всю ночь дежуривший возле своего загона с овцами (именно на его стадо напал таинственный зверь в прошлую ночь), застал зверя, когда тот терзал очередную овцу. Фермер хотел прогнать его прочь, но разглядел чудовищные размеры и свирепую морду и побежал за ружьем. Когда он вернулся, зверя уже не было, а на земле валялись еще три растерзанные овцы.

Сегодня «могилу Сары» наконец передвинули на новое место. К концу дня все очень устали, поэтому ставить на место могильный камень не было времени. И я этому очень рад, поскольку при свете дня священник снова перестал верить в события прошлой ночи и говорит, что все это плод нашего разыгравшегося воображения.

Пришлось начинать все сначала: опять убеждать его, что одному мне с силами тьмы не справиться, что я могу положиться только на него. Я умолял его подежурить со мной еще одну ночь — только для того, чтобы развеять свои сомнения и убедиться, что мы на самом деле видели жуткого зверя, которого нужно немедленно уничтожить ради нас самих и ради всех окрестных жителей.

— Доверьтесь мне, пастор, — сказал я, — хотя бы этой ночью. Давайте сделаем все так, как велят приобретенные мною знания. Ночью мы с вами спрячемся в церкви и будем наблюдать; я уверен, завтра вы перестанете сомневаться в существовании вампира так же, как и я, и согласитесь предпринять необходимые шаги. Должен вас предупредить: тело в могиле претерпело определенные изменения, и вы будете поражены, когда его увидите.

Все вышло так, как я говорил. Когда мы подняли деревянную крышку, в нос нам ударил тошнотворный запах скотобойни, от которого нас едва не стошнило. Вампир, как и прежде, лежал в могиле, но как же он изменился! Морщины почти исчезли, плоть стала полной и упругой, алые губы кривила жуткая усмешка, обнажая длинные острые зубы, из уголка рта сочилась струйка крови. Мы стиснули зубы и собрали волю в кулак. Мы опустили крышку, подняли гроб и отнесли его в ризницу. Однако далее теперь Грант не верил, что ужасная могила таит в себе реальную опасность, поскольку категорически возражал против осквернения тела, требуя от меня веских доказательств. Что ж, этой ночью он их получит. Бог свидетель, я не беру на себя слишком много! Если в старинных легендах есть хотя бы доля правды, уничтожить вампира не составит труда. Но Грант в этом участвовать не будет.

Нужно надеяться на лучшее, однако риск все же весьма велик.

6 вечера. У меня все готово: острые ножи, заостренный кол, свежий чеснок и букет диких собачьих роз. Все это я спрятал в ризнице, откуда мы сможем их взять, когда наступит решающий момент.

Если мы оба погибнем, не успев выполнить своей страшной задачи, пусть тот, кто прочтет мой дневник, продолжит начатое дело. Торжественно возлагаю на него эту миссию. Следует поступить вот как: вампира нужно ткнуть в самое сердце острым колом, после чего прочитать заупокойную молитву над убогой могилой, избавившейся от страшного обитателя. Вампир исчезнет, а его заблудшая душа обретет покой.

12 июля. Все кончено. Ночь была ужасной, но одним вампиром на земле стало меньше. Нам надо благодарить милостивое Провидение за то, что страшную могилу ни разу не потревожил человек, не имеющий представления о вампирах! Я пишу эти строки безо всякого самодовольства — просто радуюсь, что отдал столько лет изучению этого вопроса.

Итак, перехожу к рассказу.

Перед самым закатом мы с пастором забрались в церковь и спрятались за кафедрой. Это одна из таких кафедр, куда входят со стороны ризницы, и священник, читающий проповедь, стоит на довольно большом возвышении, расположенном в нише возле стены. Это давало нам ощущение безопасности (в чем мы крайне нуждались), хороший обзор внутренних помещений церкви и быстрый доступ к вещам, спрятанным мною в ризнице.

Солнце село. Сумерки сгустились и медленно перешли в ночь. Все было тихо — ни тумана, ни собачьего воя. В девять часов поднялась луна, и ее бледный свет озарил проходы в церкви. Со стороны «могилы Сары» не

доносилось ни звука. Пастор несколько раз спрашивал меня, чего мы ждем, но я не отвечал, считая, что убедить его смогут не мои слова, а зрелище, которое он увидит собственными глазами.

К половине одиннадцатого мы оба устали, и я уже подумывал, что в эту ночь ничего не произойдет. Однако вскоре после одиннадцати я заметил, что над «могилой Сары» поднимается легкий туман. Его клубы искрились, мерцали и по форме напоминали колонны или вертикальные спирали.

Я молчал, но священник ахнул от удивления и в волнении схватил меня за руку.

— Боже! — прошептал он. — Смотрите, он обретает форму!

И действительно, через несколько секунд мы увидели, как из могилы медленно поднялся призрак графини Сары!

Она все еще выглядела худой и изможденной, ее лицо было смертельно бледным, а ярко-красные губы походили на ужасную щель между бледными щеками. В сумраке церкви глаза графини светились, как два раскаленных угля.

Внушая ужас, она неуверенной походкой двинулась по проходу, слегка пошатываясь, словно от слабости и изможденья. Возможно, это было вполне естественно, поскольку ее тело сильно пострадало от долгого лежания в земле, несмотря на действие злых чар, не дававших ему превратиться в прах.

Мы видели, как она подошла к двери, и спрашивали себя, что будет дальше. Ничего не произошло — графиня скользнула за дверь и скрылась.

— Ну что, Грант, — сказал я, — теперь верите мне?

— Да, — ответил он, — теперь верю. И я буду выполнять все ваши приказы, если вы сможете избавить наше селение от этого кошмара.

— Избавлю, с божьей помощью, — ответил я, — но впереди у нас трудная и тяжелая работа, к тому же утром мне придется отвечать на ваши расспросы. А сейчас — за работу. Вампир еще слишком слаб и далеко не уйдет, но он может вернуться в любую минуту, и нам придется действовать без промедления.

Выбравшись из укрытия, мы взяли чеснок и розы и подошли к могиле. Я подошел первым и, откинув крышку, воскликнул:

— Смотрите! Могила пуста! Только отпечаток тела и сырая плесень!

Взяв цветы, я уложил их вокруг могилы, ибо легенда гласит, что вампиры старательно избегают именно этого вида роз.

Затем, отступив от могилы на восемь или десять футов, я начертил на каменных плитах круг такого размера, чтобы в нем уместились мы с

пастором. Внутри круга я также положил разные принадлежности, принесенные с собой в церковь.

— Ну вот, — сказал я, — этот круг не в силах переступить никакая нечисть. Вы будете наблюдать за вампиром, стоя с ним лицом к лицу. Вы увидите, что он не может переступить через чеснок и розы, которыми я окружил его могилу. Помните: ни в коем случае не выходите из круга, ибо вампир обладает огромной силой и, словно змея, способен приманить к себе жертву навстречу ее гибели.

Как только я закончил чертить круг, мы с пастором вошли в него и стали ждать возвращения вампира.

Это не заняло много времени. Вскоре по церкви распространился запах сырости и холода, от которого у нас зашевелились волосы и по коже поползли мурашки. Затем по каменным плитам едва слышно зазвучали чьи-то шаги и появилась та, кого мы ждали.

Я услышал, как священник зашептал молитву, и крепко сжал его руку, поскольку он задрожал.

Задолго до того, как мы смогли различить черты лица призрака, мы увидели его горящие глаза и алый чувственный рот. Графиня подошла к своей могиле и внезапно остановилась, наткнувшись на круг из диких роз. Затем решила обойти цветы, попыталась найти в них проход, и тут увидела нас. Ее лицо исказила дьявольская гримаса ярости и ненависти, быстро исчезнувшая и сменившаяся призывной улыбкой, более жуткой, чем ярость. Она протянула к нам руки. Мы увидели, что вокруг ее рта запеклась кровавая пена, а под верхней губой сверкнули длинные острые зубы.

Она заговорила тихим и нежным голосом, творя заклинание, которое постепенно действовало на нас, особенно на священника. Я решил выяснить, насколько велика власть вампира, и ничего не предпринимал.

Ее голос гипнотизировал. Я противостоял этому без особого труда, зато священник впал в транс. Более того: он уже был околдован, несмотря на попытки сопротивляться.

— Иди ко мне! — шептал призрак. — Иди! Я дам тебе сон и покой… сон и покой… сон и покой.

Она подошла к нам ближе, однако дальше идти не решилась — ее не подпускал святой круг. Он держал ее на расстоянии, как железная рука.

Мой спутник сдался. Он попытался выйти из круга, а когда понял, что я крепко его держу, зашептал:

— Пусти меня, Гарри! Она зовет меня, я должен идти! Должен! Должен! О, помоги мне! Помоги! — И попытался вырваться из моих рук.

Медлить было нельзя.

— Грант! — твердым и ясным голосом громко произнес я. — Во имя всего святого, пора действовать!

Он вздрогнул и прошептал:

— Где я?

Затем вспомнил и на мгновение крепко ухватился за меня.

Увидев это, призрак перестал улыбаться, его лицо вновь исказилось яростью. С коротким воплем мертвец отшатнулся.

— Уходи! — крикнул я. — Возвращайся в свою могилу! Ты больше не будешь оскорблять своим присутствием наш страдающий мир! Твой конец близок.

На ее прекрасном лице (оно и в самом деле было прекрасно) отразился ужас, она задрожала и стала пятиться — все дальше, дальше, через круг из цветов. Наконец, издав тихий печальный крик, она словно растаяла, скрывшись в могиле.

Тут же в небе показались первые проблески утренней зари, и я понял, что опасность миновала.

Взяв Гранта за руку, я вывел его из круга и подвел к могиле. Вампир лежал там — такой же, каким мы его только что видели. В глазах графини застыло выражение страшной ненависти и страха.

Грант постепенно приходил в себя.

— Ну как, — спросил я его, — вы готовы совершить последний шаг и навсегда избавить мир от этого кошмара?

— Богом клянусь, — торжественно произнес он, — готов. Говорите, что нужно делать.

— Помогите мне вытащить ее из могилы. Сейчас она неопасна, — ответил я.

Стараясь не смотреть на труп, мы вытащили его из могилы и уложили на пол.

— А теперь, — сказал я, — прочитайте заупокойную молитву над этим бедным телом, и пусть душа освободится от того ада, что удерживает ее.

Пастор благоговейно произносил слова святой молитвы, я повторял за ним. Когда молитва закончилась, я взял кол и, не раздумывая, со всех сил вонзил его в сердце вампира.

Тело на мгновение изогнулось, забилось в конвульсиях, под сводами церкви раздался пронзительный вопль — и наступила тишина.

Затем мы вновь подняли бедное тело. Слава богу! Легенда оказалась верна: утешение всегда нисходит на тех, кто совершил столь ужасное, но необходимое деяние, как наше. На лице покойницы застыло выражение великого и торжественного покоя; губы потеряли ярко-алый цвет, острые

зубы исчезли. На мгновение перед нами предстало лицо прекрасной женщины, которая спала и улыбалась во сне. Через несколько минут от нее не осталось ничего — она распалась в прах прямо на наших глазах. Не мешкая, мы быстро уничтожили все следы нашей работы и вернулись в дом пастора. Как было радостно покинуть церковь и вдохнуть теплый, душистый утренний воздух!

На этом записи в дневнике моего отца заканчиваются, однако через несколько дней появилась еще одна запись.

15 июля. С двенадцатого числа все тихо и спокойно, как прежде. Сегодня мы перенесли «могилу Сары» на новое место и установили на ней надгробный камень. Обнаружив, что тело исчезло, рабочие удивились, но приписали это действию воздуха.

Сегодня до меня дошли довольно странные слухи. В ночь на 11 июля один из местных детей ушел из дома и был найден спящим в кустах возле церкви; ребенок был очень бледен и выглядел изможденным. На его горле заметили две маленькие дырочки, которые постепенно исчезли.

Что это означает? Я храню молчание, поскольку вампира больше нет, и людям ничто не угрожает. Вампиром становится лишь тот, кто умирает в объятиях вампира. Или нет?

Эдгар Аллан По

Эдгар Аллан По (1809–1849) родился в Бостоне и остался сиротой в двухлетнем возрасте, когда его родители умерли от туберкулеза. Мальчика приняла на воспитание семья богатого коммерсанта Джона Аллана; хотя это не было официальным усыновлением, Эдгар спустя время взял фамилию опекуна в качестве своего второго имени. В 1815–1820 годах он учился в школе в Сток-Ньюингтоне, предместье Лондона, где получил классическое образование. После возвращения в США он опубликовал свою первую книгу — сборник «„Тамерлан“ и другие стихотворения» (1827); как и два других поэтических сборника По, это издание оказалось убыточным.

Получив в 1833 году премию за рассказ «Рукопись, найденная в бутылке», По начал сотрудничать в качестве редактора и критика с различными журналами, и, несмотря на значительный рост тиражей, его пьянство, резкость суждений и надменность приводили издателей в ярость, заставляя По снова и снова менять работу. Он женился на своей 14-летней кузине Виргинии и многие годы жил с нею и ее матерью в унизительной бедности, которая, несомненно, способствовала безвременной смерти его жены в возрасте 24 лет. Испытавший сильное влияние английских поэтов-романтиков и не имевший себе равных среди своих современников, самый

блестящий литературный критик того времени, мастер «страшных» рассказов, поэт, чьи произведения хорошо известны и любимы и в наши дни, создатель детективного жанра, По умер, так и не сумев выбиться из нищеты.

Рассказ «Лигейя» был впервые опубликован в сентябре 1838 года в журнале «Американский музей науки, литературы и изящных искусств», а спустя два года перепечатан в авторском сборнике «Гротески и арабески» (Филадельфия: Ли и Бланчард, 1840). В сентябре 1845 года в «Бродвей джорнал» появился значительно переработанный вариант «Лигейи», который и лег в основу последующих публикаций.

Лигейя

И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — не что, как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.

Джозеф Гленвилл[21]

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья… о, конечно, она мне о ней говорила… И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом — Лигейя! — воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов — возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шутливый запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз — исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если

дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет [22] идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле — даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез — эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантасмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса. [23] И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая утонченная красота, — утверждает Бэкон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, — всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». [24] И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «утонченна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба — он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос — такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного — великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они

открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков — те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, [25] сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад. [26] И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного — красотой сказочной гурии турок. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске — ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита, [27] которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой, [28] и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлекший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, — и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как

красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна — звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры [29]), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струнных инструментов и нередко — строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью — как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — не что, как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она — внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя — с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигейи — поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы — во всяком случае, известные мне самому — она тоже знала безупречно. Да и довелось

ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала — пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, — что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели — к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной.

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ощупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух, озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии, [30] в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, — и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом. [31] К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно. Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса, — но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни — только к жизни! — и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди

самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише — и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я завороженно внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

О, я не сомневался в том, что она меня любила, и мог бы без труда догадаться, что в подобной груди способна властвовать лишь любовь особенная. Однако только с приходом смерти постиг я всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку в своей, она исповедовала мне тайны сердца, чья более чем пылкая преданность достигала степени идолопоклонства. Чем заслужил я блаженство подобных признаний? Чем заслужил я мучение разлуки с моей возлюбленной в тот самый час, когда услышал их? Но об этом я не в силах говорить подробнее. Скажу лишь, что в этом более чем женском растворении в любви — в любви, увы, незаслуженной, отданной недостойному, — я наконец распознал природу неутолимой жажды Лигейи, ее необузданного стремления к жизни, которая теперь столь стремительно отлетала от нее. И вот этой-то необузданной жажды, этого алчного стремления к жизни — только к жизни! — я не могу описать, ибо нет слов, в которые его можно было бы воплотить.

В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным мановением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочел ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи:

Спектакль-гала! Чу, срок настал,
Печалью лет повит.
Под пеленою покрывал
Сокрыв снега ланит,
Сияя белизной одежд,
Сонм ангелов следит
За пьесой страха и надежд,
И музыка сфер гремит.
По своему подобью бог
Актеров сотворил.
Игрушки страха и тревог
Напрасно тратят пыл:
Придут, исчезнут, вновь придут,
Покорствуя веленью сил,
Что сеют горе и беду

Движеньем кондоровых крыл.
Пестра та драма и глупа,
Но ей забвенья нет:
По кругу мечется толпа
За призраком вослед,
И он назад приводит всех
Тропой скорбей и бед.
Безумие и черный грех
И ужас — ее сюжет.
Но вдруг актеров хоровод
Испуганно затих.
К ним тварь багряная ползет
И пожирает их.
Ползет, свою являя власть,
Жертв не щадя своих.
Кровавая зияет пасть —
Владыка судьб людских.
Всюду тьма, им всем гибель — удел,
Под бури пронзительный вой
На груды трепещущих тел
Пал занавес — мрак гробовой.
Покрывала откинувши, рек
Бледных ангелов плачущий строй,
Что трагедия шла — «Человек»
И был Червь Победитель — герой.

— О Бог! — пронзительно вскрикнула Лигейя, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочел последние строки. — О Бог! О Божественный Отец! Должно ли всегда и неизменно быть так? Ужели этот победитель ни разу не будет побежден сам? Или мы не часть Тебя и не едины в Тебе? Кто… кто постигает тайны воли во всей мощи ее? Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей!

Затем, словно совсем изнемогшая от этого порыва, она уронила белые руки и скорбно вернулась на одр смерти. И когда она испускала последний вздох, вместе с ним с ее губ срывался чуть слышный шепот. Я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова Гленвилла: «Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог долее

выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне. Я не испытывал недостатка в том, что свет зовет богатством. Лигейя принесла мне в приданое больше — о, много, много больше, — чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев тягостных и бесцельных странствий я купил и сделал пригодным для обитания старинное аббатство, которое не назову, в одной из наиболее глухих и безлюдных областей прекрасной Англии. Угрюмое величие здания, дикий вид окрестностей, множество связанных с ними грустных стародавних преданий весьма гармонировали с той безысходной тоской, которая загнала меня в этот отдаленный и никем не посещаемый уголок страны. Однако, хотя наружные стены аббатства, увитые, точно руины, вековым плющом, были сохранены в прежнем своем виде, внутренние его помещения я с ребяческой непоследовательностью, а может быть, и в безотчетной надежде утишить терзавшее меня горе отделал с более чем королевским великолепием. Ибо еще в детские годы я приобрел вкус к этим суетным пустякам, и теперь он вернулся ко мне, точно знамение второго детства, в которое ввергла меня скорбь. Увы, я понимаю, сколько зарождающегося безумия можно было бы обнаружить в пышно прихотливых драпировках, в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчовых ковров с золотой бахромой! Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам, а потому все мои труды и приказы расцвечивались оттенками дурманных грез. Но к чему останавливаться на этих глупостях! Я буду говорить лишь о том вовеки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу незабытой Лигейи белокурую и синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревейньон.

Каждая архитектурная особенность, каждое украшение этого брачного покоя — все они стоят сейчас перед моими глазами. Где были души надменных родителей и близких новобрачной, когда в жажде золота они допустили, чтобы невинная девушка переступила порог комнаты, вот так украшенной? Я сказал, что помню эту комнату во всех подробностях, — я, который столь непростительно забывчив теперь, когда речь идет о предметах величайшей важности; а ведь в этой фантастической хаотичности не было никакой системы, никакого порядка, которые могли бы помочь памяти. Комната эта, расположенная в одной из высоких башен похожего на замок аббатства, была пятиугольной и очень обширной. Всю южную сторону пятиугольника занимало окно — гигантское цельное венецианское стекло свинцового оттенка, так что лучи и солнца и луны, проходя сквозь него, придавали предметам внутри мертвенный оттенок.

Над этим колоссальным окном по решетке на массивной стене вились старые виноградные лозы. Необыкновенно высокий сводчатый потолок из темного дуба был покрыт искусной резьбой — самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического, полудруидического стиля. Из самого центра этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисала огромная курильница из того же металла сарацинской чеканки, с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли словно наделенные змеиной жизнью струи разноцветного огня.

Там и сям стояли оттоманки и золотые восточные канделябры, а кроме них — ложе, брачное ложе индийской работы из резного черного дерева, низкое, с погребально-пышным балдахином. В каждом из пяти углов комнаты вертикально стояли черные гранитные саркофаги из царских гробниц Луксора; [32] с их древних крышек смотрели изваяния незапамятной древности. Но наиболее фантасмагоричны были, увы, драпировки, которые, ниспадая тяжелыми волнами, сверху донизу закрывали необыкновенно — даже непропорционально — высокие стены комнаты. Это были массивные гобелены, сотканные из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и кровати из черного дерева, что и ее балдахин, что и драгоценные свитки занавеса, частично затенявшего окно. Материалом этим была бесценная золотая парча. Через неравномерные промежутки в нее были вотканы угольно-черные арабески около фута в поперечнике. Однако арабески эти представлялись просто узорами только при взгляде из одной точки. При помощи способа теперь широко применяемого и прослеживаемого до первых веков античности, им была придана способность изменяться. Тому, кто стоял на пороге, они представлялись просто диковинными уродствами; но стоило вступить в комнату, как арабески эти начинали складываться в фигуры, и посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает бесконечная процессия ужасных образов, измышленных суеверными норманнами или возникших в сонных видениях грешного монаха. Жуткое впечатление это еще усиливалось благодаря тому, что позади драпировок был искусственно создан непрерывный и сильный ток воздуха, который, заставляя фигуры шевелиться, наделял их отвратительным и пугающим подобием жизни.

Вот в каких апартаментах, вот в каком свадебном покое провел я с леди Тремейн не осененные благословением часы первого месяца нашего брака — и провел их, не испытывая особой душевной тревоги. Я не мог не заметить, что моя жена страшится моего яростного угрюмого нрава, что она избегает меня и не питает ко мне любви. Но это скорее было мне

приятно. Я ненавидел ее исполненной отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с каким мучительным сожалением!) к Лигейе — возлюбленной, царственной, прекрасной, погребенной. Я наслаждался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее высокой, ее эфирной натуре, о ее страстной, ее боготворящей любви.

Теперь мой дух поистине и щедро пылал пламенем даже еще более неистовым, чем огнь, снедавший ее. В возбуждении моих опиумных грез (ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана) я громко звал ее по имени как в ночном безмолвии, так и в уединении лесных лужаек среди бела дня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, всепожирающим жаром томления по усопшей я мог вернуть ее на пути, покинутые ею — ужели, ужели навеки? — здесь на земле.

В начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и выздоровление ее было трудным и медленным. Терзавшая ее лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне, но я полагал, что они порождались ее расстроенным воображением или, быть может, фантасмагорическим воздействием самой комнаты. В конце концов ей стало легче, а потом она и совсем выздоровела. Однако минул лишь краткий срок, и новый, еще более жестокий недуг опять бросил ее на ложе страданий; здоровье ее никогда не было крепким и теперь совсем расстроилось. С этого времени ее болезни приобретали все более грозный характер, и еще более грозным было их постоянное возобновление — все знания и все старания ее врачей оказывались тщетными. Усиление хронического недуга, который, по-видимому, укоренился так глубоко, что уже не поддавался излечению человеческими средствами, по моим почти невольным наблюдениям сочеталось с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она все чаще и все упорнее твердила о звуках — о чуть слышных звуках — и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала прежде.

Как-то ночью на исходе сентября больная с большей, чем обычно, настойчивостью заговорила со мной об этом тягостном предмете. Она только что очнулась от беспокойной дремоты, и я с тревогой, к которой примешивался смутный ужас, следил за сменой выражений на ее исхудалом лице. Я сидел возле ее ложа черного дерева на одной из индийских оттоманок. Ровена приподнялась и тихим исступленным шепотом говорила о звуках, которые слышала в это мгновение — но

которых я не слышал, о движении, которое она видела в это мгновение — но которого я не улавливал. За драпировками проносился сильный ветер, и я решил убедить Ровену (хотя, признаюсь, сам этому верил не вполне), что это почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения фигур на стенах были лишь естественными следствиями постоянного воздушного тока за драпировками. Однако смертельная бледность, разлившаяся по ее лицу, сказала мне, что мои усилия успокоить ее останутся тщетными. Казалось, она лишается чувств, а возле не было никого из слуг. Я вспомнил, где стоял графин с легким вином, которое предписал ей врач, и поспешно пошел за ним в дальний конец комнаты. Но когда я вступил в круг света, отбрасываемого курильницей, мое внимание было привлечено двумя поразительными обстоятельствами. Я ощутил, как мимо, коснувшись меня, скользнуло нечто невидимое, но материальное, и заметил на золотом ковре в самом центре яркого сияющего круга, отбрасываемого курильницей, некую тень — прозрачное, туманное ангельское подобие: тень, какую могло бы отбросить призрачное видение. Но я был вне себя от возбуждения, вызванного особенно большой дозой опиума, и, сочтя эти явления не стоящими внимания, ничего не сказал о них Ровене. Отыскав графин, я вернулся к ней, налил бокал вина и поднес его к ее губам. Однако она уже немного оправилась и взяла бокал сама, а я опустился на ближайшую оттоманку, не сводя глаз с больной. И вот тогда-то я совершенно ясно расслышал легкие шаги по ковру возле ее ложа, а мгновение спустя, когда Ровена готовилась отпить вино, я увидел — или мне пригрезилось, что я увидел, — как в бокал, словно из невидимого, сокрытого в воздухе источника, упали три-четыгре большие блистающие капли рубинового цвета. Но их видел только я, а не Ровена. Она без колебаний выпила вино, я же ничего не сказал ей о случившемся, считая, что все это могло быть лишь игрой воображения, воспламененного страхами больной, опиумом и поздним часом. И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в той же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой. Перед моими глазами мелькали безумные образы, порожденные опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаги в углах, на меняющиеся фигуры драпировок, на извивающиеся многоцветные огни курильницы в вышине. Вспоминая подробности недавней ночи, я посмотрел на то освещенное курильницей место, где я увидел тогда неясные очертания тени. Но на этот раз ее там не было, и,

вздохнув свободнее, я обратил взгляд на бледную и неподвижную фигуру на ложе. И вдруг на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе — и с бешенством разлившейся реки в мое сердце вновь вернулась та невыразимая мука, с которой я глядел на Лигейю, когда такой же саван окутывал ее. Шли ночные часы, а я, исполненный горчайших дум о единственной и бесконечно любимой, все еще смотрел на тело Ровены.

В полночь — а может быть, позже или раньше, ибо я не замечал времени, — рыдающий вздох, тихий, но ясно различимый, заставил меня очнуться. Мне почудилось, что он донесся с ложа черного дерева, с ложа смерти. Охваченный суеверным ужасом, я прислушался, но звук не повторился. Напрягая зрение, я старался разглядеть, не шевельнулся ли труп, но он был неподвижен. И все же я не мог обмануться. Я бесспорно слышал этот звук, каким бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умершей. Прошло много минут, прежде чем случилось еще что-то, пролившее свет на тайну. Но наконец стало очевидным, что очень слабая, еле заметная краска разлилась по щекам и по крохотным спавшимся сосудам век. Пораженный неизъяснимым ужасом и благоговением, для описания которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое перестает биться, а члены каменеют. Однако чувство долга в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение. Нельзя было долее сомневаться, что мы излишне поторопились с приготовлениями к похоронам — что Ровена еще жива. Нужно было немедленно принять необходимые меры, но башня находилась далеко в стороне от той части аббатства, где жили слути и куда они все удалились на ночь, — чтобы позвать их на помощь, я должен был бы надолго покинуть комнату, а этого я сделать не решался. И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух, еще не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, что они оказались тщетными, — краска исчезла со щек и век, сменившись более чем мраморной белизной, губы еще больше запали и растянулись в жуткой гримасе смерти, отвратительный липкий холод быстро распространился по телу, и его тотчас сковало обычное окостенение. Я с дрожью упал на оттоманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грезам о Лигейе.

Так прошел час, а затем (могло ли это быть?) я вторично услышал неясный звук, донесшийся со стороны ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук раздался снова — это был вздох. Кинувшись к трупу, я увидел, — да-да, увидел! — как затрепетали его губы. Мгновение спустя они полураскрылись, обнажив блестящую полоску жемчужных зубов.

Изумление боролось теперь в моей груди со всепоглощающим страхом, который до этого властвовал в ней один. Я чувствовал, что зрение мое тускнеет, рассудок мутится, и только ценой отчаянного усилия я наконец смог принудить себя к исполнению того, чего требовал от меня долг. К этому времени ее лоб, щеки и горло слегка порозовели и все тело потеплело. Я ощутил даже слабое биение сердца. Она была жива! И с удвоенным жаром я начал приводить ее в чувство. Я растирал и смачивал спиртом ее виски и ладони, я пускал в ход все средства, какие подсказывали мне опыт и немалое знакомство с медицинскими трактатами. Но втуне! Внезапно розовый цвет исчез, сердце перестало биться, губы вновь сложились в гримасу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность, жесткое окостенение, угловатость очертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп, много дней пролежавший в гробнице.

И вновь я предался грезам о Лигейе, и вновь (удивительно ли, что я содрогаюсь, когда пишу эти строки?), вновь с ложа черного дерева до меня донесся рыдающий вздох. Но к чему подробно пересказывать невыразимые ужасы этой ночи? К чему медлить и описывать, как опять и опять почти до первых серых лучей рассвета повторялась эта жуткая драма оживления, прерываясь новым жестоким и, казалось бы, победным возвращением смерти? Как каждая агония являла черты борьбы с каким-то невидимым врагом и как каждая такая борьба завершалась неописуемо страшным преображением трупа? Нет, я сразу перейду к завершению.

Эта жуткая ночь уже почти миновала, когда та, что была мертва, еще раз шевельнулась — и теперь с большей энергией, чем прежде, хотя восставая из окостенения, более леденящего душу своей полной мертвенностью, нежели все предыдущие. Я уже давно отказался от всяких попыток помочь ей и, бессильно застыв, сидел на оттоманке, охваченный бурей чувств, из которых невыносимый ужас был, пожалуй, наименее мучительным и жгучим. Труп, повторяю, пошевелился, и на этот раз гораздо энергичней, чем раньше. Краски жизни с особой силой вспыхнули на лице, члены расслабились и, если бы не сомкнутые веки и не погребальные покровы, которые все еще сообщали телу могильную безжизненность, я мог бы вообразить, что Ровене удалось наконец сбросить оковы смерти. Но если даже в тот миг я не мог вполне принять эту мысль, то для сомнений уже не было места, когда, восстав с ложа, неверными шагами, не открывая глаз, словно в дурмане тяжкого сна, фигура, завернутая в саван, выступила на самую середину комнаты!

Я не вздрогнул, я не шелохнулся, ибо в моем мозгу пронесся вихрь

невыносимых подозрений, рожденных обликом, осанкой, походкой этой фигуры, парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. Мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Ровена? Неужели это Ровена — белокурая и синеглазая леди Ровена Тремейн из рода Тревейньон? Почему, почему усомнился я в этом? Рот стягивала тугая повязка, но разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Тремейн? А щеки — на них цвели розы, как в дни ее беззаботной юности… да, конечно, это могли быть щеки ожившей леди Тремейн. А подбородок с ямочками, говорящими о здоровье, почему он не мог быть ее подбородком? Но в таком случае за дни своей болезни она стала выше ростом?! Какое невыразимое безумие овладело мной при этой мысли? Одним прыжком я очутился у ее ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутывавшая ее голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос — они были чернее вороновых крыл полуночи! И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры.

— В этом, — пронзительно вскрикнул я, — да, в этом я не могу ошибиться! Это они — огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной… леди… ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!

Хьюм Нисбет

Джеймс Хьюм Нисбет (1849–1923) родился в Стирлинге, в шестнадцатилетнем возрасте перебрался в Австралию, где путешествовал и учился на протяжении семи лет; по возвращении в Шотландию Нисбет стал учителем рисования в колледже Уотт. Он учился у Сэма Бау, члена Королевской шотландской академии изящных искусств, однако на поприще живописца не преуспел; его акварели не вызвали интереса у публики, несмотря на то что Нисбет был другом Джона Рёскина и его работы выставлялись в академии. В конце концов он покинул эту почтенную организацию, недовольный ее пренебрежительным отношением к молодым художникам.

Нисбет обратился к литературному творчеству и оказался весьма плодовитым автором, написав между 1888 и 1905 годами около сорока романов, в основном детективных и приключенческих, которые были изданы только в Англии. Действие более половины из них разворачивается в Австралии или в странах тихоокеанского региона. В своих романах он страстно и откровенно высказывался на социальные темы, делая предметом рассмотрения распространенные в обществе предрассудки. В силу своего острополемического характера его художественная проза не нашла

благодарного приема у австралийской читающей публики.

Помимо сорока шести романов, перу Нисбета принадлежат четыре сборника стихов, пять книг по искусству, книги путешествий и сборники рассказов. Большая часть его сочинений сегодня прочно забыта.

Рассказы «Старинный портрет» и «Девушка-вампир» впервые появились на журнальных страницах в 1890 году, а позднее вошли в авторский сборник «Странные и удивительные истории» (Лондон: Уайт, 1900).

Старинный портрет

Старинные рамки — моя слабость. Я постоянно ищу у мастеров и антикваров какие-нибудь редкие и необычные рамки для картин. Меня не особенно интересует то, что они обрамляют, ибо мне, как художнику, свойственна причуда сперва приобретать раму, а уж потом писать картину, которая соответствовала бы ее предполагаемой истории и внешнему виду. Благодаря этому мне приходят в голову некоторые любопытные и, смею думать, оригинальные идеи.

Как-то раз в декабре, приблизительно за неделю до Рождества, я приобрел в лавке в районе Сохо изящный, но ветхий образчик резного дерева. Позолота на нем практически стерлась, три уголка были сбиты, однако четвертый уцелел, и я надеялся, что смогу восстановить и остальные. Вставленный же в раму холст был покрыт столь густым слоем грязи и образовавшимися с течением времени пятнами, что я смог различить на нем лишь крайне скверное изображение какого-то ничем не примечательного человека: мазня бедного, работавшего за пропитание художника, призванная заполнить подержанную раму, которую его покровитель, вероятно, купил по дешевке, точно так же как позднее купил ее я; тем не менее, поскольку рама меня устраивала, я заодно взял и попорченный временем холст, решив, что он на что-нибудь да сгодится.

В следующие несколько дней я был поглощен различными делами, и только в сочельник у меня нашлось время должным образом рассмотреть свое приобретение, которое, с того момента как я принес его в мастерскую, стояло у стены изнаночной стороной наружу.

Ничем не занятый в этот вечер и не расположенный к прогулке, я взял раму за уцелевший угол и положил на стол, а затем, вооружившись губкой, тазом с водой и мылом, принялся отмывать ее и сам холст, чтобы можно было разглядеть их получше. Дабы отчистить их от неимоверной грязи, мне пришлось израсходовать почти целый пакет мыльною порошка и десяток раз сменить воду в тазу, и наконец на раме начал проступать узор, а сама картина явила отталкивающую грубость и бедность рисунка и

неприкрытую вульгарность. Это был портрет обрюзгшего, свиноподобного трактирщика, увешанного различными безделушками, — обычное дело для подобных творений, где важно не столько сходство черт, сколько безукоризненная точность в изображении цепочек для часов, печаток, колец и нагрудных булавок; все они присутствовали на холсте, такие же полновесно-реальные, как в жизни.

Узор рамы привел меня в восхищение, а картина убедила в том, что ее продавец получил от меня достойную цену; я рассматривал этот чудовищный образ в ярком свете газовой лампы, дивясь тому, как мог подобный портрет нравиться запечатленному на нем человеку, и вдруг мое внимание привлек легкий мазок на холсте под тонким красочным слоем, как если бы картина была написана поверх какой-то другой.

Этого нельзя было утверждать наверняка, но и намека на такую возможность оказалось достаточно, чтобы я подскочил к шкафу, где держал винный спирт и скипидар, и при помощи этих средств и тряпок стал безжалостно стирать изображение трактирщика — в смутной надежде найти под ним что-то достойное созерцания.

Делал я это медленно и осторожно, так что уже близилась полночь, когда золотые кольца и багровая физиономия исчезли и передо мной начала вырисовываться другая картина; наконец, в последний раз пройдясь по холсту влажной тряпкой, я протер его насухо, перенес к свету и водрузил на мольберт, а затем, набив и раскурив трубку, уселся напротив, чтобы как следует рассмотреть результат своих стараний.

Что же я высвободил из гнусного плена низкопробной мазни? Ведь не стоило затевать это только ради того, чтобы понять, что произведение, которое осквернил и скрыл сей ремесленник от живописи, было так же чуждо его сознанию, как облака — гусенице.

На фоне богатой обстановки, погруженной во тьму, я увидел голову и грудь молодой женщины неопределенного возраста, несомненно изображенные рукой мастера, которому не требовалось доказывать свое мастерство и который умел скрывать свои приемы. В мрачном, но сдержанном достоинстве, одушевлявшем портрет, сквозили такое совершенство и такая естественность, что он казался творением кисти Морони. Лицо и шея были столь бледны, что казались совершенно бесцветными, а тени наложены столь искусно и незаметно, что восхитили бы и рассудительную королеву Елизавету.

В первые мгновения я видел на темном фоне тусклое серое пятно, которое постепенно перемещалось в тень. Затем, когда я отсел подальше и откинулся в кресле так, что детали перестали быть различимы, серое

пятно, казалось, сделалось светлее и отчетливее, а фигура отделилась от фона, как будто обрела плоть, хотя я, только что промывавший холст, знал, что это всего-навсего живописное изображение.

Решительное лицо с тонким носом, четко очерченными, хотя и бескровными губами и глазами, напоминавшими темные впадины без малейших проблесков света. Волосы, тяжелые, шелковистые, черные как смоль, закрывали часть лба, обрамляли округлые щеки и свободной волной ниспадали на левую грудь, оставляя открытой правую сторону бледной шеи.

Платье и окружающий фон вместе являли гармонию черных тонов и при этом были полны тонкого колорита и мастерски переданного чувства; бархатное платье было богато отделано парчой, а фон представлял собой безбрежное, уходившее вдаль пространство, восхитительно манящее и вызывавшее благоговейный трепет.

Я заметил, что бледный рот был чуть приоткрыт, слегка обнажая верхние передние зубы и добавляя решимости всему облику. Верхняя губа была приподнята, а нижняя выглядела полной и чувственной — вернее, могла бы так выглядеть, если бы имела цвет.

Такое сверхъестественное лицо мне довелось воскресить в полночный час накануне Рождества; его пассивная бледность заставляла думать, что из тела была выпущена вся кровь и я гляжу на оживший труп. Тут я впервые заметил, что и в узоре рамы, похоже, читается намерение передать идею жизни в смерти: то, что прежде казалось орнаментом из цветов и фруктов, внезапно предстало омерзительными змееподобными червями, которые извивались среди могильных костей, наполовину скрывая их на декоративный манер; этот ужасный замысел, несмотря на изысканность воплощения, заставил меня содрогнуться и пожалеть, что я не взялся промывать холст в дневное время.

У меня довольно крепкие нервы, и я рассмеялся бы в лицо любому, кто упрекнул бы меня в малодушии; и все же, сидя в одиночестве напротив этого портрета, когда поблизости не было ни души (соседние мастерские в этот вечер пустовали, а у сторожа был выходной), я пожалел, что не встречаю Рождество в более приятной обстановке, — ибо, несмотря на яркий огонь в печи и сияющий газ, это решительное лицо и призрачные глаза оказывали на меня странное влияние.

Я слышал, как часы на разных башнях друг за другом возвестили об окончании дня, как звук, подхваченный эхом, постепенно замер в отдалении, а сам все продолжал сидеть, словно зачарованный, глядя на таинственную картину и забыв про трубку, которую держал в руке,

охваченный непонятной усталостью.

На меня были устремлены бездонно глубокие и гипнотически завораживающие глаза. Они были совершенно темными, но, казалось, вбирали в себя мою душу, а с ними жизнь и силу; беззащитный перед их взглядом, я был не в силах сдвинуться с места, и в конце концов меня одолел сон.

Мне привиделось, что с помещенной на мольберт картины сошла женщина и плавным шагом приблизилась ко мне; позади нее на холсте стал виден склеп, полный гробов; некоторые из них были закрыты, другие же лежали или стояли открытыми, демонстрируя свое жуткое содержимое в полуистлевших, покрытых пятнами погребальных одеждах.

Я видел только ее голову и плечи в темном одеянии, на которые ниспадала пышная россыпь черных волос. Женщина прильнула ко мне, ее бледное лицо коснулось моего лица, холодные бескровные губы прижались к моим губам, а ее шелковистые волосы окутали меня, словно облаком, и вызвали восхитительный трепет, который, несмотря на возросшую слабость, доставил мне пьянящее наслаждение.

Я вздохнул, и она как будто выпила слетевшее с моих уст дыхание, ничего не вернув взамен; по мере того как я слабел, она становилась все сильнее, мое тепло передавалось ей и наполняло живым биением жизни.

И внезапно, охваченный ужасом приближения смерти, я исступленно оттолкнул ее и вскочил со стула; с мгновение я не понимал, где нахожусь, затем ко мне вернулась способность мыслить и я огляделся по сторонам.

Газ в лампе все еще ярко горел, а в печи алело пламя. Часы на каминной полке показывали половину первого ночи.

Картина в раме по-прежнему стояла на мольберте, и, только взглянув на нее внимательнее, я увидел, что портрет изменился, на щеках незнакомки появился лихорадочный румянец, в глазах засияла жизнь, чувственные губы припухли и покраснели, а на нижней виднелась капелька крови. В приступе отвращения я схватил свой скребковый нож и изрезал им портрет вампира, а затем, выдрав из рамы изуродованные куски холста, запихнул их в печь и с варварским наслаждением стал наблюдать за тем, как они извиваются, обращаясь в прах.

Та рама все еще хранится у меня, но мне пока не хватает духу написать подходящую ей картину.

Хьюм Нисбет Девушка-вампир

Это было именно такое жилище, какое я искал многие недели, ибо я пребывал в том состоянии духа, когда необходимо полное уединение. Я не доверял самому себе и сам себя раздражал. Странное беспокойство

бродило в моей крови, ум прозябал в бездействии. Во мне росла неприязнь к знакомым предметам и лицам. Я жаждал одиночества.

Такое настроение охватывает всякую впечатлительную и художественную натуру, если человек переутомился или чересчур долго держался одной жизненной колеи. Так Природа намекает ему, что пришла пора искать новые пастбища; это знак того, что он нуждается в уединении.

Если человек не следует этому намеку, он теряет душевное равновесие, становится капризным, придирчивым и болезненно мнительным. Повышенная критичность по отношению к своей или чужой работе всегда является дурным симптомом — она означает, что человек утратил крайне важные качества: непосредственность восприятия и вдохновение.

Почувствовав, что приближаюсь к этой удручающей стадии, я поспешно собрал рюкзак и, сев в поезд, шедший в Уэстморленд, начал свое путешествие в поисках уединенных мест, живительного воздуха и романтических видов.

В начале лета я посетил множество мест, которые на первый взгляд удовлетворяли всем требуемым условиям, однако те или иные мелкие изъяны все же не позволили мне там остановиться. Где-то мне не пришелся по душе пейзаж; в других случаях я ощущал внезапную антипатию к хозяйке или хозяину и предвидел, что, окажись я на их попечении, через несколько дней их возненавижу. Некоторые места вполне бы меня устроили, но я не смог снять там жилье, ибо оно не сдавалось. Судьбе было угодно привести меня в этот дом на вересковой пустоши — а судьбы никому не дано избежать.

Однажды я обнаружил, что нахожусь на широкой, лишенной дорог пустоши неподалеку от моря. Предыдущую ночь я провел в одном маленьком селении, но от него меня отделяли уже восемь миль, и за все время пути я не встретил ни единого следа человеческого присутствия; я пребывал наедине с чистым небом, раскинувшимся над моей головой, мягкий свежий ветер овевал каменистые, поросшие вереском холмы, и ничто не тревожило моих дум.

Как далеко простирается эта пустошь, я не знал; я знал лишь, что, если буду идти, никуда не сворачивая, то в конце концов окажусь среди прибрежных скал, а спустя некоторое время увижу впереди какую-нибудь рыбацкую деревушку.

У меня в рюкзаке имелся запас еды, и по молодости лет я не боялся провести ночь под открытым небом. Я жадно вдыхал восхитительный летний воздух, и ко мне возвращались утраченные было энергия и счастье;

в мой ум, иссушенный городской жизнью, вливались свежие силы. Так, один за другим, плавно текли часы, пока, преодолев около пятнадцати миль, я не увидел далеко впереди одиноко стоящий каменный дом с грубой шиферной крышей.

«Если удастся, остановлюсь здесь», — сказал я себе, ускоренным шагом направляясь к дому.

Человеку, искавшему безмятежной и вольной жизни, этот дом подходил как нельзя лучше. Обращенный входом к пустоши, а задней стеной — к океану, он стоял на краю высокого утеса. Когда я подошел ближе, моего слуха достиг убаюкивающий говор мерно катящихся волн; как же они, должно быть, грохочут, когда налетают осенние ветры, заставляя морских птиц с пронзительным криком скрываться в зарослях осоки!

Перед домом был разбит небольшой сад, который окружала сложенная из камней ограда, достаточно высокая, чтобы на нее можно было, слегка наклонившись, лениво опереться. Сад пламенел алым цветом, перемежавшимся другими нежными тонами, которые характерны для бутонов созревшего мака, а именно он здесь и произрастал.

Когда я приближался, рассматривая эту замечательную маковую палитру и старомодную чистоту окон, открылась дверь и на пороге появилась женщина, которая с первого взгляда мне понравилась; она неторопливо двинулась по дорожке в сторону калитки и отворила ее, словно приглашая меня зайти.

Она была средних лет и в молодости, вероятно, отличалась необыкновенной красотой. Высокая и все еще стройная, с гладкой светлой кожей, правильными чертами и безмятежным выражением лица, сразу внушившим мне чувство покоя.

В ответ на мои расспросы она сказала, что может сдать мне гостиную и спальню, и пригласила меня посмотреть на них. Взглянув на ее прямые черные волосы и холодные карие глаза, я подумал, что не стоит быть излишне требовательным к бытовым условиям и обстановке. С такой хозяйкой я несомненно найду здесь то, что искал. Комнаты превзошли все мои ожидания: в спальне — изящные белые занавески и подушки, пахнущие лавандой, гостиная простая, без излишеств, но очень уютная. Со вздохом безмерного облегчения я сбросил на пол рюкзак и сказал хозяйке, что остаюсь.

Она была вдовой и воспитывала единственную дочь, которую в первый день мне не довелось увидеть: девушка неважно себя чувствовала и оставалась в своей комнате; однако наутро ей стало лучше, и тогда мы

встретились.

Стол был простым, но совершенно меня устраивал: очень вкусное молоко и масло с ячменными лепешками домашней выпечки, свежие яйца и бекон. Выпив крепкого чаю, я рано отошел ко сну, в высшей степени довольный своим жилищем.

Я был счастливым и усталым, однако ночлег мой оказался весьма беспокойным. Я приписал это новизне места, с которым еще не вполне свыкся. Я, несомненно, спал, однако сон мой был полон всевозможных видений, так что я пробудился поздно и при этом не чувствовал себя отдохнувшим; впрочем, прогулка по пустоши восстановила мои силы, и к завтраку я воротился с превосходным аппетитом. Если верить «Ромео и Джульетте» Шекспира, для того, чтобы юноша влюбился с первого взгляда, необходимо определенное умонастроение вкупе с внешними обстоятельствами, способствующими зарождению чувства. В городе, где мне ежечасно попадалось на глаза множество привлекательных женских лиц, я был подобен стоику, но в то утро, переступив по возвращении с прогулки порог своего нового жилища, я мгновенно пал жертвой странных чар Ариадны Бруннелл, дочери моей хозяйки.

Тем утром она чувствовала себя несколько лучше, чем накануне, и смогла присоединиться ко мне за завтраком — в продолжение моего постоя нам приходилось трапезничать вместе. Ариадна не была красавицей в классическом смысле слова: ее лицо выглядело чересчур бледным и неподвижным, чтобы понравиться с первого взгляда; впрочем, по словам матери, она некоторое время была нездорова, чем и объяснялось упомянутое несовершенство ее облика. Она не обладала идеально правильными чертами, ее волосы и глаза казались слишком черными на фоне удивительно белой кожи, а алость ее губ была бы уместна разве что в декадентских гармониях Обри Бердслея.

Однако благодаря фантастическим видениям минувшей ночи и утренней прогулке я оказался способен увлечься этим болезненным созданием, словно сошедшим с современного рекламного плаката.

Уединенность пустоши и пение океана сжали мое сердце оковами страстного желания. Неуместность тех броских и недолговечных маковых бутонов с их головокружительной расцветкой в этой тусклой местности заставила меня содрогнуться, когда я подходил к дому, а теперь я оказался полностью порабощен другим поразительным контрастом, запечатленным в облике Ариадны.

Когда мать представляла ее, девушка поднялась с кресла и улыбнулась, протянув мне руку. Пожимая ее мягкую белоснежную кисть, я

почувствовал, как слабая дрожь прошла по моему телу и замерла возле сердца, отчего оно на миг перестало биться.

Это прикосновение, похоже, подействовало не только на меня, но и на нее: лицо Ариадны залил яркий румянец, так что оно просияло, словно освещенное алебастровой лампой; взгляд ее черных глаз, когда наши взоры встретились, стал более мягким и влажным, равно как и ее алые губы. Теперь она не казалась, как прежде, подобием трупа, а была обыкновенной живой женщиной.

Она позволила своей белой тонкой руке задержаться в моей дольше, чем это принято при знакомстве, а затем медленно высвободила ее, но еще пару секунд на меня был устремлен ее пристальный взгляд.

За то время, пока эти бездонные, бархатистые глаза смотрели на меня, они как будто забрали всю мою волю и превратили меня в своего жалкого раба. Они походили на глубокие темные водяные омуты — и вместе с тем они жгли меня огнем и лишали сил. Я опустился в кресло таким же разбитым, каким поутру поднялся с постели.

Тем не менее позавтракал я с аппетитом, Ариадна же почти ни к чему не притронулась, но, как ни странно, встала из-за стола оживленной, с легким румянцем на щеках, который настолько преобразил ее, что она выглядела помолодевшей и почти красивой.

Я пришел сюда в поисках уединения, но с того момента, как увидел Ариадну, мне стало казаться, что я пришел исключительно ради нее. Она не отличалась живостью натуры: в самом деле, оглядываясь спустя время на те события, я не могу припомнить ни единой самостоятельной реплики, которая прозвучала бы из ее уст; на мои вопросы она отвечала односложно, отдавая инициативу в разговоре мне; вместе с тем она как будто направляла ход моих мыслей и разговаривала со мной одними глазами. Я не в состоянии детально описать ее — я только знаю, что первым же своим взглядом и первым прикосновением она околдовала меня, и я уже не мог думать ни о чем другом.

Я оказался во власти стремительной, будоражащей, всепоглощающей страсти; весь день напролет я следовал за Ариадной, как ручная собачонка, каждую ночь я видел во сне ее сияющее лицо, ее внимательные черные глаза, ее влажные алые губы, и каждое утро я просыпался более слабым и утомленным, чем накануне. Порой мне снилось, что ее алые губы целуют меня и я вздрагиваю от прикосновения ее черных шелковистых локонов к моей шее; порой мне грезилось, будто мы парим в воздухе, она обнимает меня и ее длинные волосы окутывают нас обоих, как черное облако, в то время как я совершенно недвижим и беспомощен.

В тот первый день после завтрака она отправилась вместе со мной на вересковую пустошь, и там я признался ей в любви и услышал ее ответное признание. Я держал ее на руках, мы целовались, и я не задумывался о том, как странно, что все это происходит так быстро. Она без промедления стала моей, или, точнее, я стал принадлежать ей. Я сказал Ариадне, что сама судьба привела меня к ней, ибо я не сомневался в своей любви, а она ответила, что я возродил ее к жизни.

Следуя совету Ариадны, а также в силу понятной робости, я не открыл ее матери, как стремительно все произошло между нами; тем не менее, хотя мы вели себя максимально осторожно, я не сомневался, что миссис Бруннел видит, как сильно мы увлечены друг другом. В умении таиться любовники не далеко ушли от страусов. Я не боялся попросить у миссис Бруннелл руки ее дочери, поскольку она уже выказала мне расположение и доверила некоторые секреты из собственной жизни; посему я знал, что социальное положение не станет сколь-либо серьезным препятствием для нашего с Ариадной брака. Мать и дочь поселились в этом уединенном месте, так как считали его благоприятным для своего здоровья, а слуг не держали оттого, что не могли никого нанять на таком удалении от человеческого жилья. Мое появление стало для них обеих неожиданным и приятным подарком.

И все же, дабы соблюсти приличия, я решил подождать со своим признанием неделю-другую и сделать его деликатно, улучив для этого какой-нибудь удобный момент.

Меж тем Ариадна и я проводили время совершенно свободно, целиком предоставленные сами себе. Каждый вечер я отходил ко сну с намерением наутро заняться работой, и каждое утро я пробуждался утомленный беспокойными снами и не мог думать ни о чем, кроме своей возлюбленной. Она день ото дня становилась все здоровее, тогда как я словно заменил ее на одре болезни; и тем не менее я любил Ариадну безрассуднее, чем когда-либо прежде, и чувствовал себя счастливым только подле нее. Она была моей путеводной звездой, моей единственной отрадой — моей жизнью.

Мы не уходили слишком далеко, ибо мне больше всего нравилось лежать на сухом вереске и смотреть на ее румяное лицо и живые глаза, слушая гул далеких волн. Любовь сделала меня праздным, думал я, ведь если у человека есть все, чего он желает, он становится похож на домашнюю кошку и, подобно ей, лениво греется в лучах солнца. Я стремительно поддался этим чарам. Мое избавление от них было не менее быстрым, хотя оно случилось задолго до того, как яд покинул мою кровь.

Как-то поздним вечером (это было через пару недель после моего

появления в доме) я воротился с чудесной прогулки при луне с Ариадной. Вечер был теплым, луна светила в полную силу, и я оставил окно спальни открытым, чтобы впустить внутрь немного свежего воздуха. Я был утомлен больше обычного, и все, на что у меня хватило сил, это скинуть обувь и верхнюю одежду, после чего я в изнеможении рухнул на одеяло и почти сразу заснул, так и не сделав глотка из чашки, которая всегда стояла на моем столе и из которой я всегда жадно пил перед сном.

В ту ночь я видел ужасный сон. Мне пригрезилась уродливая летучая мышь с лицом и локонами Ариадны, влетевшая в распахнутое окно и припавшая своими белыми зубами и алыми губами к моей руке. Я пытался прогнать этот кошмар, но не мог, ибо я, похоже, был связан и, кроме того, испытывал смутное удовольствие оттого, что тварь с отвратительным упоением пьет мою кровь.

Я сонно огляделся и увидел мертвые тела юношей, лежавшие в ряд на полу; у каждого на руке была красная метка — в том самом месте, из которого вампирша пила теперь мою кровь; и я вдруг вспомнил, как с удивлением обнаруживал такую метку у себя на руке в предыдущие две недели. В один миг я уразумел причину своей странной слабости, и в то же мгновение внезапная колющая боль пробудила меня от призрачного удовольствия.

Охваченная жаждой, вампирша в эту ночь укусила меня чуть сильнее, чем прежде, не подозревая, что я не выпил перед сном усыпляющего зелья. Очнувшись, я узрел ее в ярком свете луны, со свободно ниспадающими прядями черных волос и алыми губами, плотно прижатыми к моей руке. С криком, полным ужаса, я отшвырнул ее от себя и бросил последний взгляд на ее дикие глаза, сияющее белое лицо и окровавленный рот; потом я ринулся в ночь, гонимый страхом и отвращением, и не прерывал свой безумный бег до тех пор, пока между мною и проклятым домом на вересковой пустоши не пролегли многие мили.

Подлинные истории о вампирах

Эрик, граф Стенбок

Граф Эрик Станислав Стенбок (1859–1895), потомок шведско-немецкого аристократического рода, владевшего обширными поместьями в Эстонии, большую часть своей короткой странной жизни провел в Великобритании. Он учился в Оксфордском университете, который вынужден был с позором покинуть после того, как выпустил в свет сборник гомоэротических стихов «Любовь, сон и мечты» (1881). В середине 1880-х годов, живя в Эстонии, Стенбок основал «Клуб идиотов», ответвление которого впоследствии возникло и в Англии. Он предавался

экстравагантным ритуалам, сочетавшим элементы католицизма, буддизма и язычества, а его любовь к животным доходила до нелепости (вроде приглашения их за обеденный стол). Злоупотребление опиумом и алкоголем привело к тому, что у Стенбока развился цирроз печени, согласно одной из версий, и ставший причиной его смерти. Рассказывали, что в день, когда он, не выходя из алкогольного ступора, скончался, в окне его дяди Михеля, жившего в Эстонии, показалось лицо Эрика — легенда, в которой отозвалась ситуация, описанная в одном из его стихотворений.

Сегодня Стенбок почти забыт. Его перу принадлежат три сборника убийственно горьких, невыразительных, фантастических и извращенных стихов (сохранились единичные экземпляры их первых изданий) и сборник рассказов «Этюды о смерти: Романтические сказки», включающий семь произведений, с кладбищенской сценой на обложке, которую придумал сам Стенбок. Его простой, прозрачный слог сравнивали с повествовательной манерой Ги де Мопассана.

Рассказ «Правдивая история вампира» был впервые опубликован в сборнике «Этюды о смерти» (Лондон: Натт, 1894).

Правдивая история вампира

Истории о вампирах обычно происходят в Стирии; моя — не исключение. Надо сказать, что Стирия совершенно не похожа на романтическое место, предстающее в описании людей, никогда там не бывавших. Это скучная равнинная страна, прославленная лишь своими индюками, каплунами да глупостью обитателей.

Вампиры обычно приезжают по ночам, в каретах, запряженных парой черных лошадей. Наш вампир прибыл вечером — на банальном поезде. Вы можете подумать, что я шучу или что имею в виду финансового вампира. Но нет, я говорю серьезно. И человек, о котором пойдет речь, был настоящим вампиром — существом, опустошившим мой дом.

Обычно вампиров описывают как смуглых людей зловещей красоты. Однако этот вампир, напротив, был белокурым и на первый взгляд ничем зловещим не отличался. У него было симпатичное лицо, но я бы не назвала его невероятным красавцем.

Да, он разорил наш дом, погубил сначала брата, которого я обожала, а затем моего дорогого отца. И тем не менее я должна признать, что тоже стала жертвой его чар и, вопреки всему, не питаю к нему враждебных чувств.

Несомненно, вы читали в различных газетах о «Баронессе и ее питомцах». Я хочу рассказать о том, как же случилось так, что я растратила большую часть своего состояния на приют для бездомных животных.

Теперь я старуха, а в ту далекую пору, о которой пойдет речь, мне было лет тринадцать. Сперва опишу наше семейство. Мы были поляками, семья Вронских, и жили в замке в Стирии. Круг домочадцев был ограничен и, если не считать слуг, состоял из отца, бельгийки-гувернантки — достопочтенной мадемуазель Воннер, — моего брата и меня самой. Позвольте мне начать с отца он был стар, и мы с братом появились на закате его жизни. Мать я совсем не помню. Она умерла при родах моего брата, который был младше меня на год с небольшим. Отец занимался наукой и постоянно читал малопонятные книги, написанные на множестве незнакомых мне языков. У него была длинная седая борода, а на голове обычно носил черную бархатную ермолку.

Как он был добр к нам! Доброта его не поддается описанию. Однако я не была его любимицей. Сердце отца принадлежало Габриелю — или Гавриилу, — так мы произносили это имя по-польски… А чаще всего называли его по-русски — Гаврилой. Я, конечно же, имею в виду своего брата. Он очень походил на маму, чей единственный портрет — вернее, легкий набросок мелками — висел в кабинете отца. Нет-нет, я никогда его не ревновала: милый брат был и будет нетленной любовью моей жизни. И это ради него я содержу сейчас в Вестбернском парке приют для бродячих собак и кошек.

В ту пору, как я уже сказала я была еще ребенком. Меня звали Кармилой. Мои длинные спутанные волосы не хотели ложиться в прическу, не слушались гребня. Я не была хорошенькой — по крайней мере, глядя на фотографии той поры, не решусь назвать себя привлекательной. И в то же время мои черты на этих пожелтевших снимках могли бы привлечь внимание — лукавая несимметричность линий, дерзкий рот, большие непокорные глаза.

Меня считали озорной девчонкой, но в шалостях я уступала Габриелю. Во всяком случае, так утверждала мадемуазель Воннер. Скажу, что она была очень приятной дамой средних лет, отлично говорила по-французски, хотя и была бельгийкой, и могла объясниться по-немецки — на этом языке говорят в Стирии.

Мне трудно описывать брата. В нем чувствовалось что-то странное и сверхчеловеческое (наверное, лучше сказать проточеловеческое) — нечто среднее между животным и божеством. Возможно, греческое представление о фавне может отчасти проиллюстрировать мои слова, но и оно не совсем верно. У Габриеля были большие и раскосые глаза, как у газели. Вечно спутанные волосы напоминали мои. Нас вообще многое объединяло. Я однажды слышала, что моя мать происходила из цыган —

очевидно, этим и объяснялась наша необузданная и врожденная дикость. Но если я считалась непослушным ребенком, то Габриель был просто воплощением свободолюбия. Ничто не могло заставить его носить ботинки и чулки. Он надевал их только по воскресеньям и лишь в эти дни позволял расчесывать волосы — конечно, мне и больше никому.

Как описать его прекрасные губы, изогнутые в виде «en arc d`amour»! Глядя на них, мне всегда вспоминалась строка из псалма: «Красота изольется с уст твоих, ибо будет с тобой навеки Божья милость». Уста, которые, казалось, изливали само дыхание жизни! А это гибкое, подвижное и стройное тело!

Он бегал быстрее оленей; прыгал, как белка, по самым верхним ветвям деревьев. Брат был олицетворением живой природы. Нашей гувернантке не всегда удавалось усадить его за уроки, но если он уступал ее уговорам, то учился с необычайной быстротой. Он умел играть на всех инструментах, хотя, к примеру, скрипку держал как угодно, но только не принятым способом. И больше всего ему нравились дудочки, которые он сам вырезал из тростника или тонких веточек. Мадемуазель Воннер пыталась приобщить Габриеля к игре на пианино, но ей это не удалось. Мне кажется, он был просто избалован, пусть даже в самом поверхностном смысле слова. Наш отец потакал ему в каждом капризе.

Одна из его странностей заключалась в том, что он с малых лет испытывал ужас при виде мяса. Ничто на земле не могло бы заставить Габриеля отведать мясное блюдо. Другой, совершенно необъяснимой чертой была его сверхъестественная власть над животными. Он мог приручить любого зверя. Птицы садились к нему на плечи. Иногда мы с мадемуазель Воннер теряли его в лесу (брат часто убегал от нас) и после долгих поисков находили Габриеля под каким-нибудь деревом, где он тихо напевал или насвистывал пленительные мелодии, окруженный лесными зверьками: зайцами, лисичками, ежами, сурками и белками. Он часто приносил их домой и оставлял в саду. Этот странный зверинец был настоящим бедствием для нашей гувернантки.

Для своего жилища брат выбрал маленькую комнату на верхнем уровне замковой башни. Вместо того чтобы подниматься туда по лестнице, он забирался в окно по ветвям высокого каштана. И все же, несмотря на все причуды, Габриель с удовольствием посещал воскресные мессы и, отправляясь в приходскую церковь, всегда облачался в белый стихарь и красную сутану. В этой одежде, аккуратно причесанный и вымытый, он казался скромным, благовоспитанным мальчиком. Во время служб он был полон божественного смирения. Какой экстаз пылал в его прекрасных

глазах!

Я пока ни слова не сказала о вампире. Ну что же, позвольте мне начать эту грустную историю. Однажды мой отец поехал в соседний город. Он часто так делал. Однако на сей раз папа вернулся в сопровождении гостя. По его словам, этот джентльмен не попал на свой поезд из-за задержки на узловом полустанке, а поскольку поезда в наших краях ходили не часто, ему предстояло провести на станции всю ночь. Он случайно разговорился с отцом и пожаловался на досадную задержку. Папа предложил ему переночевать в нашем доме, и незнакомец охотно согласился. Да вы и сами знаете, что в этой глухой провинции мы почти патриархальны в своем гостеприимстве.

Мужчина назвался графом Вардалеком. Несмотря на венгерскую фамилию, он хорошо изъяснялся по-немецки — причем без малейшего акцента и, я бы даже сказала, с легкими славянскими интонациями. Его голос был до странности мягким и вкрадчивым. Чуть позже мы узнали, что он умел говорить по-польски, а мадемуазель Воннер восхищалась его прекрасным французским. Казалось, он владел всеми языками. Но позвольте описать вам наши первые впечатления. Он был высоким мужчиной, с красивыми вьющимися волосами, обрамлявшими его женственно-округлое лицо и ниспадавшими на плечи. В фигуре чувствовалось нечто змеиное — я не в силах описать что именно, но это было так. Утонченные черты; притягивающие взор холеные руки; большой, с горбинкой нос; красивый рот и привлекательная улыбка, контрастировавшая с печалью, застывшей в его глазах. В момент нашей первой встречи граф выглядел очень усталым. Его веки были полуприкрыты. На самом деле они оставались такими почти всегда. Мне даже не удалось поначалу определить цвет его глаз и его возраст.

Внезапно в комнату вбежал Габриель. В волосах его запуталась желтая бабочка. Он держал в руках бельчонка и, как обычно, был босоногим. Незнакомец взглянул на брата, и я заметила странный блеск в его глазах. Веки графа приподнялись, открывая изумрудную зелень глаз. Габриель испуганно остановился перед ним, словно птица, очарованная голодной змеей. Он протянул Вардалеку руку, и тот пожал ее, зачем-то придавив указательным пальцем пульсирующую жилку на запястье мальчика. Не знаю почему, но я заметила это. Габриель ошеломленно отступил к двери и, выбежав из комнаты, помчался к себе наверх — на этот раз по лестнице, а не по веткам дерева. Я была в ужасе оттого, что граф мог подумать о нем. К моему облегчению, брат вскоре вернулся — в бархатном костюмчике, чулках и ботинках. Я расчесала ему волосы, и он весь вечер вел себя на

редкость хорошо.

Когда Вардалек спустился в гостиную к ужину, его вид изменился. Он выглядел гораздо моложе. Я никогда не видела у мужчин такой эластичной кожи и изящного телосложения. А ведь прежде граф казался мне ужасно бледным.

Во время ужина он был душой компании и очаровал, всех нас — особенно отца. Как оказалось, у них были сходные увлечения. Когда папа завел речь о своем военном прошлом, Вардалек рассказал историю о маленьком барабанщике, который получил в бою серьезное ранение. Веки графа снова поднялись, и меня напугал его мертвенно-тусклый взгляд, оживленный каким-то диким возбуждением. Впрочем, это выражение промелькнуло лишь на миг.

Главной темой застольной беседы были мистические книги, которые отец недавно приобрел у букиниста. Папа не мог их понять, и вдруг оказалось, что Вардалек прекрасно в них разбирается. Когда подали десерт, отец спросил, торопится ли граф завершить свое путешествие.

— Если спешка не велика, не согласились бы вы погостить у нас какое-то время?

Отец намекнул, что, хотя мы и живем в глуши, гость мог найти в его библиотеке много интересного.

— Я не спешу, — ответил Вардалек. — И у меня нет особой причины продолжать свое путешествие. Если я могу помочь вам в толковании книг, то буду рад оказать услугу.

Внезапно его улыбка стала горькой — очень горькой, — и он добавил:

— Видите, я космополит, земной скиталец.

После обеда отец спросил, не играет ли наш гость на пианино.

— Да, немного, — ответил граф.

Он сел за инструмент и начал наигрывать венгерский чардаш — дикий, восторженный, чудесный. Эта музыка могла свести с ума. И он играл с безумным напряжением.

Габриель стоял рядом с ним. Его глаза смотрели вдаль невидящим взором. Тело сотрясала дрожь. Наконец, выбрав место, где основная тема чардаша начиналась вновь, он тихо прошептал:

— Пожалуй, я мог бы повторить эту мелодию.

Он быстро сбегал за скрипкой и самодельным ксилофоном, а затем действительно повторил мелодию, поочередно меняя свои инструменты. Вардалек взглянул на него и печально произнес:

— Бедное дитя! В твоей душе живет музыка.

Я не поняла, почему он соболезновал, а не поздравлял Габриеля с его

необычным даром. Брат был застенчив, как дикие зверьки, которых он приручал. Наш мальчик всегда сторонился посторонних, и если в дом приезжал незнакомый человек, он, как правило, прятался в башне, а я приносила туда ему пищу. Представьте мое удивление, когда на следующее утро я увидела его в парке с Вардалеком. Они шагали рука об руку по аллее и оживленно беседовали. Габриель показывал гостю свою коллекцию лесных зверей, для которых мы устроили зоологический сад. Мне показалось, что он полностью находился под властью графа. Нет, нам нравился Вардалек, и мы были рады, что он относился к Габриелю с искренней добротой и участием. Однако нас удивляло — хотя вначале это замечала только я, — что граф постепенно терял здоровье и бодрость. Он не выглядел таким изнуренным и бледным, как в день приезда, но в его движениях появилась апатия, которой прежде не было.

Отец все больше и больше увлекался нашим гостем. Тот помогал ему в исследованиях, и папа с явной неохотой отпускал Вардалека в Триест. Во всяком случае, граф говорил, что ездит именно туда. И он всегда возвращался, привозя нам подарки — восточные сладости, ожерелья и ткани. Хотя я знала, что всякие люди бывали в Триесте, в том числе и из восточных стран, но даже в ту пору понимала, что странные и великолепные предметы, которые дарил Вардалек, не могли быть куплены в Триесте, городе, запомнившемся мне в основном лавками, в которых торговали галстуками.

Когда граф уезжал, брат постоянно говорил о нем. И все же на какое-то время он снова становился прежним жизнерадостным ребенком. А Вардалек, возвращаясь, всегда выглядел старше и бледнее. Габриель подбегал к нему, бросался в объятия и целовал его в губы. При этом тело графа сотрясала странная дрожь, и несколько часов спустя он вновь молодел и наполнялся силой.

Так продолжалось довольно долго. Мой отец не желал больше слышать об окончательном отъезде Вардалека. Гость постепенно превратился в постояльца, а мы с гувернанткой стали замечать неладное в поведении Габриеля. И только один отец был абсолютно слеп к тому, что творилось в доме.

Однажды вечером я спустилась в гостиную, чтобы взять там какую-то вещь. Проходя по лестнице мимо комнаты графа, я услышала ноктюрн Шопена. Вардалек играл на пианино, которое перенесли в его комнату. Музыка была столь пленительной, что я остановилась и, прислонившись к перилам, заслушалась. Внезапно в полумраке на лестнице возникла белая фигура. В ту пору мы верили в привидения, и я, оцепенев от страха,

прижалась к колонне. Каково же было мое изумление, когда я увидела Габриеля, медленно спускавшегося вниз. Он двигался точно в трансе. Это напугало меня даже больше, чем возможная встреча с призраком. Но могла ли я поверить своим глазам? А вдруг он мне просто привиделся?

Я не могла пошевелиться. Брат в длинной ночной рубашке спустился по лестнице и открыл дверь в комнату графа. Он оставил ее приоткрытой. Вардалек продолжал играть. Но чуть позже он заговорил, на этот раз по-польски:

— Nie umiem wyrazicjak ciechie kocham.. — «Мой милый, я вынужден расстаться с тобой. Твоя жизнь — это моя жизнь, а я должен жить, хотя уже и умер. Неужели Бог не сжалится надо мной? О, жизнь! Ах, муки жизни!»

Он взял полный отчаяния аккорд и стал играть заметно тише.

— О Габриель! Любимый! Ты моя жизнь. Да, жизнь! А что такое жизнь? Мне кажется, это самое малое из того, что я хотел бы взять у тебя. Конечно, при твоем изобилии ты мог бы и дальше делиться жизнью с тем, кто уже мертв. Но хватит!

Он вдруг заговорил хриплым шепотом.

— Пусть будет то, чего не миновать!

Брат все так же стоял подле него, с пустым и застывшим взглядом. Наверное, он явился сюда в состоянии лунатического сна. Вардалек, прервав на минуту мелодию, издал вдруг горестный стон, а затем печально и мягко добавил:

— Ступай, Габриель! На сегодня достаточно!

Брат вышел из комнаты — все той же медленной поступью и с тем же невидящим взором. Он поднялся к себе, а Вардалек заиграл что-то очень тревожное. И хотя играл он не очень громко, мне казалось, что струны вот-вот порвутся. Я никогда не слышала такой неистовой и душераздирающей музыки.

Утром мадемуазель Воннер нашла меня на ступенях лестницы. Наверное, мне стало дурно, и я лишилась чувств. Но что, если все это было сном? Даже теперь я ни в чем не уверена. А тогда меня терзали сомнения, и я никому ничего не сказала. Да и что я могла им сказать?

Позвольте мне сократить эту длинную историю. Габриель, который в жизни не знал болезней, внезапно захворал. Мы послали в Грац за доктором, но тому не удалось найти причин недуга. Он сказал, что это истощение — болезнь не органов, а чувств. Ну что мы могли тут поделать?

Даже отец осознал тот факт, что Габриель серьезно болен. Его беспокойство было страшным. Последний темный след на его бороде поблек, и она стала полностью белой. Мы привозили докторов из Вены, но

их опыт и знания не помогали. Брат в основном находился без сознания, а когда приходил в себя, то узнавал только Вардалека, который постоянно сидел у его постели и ухаживал за ним с потрясающей нежностью.

Однажды я сидела в соседней комнате и вдруг услышала неистовый крик графа.

— Быстрее! Пошлите за священником! Быстрее!

И сразу после этого горестно добавил:

— Поздно!

Габриель спазматически вытянул руки и обвил шею Вардалека. Это было его единственное движение за долгое время. Граф склонился к нему, целуя в губы. Я бросилась вниз, чтобы позвать священника.

Через минуту, когда мы вбежали в комнату брата, Вардалека там уже не было.

Священник соборовал покойника. Наверное, душа Габриеля летела в тот миг к небесам, но мы тогда еще не верили в его кончину.

Вардалек навсегда исчез из замка, и с тех пор я о нем ничего не слышала.

Вскоре умер и мой отец. Он как-то внезапно постарел и увял от горя. Все состояние Вронских перешло ко мне. В память о брате я открыла приют для бездомных животных, и теперь на старости лет люди смеются надо мной. Они по-прежнему не верят в вампиров!

Луиджи Капуана

Луиджи Капуана (1839–1915) родился в городке Минео, расположенном в сицилийской провинции Катания. Сын богатых землевладельцев, он окончил Королевский колледж Бронте, а затем с 1857-го по 1860 год изучал право в Университете Катании, однако покинул факультет, чтобы примкнуть к движению Рисорджименто в качестве секретаря Тайного революционного комитета, а позднее стал главой гражданского совета. В 1864 году Капуана перебрался во Флоренцию, решив всерьез заняться литературной деятельностью, хотя к тому времени уже была опубликована его драма в трех песнях «Гарибальди» (1861), высоко оцененная публикой. Во Флоренции он свел знакомство с наиболее авторитетными представителями итальянской литературы того времени, писал критические очерки для «Итальянского обозрения», был театральным обозревателем флорентийской газеты «Нация» и написал свой первый рассказ, «Доктор Цимбал», который был опубликован в нескольких выпусках ежедневной газеты. В 1868 году он вернулся на Сицилию.

В произведениях Капуаны принято видеть ранние образцы натурализма в итальянской литературе. В них присутствуют серьезные

психологические темы, а также глубокие патологические и оккультные мотивы, которые, впрочем, нередко разоблачаются как псевдонаучные. Капуана испытал влияние романов Золя и идеализма Гегеля, а его произведения, в свою очередь, повлияли на творчество Джованни Верга и Луиджи Пиранделло. Он также известен как автор сказок для детей.

Рассказ «Случай мнимого вампиризма» был впервые опубликован в Риме Энрико Вогера под названием «Вампир» в 1904 году.

Случай мнимого вампиризма

— Это не смешно! — сказал Лелио Джорджи.

— Ну почему же мне не посмеяться? — ответил Монджери. — Лично я в привидения не верю.

— Я тоже когда-то не верил, да и сейчас не хочу верить, — продолжал Джорджи. — Поэтому я к тебе и пришел. Возможно, ты сможешь объяснить, что превратило мою жизнь в сплошное несчастье и разрушило мой брак.

— Что превратило твою жизнь в сплошное несчастье? Ты хочешь, чтобы я объяснял тебе смысл твоих же собственных фантазий? Ты не в своем уме. Галлюцинации действительно существуют, с этим никто не спорит, однако наши видения имеют смысл лишь для нас самих. Иначе говоря, видения — это конкретная форма некоего ощущения, так сказать, проекция нашего «я», когда глаза видят то, чего на самом деле нет, и уши слышат то, чего на самом деле нет. Ранее накопленные впечатления, подчас бессознательно, превращаются в некие события, которые происходят в нашем воображении. Мы, ученые, до сих пор не знаем, как это происходит и почему. Можно сказать, что мы спим с открытыми глазами. Однако надо различать мимолетные галлюцинации, вовсе не указывающие на органическое или психическое заболевание, и явления устойчивого характера… Разумеется, к тебе это не относится.

— Напротив, это относится и ко мне, и к моей жене.

— Ты меня не понял. То, что ученые называют устойчивыми галлюцинациями, есть признак сумасшествия. За примером далеко ходить не надо. То, что вы оба, ты и твоя жена, подвержены одним и тем же галлюцинациям можно объяснить после несложных размышлений. Вполне возможно, что твое нервное состояние слишком сильно повлияло на нервную систему твоей жены.

— Нет. Видения начались у нее.

— Ты хочешь сказать, что твоя нервная система как более восприимчивая, оказалась слабее? Пожалуйста, не морщи свой поэтический нос от слов, которые тебе угодно считать научным жаргоном.

Жаргон иногда полезен.

— Может быть, дашь мне вставить пару слов?..

— Есть вещи, о которых лучше не думать. Тебе нужно научное объяснение? Что ж, отвечу: в настоящее время наука не может этого объяснить. Мы выдвигаем гипотезы: сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Странный вы народ, лирики! Смеетесь над наукой, но недооцениваете эксперименты, исследования и гипотезы, позволяющие ей двигаться вперед. При этом, когда затронуты ваши интересы, желаете получить четкий, ясный и категорический ответ. Порой ученые принимают условия этой игры — из собственных убеждений или из тщеславия. Но я к ним не отношусь. Тебе нужна голая правда? Наука — величайшее доказательство нашего невежества. Чтобы тебя успокоить, я могу рассуждать о галлюцинациях, размышлениях, восприимчивости. Слова, слова, слова! Чем больше я занимаюсь исследованиями, тем меньше надеюсь на бесспорные истины. Как нарочно: стоит ученому сделать открытие — тут же всплывают новые факты, немедленно опровергающие его выводы. Не надо принимать все близко к сердцу. Плыви по течению, как все. Это пройдет. Зачем тебе знать, как и почему что-то происходит? Ты боишься своих видений?

— Но дай же мне сказать…

— Хорошо, говори, если это тебя мучает. Но предупреждаю: тебе может стать не лучше, а хуже. Единственный способ избавиться от тревожного состояния — отвлечься от него и игнорировать его. Так сказать, найти нового дьявола, чтобы прогнать старого.

— Мы пытались. Ничего не помогло. Первые признаки… первые тревожные явления начались на нашей вилле в Фосколаре. Мы переехали в город, но в ту же ночь…

— Естественно. А что могло вас отвлечь в собственном доме? Вам нужно путешествовать, останавливаться в отелях, день тут, день там. Осматривать достопримечательности, заглядывать в церкви, посещать музеи и театры, чтобы возвращаться поздно вечером, падая от усталости.

— Мы и это пробовали, и все же…

— Пробовали — вдвоем. А вам следовали постоянно находиться среди людей, в кругу друзей.

— Но так и было, мы постоянно находились среди людей. Ничего не помогло.

— Смотря каких людей!

— Это были прекрасные, веселые люди.

— Наверняка эгоисты, среди которых вы чувствовали себя

одинокими…

— Нет, мы веселились вместе со всеми. Однако не могли же они и спать вместе с нами…

— Значит, мы все-таки спали? Тогда я не понимаю, о чем идет речь, о снах или о галлюцинациях?

— Да не было у нас ни снов, ни галлюцинаций! Всю ночь мы лежали, не смыкая глаз, вполне здоровые душой и телом, как я сейчас. Дай же мне объяснить…

— Прошу.

— Сначала мне хотелось бы кое-что рассказать.

— Я знаю, что ты сейчас расскажешь. Это сто раз описано в книгах. Детали отличаются, но это не важно. Суть одна.

— Неужели ты не позволишь мне хотя бы…

— Позволю. Приводи примеры, хоть сотню. Знаешь, ты из тех людей, которые упиваются собственным беспокойством во вред себе. Прости, но это глупо! Но если тебе так хочется…

— Послушай, мне кажется, ты меня боишься.

— Я? Боюсь тебя? Это что-то новенькое!

— Ты боишься, что я смогу тебя переубедить. Как ты говорил? «Я не верю в привидения». А вдруг я заставлю тебя в них поверить?

— Прекрасно. Попробуй. Ученые, в конце концов, тоже люди. Когда наши взгляды на мир и принципы опровергаются, интеллект отказывается следовать за чувствами. Даже ум имеет свои привычки. Ну ладно. Итак, я весь внимание. Выкладывай свои драгоценные факты.

— Так вот, — вздохнул Лелио Джорджи, — ты уже знаешь, что мне пришлось пережить в Америке. Родители Луизы противились нашему браку, и, думаю, они были правы, поскольку больше всего на свете беспокоились о финансовом положении своего будущего зятя. В мои способности они не верили и с большим сомнением относились к моей поэтической карьере. Тоненький сборник моих ранних стихов стал моим злейшим врагом. Между прочим, с тех пор я не написал ни строчки, тем более ничего не публиковал, а ты все называешь меня поэтом. Ко мне уже прилепился этот ярлык. О господи.

— Все-таки вы, писатели, любите начинать издалека!

— Наберись терпения и слушай. Я жил в Буэнос-Айресе и не получал от Луизы никаких известий. Прошло три года. И вдруг появилось завещание моего богатого дядюшки, при жизни не желавшего меня знать. Я вернулся в Европу и помчался в Лондон, имея в кармане двести тысяч фунтов. И что же я выяснил? Что шесть месяцев назад Луиза вышла замуж!

Я же любил ее, как прежде. Наверное, она уступила настойчивым просьбам своих домашних. В то время еще можно было что-то сделать… Учти, это незначительные детали, но они очень важны… Как последний дурак, я написал ей письмо, полное жестоких упреков. Никогда не думал, что оно попадет в руки ее мужа. На следующий день он появился на пороге моего дома. Видимо, он прекрасно понимал нелепость моего поведения и пришел, чтобы меня успокоить. Сам он был абсолютно спокоен. «Я пришел, — сказал он, — чтобы вернуть ваши письма. Я распечатал их по ошибке, а не из любопытства, и хорошо, что все так получилось. Я убедился, что вы джентльмен. Я прекрасно понимаю вашу горечь и обиду, но прошу вас — не нарушайте покой нашей семьи. Если вы найдете в себе силы рассудить здраво, то поймете, что никто не хотел причинить вам боль. Просто вам не повезло. Думаю, вы сами понимаете, в чем теперь состоит ваш долг; я же заявляю, что намерен решительно защищать свое семейное счастье. Любой ценой». Говоря это, он был бледен, его голос дрожал «Я должен извиниться перед вами за свою неосмотрительность, — ответил я, — и сообщить, что завтра я уезжаю в Париж». Наверное, я был еще бледнее, чем он, и с трудом выговаривал слова. Я протянул ему руку, и он крепко пожал ее. Я сдержал слово. Через шесть месяцев я получил от Луизы телеграмму. В ней говорилось: «Я стала вдовой. Люблю тебя. А ты?» Ее муж умер два месяца назад.

— Такова жизнь; каждому свое…

— Так и я подумал, эгоист… Никогда в жизни я не был так счастлив, как в нашу первую брачную ночь и в течение последующих месяцев. Мы с женой никогда не говорили о нем. Луиза убрала из дома все вещи покойного. Не потому, что была неблагодарной — ведь он делал все, чтобы она была счастлива, — а чтобы не расстраивать меня. И она была права. Порой одна мысль о том, что кто-то, пусть на законном основании, обладал ею, заставляла меня дрожать с головы до ног. Мне плохо удавалось скрывать от жены свое состояние. Она что-то чувствовала, и ее глаза часто наполнялись слезами. Но они сияли, когда она мне сообщила, что у нас будет ребенок! Я хорошо помню, как это произошло: мы пили кофе, я стоял, а она сидела, вид у нее был трогательный и усталый. В тот раз она впервые упомянула о прошлом: «Как я рада, что этого не случилось тогда!» — воскликнула она. Внезапно за дверью послышался громкий стук, словно кто-то изо всех сил ударил по ней кулаком. Мы вскочили. Я бросился выяснять, что происходит, решив, что это слуги. Однако в соседней комнате никого не было.

— Вероятно, от тепла в доме растрескались балки.

— Я так и объяснил испуганной Луизе, однако сам не был в этом уверен. Я почувствовал какую-то тревогу. Мы немного подождали; все было тихо. Однако с того дня я стал замечать, что Луиза боится оставаться одна. Что-то ее угнетало, хотя она в этом не признавалась, а я не осмеливался расспрашивать.

— Теперь я вижу, что вы оба хороши — действовали друг другу на нервы, даже не сознавая этого.

— Вовсе нет. Через несколько дней я уже смеялся над этим маленьким происшествием и думал, что страхи Луизы вызваны ее состоянием. Она тоже вроде бы успокоилась. Потом у нас родился ребенок. Однако через несколько месяцев старые страхи и тревоги вернулись. Однажды ночью жена прижалась ко мне, дрожащая и ледяная от страха «Что с тобой? Ты заболела?» — тревожно спросил я. «Мне страшно. Ты ничего не слышал?» Я ответил, что нет, ничего. «Неужели ты ничего не слышишь?» — спросила она на следующую ночь. «Нет». Правда, в тот раз мне показалось, что в комнате раздаются тихие шаги, словно кто-то расхаживает возле нашей постели, но я ответил «нет», не желая пугать жену. Я поднял голову и оглядел спальню. «Наверное, мышь скребется», — сказал я. «Мне страшно, страшно!» В течение следующих ночей, в одно и то же время, возле нашей постели раздавалось тихое шарканье и звук жутких шагов: вверх-вниз, вперед-назад. Нам оставалось только лежать и ждать, что будет дальше.

— И ваши расшатанные нервы завершили все остальное.

— Ты меня знаешь — так просто я не сдаюсь. Я храбрился и пытался доказать Луизе, что звуки вполне объяснимы: долетающее до нас эхо каких-нибудь далеких шагов, случайный резонанс в перекрытиях дома… Мы вернулись в город. Однако в ту же ночь явление повторилось, причем с новой силой. Дважды нашу кровать сильно тряхнуло. Я напряженно вглядывался во тьму. «Это он! Это он!» — запинаясь, бормотала Луиза, сжавшись в комок под одеялом…

— Если хочешь знать мое мнение, — прервал рассказчика Монджери, — я не стал бы жениться на вдове даже за все сокровища мира! Она никогда не забудет покойного мужа, что бы ты ни делал. Твоя жена не видела никаких призраков. Говоря «он», она имела в виду ощущения, оставшиеся у нее от первого мужа, на чисто физиологическом уровне.

— Что ж, очень может быть, — ответил Лелио Джорджи. — Но как же быть со мной?

— Очень просто. Это внушение. Теперь мне совершенно ясно.

— Внушение, которое начиналось только в определенное время, посреди ночи?

— Достаточно просто ждать, что это случится.

— Почему же эти явления каждый раз меняются, если мое воображение отключено?

— Это ты так считаешь, а твое подсознание работает.

— Позволь мне продолжить. Оставим объяснения до конца рассказа. Заметь, что на следующее утро мы с женой уже обсуждали ночное событие относительно спокойно. Луиза описала свои впечатления, а я рассказал о своих. Я решил, что случившееся было игрой нашей слишком буйной фантазии: тот же самый удар по кровати, та же самая попытка сдернуть с нас одеяло, когда я пытался успокоить жену поцелуем, словно это привело в ярость невидимку, присутствовавшего в нашей спальне. Но однажды ночью Луиза обвила мою шею руками и прошептала мне в самое ухо таким голосом, что я содрогнулся: «Он говорил со мной!» Я спросил: «Что он сказал?» — «Я не расслышала. Ах нет! Вот опять! Он говорит: ты моя!» Я крепко обнял ее, но вдруг почувствовал, что некая сила пытается грубо вырвать Луизу из моих объятий, словно в нее вцепились две сильные руки. Как; ни сопротивлялась жена, невидимые руки оказались сильнее.

— Как же она могла сопротивляться самой себе?

— Допустим… Но ведь и я чувствовал, как что-то упорно пытается отстранить нас друг от друга, не дает жене прикоснуться ко мне. Она отпрянула от меня, словно ее кто-то толкнул, затем попыталась встать и подойти к ребенку, спавшему в своей колыбельке возле нашей кровати. И тут мы услышали, как заскрипели колесики, и колыбель быстро покатилась в сторону, на ходу роняя детские одеяльца. Уверяю тебя, это была не галлюцинация. Мы быстро подобрали вещи, закутали младенца, но вскоре одеяла резко взлетели в воздух, а испуганный ребенок зарыдал. Третья ночь оказалась еще хуже. Луиза полностью попала под власть его злых чар. Я пытался с ней заговорить, но она не отвечала, словно ничего не слышала, и я перестал для нее существовать. Теперь она отвечала только ему, а он, судя по ее словам, разговаривал с ней. «Но разве он виноват, что ты умер?.. Нет, нет, нет, как ты мог такое подумать? Я отравила тебя? Какой ужас!.. Но что тебе сделал ребенок?.. Почему ты несчастлив? Я молилась за тебя… Почему тебе не нужны мои молитвы? Тебе нужна я? Как ты можешь так говорить, ты же мертв!» Схватив жену за плечи, я с силой тряхнул ее, пытаясь вывести из транса. Она пришла в себя. «Ты все слышал? — спросила она, — Он считает, что я его отравила. Но это неправда! Ты мне веришь? О господи! Что теперь будет с ребенком? Он убьет его! Ты слышал?» Я ничего не слышал, но был абсолютно уверен, что Луиза не бредит. Она все повторяла, плача и прижимая к себе ребенка: «Что нам

делать? Что нам теперь делать?»

— Но ведь с ребенком все было в порядке. Это должно было ее успокоить.

— Куда там! В такой ситуации сломались бы и самые стойкие. Я не религиозен, но и атеистом себя не считаю. Мне не хватает времени на религию. Однако когда жена сказала: «Я буду молиться за тебя», — я вспомнил о священнике.

— Ты пригласил его, чтобы изгнать нечистую силу?

— Нет. Я хотел, чтобы в нашем доме зазвучали молитвы и священник окропил его святой водой. Это могло оказать благотворное влияние на Луизу, у которой окончательно сдали нервы. Луиза очень религиозна. Я вижу, тебе смешно. Посмотрел бы я, что бы ты делал на моем месте.

— И как святая вода? Помогла?

— Нет. Никакого эффекта.

— Между прочим, это была неплохая идея. Иногда нервные расстройства лечат именно таким способом. У нас был пациент, которому казалось, что у него постоянно растет нос. Доктор принес склянку со святой водой, проделал необходимые манипуляции — вернее, сделал вид, что проделывает, — и человек выздоровел.

— Но в нашем случае святая вода лишь ухудшила ситуацию. На следующую ночь… Боже мой! Сил нет об этом вспоминать. В тот раз он, по-видимому, решил взяться за ребенка. Это было ужасно. Когда Луиза увидела…

— Или подумала, что видит…

— Увидела, старина, именно увидела… Я сам это видел. Она не могла подойти к колыбели, что-то не давало ей подойти. Она стояла, протягивая руки к ребенку, а эта тварь — жена описала мне ее внешность — склонилась над ребенком и совершала нечто ужасное: прижав губы ко рту младенца, она высасывала из него кровь. Отвратительное действие повторялось в течение трех ночей. Наш бедный малютка… его было не узнать. Он был таким розовым и пухленьким, а через три ночи… совсем зачах. И это уже не игра воображения. Приходи к нам и взгляни сам.

— Выходит, все это произошло на самом деле?..

Монджери, нахмурившись, о чем-то задумался. Насмешливая и отчасти жалостливая улыбка, с которой он слушал рассказ Лелио Джорджи, исчезла с его лица. Затем он сказал:

— Значит, это не сон… Слушай. Я ничего не могу тебе объяснить, поскольку объяснения этому нет. И я по-прежнему не верю в подобные вещи. Однако могу дать тебе совет, который, вероятно, тебя рассмешит,

поскольку исходит от меня. Решай сам.

— Я сделаю все, что ты скажешь.

— Подготовка займет несколько дней. Я поспособствую, чтобы дело пошло быстрее. Нисколько не сомневаюсь в том, что ты говорил правду. С тех пор как наука взялась за изучение этого явления, она уже не так скептически к нему относится. Теперь его относят к области физики, а не парапсихологии, разбираться в которой мы предоставляем священникам и спиритам. Нас интересуют плоть, кровь и кости, составляющие индивидуум при жизни и распадающиеся на составные элементы после смерти. Однако возникает вопрос: этот распад, эта остановка органического функционирования приостанавливаются сразу после смерти, уничтожая индивидуальность человека, или продолжают действовать в течение определенного времени? Некоторые из нас считают, что последнее верно. Наука уже готова принять это предположение. Три года я изучал народные средства, применяемые разными знахарками и ведьмами, и пришел к выводу: все это отголоски древних тайных наук или, что более вероятно, животных инстинктов. Когда человек был неотъемлемой частью природы, он инстинктивно находил необходимые для лечения травы, однако в процессе развития утратил эти навыки. Крестьянки, не забывшие древние традиции, умеют лечить народными средствами, и я считаю, что наука непременно должна обратить на них внимание. Народные поверья — нечто большее, чем страх перед силами природы. Но прости меня за это пространное отступление… Короче говоря, в настоящее время ученые считают, что душа человека исчезает не в момент смерти, а после того, как начинается разложение тела. Между прочим, так считают и в народе — достаточно вспомнить сказки о вампирах и способах защиты от них. Вампиры — это люди, продолжающие жить после смерти; кстати, не такое уж редкое явление. Возможно, ты удивишься, но это тот самый случай — далеко не единственный, — когда наука и суеверие или первобытная интуиция сходятся во мнениях. А что является единственной защитой от злобной твари, бестелесного духа, высасывающего из людей кровь и жизненные силы? Полное разрушение его бывшей телесной оболочки. Когда в каком-нибудь месте замечали вампира, люди бежали на кладбище, раскапывали могилу, вынимали тело и сжигали его; после этого вампир умирал по-настоящему и его нападения прекращались. Теперь относительно вашего ребенка…

— Приезжай к нам и посмотри сам — ты его не узнаешь. Луиза на грани безумия. Я тоже. Твержу себе, что этого не может быть, что это невозможно. А порой думаю: «Ну что ж, если она и вправду его отравила,

то сделала это ради меня, ради нашей любви…» Однако это не помогает. При мысли об убийстве меня пробирает дрожь, я не могу смотреть на жену… это его штучки, я знаю! Он продолжает ее упрекать, я слышу это по ее ответам: «Что? Отравила тебя?.. Как ты мог такое подумать?» Наша жизнь превратилась в кошмар, это длится уже несколько месяцев. Ты первый, к кому я решился обратиться за помощью. Я в отчаянии, помоги мне! Мы бы давно смирились, если бы не ребенок.

— Как ваш друг и ученый, хочу дать один совет: сожгите тело. Твоя жена легко получит на это разрешение, а я помогу уладить формальности. Думаю, ученому не стыдно обратиться к народным средствам и применить метод лечения, на первый взгляд похожий на шарлатанство, — ведь на самом деле это традиционный древний метод. Сожгите тело. Я не шучу! — добавил он, заметив недоверчивое выражение глаз своего друга.

— Но что же делать с ребенком? — воскликнул Лелио Джорджи, заламывая руки. — Однажды ночью я сорвался и хотел броситься на призрака с воплем: «Убирайся! Ради бога, уходи отсюда!» Однако не смог сдвинуться с места, только что-то беспомощно бормотал. Ты представить себе не можешь…

— Разрешишь мне сопровождать тебя сегодня вечером?

— О боже, я не осмеливался попросить о таком одолжении. Но вдруг твое появление его разозлит? Не лучше ли подождать до утра?

Однако на следующий день Джорджи пришел к другу в таком состоянии, что Монджери усомнился в здравости его рассудка.

— Он все знает! — запинаясь, объявил Лелио Джорджи. — Боже, что это была за ночь! Он поклялся, что пойдет на все, если мы осмелимся…

— Значит, пора приступать к делу, — ответил Монджери.

— Если бы ты видел, как он толкал колыбель! Не знаю, как ребенку удалось выжить. Луиза упала на колени и, рыдая, молила «Я буду твоей, только, пожалуйста, не трогай мое дитя!» В тот момент я почувствовал, что все, что связывало нас, исчезло. Теперь она принадлежит ему, а не мне.

— Успокойся! Мы с этим справимся. Сегодня ночью я к вам приду.

Так Монджери и сделал. Он не сомневался, что его присутствие спугнет вампира.

— Установлено: неведомой силе способна противостоять лишь сила нейтральная, индифферентная. Мы пока не знаем, как и почему это происходит, но будем продолжать наблюдения, а там посмотрим.

Наступил вечер. Луиза тревожно оглядывалась по сторонам. Ребенок тихо спал в своей кроватке, бледный и изможденный. Лелио Джорджи очень старался сохранить спокойствие, но украдкой бросал тревожные

взгляды то на жену, то на невозмутимого Монджери. Все трое мирно беседовали. Монджери рассказывал о забавном происшествии, случившемся с ним во время отдыха. Он был хорошим рассказчиком, говорил просто и очень старался отвлечь своих собеседников, чтобы явление, если оно начнется, можно было наблюдать без помех. Внезапно, бросив взгляд в сторону колыбели, Монджери заметил, что та слегка покачнулась. Сдвинуть ее с места никто не мог, поскольку все сидели в другом конце комнаты. Он замолчал, и все трое вскочили на ноги. Колыбель уже сильно раскачивалась взад-вперед. С криком: «О боже, мое бедное дитя!» — Луиза бросилась к колыбели, но внезапно остановилась и упала на кушетку. Бледная как смерть, она закатила глаза и что-то бормотала, задыхаясь.

— Все в порядке, — сказал Монджери.

Он встал и взял за руку трясущегося от ужаса Лелио. Внезапно по телу Луизы прошла дрожь, и женщина заговорила, обращаясь к кому-то невидимому:

— Почему ты считаешь, что мне нравится причинять тебе боль?.. Но я же за тебя молилась… Нет, я уже ничего не могу сделать, ты умер… Как я могла тебя отравить, если ты не умер?.. Я задумала это, сговорившись с ним?.. Он прислал мне яд?.. Как ты можешь! Я сдержала обещание!.. Да, сдержала! Это же абсурд! Хорошо, я больше не буду говорить, что ты умер… Да, больше не буду…

— Спонтанный транс, — сказал Монджери. — Предоставь все мне.

Взяв Луизу за руки, он громко произнес:

— Выходи!

Она ответила ему таким грубым и злобным мужским голосом, что Монджери невольно отпрянул. Из уст женщины полилась грубая мерзкая брань, словно заговорил другой человек. От ее мягкой нежной красоты не осталось и следа.

— Что тебе нужно? Какого черта лезешь не в свое дело?

Монджери взял себя в руки. Привычный скепсис ученого мог бы уверить его, что он тоже стал жертвой разыгравшегося воображения, если бы не бешено раскачивающаяся колыбель и это внезапное и жуткое явление — фантом, вселившийся в тело женщины. Рассердившись на себя за минутную слабость, Монджери резко скомандовал:

— Прекрати! Прекрати немедленно!

Он вложил в эти слова всю силу и властность, на какие был способен, и был крайне удивлен, когда в ответ услышал громкий хохот.

— Прекрати сейчас же! — снова приказал Монджери.

— Ого! Еще один отравитель? Ты тоже был с ними?

— Ложь! Наглая ложь!

Забывшись, Монджери ответил призраку так, словно разговаривал с живым человеком. Его возбужденный разум, несмотря на все попытки успокоиться и сосредоточиться, испытал новое потрясение, когда кто-то невидимый внезапно ткнул его кулаком в плечо. Резко обернувшись, Монджери увидел чью-то сероватую иссохшую руку, напоминавшую струйку дыма над пламенем свечи.

— Видишь? Ты это видишь? — крикнул Джорджи с рыданием в голосе.

Внезапно все прекратилось. Луиза вышла из транса, оглядела комнату так, словно только что пробудилась от сна, и принялась расспрашивать мужа и Монджери, трогательно качая головой. Но мужчины были изумлены не меньше ее и молча смотрели по сторонам, ощущая невероятное облегчение и покой. Никто не решался нарушить молчание. Тихий стон, раздавшийся из колыбели, заставил их обернуться. Младенец плакал и пытался оттолкнуть от себя нечто, упорно тянувшееся к его рту… Затем столь же внезапно все прекратилось.

На следующее утро, на пути домой, Монджери размышлял о глупости ученых мужей, не желающих исследовать феномены, связанные с народными суевериями. Он вспоминал собственные слова, сказанные Джорджи два дня назад: «Я бы не женился на вдове ни за какие сокровища мира!» Как ученый он оказался на высоте: довел эксперимент до логического завершения, не опасаясь позора неудачи в том случае, если бы опыт (то есть кремация тела первого мужа Луизы) не дал никакого результата. Проведенное исследование полностью подтвердило действенность народного средства: после кремации дух перестал являться Джорджи и его жене, которые были на седьмом небе от счастья. Но в своем еще не опубликованном отчете Монджери кое-что утаил. Он не стал писать: «С учетом вышеприведенных фактов мы можем утверждать: средство, применяемое в народе, полностью оправдало себя, доказав свое превосходство над узколобой наукой, ибо вампир погиб, как только тело было кремировано». Нет, он включил в отчет великое множество «если» и «но», запутал его словами «галлюцинации», «предположения» и «указания» — и все это лишний раз подтверждало: даже ум действует по привычке. Необходимость сменить точку зрения выбивала его из колеи.

Еще забавнее то, что Монджери поменял не только точку зрения, но и взгляды на жизнь. Тот, кто клялся, что не женится на вдове за все золото мира, женился именно на вдове, получавшей скромную пенсию в семь

тысяч фунтов! Его друг Лелио Джорджи, услыхав эту новость, с искренним изумлением воскликнул:

— Как! Ты?

На что Монджери ответил:

— Но ее муж умер семь лет назад, от него уже ничего не осталось.

Он даже не подумал о том, что противоречит автору научного труда под названием «Случаи мнимого вампиризма».

Франц Хартманн

Франц Хартманн (1838–1912) родился в Баварии. После службы в артиллерийском полку он изучал медицину, а в 1865 году эмигрировал в Америку и работал врачом и коронером в штате Колорадо в эпоху «золотой лихорадки».

Хартманн увлекался спиритизмом и оккультизмом, общался с одним денверским медиумом и посетил несколько индейских племен, чтобы изучить их верования. В Техасе он женился и поселился на ранчо своей жены, однако, овдовев спустя несколько месяцев после бракосочетания, переехал в Сан-Франциско. Испытывая все возрастающий интерес к теософии, Хартманн свел знакомство с Е. П. Блаватской, от которой удостоился нелестного отзыва («никудышный человек») из-за своей неопрятной, потрепанной наружности. По свидетельству одного современника, его облик был, «вероятно, самым ужасающим в истории медицины: маниакального вида малый с пористыми кругами вокруг вытаращенных глаз, выглядевший так, словно он только что сбежал из лечебницы для душевнобольных преступников».

Вместе с тем Хартманн был плодовитым автором, нередко обращавшимся к таким эзотерическим темам, как алхимия и розенкрейцерство; его перу принадлежат биографии Якоба Бёме и Парацельса и перевод «Бхагавадгиты» на немецкий язык. Нацисты предали его сочинения огню, и кое-что из написанного им утрачено безвозвратно.

«Подлинная история вампира» была впервые опубликована в британском журнале «Оккультное обозрение» в сентябре 1909 года.

Подлинная история вампира

10 июня 1909 года в одном уважаемом издании — а именно в «Новом венском журнале» — появилась заметка (которую я прилагаю) с сообщением о том, что местными крестьянами был сожжен замок Б. Причиной бунта стали резко участившиеся случаи гибели детей, подвергшихся нападению вампира, каковым, по мнению многих, являлся последний владелец замка, покойный граф Б. Замок, расположенный в диком малонаселенном районе Карпатских гор, некогда служил крепостью

для обороны от турок. В настоящее время из-за своей скверной репутации — считается, что там обитают привидения, — замок пустует, и только в одном его крыле проживают сторож и его жена.

Заметку я прочитал в венской кофейне, где сидел со своим старым приятелем, знатоком оккультизма, издателем одного достаточно известного журнала. Оказалось, что мой друг в течение нескольких месяцев жил по соседству с замком Б. От него-то я и услышал историю о том, что вампиром, возможно, был вовсе не старый граф, а его прекрасная дочь графиня Эльга. Фотография ее портрета была мне представлена. Вот что поведал мой друг:

«Два года назад я работал инженером и занимался прокладкой горной дороги в Херманштадте. Дорога проходила как раз мимо старого замка, и вскоре я познакомился со смотрителем замка, он же сторож, и его женой. Они занимали часть крыла дома, почти отделенного от главного здания. Сторож и его жена были почтенной пожилой парой, они отличались скрытностью и не имели желания распространяться о странных звуках, которые часто доносились из пустынных залов, или о призраках, которых, как уверяли местные крестьяне-валахи, они видели собственными глазами. Старики рассказали мне только то, что старый граф был вдовцом, а его красавица дочь погибла в результате падения с лошади. Вскоре при загадочных обстоятельствах умер и сам граф; отца и дочь похоронили на уединенном кладбище около соседней деревни. После смерти хозяев замка в деревне внезапно начался мор: люди чахли без причины и умирали. Поползли слухи, что старый граф не умер, а превратился в вампира. Конечно, он не был святым, его называли горьким пьяницей и намекали на некие ужасные вещи, которые вытворяли отец и дочь, но что в тех рассказах было правдой, а что — ложью, я сказать не могу.

После смерти графа его владения перешли в руки дальнего родственника графа, молодого офицера кавалерийского полка из Вены. Однако вскоре выяснилось, что молодой человек вполне доволен жизнью в столице и вовсе не интересуется старым замком, расположенным где-то в глуши. Он даже не захотел приехать, чтобы взглянуть на новое владение, а лишь написал письмо старику сторожу: попросил присматривать за замком и отремонтировать его, если нужно. Вот как получилось, что смотритель, фактически ставший хозяином, предложил мне и моим друзьям свое гостеприимство.

Однажды вечером я и двое моих помощников — доктор Э., молодой адвокат, и господин В., литератор, — отправились осматривать поместье. Первым делом мы зашли на конюшню. Лошадей там не было, поскольку

все были давно проданы, но наше внимание привлекла старинная золоченая карета, украшенная семейными гербами. Затем мы прошлись по пустынным залам и темным коридорам, каких немало в любом старом замке. Мебель показалась нам самой заурядной, но в одном из залов на стене висела написанная маслом картина — портрет дамы в широкополой шляпе и шубке. Мы невольно замерли, не в силах отвести от картины глаз; нас поразила не столько красота дамы, сколько ее пронзительный взгляд. Внезапно доктор Э., вглядевшись в портрет, воскликнул:

— Как странно! Дама на полотне закрывает и открывает глаза! Смотрите, она улыбается!

Надо вам сказать, что доктор Э. — человек очень чувствительный, к тому же увлекается спиритизмом, поэтому мы решили устроить сеанс спиритизма, чтобы выяснить причину странного поведения портрета. В тот же вечер мы уселись вокруг стола и соединили пальцы рук, образовав так называемую магнетическую цепь. Вскоре стол задвигался, и мы смогли прочесть слово „Эльга“. Мы спросили, кто она такая. Последовал ответ: „Дама, чей портрет вы видели“.

— Она жива? — спросил господин В.

Ответа не последовало; вместо этого нам было сказано: „Если В. желает меня увидеть, то сегодня ночью, когда пробьет два часа, я приду к нему“. В. ответил согласием, после чего стол как будто ожил и выказал В. горячую благодарность: поднявшись на две ножки, прижался к груди В., словно желал его обнять.

Мы спросили смотрителя замка, чей это портрет. К нашему удивлению, старик ответил, что не знает. Он сказал, что это копия с картины знаменитого венского художника Ганса Маркарта, которую старый граф купил именно из-за производимого ею демонического впечатления.

Мы покинули замок. В. отправился к себе в гостиницу, находившуюся в получасе ходьбы от замка. Будучи по природе скептиком, он не верил в привидения и призраки, однако и не отрицал их существования. Страха он не испытывал, но слегка волновался при мысли о том, чем может закончиться его затея. Чтобы не уснуть, он сел за письменный стол и принялся писать статью для журнала.

Где-то около двух часов ночи на лестнице послышались шаги и хлопнула дверь, ведущая в холл. В. услышал шелест шелкового платья и звуки женских шагов — дама расхаживала взад и вперед по коридору.

Вполне вероятно, что В. испугался. И все же, набравшись смелости, он сказал себе: „Если это Эльга, пусть войдет“. В тот же миг дверь его комнаты распахнулась, и вошла Эльга, очень элегантно одетая и более

молодая и соблазнительная, чем на картине. Рядом с тем местом, где сидел В., стоял небольшой диванчик — там дама и уселась. Она не произнесла ни слова, однако ее взгляды и жесты недвусмысленно говорили о цели ее визита.

Господин В. преодолел искушение и не двинулся с места. Трудно сказать, почему он так поступил — то ли из принципа, то ли из робости, а может быть, от страха. Будь что будет, решил он и продолжил писать, изредка поглядывая на гостью и мысленно желая, чтобы она поскорее ушла. Наконец через полчаса дама встала, вышла из комнаты и покинула гостиницу тем же способом, каким пришла.

После этого приключения В. потерял покой, и мы провели несколько сеансов в старом замке, где начались очень странные события. Так, например, молоденькая служанка хотела разжечь огонь в печи, когда дверь комнаты внезапно распахнулась и на пороге появилась Эльга. Насмерть перепуганная девушка бросилась вон из комнаты, споткнулась на лестнице и покатилась вниз, выронив керосиновую лампу. Лампа разбилась, керосин вспыхнул, и на служанке едва не загорелось платье. Кроме того, все лампы и свечи, поднесенные к портрету, гасли. Было много других „проявлений“, и я не стану перечислять все, но об одном случае все же расскажу.

В то время господин В. жаждал получить место заместителя редактора одного журнала. Через несколько дней после описанных событий он получил письмо от некоей знатной дамы, предлагавшей ему свое покровительство. Эта дама назначала ему встречу тем же вечером в некоем месте, где его должен был встретить один джентльмен, чтобы передать дальнейшие инструкции. В. пришел в условленное место и увидел незнакомца, который сказал ему, что графиня Эльга приглашает господина В. совершить прогулку в экипаже, что она будет ждать его в полночь у развилки двух дорог, недалеко от деревни. Сказав это, незнакомец исчез.

По-видимому, господин В. заподозрил что-то неладное, поскольку нанял детектива, поручив ему явиться в назначенное время и посмотреть, что будет дальше. На следующее утро полицейский доложил, что ничего не видел, кроме старинного экипажа, запряженного парой вороных коней. Экипаж выехал из ворот старого замка и остановился на дороге, словно в ожидании кого-то. Полицейский не стал подходить, и вскоре экипаж уехал. Смотритель замка в ответ на вопросы клялся, что никакого экипажа из замка не выезжало, тем более что и лошадей в замке нет.

Но это еще не все. На следующий день я встретил своего приятеля, великого скептика и насмешника по части всего, что касалось призраков и привидений. Однако на этот раз он вполне серьезно рассказал:

— Прошлой ночью со мной произошло нечто странное. Около часа ночи, возвращаясь домой и проходя мимо старого деревенского кладбища, я увидел старинную золоченую карету. Я с удивлением остановился, ожидая, что будет дальше. Из кареты вышли две элегантно одетые дамы и направились к воротам кладбища. Когда они проходили мимо меня, одна из них, молоденькая и хорошенькая, метнула в мою сторону дьявольски недобрый взгляд, полный презрения. Дам встретил хорошо одетый мужчина. Он, поприветствовав, обратился к молоденькой и сказал; „Как, мисс Эльга, вы уже вернулись? Так скоро?“ Меня охватило такое странное чувство, что я повернулся и почти бегом поспешил домой.

Эту странную встречу никто не смог объяснить. Но некоторые эксперименты, которые мы проделали с портретом Эльги, дали весьма любопытные результаты.

Когда я смотрел на портрет в определенное время, у меня возникали неприятные ощущения в области солнечного сплетения. Постепенно я возненавидел портрет и решил его уничтожить. Мы устроили сеанс спиритизма, и стол выказал явное неудовольствие по поводу моего присутствия. Мы получили ответ: я должен немедленно покинуть комнату, а портрет трогать ни в коем случае нельзя. Я приказал слугам принести Библию и начал читать первую главу от Иоанна. Вскоре господин Э., медиум, и еще один человек сообщили, что видят, как лицо на портрете исказилось. Тогда я снял портрет со стены, перевернул его и в нескольких местах проткнул с обратной стороны перочинным ножиком. Господин Э. и второй человек ощущали эти уколы, хотя находились в коридоре.

Тогда я начертил над портретом пентаграмму, и снова мои помощники увидели, как лицо на портрете исказила гримаса.

Вскоре после этого мы покинули страну. Об Эльге я больше не слышал.»

Вот что рассказал мне мой друг редактор. В его истории есть несколько деталей, которые требуют объяснения. Возможно, их сделают ученые мужи из Общества психофизиологических исследований, когда изучат законы природы, управляющие астральным миром, если, конечно, не предпочтут более легкий путь: объявить все случившееся совершеннейшим вздором и нелепой выдумкой.

Кладбища, замки, церкви, развалины

Карл Якоби

Карл Ричард Якоби (1908–1997) родился в Миннеаполисе, штат Миннесота, и получил образование в Университете Миннесоты, где он изучал писательское мастерство и геологию. Позднее он стал редактором

двух журналов — «Мидуэст медиа» и университетского «Миннесота куортерли».

Его писательская карьера началась с победы на литературном конкурсе, который организовал Университет Миннесоты; одержавший первенство рассказ Якоби «Майв» был впоследствии продан влиятельному журналу «Странные истории», на страницах которого позднее появлялись и многие другие рассказы автора. Якоби также публиковался в «Маклинс», «Звезде Торонто», «Волнующей тайне» и других американских и европейских журналах, посвященных научной фантастике, фэнтези и хоррору; кроме того, он был постоянным автором антологий, выпускавшихся издательством «Аркхем хаус».

Рассказ «Откровения в черном», давший название первой книге Якоби (изданной в 1947 году «Аркхем хаус»), может считаться шедевром его прозы. Сперва редактор «Странных историй» Фэрнсуорт Райт отверг рассказ, но, по-видимому, мысленно возвращался к нему и в конце концов написал автору письмо с просьбой показать «Откровения…» еще раз. Такие детали, как тайные прозопоэтические книги ручной работы в поразительной библиотеке безумного Ларлы, по-настоящему оригинальны и западают в память. Рассказ был впервые опубликован в «Странных историях» в апреле 1933 года.

Среди других сборников рассказов Якоби — «Портреты в лунном свете» (1964) и «Разоблачения в алом» (1972).

Откровения в черном

Это было старое заброшенное место на Харбор-стрит. Потертая вывеска над магазином гласила: «Джованни Ларла — АНТИКВАРИАТ», а тускло освещенную витрину покрывал толстый слой пыли.

Как только я перешагнул порог магазина в то безрадостное сентябрьское утро, чтобы спастись от дождя, да еще, пожалуй, из-за интереса к старинным вещам, тоска и заброшенность сразу же окутали меня почти материальной пеленой. Внутри было темно, посередине возвышалась груда каких-то коробок, обшитых вылинявшей тканью, в которой кое-где просвечивали дыры. Я увидел старинную итальянскую мебель времен Ренессанса — один шкаф покосился, и когда я проходил мимо, мне показалось даже, что он нахмурился.

— Добрый день, синьор. Вы хотели бы что-нибудь купить? Картину, кольцо или, может быть, вазу?

Я оглядел появившегося из темноты приземистого толстого итальянца, владельца магазина, и задумался.

— Нет, просто посмотреть, — сказал я, глядя на возвышающиеся

повсюду горы старинного хлама. — Ничего особенного мне не нужно. Лоснящееся лицо хозяина расплылось в улыбке, будто он слышал эти слова уже тысячу раз. Он вздохнул, помолчал, прислушиваясь к барабанной дроби дождя по окнам, а потом очень медленно подошел к полкам, как будто размышляя о чем-то. В конце концов он достал откуда-то увесистый предмет, который оказался раскрашенным кубком.

— Шестнадцатый век, — пробормотал он невнятно. — Настоящее произведение искусства, синьор.

Я отрицательно покачал головой.

— Мне не надо никакой посуды, — сказал я. — Может быть, я куплю у вас книги, но посуда мне не нужна.

Хозяин нахмурился.

— Книги у меня тоже есть, — ответил он. — Старинные книги, которые никто вам не продаст, только Джованни Ларла. Но вы должны осмотреть и другие мои сокровища.

По-видимому, Джованни Ларла не любил спешить. Прошло минут пятнадцать, за которые он предложил мне брошь с камеей, резной стул непонятного стиля и эпохи, целую кучу пожелтевших статуэток, облупившиеся масляные миниатюры и пару огромных портлендских ваз. Несколько раз я нетерпеливо поглядывал на часы, размышляя о том, как бы мне получше отделаться от этого назойливого лавочника и выбраться из его мрачного магазина. Вспыхнувший было интерес к древностям к тому времени у меня уже прошел, и мне хотелось поскорее на улицу.

Но когда он попросил меня пройти в самую глубь магазина, одна вещь все же привлекла мое внимание. Я и не подозревал, что в эту секунду беру с полки подлинную книгу ужасов. Если бы я знал, какие события это повлечет за собой, если бы только мог предвидеть те дни, которые последуют для меня за этим промозглым сентябрьским утром то клянусь, что я отшатнулся бы от книги, как от прокаженной, убежал бы из этого магазина и впредь никогда больше не подходил бы близко к той улице, избегая ее, как проклятое Богом место. Тысячу раз потом я повторял, что многое отдал бы, чтобы не заметить этой книги на полке. И не было бы тогда всех тех терзаний души, ужаса, страхов и безумия, которые обрушились на меня впоследствии.

Но я, ничего не подозревая о тайнах, заключенных в эти страницы, небрежно погладил переплет и заметил:

— Какая необычная книга. Что это?

Ларла мельком взглянул на книгу и сразу же помрачнел.

— Она не продается, — тихо ответил он. — Не понимаю, как она

очутилась на этой полке. Она принадлежала моему бедному брату.

Томик, оказавшийся в моих руках, и вправду был очень необычен. Размерами не более четырех дюймов на пять, он был переплетен в черный бархат. Каждый угол обложки украшал треугольник из слоновой кости. Я никогда в жизни не видел такой красивой работы. В центре обложки имелся еще один кусочек слоновой кости, вырезанный в форме черепа. Но больше всего меня поразило название книги. На переплете тонкой золотой тесьмой было вышито: «Пять единорогов и жемчужина».

Я посмотрел на Ларлу.

— Сколько это стоит? — спросил я и решительно полез в карман за бумажником.

Но он опять покачал головой.

— Нет, это не продается. Это… последний труд моего брата. Он писал эту книгу как раз перед смертью. Он умер в одном… лечебном заведении.

— В лечебном заведении?

Ларла ничего не ответил, продолжая задумчиво смотреть на пыльный бархатный переплет. Очевидно, мысли его были сейчас где-то очень далеко. Молчание затягивалось. Но когда он наконец заговорил, в его глазах блеснул какой-то странный огонек. И мне показалось даже, что пальцы у него дрожат.

— Мой брат Алессандро был прекрасным здоровым человеком до того, как написал это, — медленно начал Ларла. — Он писал великолепно, синьор, и был здоровым и сильным. Часами я мог сидеть и слушать его, когда он читал мне свои стихи. Он был мечтателем, мой брат Алессандро, любил все красивое и возвышенное, и мы были счастливы вдвоем. До тех пор, пока не наступила та страшная ночь. И потом он… Но нет, не стоит вспоминать — прошел уже целый год. Лучше все забыть. — Ларла провел рукой по лицу и шумно вздохнул.

— Так что же случилось? — спросил я.

— Случилось, синьор? Я и сам толком не знаю. Все это так запутано… Неожиданно он заболел, причем заболел безо всякой причины. Румянец здорового итальянца исчез с его лица, и он стал очень бледным, похудел. Силы оставляли моего брата с каждым днем. Доктора прописывали ему разные лекарства, но ничего не помогало. Он становился все слабее, и той ночью…

Я с любопытством посмотрел на него, сильно заинтригованный его волнением.

— И что же потом?

Ларла слегка раскачивался из стороны в сторону и нервно сжимал

кулаки, глаза его стали влажными и как будто хотели выскочить из орбит.

— А потом… О, если бы я только мог позабыть все это! Это было так ужасно. Бедный Алессандро прибежал домой весь в слезах. Он что-то кричал. В эту ночь, синьор, он… сошел с ума.

Потом его забрали в сумасшедший дом, сказав, что ему нужен полный покой, что он перенес сильнейшее потрясение. Но он… он умер через три недели. Умер, целуя распятие.

Несколько секунд я молчал, наблюдая за дождевыми каплями, ползущими по окну, а потом спросил:

— Так он написал эту книгу, когда уже попал в сумасшедший дом?

Ларла кивнул.

— Три книги, — ответил он. — Две остальные точно такие же, как та, которую вы держите сейчас в руках. Переплеты он сделал, конечно, когда еще был здоров. Он собирался переписывать туда от руки свои стихотворения. Ему очень нравилась эта работа. Но то, что он записал сюда, эти его безумные мысли, — я так и не читал… И не собираюсь читать. Я хочу сохранить о нем память, как о здоровом человеке. Эта книга попала на полку случайно. Я положу ее вместе с остальными его вещами в другое место.

Мое желание прочитать страницы, переплетенные в черный бархат, усилилось в сотни раз, когда я узнал, что это невозможно сделать. Я всегда интересовался психологией безумных людей и прочел уже немало работ на эту тему. Сейчас же передо мной было произведение, написанное в сумасшедшем доме. В полном варианте, безо всяких купюр, я держал в руках труд образованного человека, потерявшего рассудок. Интуиция подсказывала мне, что в этой рукописи скрывается какая-то тайна. И я решил для себя, что должен завладеть книгой во что бы то ни стало.

Я повернулся к Ларле, пытаясь как можно тщательнее выбирать выражения.

— Я прекрасно понимаю ваше желание оставить эту книгу у себя, — сказал я. — И поскольку вы отказываетесь продать ее, то, может быть, вы разрешите мне подержать ее у себя хотя бы один вечер? А я обещаю вам, что завтра утром обязательно ее верну.

Итальянец колебался. Стоя у полки, он нервно перебирал массивную цепочку старинных часов.

— Нет, извините меня…

— Десять долларов, и завтра она будет у вас в целости и сохранности.

Ларла начал разглядывать свои ботинки.

— Ну хорошо, синьор, я верю вам. Но пожалуйста, я прошу вас, очень

прошу, верните мне ее завтра же.

И вечером в тишине своей квартиры я с нетерпением раскрыл этот удивительный фолиант. Немедленно мое внимание привлекли три строчки, написанные женской рукой на обратной стороне обложки каким-то выцветшим красным раствором, который более походил на кровь, чем на чернила. Я прочитал: «Откровения, которые должны были разрушить мое могущество без кола, только укрепили его. Читай, безумец, и войди в мои владения, потому что теперь мы скованы одной цепью. Скорбите по Ларле».

Некоторое время я размышлял над этими непонятными мне фразами, так и не находя разгадки. Потом перевернул страницу и начал читать последнее произведение Алессандро Ларлы. И передо мной развернулись события самой непонятной истории, которую я только встречал за долгие годы изучения многочисленных старинных книг.

«Вечером пятнадцатого октября я вышел на улицу и шел до тех пор, пока не почувствовал усталость, — писал Ларла. — Рев настоящего уже слабо отдавался вдалеке, и я подошел к двадцати шести сойкам, безмолвно созерцающим руины. Проходя мимо них, я смотрел на скелеты деревьев и сел так, чтобы было видно рыбу, злобно глядящую на меня. Рядом молился ребенок. Стекла бросили на меня луну. Трава пела литании у моих ног. И острая тень медленно двигалась по левую руку.

Я брел по серебристому гравию и подошел к пяти единорогам, галопирующим возле воды прошлого. И здесь я нашел жемчужину — великолепную, красивую жемчужину, но черную. Она благоухала, как цветок, и я даже подумал: а не маска ли этот запах? Но зачем же такому совершенному созданию носить маску?..

Я сел между смотрящей на меня рыбой и галопирующими единорогами и почувствовал, что безумно влюблен в жемчужину. Прошлое стерлось в однообразии настоящего и…»

Я отложил книгу в сторону и откинулся на спинку кресла, наблюдая за клубами дыма, медленно выползающими из моей трубки и поднимающимися к потолку. В книге были и еще записи, но я ничего больше не смог разобрать. И дальше все было написано таким же странным слогом, который совершенно не поддавался расшифровке.

И все же мне показалось, что этот рассказ — не просто бред сумасшедшего. За туманными фразами здесь скрывались действительные события, покрытые вуалью символов.

И вдруг какое-то наваждение охватило меня. Видимо, от всего только что прочитанного мне стало не по себе. Строчки вертелись в моей голове, и

я почувствовал, что во мне постепенно растут волнение и страх.

В комнате стало душно и неуютно. Меня манили открытые окна и улица. Я подошел к окну, отодвинул в сторону занавески и простоял так некоторое время, глубоко затягиваясь трубкой. Позвольте здесь сообщить вам, что я вообще очень сильно подчиняюсь своим привычкам, и с годами они стали просто частью меня самого. Так, например, я никогда не имел обыкновения в ночное время бродить без дела по улицам, а вот сейчас, что показалось мне очень странным и любопытным, я вдруг ощутил сильнейшее желание выйти из дому и совершить прогулку.

Я нервно зашагал по комнате. Отсчитывая минуты, в тишине громко тикали каминные часы. И в конце концов я положил трубку на стол, взял шляпу и пальто и направился к двери.

Как это ни смешно, но как только я вышел на улицу, так сразу же почувствовал необходимость двигаться в определенном направлении. Я понял, что ни в коем случае не должен отклоняться от направления на север, и хотя на севере города лежал совершенно незнакомый мне район, я уверенно зашагал туда, методично выбирая улицы и переулки, ведущие к окраине города. Была прекрасная лунная сентябрьская ночь. Лето уже кончилось, и в воздухе приятно пахло чуть подмороженной зеленью. Огромные часы на Капитолии громко пробили полночь, в магазинах и учреждениях свет уже не горел, и постепенно огни гасли в жилых домах, в то время как я неуклонно продвигался все дальше и дальше на север.

По дороге я безуспешно пытался выкинуть из головы эту странную книгу. Но целые предложения из нее то и дело всплывали в моей памяти, и постепенно любопытство мое возрастало. «Пять единорогов и жемчужина»! Что же это такое?

Затем все сильнее и сильнее я начал осознавать, что иду в северном направлении не по собственному желанию. Кто-то вел меня туда. И когда я неожиданно остановился, то желание идти дальше с такой силой нахлынуло на меня, как только может овладеть наркоманом желание немедленно принять наркотик.

И вот в самом конце Истерли-стрит я подошел к высокой каменной стене. За ней, немного поодаль, через лепные украшения мне удалось разглядеть большое темное здание. В стене находились и кованые железные ворота, за которыми начиналась совершенно разрушенная и заброшенная территория, поросшая сорняками и травою. В лунном свете я увидел старое кладбище с фонтанами, каменные лавочки, полуразрушенные статуи и надгробия. Окна здания, которое когда-то, наверное, было частным владением, сейчас оказались заколоченными,

кроме тех, что находились в небольшой башенке.

Перед самыми воротами я остановился. Та неведомая сила, которая привела меня сюда, теперь уже казалась мне совершенно реальной. Она исходила откуда-то из кладбища и влекла меня к себе с такой непреодолимостью, что сопротивляться ей было абсолютно невозможно.

Как это ни странно, ворота оказались незапертыми, и, как человек, находящийся в состоянии глубокого транса, я открыл их. Тяжелые створки скрипнули и пропустили меня вовнутрь. Я медленно двинулся вперед по густой траве, направляясь к каменной лавочке у фонтана. Мне показалось, что как только я вступил сюда, все звуки города внезапно исчезли и растворились, оставив лишь пустоту и тишину, прерываемую редкими завываниями ветра, шевелящего мертвую траву. Передо мной стояло заброшенное старинное здание с высокими темными окнами, напоминающее огромную собаку, изготовившуюся к прыжку.

Я увидел несколько фонтанов, скульптурные украшения на которых были изрядно потрепаны временем и стихией, но поначалу я не обратил на них особого внимания. Чуть подальше стояла наполовину скрытая травой статуя ребенка, изображенного в момент молитвы. Мягкий камень сильно покрошился от времени, и лицо ребенка казалось сейчас отвратительным и неузнаваемым.

Как долго я просидел в этой тишине, я не знаю. Но само это кладбище как нельзя лучше соответствовало моему настроению. И кроме того, я чувствовал, что не в силах просто встать и уйти отсюда.

И тут я вскочил со скамейки как ошпаренный. Внезапно я понял, какое значение имели все эти предметы, окружавшие меня. Я замер на месте, безумно оглядываясь по сторонам, и отказывался верить своим глазам. Конечно, мне все это снится! Много необычного я видел в своей жизни, но это… Такого просто не могло быть. И все же…

Первым делом я обратил внимание на фонтан, находившийся ко мне ближе других. Через бассейн для воды скакали пять каменных единорогов. Идеально вырезанные из камня, они как бы галопом неслись друг за другом. Переведя взгляд немного подальше и помимо воли вспоминая какие-то смутные намеки, я ясно увидел в лунном свете возвышающийся над кладбищем шпиль здания, который бросал на землю острую тень как раз слева от меня. Другой фонтан был оформлен в виде рыбы, и ее огромные пустые глазницы зловеще смотрели прямо на меня. И в довершение всего — стена! На ней через каждые три фута сидело по каменной птице. И, пересчитав фигуры, я убедился, что это и были те самые двадцать шесть соек.

Без сомнения, как бы страшно и невозможно это ни казалось, я находился в том же самом месте, которое описал в своей книге покойный Ларла! Это было ошеломляющее открытие, и я чуть не сошел с ума, осознав его. Как странно, ведь я никогда не бывал прежде в этих местах, и тем не менее некая сила привлекла меня сюда и бросила в самый центр событий, описанных более года тому назад.

Теперь я понял, что Алессандро Ларла, вспоминая это место уже в сумасшедшем доме, лишь выхватывал из действительности отдельные детали, не пытаясь и не желая объяснять их. И здесь лежала большая проблема для психолога — как разгадать эту страшную сказку, написанную безумным погибшим итальянцем-символистом? Все это меня крайне заинтересовало, и я задумался.

Но вдруг, словно с тем чтобы притупить мое волнение и тревогу, во двор вкрался нежный запах. Он появился до того незаметно, что как бы слился для меня с лунным светом. Стоя у фонтана, я глубоко втянул носом воздух и понял, что постепенно запах становится все более приторным и назойливым, и уже начинает болезненно впитываться в мои легкие, как сигаретный дым Гелиотроп! Сладкий аромат тропического цветка повис в воздухе, застилая все вокруг.

И тут произошло второе чудо. Оглянувшись по сторонам, чтобы определить, откуда исходит этот приторный запах, я увидел напротив себя женщину, неподвижно сидящую на каменной скамеечке. Она была полностью облачена в черное, а лицо ее скрывала вуаль. Казалось бы, она не замечает моего присутствия. Незнакомка замерла, слегка наклонив голову, и по ее виду можно было легко определить, что она о чем-то глубоко задумалась.

Рядом с ней я заметил и другое существо. Это была собака — огромный черный пес с удивительно непропорциональной головой и большими, как плошки, глазами. Некоторое время я стоял неподвижно, молча наблюдая за ними. Хотя было уже довольно прохладно, на женщине не оказалось ничего, кроме длинного черного платья, на фоне которого ее шея казалась особенно белой.

Вздохнув от сожаления, что мое одиночество нарушено, я прошел через дворик и медленно приблизился к ней. Но она продолжала не замечать меня. Поэтому мне пришлось сперва вежливо откашляться, после чего я нетвердо спросил.

— Я полагаю, вы — владелица этого места? Я… Я на самом деле не думал, что здесь кто-то есть, и ворота… понимаете, ворота оказались незапертыми. Извините, что я вторгся к вам.

Женщина ничего не ответила, а пес внимательно осмотрел меня и равнодушно отвернулся. Никаких вежливых слов прощания в голову мне не приходило, поэтому я молча отступил назад и тихонько направился к воротам.

— Пожалуйста, не уходите, — неожиданно окликнула меня незнакомка, и наши взгляды встретились. — Я так одинока. О, если бы вы только знали, как я одинока!

Она подвинулась к краю лавочки и жестом пригласила меня сесть рядом. Собака продолжала молча смотреть на меня своими огромными янтарными глазами.

Не знаю, что именно подействовало на меня — то ли близость запаха гелиотропа, то ли вся эта неожиданность положения, в котором я оказался, а может быть — таинственный лунный свет, но при ее словах я внезапно почувствовал, как приятная истома растекается по всему моему телу, и с удовольствием принял приглашение.

Некоторое время мы просидели молча, и в эти секунды я раздумывал над тем, как бы получше завязать с ней разговор. Но неожиданно она повернулась к псу и произнесла на немецком:

— Форт мит дир, Йоганн!

Собака послушно встала и бесшумно скрылась в темноте кустов. Я с облегчением посмотрел вслед громадному зверю, медленно уходящему в направлении здания. Потом женщина обратилась ко мне на английском, иногда употребляя в разговоре высокопарные слова, причем в речи ее слышался легкий иностранный акцент:

— Я уже целую вечность ни с кем не разговаривала… Я понимаю, что мы совершенно чужие друг другу — я не знаю вас, а вы не знакомы со мной… И все же иногда даже незнакомые люди находят какую-то связь между собой, и у них бывают общие интересы. Может быть мы ненадолго забудем о формальностях и посчитаем так, что якобы мы друг другу уже представлены? Давайте?

Отчего-то при этих словах пульс мой стал значительно чаще.

— Сделайте одолжение, — ответил я. — Это место само по себе представляет нас друг другу. Скажите, а вы что же, живете здесь?

Некоторое время она не отвечала, и я подумал, что слишком уж резво ухватился за ее предложение. Потом моя собеседница медленно произнесла:

— Меня зовут Перл фон Морен, и я чужестранка в этих местах, хотя и живу здесь уже более года. Мой дом находится в Австрии — как раз там, где сейчас пролегает граница с Чехословакией. Понимаете, я приехала в

Соединенные Штаты с целью разыскать своего единственного брата. Во время войны он был лейтенантом у генерала Макенсена, но в 1916 году… как мне помнится, это случилось в апреле… нам сообщили, что он пропал без вести… — Женщина тяжело вздохнула. — Война очень жестока. Она отняла у нас деньги, замок на Дунае, а затем и моего любимого брата. Все то, что было потом, мне даже страшно вспоминать: мы жили, не зная, что с нами будет завтра, и всей душой надеялись, что он все-таки остался в живых, хотя оснований думать так у нас не было никаких. А потом, уже в мирное время, один офицер рассказал мне, что он работал вместе с моим братом во Франции в тюрьме около Монпре. Они якобы вместе служили в похоронной бригаде и помогали солдатам рыть могилы. А после этого прошел слушок, будто брат мой живет сейчас в Соединенных Штатах. И тогда я собрала немного денег и приехала сюда, чтобы разыскать его.

На мгновение она замолчала и невидящим взглядом уставилась на коричневые заросли засохших сорняков. Когда же она заговорила опять, ее голос показался мне еще более тихим и взволнованным.

— Я… я нашла его… Но я молила Бога, чтобы лучше этого не случилось! Он… уже не жил.

Я удивленно посмотрел на нее.

— Он умер? — деликатно спросил я.

Скрывающая лицо женщины вуаль затрепетала, будто ее случайно задели, и я понял, что моя собеседница вспомнила какое-то страшное событие из своей жизни. Не обращая внимания на мой вопрос, она продолжала:

— И вот сегодня вечером я пришла сюда — сама даже не знаю почему — наверное, просто оттого что ворота были открыты, а внутри двора стояла такая тишина… Ну что, я, наверное, уже надоела вам со своими откровениями и рассказами о моем собственном горе?

— Вовсе нет, — ответил я. — Я и сам забрел сюда совершенно случайно. Вероятно, красота этого места привлекла меня. Видите ли, я занимаюсь любительской фотографией, и на меня довольно сильно действуют всякие не совсем обычные места в городе. А сегодня я решил прогуляться перед сном, чтобы из головы у меня выветрилось неприятное впечатление, оставленное одной книгой.

В ответ на это она неожиданно произнесла довольно странную фразу, которая никак не вязалась с нашим разговором, и мне показалось даже, что она сказала это, не подумав.

— Книги, — заметила она, — очень сильны. Они могут сковать человека крепче, чем тюремные стены.

Видимо, уловив мой озадаченный взгляд, женщина тут же добавила:

— Как странно, что мы встретились именно здесь.

Некоторое время я не отвечал. Я думал о запахе гелиотропа, исходящем от нее, и решил, что для женщины ее культуры, а она казалась мне довольно знатного происхождения, столь сильный запах духов не свидетельствует о хорошем вкусе. У меня даже создалось впечатление, что этот аромат скрывает какую-то тайну, и если его убрать, то передо мной… Но что будет передо мной?

Проходили часы, а мы по-прежнему сидели на скамейке и разговаривали, наслаждаясь обществом друг друга. Она не снимала вуали, и хотя мне очень хотелось посмотреть на ее лицо, я не осмеливался попросить ее об этом. И странное беспокойство понемногу начало овладевать мною. Спору нет — женщина была очаровательной, прекрасной собеседницей, но в то же время в ней было что-то такое, что заставляло меня чувствовать себя не в своей тарелке.

Все случилось, как мне помнится, буквально за несколько минут до восхода солнца. Теперь, когда я вспоминаю об этом в дневное время и меня окружают реальные, земные вещи, мне несложно оценить все значение и истинный смысл того видения. Но тогда я был настолько поражен происшедшим, что абсолютно ничего не смог понять.

По саду пронеслась какая-то бледная тень и сразу же завладела моим вниманием. Я посмотрел на шпиль высокого пустого здания и вздрогнул, как будто меня неожиданно ударили сзади. Какую-то секунду мне казалось, что прямо надо мной зависло некое подобие облачка, но это облачко постепенно приняло форму чудовищной летучей мыши с огромными, распростертыми над моей головой крыльями.

Я крепко зажмурился и сразу же снова открыл глаза.

— Облако! — воскликнул я. — Что за странное облако! Вы видели?

Запнувшись, я глупо уставился на скамейку. Она была пуста. Женщина исчезла.

На следующий день я занялся своими обычными делами в адвокатской конторе, и мой компаньон как-то странно посматривал на меня всякий раз, когда слышал мое невнятное бормотание. События прошлой ночи вновь и вновь проносились перед моими глазами и не давали покоя. Неразрешимые вопросы нудно стучались в мою голову. Каким же образом я смог очутиться именно в тех местах, которые описал в своей книге сумасшедший Ларла: пучеглазая рыба, молящийся ребенок, двадцать шесть соек, острая тень от дома — все это было необъяснимо, и от этого особенно страшно.

«Пять единорогов и жемчужина»… Единороги — это каменные

статуи, украшения на фонтане, все правильно. Но жемчужина?.. И тут я с ужасом вспомнил имя женщины в черном — Pearl von Moren. [33] Что же все это значит?

За обедом я сидел довольно рассеянный. Днем мне удалось забежать в антикварный магазин и выпросить у брата Алессандро продолжение, второй том книги. Сначала он отказывался, протестовал, поскольку я так и не вернул ему первую рукопись, но тут я почувствовал, что нервы мои не выдерживают. Я ощутил в себе дьявольский огонь, подобный тому, который сжигает наркомана всякий раз, когда наркотик становится ему недоступным. В каком-то отчаянии, и сам не зная почему, я начал предлагать ему большие деньги, и в конце концов мои убеждения подействовали — назад я вернулся уже с книжкой в кармане.

По внешнему виду она была похожа на первую, только названия на обложке уже не было. Но если я и ожидал найти в ней какие-то объяснения таинственным символам первого тома, то был обречен на горькое разочарование. Книга оказалась такой же туманной, как: и «Пять единорогов и жемчужина», но текст в ней еще больше свидетельствовал о том, что его создавал расстроенный разум. Пытаясь как-то соединить по смыслу несвязные предложения, я понял, что Ларла совершил второе путешествие в те же места и снова встретился со своей «жемчужиной».

Почти в самом конце рукописи я нашел один абзац, который сильно удивил меня. Написано было так:

«Неужели это возможно? Молю, что нет. И все же я видел это и слышал, как оно рычало. О, мерзкое существо! Я никогда, никогда не поверю в это!»

Я закрыл книгу и попытался отвлечься, начав протирать линзы своего нового фотоаппарата. Но опять, как и прежде, какое-то дикое желание охватило меня. Мне вновь страстно захотелось пойти в тот двор. Признаюсь, что я только и ждал, когда же наконец пробьет заветный час и я смогу снова увидеть ту женщину в черном. Как ни странно, я чувствовал, что хотя она и исчезла в прошлый раз так внезапно, сегодня она обязательно должна появиться на том же месте. Мне безумно хотелось снять с нее вуаль, поговорить с нею. Я жаждал вновь утонуть в реалиях повествования Ларлы.

Однако все это так противоречило здравому смыслу, что я, напрягая всю свою волю, попытался откинуть эти мысли прочь. И вдруг мне в голову пришла идея: какую отличную фотографию можно сделать, если заснять ее на каменной лавочке, всю в черном, на старом кладбище, да еще на фоне классического замка. Если бы только мне удалось поймать такой

момент и запечатлеть его на фотографической пластинке!..

Я перестал протирать линзы и на секунду задумался. С современными электрическими вспышками, которые пришли на смену старым пороховым, я смог бы осветить весь сад и довольно легко заснять нужный сюжет. А если отпечаток получится удовлетворительным, то можно будет попробовать внести свой вклад в международный конкурс на лучшее фото в Женеве, который состоится в следующем месяце.

Эта мысль мне понравилась, и, собрав все необходимое, я надел длинное пальто (так как была сырая холодная ночь), тихо выскользнул из комнаты и уверенно зашагал на север. Каким же безумным и слепым дураком я был тогда! Если бы я только мог остановиться, вернуть в магазин книги и на этом все оборвать!.. Но необъяснимая волшебная сила уже завладела мною, и я очертя голову бросился в этот кошмар.

Нудный дождь барабанил по мостовой, на улицах не было ни души. Где-то на востоке луна тщетно пыталась пробиться сквозь плотное одеяло туч, но сильный южный ветер давал надежду на то, что вскоре небо очистится. Я поднял воротник к закутанному в шарф горлу и через час подходил уже к старой части города. Найдя знакомые ворота — а они, как и вчера, оказались незапертыми, — я вошел в темный двор, подернутый мглистой дымкой.

Женщины еще не было. Но я почему-то ни на секунду не сомневался, что попозже она обязательно появится. И теперь я с азартом погрузился в свои собственные планы: установил камеру на парапет фонтана, тщательно настроил линзы объектива на каменную лавочку, где она сидела в прошлый раз. Вспышку с батарейкой и ручку к ней я положил так, чтобы в удобный момент смог до них дотянуться.

Едва я закончил все приготовления, как услышал на гравиевой дорожке осторожные шаги и сразу же обернулся. Женщина подходила к скамейке в том же длинном платье и все в той же черной вуали.

— Вы снова пришли? — рассеянно спросила она, как только я подсел к ней.

— Да, — тихо ответил я. — Я был не в силах остаться дома.

В основном мы говорили о ее умершем брате, хотя несколько раз мне показалось, что она хочет переменить тему. Я понял, что он слыл в семье «непутевым» сыном, вел беспорядочный образ жизни и был даже исключен из венского университета, но не только за то, что неуважительно относился к некоторым преподавателям, но и за свои необычные работы по философии. Потом он очень много пережил в лагере для военнопленных. С каким-то мрачным удовольствием она рассказывала мне о подробностях

работы в похоронной бригаде, которые услышала от его приятеля-офицера. Но о том, как он умер и от чего, не было произнесено ни слова.

Еще сильнее, чем в предыдущую ночь, стал запах гелиотропа. И снова, как только этот липкий приторный аромат заполнил мои легкие, я почувствовал, что начинаю нервничать. Мне показалось, будто этот запах скрывает нечто такое, что мне обязательно необходимо узнать. Желание сорвать вуаль стало совершенно безумным, но все же мне не хватало смелости попросить ее открыть лицо.

К полуночи тучи исчезли, и луна теперь ярко освещала весь двор, наполнив его причудливым переплетением резких теней. Пришло мое время.

— Пожалуйста, сидите на месте, — попросил я. — Я сейчас вернусь.

Отступив к фонтану, я схватил ручку вспышки, приподнял ее над головой, а другой рукой нащупал затвор фотоаппарата. Женщина на скамейке не шевелилась, очевидно, удивленная моими движениями. Вид был великолепным. Раздался щелчок, и ослепительный свет на мгновение залил все вокруг. В лучах вспышки мне удалось разглядеть, как прекрасно она смотрится на фоне старой стены. И тут же снова вернулся голубоватый призрачный блеск луны, а я счастливо заулыбался.

— Теперь у меня получится отличное фото! — радостно сообщил я.

Женщина резко вскочила на ноги.

— Идиот! — грубо закричала она, — Глупец! Что вы наделали!

Даже несмотря на то что она была в вуали, я явственно ощущал и почти видел, как гневно засверкали ее глаза, сжигая меня лютой ненавистью. Я в полном недоумении смотрел на нее. Женщина стояла прямо, слегка откинув голову, тело ее напряглось до предела, и неприятная дрожь вдруг пробежала у меня по спине. Потом, не сказав ни слова, она подобрала подол платья и бегом бросилась к дому, за несколько секунд скрывшись в темных зарослях.

Я по-прежнему стоял возле фонтана и удивленно смотрел ей вслед. Но неожиданно из темноты у дома до меня донеслось низкое звериное рычание.

И прежде чем я успел опомниться, огромная серая тень выскочила из кустов и прыжками рванулась прямо ко мне. Это была та самая собака, которую я видел с женщиной прошлой ночью. Но теперь передо мной было уже совсем не то тихое и спокойное существо. Морда пса перекосилась от злобы, клыки обнажились. И в тот момент, когда я застыл как вкопанный от ужаса, я отчетливо запомнил эти раздутые ноздри и бешеную ярость в диких темных глазах.

Во мгновение ока зверь оказался рядом со мной. Я лишь успел поднять вверх руку со вспышкой, пытаясь защитить ею лицо, и отскочил в сторону. Пес тут же бросился на руку, и я услышал, как с хлопком раскололась лампочка и острые зубы вцепились в рукоятку вспышки. Я упал на спину, закричал и почувствовал, как огромное тело наваливается на меня.

Беспомощно барахтаясь в кладбищенской пыли, я бил кулаками по разъяренной морде и старался отыскать горло пса, судорожно сжимая пальцами горячую волосатую плоть. Я уже чувствовал на своем лице его смрадное свистящее дыхание и сопротивлялся с растущим отчаянием.

Давление моих рук дало о себе знать — собака закашлялась и на секунду отступила. Пытаясь воспользоваться этим мгновением, я вскочил на ноги, ринулся вперед и с силой ударил пса ногой в бок.

— Форт мит дир, Йоганн! — закричал я, вспомнив, как приказывала ему женщина.

Пес отступил, все еще злобно щерясь и рыча на меня, и некоторое время простоял в неподвижности. Потом неожиданно повернулся и бесшумно исчез в густой высокой траве.

Дрожа от страха и навалившейся слабости, я попытался взять себя в руки, поднял фотоаппарат и заспешил к воротам.

Прошло три дня. Но мне показалось, что минула целая вечность, так долго и нестерпимо мучительно тянулась эта пытка.

На следующий день после той жуткой ночи, когда на меня напала собака, я понял, что буду не в состоянии идти на работу. Выпив две чашки крепкого черного кофе, я для начала заставил себя спокойно сидеть на стуле, пытаясь хоть как-то сосредоточиться. Но тут взгляд мой упал, на фотоаппарат, лежавший рядом на столе, и это вернуло меня к жизни. Через пять минут я сидел уже в своей темной комнатке, приспособленной под фотолабораторию, и проявлял снимок, сделанный накануне. Я работал лихорадочно быстро — меня подгоняла мысль о том, какой замечательный вклад я внесу в женевский конкурс любительской фотографии, если результаты окажутся удовлетворительными.

Но испуганный вскрик слетел с моих губ, едва я взглянул на еще мокрый отпечаток. Я увидел на фото старый сад — все было предельно ясно, вплоть до мельчайших веточек, — статую молящегося ребенка, фонтан и стену на заднем плане; но скамейка — та самая каменная скамейка — была пуста. На ней не оказалось ни женщины, ни даже малейшего намека на нее.

Промыв негатив от насыщенного раствора хлорида ртути в воде, я обработал его железным оксалатом. Но и после такого тщательного

проявления никаких изменений не произошло. Каждая деталь была прекрасно видна, скамейка четко вырисовывалась на фоне старой стены, но женщины по-прежнему не было.

Однако я прекрасно видел ее, когда нажимал на кнопку аппарата. Уж в этом-то я был абсолютно уверен. И аппарат мой вполне исправен. Но что же тогда произошло?.. Я отказывался поверить своим глазам, пока не рассмотрел снимок при дневном свете. Никакое объяснение не приходило мне в голову, совсем никакое. И в конце концов, так ничего и не поняв, я пошел в кровать и забылся глубоким сном.

Проспав весь следующий день, я уже потом начал припоминать, будто ночью просыпался от какого-то кошмарного сна, но у меня даже не было сил оторвать голову от подушки. Очевидно, меня охватила чисто физическая усталость. Мои руки и ноги лежали на кровати, как омертвевшие. Сердце билось до того слабо, что каждый его удар казался мне последним. Вокруг было настолько тихо, что я ясно слышал тиканье своих наручных часов. Занавеска развевалась от легкого ночного ветерка, хотя мне казалось, что я сразу же закрыл окно, как только вошел в комнату.

Я откинул голову назад и тут же закричал. Потому что в легкие мои начал медленно проникать тот самый знакомый запах проклятого гелиотропа!

Когда настало утро, я понял, что все это не было сном. В голове у меня шумело, руки тряслись, и я настолько ослаб, что еле держался на ногах. Когда пришел доктор, за которым я послал экономку, он сразу же нащупал мой пульс и нахмурился.

— Вы сильно истощены, — сказал он. — Если вы не позволите себе хорошенько отдохнуть, то можете помешаться в рассудке. Попытайтесь не думать ни о чем серьезном. И если вы не возражаете, я обработаю эти две ранки на вашей шее. Они совсем свежие. Где вы так поранились?

Инстинктивно проведя рукой по шее, я посмотрел на ладонь и с ужасом обнаружил, что пальцы мои запачканы кровью.

— Я… я не знаю, — запинаясь, произнес я, похолодев от страха.

Доктор занялся своими лекарствами и через несколько минут уже встал, чтобы уходить.

— Я советую вам не вставать с постели по крайней мере неделю, — сказал он на прощание. — А потом я тщательно обследую вас и проверю, остались ли признаки малокровия.

Но когда он подходил к двери, я заметил на его лице выражение крайнего недоумения.

В последующие часы мои мысли опять начали путаться. И я дал себе

торжественную клятву, что позабуду обо всем происшедшем, вернусь к работе и ни разу больше даже мельком не взгляну на эти книги. Но я прекрасно знал, что ничего из этого у меня не получится — женщина в черном настолько завладела моим разумом, что каждая минута вдали от нее казалась мне теперь нестерпимой пыткой. Однако хуже всего было то, что возникшее у меня желание прочитать третью, последнюю книгу Алессандро Ларлы постепенно достигло такой силы, что я стал буквально одержим им.

В конце концов я не смог больше бороться с собой и на третий день нанял такси, которое отвезло меня в антикварный магазин. Там я пытался уговорить Ларлу отдать мне третий том сочинений его брата. Но итальянец оказался упрямым. Он напомнил мне, что я и так уже взял у него две книги и ни одной еще не вернул, и заявил, что пока я не отдам их, он и слушать ничего не хочет. Я тщетно пытался доказать ему, что одна книга без другой не имеет никакого смысла и читать их надо все вместе, последовательно. Но он просто пожал плечами и ничего мне не ответил.

Холодный пот выступил у меня на лбу, когда я понял, что мое желание не осуществится. Я долго спорил с ним, умолял его. Но все было напрасно.

И тогда, дождавшись, пока Ларла отвернется, я схватил заветную книжку, которую заранее приметил на полке, незаметно сунул ее в карман и тихо выскользнул из магазина, терзаемый жестокими угрызениями совести. Но теперь я уже не сожалею больше о том, что сделал это. В свете всего происходившего со мною в те дни становится вполне очевидным, что кто-то подталкивал меня к воровству, тогда как вся моя воля в это время была полностью подавлена, а книга лежала рядом как приманка.

Вернувшись домой, я сразу же сел в кресло и поспешно раскрыл бархатный переплет. Здесь была последняя, заключительная часть повествования о событиях, в водоворот которых я оказался вовлеченным за последние пять дней. Третий том загадочного произведения Ларлы. Может быть, на этих страницах я найду наконец объяснение? Но если так, то какие секреты откроются мне?

Мягкий свет от настольной лампы беззвучно струился по моим плечам. Я открыл книгу, медленно разгладил большим пальцем страницы и снова поразился странному печатному почерку. Затем мне показалось, что пока я так сидел, вокруг меня образовалось почти материальное облако спокойствия и тишины, потушившее в себе шум улицы. Но одновременно что-то не давало мне читать и мешало сосредоточиться. Странно, но это только подтолкнуло меня. И очень медленно я принялся перелистывать страницы, начав с конца.

Снова символы. Неясные, блуждающие мысли больного рассудка.

Но неожиданно я замер. Взгляд мой упал на последний абзац последней главы, то есть на самые последние строки Алессандро Ларлы. Я читал, перечитывал и снова читал их, вдумываясь в эти страшные слова. Каждую букву я просматривал в свете лампы медленно, аккуратно и тщательно. Потом ужас их смысла дошел до меня.

Кроваво-красными чернилами было написано:

«Что же мне делать? Она выпила мою кровь, и душа моя прогнила. Моя жемчужина черна, как само зло. Будь проклят ее брат, ибо он сделал ее такой. Я верю, что истина этих страниц разрушит их на века. Да поможет мне Небо. Перл фон Морен и ее брат Иоганн — вампиры!»

Я вскочил с кресла.

— Вампиры!!!

Схватившись за край стола, я долго стоял так, покачиваясь и дрожа всем телом. Вампиры! Эти страшные существа, которые питаются человеческой кровью, принимая обличье людей, летучих мышей, собак.

Все события предыдущих дней в бешеном темпе пронеслись передо мной, представ во всем ужасе, и я ясно понял теперь значение каждой мелкой, но страшной подробности.

Ее брат Иоганн — через некоторое время после войны он стал вампиром. Когда же несчастная женщина отыскала его много лет спустя, он и ее заставил принять это жуткое существование.

Они выбрали тот заброшенный двор своим логовом и год назад заманили туда Алессандро Ларлу. Он любил эту женщину, обожал ее. А потом узнал ее страшную тайну и сошел с ума.

Да, он стал безумным, но безумие не остановило его, и он успел написать обо всем в трех своих книгах. Он считал, что его откровения смогут навсегда уничтожить и женщину, и ее брата. Но этого оказалось недостаточно.

Я схватил со стола первую книгу и раскрыл ее в самом начале. И снова увидел эти бледные, нацарапанные торопливой рукой строчки, которые раньше не имели для меня никакого значения:

«Откровения, которые должны были разрушить мое могущество без кола, только укрепили его. Читай, безумец, и войди в мои владения, потому что теперь мы скованы одной цепью. Скорбите по Ларле».

Это написала Перл фон Морен! Ведь по замыслу Алессандро эта книга должна была положить конец и ей, и ее брату. Но несчастный итальянец не знал, что есть только один способ сделать это. И все же книга была написана не напрасно. С ее помощью он указал путь другим…

Эти книги связали вампиров, приковав Перл фон Морен и ее брата Иоганна к старому саду с кладбищем, и они не могли больше ходить по городу в поисках своих жертв. И лишь только тот, кто проникал через ворота в сад, мог стать их добычей.

Здесь действовал старый метафизический закон: перед лицом истины зло сжимается, становится меньше и теряет свою полную власть.

И все же, хотя книги и приковали вампиров к этому заброшенному саду, они провели новый путь прямо к ним в логово. И те, кто читал эту трилогию, неизбежно попадали в их западню. Эти строчки становились как бы связкой на пути к ним. Они были ловушкой, сетью, в которой обязательно запутывался читатель. Вот почему моя жизнь так тесно переплелась с событиями, описанными в книге Ларлы. В тот момент, когда я открыл первую страницу, я уже попал под их власть, и со мной должно было произойти то же самое, что и с Ларлой год назад. Я попал в сети женщины в черном. Но как только я прошел через открытые ворота сада, связывавшая нас сила книг потеряла свое значение и они могли преследовать меня уже где угодно, чтобы…

У меня закружилась голова от неожиданной мысли. Теперь мне стало ясно, чему так удивлялся доктор. Я понял, откуда у меня неожиданно появилась такая слабость. Она — она питалась моей кровью! Но если Ларла не знал, что делать с таким существом, то уж я-то знаю. Путешествуя по Южной Европе, я много узнал об этом древнем зле и о том, как с ним бороться.

В отчаянии я оглядел комнату. Стол, кресло, кровать, наконец — тренога одного из моих фотоаппаратов. Это было как раз то, что нужно! Схватив штатив за деревянную ножку, я с силой вырвал ее и переломил об колено пополам. Теперь у меня в руках было два острых кола, и, не надевая шапки, я выскочил из дома.

Через несколько секунд такси уже мчало меня на север.

— Быстрее! — кричал я водителю, с опаской глядя на заходящее солнце. — Быстрее, вы слышите?!

Мы летели через весь город в самую дальнюю северную его часть. На каждом светофоре я вскипал от ярости. Но наконец нам удалось все же добраться до этого злосчастного сада.

Распахнув настежь железные ворота и зажав под мышкой два куска сломанной ножки, я стремительно ворвался во двор. При дневном свете кладбище и сад казались самыми обычными — лишь старое здание и высокие заросли кустов молча глядели на меня.

Я сразу направился к дому и по скользким ступенькам поднялся к

парадному входу. Но дверь была заперта и заколочена досками. Сойдя вниз, я обошел вокруг здания, отыскивая другой вход. Именно к нему и побежала в тот раз женщина, после того как я попытался ее сфотографировать. В конце концов мне удалось найти черный ход и лестницу, ведущую в подвал. Внутри я увидел узкий проход. На полу валялся мусор и отбитые камни, а потолок украшали бесчисленные паутины.

Я осторожно подался вперед, и глаза мои скоро привыкли к полумраку. Сумрачный свет едва пробивался сюда сквозь темные от грязи стекла.

В конце коридора была еще одна дверь. Толкнув ее, я застыл на пороге, не решаясь двинуться дальше. Взгляду моему открылась небольшая комнатка, всего в десять квадратных футов, с низко нависшим потолком. И при слабом свете гаснущего заката я увидел посреди пыльного пола два гроба из светлого дерева.

Не знаю, сколько я простоял так в дверях, мерно покачиваясь из стороны в сторону и приходя в себя…

Из комнаты шел острый запах гелиотропа. Но сейчас он смешивался со смрадом открытой старой могилы.

И тут я резко рванулся вперед и сдернул крышку с одного из гробов.

Если бы только небо дало мне силы забыть то, что я в нем увидел! Там лежала женщина в черном, но уже без вуали.

Это лицо — оно казалось божественно красивым; волосы ее были черные и блестящие, как мех соболя, а щеки бледны. Но ее губы!.. Мне стало плохо, как только я взглянул на них. Они были алыми… и липкими от свежей человеческой крови.

Я взял один кол, схватил с пола большой камень, приставил деревянное острие к сердцу женщины. Потом отвернулся и изо всех сил ударил камнем по колу. Он тут же ушел в глубь тела. Гроб неистово затрясся. Прямо в лицо мне ударил теплый сладковато-тошнотворный запах гниющего трупа.

Я отшатнулся и открыл крышку второго гроба, где лежал ее брат. Лишь мельком я взглянул на мускулистое лицо молодого тевтонца, поднял вверх камень и что есть силы ударил им по колу.

Теперь из гробов пустыми глазницами на меня глядели два серых скелета.

Остальное я помню смутно. Кажется, я бросился бежать оттуда сломя голову — на свободу, домой, прочь от этого проклятого сада с каменными птицами.

Измученный и уставший, я наконец добрался до своей комнаты. Вещи, мебель и все, что окружает меня здесь изо дня в день, было теперь слаще

бальзама для моего сердца. Но тут взгляд мой упал на три предмета, которые лежали там же, где я их оставил, — три тома Ларлы.

Я повернулся к камину и швырнул все три книги на еще горящие угли.

Раздалось шипение, и желтое пламя взмыло вверх, начав жадно вгрызаться в бархат. Пламя становилось все выше и выше, а потом постепенно угасло.

И когда в черном пепле затухла последняя искорка, мной овладело чувство спокойствия и облегчения.

Энн Райс

Говард Аллен О`Брайен родилась в 1941 году в Нью-Орлеане; имя Энн она выбрала себе сама, еще будучи ребенком. В 1961 году она вышла замуж за поэта Стэна Райса и взяла его фамилию; в браке, в котором они состояли на протяжении сорока одного года (вплоть до кончины Стэна в 2002 году), у них родилось двое детей: в 1966 году — дочь Мишель, без малого шесть лет спустя умершая от лейкемии, а в 1978 году — сын Кристофер, который впоследствии стал романистом.

Первый роман Энн Райс, «Интервью с вампиром», был закончен в 1973 году и, опубликованный в 1976-м, стал международным бестселлером. Хотя ею написано множество других книг, самый значительный успех выпал на долю романного цикла «Вампирские хроники», начатого дебютным романом Райс и продолженного «Вампиром Лестатом» (1985), «Королевой проклятых» (1988) и так далее. Она также выступила автором сценария знаменитого фильма «Интервью с вампиром» (1994) с участием Брэда Питта, Кирстен Данст и Тома Круза в роли Лестата. Позднее появился малоудачный сиквел этого фильма — «Королева проклятых», в котором оказались смешаны сюжетные элементы второго и третьего романов цикла.

Кроме того, Райс выпустила два романа под псевдонимом Энн Рэмплинг — «Двери в рай» (1985) и «Белинда» (1986) — и три эротических романа под псевдонимом Э. Н. Рокелор. В последние годы из-под ее пера вышли два романа на религиозные темы, сюжеты которых основаны на жизни Иисуса Христа.

Рассказ «Хозяин Рэмплинг-гейта», один из двух, написанных Энн Райс, впервые был напечатан в «Редбук мэгэзин» в феврале 1984 года.

Хозяин Рэмплинг-гейта

Весна 1888 года.

Рэмплинг-гейт. На старинных изображениях он казался нам предельно реальным — вставал, точно сказочный замок над темной лесной чащей. Путаница печных труб и водостоков между двумя огромными башнями,

серые каменные стены, густо поросшие плющом, миллионы окон, в которых отражаются проплывающие облака.

Но почему отец никогда не брал нас сюда? И почему, уже на смертном одре, он велел моему брату сровнять Рэллплинг-гейт с землей, разнести до основания?

— Мне следовало самому сделать это, Ричард, — сказал тогда отец, — но я родился в этом доме, и мой отец тоже, и его дед. Перелагаю этот долг на тебя, мой сын. Над тобой Рэмплинг-гейт не властен, так покончи же с ним.

Поэтому неудивительно, что не прошло и двух месяцев с похорон, как, послушные отцовской воле, мы с Ричардом ехали поездом на юг Англии, в таинственный дом, который четыре сотни лет высился над деревушкой Рэмплинг. Отец понял бы нас, ибо как могли мы разрушить старый дом, который ни разу в жизни не видели въяве, лишь на картинах?

Но вот поезд уже несет нас за пределы Лондона, а мы все еще не приняли решение — лишь изнываем от волнения и любопытства.

Ричард только-только окончил курс в Оксфорде. Я уже два сезона как выезжала в свет и имела пусть скромный, но успех. Правда, я все равно до сих пор предпочитала бурным балам всю ночь напролет свои радости, тихие и уединенные, — например, сидеть за дневником у себя в комнате, сочинять стихи и разные истории, но мне удавалось скрывать свои увлечения. Хотя мы с Ричардом еще совсем крошками потеряли мать, отец ничего для нас не жалел. Но беспечные детство и юность позади, и теперь нам придется стать взрослыми, независимыми и самостоятельными.

Вечером накануне отъезда мы извлекли все изображения Рэмплинг-гейта — картины, гравюры, дагерротипы — и робко, вполголоса вспоминали тот вечер, когда отец поснимал их со стен.

Мне тогда было не больше шести, а Ричарду едва исполнилось восемь, и все же мы вполне отчетливо помнили то странное происшествие на вокзале Виктории, которое вызвало у отца, обычно столь спокойного, бурю гнева. Мы отправились на вокзал после ужина, проводить школьного товарища Ричарда, и там, на перроне, отец внезапно увидел лицо какого-то молодого человека, промелькнувшее в освещенном окне поезда. Я тоже рассмотрела этого незнакомца и помню его по сей день. Красавец с пышными темными волосами, он смотрел на отца черными глазами, и взгляд его был исполнен глубочайшей печали. Под его взглядом отец отшатнулся, прошептав: «О ужас, о невыразимый ужас!», а мы с братцем так напугались, что не могли проронить ни звука.

Позже, тем же вечером, между отцом и матерью разгорелась ссора, и

мы с Ричардом тайком выбрались каждый из своей комнаты, чтобы подслушать, в чем дело.

— Как он посмел явиться в Лондон! — задыхаясь от гнева, твердил отец — Или ему недостаточно безраздельной власти над Рэмплинг-гейтом?

Нам, детям, смысл отцовских слов был темен, и мы долго гадали, что же он имел в виду, и кто был тот прекрасный незнакомец с печальным взором, и как мог он считаться хозяином дома, принадлежавшего нашему отцу, старой усадьбы, куда наша семья никогда не ездила, вверив Рэмплинг-гейт заботам дряхлой слепой экономки.

Однако теперь, когда мы снова увидели изображения Рэмплинг-гейта, думать об отцовской ярости было слишком страшно, а о самом доме — слишком волнительно. Я прихватила с собой дневник и рукописи, ибо надеялась, что, быть может, в меланхолической и изысканной атмосфере Рэмплинг-гейта обрету вдохновение, необходимое для очередной истории, которую как раз начала сочинять.

И все же в нашем волнении мне чудилось нечто едва ли не беззаконное. Память вновь воскрешала передо мной незнакомца в черном плаще и алом шерстяном шарфе. Бледное лицо его было как тонкий фарфор. Как странно, что спустя столько лет я вижу его, точно наяву. И, вспомнив ту мимолетную встречу, я внезапно осознала: именно незнакомец стал для меня идеалом мужской красоты, в котором я за все это время ни разу не усомнилась. Мой идеал, а отца он так разгневал… Немудрено, что меня грызла совесть.

Близился вечер, когда ветхая коляска поднялась в гору от железнодорожной станции и мы впервые увидели дом. По розоватому небу плыли облака, окаймленные золотистым сиянием, и последние солнечные лучи расплавленным золотом отливали в верхних окнах дома, играли в мелких стеклах, забранных свинцовыми переплетами.

Какой он огромный! Даже слишком! И величественный! — удивленно прошептала я. — Подумать только, все это теперь наше!

Ричард легонько поцеловал меня в щеку.

Коляска едва тащилась, и у меня возникло жгучее желание спрыгнуть наземь и побежать к дому, чтобы эти башни приблизились и нависли у меня над головой как можно быстрее. Но старая кляча, запряженная в коляску, прибавила шагу.

У массивных входных дверей нас встретила согбенная и слепая экономка, миссис Блессингтон, и ввела в просторный холл, где от наших гулких шагов по мраморным плитам под высоким потолком разлетелось гулкое эхо. Пораженные, притихшие, мы рассматривали длинный дубовый

стол, резные стулья и мрачные гобелены, слабо колыхавшиеся на сквозняке. На все это сквозь окна падали пыльные полотнища закатного света.

— Ричард, да это же заколдованный замок! — восторженно воскликнула я.

Миссис Блессингтон рассмеялась и ласково сжала своей высохшей ручкой мою. Она позаботилась о том, чтобы к прибытию молодых хозяев спальни были проветрены и просушены, так что нас встретил гостеприимный огонь, полыхавший в очаге, и прохладная белизна постелей. Сквозь маленькие окна с ромбовидным переплетом открывался великолепный вид на озеро, окруженное могучими дубами, а вдалеке мерцали редкие огоньки деревни.

В тот вечер мы ужинали за массивным дубовым столом, озаренным дрожащим светом свечей, и смеялись, как дети. А потом отправились в игровую, где устроили яростное сражение в настольный бильярд и, боюсь, несколько переусердствовали, угощаясь бренди.

Перед тем как отправиться спать, я поинтересовалась у миссис Блессингтон, взбивавшей подушки, навещал ли кто Рэмплинг-гейт после того, как отец много лет назад уехал отсюда.

— Нет, милочка, — поспешно отозвалась она, — как ваш папенька уехал в Оксфорд, так он больше здесь и не бывал.

— А не появлялся ли после этого некий молодой посетитель? — настаивала я, хотя, по чести сказать, счастье мое казалось столь безоблачным, что нарушать его у меня не было ни малейшей охоты. Мне сразу же полюбилось аскетичное убранство спальни — ни резьбы, ни панелей, ни даже обоев, лишь оштукатуренные стены да начищенная до блеска кровать орехового дерева.

— Молодой посетитель? — переспросила экономка и, на ощупь добравшись до очага, помешала в нем кочергой. — Нет, милочка. А с чего вы подумали, будто такой приезжал?

— Миссис Блессингтон, а историй с привидениями про Рэмплинг-гейт не рассказывают? — неожиданно для самой себя спросила я.

«О ужас, о невыразимый ужас!» — всплыло у меня в памяти отцовское восклицание. Смешно, право, уж не думаю ли я, будто бледный молодой красавец был привидением?

— Нет, что вы, — улыбнулась старушка, — ни одно привидение не осмелится потревожить покой Рэмплинг-гейта.

И потекли мирные дни, без забот и тревог, — прогулки по заросшему, запущенному парку, катание по озеру на маленьком ялике, чаепития под

нагретым солнцем стеклянным куполом пустующей оранжереи. А по вечерам мы устраивались в библиотеке у камина и читали.

На все наши расспросы в деревне мы получали одинаковый ответ: местные жители питали к господскому дому глубочайшее почтение и даже любовь. Ни одной мрачной легенды или слуха по окрестностям не бродило.

Как же мы сообщим всем этим людям о приговоре, вынесенном отцом? Нам и самим страшно было даже подумать о его приказе сровнять Рэмплинг-гейт с землей.

Ричард радовался сокровищам античной словесности, обнаруженным в библиотеке, а в моем распоряжении был письменный стол в ее уголке.

Никогда раньше не ведала я такого покоя. Самый дух Рэмплинг-гейта как будто пронизывал каждую строчку, выходившую из-под моего пера, и на чистых страницах пышно расцветали новые образы, сплетались и ветвились новые сюжеты. Уже в понедельник после нашего прибытия я закончила свой первый настоящий рассказ, затем переписала его начисто и пешком отправилась в деревню, чтобы отважно послать свое творение в редакцию журнала «Блэквуд».

День выдался теплый, погожий, и обратно я шла не торопясь, погрузившись в размышления. Что так тревожило отца в этом прелестном английском уголке? Что за кошмар, что за страх омрачили его последние часы и побудили на смертном одре проклясть это прекрасное поместье? Рэмплинг-гейт с его небывалым таинственным безмолвием и царственной величественностью завладел моей душой, и я самозабвенно впивала его красоту. Порой я забывалась настолько, что мнила себя бесплотным духом, разумом, блуждающим по тихим дорожкам парка и каменным коридорам, которые слишком много повидали на своем веку, чтобы снисходить до хрупкой, незаметной молодой женщины, что временами вслух заговаривала с рыцарскими доспехами, садовыми статуями или херувимами с их витыми раковинами, уже много лет не извергавшими воды и украшавшими собой заглохший фонтан.

Но не таилась ли в этой прелести, в этом обаянии некая зловещая сила, некая угроза, что покамест не являла себя нам, — некая доселе неведомая нам история? «О ужас, о невыразимый ужас!». Когда я вспоминала отцовские слова, то даже в ослепительный солнечный день они вызывали у меня дрожь.

Поднявшись по склону холма, я увидела Ричарда, который безмятежно прогуливался по берегу озера. Брат то и дело поглядывал на далекие стены замка, и лицо его выражало покой и довольство, а взгляд казался затуманенным, словно Ричард видел блаженный сон наяву.

Он подпал под чары Рэмплинг-гейта. Это я поняла превосходно, ибо и меня уже постигла та же участь.

Повинуясь внезапному приливу решимости, я ускорила шаг, нагнала брата и мягко тронула его за руку.

Мгновение Ричард смотрел на меня, точно не узнавая, а потом тихо сказал:

— Джули, как я могу его разрушить? У меня никогда рука не поднимется на эту красоту! А если я выполню отцовскую волю, то остаток жизни буду терзаться угрызениями совести.

— Ричард, нам пора спросить совета у знающих людей. Напиши нашим юристам в Лондон, — предложила я. — Напиши папиному душеприказчику, доктору Мэтьюсу. Объясни ему все. Не можем же мы вот так взять и разрушить дом.

…В три часа ночи я открыла глаза. Но бодрствовала я уже давно, сон не шел. Я лежала в темноте, одна, но испытывала не страх, а нечто иное, какое-то смутное и беспрестанное возбуждение, какую-то сосущую пустоту в душе. Это ощущение и побудило меня подняться с постели. В чем же тайна этого жилища? Что оно вытворяет со мной? Нет, Рэмплинг-гейт — не просто стены, он наделен какой-то таинственной силой и влияет на мою душу.

Меня переполняли волнение и неясные предчувствия, и в то же время я ощущала, что от меня скрывают какую-то диковинную и важную тайну. Изнемогая от невыносимой тревоги, я облачилась в свободный шерстяной халат и ночные туфли, а затем крадучись вышла в холл.

Поток лунного света заливал дубовую лестницу и вестибюль. Как описать словами мучительное волнение, охватившее меня, как передать на бумаге необъяснимую жажду, гнавшую меня вперед? Может быть, мне это удастся, и впечатления пригодятся, решила я и бесшумно двинулась вниз по лестнице.

Передо мной простирался пустынный холл. Лунный свет играл там и сям на лезвиях скрещенных мечей или поверхности щита. Но дальше, за холлом, сквозь распахнутые двери библиотеки, я увидела зыбкие отблески огня. Значит, Ричард тоже не спит и он там. Эта мысль успокоила меня и наполнила душу умиротворением. Однако расстояние между мной и братом все никак не сокращалось, холл будто сделался бесконечным, и я все спешила и спешила мимо длинного дубового стола, мимо доспехов на стенах, пока наконец не достигла дверей библиотеки.

Да, в камине полыхал огонь, а в кожаном кресле у огня сидела какая-то фигура, перебирая разрозненные страницы тонкими точеными пальцами.

Полуночник так погрузился в чтение, что не услышал моих шагов. Пламя в камине бросало на его бледное лицо теплый золотистый отсвет.

Но то был не Ричард, о нет! Предо мной явился тот самый незнакомец в черном, которого отец так испугался на вокзале Виктории пятнадцать лет назад. Да, прошло пятнадцать лет, а в этом прекрасном молодом лице не изменилась ни одна черточка, и темные волосы по-прежнему спадали на лоб и плечи незнакомца густыми небрежными прядями, и все так же молодо сверкали черные глаза, что вдруг с любопытством уставились на меня, — и я едва не вскрикнула от неожиданности.

Мы молча глядели друг на друга: я оцепенела на пороге полутемной библиотеки, он застыл в кресле у камина, не меньше моего потрясенный внезапностью этой встречи. Сердце у меня замерло.

Мгновение — и незнакомец уже вскочил, еще миг — и очутился возле меня и протянул ко мне руки, точеные белые руки.

— Джули! — прошептал он так тихо, что, казалось, этот голос прозвучал у меня в голове, как во сне. Однако это был не сон, и не во сне, а наяву руки незнакомца схватили меня, и я пронзительно закричала, и крик мой, отчаянный и беспомощный, эхом заметался между стен.

Хватка ослабла. Я была одна. Вцепившись в дверной косяк, я с трудом сделала шаг, другой и отчетливо увидела незнакомца на пороге двери, ведущей в сад. Гость оглянулся на меня через плечо. Мгновение — и он исчез, как не бывало.

Крик все еще рвался из моей груди, я не в силах была заставить себя умолкнуть, даже когда услышала приближающийся голос Ричарда, звавшего меня по имени, и его торопливые шаги, которые простучали по лестнице, а затем в холле, отдаваясь гулким эхом. Ричард вбежал в библиотеку, обнял меня, тряс за плечи, звал, усадил в кресло, а я все еще кричала. Наконец ему удалось кое-как успокоить меня, и я сбивчиво рассказала об увиденном.

— Ты же знаешь, кто это был! — истерически всхлипывая, твердила я. — Он! Тот самый незнакомец с вокзала!

— Постой, Джули, постой, — прервал меня брат. — Он сидел спиной к огню, ты не могла так хорошо рассмотреть его лицо и…

— Ричард, говорю тебе, то был он! Как ты не понимаешь? Он схватил меня, он назвал меня по имени! — прошептала я. — Силы небесные, Ричард, взгляни, огонь в камине горит, а я не зажигала его, это он, это все он… Он побывал здесь!

Едва ли не оттолкнув брата, я склонилась над рассыпанными на ковре бумагами.

— Мой рассказ! — растерянно вырвалось у меня. — Ричард, он читал мою рукопись! О боже, тут еще и твои письма! Он читал твои письма доктору Мэтьюсу и мистеру Партриджу, письма о сносе дома!

— Джули, сестричка, ты обманулась! Прошло столько лет, как же это может быть тот же человек!

— Он не изменился, клянусь! Я не ошиблась, уверяю тебя, это он, он самый!

Наутро мы предприняли тщательный осмотр дома. Впервые с нашего приезда в Рэмплинг-гейт день выдался тревожный и занятой. Уже стемнело, а мы не обошли еще и половины дома. Мы изнемогали от усталости и досады: многие комнаты оказались заперты, а часть лестниц — пугающе ветхи.

Меня же до слез расстроило то, что Ричард упорно не желал верить моим словам. Он полагал, будто незнакомец мне примерещился. Что касается огня, разведенного в камине, то, по словам Ричарда, он, должно быть, виноват во всем сам — не загасил камин как следует, прежде чем отправиться спать, ну а бумаги забыл в библиотеке кто-то из нас двоих, вот и все…

Но я-то знала: ночное происшествие случилось наяву. И больше всего мне не давало покоя то хладнокровие, с каким держался незнакомец, тот уверенный и невинный взгляд, которым он окинул меня, прежде чем я закричала.

— Самым разумным решением будет черкнуть ему записку перед сном, — сердито сказала я. — Напиши, что ты не намерен сносить дом.

— Джули, ты ставишь меня в невозможное положение! — покраснев, вспылил Ричард. — Ну что за дилемму ты выдумала! Посуди сама, с одной стороны, ты настаиваешь на том, чтобы я заверил это привидение, что Рэмплинг-гейт не тронут. С другой, тем самым ты подтверждаешь реальность этого существа, которое побудило отца приказать нам снести дом.

— Ах, зачем я только сюда приехала! — в слезах вскричала я.

— Так давай уедем, а окончательное решение примем дома, — предложил брат.

— Ты не понимаешь, дело не только в этом. Теперь я не успокоюсь, пока не разгадаю эту тайну. Нигде мне не будет покоя — ни здесь, ни в Лондоне.

Похоже, нет лучше лекарства против страха, чем гнев, ибо именно это чувство заглушило снедавшую меня тревогу. В эту ночь я не стала раздеваться, а сидела в темноте и не отрывала глаз от светлого пятна окна,

дожидаясь, пока дом не затихнет. Наконец старинные часы в холле пробили одиннадцать, и Рэмплинг-гейт, как всегда в это время, погрузился в сон.

Мрачное ликование охватило меня при мысли о том, чтобы выйти из спальни, пройти по молчаливому спящему дому и спуститься в библиотеку. Однако я знала, что должна дождаться полуночи — рокового времени, когда ночь расцветает. Сердце мое бешено колотилось, и я вновь и вновь рисовала перед своим мысленным взором то бледное прекрасное лицо, воскрешала в памяти тот голос, что шепотом назвал мое имя.

Наша встреча в минувшую ночь длилась не более минуты, но отчего мне теперь кажется, будто мы знали друг друга раньше, неоднократно виделись и беседовали? Не потому ли, что незнакомец прочел мой рассказ, что его черные глаза внимательно пробегали по строчкам, родившимся из глубины моей души?

— Кто вы? — шептала я. — Где вы сейчас?

Мне казалось, будто я произношу эти слова мысленно, но вот губы мои шевельнулись, и в темноту упало слово «придите».

Дверь моей спальни беззвучно отворилась — и вот он уже на пороге, в том же наряде, что и вчера, и все тем же мальчишеским хладнокровным любопытством поблескивают черные глаза, и ленивая усмешка кривит рот.

Я подалась вперед, а незнакомец поднял палец, точно призывая меня к молчанию, и слегка кивнул.

— Ах, это вы! — шепнула я.

— Да, — негромко и спокойно отозвался он.

— И вы не привидение!

Взгляд мой скользнул по его фигуре, по лицу. Пятнышко пыли на бледной скуле, сапоги забрызганы грязью…

— Привидение? — едва ли не оскорбленно переспросил полночный гость. — О, если бы.

Оцепенев, я смотрела, как он идет прямо на меня. Мрак в комнате как будто стал плотнее. Прохладные, нежные, как шелк, его руки коснулись моего лица. Я поднялась с постели, и вот я стою перед ним и смотрю ему в глаза. И слышу бешеный стук своего сердца.

Оно колотилось так же, как вчера ночью, когда я закричала. Силы небесные, он здесь, у меня в спальне, он касается меня, и я говорю с ним! И вдруг я очутилась в его объятиях.

— Ты настоящий! Настоящий! — прошептала я, и все мое тело пронзила сладостная судорога, так что я едва удержалась на ногах.

Полночный гость внимательно изучал мое лицо, словно пытаясь понять что-то крайне важное. О, как алы были его губы на бледном лице —

точно цветок на снегу, и как нежны даже на вид, словно никогда не ведали поцелуев. Голова у меня пошла кругом, и странная слабость овладела мной. Я была как во сне и даже не понимала, здесь он, мой полночный гость, или нет.

— Но я здесь, с тобой, — сказал он, будто прочитав мои мысли. Лицо мое овеяла нежная теплота его дыхания. — Я здесь и наблюдал за тобой с того самого дня, как ты приехала.

— Да…

Веки мои опускались сами собой. Внезапно перед моим внутренним взором возникло лицо отца, я услышала его голос «Нет, Джули, нет», но видение тотчас погасло, это был сон, конечно же сон, а мой полночный гость был сама явь.

— Один лишь поцелуй, — прошелестел его голос, обволакивая меня, как бархат. Губы незнакомца легко скользнули по моей щеке. — Не бойся, у меня и в мыслях нет причинить тебе вред. Никогда я не причинял вреда отпрыскам этого рода. Я прошу всего один поцелуй, Джули. Вместе с ним ты поймешь, что Рэмплинг-гейт нельзя разрушать, что меня ни за что нельзя изгонять отсюда.

Мгновенно самая сердцевина меня послушно открылась ему — тот тайник, где мы прячем все наши сокровенные желания, мечты и сны. Я упала бы, не подхвати он меня, и тогда мои руки сами собой обвили его шею, зарылись в густой шелк его кудрей.

Я погружалась в сладкую истому, меня охватило блаженство и покой, тот покой, что всегда царил в доме. Мнилось, то сам Рэмплинг-гейт заключает меня в объятия, одновременно открывая мне свою вековую тайну. «И вмиг/ Восчуял я, что властью одарен/Легко, подобно Богу, видеть суть/ Вещей — так очертанья и размер/ Земное видит око». [34] Да, те самые строки из Китса, которые я цитировала в своем рассказе, те, которые он прочел.

И вдруг он отстранился и резко оттолкнул меня.

— Ты слишком невинна, — прошептал он.

Я метнулась к окну, ухватилась за подоконник и замерла, прислонившись пылающим лбом к холодному камню стены.

На шее еще пульсировало болью то местечко, к которому приникали губы незнакомца, но и боль была сладка, она пронзала и отпускала, пронзала и отпускала, и не унималась, не останавливалась. Теперь я поняла, кто он!

Обернувшись, я отчетливо увидела всю спальню — постель, камин, кресло. Мой полночный гость не двинулся с места, и на лице его написана

была нестерпимая мука.

— Ужас, невыразимый ужас… — прошептала я, пятясь. — Ты воплощенное зло. Ты кошмар, ты порождение тьмы.

— О нет! Я порождение прошлого, и я прошу лишь понимания, — взмолился гость. — Я то, что может и должно жить дальше.

Так заклинал он, но избегал моего взгляда и корчился, как от боли.

Я тронула то место у себя на шее, которое все еще болело, потом посмотрела на кончики своих пальцев — они алели даже в полутьме. Кровь.

— Вампир! — воскликнула я, и у меня перехватило дыхание. — Ты вампир, но ты умеешь страдать и даже любить! Мыслимо ли это?

— Любить? О да! Я полюбил, едва ты приехала. Я полюбил тебя, когда жадно пожирал глазами твои трепетные строки, когда листал страницы, которым ты доверила свои потаенные желания, — а ведь я тогда даже не видел еще твоего прелестного лица.

И он вновь привлек меня к себе и потянул к дверям.

На какое-то отчаянное мгновение я попыталась высвободиться, и тогда он, как истый джентльмен, отпустил меня, отворил передо мной дверь и взял мою руку.

Мы прошли длинным пустым коридором, затем миновали низенькую деревянную дверцу, за которой оказалась узкая винтовая лесенка. Здесь я еще не бывала. Вскоре я поняла, что полночный гость ведет меня в северную башню — полуразрушенную, заброшенную и потому давно стоявшую запертой. За узкими окошками башни открывались просторы, расстилавшиеся вокруг усадьбы, горсткой тусклых огоньков мелькнула вдали деревушка Рэмплинг и тянулась бледная полоска света — железная дорога.

Мы поднимались все выше и выше, пока не добрались до самого верха башни и вампир не отпер свое убежище железным ключом. Он открыл дверь и пропустил меня вперед, и вот я очутилась в просторной комнате со стрельчатыми высокими окнами, лишенными стекол, так что по ней гулял ветер. Лунный свет озарял самую причудливую обстановку, в которой в беспорядке смешались разнородные предметы и книги разных эпох. Тут имелись письменный стол, полки с множеством книг и мягкие кожаные кресла, а по стенам висели карты и картины в рамах. И свечи, свечи, повсюду свечи и восковые кляксы. Вот черный шелковый цилиндр и щегольская трость, а рядом — увядший букет цветов. Дагерротипы и ферротипии в бархатных футлярах. Лондонские газеты и книги, и снова книги. А посреди разбросанных книг и бумаг я увидела свои рукописи —

стихи, рассказы, черновики, которые я привезла с собой, да так и не успела разобрать.

Единственное, чего недоставало в комнате, — это постели. Не потому, что ее хозяин никогда не спал. Он спал, но когда я подумала о том, где он вкушает отдых, куда ложится спать, меня пробрала дрожь и я вновь явственно ощутила прикосновение его губ на шее, и мне вдруг захотелось заплакать.

Но он уже обнял меня и покрывал поцелуями мое лицо и губы.

— Отец знал, что ты здесь! — вырвалось у меня.

— Да, — отвечал он, — а до него знал его отец, и дед, и прадед, и так много-много лет, из поколения в поколение, череда знавших не прерывалась. Одиночество ли, ярость ли понуждали меня открывать им свое существование, не ведаю, но все они знали. Я всегда сообщал им о себе и всегда заставлял принять эту весть и смириться с ней.

Я попятилась; на сей раз он не попытался удержать меня, а неторопливо принялся зажигать свечи, одну за другой. О, в пламени свечей он был еще красивее, чем в лунных лучах, он был ослепителен! Как сверкали его черные глаза, как блестели густые кудри! Тогда, в детстве, на вокзале Виктории, он предстал передо мной мимолетным призраком; теперь же я видела его отчетливо, озаренного огнями свечей. Красота его проникала мне в самое сердце.

Он сам в это время пожирал меня глазами и твердил мое имя, так что кровь прилила у меня к лицу. Минуты текли как во сне, но вдруг ткань сна разорвалась, и я вздрогнула, будто проснувшись. Что я здесь делаю? О чем я думаю?! «Никогда, никогда не тревожь древний ужас Рэмплинг-гейта… тот, что древнее добра и зла…» И вновь сладостная истома и блаженное головокружение… и голос отца звучит как из дальней дали: «Разрушь дом до основания, Ричард, сровняй его с землей!»

Он подвел меня к окну. Огни деревушки плыли у меня перед глазами, словно приближались, словно мы оба летели над ней, и вот уже вокруг нас лес, древняя чаща, которая много старше леса, окружавшего Рэмплинг-гейт, когда мы с братом только прибыли в эти края. Сердце мое заколотилось от испуга, я вдруг поняла, что погружаюсь в прошлое, в водоворот чужих видений, откуда быть может, нет возврата.

Мне казалось, мы оба говорим, перебивая друг друга, я слышала гул наших голосов, но не могла разобрать ни слова, лишь уловила, что твержу «я не сдамся», а он просит:

— Молю тебя, Джули, просто смотри, и больше мне ничего не надо.

Воля моя таяла, как воск, и я поддалась на уговоры, хотя вещий голос

сердца твердил мне, что, вняв вампиру, я никогда не буду прежней. Стены комнаты сделались прозрачными, лесная чаща просвечивала сквозь них, вот они исчезли, и мы очутились посреди леса. Неведомая сила погрузила меня в чужие видения.

Мы ехали верхом по лесной тропинке, он и я. Где-то в высоте кроны деревьев смыкались у нас над головой, образуя зеленые своды, едва пропускавшие солнечный свет, так что редкие светлые пятнышки колебались и дышали на мягком ковре из опавших листьев.

Но, увы, вомнебный лес остался позади, и вот мы едем распаханными полями, что окружают деревушку под названием Норвуд — сплошь кривые узенькие улочки да домишки с остроконечными крышами. В низкое пасмурное небо вонзалась колокольня Норвудского монастыря, и мерный печальный звон вечерни оглашал окрестности, а вслед за ним к небу поднималось слаженное пение сотен голосов, возносивших молитву. Норвуд был многолюдным селением, и жизнь здесь бурлила — до поры до времени.

А за полями и за лесом высилась башня древнего разрушенного замка, от которого давно уже осталась лишь оболочка, лишь руины. К нему мы и ехали под темнеющим небом, в вечерних сумерках. И вот мы в замке, забыты лошади и дорога, мы проворно, как дети, несемся по пустынным покоям и переходам. Что за высокая костлявая фигура с бледным лицом стоит посреди зала у пылающего очага? То лорд, хозяин замка. Ветер, гуляющий по залу, забравшийся сквозь разрушенную крышу, шевелит его седые волосы. Хозяин устремляет на нас пронизывающий взгляд, глаза его сверкают. Он давно уже мертвец, но страшными силами магии в нем еще теплится жизнь. И вот мой спутник, невинный и наивный юноша, идет прямо в руки лорду.

Я видела их поцелуй. Я видела, как мой спутник побледнел и отшатнулся и как лорд, получив свое, усмехнулся печально и мудро.

И тогда я поняла. Я поняла. Но замок уже таял, как все видения, встававшие передо мной в чужом сне, и мы очутились в совсем ином месте, в мрачной тесноте, в тошнотворной сырости.

Невыносимое зловоние вползало в ноздри и рот, мешало дышать, от него останавливалось сердце, ибо то был самый страшный на свете запах — дыхание смерти. Я услышала стук собственных шагов по мощеной улице, покачнулась, оперлась о стену. Рыночная площадь, обычно, должно быть, людная, теперь опустела; распахнутые двери и окна зияли пустыми глазницами, ветер стучал ставнями. То на одном доме, то на другом я различала начертанный крест. Я знала, о чем говорит этот крест. Черная

смерть, чума пришла в Норвуд, Черная смерть собрала свою дань. В горле у меня встал комок, когда я осознала, что в деревне не осталось ни единой живой души.

Но нет, я ошибаюсь, здесь еще есть кто-то живой. Вот юноша ковыляет по узкой улочке, и его то и дело скручивают судороги. Он спотыкается, едва не падает, он тычется то в одну дверь, то в другую и наконец переступает порог дома, где воздух загустел от зловония, а на полу заходится плачем младенец. Отец и мать ребенка мертвы — вон их трупы на постели. Жирный раскормленный кот, которого некому остановить, подкрадывается к младенцу, трогает когтистой лапой его впалую щечку, младенец вопит, таращит глазенки.

— Хватит! Остановись! — Из моей груди вырывается отчаянный крик. Я сжимаю виски. — Прекрати, прекрати, не хочу больше это видеть!

Да, я кричу, кричу так пронзительно и надрывно, что, казалось бы, этот крик должен прорвать пелену жуткого видения и разбудить всех обитателей Рэмплинг-гейта, но нет, меня никто не слышит. Мой юный спутник оборачивается и смотрит на меня, но здесь, в душной комнате, пропитанной зловонием смерти, слишком темно, и мне не различить его лица.

И все же я знала: это мой спутник, я чуяла его страх и то, что он тоже болен, в нос мне била вонь от умирающего младенца, и я видела, как поблескивают выпущенные коготки кота, который подкрадывается к младенцу все смелее и смелее.

— Прекрати! Остановись! Нас затянет в этот чумной кошмар! Мы не сможем вернуться назад! — кричу я из последних сил, но вопли младенца заглушают мой голос.

— Я не могу… — шелестит мой спутник. — Я все время это вижу… Видение никогда не прервется!

Тогда, взвизгнув, я поддаю коту ногой, и он отлетает в дальний угол, с грохотом опрокинув кувшин, так что молоко растекается по полу.

Смерть хозяйничает в каждом норвудском доме. Смерть царит в монастыре и окрестных полях. Я рыдаю и молю о прощении, молю отпустить меня на волю, ибо мне кажется, будто наступил Судный день, конец света.

Но когда ночь опустилась на мертвую деревню, юноша все еще был жив: он брел прочь, ковылял по склонам холмов, через лесную чащу, к мрачной башне, где высилась в стрельчатом окне костлявая фигура лорда, поджидающего свою добычу.

— Не ходи! — умоляла я юношу, я бежала рядом с ним, но он не

слышал меня.

Когда юноша рухнул на колени и стал молить лорда о спасении, тот лишь печально усмехнулся, ибо не спасение даст он в ответ юноше, но проклятие, и больше ему нечего дать.

— Да, пусть я буду проклят, но жив! — вскричал тогда юноша. — Лучше быть проклятым и дышать на земле, чем гнить под землей!

И тогда лорд распахнул ему свои объятия.

Вот он вновь запечатлевает поцелуй, но теперь это смертельный поцелуй, и лорд выпивает кровь из тела умирающего, а потом поднимает отяжелевшую голову, отрывает окровавленные губы от шеи юноши и дает ему испить своей крови, дабы вернуть тому жизнь.

— Нет, не пей! — воскликнула я.

Юноша обернулся — бледнее снега, и смертная тень лежала на его лице, лице живого трупа, — и спросил меня:

— А что бы ты сделала на моем месте, как бы поступила? Вернулась бы в Норвуд, стучалась в одну дверь за другой, везде находя лишь трупы? Или, быть может, поднялась на колокольню и зазвонила в колокол над мертвой церковью? И кто бы тебя услышал?

Он не стал ждать моего ответа, да и нечего было мне сказать. Он приник своими невинными губами к вене, что билась под холодной светящейся кожей лорда, и испил его крови, и тело его наполнилось силой. Новая кровь, точно огонь, выжгла лихорадку и болезнь, но вместе с ними выжгла и саму жизнь, ибо кровь эта была подобна яду.

И вот юноша стоит посреди зала один, лорда уж нет. Юноша обрел бессмертие, но вместе с бессмертием получил от лорда страшное наследство — вечную жажду, которую утолит лишь кровь; и теперь я ощущаю, как эта жажда точит меня саму.

А вместе с бессмертием он обрел и иное видение: теперь ему открылась суть всего сущего. Беззвучный голос вещал ему из-под звездного купола небес — на языке, которому не нужны слова; голос этот слышался в вое ветра, сотрясавшего черепицу, вздыхал в пылающем очаге, пожирая поленья. Голос этот был голосом Вечности, сердцебиением самой Вселенной, он пульсировал во всякой живой твари, отмеряя ее удел, даже в том деревенском младенце, который затих, когда пришел его черед.

Ветер нес мельчайшую пыль над распаханными пустыми полями. С черного неба сеялся на них бесконечный дождь.

Шли годы. Деревушка Норвуд давно исчезла, сровнялась с землей. Лес наслал на нее свое молчаливое жадное войско, и теперь могучие стволы вздымались там, где некогда дымили трубы домишек, где звонили

монастырские колокола. Но самое ужасное то, что ни одна живая душа больше не вспомнила о Норвуде, о тех несчастных, что мирно коротали свой век в деревушке, а потом в одночасье отправились на тот свет, скошенные Черной смертью. Норвуд не оставил следа на скрижалях истории и канул в забвение.

Норвуд сохранился в памяти лишь одного свидетеля, которого нельзя уже было назвать ни человеком, ни живой душой. Его зоркие глаза наблюдали, как с течением времени на руинах древнего замка выросло новое строение, Рэмплинг-гейт, как постепенно выросла вокруг него новая деревня, жители которой не ведали, что дома их стоят на чьих-то безвестных могилах.

А под Рэмплинг-гейтом и деревушкой лежали камни, оставшиеся от фундаментов древнего замка, монастыря и деревенской церкви.

Я очнулась, стряхнула с себя наваждение. Мы вновь очутились в башне.

— Это мое убежище, мое святилище, — прошептал вампир. — Единственное, что у меня есть. Ты любишь Рэмплинг-гейт так же, как и я, ты сама написала об этом. Любишь его сумрачное величие.

— Да… он всегда был таким.

Я отвечала ему, не шевеля губами, — он читал мои мысли, и по моему лицу катились слезы.

Теперь он вновь пристально смотрел на меня, и я всем сердцем ощущала его неутолимую жажду.

— Что еще ты хочешь от меня? — вскричала я. — Мне больше нечего тебе дать!

В ответ на меня обрушилась новая волна видений и образов, и я снова потонула в этом потоке, но теперь все было иначе: оглушенная шумом, ослепленная огнями, я чувствовала себя живой, как; никогда, — именно это же ощущение я испытывала, когда мчалась вместе с ним верхом по лесной чаще. Только сейчас мы погрузились не в прошлое, но в настоящее.

Быстрее ветра мы пронеслись над полями и лесами и очутились в Лондоне. Ночной город распустился вокруг нас огненным цветком, рассыпал мириады ослепительных огней, и вокруг зазвенели голоса и смех. И вот мы с моим спутником уже идем по лондонским улицам в свете газовых фонарей, но мне кажется — его лицо светится само по себе, от него исходит теплое сияние и в нем все та же юношеская невинность, а в темных глазах все та же вековечная печаль, только теперь смешанная с острым мальчишеским любопытством. Мы идем в толпе, не разлучаясь ни на миг, держась друг друга. А толпа — это огромное, дышащее, живое

существо, и, куда бы мы ни свернули, она везде, она окружает нас, и от нее исходит терпкий, душный запах — запах свежей крови. Дамы в белых мехах, господа в элегантных плащах исчезают за ярко освещенными дверями театров; как морской вал, набегает и откатывается музыка, что вырвалась из мюзик-холла, и только высокое, чистое сопрано долго еще несется нам вслед, выводя печальную мелодию.

Сама не зная как, я очутилась в объятиях моего спутника, губы его касаются моих губ, и меня вновь пронзает сладостное предвкушение, но теперь к нему примешивается другое неутоленное желание — жажда, такая острая, что я понимаю, каким блаженством будет наконец утолить ее. И вот мы вместе пробираемся по черным лестницам в богатые спальни, где стены затянуты алым дамаскином, где на роскошных постелях соблазнительно раскинулись прелестные женщины, и терпкий аромат свежей крови здесь так силен, что я более не в силах терпеть, и тогда мой спутник говорит мне:

— Пей! Они — твои жертвы! Они дадут тебе вечность. Ты должна испить крови.

И я чувствую соленую теплоту на губах, чувствую, как она проникает внутрь, насыщая и взбадривая меня, придавая мне сил, и перед глазами у меня алая пелена, а когда она спадает, мы с ним вновь мчимся по Лондону, нет, скорее над Лондоном, над крышами и башнями, и я вдруг постигаю, что мы невидимы и свободны, как ветер, — летим в высоте, а затем вновь низвергаемся на улицы вместе со струями дождя. Да, хлещет дождь, но он нам не страшен, и, когда дождь переходит в снег, мы не чувствуем холода, согретые особым теплом, что идет изнутри, что берет начало в венах наших жертв, — и это тепло чужой крови.

Вот мы катим по лондонским улицам в закрытом экипаже и шепчемся между собой, и шепот смешивается со смехом и поцелуями; мы любовники; мы вместе навсегда; мы бессмертны. Мы вечны, как Рэмплинг-гейт.

О, лишь бы это видение не кончалось, никогда не кончалось! Я таю в его объятиях, я не заметила, как мы вновь очутились в башне, но видения сделали свое дело, проникли в мои жилы сладким ядом.

— Понимаешь ли ты, что я предлагаю тебе? Твоим предкам я тоже открывал свою тайну, но их я порабощал, а тебя, Джули, я хочу сделать равной себе, ты будешь моей невестой. Я разделю с тобой все свое могущество. Будь моей. Я не пойду против твоей воли, не прибегну к насилию, но хватит ли у тебя духу отказать мне?

И вновь в ушах у меня зазвенел собственный крик — или то был стон? Мои руки ласкали его прохладную кожу, его нежные, но жадные губы

касались моих, и его глаза очутились совсем близко — о, этот взгляд, покорный и властный, юный и древний!

Но вдруг, заслоняя его, передо мной возникло гневное лицо отца, и я, как наяву, услышала его голос: «О ужас, о невыразимый ужас!» — точно и я теперь получила власть над видениями и могла по собственной воле вызывать духов.

Я закрыла лицо руками.

Он вновь отстранился. Его силуэт четко вырисовывался на фоне окна, за которым тянулась по небу летучая череда облаков. В его глазах плясали отблески свечей. Сколько печальной мудрости светилось в его взгляде — и в то же время какая невинность, да, я не устану повторять это вновь и вновь, какая детская невинность.

— Ты нежнейший, драгоценнейший цветок вашего рода, Джули, — промолвил он. — Я всегда защищал ваш род, покровительствовал ему, но тебе я предлагаю нечто большее, чем всем прочим, — свою вечную любовь. Приди ко мне, любимая, будь моей, и Рэмплинг-гейт подлинно станет твоим, и я наконец-то сделаюсь его хозяином в полном смысле слова.

Не один вечер ушел у меня на то, чтобы уломать Ричарда. О, как мы спорили! Дело едва не дошло до ссоры, и все же в конечном итоге брат согласился отписать Рэмплинг-гейт на меня, а уж я-то знала, как поступлю, добившись своего: наотрез откажусь сносить старый дом. Таким образом, Ричард уже не сможет исполнить отцовский завет, последнюю его волю, и выйдет невиновным, ибо получится, что я воздвигну перед ним непреодолимое препятствие, на законных основаниях помешаю уничтожить Рэмплинг-гейт. Разумеется, я клятвенно заверила брата, что завещаю дом его наследникам мужского пола. Дом навеки должен остаться достоянием нашего рода, рода Рэмплингов.

Ах, какая же я умница, как хитро все сообразила! Ведь мне-то отец не завещал снести дом, он возложил эту миссию на сына. Совесть моя чиста, и я больше не терзаюсь, вспоминая об отце и его предсмертных словах.

Брату оставалось лишь проводить меня на станцию, усадить в поезд и не тревожиться, что мне предстоит в полном одиночестве добраться до Лондона, а там — до нашего дома в Мэйфере.

— Живи здесь, сколько душа пожелает, а обо мне не беспокойся, — сказала я Ричарду на прощание, и сердце мое затопила невыразимая нежность к брату. — Ты ведь и сам понял, едва мы приехали, что отец заблуждался. Такую красоту нельзя уничтожать!

Огромный черный паровоз, пыхтя, подкатил к платформе. Мимо нас

проплыли и остановились пассажирские вагоны.

— Все, милый, мне пора. Поцелуй меня на прощание, — велела я.

— Но, сестричка, что на тебя нашло? Отчего ты уезжаешь так поспешно, куда торопиться? — недоумевал Ричард.

— Ах, оставь, пожалуйста, ведь все уже тысячу раз обговорено, — весело отмахнулась я. — Главное, что Рэмплинг-гейт теперь в безопасности, ему ничто не угрожает, и мы с тобой оба счастливы и довольны, и каждый получил что хотел.

Я уселась в вагон и махала брату из окошка, пока платформа не скрылась из виду. Вот уже затерялись в сиреневом вечернем тумане и станционные огни, а потом на горизонте на несколько мгновений возникла темная громада Рэмплинг-гейта — появилась на вершине холма и пропала, точно призрак.

Я отодвинулась от окна и закрыла глаза. Затем медленно подняла веки, растягивая минуту, которой так долго ждала.

Он улыбнулся — вот он, напротив меня, на кожаном сиденье, как будто все время здесь и был. Быстро, порывисто встав, он пересел ко мне и заключил меня в объятия.

— До Лондона пять часов пути, — нежно шепнул он.

— Я потерплю, — отозвалась я, сжигаемая лихорадочной жаждой, а его губы бродили по моему лицу, по моим волосам. — Милый, нынче вечером я хочу отправиться на охоту по лондонским улицам, — слегка смущенно призналась я, но во взоре его увидела лишь понимание и одобрение.

— Прелестная Джули, моя Джули… — шептал он.

— Наш мэйферский дом тебе непременно понравится, — пообещала я.

— О да, — откликнулся он, — уверен.

— А когда Ричарду наконец надоест сидеть в Рэмплинг-гейте, мы вернемся домой.

Фредерик Коулс

Фредерик Игнатиус Коулс (1900–1948) родился в Кембридже и получил образование в кембриджском Эмманьюел-колледже. Некоторое время он работал в библиотеке Тринити-колледжа, но в 1927 году перебрался в графство Ланкашир, где все последующие годы занимал должность заведующего библиотекой в поселке городского типа Суинтон-энд-Пендлбери. Он также редактировал издававшийся библиотекой «Бюллетень», для которого время от времени писал рассказы о привидениях.

Возможно, тот факт, что его бабка была цыганкой, объясняет его

пристрастие к путешествиям; он совершил множество поездок по Британским островам, которые описал в серии травелогов, проиллюстрированных его талантливой женой Дорис «Пыль веков: Путешествия в поисках древних святилищ Англии» (1933), «Под английскими небесами» (1933), «Магия Корнуолла» (1934), «Праздные скитания» (1948) и др. Среди его сочинений есть и детские книги — в частности, «Вомнебная карта» (1934) и написанная им специально для сына повесть «Майкл в Стране книг» (1936).

Когда разразилась Вторая мировая война, Коулс был произведен в капитаны. Болезнь не позволила ему вступить в ряды действующей армии, однако он много ездил с выступлениями перед войсками, что неуклонно подтачивало его здоровье. Он умер от тяжелого заболевания почек, успев опубликовать свою самую знаменитую книгу, озаглавленную «Это — Англия» (1946).

Рассказ «Вампир из Кальденштайна» был впервые опубликован в авторском сборнике «Вой ветра в ночи» (Лондон: Фредерик Маллер, 1938).

Вампир из Кальденштайна

I

В дни юности я проводил каникулы, путешествуя по отдаленным уголкам Европы. Я совершил несколько приятнейших поездок в Италию, Испанию, Норвегию и Южную Францию, и все же из всех стран, какие мне довелось посетить, моя самая любимая — Германия. Она идеально подходит для любителей отдыха под открытым небом, чей багаж невелик, а вкусы непритязательны, ибо люди в Германии приветливы, а гостиницы удобны и дешевы. Я не раз отдыхал в Германии, но одно из таких путешествий навсегда осталось в моей памяти из-за очень странного приключения.

Это случилось летом 1933 года. В тот год я решил отправиться в круиз на Канарские острова вместе с Дональдом Янгом, но тот умудрился подхватить какую-то детскую болезнь — кажется, корь, — и готовиться к отъезду мне пришлось одному. Надо сказать, что такая перспектива меня не вдохновляла. Я не слишком-то общителен, а круизы это, как правило, бесконечная череда вечеринок с танцами, коктейлей и партий в бридж. Я испугался, что буду чувствовать себя там как рыба, вытащенная из воды, и решил отказаться от Канар. Вместо этого я разложил перед собой карту Германии и принялся разрабатывать план пешего похода.

Половина удовольствия от путешествия заключается в прокладывании маршрута. Решая, в какую часть Германии лучше отправиться, я перебрал десяток вариантов. Сначала я хотел посетить долину Мозель, затем Лан.

Были в моем списке и Шварцвальд, и горы Гарц, после чего я начал подумывать о новом путешествии в Саксонию. В конце концов я остановился на Южной Баварии, поскольку еще ни разу там не был, а изучать новые земли всегда интереснее.

Два дня поездки в вагоне третьего класса — тяжелое испытание даже для такого закаленного путешественника, как я. В Мюнхен я прибыл, чувствуя себя больным и слабым. К счастью, я наткнулся на гостиницу «Золотое яблоко», расположенную у магазина «Хофгартен», где Петер Шмидт торгует хорошим вином и продуктами, а также располагает несколькими свободными комнатами, которые сдает друзьям. Петер, проживший десять лет в Канаде, прекрасно говорит по-английски. Увидев меня, он сразу понял, как я себя чувствую. Он поселил меня в прекрасной комнате, попросив одну марку за ночь, принес горячий кофе и булочки и посоветовал немедленно лечь в постель, чтобы как следует отдохнуть. Я последовал его совету и проспал беспробудным сном двенадцать часов кряду, после чего проснулся свежий как огурчик. Жареная свинина и два больших стакана пива окончательно поставили меня на ноги, и я отправился прогуляться по Мюнхену.

Мюнхен — четвертый по величине город Германии, где туристу есть что посмотреть. День прошел прекрасно, но я успел изучить лишь Фрауэнкирхе с ее прекрасными витражами, старинный Ратхаус и построенную в четырнадцатом веке церковь Святого Петра на Мариенплац. Заглянув в «Регина-палас», я посмотрел, как танцуют «чайный» или «полдничный» танец, затем вернулся в «Золотое яблоко» на обед. После чего сходил в Национальный театр, где давали «Майстерзингеров». Было уже за полночь, когда я наконец отправился спать, поэтому я решил задержаться в Мюнхене еще на день.

Не стану утомлять вас описанием всего, что я видел и делал в тот день. Я снова бродил по городу, осматривал достопримечательности, и ничего необычного со мной не приключилось.

После обеда Петер помог мне спланировать маршрут; он оказался настоящим знатоком Баварии и снабдил меня списком хороших гостиниц, оказав поистине неоценимую помощь. Именно Петер предложил мне доехать на поезде до Розенхайма, а оттуда отправляться в пеший поход. Мы нанесли маршрут на карту — вышло примерно двести миль. Вернуться в Мюнхен я должен был через пятнадцать дней.

Короче говоря, рано утром я сел на поезд до Розенхайма. До чего же медленно тащился этот поезд! Чтобы проехать сорок шесть миль, ему потребовалось почти три часа. Розенхайм оказался милым современным

городком с двумя достопримечательностями — церковью пятнадцатого века и Музеем баварской живописи, расположенным в старой часовне.

Не задерживаясь там, я отправился в путь в сторону Траунштайна, по отличной и весьма живописной дороге вдоль берега Химзее — самого крупного озера Баварии.

Переночевав в Траунштайне, я на следующий день пришел в старинный, обнесенный крепостными стенами городок Мюльдорф. Оттуда я намеревался через Пфарркирхен добраться до Фильсхофена. Однако пропустил нужный поворот и в результате оказался в местечке под названием Гангкофен. Хозяин местной гостиницы, стараясь мне услужить, направил меня по проселочной дороге через поля, сказав, что она выведет меня к Пфарркирхену. Очевидно, я неправильно его понял, поскольку наступил вечер, а я все еще блуждал среди пологих холмов, не обозначенных на моей карте. Спускалась ночь, когда я вышел к маленькой деревушке у подножия высокой скалы, на вершине которой высился серый каменный замок.

К счастью, в деревушке была гостиница — очень скромная, но удобная. Ее хозяин оказался человеком неглупым и доброжелательным; правда, по его словам, в их края редко наведывались путешественники. Называлась деревушка Кальденштайн.

Мне подали ужин — козий сыр, салат, черный хлеб и бутылку легкого красного вина. Отдав дань угощению, я решил немного прогуляться.

Взошла луна, и замок, четко вырисовывавшийся на фоне безоблачного неба, напоминал вомнебный замок из сказки. Он был небольшой — квадратный, с четырьмя башнями, однако это была самая романтическая крепость из всех, что мне приходилось видеть. В одном из его окон мерцал свет. Значит, в замке кто-то жил. Туда вела крутая тропа с каменными ступеньками, и я задумался, не нанести ли краткий визит его владельцу, но вместо этого вернулся в гостиницу и присоединился к компании мужчин, сидевших за столом с кружками пива.

Там собрались местные работяги, и, хотя все они держали себя очень вежливо, в них не было радушия и приветливости, присущих жителям немецких деревень. Это были мрачные, неразговорчивые люди, а у меня даже появилось подозрение, что они скрывают какую-то страшную тайну. Я изо всех сил пытался их разговорить, но напрасно. Тогда я переменил тактику и спросил:

— Скажите, друзья, кто живет в замке на холме?

Этот невинный вопрос подействовал на них потрясающе. Мужчины, державшие в руках кружки с пивом, мгновенно поставили их на стол и в

ужасе уставились на меня. Некоторые перекрестились, а один старик хрипло прошептал мне:

— Тише! Бог не желает это слышать.

По-видимому, мой вопрос совсем испортил им настроение, и минут через десять один за другим они начали уходить. Я извинился перед хозяином за свой неблагоразумный поступок и выразил надежду, что мое присутствие не разорит его гостиницу.

Отмахнувшись от извинений, он сказал, что та компания все равно не осталась бы надолго.

— Они слышать не могут о замке, — сказал он, — и считают дурным знаком даже смотреть на него по ночам.

— Но почему? — поинтересовался я. — Кто там живет?

— Там живет граф Людвиг фон Кальденштайн.

— И давно он там живет? — спросил я.

Прежде чем ответить, хозяин осторожно прикрыл дверь и запер ее на засов. Затем подошел ко мне и прошептал:

— Почти триста лет.

— Что за чепуха! — смеясь, воскликнул я. — Как может человек, неважно, граф или крестьянин, прожить триста лет? Вероятно, вы хотите сказать, что его предки жили в том замке на протяжении трехсот лет?

— Я говорю то, что хочу сказать, молодой человек, — серьезно ответил хозяин гостиницы. — Предки графа владели замком на протяжении десяти веков, а сам граф поселился в крепости почти триста лет назад.

— Но разве такое возможно?

— Он вампир. Где-то в недрах скалы, на которой стоит замок, имеются огромные подземелья. В одном из них граф и спит днем, подальше от солнечного света. Выходит лишь по ночам.

Это было уже слишком. Боюсь, я не смог сдержать улыбку, однако понял, что бедный хозяин говорит вполне серьезно, и решил удержаться от дальнейших замечаний, чтобы не ранить его чувства. Я допил пиво и встал, чтобы идти спать. Когда я поднимался по лестнице, хозяин окликнул меня и, схватив за руку, сказал:

— Пожалуйста, сэр, умоляю вас, не открывайте ночью окно. Ночной воздух Кальденштайна вреден для здоровья.

Придя в свою комнату, я обнаружил, что все окна плотно закрыты, несмотря на ужасную духоту. Разумеется, я тут же их распахнул и высунулся наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Окна выходили прямо на замок — в ясном свете луны он выглядел как вомнебный дворец из сказочной страны.

Я уже собрался отойти от окна, как вдруг на вершине одной из башен заметил черную фигуру, четко вырисовывающуюся на фоне неба. Внезапно фигура распростерла огромные крылья и взлетела в воздух. Для орла это существо было великовато, однако лунный свет частенько искажает формы и размеры. Я смотрел, как существо улетало все дальше, пока не превратилось в крохотную точку. И вдруг вдали завыла собака, тоскливо и протяжно.

Через несколько минут я уже лег в постель; несмотря на предостережения хозяина, окна я оставил открытыми. Достав из рюкзака маленький карманный фонарик, я положил его на ночной столик, над которым висело деревянное распятие.

Обычно я засыпаю, едва коснувшись головой подушки, однако в ту ночь мне не спалось. Мне мешал лунный свет, и я все время ворочался, безуспешно пытаясь устроиться поудобнее. Я пробовал считать овец, но вскоре меня уже тошнило от вида глупых животных, пролезающих в дыру в изгороди, а сон упорно не шел.

Часы в доме пробили полночь. Внезапно у меня появилось странное ощущение — мне показалось, что я в комнате не один. На мгновение я сжался от страха, затем осторожно повернулся. У окна, чернея на фоне яркой луны, стоял высокий мужчина. Я подскочил на постели и потянулся за фонариком. Из-за моего неловкого движения со стены что-то упало. Это было маленькое деревянное распятие; я наткнулся на него, когда шарил на ночном столике, пытаясь дотянуться до фонаря. Со стороны окна послышалось глухое проклятие, человек легко взлетел на подоконник и растворился во тьме. Все произошло за одно мгновение, но я успел заметить — он не отбрасывал тени. Лунный свет проходил сквозь него.

Прошло не менее получаса, прежде чем я отважился выбраться из постели и закрыть окна. После этого я снова лег и крепко спал, до того момента, когда служанка разбудила меня и сказала, что уже восемь часов утра.

При свете дня события прошлой ночи уже представлялись мне до смешного нелепыми, и я решил, что стал жертвой ночного кошмара. На вежливый вопрос хозяина я ответил, что ночь провел прекрасно. Впрочем, боюсь, мой вид говорил совершенно противоположное.

II

После завтрака я отправился осматривать деревню. Она показалась мне гораздо больше, чем в предыдущий вечер, — очевидно, потому, что несколько домиков стояли в долине, возле дороги. В деревне была даже своя церковь — романского стиля, отчаянно нуждавшаяся в ремонте. Я

вошел в церковь и стал рассматривать пышно украшенный резьбой высокий алтарь, когда через боковую дверь в зал вошел священник. Это был худощавый человек, по виду аскет; он приветливо поздоровался со мной. Я ответил на приветствие и сообщил, что приехал из Англии. Извинившись за убогий вид церкви, священник обратил мое внимание на несколько витражей пятнадцатого века, резную купель примерно того же периода и прекрасную статую Мадонны.

Немного позже, уже стоя на пороге перед уходом, я бросил взгляд в сторону замка и спросил:

— Скажите, святой отец, владелец замка Кальденштайн так же любезен, как и вы?

— Владелец замка Кальденштайн? — дрожащим голосом воскликнул священник. — Неужели вы хотите нанести ему визит?

— Вот именно, — ответил я. — Его замок кажется мне очень интересным, и мне было бы жаль покинуть вашу деревню, не осмотрев его.

— Умоляю вас, не ходите в это проклятое место, — жалобно сказал священник. — В замке Кальденштайн не любят незнакомцев. Кроме того, — добавил он, понизив голос, — там совершенно не на что смотреть.

— А как же подземелья и человек, который прожил триста лет? — со смехом спросил я.

Священник заметно побледнел.

— Значит, вы уже слышали о вампире, — сказал он. — Не смейтесь над силами зла, сын мой. Да спасет нас Бог от живых мертвецов. — И он перекрестился.

— Но неужели, — воскликнул я, — вы верите в эту средневековую чушь?

— Каждый человек верит в то, что считает правдой. Мы, жители Кальденштайна, прекрасно знаем, что с тысяча шестьсот сорок пятого года в замке ни разу никого не хоронили. В тот год умер граф Феодор, и замок перешел к его кузену Людвигу из Венгрии.

— Абсурд какой-то, — заметил я. — Нет, этому должно быть разумное объяснение. Ну не может человек, поселившийся в замке в тысяча шестьсот сорок пятом году, жить до сих пор!

— Тот, кто служит дьяволу, способен на многое, — ответил священник. — Во все времена шла жестокая борьба между добром и злом, и зло часто одерживало победу. Замок Кальденштайн — обитель ужасного, противоестественного зла, и я прошу, умоляю вас держаться от него как можно дальше.

Затем он любезно со мной попрощался, благословил и вернулся в

церковь.

Должен признаться, слова священника подействовали на меня, и я вновь вспомнил свой страшный сон. Сон ли? Может быть, ко мне в комнату действительно залетал вампир, чтобы сделать своей жертвой, и спасло меня лишь маленькое деревянное распятие? Эти мысли не выходили у меня из головы, из-за чего я перестал думать о том, как добиться приглашения в замок. Но затем я взглянул на озаренные солнцем древние серые стены и рассмеялся над собственными страхами. Довольно! Больше меня не испугает ни одно средневековое чудище. Похоже, священник так же суеверен, как его невежественные прихожане.

Насвистывая песенку, я прошел по деревенской улице и вскоре уже поднимался по узкой тропинке к замку. Когда подъем стал круче, тропинка сменилась ступеньками, которые вывели меня на небольшую площадку перед входом в замок. Вокруг не было ни души. Над дверью висел тяжелый надтреснутый колокол. Я дернул за ржавую цепь; раздался глухой металлический звон, вспугнувший стаю грачей, с громким карканьем закружившихся над одной из башен. Из-за двери не доносилось ни звука. Я позвонил еще раз. На этот раз, едва затих звук колокола, послышался лязг запоров. Тяжелая дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился старик. Он моргал от яркого света.

— Кто пожаловал в замок Кальденштайн? — скрипучим голосом спросил старик, и я понял, что он почти слеп.

— Я приехал из Англии, — ответил я, — и хотел бы повидать графа.

— Его светлость не принимает, — последовал ответ, и старик собрался захлопнуть дверь.

— Но замок я могу осмотреть? — торопливо спросил я. — Я интересуюсь средневековыми крепостями, и мне не хотелось бы покинуть Кальденштайн, не увидев столь замечательного здания.

Бросив на меня быстрый взгляд, слуга нерешительно сказал:

— У нас нет ничего интересного, господин. Боюсь, вы зря потратите время.

— Хотя бы краткий осмотр! — продолжал настаивать я. — Уверен, граф возражать не станет. Обещаю, что не стану никому докучать и уж тем более не нарушу покой его светлости.

— Который сейчас час? — спросил старик.

Я ответил, что почти одиннадцать. Он буркнул что-то вроде «ну ладно, пока на небе солнце, не страшно» и кивком разрешил мне войти. Я очутился в пустынном зале, увешанном ветхими гобеленами; пахло сыростью и гнилью. В дальнем конце находилось возвышение под

балдахином, над которым висел герб.

— Это главный зал замка, — буркнул мой гид. — Он был свидетелем многих великих исторических событий в те дни, когда здесь правили великие князья Кальденштайнские. В этом зале Фредерик, шестой граф, выколол глаза двенадцати итальянским заложникам, а затем сбросил их со скалы. Говорят, что граф Август отравил здесь принца Вюртембергского, после чего устроил пир, усадив покойника за стол.

Старик поведал мне множество других, не менее жутких историй. Вскоре мне стало ясно, что графы Кальденштайнские пользовались весьма дурной славой. Из главного зала старик провел меня через анфиладу комнат, заполненных гниющей мебелью. Сам он жил в северной башне, но следов его хозяина я не обнаружил, хотя старик показал мне практически весь замок. Он смело открывал любые двери, очевидно тем самым давая понять, что в замке никого нет, кроме него.

— А где же покои графа? — спросил я, когда мы вернулись в главный зал.

Старик на мгновение смутился, затем ответил:

— У нас есть другие помещения на нижних этажах. Его светлость использует их в качестве спальни. Видите ли, когда он спит, ему никто не должен мешать.

Я подумал: в этом замке никто тебе не может помешать, какую комнату ни выбери, так зачем искать тишины где-то под землей?

— Разве у вас нет собственной часовни? — спросил я.

— Часовня тоже находится в подземном помещении.

Я сказал, что чрезвычайно интересуюсь часовнями и очень хотел бы увидеть образец подземного святилища. Старик принялся отнекиваться и извиняться, но потом уступил моим просьбам и согласился показать подземелье. Взяв с полки старинный светильник, он вставил в него зажженную свечу и, приподняв полог одного из гобеленов, открыл потайную дверь. В нос ударил тошнотворный запах сырости и тлена. Бормоча себе под нос, старик повел меня вниз по каменной лестнице, затем по длинному коридору, вырубленному в скале. В конце коридора я увидел дверь, ведущую в огромную пещеру, оборудованную под церковь. Пахло здесь, как в покойницкой, а слабый свет нашего фонаря лишь усиливал и без того гнетущий мрак. Слуга подвел меня к алтарю и, подняв светильник повыше, показал висевшую над ним отвратительную картину: Лазарь, восстающий из мертвых. Подойдя поближе, чтобы лучше рассмотреть картину, я заметил еще одну дверь.

— А там что?

— Говорите тише, сэр, — умоляюще сказал слуга. — Там склеп, где покоятся останки правителей Кальденштайна.

Внезапно я услышал за дверью какие-то звуки — вздох, потом шорох, будто кто-то ворочался во сне.

Думаю, старый слуга также это услышал, потому что он затрясся, схватил меня за руку и потащил из часовни. Я шел за слабым огоньком его фонаря, а когда мы вновь оказались в зале, от радости громко засмеялся. Бросив на меня быстрый взгляд, слуга сказал:

— Вот и все, сэр. Больше в замке ничего нет.

Я хотел сунуть ему монету в пять марок, но он отказался ее взять.

— Деньги мне не нужны, — прошептал он. — Мне не на что их тратить, я живу с мертвецами. Отдайте их деревенскому священнику, пусть отслужит по мне мессу.

Я обещал, выполнить его просьбу, а потом в приступе безумной бравады спросил:

— А когда граф принимает посетителей?

— Господин никогда никого не принимает, — последовал ответ.

— Но ведь он появляется наверху? Не сидит же вечно в своем подземелье! — не унимался я.

— Обычно с наступлением ночи он проводит в главном зале около часа, а иногда прогуливается вдоль башенных стен.

— В таком случае сегодня ночью я его навещу, — заявил я. — Я непременно должен выразить свое почтение его сиятельству.

Старик отпирал входную дверь. Взглянув мне в лицо мутными глазами, он сказал:

— Никогда не приближайтесь к замку Кальденштайн после захода солнца, чтобы в вашем сердце не поселился страх.

— Слушайте, перестаньте меня запугивать! — грубо ответил я и, повысив голос, громко произнес: — Сегодня я нанесу визит графу фон Кальденштайну.

Слуга распахнул входную дверь, и в сумрачный зал ворвался яркий солнечный свет.

— В таком случае граф будет вас ждать, — ответил он. — И помните: вы сами решили прийти сюда, исключительно по доброй воле.

III

С наступлением вечера моя смелость несколько поубавилась, и я уже жалел, что не последовал совету священника и не уехал из Кальденштайна. Но я от природы упрям, и, поскольку дал обещание навестить графа, ничто не могло меня остановить. Дождавшись темноты, я, ни слова не сказав

хозяину гостиницы, вышел на улицу и двинулся вверх по склону холма. Луна еще не поднялась, я освещал дорогу фонариком. Как только я позвонил в треснутый колокол, дверь распахнулась. Передо мной, склонившись в поклоне, стоял старый слуга.

— Его сиятельство ждет вас, — сказал он. — Добро пожаловать в замок Кальденштайн — входите по собственной воле.

На секунду я замер в нерешительности. Что-то подсказывало мне: нужно немедленно покинуть замок, пока не поздно. Однако я собрал все свое мужество и переступил порог.

В огромном камине пылал огонь, и сумрачный зал уже не казался таким мрачным. В серебряных канделябрах горели свечи; за столом на возвышении сидел какой-то человек. Увидев меня, он встал и пошел мне навстречу.

Как описать графа Кальденштайна? Очень высокий, с неестественно бледным лицом. Иссиня-черные волосы, изящные руки, длинные пальцы с острыми и длинными ногтями. Но самым примечательным были его глаза. Казалось, они сверкали красным огнем, словно зрачки были окружены горящими ободками. Тем не менее граф держался в высшей степени вежливо.

— Добро пожаловать в мое скромное жилище, — сказал он, отвесив мне низкий поклон. — Простите, что не могу принять вас более радушно, но мы живем бедно и редко встречаем гостей. Я польщен, что вы нашли время заглянуть ко мне.

Я забормотал слова благодарности, и граф предложил мне место за длинным столом, на котором стояли графин и один бокал.

— Хотите вина? — спросил он и наполнил бокал до краев.

Вино было старым, редкой марки, но мне было неловко пить в одиночку.

— Простите, что не могу составить вам компанию, — сказал он, заметив мое смущение. — Я не пью вина.

Он улыбнулся, и я увидел, какие у него острые и длинные зубы.

— Расскажите, — сказал граф, — что вы делаете в этой части мира? Кальденштайн расположен в уединенной местности, к нам редко кто заезжает.

Я объяснил, что путешествую пешком и сбился с пути, направляясь в Пфарркирхен. Граф тихо рассмеялся, и я вновь увидел его острые, как клыки, зубы.

— Значит, вы по доброй воле приехали в Кальденштайн и решили меня навестить.

Эти постоянные упоминания о доброй воле начали меня настораживать. Граф произносил их, словно какую-то формулу. Слуга повторял эти слова о собственной воле, а теперь и хозяин.

— Но как же иначе мог я прийти? — довольно резко спросил я.

— В дни нашего печального прошлого некоторых гостей в этот замок притаскивали силой. Теперь мы принимаем только тех, кто приходит по доброй воле.

Все это время меня не покидало какое-то странное чувство: мне казалось, что из меня уходят жизненные силы, сильно закружилась голова. Граф продолжал болтать о разных пустяках, но его голос доносился откуда-то издалека. При этом он не сводил с меня горящих глаз. Они становились все больше и больше, и мне уже казалось, что я смотрю в два бездонных огненных колодца. И тут, сделав неловкое движение, я уронил бокал с вином. Хрупкое стекло со звоном разлетелось на тысячу осколков, и от этого звука я пришел в себя. Один из осколков поранил мне руку, на столе образовалась крошечная лужица крови. Я полез за носовым платком, но тут тишину зала прорезал жуткий вой — он сорвался с губ графа. Хозяин склонился над столом и принялся жадно вылизывать кровь. Никогда я не видел ничего более отвратительного. Вскочив на ноги, я решительно направился к двери.

Однако от ужаса у меня подкашивались ноги, и граф быстро меня догнал. Схватил меня своими тонкими белыми руками, подвел обратно к стулу и заставил сесть.

— Мой дорогой господин, — сказал он, — умоляю, простите мою выходку. Видите ли, это у нас семейное — не можем спокойно видеть кровь. Считайте это идиосинкразией, но из-за нее мы и в самом деле порой ведем себя как дикие звери. Мне очень жаль, что я забылся до такой степени, да еще в присутствии гостя. Уверяю вас, я изо всех сил пытаюсь преодолеть этот недуг, но пока вынужден отказываться от визитов.

Его объяснения казались правдоподобными, и все же меня не покидало чувство тоски и страха — особенно после того, как на губе графа я заметил каплю крови.

— Боюсь, я задерживаю вашу светлость, ведь уже поздно, — сказал я. — Во всяком случае, мне пора возвращаться в гостиницу.

— Ах, нет, мой друг, — ответил он. — Ночные часы — мое любимое время, и я буду вам бесконечно благодарен, если вы останетесь до утра. В замке так одиноко, а ваш визит внес в мою жизнь приятное разнообразие. В южной башне для вас приготовлена комната, а завтра, возможно, вас придут поприветствовать и другие гости.

Мое сердце сжалось от смертельного ужаса. Я пошатнулся и, запинаясь, забормотал:

— Позвольте мне уйти… Позвольте мне уйти. Мне непременно нужно вернуться в деревню.

— Но вы не можете вернуться. Смотрите, надвигается буря, спускаться по тропинке небезопасно.

С этими словами граф распахнул окно и показал рукой на небо. Словно повинуясь его жесту, среди облаков ослепительно вспыхнула молния, и замок содрогнулся от мощного раската грома. Затем хлынул дождь, в горах завыл ледяной ветер. Граф закрыл окно и вернулся за стол.

— Видите, мой друг, — с тихим смехом сказал он, — божества стихий тоже не хотят, чтобы вы уходили. Придется вам довольствоваться нашим скромным гостеприимством — по крайней мере, на эту ночь.

Он остановил на мне взгляд своих горящих красных глаз, и я вновь почувствовал, как меня покидают силы. Голос графа понизился до шепота, звучавшего откуда-то издалека.

— Следуйте за мной, я покажу вам вашу комнату. Сегодня вы мой гость.

Он взял со стола свечу, и я, словно загипнотизированный, пошел за ним вверх по винтовой лестнице и по пустынному коридору. Вскоре мы оказались в уютной на вид комнате, где стояла старинная кровать под балдахином.

— Спокойной ночи, — недобро усмехнувшись, сказал граф. — Завтра ночью у вас будет другая компания.

Тяжелая дверь захлопнулась, и я услышал, как лязгнул запор. Собрав последние силы, я бросился к двери и попытался ее открыть. Она была заперта — я стал пленником. Сквозь замочную скважину послышался ласковый голос графа:

— Да, завтра у вас будет другая компания. Хозяева Кальденштайна с удовольствием примут вас в доме своих предков.

Раздался насмешливый хохот, а я без чувств повалился на пол.

IV

Должно быть, я все-таки пришел в себя и дотащился до кроватки, поскольку утром, очнувшись, я увидел солнечный свет, струившийся в комнату сквозь решетку на окне. Я взглянул на часы. Было половина четвертого — значит, я проспал большую часть дня.

Все еще чувствуя себя разбитым, я добрел до окна. Внизу виднелись острые вершины скал и ни одного домика. Со стоном я вернулся к кровати и попытался прочесть молитву. Затем молча смотрел, как солнечные блики

на полу становятся все бледнее, пока они не исчезли совсем. Комната погрузилась в сумрак, лишь слабо белело окно.

С наступлением темноты я и вовсе пал духом, лежал на постели и обливался холодным липким потом. Но вот в коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и появился граф со свечой в руке.

— Простите, что поступил с вами таким неподобающим образом, — сказал он, — однако в силу обстоятельств я вынужден проводить дневные часы в другом месте. Зато теперь я предложу вам кое-какое развлечение.

Я попытался встать, но ноги меня не слушались. Злобно рассмеявшись, граф взял меня за руку и одним рывком, как ребенка, поставил на ноги. Затем повел по коридору и лестнице и ввел в главный зал.

На столе горели только три свечи, и, когда граф швырнул меня на стул, я почти ничего не видел. Скоро глаза привыкли к темноте, и я разглядел, что за столом сидят еще двое. На их лицах играли слабые отблески огня; взглянув на них, я чуть не завизжал от страха. На меня смотрели призрачные лица живых мертвецов, насаженные злобой, со сверкающими адским пламенем глазами — и такой же свет полыхал в глазах графа.

— Позвольте представить вам моего дядю и кузена, сказал мой тюремщик. — Август и Феодор фон Кальденштайны.

— Но, — еле выговорил я, — мне говорили, что граф Феодор умер в тысяча шестьсот сорок пятом году.

Чудовища расхохотались, словно я остроумно пошутил. Затем Август наклонился над столом и ущипнул меня за руку.

— Сколько прекрасной крови, — со смехом сказал он. — Давно мы ждали хорошего праздника, Людвиг, и ждали не зря.

После этих слов я, должно быть, упал в обморок. Придя в себя, я обнаружил, что лежу на столе, а мертвецы склонились надо мной, переговариваясь свистящим шепотом.

— Я буду первым и начну с горла, — сказал граф. — Горло всегда было моей привилегией.

— Нет, горло мое! — возразил Август. — Я самый старший, к тому же давно не ел. Впрочем, согласен и на грудь.

— А мне отдайте ноги, — прохрипел третий монстр. — В ногах всегда полно отличной красной крови.

Их рты были оскалены, как у зверей, и я видел, как в свете свечей поблескивают белые клыки. Внезапно тишину ночи нарушил какой-то лязг. Это зазвонил старый колокол у входной двери. Чудовища отпрянули от стола и сгрудились на возвышении, о чем-то тихо переговариваясь. Колокол

зазвонил вновь, на этот раз более настойчиво.

— Против этого мы бессильны! — воскликнул граф. — Возвращайтесь к себе.

Его компаньоны тут же исчезли за маленькой дверью, ведущей в подземную часовню, а сам граф Кальденштайн остался стоять посреди зала. Не слезая со стола, я медленно принял сидячее положение и прислушался. Из-за двери доносился чей-то звучный голос.

— Во имя Господа, откройте! — прогремел он. — Во имя святого причастия приказываю вам открыть!

Словно под действием некоей непреодолимой силы граф подошел к двери и откинул запоры. Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий священник, державший в руках какую-то серебряную коробку, похожую на часы. Рядом с ним стоял хозяин гостиницы, и я видел ужас на его лице. Мужчины решительно шагнули в зал, и граф попятился, пропуская их.

— Уже трижды за десять лет именем Господа я срывал твои замыслы! — воскликнул священник. — Трижды в этом доме греха побывало святое причастие. Берегись, проклятая тварь. Возвращайся в свою грязную могилу, порождение Сатаны! Прочь, я приказываю тебе!

С жалобным и пронзительным криком граф скрылся за маленькой дверью, а священник помог мне слезть со стола. Хозяин гостиницы достал флягу и влил мне в рот немного бренди, после чего я попытался встать.

— Глупый мальчишка, — сказал священник, — Вы не послушались меня, и вот, смотрите, что получилось.

Священник и хозяин гостиницы помогли мне выйти из замка и спуститься вниз по склону холма, но перед гостиницей я потерял сознание. Смутно помню, как меня укладывали в постель. Очнулся я только утром.

Священник и хозяин ждали меня внизу, и мы все вместе сели завтракать.

— Что все это означает, святой отец? — спросил я, когда принесли еду.

— То, что я вам и говорил, — последовал ответ. — Граф Кальденштайн — вампир; видимость жизни в своем давно мертвом теле он поддерживает, высасывая человеческую кровь. Восемь лет назад один бесшабашный юноша вроде вас тоже решил посетить замок. Когда в положенное время он не вернулся, мне пришлось вытаскивать его из лап чудовища. Только имея при себе Тело Господне, я смог войти в замок — и очень вовремя. Затем, два года спустя, некая женщина, заявлявшая, что не верит ни в Бога, ни в дьявола, вознамерилась познакомиться с графом. И вновь мне пришлось принести в замок святое причастие и с его помощью

побороть силы Сатаны. Два дня назад я видел, как вы идете по тропе к замку, после чего с радостью узнал, что вы вернулись. Но вчера утром ко мне прибежал Генрих и сообщил, что вы исчезли, что ваша постель осталась нетронутой и вас, по его мнению, утащил граф. Мы прождали до ночи, после чего отправились в замок. Остальное вы знаете.

— Как мне благодарить вас за спасение от жутких тварей? — сказал я.

— Тварей? — удивленно переспросил священник. — Разве граф в замке не один? Там есть слуга, но он кровью не питается.

— Нет, слугу я не видел. В замке обитают еще два вампира, Август и Феодор.

— Август и Феодор, — задумчиво повторил священник, — Значит, положение гораздо хуже, чем мы предполагали. Август умер в тысяча пятьсот семьдесят втором, а Феодор — в тысяча шестьсот сорок пятом. Оба были великими грешниками, однако я не думал, что они стали живыми мертвецами.

— Святой отец, — дрожащим голосом сказал хозяин гостиницы. — Нам угрожает опасность. Может, стоит обратиться за помощью к правительству, чтобы именем закона они избавили нас от вампиров?

— Правительство поднимет нас на смех, — последовал ответ. — Мы вынуждены вершить закон сами.

— Но как? — спросил я.

— Скажите, хватит ли у вас смелости вновь выдержать тяжкое испытание и стать свидетелем страшного зрелища?

Я заверил его, что готов на все, ибо я обязан ему жизнью.

— Тогда, — сказал священник, — я кое-что возьму в церкви, и мы вернемся в замок. Вы пойдете с нами, Генрих?

Хозяин гостиницы на мгновение задумался, однако было видно, что он полностью доверяет священнику. Он ответил:

— Конечно, я пойду с вами, святой отец.

Время подходило к полудню, когда мы отправились выполнять нашу тайную миссию. Дверь замка была широко распахнута — как мы и оставили ее прошлой ночью; главный зал был пуст. Мы быстро разыскали потайную дверь за гобеленом, и священник, освещая путь мощным электрическим фонарем, повел нас вниз по влажным ступеням. Перед входом в часовню он остановился и достал из складок одежды три распятия и бутыль со святой водой. Протянув нам распятия, он окропил вход; мы толкнули дверь и вошли в пещеру.

Бросив беглый взгляд на алтарь и ужасную картину над ним, священник сразу направился к входу в склеп. Дверь была заперта, но

священник выбил ее одним сильным ударом плеча. В нос нам пахнуло таким зловонием, что мы попятились. Священник высоко поднял распятие и, возглашая: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» — повел нас за собой. Не знаю, что я ожидал увидеть, но, когда склеп озарился светом, я вскрикнул от ужаса. В самом центре, на деревянном помосте, спал граф Кальденштайн. Его красные губы слегка улыбались, злые глаза были приоткрыты.

Вдоль стен тянулись ниши с гробами. Священник принялся осматривать их по очереди. Затем велел нам поднять два гроба и поставить на пол. Я заметил, что на одном из них значилось имя Августа фон Кальденштайна, на другом — имя Феодора. Потребовалось много усилий, чтобы сдвинуть с места и снять тяжелые гробы, и все же нам это удалось. Казалось, граф внимательно наблюдает за нами, хотя он ни разу не шевельнулся.

— А теперь, — прошептал священник, — самое страшное.

Достав отвертку, он стал отвинчивать крышку первого гроба. Когда все было готово, он велел нам поднять ее. В гробу лежал граф Август; выглядел он точно так же, как прошлой ночью. Его красные глаза были широко раскрыты и злобно сверкали; от тела исходил сильный запах тления. Священник взялся за второй гроб, и вскоре перед нами предстало тело графа Феодора. Спутанные волосы падали на его бледное лицо.

Затем началась очень странная церемония. Забрав у нас распятия, священник положил их на грудь каждому из двух графов, открыл требник и начал читать молитвы на латыни. Закончив молиться, он сделал шаг назад и брызнул на гробы святой водой. Как только капли попали на тела вампиров, те начали извиваться и корчиться, словно объятые пламенем, а затем рассыпались в прах у нас на глазах. Мы в молчании закрыли гробы крышками и водрузили обратно в ниши.

— Все, — сказал священник. — Далее мы бессильны. Людвиг фон Кальденштайн — могущественный колдун. Ему удалось победить смерть — во всяком случае, на время, — и с ним нельзя покончить так, как мы покончили с двумя его родичами. Нам остается только молиться, чтобы Господь не дал разгуляться в полную силу этому порождению зла.

После этих слов священник положил на грудь графу распятие и, окропив тело святой водой, прочитал молитву на латыни. Затем мы покинули подземелье; когда за нами закрылась дверь, в склепе раздался тихий звон, словно о пол ударилось что-то металлическое. Должно быть, это распятие упало с груди графа Людвига.

Мы вернулись в замок. Никогда еще я так жадно не вдыхал свежий

воздух. За все это время старый слуга ни разу не попался нам на глаза, и я предложил его поискать. Насколько я помнил, он жил в северной башне. Там мы и нашли его: скрюченное старое тело висело на веревке, переброшенной через балку под крышей. Он был мертв по крайней мере двадцать четыре часа. Священник сказал, что ему уже ничем нельзя помочь, остается лишь засвидетельствовать смерть и организовать похороны.

Мне по-прежнему не дает покоя тайна замка Кальденштайн. Тот факт, что графы Август и Феодор после смерти стали вампирами — хоть это и звучит фантастически — более понятен, чем бессмертие графа Людвига. Что происходит с графом, мне не смог объяснить даже священник. Он считает, что вампир будет терроризировать местных жителей бесконечно долго.

В одном я уверен. Перед отъездом из Кальденштайна я открыл окно и взглянул на замок. На вершине одной из башен, четко выделяясь на фоне ночного неба, стояла черная фигура — призрачная тень графа Кальденштайна.

На этом мой рассказ заканчивается. Разумеется, приключение в деревне расстроило все мои планы, и в Мюнхен я вернулся лишь через двадцать дней. Петер Шмидт смеялся и спрашивал, из-за какой голубоглазой красотки я задержался в какой-то баварской деревне. Я не стал рассказывать ему, что истинной причиной задержки стали два мертвеца и один живой колдун, хотя по всем законам природы он должен был умереть много веков назад.

М. Р. Джеймс

Монтегю Родс Джеймс (1862–1936) родился в графстве Кент; когда ему было три года, семья переехала в Саффолк и навсегда поселилась в деревне Грейт-Ливермир, ставшей впоследствии местом действия нескольких рассказов писателя. Он учился в Кембриджском университете, был студентом, а затем преподавателем, членом совета, деканом и, наконец, ректором Кингзколледжа, где также разворачиваются сюжеты ряда его рассказов.

Хотя сегодня его помнят главным образом как, возможно, величайшего автора историй о привидениях, Джеймс также был на редкость эрудированным и деятельным ученым-медиевистом, создавшим уникальные каталоги книжных собраний Кембриджа и Оксфорда (не считая найденных им рукописей или открытия захоронений нескольких аббатов, живших в XII веке). Ряд его научных публикаций касается проблемы апокрифов.

Лучшими в творчестве Джеймса принято считать рассказы, составившие первые два из шести прижизненно изданных сборников его «страшной» прозы — «Рассказы антиквария о привидениях» (1904) и «Новые рассказы антиквария о привидениях» (1911). Позднее вышли в свет сборники «Тощий призрак и другие» (1919), «„Предостережение любопытным“ и другие рассказы о привидениях» (1925), «Плачущий колодец» (1928) и «Собрание рассказов М. Р. Джеймса о привидениях» (1931).

Рассказ «Случай в кафедральном соборе» был впервые опубликован в «Кембридж ревью» 10 июня 1914 года; позднее вошел в сборник «Тощий призрак и другие» (Лондон: Эдвард Арнольд, 1919).

Случай в кафедральном соборе

Жил да был образованный джентльмен, которого как-то отправили проинспектировать и составить отчет об архивах кафедрального собора в Саутминстере. Изучение этих записей требовало весьма значительного времени, и потому он счел целесообразным снять комнату в городе. Кафедральное руководство предлагало самое щедрое гостеприимство, но мистер Лейк чувствовал, что самому распоряжаться своим днем будет предпочтительнее. Причину признали уважительной. В конечном счете настоятель написал мистеру Лейку и предложил ему — если мистер Лейк не нашел еще ничего подходящего — соотнестись с мистером Уорби, почтенным церковнослужителем, который жил в доме неподалеку от церкви и не возражал бы взять спокойного жильца на три-четыре недели. Большего мистер Лейк не мог и желать. Об условиях договорились быстро, и уже в начале декабря наш исследователь, как и другой жилец (отметил он себе), некий мистер Датчери, получил очень удобную комнату в старинном «кафедральном» доме.

Мистер Уорби, уважая традиции кафедральной церкви и получив, в частности, прямые указания от главы собора, никак не мог игнорировать просьбу старшего церковнослужителя. Он даже пошел на то, чтобы сделать кое-какие перестановки в комнате, которая долгие годы служила посетителям в неизменном виде. Мистер Лейк, со своей стороны, нашел в церковнослужителе интересного собеседника и после окончания своего рабочего дня пользовался любой возможностью вызвать его на разговор.

Однажды вечером около девяти часов мистер Уорби постучался к жильцу.

— Я тут собираюсь в собор, мистер Лейк — сказал он, — и помнится, я обещал, предоставить вам возможность посмотреть, как он выглядит ночью. Если хотите пойти, то на улице как раз хорошо и сухо.

— Конечно, я пойду. Премного вам обязан, мистер Уорби. Только найду плащ…

— Вот он, сэр, и я захватил еще один фонарь, чтобы вы не оступились, поскольку ночь сегодня безлунная.

— Нас с вами сейчас вполне можно принять за Джаспера и Дардлза, — приблизившись к собору, произнес Лейк, имевший основания полагать, что настоятель читал «Тайну Эдвина Друда». [35]

— Что ж, пожалуй, — ответил мистер Уорби с коротким смешком, — хотя не знаю, стоит ли нам рассматривать это как комплимент. Я часто думаю, что в этом соборе есть что-то странное; вам так не кажется, сэр? Служба круглый год начинается в семь утра. Для голосов мальчиков и хора это не слишком хорошо, да и служащие могли бы попросить прибавку, если бы у церкви была возможность ее дать, особенно те, кто работает наверху.

Они подошли к юго-западному входу. Мистер Уорби отпер дверь.

— Вам не доводилось там кого-нибудь случайно запереть? — спросил Лейк.

— Доводилось, причем дважды. Первым был пьяный матрос — понятия не имею, как он туда попал. Надо думать, заснул во время службы, но к тому времени, когда я его обнаружил, мореплаватель был на грани апоплексического удара. Всемилостивый Боже! Какой шум поднял этот забулдыга! Кричал, что впервые за последние десять лет забрел в церковь и будь он проклят, если пойдет в нее еще хоть раз. А второй была старая овца. Мальчишки привели ее ради смеха и оставили. Впрочем, больше они таких вещей не делали. Ну вот, сэр, теперь вы видите, на что это похоже; наш старый настоятель время от времени устраивал такие экскурсии, но он предпочитал лунные ночи и сопровождал все это песнопениями — в духе настоящего шотландского собора, надо понимать. Не знаю, не знаю. Я лично считаю, что наибольший эффект достигается, когда совсем темно. Собор как; бы раздается вширь и устремляется ввысь. А теперь, если вы не против подождать меня где-нибудь в нефе, я поднимусь на хоры, где у меня есть кое-какие дела, и вы увидите, что я имею в виду.

Лейк согласился и, перегнувшись через перила, наблюдал, как луч фонаря, колеблясь, пробежал через церковь, поднялся на хоры и наконец скрылся за какой-то мебелью, откуда лишь изредка отбрасывал блики на колонны и потолок. Через некоторое время Уорби вновь появился на хорах и, помахав фонарем, подал Лейку знак подниматься к нему.

«Надеюсь, это Уорби, а не его призрак», — подумал Лейк по пути из нефа наверх.

Однако ничего страшного не случилось. Уорби показал документы,

которые достались ему от старого каноника, и спросил, что думает Лейк о службе. Лейк согласился, что на это стоит посмотреть.

— Я думаю, — добавил он, пока они вместе шли к алтарю, — что вы не испытываете страха, поскольку довольно часто бывали здесь, но все же время от времени должны вздрагивать — верно? — когда на пол падает книга или неожиданно захлопывается дверь.

— Нет, мистер Лейк, не могу сказать, что меня беспокоит шум или шорох; я гораздо больше боюсь утечки газа или взрыва в печной трубе. Раньше, много лет назад, я, бывало, побаивался. Обратите внимание на этот простой и незамысловатый алтарь; у нас говорят — не знаю, согласитесь вы или нет, — что его соорудили в пятнадцатом веке. Впрочем, может, есть смысл, если вас это не затруднит, вернуться и взглянуть поближе.

Алтарь оказался на северной стороне хоров, и место для него, похоже, было выбрано не слишком удачно: всего лишь в трех футах от каменной загородки. Как и сказал церковник, алтарь и каменное ограждение были вполне заурядными. На северной стороне (ближе к загородке) располагался изрядных размеров металлический крест, примечательный своей монументальностью.

Лейк согласился, что алтарь создан не позднее «строго перпендикулярного» периода.

— Но, — заметил он, — кроме того, что он, видимо, служил гробницей какой-нибудь выдающейся личности, больше ничего интересного в нем я, простите, не вижу.

— Ну, я не знаю, была ли здесь похоронена какая-нибудь историческая личность, — сухо улыбнувшись, сказал Уорби, — поскольку у нас не сохранилось записей о том, кто там лежит. Однако, если у вас найдется полчасика, когда мы вернемся домой, мистер Лейк, я расскажу вам об этой гробнице. Сейчас начинать не стоит, так как становится холодно, а мы с вами с пользой скоротаем долгий вечер.

— Разумеется, я не против; жажду послушать.

— Ну и прекрасно, сэр, услышите. А теперь позвольте задать вопрос, — продолжил мистер Уорби, пока они выходили из бокового придела собора. — В нашем кратком путеводителе — да и не только в нем, в общем, в одной из маленьких книжек, где говорится о нашем соборе, вы обнаружите, что эта часть здания была воздвигнута раньше, в двенадцатом веке. Разумеется, я был бы рад принять эту точку зрения, но — осторожно, ступенька — но как на ваш взгляд, может ли кладка этой стены нести на себе, — (он постучал по стене ключом), — может ли она нести, я спрашиваю, отпечаток того, что мы назвали бы саксонским масонством?

Нет, на ваш взгляд, нет; и я тоже так считаю. Поверьте, я сто раз говорил об этом — и тому замечательному библиотекарю из публичной библиотеки, и второму, который специально приезжал из Лондона, и мог бы твердить об этом и дальше. Но я считаю, каждый может иметь свое мнение.

Обсуждение этой особенности человеческой натуры занимало мистера Уорби почти все то время, пока они возвращались домой. А состояние камина в комнате Лейка вынудило его предложить перейти в гостиную, дабы коротать вечер там.

Рассказ мистер Уорби был долгим, и я не возьму на себя смелость передать его целиком теми же словами или в той же последовательности. Выслушав эту историю, Лейк немедленно записал ее суть вместе с несколькими пассажами рассказчика, которые запомнились ему verhatium [36]. Вероятно, кое-какие места в записях Лейка будет целесообразно изложить подробнее.

Как выяснилось, мистер Уорби родился около 1828 года. И отец его, и дед так или иначе были связаны с собором. Сначала один, потом другой были хористами, а позже обслуживали здание, работая каменщиком и плотником соответственно. Сам Уорби, хотя и обладал весьма посредственным голосом, как он откровенно признался, был тем не менее в возрасте десяти лет привлечен в церковный хор.

В 1840 году собор Саутминстера поразила волна возрождения готики.

— Много тогда произошло любопытного, сэр, — сказал Уорби со вздохом. — Мой отец ушам своим не поверил, когда ему велели перестроить хоры. Как раз тогда пришел новый настоятель — это был декан [37] Берскаф, и отцу пришлось поступить подмастерьем в одну солидную плотницкую фирму в городе и самому взглянуть на то, что такое настоящая работа. Здорово было, говаривал он: дубовая древесина высшего качества, такая же, как в день, когда ее привезли; плоды и листва, похожая на гирлянду; старинные позолоченные ручки и органные трубы… Все это поступало прямо в мастерские, за исключением разве что мелких деталей, которые обрабатывались в капелле Девы Марии, и здесь же украшалось резьбой. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что хоры церкви никогда не выглядели лучше. Многое прояснилось в истории церкви, и многое, несомненно, надо было восстанавливать. А ведь прошло всего несколько лет с тех пор, как мы утратили бельведер.

Мистер Лейк полностью разделял взгляды мистера Уорби на реставрацию, однако выразил опасение, что, увлекшись подобными рассуждениями, они никогда не доберутся до сути истории. В каком-то смысле его можно было понять.

Уорби поспешил его успокоить.

— Я вовсе не склонен говорить на эту тему часами и при первой же возможности. Но декан Берскаф был просто одержим этим готическим периодом, и унять его можно было, лишь соглашаясь с ним. Однажды утром после службы он велел отцу ждать его на хорах, а сам, переодевшись в ризнице, присоединился к нему с целым рулоном документов (которые потом оказались в столе), и принялся расстилать их, придавливая молитвенниками, а отец стал ему помогать и увидел, что на листах изображены хоры собора.

«Уорби, — спросил декан (а он был джентльмен говорливый), — что вы об этом думаете?»

«Ну, — ответил отец, — не могу сказать, что я узнаю этот вид. Наверное, это собор в Херефорде?»

«Нет, Уорби, — произнес декан. — Это Саутминстерский собор, каким его видели много лет назад и каким мы надеемся увидеть его теперь».

«Ну и ну, сэр, — пробормотал мой отец и больше не проронил ни слова, чего нельзя сказать о декане, однако потом как-то признался мне, что едва не потерял дар речи, когда осмотрел наши хоры, которые, как мне помнится, были очень удобны и прекрасно обставлены, а затем глянул на отвратительную мазню — как он ее назвал, — присланную лондонским архитектором. Впрочем, я опять отвлекаюсь. Но вы поймете, что я имею в виду, если посмотрите на этот старый рисунок».

И Уорби достал из стенного шкафа копию рисунка. — В общем, через какое-то время декан передал отцу приказ полностью очистить хоры — убрать все подчистую — и приготовить для реконструкции, которую утвердили в городе. Более того, он собирался лично руководить работами, как только соберет специалистов. Поглядите сюда, сэр, вот тут раньше стояла кафедра; я бы хотел, чтобы вы обратили на это особое внимание.

Действительно, нетрудно было заметить, что необычайно крупное деревянное сооружение с покатой верхней доской должно было располагаться в восточном приделе северной части хоров — прямо напротив места епископа. Уорби продолжил рассказ и заметил, что изменения, которые коснулись также нефа и мест хористов, вместо ожидаемого одобрения вызвали недовольство — в частности, органист выказывал опасение, что работы обязательно повредят механизму временно установленного органа, который за немалую плату выписали из Лондона.

Разрушение началось с ограждения хоров и органной галереи, после чего постепенно двинулось в восточном направлении. Попутно открывая,

как заметил Уорби, множество интереснейших подробностей работы старых мастеров. Служители церкви, разумеется, живо интересовались работами на хорах, и вскоре старшему Уорби — который постоянно слышал их разговоры — стало ясно, что многие старые каноники отнюдь не в восторге от политики, проводимой новым руководством. Одни были убеждены, что им грозит смерть от холода в обновленном здании, где не было никакой защиты от сквозняков, гуляющих по нефу, другие возражали против того, что теперь ризница — а следовательно, и они сами — оказалась на виду; это мешает сосредоточиться, полагали они, мешает слушать с должным вниманием и может привести к неверным толкованиям. Самое сильное сопротивление декан встретил, однако, у одного из старейших служителей собора, который до последнего момента противился перемещению кафедры. «Нельзя ее трогать, господин декан, — с глубокой убежденностью заявил он однажды утром, когда они вдвоем остановились у кафедры. — Мы не знаем, какое зло можем разбудить». «Зло? Но эта работа не имеет конкретной направленности, каноник». «Не называйте меня каноником, — с необычной резкостью возразил старик, — ибо вот уже тридцать лет я широко известен как доктор Эйлоф и буду вам очень обязан, господин декан, если впредь вы будете именовать меня именно так. А что касается кафедры (с которой я эти тридцать лет проповедовал, хотя вовсе на этом не настаивал), то я просто знаю, что ее нельзя двигать с места, вот и все». «Но какой смысл оставлять ее здесь, мой дорогой доктор, если все хоры будут оформлены совершенно в ином стиле! Назовите хоть одну причину, кроме вашего личного убеждения». «Причина, причина… — проворчал старый доктор Эйлоф. — При всем моем уважении к вам, господин декан, если бы молодые люди вроде вас больше слушали голос разума и меньше спрашивали о причинах, то было бы намного лучше. А я сказал лишь то, что сказал». После этого старик заковылял прочь и, как выяснилось впоследствии, больше никогда не входил в собор. Сезон — а было жаркое лето — выдался на удивление болезнетворным. Доктор Эйлоф заболел одним из первых; у него начались какие-то процессы в дыхательных путях, и по ночам он не мог спать от боли. Число хористов на многих службах далеко не всегда было полным. Тем временем кафедру все-таки убрали. Собственно говоря, деку (часть которой еще существует в качестве стола в летнем домике дворцового сада) убрали через час или два после протеста доктора Эйлофа. Затем, не без некоторых затруднений, к вящей радости группы реставраторов — ту самую гробницу, на которую этим вечером Уорби обратил внимание Лейка. Многочисленные попытки идентифицировать личность покойного оказались бесплодными; он и по

сей день не открыл своего имени. Само же сооружение, до этого основательно закрытое кафедрой, оказалось столь аккуратно обшитым досками, что даже тонкий орнамент внутри не пострадал; лишь на северной стороне был некий небольшой изъян: прореха, щель между досками, из которых была сделана стенка. Примерно двух или трех дюймов в длину. Каменщику Палмеру, который как раз явился выполнять мелкие работы в этой части хоров, велели в недельный срок устранить неисправность.

Лето и в самом деле выдалось весьма нелегким. То ли церковь стояла на месте, где, как полагали, раньше было болото, то ли по какой-либо другой причине, но в августе и сентябре жители ближайших селений редко радовались ясным солнечным дням и тихим вечерам. Для некоторых пожилых людей — для доктора Эйлофа, в частности, — это лето стало роковым, но и среди молодых многим пришлось неделями соблюдать постельный режим или по меньшей мере бороться с угнетенным состоянием и ночными кошмарами. Постепенно у них зародилось подозрение, позже перешедшее в уверенность, что причиной тому — последние перемены в церкви.

У вдовы бывшего церковника, получавшей пенсию от Саутминстерского собора, случилось видение, которым она поделилась с подругами: с наступлением сумерек она заметила, как из южного нефа выскользнула тень. Она появлялась еженощно в разных местах церковного двора, исчезала на какое-то время за домами и вновь уходила в церковь, когда ночное небо начинало светлеть. Вдова не могла ее описать, но утверждала, что тень двигалась; у женщины осталось впечатление, что в самом конце видения тень, перед тем как вернуться в церковь, повернула голову, и вдова, сама не зная почему, подумала о красных глазах. Уорби припоминал, что слышал, как вдова рассказывала о своем видении за чаем в доме одного из церковнослужителей. Возможно, заметил он, что это был рецидив застарелой или симптом надвигающейся болезни, но, как бы там ни было, к концу сентября престарелая леди уже покоилась в могиле.

Интерес, вызванный реставрацией знаменитой церкви, не ограничивался ближайшими окрестностями. В один из летних дней собор посетил весьма известный представитель Общества любителей антиквариата. В его задачу входило составление отчета об открытиях, совершенных в ходе реставрации, а сопровождавшей его жене предписывалось сделать к отчету серию иллюстраций. Первое же утро она посвятила общей зарисовке хоров; день ушел на прорисовывание деталей. В первую очередь она изобразила алтарь с новооткрытой гробницей и,

закончив работу, обратила внимание мужа на великолепный узорчатый орнамент, которым была украшена задняя стенка, до этого полностью скрытый (как и вся гробница целиком) загораживающей его кафедрой. Разумеется, муж сказал, что необходимо зарисовать и это; так что она уселась на гробницу и тщательно срисовывала орнамент до самых сумерек.

Тем временем муж закончил свои измерения и описания, и они решили, что пора возвращаться в гостиницу. «Можешь заодно отряхнуть мою юбку, Фрэнк, — сказала леди, — она, должно быть, вся в пыли». Муж неохотно повиновался, но через мгновение вдруг сказал: «Не знаю, насколько тебе дорого это платье, любовь моя, но я склонен думать, что его лучшие времена уже миновали. В нем не хватает довольно большого куска». «Не хватает? Где?» — воскликнула леди. «Не знаю, куда он делся, но, по-моему, сзади внизу у тебя как-то маловато». Леди поспешно оглядела себя и с ужасом обнаружила неровно оторванный край подола — будто пес отгрыз, говорила потом она. В любом случае, к ее величайшей досаде, платье было безнадежно испорчено, и сколько они с мужем ни искали пропавший кусок — найти его так и не удалось. Они долго размышляли о том, как могла случиться такая неприятность, и пришли к выводу, что вариантов слишком много, поскольку повсюду валялись оставленные мастерами куски досок с торчавшими из них гвоздями. В конце концов они решили, что одна из таких досок и нанесла им этот ощутимый ущерб, а рабочие, должно быть, вынесли ее вместе с куском прицепившейся материи.

Примерно в то же время, продолжал рассказывать Уорби, его щенок начал проявлять странное беспокойство, когда вечером наступало время отправлять его в сарай. (Мать Уорби запрещала брать пса на ночь в дом.) Но однажды вечером, когда Уорби хотел запереть пса в сарае, тот посмотрел на него, «как истинная Божья тварь, и так жалобно завилял хвостом — ну, вы знаете, как это бывает, — что я в конце концов сунул его под плащ и протащил наверх, ужасно при этом опасаясь, что матушка каким-нибудь образом обнаружит обман. А песик очень ловко спрятался под кроватью и полчаса — пока не пришло время ложиться спать — сидел тихо-тихо, так что у матушки и мысли не возникло, что он в доме». Само собой Уорби был рад такому соседству — в особенности когда в Саутминстере началось то, что до сих пор помнят как «ночные вопли».

— Ночь за ночью, — говорил Уорби, песик словно чувствовал приближение опасности; он съеживался, забирался в постель и, дрожа, прижимался ко мне всем телом, а когда раздавался вопль, прятал голову мне под мышку и мне тоже становилось так страшно, что дальше некуда.

Мы слышали крик шесть или семь раз за ночь — не больше, и когда песик вновь поднимал голову, я знал, что на эту ночь — все. На что это было похоже, сэр? Ну, я никогда не слышал ничего более ошеломляющего. Как-то случилось мне играть на церковном дворе, а неподалеку повстречались два каноника. «Спал вчера нормально?» — спрашивает один, по имени мистер Хенслоу, а второй, мистер Лайалл, отвечает: «Да как сказать… На мой взгляд, многовато было четырнадцатого стиха из тридцать четвертой главы книги пророка Исайи». «Тридцать четыре, четырнадцать? — говорит Хенслоу. А это что?» «Ты же хвалился, что знаешь Библию. (Мистер Хенслоу, должен заметить, довольно часто читал проповеди, мы даже называли их вечерами Евангелия). Вот пойди и взгляни». Мне и самому не терпелось узнать, что же там сказано, и потому я помчался домой; достал свою Библию, нашел нужное место и прочел «И лешие будут перекликаться один с другим». Ага, подумал я, наверное, это мы и слышали ночью — и, надо сказать, эта мысль заставила раз-другой оглянуться через плечо. Я, конечно, спросил отца с матерью о ночных криках, но оба ответили, что, скорее всего, это выли кошки. Но отвечали они отрывисто, и я видел, что им не по себе. Бог ты мой! Вот это был вой. Словно отчаянный и голодный призыв к тому, кто не пришел. Заслышав его, сразу хотелось куда-нибудь в людное место, чтобы не оставаться одному, когда он раздастся вновь. По-моему, две или три ночи мужчины даже выставляли стражу в разных местах церковного двора; но часовые смещались в один угол площадки, который был поближе к центральной улице, так что толку все равно никакого не было.

Ну а затем произошло следующее. Мы с приятелем — он работал в городе в лавке зеленщика, как и его отец, — однажды после утренней службы забрались на хоры и услышали, как старый каменщик Палмер орет на одного из своих подчиненных. Ну, мы, конечно, подобрались поближе, поскольку знали, что старик довольно въедлив и можно будет повеселиться. Выясняется, что Палмер распекает одного из рабочих за трещину в стенке старой гробницы. Рабочий клянется, что потрудился на славу, а Палмер по этому поводу пребывает в крайнем раздражении. «Разве это работа? — ворчит он. — Да за такое убить мало, была бы моя воля. И ты думаешь, я стану тебе за это платить? Что я, по-твоему, скажу декану и настоятелю, когда они придут — а прийти они могу в любой момент — и увидят, что ты тут наворотил; все заляпал каким-то мусором, клеем и еще бог знает чем». «Но, мастер, я сделал все, что мог, — твердит работник. — И я так же, как и вы, понятия не имею, почему так получилось. Я замазал трещину, все утрамбовал, — бормочет он. — Не знаю, как выпала замазка.

Я не видел…» «Выпала? — рявкает старый Палмер. — Что-то я ничего такого поблизости не вижу. Вылетела, ты хочешь сказать», — и поднимает с пола (как до этого поднял я) кусок замазки, который валялся футах в трех или четырех от загородки и еще не успел высохнуть. Палмер недоуменно пялится на него, затем поворачивается ко мне и говорит: «Так, ребята, вы что, затеяли там какую-то игру?» «Нет, — говорю я, — что вы, мистер Палмер, нас там и близко не было вот до этой самой минуты». И пока я оправдываюсь, мой приятель — Эванс — заглядывает в щель, и я слышу, как у него перехватывает дыхание. Он отскакивает назад, подходит к нам и говорит: «По-моему, там что-то есть. Я видел какой-то свет». «Что? — ревет Палмер. — Ну, только этого не хватало. Ладно, нет у меня больше времени с вами болтать. Так, Уильям, иди принеси материалы и сделай работу как надо; сейчас же, иначе у тебя в мастерской будут крупные неприятности».

Рабочий с Палмером ушли, а мы с Эвансом остались. «Ты правда там что-то видел?» — спрашиваю я. «Да, — говорит Эванс, — Видел, вот те крест». И тогда я говорю: «А давай сунем туда что-нибудь и пошуруем». Подобрали мы пару обломков досок, что лежали неподалеку, но они оказались слишком крупными. Тогда Эванс, у которого были с собой ноты — то ли псалмы, то ли хоралы, не помню точно, — свернул листы в тонкий свиток и сунул в щель. Повертел его туда-сюда, но ничего не произошло. «Дай сюда,» — сказал я и попробовал сам. Нет, вроде ничего. Тогда (честное слово, не знаю, как это пришло мне в голову) я встал прямо напротив трещины, сунул два пальца в рот и свистнул — знаете, как это делается, и сразу после этого мне показалось, что внутри что-то шевельнулось. «Пойдем-ка отсюда, — говорю я Эвансу, — мне это не нравится». «О черт, — говорит он, — дай-ка сюда ноты». Выхватывает у меня свиток и сует в щель. Никогда до этого я не видел, чтобы человек так побледнел «Слушай, Уорби, — говорит, — его что-то или кто-то держит». «Вытаскивай или бросай, — кричу я. — Надо отсюда сматываться». Ну, дергаю я свиток и вытаскиваю его из щели. Почти все на месте, лишь конец листа исчез. Оторван. Эванс смотрел на него не больше секунды, а потом как-то странно каркнул, выхватил у меня бумаги, и мы сломя голову помчались прочь. «Ты видел, как он оторван?» — спрашивает Эванс, когда мы мчимся по улице. «Нет, — говорю я. — Видел, что оторван, и все». «Да, верно, — говорит Эванс, но он был мокрый. И черный». Что ж, частью от испуга, частью из-за того, что через день-другой намечалось занятие в хоре (а значит, придется встречаться с органистом), мы почти всю дорогу молчали. Я лишь подумал, что рабочие, наверное, выметут обрывок вместе

с прочим мусором. А если бы об этом спросили Эванса, то в тот день он бы ответил только, что оторванный край был черным и мокрым.

После этого мальчики какое-то время старательно избегали занятий в хоре, и потому Уорби не мог точно сказать, как именно починили стенку гробницы. Но из обрывочных реплик, которыми обменивались рабочие, отделывая хоры, он понял, что были некоторые трудности и мастеру, то бишь мистеру Палмеру, пришлось лично принять участие в работах.

Немного позже Уорби случайно увидел, как дворецкий впускает Палмера в дом декана. А утром за завтраком услышал, как его отец мимоходом обронил, что на следующий день в соборе после утренней службы будут происходить не совсем обычные дела.

«Но поскольку сегодня это уже случилось, — добавляет он, — то, думаю, особой опасности не предвидится». «Отец, — говорю я, а что вы собираетесь делать завтра утром в соборе?» Он пришел в такую ярость, какой я в нем никогда не видел, — ведь вообще-то отец был славным, спокойным и добродушным человеком. «Парень, — говорит он, придется, видно, втолковать тебе, что нельзя вмешиваться, когда разговаривают те, кто старше и умнее тебя. Это невежливо и некрасиво. Что я собираюсь делать в соборе — это не твоего ума дело; и если я поймаю тебя там завтра после занятий, то надеру уши и ты полетишь домой быстрее молнии. Запомни это хорошенько». Разумеется, я немедленно извинился и, разумеется, тут же договорился с Эвансом о завтрашнем дне.

Мы знали, что в углу поперечного нефа есть лестница, которая ведет в трифориум, [38] а дверь в неф в то время была постоянно открыта, и, кроме того, ключ от нее, как правило, лежал под ковром. Мы решили пойти на музыкальные занятия, а потом, когда остальные мальчики разойдутся, проскользнуть к лестнице и пробраться в трифориум, откуда не пропустим ни одного признака будущих событий.

В ту ночь я спал, как спят дети, но внезапно щенок вспрыгнул на кровать и разбудил меня. Я решил, что сейчас что-то будет, поскольку пес казался совсем перепуганным. И минут через пять раздался вопль. Не могу сказать, на что это было похоже. Но он был близко, ближе, чем я слышал раньше, и знаете, что странно, мистер Лейк… Вы ведь слышали, какое на церковном дворе эхо, особенно если встать ближе к краю. Так вот, этот крик совсем не походил на эхо. Наоборот, как я уже сказал, в эту ночь он звучал до ужаса близко; и едва он затих, я испугался еще больше, потому что услышал за дверью какой-то шорох. Ну все, подумал я, тут мне и конец, однако вдруг заметил, что песик оживился и навострил уши, а в следующую секунду за дверью раздался шепот, и я едва не рассмеялся в

голос, так как понял, что это отец с матерью вышли на шум. «Что же это такое?» — спросила мать. «Тише. Я не знаю, — нервно ответил отец, — Не разбуди мальчишку. Надеюсь, он ничего не слышал».

Ну, зная, что отец с матерью рядом, я, само собой, сразу осмелел, вылез из кровати и подошел к маленькому окну, которое выходило на церковный двор, — песик к тому времени уже вертелся у подножия кровати — и выглянул. Сначала я ничего не увидел. Затем прямо в тени контрфорса я заметил то, что до сих пор называю двумя красными пятнами — тусклые красные огни, ни лампа, ни фонарь, но в темноте их было видно прекрасно. И, глядя на них, я вдруг обнаружил, что не только нашу семью потревожил этот вопль, так как мне показалось, что в окне дома слева появился колеблющийся свет. Я лишь на секунду повернул голову, чтобы посмотреть внимательнее, а когда снова глянул в тень, где светились красные пятна, то их уже не было, и, как я ни вглядывался, ничего не смог заметить. И тут мне еще раз пришлось испугаться — кто-то тронул меня за голую ногу… Но все было в порядке, это просто песик вылез из-под кровати и прыгал возле меня, высунув язык. Видя, что он совершенно спокоен, я взял его обратно в постель, и мы мирно проспали остаток ночи.

Наутро я набрался храбрости и признался матери, что оставил пса в комнате, но, к моему удивлению, она восприняла это довольно спокойно, если учесть то, что говорила раньше. «Вот как? — сказала она. — Ну что ж, в наказание за обман останешься сегодня без завтрака. Впрочем, большого вреда от пса не будет, только в следующий раз спроси разрешения, хорошо?» Немного позже я сказал отцу, что снова слышал, как выли кошки. «Кошки? — произнес отец, но тут мать кашлянула, он посмотрел на нее и говорит: — А, ну да, кошки. Я их вроде тоже слышал».

Странное было утро. Все шло как-то не так.

Органист заболел и слег, младший каноник забыл, что уже девятнадцатый день месяца и ждал Venite, [39] а человек, замещавший органиста, после короткой заминки заиграл какой-то дневной хорал; получилось несуразно, и мальчики из хора от смеха не могли петь, а когда пришло время исполнять гимн, солиста разобрал такой смех, что у него пошла носом кровь и он сунул ноты мне, а я не только был неважным певцом, но и слов-то не знал. Но пятьдесят лет назад к этому относились серьезнее, и я отлично помню, как один из теноров сзади пребольно меня ущипнул.

В общем, кое-как закончили, и никто — ни служители, ни мальчики — даже не подумал, что дежурный каноник — им тогда был мистер Хенслоу — может прийти в ризницу и отчитать их. Да он бы и не пришел, мне

думается. Дело в том, что он впервые в жизни прочел не ту проповедь и сам об этом знал. В общем, мы с Эвансом без всякого труда поднялись по лестнице, о которой я вам говорил, улеглись там на пол — и наши головы оказались прямо над старой гробницей. Мы лежали тихо, не шевелясь, и потому слышали, как один из служителей сначала закрыл железные двери на галерею, затем запер юго-западную дверь, а вслед за ней дверь в поперечный неф. Тут мы поняли, что намечается то самое дело, которое не должно быть известно широкой публике.

Вскоре через северную дверь вошли декан и каноник, а вместе с ними я увидел своего отца, старика Палмера и парочку его лучших рабочих. Палмер остановился в центре хоров и о чем-то заспорил с деканом. У рабочих были ломы, а сам Палмер тащил бухту веревки. Все они заметно нервничали. Побеседовали они, побеседовали, а потом декан и говорит: «Ладно, Палмер, не будем терять время. Если вы считаете, что это успокоит жителей Саутминстера, я не против, но должен сказать, что за всю свою жизнь не слышал такого отъявленного вздора. Особенного от такого здравомыслящего человека, как вы. Вы согласны со мной, Хенслоу?» Насколько я сумел расслышать, мистер Хенслоу ответил что-то вроде: «О да. Но мы же договорились, господин декан, что не будем судить их слишком строго». Декан фыркнул, направился прямо к гробнице и остановился, повернувшись спиной к загородке, а остальные довольно робко подошли поближе. Хенслоу встал на южной стороне и принялся скрести подбородок «Палмер, — говорит декан, — как по-вашему, что легче: поднять крышку или убрать одну из стенок?»

Палмер и его люди покрутились немного вокруг гробницы, пощупали крышку и постучали по всем стенкам, кроме северной. Хенслоу начал говорить, что лучше попробовать с южной стороны, потому что она, мол, лучше освещена да и места там побольше, но мой отец, который до этого спокойно наблюдал, подошел к северной стенке, встал на колени, осмотрел трещину, а затем поднялся, отряхнул брюки и говорит декану. «Прошу прощения, но если мистер Палмер не против, пусть попытается поддеть эту доску; мне кажется, она легко отойдет. По-моему, можно попробовать вставить лом прямо в эту щель». «Спасибо, Уорби, говорит декан, — предложение разумное. Палмер, пусть кто-нибудь из ваших парней так и сделает».

Один из рабочих начал ловко орудовать ломом, и через минуту они все столпились вокруг гробницы, и мы с Эвансом высунули головы за край трифориума — в западной части хоров раздался жуткий треск, и здоровенный кусок доски с грохотом рухнул на ступеньки.

Вы, конечно, ждете, что сейчас все в один момент разъяснится. Само собой, поднялась страшная суматоха. Но я слышал только, как отвалилась доска, звякнул упавший на пол лом, а декан воскликнул: «Боже милостивый!»

Когда я снова глянул вниз, декан ворочался на полу, рабочие бежали вниз, Хенслоу помогал декану подняться на ноги, Палмер пытался остановить рабочих (так он утверждал впоследствии), а мой отец сидел на ступеньке алтаря, закрыв лицо руками.

Декан был необычайно сердит. «Я бы хотел попросить вас, Хенслоу, смотреть, куда вы идете, — говорит он. — И почему вас так переполошил этот кусок дерева — понятия не имею». А Хенслоу в оправдание бормочет лишь, что стоял с противоположной стороны и потому просто не видел декана.

Вскоре вернулся Палмер и сообщил, что сам не может объяснить весь этот шум, но разрушений вроде никаких нет; и когда декан закончил приводить себя в порядок, все уже снова собрались вокруг него. Кроме моего отца, который так и сидел, закрыв лицо руками. Кто-то зажег огарок свечи, и все принялись осматривать гробницу. «Ничего нет, — подытоживает декан. — Что я вам говорил? Стойте. Что-то все-таки есть. Ну-ка. Клочок нотной бумаги и обрывок какой-то материи — похоже, от женского платья. По виду вполне современные и никакого интереса не представляют. Надеюсь, в следующий раз вы прислушаетесь к мнению нормального и образованного человека». И идет, прихрамывая и бормоча что-то себе под нос к северной двери, а оттуда сердито кричит Палмеру, что тот оставил дверь открытой. «Прошу прощения, сэр», — откликается Палмер, пожимая плечами. «Видимо, господин декан ошибся, — говорит Хенслоу. — Я сам закрыл эту дверь за собой. Наверное, он просто расстроен». «А где Уорби?» — вспоминает вдруг Палмер, и тут они видят, что отец так и сидит на ступеньке, и подходят к нему. Отец уже пришел в себя, он вытирает лоб, а я с радостью вижу, что Палмер помогает ему встать на ноги.

Они были слишком далеко от меня, и я не слышал, что они говорили, но видел, как отец показал на боковой придел, а затем туда изумленно и испуганно посмотрели Палмер и Хенслоу. Через минуту мой отец и Хенслоу вышли из храма, а остальные принялись поспешно пристраивать доску на место. И едва часы пробили полдень, собор вновь открылся, и мы с Эвансом смогли спокойно уйти домой.

Мне не терпелось узнать, что же повергло отца в такое ужасное состояние, но, войдя в дом, я увидел, что он сидит в кресле со стаканом, а

мать озабоченно на него поглядывает. Тогда я укротил свое любопытство и вместо этого признался, где я был. Отец остался на удивление спокоен и не вышел из себя. «Значит, ты был там. Ну и как — видел?» «Я все видел, отец, — говорю я, — до тех пор, пока не начался шум». «Ты видел то, что сбило декана с ног? — спрашивает отец — Видел то, что выскочило из гробницы? Нет? Ну и слава богу». «Ну так а что это было?» — говорю я. «Вообще-то ты должен был это видеть, — отвечает он. — Неужели не видел? Тварь, похожая на человека, вся покрытая шерстью и вот с такими глазищами».

Вот и все, что я смог вытянуть из него в тот день, а позже он вроде как стеснялся своего страха и всякий раз уклонялся, когда я его об этом спрашивал. Лишь через много лет, когда я уже стал совсем взрослым, мы еще раз поговорили на эту тему, но он повторил то же самое. «Черное оно было, — сказал он. — Куча шерсти, на двух ногах, и глаза горят диким пламенем».

Такова история, связанная с этой гробницей, мистер Лейк. Посетителям мы ее не рассказываем, и вы меня очень обяжете, если не станете ее использовать, пока не придет мой час. Не сомневаюсь, что мистер Эванс скажет то же самое, если вам вздумается его расспросить.

Тем все и закончилось. Но с тех пор прошло уже больше двадцати лет, могилы Уорби и Эванса давно поросли травой, и потому мистер Лейк не испытывал угрызений совести, передавая эти записи — полученные в 1890 году — в мои руки. Он приложил к ним рисунок гробницы и краткое описание металлического креста, который прикрепили за счет доктора Лайалла к северной стенке. На нем была надпись, взятая из тридцать четвертой главы Книги пророка Исайи и состоящая всего из трех слов:

IBI CUBAVIT LAMIA.[40]

Д. Скотт-Монкрифф

Д. Скотт-Монкрифф — загадочная фигура в литературе об ужасном и сверхъестественном. Ни в общеизвестных указателях (равно как и в некоторых менее известных), ни путем сквозного поиска в Интернете не удалось обнаружить каких-либо биографических сведений об этом писателе.

Двойная фамилия автора напоминает британскую, атрибутируемые ему произведения были впервые опубликованы в Великобритании, и, таким образом, его национальную принадлежность можно считать установленной.

Кроме рассказа, который включен в настоящую антологию, источники сообщают еще об одном сочинении автора, принадлежащем к данному

жанру: это «Роботы графа Золнока», причудливая повесть о некоем выдающемся инженере и его загадочной колонии, расположенной в бассейне Амазонки и полной роботов. Самая ранняя из всех известных публикаций Скотта-Монкриффа — сборник рассказов «Не для слабонервных» (1948).

Не исключено, что автор, носивший столь редкую фамилию, — это Дэвид Скотт-Монкрифф, знаток автомобильной техники, посвятивший ей три книги: «Старинные и эдвардианские легковые автомобили» (Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1955), «Трехконечная звезда: История „мерседеса-бенц“ и его стремительного успеха» (Лондон: Касселл, 1955) и «Классические автомобили 1930—1940-х годов» (Лондон: Бентли, 1963).

Рассказ «Замок Ваппенбург» был впервые опубликован в сборнике «Не для слабонервных» (Лондон: Бэкграунд букс, 1948).

Замок Ваппенбург

Думаю, нашего дядюшку Йена вполне можно считать доисторическим существом, поскольку он участвовал в англо-бурской войне. При этом зрение у него не хуже, чем у любого из нас, и он по-прежнему отлично стреляет, хотя и жалуется, что почти ничего не видит. Когда дядюшка заявляет, что по причине преклонного возраста продал свой огромный мощный «мерседес» и купил «хили», мы молча пожимаем плечами — добираясь из своего поместья в Россшире до Эдинбурга, дядюшка и на «хили» делает сто пятьдесят миль в час, сокращая время в пути на десять минут. Своих шестидесяти семи лет он попросту не замечает. Его племянники, то есть мы, обращаемся с ним как с представителем нашего поколения, хотя он родился так давно, что для нас это время — почти то же самое, что век Генриха Восьмого. Добиться приглашения погостить у дядюшки — большая честь. Правда, выглядит это приглашение не совсем обычно: на открытке толщиной в одну восьмую дюйма небрежно нацарапано, что Коллум и Старинная Штучка будут встречать поезд из Лондона на станции в городе Инвернесс. Дядюшка знает, что мы обязательно приедем, и не ошибается.

Увидеть знаменитого Коллума и его Старинную Штучку — само по себе приключение. Коллум — это личный шофер дядюшки Йена. У него патриархальная белая борода, а на вид он вдвое старше своего хозяина, хотя на самом деле на пятнадцать лет его младше. Это впечатление усиливается тем, что во рту у Коллума не осталось ни одного зуба. Прибавьте к этому тот факт, что говорить он умеет только по-гэльски и — как ни странно — по-немецки, то есть поговорить с ним практически невозможно. Зато машину он водит не хуже дядюшки Йена и с такой же

скоростью. Старинная Штучка — это автомобиль марки «элпайн игл ролле», который дядюшка купил в тысяча девятьсот тринадцатом году. Впечатляющая машина — небольшой фургон, акры сверкающей полированной латуни и корпус из тика, отделанный медью на местной судоверфи.

Когда мы сошли с поезда в Инвернессе, шел сильный снег, но Коллум уже ждал нас. Мы забросили вещи в просторный салон автомобиля, забрались туда сами и отправились в путь длиной восемь миль. Коллум отлично умеет водить машину в снегопад, поскольку водит «роллсы» без малого тридцать лет, однако в тот день он ехал крайне осторожно, и путь занял у нас целых четыре часа. Когда мы прибыли на место, было уже темно, сквозь снежную пелену золотистым светом сияли окна дядюшкиного дома.

Хорошо, что вы успели до снегопада, — здороваясь с нами, сказал дядя Йен, — завтра сюда уже не добраться. Подует ветер, и снегу наметет столько, что дороги расчистят лишь через несколько дней.

Мы оттаяли в самой горячей ванне, затем переоделись к обеду. Дядя Йен всегда переодевается к обеду и, даже забравшись в такую глушь, не изменил своей привычке. На обед подали луковый суп, омара, фазана и омлет с соусом из чабера. Когда старый дворецкий Кэмерон принес портвейн и длинные бокалы с «Альварес Лопес Коронас Грандес», разговор зашел о разных ужасах и страхах. Следуя традиции, которую мы помнили с детских лет, Кэмерон выключил газовое освещение и расставил на столе зажженные свечи в подсвечниках восемнадцатого века.

— Я думаю, — сказал дядя Йен, — что больше всего люди боятся не физической боли, смерти или возможности превратиться в калеку, а того страха, который нельзя объяснить. Иными словами, они боятся сверхъестественного.

Мы почуяли, что нас ожидает очередная дядюшкина история.

— Расскажите, дядюшка! — хором принялись просить мы.

Антураж для рассказа был самый подходящий. Буря разыгралась не на шутку, ветер швырял в окна крупные хлопья снега. Даже сквозь толстые стены было слышно, как; в комнате для прислуги Макриммон играет на волынке жалобную мелодию. Макриммон — бывший снайпер, потерявший зрение на Первой мировой войне. Теперь он живет, подобно своему слепому предку из Ская, ради своей волынки.

Мягкий свет свечей играл на серебряных пуговицах бархатного камзола дяди Йена, и старинные кружева на воротнике казались еще желтее — им было более двухсот лет. Подняв бокал с портвейном, дядя посмотрел

его на свет.

В тот год, когда это вино было отправлено в один из винных погребов Дуоро — в девятьсот четвертом году, — я купил свой первый «мерседес». С тех пор прошло более тридцати лет; полагаю, у меня и сейчас был бы точно такой же «мерседес», если бы их продолжали выпускать. Страсть к этим машинам развилась у меня после смерти моего двоюродного дяди Генри, последнего представителя священников-спортсменов, увлекавшихся охотой. У него была собственная свора гончих, и он регулярно охотился с ними два дня в неделю, более пятидесяти лет. В юности дядюшка мог продержаться четырнадцать раундов против профессионального кулачного бойца. Все свое состояние он завещал фонду боксеров-инвалидов, которые из-за болезни не могли выступать на ринге. Впрочем, эксцентричный старик не забыл и своих родственников. Например, мне он оставил восемьсот соверенов «для выплат букмекерам, а также на разные глупости по твоему усмотрению». Я в это время находился в Ирландии, где наблюдал, как Женатци [41] выигрывает гонку на приз Гордона Беннета. [42] Получив деньги, я сразу решил, что ничто не доставит мне большего удовольствия, чем новенький «мерседес» мощностью в шестьдесят лошадиных сил, такой же, как у Женатци. Мой «даррак» мощностью в двадцать лошадей, как вы сейчас выражаетесь, неплохо бегал, но разве мог он сравниться с этим королем машин! Кроме того, я чувствовал, что именно такие «глупости» имел в виду дядя Генри, отписывая мне долю наследства.

Арчи Прендергаст и я отправились в мастерскую недалеко от Штутгарта, чтобы забрать нашу покупку. У нас родился совершенно грандиозный, потрясающий план. Брат Арчи, атташе в посольстве Австро-Венгрии, давно приглашал нас приехать к нему в Вену. Так почему бы нам не прокатиться на машине от Штутгарта до Вены? Мы знали, что до нас никто не совершал, столь дальние поездки, и почему бы нам не стать первыми? Разумеется, при достаточном запасе топлива и запасных покрышек. Вам, юнцам, не понять, как в те времена было трудно с такими вещами. Очень немногие владельцы автомобилей отваживались на далекие поездки, при этом запас топлива и покрышек приходилось высылать вперед либо поездом, либо на конной повозке. Еще не было заправочных автостанций, а автомастерские встречались лишь в крупных городах. «Ремонт на скорую руку» выполняли деревенские кузнецы. Думаю, вам трудно представить себе, какие опасности подстерегали в те времена автомобилистов. Прежде приходилось бесконечно менять покрышки, что невероятно по нынешним меркам. Вторая беда — пыль. По поводу

механика можно было не беспокоиться, поскольку я заранее договорился с фирмой «Даймлер», предоставившей мне инженера-механика сроком на один год. В итоге этот механик проработал у меня почти десять лет — вот откуда Коллум, почти не понимающий по-английски, знает немецкий. Механик оказался огромным и толстым баварцем, сыном колесного мастера. Звали его Бауэр. Семь лет он проработал в фирме помощником мастера, и рекомендовал его сам знаменитый Еллинек, член правления кампании. Он сказал, что этот парень абсолютно надежен — он родился среди машин, рос среди машин и знает их как свои пять пальцев. Так и оказалось.

К концу июня у нас имелись автомобиль и механик. Машина представляла собой легкий и просторный четырехместный «руа-де-бельж», оснащенный по последнему слову техники — с лобовым стеклом и складным верхом. Мы считали это высшей степенью роскоши, поскольку у моего «даррака» было лишь жалкое подобие верха, а лобового стекла не было вовсе. Раз машине предстояло совершить дальний пробег, с двух сторон к кузову было прикреплено по запасному колесу, а сзади, как турнюр, болтались две покрышки. Для полного комплекта мы установили ацетиленовый генератор, который использовался для питания военных прожекторов; надо сказать, что светил он будь здоров — ни разу не подвел. На моем «дарраке» он почему-то гас, поэтому мне приходилось рассчитывать лишь на тусклый свет масляных фонарей. Наш автомобиль представлял собой потрясающее зрелище даже по сравнению с современными авто. Но что доставляло мне наибольшее удовольствие — не забывайте, мне было всего двадцать четыре года, — так это небольшой латунный рычажок на рулевом колесе. С его помощью машина могла издавать совершенно невероятный, душераздирающий свист!

Путешествие до Вены прошло практически без происшествий, хотя под конец у нас не осталось ни единой целой покрышки. Сорок лет назад Вена была потрясающим городом. Ночи напролет мы танцевали. Все наперебой заключали пари, удастся ли нам столь же успешно вернуться назад, и в конце концов мы почувствовали себя чем-то вроде местных знаменитостей. Посол представил нас старому Францу Иосифу. [43] Суровый старик битый час подробно расспрашивал меня об англо-бурской войне, даже не пытаясь скрыть тот факт, что мы, по его мнению, обошлись с бурами несправедливо. Правда, к концу беседы он оттаял и предложил нам совершить верховую прогулку на лошадях из королевской конюшни. Это предложение было принято нами с восторгом, поскольку лошади, что и говорить, были прекрасные — ирландские красавцы, выведенные в

Венгрии. Как вам известно, в то время Австро-Венгрия простиралась до самой Адриатики, включая порт Триест. Мы решили проехать на машине через Стирию до Триеста, затем вместе с машиной погрузиться на пароход и таким образом добраться до дома. Прибыть к берегам Британии мы намеревались в конце июля или в начале августа.

Мы пополнили запас покрышек, и Бауэр объявил, что машина полностью готова к отъезду, чему мы, говоря откровенно, обрадовались, поскольку за время двухнедельного пребывания в веселой Вене практически не спали. В первый день мы проехали совсем немного. Нас провожал Руди Фюрстенберг на своем «фиате» в сорок лошадей, поскольку дорога из Вены проходила мимо одного из его загородных поместий. Мы провели ночь в его доме, а дальше поехали одни.

Край становился все более диким, хотя дорога была неплохой. Нам говорили, что на старой почтовой дороге следует соблюдать определенные правила. Разумеется, никакого покрытия на ней не было, и пыль поднималась столбом. К югу от Граца деревни попадались все реже, и на тридцать, а то и сорок миль потянулись горы, покрытые бесконечными сосновыми лесами. Эти деревья часто подходили к самой дороге, полностью ее затеняя, так что яркий солнечный свет в тех местах производил зловещий эффект. Но мы, не обращая на это внимания, продолжали весело катить вперед в облаке пыли, не предполагая, какое ужасное испытание ждет нас впереди. Мы въехали в большую и живописную деревню, где стояла церковь с куполом-луковкой и через реку был переброшен старый каменный мост. Здесь мы остановились, чтобы выпить вина. Поглазеть на нас высыпали почти все жители деревни. Они сказали, что многие из них видят машину впервые в жизни, хотя некоторым довелось посмотреть на автомобили в Граце. Нас предупредили, что дальше дорога становится совсем безлюдной. Так оно и оказалось; целый час мы ехали среди бескрайних лесов, не встречая ни одной живой души, никаких признаков человеческого жилья.

Наконец мы въехали в глубокую и узкую лощину. По обеим ее сторонам поднимались отвесные скалы футов в сто высотой. Лощина кончилась столь же внезапно, как и началась, но сосновые леса опять подступали к самой дороге. Когда впереди показались первые просветы среди деревьев, Арчи сказал:

— Отличное место для того, чтобы сдерживать наступление. В таком месте горстка солдат могла бы задержать целую армию.

Вот тут это и случилось. Сначала из-под днища автомобиля послышался зловещий гул, затем оглушительный скрежет металла и

шипение. Значит, что-то серьезное. Мы с Арчи вылезли из машины и отправились определять наше местонахождение, Бауэр полез осматривать поломку. Вскоре мы обнаружили, что остановились в ста ярдах от маленькой деревушки — это было первое человеческое поселение на протяжении тридцати миль. Несколько домиков совсем обветшали, их крыши провалились внутрь. Единственным зданием с целой крышей оставалась маленькая часовня, но и у нее были выбиты все стекла, а стены полностью заросли ползучими сорняками. Такого в процветающей и трудолюбивой Австрийской империи мы не видели ни разу и даже не предполагали, что это возможно.

Мы вернулись к машине, размышляя о причинах столь безнадежного упадка, еще более удручающего из-за угрюмого пейзажа. Бауэр объявил, что треснула муфта в коробке передач; к счастью, коленвал цел, других повреждений не обнаружено, иначе все было бы намного хуже. Если мы найдем кузнеца или токаря со станком, сказал Бауэр, он все легко исправит. Перспектива ночевки посреди мрачного леса нас вовсе не радовала. Мы проделали тридцать миль по безлюдной территории, а до городка Гросскройц, где мы намеревались остановиться, ехать еще двадцать миль. Бауэр взялся снимать сломанную деталь.

— Может быть, удастся раздобыть лошадь, — сказал Арчи. — Сейчас только семь часов. Крепкая крестьянская лошадка могла бы к утру дотащить машину до Гросскройца.

— Ну да, надейся, — ответил я, но тут кое-что вспомнил. — Слушай, мы только что проехали мимо какого-то человека в двуколке! Лошадка у него небольшая, машину ей не утащить, но ведь он куда-то едет!

Примерно через час с нами поравнялась повозка, где сидел угрюмый, несговорчивый и грубый тип. Сначала он никак не желал остановиться, несмотря на наши призывные крики.

Его выговор оказался столь непонятным, что даже Бауэр едва разобрал половину его речей. Одну фразу возница повторял раз за разом — видимо, она не выходила у него из головы. Место, где мы застряли, называлось Шлосс-Ваппенбург, замок Ваппенбург; судьба нашего автомобиля крестьянина не волновала, а вот нам, по его словам, нужно убираться отсюда как можно скорее. Выяснилось, что лошадь и двуколку он купил в деревне в тридцати милях отсюда, в дороге задержался и сейчас больше всего на свете хотел бы оказаться как можно дальше от замка Ваппенбург и как можно ближе к Гросскройцу. В конце концов, за несколько крон он неохотно согласился подвезти Бауэра до города. Да, там можно найти хорошую мастерскую и кузнеца, который согласится работать всю ночь, так

что Бауэр сможет привезти необходимые детали еще до рассвета. Места для нас с Арчи в легкой повозке не было, а топать двадцать миль, вместо того чтобы спокойно спать теплой летней ночью, нам не хотелось. Когда Бауэр забрался в повозку, Арчи спросил его:

— Вы говорите, что это место называется замок Ваппенбург. А где он, этот замок?

Угрюмый возница показал вперед кнутом и с дрожью в голосе сказал:

— Вон там, за деревней.

И, хлестнув лошадь, поехал прочь с такой скоростью, на какую было способно усталое животное.

Не считая мрачного пейзажа вокруг, беспокоиться нам было не о чем, поскольку в дорогу мы захватили не только уйму курток, накидок и одеял, но и корзину с едой — ее вручил нам Руди Фюрстенберг. Открыв ее, мы обнаружили половину окорока, связку холодных цыплят, огромное количество персиков и несколько бутылок токайского из личных погребов Руди, который позаботился о том, чтобы мы не умерли от жажды.

Перед ужином, чтобы убить время, мы решили прогуляться до деревни, осмотреть часовню, а затем дойти до руин замка, ибо ни секунды не сомневались, что он давно необитаем. Все, однако, оказалось не так просто. Дверь часовни, хотя и незапертая, до того заросла сорняками, что открыть ее стоило большого труда. Вероятно, это была усыпальница какого-то семейства; нарисованные на стене мемориальные таблички покрылись плесенью и потрескались, так что прочесть их было практически невозможно. Шелковые знамена превратились в жалкие тряпки, уныло свисавшие среди густой паутины, и рассыпались у нас в руках, когда мы развернули их, чтобы посмотреть, во главе какой гордой армии они развевались. Здесь царили грибок и плесень, а в проходах росли огромные желтые грибы-дождевики, взрывавшиеся под нашими ногами, распространяя неприятный запах.

Только в одном месте стена часовни была чистой — там, где находилась мраморная мемориальная доска, украшенная искусной французской резьбой и выполненная в виде траурной урны с наброшенным на нее покрывалом. По-видимому, доска принадлежала последнему представителю фамилии. На ней старинными буквами было выведено: «Графиня София Ваппенбург, 1778». Мы с радостью покинули маленькую заброшенную часовню, построенную, судя по ее виду, еще во времена крестоносцев и полностью забытую после того, как в 1778 году в ней нашел вечное упокоение последний из рода Ваппенбургов. Стоял теплый летний вечер, но мы с Арчи вздрагивали от холода.

Не знаю, откуда появился тот старик. Он внезапно возник рядом с нами и протянул нам какую-то бумагу. Старик был таким древним, что его желтая высохшая кожа казалась мумифицированной. Седые волосы были коротко подстрижены, а черная ливрея, послужившая, похоже, не одному поколению слуг, по фасону напоминала те, что я видел лишь на старинных гравюрах. Слуга протягивал мне письмо без конверта, просто сложенное и запечатанное. Написано оно было по-французски, с длинными s и f, это был либо очень плохой, либо очень старый французский — я подозревал второе. В письме говорилось, что в замке Ваппенбург нам могут предложить обед и ночлег. Однако, когда я увидел подпись, мое сердце тревожно забилось. Там стояло: «Графиня София Ваппенбург».

Старый слуга повел нас по узкой тропинке, казавшейся еще темнее из-за нависших над ней сосен. Наши шаги заглушал толстый слой опавших сосновых иголок; ни мне, ни Арчи разговаривать не хотелось. Вскоре впереди открылся замок: он стоял на вершине скалы, черневшей на фоне вечернего неба. Никогда прежде не видел я более мрачной и унылой картины. Большая часть замка лежала в руинах. Но главная башня, почерневшая от пожара, явно была обитаемой; войти в нее можно было по подъемному мосту, проржавевшему от времени. На фоне неба четко вырисовывался силуэт часовой башни. Вечернее солнце просвечивало сквозь ее выбитые окна, крыша и пол давно провалились, внутри кружилась какая-то тварь, похожая на огромную летучую мышь.

Еще один старец-слуга отворил перед нами обитую железом дверь, и наши шаги звонко застучали по каменным плитам внутреннего двора, где уже давным-давно не слышались топот закованных в броню ног и звон острых пик.

Графиня приняла нас в зале, уставленном пыльной, но красивой мебелью семнадцатого века. Двигалась она резко и угловато, словно марионетка. Ее лицо было до того худым, что напоминало обтянутый сухой кожей череп, из которого торчала искусственная челюсть с неровными зубами. Одета она была так же, как и ее слуги, — невероятно старомодно; даже ее парик был уложен по моде, ушедшей много веков назад. Однако манеры графини остались манерами великосветской дамы, а ее английский, звучавший несколько гортанно, был превосходен, хотя время от времени она запиналась видимо, от недостатка практики. Когда же я, здороваясь с графиней, пожал ей руку, мне показалось, что я прикоснулся к мягкому брюшку жабы.

Графиня провела нас в комнату, стены которой были увешаны потускневшими портретами давно покинувших этот мир Ваппенбургов;

несмотря на летнюю жару, в комнате пылал огромный очаг.

Затем вошла девушка лет девятнадцати-двадцати, свежая и удивительно хорошенькая, в прелестном крестьянском платье-дирндл. В древнем замке-мавзолее она казалась букетом весенних цветов. Старая графиня представила ее как свою внучатую племянницу.

— Это тоже графиня София, — сказала она.

Принесли напитки и чудесные бокалы из богемского стекла; мы уселись вокруг очага на старинные стулья с высокими спинками и принялись весело болтать. Графини с подкупающей искренностью поведали нам о печальном положении некогда процветавшего рода Ваппенбургов. Они, последние представительницы благородной фамилии, жили на доходы от поместья, однако денег становилось все меньше, а фамильные ценности давно проиграны одним из Ваппенбургов, ныне покойным. Графини так бедны, что не могут совершить поездку в Вену, а юная София не была даже в Граце, однако она слишком горда, чтобы продавать фамильные портреты и покидать замок в дни его бедственного положения — ведь по традиции выезд Ваппенбургов всегда обставлялся очень пышно. Вдоль стен комнаты стояли шкафы, заполненные нарядами, которые графини носили в более счастливые времена.

— Даже мой парик, — хрипло хихикнув, сказала старая графиня, — был сделан в Париже в тысяча семьсот семидесятом году.

Мы подождали, пока дамы переодевались к обеду. Старая графиня нацепила старинное платье из тафты «а-ля мадам Помпадур», свободно болтавшееся на ее костлявых плечах, а юная София надела длинное белое атласное платье. По ее словам, этот наряд был сшит в Вене в то время, когда Конгресс танцевал под дудку князя Меттерниха. Обедали мы за узким и длинным столом, на единственном островке света в зале таком огромном, что о его размерах можно было лишь догадываться. Из темноты выступали смутные очертания рыцарских доспехов, знамена свисали со сводчатого потолка — слабый огонь свечей на столе туда не доставал. Обед был простым и обильным, старая графиня держалась безукоризненно и шутила весьма остроумно, а Арчи явно увлекся юной графиней; однако меня не покидало чувство страха. Чего именно я боялся, я сказать не мог. Это чувство появилось у меня в ту минуту, когда я отворил дверь разрушенной часовни, и с каждым часом становилось сильнее.

Свечи стояли в прекрасных канделябрах венецианской работы семнадцатого века, с подставками, украшенными фигурками сатиров, играющих в мяч. У каждого из сатиров был свой мячик — за исключением того, что находился передо мной. Его мяч был отбит, сатир остался с

пустыми руками. Подали жареную зайчатину; разрезая мясо, я нашел в нем крупную старинную дробину. Мы с графиней перекинулись шутками по поводу сатира, все время терявшего равновесие, и я вложил дробинку в его сложенные чашечкой руки. Все посмеялись над этой глупенькой шуткой, а я заметил единственный изъян несравненной красоты юной Софии — очень длинные и острые зубы.

Потом мы с Арчи извинились, объяснили, что завтра нам рано вставать, и отправились спать. Старый слуга повел нас по бесконечному лабиринту темных коридоров; по дороге мы при свете свечей разглядывали развешанные на стенах гобелены поистине титанических размеров. Когда мы добрались до отведенных нам огромных спален, свечи уже не понадобились, поскольку взошла луна. Она залила серебряным светом широкие кровати, где нам предстояло спать, и в комнатах стало светло, как днем. Арчи тут же заявил, что хочет спать, как никогда в жизни; чего нельзя было сказать обо мне. Громадная кровать под пологом оказалась невероятно удобной, но я час за часом лежал с открытыми глазами, не в силах уснуть. Чтобы хоть как-то приглушить яркий свет луны, я попытался задернуть тяжелые парчовые портьеры, но ветхая ткань рвалась в руках, и я отступил, чтобы не порвать занавески окончательно. Незадолго до полуночи, отчаявшись уснуть, я встал и принялся ходить по комнате. Выглянул в окно и увидел бескрайнее море сосен, черное в серебристом свете луны. В небе кружились несколько летучих мышей; из-за какого-то странного оптического искажения мне почудилось, что каждая из них размером с человека.

Затем я вновь повалился на постель; послышались скрип и скрежет древнего механизма, и часы на башне пробили полночь. Внезапно меня осенило. Нужно выкурить сигару, возможно, она поможет мне успокоиться. Такого никогда еще не случалось со мной — я ожидал чего-то страшного.

Порывшись в карманах, я достал портсигар, но спичек, как назло, не нашел. Тогда я решил пробраться на цыпочках в комнату Арчи и поискать у него. Недолго думая, я открыл дверь своей спальни, хотя это далось мне с трудом — страх перед чем-то неведомым буквально сковывал меня по рукам и ногам. В коридоре никого не было. Я тихо подошел к спальне Арчи и осторожно открыл дверь. Портьеры в его спальне были отдернуты, окна широко распахнуты, комната залита ярким лунным светом.

Сначала я подумал, что Арчи приснился кошмар, поэтому он сорвал полог над кроватью и завернулся в него. Присмотревшись, я понял, что полог на месте, а Арчи с головой укрыт каким-то широким кожаным покрывалом, свисавшим с обеих сторон кровати. Странное покрывало,

подумал я: напоминает два огромных крыла. Но это и в самом деле были два крыла, а между ними находилось что-то ужасное, покрытое густой шерстью и живое. Я видел, как оно дышит.

Не помня себя от ужаса, забыв обо всем на свете, я бросился к Арчи, чтобы оттащить от него жуткую тварь. Инстинкт подсказал мне, что действовать нужно без промедления, ибо я могу опоздать. Схватив тварь за выступающую кость, где предположительно находилась шея, я изо всех сил потянул ее на себя. Существо сначала сопротивлялось, затем внезапно оторвалось, издав чмоканье, похожее на звук, с каким с бутылки слезает резиновая соска, при этом с невероятной силой ударило меня крылом, словно разъяренный лебедь. От этого удара я отлетел к стене и мгновенно потерял сознание, успев подумать, что, наверное, переломал себе все кости. Я пробыл без сознания не более секунды, и, когда пришел в себя, в комнате было совсем темно, поскольку тварь сидела на окне, заслоняя собою луну. Задыхаясь от боли, я заставил себя сесть. Света в комнате хватило, чтобы разглядеть чудовище, и голова у меня пошла крутом. Между крыльев отвратительной твари находилось тело человека, распростершего руки, соединенные с широкими крыльями. Я видел эти тонкие белые руки: на уровне запястий они переходили в кожистые крылья. Вслед за руками я рассмотрел белые плечи и глубокий вырез белого вечернего платья. Это была графиня София! Она стояла на краю подоконника, развернув свои ужасные шерстистые крылья; ее лицо выражало крайнее возбуждение, прекрасные шелковистые волосы разметались по плечам. Графиня чуть приоткрыла губы, обнажив острые и длинные зубы, по ее подбородку стекала темная струйка, словно ребенок только что съел шоколадку и измазался. Это кровь, кровь Арчи стекала по белому атласному платью, тесно облегавшему точеную фигурку девушки. Возле меня стоял старинный комод из красного дерева. Опершись за него, я поднялся; рука нащупала тяжелый оловянный подсвечник. Собрав последние силы, я швырнул его прямо в лицо графини.

Подсвечник угодил ей точно между глаз и наверняка выбил бы мозги, будь она смертной. С пронзительным визгом графиня вывалилась из окна и начала падать туда, где высились сосны, но затем дважды взмахнула широкими крыльями и легко заскользила в сторону разрушенной часовни. Теперь у меня не было сомнений: в тысяча семьсот семьдесят восьмом году графиня Ваппенбург не умерла, а присоединилась к ужасному сонму живых мертвецов.

Я тяжело подполз к кровати. Ужасный удар монстра, к счастью, не повредил кости; возможно, я получил парочку растяжений.

Слава богу, Арчи был жив, хотя и потерял много крови. На его груди виднелись глубокие царапины, а на горле — две аккуратные дырочки. Не помню, как мне удалось одеть его и вывести из ужасного замка, населенного живыми мертвецами. Я тащил его по бесконечным коридорам, через тяжелые двери, через мост и по узкой горной тропе. Нам позволили покинуть замок, ничего не спрашивая, мы никого не встретили. Подняв голову, я заметил, что в лунном свете над верхушками древних башен кружат огромные летучие мыши, но они к нам не приближались. Невероятно тяжелый обратный путь занял несколько часов, и, когда мы добрались до разрушенной усыпальницы, занималась заря. Я горячо благодарил за это небеса, поскольку ни за что не пошел бы туда ночью. Из последних сил я добрался до машины, уложил Арчи на сиденье и потерял сознание.

Первое, что я почувствовал после пробуждения, это тепло утреннего солнца. Арчи, бледный и слабый, уже очнулся и пытался влить мне в рот персиковый бренди из своей серебряной фляги. У меня было такое чувство, словно я упал с крыши высокого здания. Рядом суетились Бауэр и наш возница, вернувшиеся из города.

Первым делом я спросил Арчи, что он помнит о прошлой ночи. Он ответил, что почти ничего: помнит, как в его комнату вошла София, склонилась над ним и нежно поцеловала в шею. Очнулся он уже в нашем «мерседесе», бледный, дрожащий и невероятно слабый.

Услышав наш рассказ, возница рассмеялся и сказал, что замка Ваппенбург давно не существует, все Ваппенбурги умерли сто лет тому назад и о них все забыли. Наверное, сказал он, мы попали в какое-то проклятое место и нам приснился жуткий сон.

Тогда мы с Арчи, несмотря на невероятную слабость, решили вернуться в замок, чтобы увидеть его еще раз. Бауэра мы оставили возиться с машиной. Мы тянули за старинное ржавое кольцо, громко стучали в дверь, но нам никто не открыл, хотя один раз за дверью послышалось тихое позвякивание. Тогда мы навалились на дверь плечом, ржавый запор поддался, и мы ввалились внутрь. Залы и комнаты замка были такими же, как прошлой ночью, за исключением пыли, покрывавшей все вокруг слоем в четверть дюйма. Однако мы не обнаружили ни единого следа пребывания людей.

Арчи решил, что все это нам приснилось: наверное, мы уснули в машине, увидели один и тот же кошмар и во сне набросились друг на друга. В огромном зале, где мы вчера обедали с двумя графинями, также не было ничего живого и все вокруг покрывал толстый слой пыли примерно

вековой давности. Свечи в венецианских подсвечниках покрылись плесенью и паутиной, затянувшей и стоящие вокруг стола стулья. Но я заметил: маленькие сатиры на канделябрах держали в руках по мячу — все, кроме одного. В руках того сатира, который прошлой ночью во время обеда находился напротив меня, лежал не золоченый мячик, а крупная старомодная дробинка.

Не знаю, чем это объяснить, но в течение последующих двенадцати часов я испытывал такой страх, какого не знал никогда в жизни. Могу добавить, что никогда в жизни я не чувствовал такой радости, как тогда, когда мы спустились с горы, где стоял замок Ваппенбург, услышали гул мотора нашего «мерседеса» и помчались прочь от проклятого замка со скоростью сорок миль в час, с нашим верным Бауэром за рулем.

Г. Ф. Лавкрафт

Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) родился в Провиденсе, штат Род-Айленд, в котором и провел большую часть своей жизни. Обладая слабым здоровьем, он с ранних лет жил затворником и не получил серьезного формального образования, однако много читал, делая особый упор на естественные науки. В возрасте 16 лет он начал вести ежемесячную колонку по астрономии в газете «Провиденс трибьюн» и сочинять художественную прозу; «Алхимик» — первый рассказ Лавкрафта, появившийся в печати, — был написан в 1908 году, но опубликован лишь в 1916-м. На протяжении ряда лет, живя на грани нищеты, Лавкрафт писал рассказы для различных малотиражных периодических изданий, работал «литературным негром», редактировал чужие произведения и наконец в 1923 году продал свой рассказ «Дагон» в «Странные истории» — ведущий американский палп-журнал, посвященный фантастике и фэнтези. С того времени он стал постоянным автором этого журнала — лишь немногие из написанных им шестидесяти рассказов были опубликованы в других палп-изданиях.

При жизни Лавкрафт не считался серьезным автором и успел опубликовать лишь одну книгу — «Морок над Инсмутом» (1936). После безвременной кончины писателя его друзья Август Дерлет и Дональд Уондри предприняли несколько безуспешных попыток продать его сочинения коммерческим издательствам, а затем, задавшись целью собрать и опубликовать все рассказы, стихи и письма Лавкрафта, учредили собственную компанию «Аркхэм хаус», деятельность которой началась с выхода в свет фундаментального тома «Изгой и другие рассказы» (1939) и продолжилась изданием сборника «За стеной сна» (1943). «Аркхэм хаус» и по сей день занимает ведущие позиции среди издательств,

специализирующихся на хоррор-литературе.

Рассказ «Пес» был впервые опубликован в журнале «Странные истории» в феврале 1924 года.

Пес

I

Они все не стихают, эти невыносимые звуки: хлопанье невидимых гигантских крыльев и отдаленный, едва слышный лай какого-то огромного пса, — и продолжают мучить меня. Это не сон, боюсь, даже не бред — слишком много всего произошло, чтобы у меня еще сохранились спасительные сомнения. Все, что осталось от Сент-Джона, — это обезображенный труп; лишь я один знаю, что с ним случилось, и знание это таково, что легче бы мне было самому раскроить себе череп, чем с ужасом дожидаться, когда и меня постигнет та же участь. Бесконечными мрачными лабиринтами таинственных видений подбирается ко мне невыразимо страшное Возмездие и приказывает безмолвно: «Убей себя!»

Простят ли небеса те безрассудства и нездоровые пристрастия, что привели нас к столь чудовищному концу?! Утомленные обыденностью повседневной жизни, способной обесценить даже самые романтические и изысканные радости, мы с Сент-Джоном, не раздумывая, отдавались любому новому эстетическому или интеллектуальному веянию, если только оно сулило хоть какое-нибудь убежище от невыносимой скуки. В свое время мы отдали восторженную дань и сокровенным тайнам символизма, и экстатическим озарениям прерафаэлитов, и еще многому другому; но все эти увлечения слишком быстро теряли в наших глазах очарование и привлекательность новизны.

Мрачная философия декадентства была последним средством, которое еще могло подстегивать воображение, но и это удавалось лишь благодаря непрестанному углублению наших познаний в области демонологии. Бодлер и Гюисманс скоро потеряли свою первоначальную привлекательность, и нам приходилось прибегать к более сильным стимулам, какие мог доставить только опыт непосредственного общения со сверхъестественным. Эта зловещая потребность во все новых и новых возбудителях и привела нас в конце концов к тому отвратительному увлечению, о котором и теперь, несмотря на весь ужас моего настоящего положения, я не могу вспоминать кроме как с непередаваемым стыдом и страхом; к пристрастию, которое не назовешь иначе как самым гнусным проявлением человеческой разнузданности; к мерзкому занятию, имя которому — грабеж могил.

Нет сил описывать подробности наших ужасных раскопок или

перечислить, хотя бы отчасти, самые жуткие из находок, украсивших кошмарную коллекцию, которую мы втайне собирали в огромном каменном доме, где жили вдвоем, отказавшись от помощи слуг. Наш домашний музей представлял собою место поистине богомерзкое: с каким-то дьявольским вкусом и неврастенической извращенностью создавали мы там целую вселенную страха и тления, чтобы распалить свои угасавшие чувства. Находился он в потайном подвале глубоко под землей; огромные крылатые демоны из базальта и оникса, оскалившись, изрыгали там неестественный зеленый и оранжевый свет, потоки воздуха из спрятанных в стенах труб заставляли прыгать в дикой пляске смерти полоски алой погребальной материи, вплетенные в тяжелые черные занавеси. Особое устройство позволяло наполнять разнообразными запахами воздух, поступавший через трубы в стенах; потворствуя самым диким своим желаниям, мы выбирали иногда аромат увядших лилий с надгробий, иногда — дурманящие восточные благовония, словно доносящиеся из неведомых капищ царственных мертвецов, а порой — я содрогаюсь, вспоминая теперь об этом, — тошнотворный смрад разверстой могилы.

Вдоль стен ужасной комнаты были расставлены многочисленные ящики; в одних лежали древние мумии, в других — совсем недавние образцы чудесного искусства таксидермистов; тут же имелись и надгробия, собранные со старейших кладбищ всего мира. В нишах хранились черепа самых невероятных форм и человеческие головы в различных стадиях разложения: полусгнившие лысины великих государственных мужей и необычайно свежие детские головки, обрамленные нежным золотом мягких кудрей. Тут было множество картин и скульптур, неизменно на загробные темы, в том числе и наши с Сент-Джоном живописные опыты. В специальной папке из тонко выделанной человеческой кожи, всегда запертой, мы держали несколько рисунков на такие сюжеты, о которых я и сейчас не смею говорить; автор работ неизвестен — предполагают, что они принадлежат кисти самого Гойи, но великий художник никогда не решался признать это публично. Здесь же хранились наши музыкальные инструменты, как струнные, так и духовые: нам доставляло удовольствие упражняться в диссонансах, поистине дьявольских в своей изысканности и противоестественности. В многочисленные инкрустированные шкатулки мы складывали главную свою добычу — самые невероятные, невообразимые предметы, какие только можно похитить из склепов или могил, вооружившись для этого всем безумием и извращенностью, на которые только способен человеческий разум. Но об этом я менее всего смею распространяться — слава богу, у меня хватило духу уничтожить

наши страшные трофеи задолго до того, как меня впервые посетила мысль о самоубийстве.

Тайные вылазки, результатом которых были все эти ужасные сокровища, всякий раз становились для нас своего рода эстетическим событием. Ни в коем случае не уподоблялись мы вульгарным кладбищенским ворам, но действовали только там и тогда, где и когда имелось для того сочетание вполне определенных внешних и внутренних условий, включая характер местности, погодные условия, время года, даже определенную фазу луны и, конечно, наше собственное состояние. Для нас занятие это всегда было формою артистического самовыражения, ибо к каждой детали раскопок мы относились с требовательностью истинных художников. Неправильно выбранное время очередной экспедиции, слишком яркий свет, неловкое движение при разрытии влажной почвы — все это могло полностью лишить нас того острого удовольствия, что мы получали, извлекая из земли какую-нибудь очередную ее зловеще оскаленную тайну. Поиск новых мест для раскопок и все более острых ощущений становился лихорадочным и безостановочным — причем инициатива всегда принадлежала Сент-Джону. Именно он в конце концов отыскал то проклятое место, где нас начал преследовать страшный неотвратимый рок.

Какая злая судьба завела нас на то ужасное голландское кладбище? Думаю, виной всему были смутные слухи и предания о человеке, захороненном там пять столетий назад: в свое время он тоже грабил могилы и якобы нашел в одном из склепов некий предмет, обладавший сверхъестественными свойствами. Я отчетливо помню ту ночь на кладбище: бледная осенняя луна над могильными крестами, огромные страшные тени, причудливые силуэты деревьев, мрачно склонившихся над густой высокой травой и потрескавшимися надгробными плитами, тучи необычно крупных летучих мышей на фоне блеклой луны, поросшие плющом стены древней часовни, ее шпиль, безмолвно указующий на темно-серые небеса, какие-то светящиеся жучки, скачущие в извечной пляске смерти среди зарослей тиса у ограды, запах плесени, гнилости, влажной травы и еще чего-то неопределенного в смеси с ветром, налетающим с дальних болот и моря; но наиболее тягостное впечатление произвел на нас обоих едва слышный в отдалении, но, должно быть, необычайно громкий лай какого-то, по-видимому, огромного пса, хотя его самого не было видно — более того, нельзя было даже примерно определить, с какой стороны этот лай доносится. Тем не менее одного этого звука было вполне достаточно, чтобы задрожать от ужаса, ибо мы хорошо

помнили, что рассказывали в окрестных деревнях: обезображенный труп того, кого мы искали, был несколькими веками раньше найден в этом самом месте. Его растерзала огромными клыками неведомая гигантская тварь.

Я помню, как мы вскрывали гробницу кладбищенского вора, как вздрагивали, глядя то друг на друга, то на могилу; я помню бледную всевидящую луну, страшные гигантские тени, громадных нетопырей, древнюю часовню, танцующие мертвенные огоньки; помню тошнотворные запахи и странный, неизвестно откуда доносившийся лай, в самом существовании которого мы не были до конца уверены. Но вот вместо рыхлой сырой земли лопата ткнулась во что-то твердое, и скоро нашему взору открылся продолговатый полусгнивший ящик, покрытый коркой солевых отложений. Гроб, необыкновенно массивный и крепкий, был все же достаточно старым, а потому нам без особого труда удалось взломать крышку и насладиться открывшимся зрелищем.

Он сохранился очень хорошо, просто на удивление хорошо, хотя пролежал в земле уже пять столетий. Скелет, в нескольких местах поврежденный клыками безжалостной твари, выглядел поразительно прочно. Мы с восхищением разглядывали чистый белый череп с длинными крепкими зубами и пустыми глазницами, в которых когда-то горел такой же лихорадочный, вожделеющий ко всему загробному взгляд, какой отличал ныне нас. Мы нашли в гробу еще кое-что — это был очень любопытный, необычного вида амулет, который покойник, очевидно, носил на цепочке вокруг шеи. Он представлял собою странную фигурку сидящей крылатой собаки, или сфинкса с собачьей головой, искусно вырезанную в древней восточной манере из небольшого куска зеленого нефрита. И все в этой твари служило напоминанием о смерти, жестокости и злобе. Внизу имелась какая-то надпись: ни Сент-Джону, ни мне никогда прежде не доводилось видеть таких странных букв, — а вместо клейма мастера на обратной стороне был выгравирован жуткий стилизованный череп.

Едва увидев амулет, мы поняли, что он непременно должен стать нашим: из всех существующих на свете вещей лишь этот необычайный предмет мог быть достойным вознаграждением за наши усилия. Мы возжелали бы его даже в том случае, если бы он был нам совершенно незнаком; однако, рассмотрев загадочную вещицу поближе, мы убедились, что это не так. Амулет и в самом деле не походил ни на что известное рядовому читателю учебников по истории искусств, но мы сразу узнали его: в запрещенной книге «Некрономикон», написанной безумным арабом Абдулом Альхазредом, этот амулет упоминается в качестве одного из

зловещих символов души в культе некрофагов с недоступного плато Ленг в Центральной Азии. Мы хорошо помнили описание страшного амулета в этом труде арабского демонолога; очертания его, писал Альхазред, отражают таинственные, сверхъестественные свойства души тех людей, которые истязают и пожирают мертвецов.

Мы забрали нефритовый амулет и, бросив последний взгляд на выбеленный временем череп с пустыми глазницами, закрыли гроб, ни к чему более не прикасаясь. Сент-Джон положил наш трофей в карман пальто, и мы поспешили прочь от ужасного места; в последний момент нам показалось, что огромная стая нетопырей стремительно опускается на только что ограбленную могилу. Впрочем, то мог быть всего лишь обман зрения — ведь свет осенней луны так бледен и слаб.

Утро следующего дня застало нас на борту судна, направлявшегося из Голландии в Англию; нам по-прежнему казалось, будто издалека доносится лай огромного пса. Скорее всего, у нас просто разыгралось воображение, подстегнутое нагонявшими тоску и грусть завываниями осеннего ветра.

II

Не прошло и недели со дня нашего возвращения на родину, как начали происходить очень странные события. Мы жили настоящими отшельниками, не имея ни друзей, ни родственников, ни даже слуг, в старинной усадьбе на краю болотистой пустоши, и лишь очень редкий посетитель нарушал наш покой нежданным стуком в дверь. Теперь, однако, по ночам слышались какие-то шорохи и стуки не только у входных дверей, но и у окон, как верхнего, так и нижнего этажа. Однажды вечером (мы тогда сидели в библиотеке) нам обоим даже показалось, что какая-то огромная тень на мгновение заслонила собою заглядывавшую в окно луну; другой раз нам послышалось нечто вроде глухого хлопанья огромных крыльев где-то невдалеке. Наши попытки выяснить, что же все-таки происходит вокруг дома, ничего не дали, и мы приписали все это причудам воображения — в ушах у нас до сих пор стоял отдаленный глухой лай, почудившийся нам во время вылазки на старое голландское кладбище. Нефритовый амулет хранился в одной из ниш в нашем тайном музее, и порою мы зажигали перед ним свечи, источавшие экзотический аромат. Из «Некрономикона» мы почерпнули много новых сведений о свойствах этого магического предмета, о связи духов и призраков с тем, что он символизирует; все прочитанное нами не могло не вселять опасений. Но самое ужасное было впереди.

В ночь на 24 сентября 19_ года я сидел у себя в комнате, когда раздался негромкий стук в дверь. Я решил, конечно, что это Сент-Джон, и пригласил

его войти — в ответ послышался резкий смех. За дверью никого не оказалось. Я бросился к Сент-Джону и разбудил его; мой друг ничего не мог понять и был встревожен не меньше моего. Той же самой ночью глухой далекий лай над болотами обрел для нас ужасающую в своей неумолимости реальность. Четырьмя днями позже, находясь в нашей потайной комнате в подвале, мы услыхали, как кто-то тихо заскребся в единственную дверь, что вела на лестницу, по которой мы спускались в подвал из библиотеки. Мы испытывали в тот момент удвоенную тревогу, ведь кроме страха перед неизвестностью нас постоянно мучило опасение, что кто-нибудь может обнаружить нашу отвратительную коллекцию. Потушив все огни, мы осторожно подкрались к двери и в следующее мгновение резко ее распахнули — но за ней никого не оказалось, и только неизвестно откуда взявшаяся тугая волна спертого воздуха ударила нам в лицо, да в тишине отчетливо прозвучал непонятный удаляющийся звук, представлявший смесь какого-то шелеста, тоненького смеха и бормотания. В тот момент мы не могли сказать, сошли ли мы с ума, бредим ли или все же остаемся в здравом рассудке. Замерев от страха, мы осознавали только, что быстро удаляющийся от нас невидимый призрак что-то бормотал по-голландски.

После этого происшествия ужас и неведомые колдовские чары опутывали нас все крепче и крепче. Мы, в общем, склонялись к тому простому объяснению, что оба постепенно сходим с ума под влиянием своего чрезмерного увлечения сверхъестественным, но иногда нам приходила в голову мысль, что мы стали жертвами немилосердного злого рока. Необычайные явления стали повторяться настолько часто, что их невозможно было даже перечислить. В нашей одинокой усадьбе словно поселилось некое ужасное существо, о природе которого мы и не догадывались; с каждым днем адский лай, разносившийся по продуваемым всеми ветрами пустошам, становился все громче. 29 октября мы обнаружили на взрыхленной земле под окнами библиотеки несколько совершенно невероятных по размерам и очертаниям следов. Гигантские эти отпечатки поразили нас не менее, чем стаи нетопырей, собиравшихся вокруг дома в невиданном прежде и все возраставшем количестве.

Кошмарные события достигли своей кульминации вечером 18 ноября; Сент-Джон возвращался домой с местной железнодорожной станции, когда на него напала какая-то неведомая и ужасная хищная тварь. Крики несчастного донеслись до нашего дома, и я поспешил на помощь, но было уже слишком поздно: на месте ужасной трагедии я успел только услышать хлопки гигантских крыльев и увидеть бесформенную черную тень,

мелькнувшую на фоне восходящей луны. Мой друг умирал. Я пытался расспросить его о происшедшем, но он уже не мог отвечать связно. Я услышал только прерывистый шепот: «Амулет… проклятье…» После чего Сент-Джон умолк навеки, и все, что от него осталось, было недвижимой массой истерзанной плоти.

На следующий день я похоронил своего друга — ровно в полночь, в глухом заброшенном саду, пробормотав над свежей могилой слова одного из тех сатанинских заклятий, которые он так любил повторять при жизни. Прочитав последнюю строку, я вновь услышал приглушенный лай огромного пса где-то вдали за болотами. Взошла луна, но я не смел взглянуть на нее. А чуть погодя в ее слабом свете я увидал огромную смутную тень, перелетавшую с холма на холм, и, не помня себя, без чувств повалился на землю. Не знаю, сколько времени пролежал я там; поднявшись наконец, я медленно побрел домой и, спустившись в подвал, совершил демонический обряд поклонения амулету из зеленого нефрита, лежавшему в своей нише, словно на алтаре.

Было страшно оставаться одному в старом пустом доме на заболоченной равнине, и поутру я отправился в Лондон, прихватив с собой нефритовый амулет, а остальные предметы нашей святотатственной коллекции частью сжег, а частью закопал глубоко в землю. Но уже на четвертую ночь в городе я вновь услышал отдаленный лай; не прошло и недели со времени моего приезда, как с наступлением темноты я стал постоянно ощущать на себе чей-то пристальный взгляд. Однажды вечером я вышел подышать свежим воздухом на набережную Королевы Виктории. Я медленно брел вдоль берега, как вдруг отражение одного из фонарей в воде заслонила чья-то черная тень и на меня неожиданно обрушился порыв резкого ветра. В эту минуту я понял, что участь, постигшая Сент-Джона, ожидает и меня.

На другой день я тщательно упаковал нефритовый амулет и повез его в Голландию. Не знаю, какого снисхождения мог я ожидать в обмен на возврат таинственного талисмана его владельцу, ныне бездвижному и безмолвному. Но я полагал, что ради своего спасения обязан предпринять любой шаг, если в нем есть хоть капля смысла. Что такое был этот пес, почему он преследовал меня — оставалось все еще неясным; но впервые я услышал лай именно на старом голландском кладбище, а все дальнейшие события, включая гибель Сент-Джона и его последние слова, указывали на прямую связь между обрушившимся на нас проклятием и похищением амулета. Вот отчего испытал, я такое непередаваемое отчаяние, когда после ночлега в одной из роттердамских гостиниц обнаружил, что единственное

средство спасения было у меня похищено.

Той ночью лай был особенно громким, а на следующий день из газет я узнал о чудовищном злодеянии. Кровавая трагедия произошла в одном из самых сомнительных городских кварталов. Местный сброд был до смерти напуган: на мрачные трущобы легла тень ужасного преступления, перед которым померкли самые гнусные злодеяния их обитателей. В каком-то воровском притоне целое семейство преступников было буквально разорвано в клочья неведомым существом, которое не оставило после себя никаких следов. Никто ничего не видел — соседи слышали только негромкий гулкий лай огромного пса, не умолкавший всю ночь.

И вот я снова стоял на мрачном погосте, где в свете бледной зимней луны все предметы отбрасывали жуткие тени, голые деревья скорбно клонились к пожухлой заиндевевшей траве и растрескавшимся могильным плитам, а шпиль поросшей плющом часовни злобно рассекал холодное небо, — и над всем этим безумно завывал ночной ветер, дувший со стылых болот и ледяного моря. Лай был едва слышен той ночью, более того, он смолк окончательно, когда я приблизился к недавно ограбленной могиле, спугнув при этом необычно большую стаю нетопырей, которые принялись описывать круги над кладбищем с каким-то зловещим любопытством.

Зачем я пришел туда? Совершить поклонение, принести клятву верности или покаяться безмолвным белым костям? Не могу сказать точно, но я набросился на мерзлую землю с таким остервенением и отчаянием, будто кроме моего собственного разума мною руководила какая-то внешняя сила. Раскопать могилу оказалось значительно легче, чем я ожидал, хотя меня ждало неожиданное препятствие: одна из многочисленных когтистых тварей, летавших над головой, вдруг ринулась вниз и стала биться о кучу вырытой земли; мне пришлось прикончить нетопыря ударом лопаты. Наконец я добрался до полуистлевшего продолговатого ящика и снял тяжелую, пропитанную могильной влагой крышку. Это было последнее осмысленное действие в моей жизни.

В старом гробу, скорчившись, весь облепленный шевелящейся массой огромных спящих летучих мышей, лежал обокраденный нами не так давно скелет, но ничего не осталось от его прежней безмятежности и чистоты: теперь его череп и кости — в тех местах, где их было видно, — покрылись запекшейся кровью и клочьями человеческой кожи с приставшими к ней волосами; горящие глазницы смотрели со значением и злобой, острые окровавленные зубы сжались в жуткой гримасе, словно предвещавшей мне ужасный конец. Когда же из оскаленной пасти прогремел низкий, как бы насмешливый лай и я увидел среди мерзких окровавленных костей

чудовища недавно украденный у меня амулет из зеленого нефрита, разум покинул меня. Пронзительно завопив, я бросился прочь, и вскоре мои вопли напоминали уже скорее взрывы истерического хохота.

Звездный ветер приносит безумие… Эти когти и клыки веками стачивались о человеческие кости… Кровавая смерть на крыльях нетопырей из черных как ночь развалин разрушенных временем храмов Велиала… Сейчас, когда лай мертвого бесплотного чудовища становится все громче, а хлопанье мерзких перепончатых крыльев слышно все ближе у меня над головой, только револьвер сможет дать мне забвение — единственное надежное убежище от того, чему нет названия и что называть нельзя.

Танит Ли

Танит Ли родилась в 1947 году в Лондоне в семье Гилды и Бернарда Ли, исполнителя бальных танцев (не путать с актером, игравшим в фильмах о Джеймсе Бонде). Получив высшее образование (включая год обучения в художественном колледже), она работала делопроизводителем, помощником библиотекаря, продавцом-консультантом и официанткой, а затем решила целиком посвятить себя литературе.

Ее первый рассказ, «Юстас», был опубликован в 1968 году; в 1971-м, работая библиотекарем, она выпустила в свет роман для детей «Клад дракона». Прорывом в писательской карьере Ли стала публикация в 1975 году романа «Восставшая из пепла». С тех пор из-под ее пера вышло более семидесяти романов и двухсот пятидесяти рассказов, написанных в разных жанрах, среди которых — детское и взрослое фэнтези, хоррор, научная фантастика, готические и исторические романы. За время своей писательской деятельности Танит Ли неоднократно получала или номинировалась на различные литературные премии — в том числе Всемирную премию фэнтези, премию Августа Дерлета, премию «Небьюла», а также была почетным гостем ряда конвентов по научной фантастике (включая Британский национальный конвент по научной фантастике и «Орбитал», оба в 2008 году). Поклонники творчества писательницы считают лучшим ее романом «Серебряного любовника» (1981), хотя и у известного цикла «Единорог» («Черный единорог», 1991; «Золотой единорог», 1994; «Алый единорог», 1997) также есть свои приверженцы.

Рассказ «Некусайка, или Флёр де фёр» был впервые опубликован в «Журнале научной фантастики Айзека Азимова» в октябре 1984 года.

Некусайка, или Флёр де фёр

Глава 1

Как велит традиция, из этого окна выглядывает девушка. Рассмотреть что-то непросто. Оконный переплет надежно укреплен свинцом и закрыт железной решеткой. Витраж ящеричной зелени и грозового пурпура в несколько дюймов толщиной. Красного стекла в окне нет. Красный цвет под запретом в замке. Даже солнце за витражом ящерично-зеленое, грозовое солнце.

Девушка мечтает о платье нежнейшего бледно-розового цвета — самого близкого к недозволенному красному. Прекрасные раскосые темные глаза и высокая лилейно-белая шея у нее уже есть. Однако длинные черные волосы спрятаны под пыльным шарфом, и одета она в лохмотья. Она судомойка. Когда она скоблит посуду или протирает каменные полы, она воображает себя принцессой, плывущей по верхним галереям, скользящей к помосту в герцогском зале. Проклятый герцог. Ей так жаль его. Будь он ее отцом, она бы сочувствовала ему, утешала. Его дочь мертва, как и его жена, но об этом — как о связанном с проклятием — никогда не упоминают вслух. Разве что порой окольно.

— Роиз! — слышит она приглушенные голоса, полные скрытого упрека, что вскоре будет высказан.

Судомойка отворачивается от окна и спешит туда, где ее оттреплют за уши, а в руки сунут метлу.

Тем временем Проклятый герцог расхаживает по своим покоям, высоко в Восточной башне, украшенной резными лебедями и горгульями. Комната полна книг, мечей, лютен, свитков и хранит два зловещих портрета: больший изображает его жену, а меньший — дочь. Обе дамы выглядят почти одинаково — бледные овальные лица, блестящие глаза, сцепленные руки. Они ничуть не походят на его жену или дочь и даже не напоминают ему о них.

В башне совсем нет окон, их давным-давно заложили кирпичом и завесили портьерами. Ровно горят свечи. В башне всегда ночь. Только по ночам, разумеется, в ней слышны особенные звуки, к которым герцог привык, хотя они ему и не по душе. По ночам, как и большинство его приближенных, Проклятый герцог залепляет уши размягченным свечным жиром. И все же если он засыпает, то видит сны и во сне слышит хлопанье крыльев… Часто его двор продолжает шумно пировать всю ночь напролет.

Герцог не знает, что Роиз, судомойка, думала о нем. Возможно, он даже не уверен, что судомойки вообще умеют думать.

Вскоре герцог спускается из башни и сходит вниз, по лестницам и извилистым коридорам, в большой, обнесенный стеной сад с восточной стороны замка.

Это очень милый сад, изящный и ухоженный, и садовники поддерживают его в превосходном порядке. За высокими стенами, где вьющиеся стебли усеяны колокольчиками нежных цветков, едва-едва удается различить вершины прокаленных солнцем гор. Но днем они выглядят синими и воздушными и едва ли настоящими. Они могли бы оказаться лишь перьевым наброском на небе.

Приближенные Проклятого герцога прогуливаются по саду, они играют в игры, музицируют или любуются раскрашенными скульптурами и цветами, среди которых нет красных. Но сегодня его двор выглядит обессилевшим. Ночи бурного веселья взимают свою дань.

Когда герцог проходит по саду, придворные почтительно приветствуют его. Он видит их, старых и юных, обреченных, как и он сам, и тяжесть его бремени возрастает.

В дальнем, самом восточном конце сада есть еще один, довольно необычный, он расположен ниже уровня земли и обнесен стеной с железной дверью. Только у герцога есть от нее ключ. Он отпирает ее и проходит внутрь. Придворные смеются и играют, притворяясь, что не замечают этого. Он закрывает дверь за собой.

Утопленный садик, за которым никогда не ухаживал ни один садовник, сам себя поддерживает. Он маленький и квадратный, и в нем нет живых изгородей и дорожек, солнечных часов, статуй и маленьких прудиков. Все, что есть в этом садике, — это широкая кайма из каменных плит, а посередине — небольшой клочок сырой земли. Из почвы пробивается чахлый кустик с тонкими бархатистыми листочками.

Недолгое время герцог стоит и смотрит на куст.

Он навещает его ежедневно. Он навещал его ежедневно годами. Он ждет, когда кустик зацветет. Все этого ждут. Даже судомойка Роиз ждет, хотя ей, всего лишь шестнадцатилетней, рожденной в замке и неграмотной, не вполне ясно зачем.

Свет в маленьком садике тусклый и странный, поскольку он весь накрыт куполом из толстого дымчатого стекла. Из-за этого он производит несколько угнетающее впечатление, хотя сам куст источает приятный запах, немного напоминающий ваниль.

Что-то высечено на каменной кромке клочка земли, где растет куст. Герцог читает эти слова, вероятно, уже в тысячный раз.

«O, fleur de feu…»

Когда герцог возвращается из маленького садика в большой сад, заперев за собой дверь, кажется, что никто этого не замечает. Однако придворные теперь кланяются ему более осмотрительно.

Возможно, однажды он выбежит из скрытого садика, оставив дверь нараспашку и крича в полный голос. Но пока нет. Не сегодня.

Дамы склоняются над яркими рыбками в прудиках, рыцари срывают для них цветы, вызывают друг друга на шахматный поединок или борцовский, обсуждают львов из зверинца; менестрели поют о неразделенной любви. Сад радостей полнится долгим усталым вздохом.

О флёрда фёр

Пурма суффранс… — поет Роиз, оттирая плиты пола в кладовой.

Нед ормей пар

Мэй сэй дэй мвар…

— Что ты там поешь, дрянь? — кричит кто-то и пинком опрокидывает ее ведро.

Роиз не плачет. Она поднимает ведро и тряпкой вытирает пролитую воду. Она не знает, о чем говорится в песне, из-за которой ей, как видно, досталось. Она не понимает слов, как-то, где-то — возможно, у ее покойной матушки — выученных ею наизусть.

За час до заката зал герцога озаряют факелы. В высоких проемах накрепко запираются окна маслянисто-синего и бледно-лилового стекла и стекла цвета грозы и ящериц. Огромное окно за помостом уже давно исчезло, заложенное и завешенное гобеленом из золотой и серебряной материи, с которого срезали все рубины и заменили изумрудами. Он изображает покорение грозного единорога девой и охотников.

Играет танцевальная музыка. Слоняются туда-сюда тощие псы с бледной шерстью, бдительно выглядывая лакомые кусочки, когда блюдо за блюдом вносят в зал. Жареные птицы блистают полным оперением и во второй раз погибают под жадными ножами. Рушатся башни выпечки. Розовые и янтарные плоды, и зеленые и черные, поблескивают рядом с кубками превосходного желтого вина.

Проклятый герцог ест с осторожностью и вниманием, не с удовольствием. Лишь самые юные обитатели замка еще наслаждаются едой, а их здесь не так уж и много.

Мрачное солнце соскальзывает по цветному стеклу. Музыканты играют все громче. Танцоры кружатся все неистовей. На исходе дня зал зазвенит от песен, от барабанов, виол и свирелей. Псы залают, и ни слова не будет обронено иначе чем на крике. Зарычат львы в зверинце. В некоторые ночи с зубчатых стен, теперь уже крытых, пушки стреляют сквозь узкие бойницы, едва их вмещающие, и ядра с грохотом уносятся в темноту.

К тому часу, когда всходит луна и замок сотрясается от шума,

измученная Роиз уже засыпает в своей постели на чердаке. Годами, с заката и до восхода, ничему не доводилось нарушить ее сон. Однажды, еще в детстве, когда ей особенно сильно досталось, боль пробудила ее, и до нее откуда-то сверху донесся странный вкрадчивый скрежет. Но она решила, что это крыса или же птица, да, птица — поскольку позже ей показалось, что она расслышала еще и шум крыльев… И она забыла об этом лет пять назад. Теперь она спит глубоко, и ей снится, что она принцесса, и заодно она забывает о том, как погибла дочь герцога. Такую ужасную смерть лучше забыть.

— Солнце не поразит тебя днем, а луна — ночью, — нараспев произносит священник, закатывая глаза, и его голос колоколом гремит за плечом герцога.

— Нэ мой морде пас, — шепчет Роиз во сне. — Нэ мвар мор пар, нэ пар мор мвар…

И под неприступным куполом чахлый кустик сворачивает пушистые листочки, тоже отходя ко сну. О цветок огня, o fleur de fur. Он цветет, хотя еще не расцвел, и носит древнее имя Nona Mordica. В просторечии его называют некусайкой. И тому есть причины.

Глава 2

Он — принц гордого и жестокого народа. Гордость они признают, но вряд ли считают себя жестокими или по меньшей мере полагают эту жестокость надлежащим порядком вещей.

Феролюц, так его зовут. Это одно из традиционных имен, что дают своим владыкам его сородичи. Его значение связано с демоническим величием и еще с царственным цветком, чьи длинные лепестки изогнуты, словно сабли. Также оно может считаться неполной анаграммой другого имени. Его носитель тоже был крылат.

Ведь Феролюц и его народ — крылатые существа. Более всего прочего они похожи на гнездовье темных орлов, вознесенное высоко среди скальных гребней и пиков гор. Свирепые и величественные, подобно орлам, застыли на уступах хмурые часовые, недвижные, словно изваяния, сложив черные крылья.

Они очень сходны внешне (не род или племя, а скорее стая, стая воронов). И Феролюц таков — чернокрылый, черноволосый, с орлиными чертами, стоящий на краю усеянной звездами бездны, с глазами, пылающими в ночи, как и все глаза на этих скалах, бездонно-алые, словно красное вино.

У них собственные традиции искусства и науки. Они не пишут и не читают книг, не шьют нарядов, не обсуждают Бога, метафизику или людей.

Их крики по большей части бессловесны и всегда загадочны, и вьются по ветру, словно ленты, когда они кружат, и ныряют вниз, и зависают жуткими крестами среди горных вершин. Но они поют, долгими часами или целыми ночами подряд, и в этой музыке кроется язык, известный только им самим. Вся их мудрость и богословие, все их понимание красоты, истины или любви заключены в пении.

Они кажутся не склонными к любви, и они таковы. Безжалостные падшие ангелы. Кочевой народ, они скитаются в поисках пропитания. Пища им — кровь. Найдя замок, они сочли его, каждый его бастион и стену, своими охотничьими угодьями. Они нашли здесь добычу и искали новую годами.

Вначале их зовы и их песни могли выманить жертву для пиршества. Так племя или же стая Феролюца заполучила жену герцога, ходившую во сне, с полуночного балкона. Но дочь герцога, первую жертву, они поймали семнадцать лет назад, когда ночь застала ее на горном склоне. Ее свиту и ее саму они бросили там до восхода — мраморные статуи, из которых выпита жизнь.

Теперь замок закрыт, наглухо заперт засовами и решетками. Их лишь еще больше привлекает его упорство (женщина, которая отказывает). Они не намерены уходить, пока замок не падет перед ними.

По ночам они кружат, словно огромные черные мотыльки, снова и снова, близ резных башен, близ тускло светящихся свинцовых окон, и их крылья подымают сумрачный ветер, громом бьющийся в грозовое стекло.

Они чувствуют, что их приписывают какому-то греху, считают карающим проклятием, возмездием, и это забавляет их в той мере, в какой они это постигают.

Еще они ощущают цветок, Nona Mordica. У вампиров есть собственные легенды.

Но этой ночью Феролюц срывается в воздух, с криком мчится по небу на черных парусах своих крыльев, и зов его подобен хохоту или насмешке. Этим утром, в межвременье перед тем, как затеплилась заря и восходящее солнце прогнало его в тенистое скальное гнездо, он заметил брешь в броне его возлюбленной строптивой добычи. Окно высоко в старой заброшенной башне, окно с маленьким смотровым глазком, давшим трещину.

Вскоре Феролюц подлетает к глазку и дышит на него, как если бы хотел его растопить. (Дыхание его свежо и ароматно. Вампиры не едят сырой плоти, только пьют кровь, безупречную пищу, которая прекрасно усваивается, а их зубы всегда здоровы.) То, как дыхание затуманивает стекло, зачаровывает Феролюца. Но вскоре он уже постукивает в

треснувшее окно, постукивает, а затем скребется. Отлетает осколок, и вот он уже видит, как это следует осуществить.

Над склонами и вершинами замка, в котором Феролюц видит лишь еще одну гору с пещерами, разносится гул герцогского застолья.

Он не обращает внимания. Ему нет нужды в рассуждениях, он просто знает; дальний шум скрывает здешний — с которым он проламывает окно. Переплет обветшал, а решетка тронута ржавчиной. Дело, конечно, не только в этом. Магия Предназначения защитила замок, и, как диктует равновесие, должно существовать или же появиться некое противодействие, какой-то изъян…

Народ Феролюца не замечает, чем он занят. В известном смысле их танец с добычей обесценился до ритуала. Они без малого два десятилетия прожили на крови местных горных зверей и летающих тварей, подобных им самим, настигнутых прямо в воздухе. Терпение в их роду не добродетель. Это своего рода прелюдия, которая при желании может длиться немалое время.

Феролюц протискивается сквозь узкое окно. Для него самого, проворного и стройного, хотя и мускулистого, это не составляет труда. Но крылья причиняют ему хлопоты. Они следуют за ним, поскольку не могут иначе, словно два отдельных существа. Стекло задевает их и слегка режет, и они кровоточат.

Он стоит в тесной каменной комнатке, отряхивая окровавленные перья и ворча, хотя и беззвучно.

Затем он находит лестницу и идет вниз.

Он проходит по пыльным площадкам и заброшенным комнатам. В них не пахнет жизнью. Но затем запах появляется — запах гнезда, стаи существ, диких тварей поблизости. Он узнает его. Свет его алых глаз предшествует ему, рассеивая мрак. И тогда другие глаза, янтарные, зеленые и золотистые, вспыхивают, словно россыпь звезд, на его пути.

Где-то догорает старый факел. Человеческий взгляд различил бы лишь курганы и отблески, но для Феролюца, принца вампиров, внезапно открывается все. Перед ним просторное каменное помещение, огражденное бронзой и железом, и за прутьями кто-то прохаживается и ворчит, или щебечет и спасается бегством, или просто пристально смотрит. И еще, без решеток, но прикованные цепями из желтой меди к медным же кольцам — три бронзовых зверя.

Феролюц на ступенях зверинца смотрит в глаза герцогским львам. Он улыбается, и хищники рычат. Один из них — король, его грива — словно пышный плюмаж на шлеме. Феролюц признает короля и его королевское

право на вызов, поскольку это владения львов, их территория.

Вампир сходит по лестнице и встречает зверя, когда тот прыгает на всю длину цепи. Для Феролюца цепь ничего не значит, а поскольку он подошел достаточно близко, то и для льва тоже.

Принцу вампиров битва видится великолепной: она возбуждает его и наполнена для него смыслом — игра ума, расцвеченная множеством оттенков, но и полная чистой мощи, словно соитие.

Он крепко вцепляется когтями, его сильные конечности оплетают зверя едва ли не более могучего, чем он сам, а тот в ответ обхватывает его. Он вонзает зубы в плечо врага и в свирепой ярости и блаженстве начинает высасывать пищу. Лев бьется и рвет его когтями в ответ. Раны Феролюца пылают, словно пламя, на плечах и бедрах, и он крепче обнимает зверя, и душит в объятиях, и пьет из него, любя его, ревнуя его, убивая его. Постепенно могучее кошачье тело обмякает, все еще цепляясь за противника, его клыки покоятся в одном из прекрасных лебединых крыльев, позабытые обоими.

В мешанине перьев, изодранной кожи, пролитой крови, лев и ангел лежат в объятиях на полу зверинца. Зверь поднимает голову, целует убийцу, содрогается, отпускает.

Феролюц выскальзывает из-под тяжко навалившейся на него мертвой кошки. Он встает. И боль набрасывается на него. Его возлюбленный жестоко изранил его.

На другом конце зверинца припали к полу две львицы. Позади них, за угасающим факелом, стоит человек, пораженный чистейшим ужасом. Он пришел накормить зверей, и увидел иное кормление, и теперь не может стронуться с места. Он глух, смотритель зверинца, что ранее было его преимуществом, хранящим его от ужаса перед ночными вампирскими кличами.

Феролюц кидается к человеческому существу быстрее, чем змея, и замирает. Мучительная боль охватывает его, и каменная комната вертится волчком. Невольно, ошеломленный, он расправляет крылья, чтобы взлететь, там, в замкнутом помещении. Но раскрывается лишь одно из них. Второе, израненное и надломленное, повисает, словно треснувший веер. И тогда прекрасным мелодичным напевом отчаяния и гнева звучит крик Феролюца. Он падает, обессилев, к ногам смотрителя.

Человек больше не медлит. Он бежит по замку, выкрикивая проклятия и молитвы, и добирается до герцогского зала, и весь зал прислушивается к его словам.

Все это время Феролюц падает в бездну на грани жизни и смерти, то

ли сон, то ли обморок обволакивает его, а меньшие звери в клетках судачат о нем — или так лишь кажется.

И когда его поднимают, вампир не приходит в себя. Лишь огромные поникшие окровавленные крылья содрогаются и замирают. Те, кто несет его, более обычного охвачены отвращением и страхом, поскольку нечасто видели кровь. Даже пища для зверинца пропекается едва ли не дочерна. Два года назад садовник поранил ладонь о шип. Его на неделю отстранили от двора.

Но Феролюц, средоточие столь пристального внимания, не пробуждается. Не раньше, чем остаток ночи просачивается сквозь стены прочь. Тогда какой-то мощный инстинкт тревожит его. Солнце близится, а вокруг открытое место, он прорывается сквозь забытье и боль, сквозь плотные глубочайшие воды, к сознанию.

И обнаруживает себя в огромной бронзовой клетке, клетке какого-то зверя, приспособленной к случаю. Всюду, куда ни посмотри, прутья, от них не избавиться, и тщетно он пытается вырвать их. За прутьями герцогский зал, что представляется ему лишь бессмысленным холодным блеском в дымке боли и умирающих огней. Не открытое место, по сути, но слишком открытое для его рода. Сквозь толстые стекла окон внутрь проникнет тусклое сияние солнца. Для Феролюца оно будет подобно мечам, кислоте и жгучему пламени…

Вдалеке он слышит биение крыльев и высокие голоса. Его народ ищет его, зовет, и кружит, и ничего не находит.

Феролюц кричит, теперь гневно и пронзительно, и собравшиеся в зале отшатываются от него, взывая к Господу. Но вампир этого не видит. Он попытался ответить сородичам. Теперь он вновь оседает под покровом сломанных крыльев, и винно-красные звезды его глаз гаснут.

Глава 3

И ангел смерти, — нараспев произносит священник, — непременно пролетит мимо, хотя и как тень, а не нечто вещественное…

Разбитое окно в старой башне над зверинцем запечатали кирпичом и известкой. Ужасно, что бреши так долго никто не замечал. Чудо, что лишь одна из тварей нашла ее и проникла внутрь. Господь, защитник наш, уберег Проклятого герцога и его двор. И магия, что окружает замок, тоже держалась крепко. Однако из возможной беды родился великолепный цветок: теперь одно из чудовищ в их власти. Бесценная награда.

Беспомощный, запертый в клетке, теперь демон в их милости. Он слаб после битвы с благородным львом, что отдал жизнь за безопасность замка (и будет погребен с почестями в пышно убранной могиле в ногах

фамильной гробницы герцога). Перед самой зарей по слову советников герцога бронзовую клетку убрали в темнейшую часть зала, близко к помосту, где некогда было огромное окно, но теперь уже нет. Принесли множество ширм, и расставили вокруг клетки, и накрыли ее сверху. Теперь солнечный свет не сможет просочиться в темницу и причинить вред узнику. Лишь дамы и рыцари герцога заглядывают за ширмы и рассматривают при свечах демона, все еще лежащего в забытьи от боли и потери крови. Алхимик герцога сидит рядом на табурете, диктуя заметки боязливому ученику. Алхимик — и аптекарь, раз уж на то пошло — убеждены, что вампир, выпивший льва почти досуха, оправится от ран. Даже крылья исцелятся.

Придворный живописец герцога тоже приходил, но вскоре устыдился и ушел. Красота демона тронула его, и он возжаждал нарисовать его, и не как нечто до крайности омерзительное, но как существо, в чем-то превосходящее человека, полное жизни и невинное, или как самого Люцифера, пораженного мукой великого Падения. И все это побудило художника, не более чем ремесленника, жалеть падшего, так что он выскользнул прочь. Он знает, поскольку алхимик и аптекарь сказали ему, что должно свершиться.

Разумеется, многие в замке знают. Хотя едва ли кто-нибудь спал или пытался уснуть, все здание звенит от волнения и оживления. И также герцог повелел, чтобы любой, кто пожелает, мог присутствовать. Так что теперь он проходит по замку, заглядывая в каждый угол и каждую щель, а тем временем, стоит упомянуть, его зодчий пользуется случаем проверить, не треснуло ли еще какое-нибудь оконное стекло.

От комнаты к комнате идет герцог, сопровождаемый свитой, по галереям и лестницам, через пыльные чердаки и затхлые кладовые, которых никогда прежде не видел, а если и видел, то забыл. Тут и там ему встречаются слуги. Нескольких пожилых женщин находят под самой крышей, прядущих, словно пауки, полуслепых и почтительных. Они склоняются перед господином из смутного воспоминания о старой привычке. Герцог объявляет им добрые вести, или, скорее, его вестник, выйдя вперед, оглашает их. Древние старухи вздыхают и шепчутся, и их оставляют и, вероятно, забывают. И снова, в узком дворике, новость торжественно сообщают мальчишке-дурачку, что присматривает за голубятней. От испуга, ничего не поняв, тот заходится в припадке; и голуби, любящие и понимающие его (поскольку и не пытаются), слетают вниз и укрывают его мягкими крыльями, когда герцог удаляется. Мальчик лежит под птичьими тельцами, словно в сугробе теплого снега, утешенный.

На одной из темных лестниц над кухней блистательная процессия огибает поворот и застает Роиз, судомойку, за мытьем пола. В эти дни, когда так мало детей и младших слуг, рук не хватает, и судомойки заняты не только на кухне.

Роиз встает, бледная от потрясения, и на какое-то жуткое мгновение решает, что герцог явился лично обезглавить ее за некую ужасную провинность, совершенную ею по неведению.

— Услышь же, по воле герцога, — объявляет глашатай. — Один из сатанинских ночных демонов, терзающих нас, был пленен и лежит в клетке в герцогском зале. Завтра на восходе это создание будет доставлено в священное место, где растет цветок огня, и там прольется его нечистая кровь. И кто тогда усомнится, что куст расцветет, спасая нас всех, по милости Господней.

— И ангел смерти, — нараспев произносит священник, не упуская ни единой возможности, — непременно…

— Погодите, — перебивает герцог, белый, словно Роиз. — Кто это? — спрашивает он. — Это призрак?

Свита пристально глядит на девушку, которая едва не оседает от ужаса, сжимая в руках половую тряпку.

Постепенно, несмотря на тряпку, на лохмотья, на огрубевшие руки, придворные тоже замечают.

— Да это же чудо.

Герцог выходит вперед. Он смотрит на Роиз сверху вниз и начинает плакать. Девушка думает, что это слезы сострадания из-за жуткого приговора, который он прибыл исполнить над ней, и падает на колени.

— Нет, нет, — ласково говорит герцог. — Встань. Поднимись. Ты так похожа на мое дитя, мою дочь…

Тогда Роиз, знающая мало молитв, взамен в ужасе начинает петь свою песенку:

Oh fleur de feu

Pour ma souffrance…

— Ах! — вскрикивает герцог. — Откуда ты знаешь эту песню?

— От своей матери, — отвечает Роиз и, ведомая каким-то внутренним чувством, поет снова:

О флёрда фёр

Пурма суффранс

Нед ормей пар

Мэй сэй дэй мвар…

Это песня о кусте огнецвета, Nona Mordica, прозванного некусайкой. В

ней говорится: «О цветок огня, ради невзгод моих, не спи, но мне помоги — пробудись!» Дочь герцога часто пела ее. В те дни куст, в котором не было нужды, считался лишь замковой диковиной. Но сама песенка, повторяемая, словно заклинание, на горной дороге, оказалась бесполезной.

Герцог снимает грязный шарф с волос Роиз. Она очень, очень похожа на его покойную дочь: тот же бледный гладкий овал лица, высокая белая шея, и большие блестящие темные глаза, и длинные черные волосы. (Или дело в том, что она очень, очень похожа на картину?)

Герцог отдает распоряжения, и Роиз уводят.

В прелестной комнате, дверь которой была заперта семнадцать лет, ее выкупали и вымыли ей волосы. В ее кожу втерли масла и духи. На ней платье нежнейшего розового цвета с поясом, расшитым жемчугами. Ее волосы расчесаны, и на них водружен венец со звездами и мелкими золотыми листочками.

— Ох, бедные твои ручки, — причитают служанки, подстригая ей ногти.

Роиз поняла, что ее не казнят. Она поняла, что герцог заметил ее и пожелал любить, как свою покойную дочь. Медленно какое-то беспокойство, не вполне счастье, охватывает Роиз. Теперь она будет носить собственное розовое платье, теперь она будет сочувствовать герцогу, утешать его. Ее вдруг охватывает покой.

Мечта стала явью. Она так часто рисовала это в своих мыслях, что почти не удивилась. Кухня никогда не представлялась ей чем-то настоящим.

Она скользит по замку, и дамы поражены ее изяществом. Посадка ее головы под звездным венцом безупречна. Ее голос тих, чист и мелодичен, и чужеземная манера ее матери, давно забытая, полностью оставила его. Лишь огрубевшие руки выдают ее, но, смягченные мазями, вскоре и они станут нежными и белыми.

— Возможно ли, что она и впрямь принцесса, вернувшаяся во плоти?

— Ее жизнь отняли так рано — да, как верят в землях пряностей, волею провидения она могла вернуться.

— Она примерно в том возрасте, как; если бы была зачата в ту самую ночь, когда дочь герцога у… То есть в ту ночь, когда нас постигло проклятие…

Разражаются богословские диспуты. Слагаются песни.

Вот уже некоторое время Роиз сидит со своим приемным отцом в Восточной башне, и он рассказывает ей о книгах и мечах, лютнях и свитках, но только не о двух портретах. Затем они вместе выходят в

прелестный сад, залитый солнечным светом. Они сидят под персиковым деревом и обсуждают многие вопросы, или это герцог их обсуждает. То, что Роиз невежественна и неграмотна, ничего не значит. Ее всегда можно будет обучить. Она соответствует основным требованиям — послушание и кротость. Многие девицы королевской крови во многих странах знают не более, чем она.

Герцог засыпает под персиковым деревом. Роиз слушает песни о любви, что преподносят ей ее (именно ее собственные) придворные.

При упоминании о чудовище в клетке она кивает, как если бы знала, о чем идет речь. Она предполагает, что это нечто ужасное, пугающая забава, которую покажут за ужином, после заката.

Когда солнце склоняется к западной цепи гор, едва виднеющихся из-за высоких стен, придворные стекаются в замок и все двери запираются на замки и засовы. Этим вечером они собираются с особым рвением.

И стоит свету угаснуть за цветными стеклами, среди которых нет красных, как ширмы и покрывала убирают с бронзовой клетки. Ее выкатывают на середину огромного зала.

Почти сразу из бойниц начинают с грохотом палить пушки. Канонирам даны строжайшие распоряжения вести огонь всю ночь без секундной передышки.

В зале гремят барабаны. Псы начинают лаять. Роиз не удивлена шумом, поскольку часто слышала его сверху, со своего чердака, словно морской прибой, вновь и вновь накатывающий на дом внизу.

Она с опаской смотрит на клетку, гадая, что же обнаружит там. Но видит лишь груду, черную, словно воронье, и еще матовый отблеск факелов на чем-то, похожем на человеческую кожу.

— Тебе не следует спускаться вниз и смотреть, — заботливо предупреждает герцог, когда его придворные стекаются к клетке.

Кто-то тычет меж прутьев украшенной самоцветами тростью, пытаясь пробудить чудовище, что лежит там недвижно. Но Роиз следует избавить от этого зрелища.

Так что герцог призывает актеров, и легкая прелестная пьеска разыгрывается на протяжении всего ужина перед помостом, заслоняя от глаз девушки остальной зал, где жестокое торжество и издевки двора неудержимо нарастают.

Глава 4

Принц Феролюц приходит в сознание в мгновение ока. Его пробуждает шум — слышный сквозь все прочие звуки — крыльев его народа, бьющегося о камни замка. Крылья говорят ему больше, чем их

дикие многозвучные голоса. В сравнении с этим чувством мука исцеления и жестокость человеческого рода не значат ничего.

Феролюц открывает глаза. Его зрители-люди, обрадованные, но испуганные и брезгливые, пятятся и в двухтысячный раз спрашивают друг друга, надежна ли клетка. В свете факелов его глаза скорее черные, чем красные. Он озирается. Хотя и пленный, он величествен. Будь он львом или быком, они бы восхитились его «благородством». Но он слишком похож на человека, что невыносимо подчеркивает сверхъестественные отличия.

Вампир явно осознает суть своего бедственного положения. Враги заперли его. Пока что он зрелище, но в конце концов будет убит, как подсказывает ему чутье хищника. Он думал, что его уничтожит солнце, но теперь смерть отдалилась. И, превыше всего прочего, кличи и голоса крыльев его сородичей рассекают воздух снаружи этой каменной горы, изрытой пещерами комнат.

Так что Феролюц начинает петь, или, по крайней мере, так это воспринимают неистовые придворные и все люди, собравшиеся в зале. Кажется, что он поет. Это великий клич, каким говорит меж собой его племя, искусство, наука и религия крылатых вампиров, его способ сообщить сородичам или же попытаться сообщить то, что они должны узнать, прежде чем он умрет. Так пел его отец, и дед, и каждый из его предков. Большинство из них умерли в полете, падшими ангелами ныряя в глубокие ущелья, вдоль огромных ступеней далеких вершин, не обрывая песни. Феролюц, заточенный, верит, что его клич будет услышан.

Толпе в герцогском зале это пение кажется всего лишь пением, но как же оно великолепно. Мрачный серебряный голос, обращающийся в бронзу и золото, белеющий на самых высоких нотах. Кажется, что в песне слышны слова, но язык этих слов неведом. Так, должно быть, поют планеты или таинственные порождения моря.

Все ошеломлены. Все слушают в изумлении.

И поэтому никто не возражает, когда Роиз поднимается и сходит с помоста вниз. Словно некие чары препятствуют движению или связным мыслям. Из всех людей, столпившихся в зале, лишь ее одну тянет вперед. Так что она беспрепятственно подходит ближе и сквозь прутья клетки впервые видит вампира.

Она не имеет представления, каким он может оказаться. Она воображала его чудовищем или же безобразным зверем. Но он не то и не другое. Роиз, так изголодавшаяся по красоте и всегда мечтавшая о ней, неизбежно узнает в Феролюце часть собственной воплощенной мечты. Она тотчас же любит его. И, поскольку любит, не боится его.

Она стоит там, пока он длит и длит свою великолепную песнь. Он не видит ее вовсе, и никого из них. Они лишь обстоятельства, как мгла или боль. В них нет ни характера, ни личности, ни достоинств — они абстрактны.

Наконец Феролюц умолкает. За камнем и толстым стеклом крепости хлопанье крыльев тоже сменяется тишиной.

Вдруг осознав, что были скованы чарами, наделившими их немотой посреди ночи, приближенные герцога одновременно спохватываются, визжа и крича, взрываясь звуком, восполняющим тишину. Вновь гремит музыка. И пушки в бойницах, тоже притихшие, пробуждаются с душераздирающим грохотом.

Феролюц закрывает глаза и словно бы засыпает. Так он готовится к смерти.

Роиз подхватывают руки.

— Госпожа, отступите подальше, уйдите в сторону. Так близко! Оно может вам повредить…

Герцог заключает ее в отеческие объятия. Роиз, не привычная к подобному проявлению чувств, остается равнодушной. Она рассеянно поглаживает его.

— Мой господин, что станется с ним?

— Тише, дитя. Лучше тебе не знать.

Роиз упорствует.

Герцог упорствует в молчании.

Но она вспоминает слова глашатая на лестнице и понимает, что они намерены убить крылатого человека. Тогда она внимательнее прислушивается к обрывкам причудливых бесед в зале и узнает то, что ей нужно. С первыми лучами солнца, как только враги отступят от стен, пленника доставят в прелестный сад с персиковыми деревьями. И далее — в утопленный садик с волшебным кустом, огнецветом. И там его вздернут на солнце, просачивающемся сквозь купол дымчатого стекла, что само по себе станет для него медленной гибелью, но также и ранят его, дабы его кровь, украденная кровь вампира, оросила корни fleur de feu. И кто усомнится, что от такого питания куст расцветет? Цветы станут избавлением. Где бы они ни росли, там безопасно. Кто бы ни носил их, его не коснутся иссушающие укусы демонов. Некусайкой прозвали его в народе — цветок, отпугивающий вампиров.

Остаток ночи Роиз сидит на подушках, сложив руки, напоминая портрет принцессы, что вовсе на нее не похоже.

В конце концов небо снаружи меняется. За стенами нисходит тишина,

и в замке тоже, и двор поднимает голову — словно единый зверь во многих телах, почуявший день.

Стоит забрезжить намеку на рассвет, и черная напасть снимается с места и исчезает, словно ее никогда и не было. Герцог и почти весь его замок, полный мужчин, женщин и детей, высыпают за двери. Небо необъятное и голубовато-серое, с вишневым просветом на востоке — двор именует его лиловым, поскольку зори здесь никогда не окрашены ни в единый оттенок красного.

Они проходят через тускло освещенный сад, когда тают последние звезды. Клетку они волокут с собой.

Они, люди герцога, слишком устали, слишком сосредоточены, чтобы по-прежнему дразнить узника. У них была вся долгая ночь, чтобы предаваться этой забаве и чтобы пить и рассуждать, а теперь они набрались решимости для заключительного действа.

Подойдя к тайному садику, герцог отпирает железную дверь. Внутри нет места для всех, так что большинству приходится остаться снаружи, и они толпятся в воротах или же пошатываются на нагроможденных скамьях, расставленных вокруг, и заглядывают внутрь поверх стен сквозь стекло купола. Разумеется, места в дверном проеме лучшие — отсюда открывается наиболее полный вид. Слугам и низшим по положению приходится встать поодаль, под деревьями, и лишь воображать происходящее. Но они к этому привычны.

В сам утопленный садик допущены алхимик, и аптекарь, и священник, и надежные крепкие солдаты, сопровождающие герцога, и сам герцог. И Феролюц в клетке.

Восток уже весь лилов. Алхимик подготовил колдовские предосторожности, кои теперь и применяет, а священник, не упуская ни единой возможности, нараспев читает молитвы. Могучие солдаты открывают клетку и хватают чудовище, прежде чем оно шевельнется. Но узилище уже окурено дурманящим дымом, и, помимо того, пленник приготовился к неизбежной смерти и не противится.

Феролюц висит в руках ненавидящих его стражей, смутно сознавая близость солнца. Но смерть еще ближе, и уже можно услышать, как ученик алхимика заканчивает затачивать нож.

Листья Nona Mordica дрожат от предвкушения света и начинают разворачиваться. Хотя это повторяется с каждой утренней зарей, придворные встречают пробуждение цветка с воодушевленными возгласами. Роиз, занявшая место в дверном проеме, тоже смотрит туда, но лишь мгновение. Хотя она с детства пела о флёр де фёр, она так и не

узнала, о чем эта песня. И точно так же, хотя она и мечтала всю жизнь о том, чтобы сделаться дочерью герцога, происшедшего она так по-настоящему и не осознала, так что оно не много для нее значит.

Когда стражи подтаскивают демона к клочку сырой земли, где растет кустик, Роиз врывается в утопленный садик, и в ее ладонях сверкает молния. Женщины визжат, и неудивительно. Девушка похитила один из мечей из Восточной башни и теперь взмахивает им, и солдат падает, истекая красным, красным — красным! — прямо на их глазах.

Входит хаос, как в старой пьесе, всплескивая изорванными рукавами. Люди, державшие демона, отшатываются в ужасе перед взмахами клинка, и нечестивой кровью, и безумной девушкой в платье принцессы. Герцог что-то жалобно скулит, но никто не обращает на него внимания.

Восток накаляется, растекаясь пылающей жидкостью по земле.

Тем временем, словно в насмешку, сплетенные ощущения нового дня и пролитой горячей крови вторгаются в оцепеневший разум вампира. Его глаза открываются, и он видит девушку, и веер алых брызг, что срывается с меча в ее руке, и тогда отступает последний страж. Она бросается к Феролюцу. Хотя, или же поскольку, ее лицо безумно, оно сообщает о ее намерениях, когда она вкладывает рукоять меча в его ладони.

Никто не решается приблизиться ни к демону, ни к девушке. Они лишь смотрят в ужасе и с трепетом осознают то же, что понял Феролюц.

В этот миг вампир взмывает вверх, и огромные лебединые крылья на его спине вновь исцелены и невредимы. Как и предсказали доктора, он полностью поправился, и непомерно быстро. Он беспрепятственно срывается в воздух, словно стрела, как будто земного притяжения больше не существует. И тут же девушка обнимает его за талию и, хрупкая и легкая, взлетает вверх вместе с ним. Он не смотрит на нее, но направляется к дверному проему, прорывается сквозь него, мечом, когтями, крыльями, даже собственной тенью разметывая людей и кирпичи со своего пути.

И вот он уже в небе над ними, черная звезда, так и не угасшая. Они видят, как плещут и бьются крылья и как развевается платье девушки и ее распущенные волосы, а затем это видение ныряет вниз и скрывается в тени гор, и восходит солнце.

Глава 5

Это удача, что гора с рассветом накрывает его тенью. Львиная кровь и вынужденная неподвижность сотворили чудо, но солнце может убить его. К счастью, тень, глубокая и холодная, словно омут, обнимает вампира, и в ее пределах отыскивается пещера, еще глубже и холоднее. Здесь он приземляется и оседает, стряхивая девушку, о которой почти успел забыть.

Разумеется, он не боится ее. Она похожа на ручного зверька, словно охотничьи псы, или волки, а может, ястребы, которых время от времени держала при себе стая вампиров. Все, что ему нужно знать, — что она помогла ему. И поможет снова. Так что когда, спотыкаясь в темноте, она приносит ему в горстях воды из источника в глубине пещеры, он не удивляется. Он пьет воду, единственное вещество кроме крови, которое поглощает его род. Затем он рассеянно гладит ее волосы, как мог бы приласкать ручное животное, каковым она, как видно, и стала для него. Он не признателен, как и не насторожен. Его разум поглощен иными вопросами. Обессилев, он засыпает, и, поскольку Роиз тоже измучена, она засыпает с ним рядом, прижимаясь к его теплому телу в леденящей темноте. Как и у принца вампиров, как выясняется, ее мысли незамысловаты. Ей грустно, что она огорчила Проклятого герцога. Но она не сожалеет о содеянном, поскольку не могла позволить Феролюцу умереть — как не могла и отказаться покинуть кухню ради двора.

День, едва начавшийся, во сне пролетает быстро.

Феролюц просыпается после захода солнца, не увидев его. Он встает и идет к выходу из пещеры, который теперь открывается в полное небо звезд над горами. Замок остается далеко внизу и невидим для глаз Роиз, когда она встает рядом. Она даже не ищет его, поскольку ей и без того есть на что посмотреть.

Огромные темные силуэты ангелов кружат, заслоняя вершины и звезды. И там, в сверкающей вышине, зарождается их песня. Это погребальный плач, их скорбь, безжалостная и сильная, по принцу, погибшему в каменном сердце их охотничьих угодий.

Его народ не смеется, но, как и для птиц или для диких зверей, для них есть нечто равнозначное смеху. Такой звук издает теперь Феролюц и, словно пущенное копье, взмывает в воздух.

Роиз у входа в пещеру, покинутая, забытая, незамеченная даже стаей вампиров, следит за крылатым человеком, пока он летит к своим сородичам. На миг она допускает, что сумеет украдкой спуститься вниз по извилистым горным тропам. Но куда ей идти? Она не тратит много времени на эти размышления. Они не занимают и не увлекают ее. Она следит за Феролюцем и, поскольку давно уже узнала о бесполезности слез, не плачет, хотя ее сердце начинает разрываться.

Пока принц скользит — его тело неподвижно, крылья расправлены, ловя нисходящий воздушный поток, — в самый вихрь черного оперения, алые звезды глаз вспыхивают вокруг него. Скорбный плач стихает. Воздух неподвижен.

Тогда Феролюц ждет. Он ждет, поскольку настрой его народа не похож на то, каким он всегда знал его. Как если бы он ворвался в пустоту. Так что из тишины, но не из чего-то иного он узнает все. В каменной клетке лежал он и пел о своей смерти, как и подобает умирающему принцу. И ритуал был завершен, и теперь за ним следуют плач, и скорбь, а затем избрание нового владыки. И ничто из этого не подвластно переменам. Он мертв. Мертв. Так есть, и так будет, и ничто не изменит этого.

На миг Феролюц протестует. Возможно, это краткое пребывание среди людей отчасти научило его их тщете. Но стоит лишь крику сорваться с его губ, как вокруг него, словно мечи, вздымаются огромные крылья. Когти, зубы и глаза вспыхивают в свете звезд. Протестовать значит быть растерзанным в клочья. Он им больше не сородич. Они могут наброситься на него и убить, как и любое существо, ставшее им помехой. Уходи, говорят ему когти, и зубы, и глаза. Убирайся прочь.

Он мертв. Ему не остается ничего, кроме как умереть.

Феролюц отступает. Он набирает высоту. В замешательстве он ощущает мощь и послушание своего тела и радость полета и не может понять, как это возможно, если он мертв. И все же он мертв. Теперь он знает это.

Так что он опускает веки и складывает крылья. Он падает, словно копье. Но кто-то кричит, прерывая отрешенность его отрицания. Потревоженный, он расправляет крылья, содрогается, разворачивается, словно пловец, обнаруживает сбоку уступ и две протянутые руки, цепляющиеся за его плечо и волосы.

— Нет, — просит Роиз.

(Туча вампиров, уносящаяся прочь, не слышит ее, а она не думает о них.) Его глаза остаются закрыты. Цепляясь за него, она целует его веки, лоб, губы, нежно, а ее ногти вонзаются в его кожу, чтобы удержать его. Черные крылья бьют в неистовой жажде освободиться, и упасть, и умереть.

— Нет, — повторяет Роиз. — Я люблю тебя, — продолжает она, — Моя жизнь принадлежит тебе.

Это слова двора и придворных песен о любви. Тем не менее она верит в них. И хотя он не может понять ее языка или ее чувств, все же ее страсть, чистая как есть, говорит сама за себя, сильная и жгучая, как страсти его народа, обыкновенно любящего лишь одно — и это одно алого цвета. На миг она заполняет поглотившую его пустоту. Но затем он бросается прочь с уступа чтобы снова падать, снова искать смерти.

Словно лента все еще цепляясь за него, Роиз срывается со скалы и падает вместе с ним.

Испуганная, она прячет лицо в его груди, в тени крыльев и волос. Она больше не просит его передумать. Так и должно быть.

«Люблю», — вновь думает она за миг до того, как они ударятся оземь.

Затем этот миг наступает — и проходит.

Пораженная, она обнаруживает, что все еще жива, все еще в воздухе. Едва не коснувшись скал, так что на них остались перья, Феролюц отклонился в сторону и вверх. Теперь они уносятся обратно ввысь, к самым звездам. Кажется, мир остался многими милями ниже. Возможно, они улетят прямо в небеса. Возможно, теперь он собирается разбиться о холодное лицо луны.

Он не пытается избавиться от нее, не пытается больше упасть и умереть. Но в полете он время от времени кричит, ужасным, потерянным, безумным криком.

Они не ударяются о луну. Они не проносятся мимо звезд, словно мимо замершего дождя.

Но когда воздух становится разреженным и чистым, на их пути оказывается подобная кинжалу вершина. Здесь он приземляется. Как только Роиз выпускает его, он отворачивается. Он становится, словно часовой, по обыкновению своего племени, на самой вершине пика. Но ни за чем не следит. Он не сумел выбрать смерть. Его сила и чужая воля помешали ему. В его разуме воцарилась бесформенная темнота. Его глаза сверкают, не видя ничего.

Роиз, слегка задыхаясь в разреженном воздухе, сидит у него за спиной, смотрит на него, на случай, если ему будет что-то угрожать.

И наконец угроза является. Восток светлеет. Промерзшее вздыбленное море гор внизу и вокруг постепенно проступает из темноты. Это восхитительное зрелище, но Роиз оно не восхищает. Она отводит взгляд от изящно вычерченных силуэтов, кажущихся тонкими и прозрачными, словно бумага, от рек тумана между ними, от мерцания перламутрового льда. Она ищет тенистое убежище, в котором можно спрятаться.

Когда она возвращается, в небе уже зияет бледно-желтая рана. Она хватает Феролюца за запястье и тянет его за собой.

— Идем, — просит она.

Он смотрит на нее рассеянно, словно видит ее с берега другой страны.

— Солнце, — поясняет она. — Быстрее.

Лезвие света, словно бритва, полосует его тело. Теперь инстинкт понукает его, и он спускается следом за ней со скользкого острия вершины и в конце концов — в неглубокую пещеру. Она так тесна, что заключает его, словно гроб. Роиз заслоняет вход собственным телом. Это лучшее, что

она может сделать. Она сидит лицом к солнцу, когда то восходит, словно изготовившись к битве. Ради него она ненавидит солнце. Даже когда свет согревает ее продрогшее тело, она проклинает его. Пока свет, и холод, и скудный воздух все вместе не меркнут.

Когда она пробуждается, она смотрит в сумрак и бесчисленные звезды, две из которых красные. Она лежит на скале у пещеры. Феролюц склоняется над ней, а за его спиной его неподвижные крылья застилают небо.

Она так в полной мере и не осознала его естество — естество вампира. И все же ее собственное естество, говорящее ей столь многое, сообщает ей, что ему необходима некая жизненно важная часть ее самой и что он опасен и смертоносен. Но она любит его и не боится. Она готова была разбиться насмерть с ним вместе. Помочь ему ценой собственной жизни не кажется ей неправильным. Так что она лежит неподвижно и улыбается ему, чтобы уверить, что она не станет бороться. От усталости, не от страха, она закрывает глаза. Вскоре она ощущает мягкую тяжесть его волос, скользящих по ее щеке, а затем его прохладный рот касается ее горла. Но больше ничего не происходит. На некоторое время они замирают так, она — уступая, он — склоняясь над ней, его губы на ее коже. Затем он чуть отстраняется. Садится, рассматривая ее. Она, понимая, что нечто неведомое так и не свершилось, садится тоже. Она безмолвно манит его, жестами и выражением лица говоря ему «Я согласна. Ты можешь делать со мной все, что захочешь». Но он не двигается. Его глаза пылают, но даже это ее не пугает. В конце концов он отводит взгляд и смотрит в бездонную темноту.

Он и сам не понимает. Пить из тела ручного зверя, волка или орла допустимо. Даже убить такового, если потребует нужда. Возможно ли, что, изгнанный собственными сородичами, он утратил их единую душу? Значит, теперь он бездушен? Ему так не кажется. Несмотря на слабость и голод, вампир ощущает неистовое биение жизни. Когда он смотрит на создание, предназначенное ему в пищу, он обнаруживает, что видит ее иначе. Он нес ее по небу, он избежал смерти, каким-то неосознанным образом, ради нее, и она привела его в безопасное место, защитила от лезвий солнца. И вначале именно она спасла его от схвативших его человеческих существ. Значит, она не может быть человеком. Она не ручной зверек и не добыча. И если так, он не может выпить ее кровь, как не стал бы набрасываться на собственных сородичей, даже в сражении, чтобы насытиться. Он начинает воспринимать ее красоту, не как мужчина видит женщину, разумеется, но как его народ преклоняется перед блеском воды в

сумраке, или полетом, или пением. Для этого не существует слов. Но жизнь продолжает биться в нем Жизнь, хотя он и мертв.

Наконец восходит луна, и что-то проносится мимо, заслоняя ее свет. Феролюц не настолько быстр, как бывал прежде, и все же он бросается в погоню, ловит и повергает, убивает прямо в полете огромную ночную птицу. Извернувшись в воздухе, он высасывает из нее соки. Жар жизни, как и ее торжество, струится по его телу. Он возвращается на скальный уступ, прекрасная птица, обмякнув, висит в его руке. Он бережно разрывает ее великолепие на части, ощипывает перья, расщепляет кости. Он будит свою спутницу (снова уснувшую от слабости), которая не ручной зверек и не добыча, и скармливает ей кусочки плоти. Поначалу она не хочет есть. Но голод ее столь велик, а естество столь дико, что вскоре она принимает волоконца сырой дичи.

Подкрепленный кровью, Феролюц поднимает Роиз и несет ее, скользя вниз над рассеченной лунным светом, ощетинившейся страной гор, пока не показывается каменная впадина, полная холодной воды после былых дождей. Здесь они вместе пьют. Бледные, почти белые примулы пробиваются в трещинах, заросших черным мхом. Роиз плетет венок и надевает его на голову возлюбленного, когда он этого не ожидает. Озадаченный, но полный презрения, он трогает венок, проверяя, не представляет ли тот угрозы и не стесняет ли его. Когда выясняется, что нет, он оставляет его на месте.

На этот раз задолго до зари они находят расщелину. Поскольку там холодно, он укрывает ее собственными крыльями. Она говорит ему о своей любви, но он не слышит, лишь журчание ее голоса, мелодичное и не досаждающее ему. А позже она сонно поет ему песенку об огнецвете.

Глава 6

Тогда настает время, недолгое, неизмеренное, неведомое время, когда они, эти два создания, вместе. Не вместе в каком-то из общепринятых смыслов, конечно, но вместе в странном чувстве или ощущении, инстинкте или ритуале, что может пробудиться к жизни в одно мгновение или постепенно расцветать долгие полстолетия и что люди зовут любовью.

Они не схожи. Нет, совершенно нет. Их различия бессчетны и должны быть нестерпимы. Он сверхъестественное существо, а она человек; он был властителем, а она грязной судомойкой. Он умеет летать, она не умеет. И наконец, он мужчина, она женщина. Что еще потребно для того, чтобы сделать их врагами? И все же они связаны, не одной лишь любовью, но всем, что они есть, самими камнями преткновения. И еще тем, что они обречены. Поскольку камни преткновения обрекли их, и все остальное.

Оба были изгнаны собственными сородичами. Вместе они не могут даже общаться друг с другом, помимо взглядов, прикосновений, иногда звуков и еще песен, которых ни один не понимает, но каждый начал ценить, поскольку их явно ценит другой и поскольку они выражают чувства этого другого. Тем не менее эта обреченная связь, величайшая связь, становится все сильнее и могущественнее, привлекая их друг к другу.

Хотя они этого и не понимают, или если и понимают, то не в полной мере, именно осознание обреченности удерживает их здесь, среди вершин, уступов и горных долин.

Здесь возможна воздушная охота, и Феролюц может время от времени ловить птиц, чтобы поддержать их обоих. Но птицы редки. Более щедрые нижние склоны, где пасутся козлы, дикие бараны и люди, — они лежат ниже и дальше отсюда, словно в глубинах моря. Но он не относит ее туда, а Роиз не просит об этом, и не пытается спуститься сама, и даже не задумывается о подобном.

Но все же птицы редки, пастбища далеки, а зима близится. В этих горах есть лишь два времени года. Лето, оно уже на исходе, и жестокий мороз, что начинает сковывать и воздух, и скалы, мороз, от которого небо цепенеет, а все становится хрупким, словно весь пейзаж может вдруг треснуть и разлететься на осколки.

Как чудесно просыпаться в сумерках, когда мороз и лед начинают разрисовывать все вокруг серебристыми ночными паутинками. Даже изорванное платье, некогда принадлежавшее принцессе, покрывается блестками и сверкает, словно по волшебству, даже могучие крылья, некогда носившие принца, мерцают инеем, тронувшим каждое перо. А небо — ах, это небо, усеянное звездами, словно луг — маргаритками. Там, в вышине, когда они едят и им хватает сил, они летают, точнее, Феролюц летает, и Роиз летает в его руках, несомая его крыльями. Там, в вышине, пронзительно-холодной и призрачно-стеклянной, они стали любовниками, искренними и безоглядными, обнявшись и слившись, их тела, соединяющиеся в полете, — словно лук и стрела. К тому времени, как это впервые произошло, девушка забыла, кем была прежде, и он забыл, что она была кем-то помимо его неотъемлемой пары. Порой в такие мгновения, увлекаемая крыльями и страстью, она кричит там, в заоблачной выси. Эти звуки, доносящиеся сквозь гулкую тишину и усиленные горами, рассеиваются над затерянными деревушками в бесчисленных милях отсюда, где к ним прислушиваются с испугом и принимают за вопли злобных невидимых демонов, крошечных, словно летучие мыши, и вооруженных зазубренными скорпионьими жалами. Всегда остается место

неверному истолкованию.

Чуть позже льдистые вступления и ошеломляющие звездные поля зимних ночей уступают место главному доводу зимы.

Воду в прудике, где росли цветочные гирлянды, заволокло и накрепко схватило льдом. Даже изменчивые водопады замерли изломанными каскадами стекла. Ветер пронизывает кожу и волосы, чтобы впиться в кости. А рыдания от холода не вызывают у холода ни малейшей жалости.

Огонь развести нечем. Кроме того, та, что некогда звалась Роиз, теперь стала зверем или же птицей, а звери и птицы не разжигают огня, кроме феникса из герцогского зверинца. А еще солнце — тоже огонь, а солнце — враг. Сторонись огня.

Начинаются месяцы затишья. И демонические любовники тоже должны приготовиться к безграничному зимнему сну, не порождающему голода, не требующему действия. Они устилают глубокую пещеру перьями и сухой травой. Но больше нет летающих тварей, чтобы накормить их. Давным-давно минула последняя скудная теплая трапеза, давным-давно — последний полет, соитие, восторг и пение. Так что они погружаются в свою пещеру, в покой, в сон. Который, как без слов, без раздумий понимает каждый из них, обернется смертью.

Как иначе? Он мог бы выпить ее кровь, некоторое время продержаться на ней, мог бы даже покинуть горы и избегнуть гибели. Или она могла бы оставить его, попытаться спуститься вниз и, возможно, даже теперь добраться до подножия гор. Другим, затерявшимся здесь, это удавалось. Но ни один из них не раздумывает над подобным выбором. Время для этого прошло. Даже погребальный плач нет нужды повторять снова.

Устроившись, они прижимаются друг к другу в равнодушном ледяном гнезде, немного пошептавшись, но в конце концов умолкнув.

Снаружи начинает сыпаться снег. Он падает, словно занавес. Затем его подхватывают ветра. Ночь полнится хлесткими, словно плети, порывами, и когда встает солнце, оно бело, как сам снег, и пылает далеко, не даря тепла. Вход в пещеру завален снегом. Зимой кажется возможным, что лето не наступит больше никогда и нигде в мире.

За укромной снежной дверью, сокрытый и уединенный, сон спокоен, как звезды, и вязок, как твердеющая смола Феролюц и Роиз, чистые и бледные, застывают в янтаре, в их холодном гнезде, и огромные крылья лежат, словно замысловато сочлененный механизм, который больше не шевельнется. И сухая трава и цветы схватываются льдом до поры, пока не растают снега.

Со временем солнце соизволяет приблизиться к земле, и свершается

чудо. Снег сходит, ссыпается, обрушивается с разъяренных гор. Вода спешит вслед за снегом, воздух гудит от треска и звона, гула и рокота. Прошло полгода или, возможно, сотня лет.

Вход в пещеру теперь открыт. Ничто не появляется. Затем трепет, шелест. Что-то показывается наружу. Черное перо и зацепившийся за него лепесток цветка, словно черный уголь и белый пепел, осыпаются, уносятся в бездну. Исчезли. Канули. Как будто их и не было никогда.

Но приходит иная пора (через полгода, сотню лет), и безрассудный странник спускается с гор в деревушки у подножия по другую их сторону. Это смуглый веселый парень, вы бы не приняли его за травника или знахаря, но у него с собой в горшке растение, разысканное им высоко в ощетинившихся утесах, где, в конце концов, могло что-то таиться — а могло и нет. И он показывает растение, необычное, с нежными, темными, бархатистыми листочками, источающее приятный, похожий на ваниль запах.

— Поглядите-ка, это Nona Mordica, — объявляет он. — Некусайка. Цветок, отпугивающий вампиров.

Тогда селяне рассказывают ему странную историю о чужеземном замке, осажденном огромной стаей, целым войском крылатых вампиров, и о том, как герцог тщетно ожидал, когда же волшебный куст из его сада, некусайка, расцветет и спасет их всех. Но похоже, проклятие лежало на этом правителе, который в ту самую ночь, когда пропала его дочь, силой взял служанку, как ранее брал силой других. Но эта женщина понесла. И рождение плода, или же цветка его насилия, подкосило ее, так что она прожила после того лишь год или два. Дитя выросло, не ведая об этом, и в конце концов предало отца, убежав к вампирам и лишив герцога всякой надежды. И вскоре после того он сошел с ума, и однажды ночью сам пробрался наружу, и впустил крылатых демонов в собственный замок, так что все в нем погибли.

— А если бы куст зацвел вовремя, как цветет твой, все закончилось бы хорошо, — заключают селяне.

Странник улыбается. Он не рассказывает им в ответ о груде причудливых костей, словно часть орлиных смешалась с женскими и мужскими. Из костей, из самой их глубины, и рос куст, но странник бережно распутал его корни; теперь он выглядит вполне здоровым в своем прочном горшочке, и даже вдвое. Как будто два отдельных растения поднялись из одного стебля, одно с почти черными цветами, а другое с розовыми, словно юная вечерняя заря.

— Флёр де фёр, — говорит странник, лучезарно улыбаясь чуду и

собственной удаче.

Fleur de feu. Цветок огня. Этот огонь, от которого он расцветает, — не ненависть и не страх, не ужас, не гнев и не вожделение; любовь — вот огонь некусайки, любовь, не способная предать, любовь, не способная повредить. Любовь, которая не умирает никогда.

Джозеф Пейн Бреннан

Джозеф Пейн Бреннан (1918–1990) родился в Бриджпорте, штат Коннектикут, а в раннем детстве переехал в Нью-Хейвен, где жил и работал (в Йельской библиотеке) всю дальнейшую жизнь.

Его первой публикацией стало стихотворение, помещенное в 1940 году на страницах газеты «Вестник христианской науки»; стихи он сочинял и в последующие полвека, выпустив в свет несколько поэтических сборников. Кроме того, Бреннан был редактором двух малотиражных журналов — «Жуткое» (1957–1976), где публиковались стихи и проза о странном и сверхъестественном, и «Квинтэссенция» (1950–1977), поэтический альманах, выходивший раз в полгода.

Известность Бреннану принесли его «страшные» рассказы, большая часть которых первоначально появилась на страницах «Странных историй» и которые оказали значительное влияние на Стивена Кинга. Повесть Кинга «Плот», несомненно, вдохновлена неоднократно включавшимся в различные антологии рассказом Бреннана «Слизь» — равно как и роман Дина Кунца «Фантомы»: во всех трех произведениях изображено огромное, обитающее в воде, похожее на пятно существо.

Самый известный персонаж Бреннана, оккультный детектив Люциус Леффинг, действует более чем в двух десятках рассказов, составивших три сборника: «Дневник Люциуса Леффинга» (1973), «Хроники Люциуса Леффинга» (1977) и «Приключения Люциуса Леффинга» (1990). Бреннан также является составителем библиографии Г. Ф. Лавкрафта (1953) и автором книги «Г. Ф. Лавкрафт: Критический анализ» (1955).

Рассказ «Ужас замка Чилтон» был впервые опубликован в авторском сборнике «Крик в ночи» (Нью-Хейвен: Макабр-хаус, 1963).

Ужас замка Чилтон

Лето я решил провести в Европе — заниматься, если это будет возможно, изучением генеалогии. Сначала я отправился в Ирландию, а именно в Килкенни, где раскопал целую жилу легенд и подлинных документов, касающихся моих предков О`Браонейнов, вождей клана Уи-Дуах из древнего королевского дома Оссори. Бреннаны (так потом стало произноситься это имя) лишились своих владений во времена правления Томаса Уэнтворта, графа Страффордского. Рад добавить, что впоследствии

этот граф-грабитель был отправлен в Тауэр и обезглавлен.

Из Килкенни я поехал в Лондон, а затем в Честерфилд, где занялся поиском своих предков по материнской линии: Холборнов, Уилкерсонов, Сирлей и т. д. Те крохи информации, что мне удалось собрать, оставили больше вопросов, чем ответов, и все же мои скромные усилия до некоторой степени увенчались успехом. Потом я решил отправиться дальше на север и побывать в окрестностях замка Чилтон, резиденции Роберта Чилтона-Пейна, двенадцатого графа Чилтонского. Я был дальним родственником семейства Чилтон-Пейн — нас связывала лишь тоненькая нить, уходящая в далекое прошлое, но мне очень хотелось взглянуть на замок.

Прибыв рано вечером в Уэксволд, крошечную деревушку, расположенную недалеко от замка, я заказал комнату в «Красном гусе» — единственной гостинице на всю округу, — распаковал вещи и спустился вниз, чтобы получить простой ужин, состоящий из куска хлеба, сыра и эля.

К тому времени, когда я расправился с холодной, но сытной едой, стемнело; вместе с темнотой пришли ветер и дождь.

Я решил провести вечер в гостинице. Эля здесь было сколько угодно, а идти никуда не хотелось.

Написав несколько писем, я спустился вниз и заказал пинту эля. Внизу никого не было, а толстый, на ходу засыпающий буфетчик держался любезно, но был молчалив. Я принялся размышлять над странной и ужасной легендой, которую рассказывали о замке Чилтон.

Эту легенду передавали по-разному; несомненно, исходный вариант за века претерпел множество изменений, однако суть истории не изменилась. Якобы в замке есть тайная комната, где хранится нечто ужасное и Чилтон-Пейны вынуждены прятать это от всех.

В тайную комнату разрешено входить лишь троим: нынешнему графу Чилтонскому, его наследнику мужского пола и еще одному человеку, которого назначает сам граф. Обычно это управляющий замка. Представитель каждого поколения Чилтон-Пейнов входит в комнату лишь раз: через три дня после совершеннолетия очередного наследника отец и управляющий ведут его в тайную комнату. После этого комнату вновь опечатывают и не открывают до тех пор, пока не наступит время показать эту сырую камеру сына наследника.

По легенде, наследник выходит из этой комнаты уже не таким, как прежде. Он становится угрюмым и замкнутым; с его лица уже не сходит мрачное, тревожное выражение. Говорили, что один из первых графов Чилтонских сошел с ума и спрыгнул с башни замка.

Шли годы, проходили века, а люди по-прежнему строили догадки

относительно тайны замка Чилтон. По одной версии, однажды в замок ворвались насмерть перепуганные люди — представители семейства Гоуэр. Они уверяли, что их по пятам преследуют вооруженные враги. Хотя между Гоуэрами и Чилтон-Пейнами издавна существовала вражда, искать убежища Гоуэры прибежали все же в замок Чилтон. Граф велел их впустить, провел в тайную комнату и пообещал, что там их никто не тронет. Свое слово он сдержал; враги Гоуэров были отброшены от замка, их кровавые замыслы провалились. Но самих Гоуэров граф так и не выпустил из комнаты, где они скончались от голода и жажды. Комнату открыли лишь через тридцать лет, когда сын графа сломал печать на двери. Ужасное зрелище предстало перед ним. Гоуэры умирали медленно и мучительно и, судя по изуродованным костям, дошли до каннибализма.

По другой версии, в Средние века тайная комната использовалась в качестве пыточной камеры. Говорили, что там еще сохранились пыточные инструменты, в которых зажаты останки несчастных узников, умерших в страшных мучениях.

По третьей версии, предки Чилтон-Пейнов по женской линии якобы совершили сделку с дьяволом. Это была леди Сьюзан Гланвиль — ее приговорили к сожжению на костре, но каким-то образом ей удалось избежать казни. Как и когда она умерла, так никто и не узнал, однако тайную комнату замка Чилтон связывали с именем этой женщины.

Пока я размышлял над этими жуткими историями, началась гроза. Крупные капли дождя забарабанили по свинцовым переплетам окон гостиницы, послышались глухие раскаты грома.

Посмотрев в залитое дождем окно, я передернул плечами и заказал еще одну порцию эля.

Я уже поднес кружку к губам, когда дверь внезапно распахнулась и в комнату ворвался холодный ветер и дождь. В дверях появился высокий человек, закутанный в мокрый плащ. Он сразу направился к буфетной стойке и, сбросив шапку, заказал бренди.

От нечего делать я принялся его разглядывать. Ему было лет семьдесят: седой, но крепкий, на обветренном лице застыло суровое и решительное выражение. Незнакомец хмурился, словно обдумывал какую-то неприятную проблему; взгляд его холодных голубых глаз почему-то то и дело останавливался на мне.

Трудно было понять, кто он. Возможно, один из местных фермеров, а может быть, и нет. Чувствовалось, что это властный человек, и хотя его одежда была проста, я подумал, что такую у местного люда не встретишь.

Разговориться нам помогло одно пустяковое происшествие. Раздался

оглушительный удар грома, незнакомец повернулся к окну, случайно задел свою шапку, и она полетела на пол. Я поднял шапку и подал ему; он поблагодарил; после чего мы обменялись несколькими замечаниями по поводу погоды.

Какое-то внутреннее чутье подсказало мне: незнакомец все время молчит, но его что-то угнетает. Ему явно хотелось побыть среди людей, чтобы услышать их голоса. Сознавая, что интуиция может меня обмануть, я что-то мямлил о поездке, о генеалогических изысканиях в Килкенни, Лондоне и Честерфилде и, наконец, о моем дальнем родстве с Чилтон-Пейнами, а также о желании посетить замок Чилтон.

Внезапно я заметил, что мой собеседник смотрит на меня если не сердито, то пристально. Повисло неловкое молчание. Я кашлянул, пытаясь понять, почему он так внимательно меня разглядывает.

Он заметил мое смущение.

— Простите, что так на вас смотрю, — сказал он, — но вы только что сказали… — Он помедлил, — Вы не возражаете, если мы сядем вон за тот столик? — И он кивнул в сторону столика, стоявшего в самом дальнем полутемном углу комнаты.

Я согласился, поскольку меня разбирало любопытство. Прихватив свою выпивку, мы пересели за дальний столик.

Мой собеседник нахмурился и замолчал, словно обдумывал, с чего начать. Он представился: Уильям Коуэт. Я назвал свое имя, он никак на это не отреагировал. Потом, сделав глоток бренди, взглянул мне в лицо.

— Я, — сказал он, — управляющий замка Чилтон.

Я посмотрел на него с живым интересом.

— Какое замечательное совпадение! — воскликнул я. — В таком случае вы сумеете организовать для меня посещение замка?

Он как будто не вслушивался в мои слова.

— Да-да, конечно, — рассеянно бросил он.

Удивленный и немного раздраженный таким ответом, я замолчал.

Уильям Коуэт глубоко вздохнул и внезапно заговорил, быстро и сбивчиво:

— Роберт Чилтон-Пейн, двенадцатый граф Чилтонский, похоронен в семейном склепе неделю назад. Его наследник, юный Фредерик, тринадцатый граф Чилтонский, три дня назад стал совершеннолетним. Сегодня его надо отвести в тайную комнату!

Я смотрел на него, остолбенев от изумления. На миг у меня мелькнуло подозрение, что управляющий каким-то образом узнал о моем горячем интересе к замку Чилтон и теперь разыгрывает меня, решив, что имеет

дело с доверчивым простаком туристом.

Однако я ошибся — Коуэт смотрел на меня абсолютно серьезно. В его глазах не было и тени насмешки или веселья.

Я мучительно соображал, что сказать.

— Как странно! Невероятно! Как раз в тот момент, когда вы вошли в гостиницу, я вспоминал легенды, связанные с той комнатой.

Он взглянул мне в глаза.

— Нам предстоит иметь дело не с легендой, а с реальностью!

Мне стало страшно.

— Сегодня ночью?

Он кивнул.

— Да. Нас будет трое: я, молодой граф… и еще кто-нибудь.

Я уставился на него.

— С нами должен был пойти старый граф, — продолжал он. — Такова традиция. Но он умер. Незадолго до смерти граф велел мне самому выбрать того, кто присоединится к нам. Это должен быть мужчина, желательно дворянин.

Я отхлебнул эля и не проронил ни слова.

— Кроме юного графа, — продолжал он, — в замке нет почти никого, только его престарелая мать, леди Беатрис Чилтон, и хворая тетка.

— Как по-вашему, кого старый граф хотел бы назначить вторым сопровождающим? — осторожно спросил я.

Управляющий нахмурился.

— У графа есть несколько кузенов. Насколько мне известно, он просил их оказать ему эту услугу, но все отказались.

— Очень жаль, — заметил я.

— Еще бы. Поэтому я и хочу просить вас, как человека благородного происхождения, сегодня ночью сопровождать юного графа в тайную комнату.

Я едва не подавился элем. За окном сверкнула молния; было слышно, как по каменным плитам двора хлещут струи дождя. Когда ледяной холод у меня в желудке немного ослаб, я с трудом проговорил:

— Но я… я же совсем дальний родственник! Да и дворянином меня можно считать лишь формально. Голубой крови во мне капля, не больше.

Управляющий пожал плечами.

— Вы один из Пейтонов. Стало быть, голубой крови в вас далеко не одна капля. В данных обстоятельствах больше и не требуется. Уверен, старый граф согласился бы со мной, если бы мог заговорить. Так вы пойдете?

Противостоять его напору, решимости, твердому взгляду холодных голубых глаз было невозможно. Казалось, он прочитал мои мысли еще до того, как я успел придумать хоть какую-то отговорку.

Разумеется, я согласился. Во мне росло ощущение, что наша встреча предопределена, что мне суждено войти в тайную комнату замка Чилтон.

Мы допили эль и бренди, и я поднялся в свой номер, чтобы взять плащ. Когда я спустился, полностью готовый к прогулке под дождем, толстый буфетчик храпел, сидя на стуле, не обращая ни малейшего внимания на раскаты грома, которые звучали уже непрерывно. Как я завидовал ему, покидая теплую комнату вслед за Уильямом Коуэтом!

Мы вышли на улицу, и мой провожатый предупредил, что до замка мы пойдем пешком. Он намеренно не взял экипаж, объяснил Коуэт: ходьба поможет нам укрепить дух и разум перед тем, что нам предстояло.

Из-за шума дождя, воя ветра и раскатов грома мы плохо слышали друг друга. Я шагал позади, а управляющий шел очень быстро, широкими шагами. Он прекрасно ориентировался, несмотря на темноту.

Пройдя по деревенской улице, мы свернули в сторону, на боковую дорогую. Вскоре она превратилась в извилистую тропинку, из-за дождя ставшую скользкой и опасной.

Внезапно тропинка пошла вверх; идти стало еще труднее, приходилось следить за каждым шагом. К счастью, путь время от времени озаряли вспышки молний.

Мне показалось, миновало около часа — на самом деле прошло всего несколько минут, — когда управляющий внезапно остановился.

Мы стояли на ровной каменистой площадке. Коуэт показал на темнеющий впереди склон.

— Замок Чилтон, — сказал он.

В темноте я не мог ничего разглядеть, но тут ослепительно полыхнула молния.

При ее свете я увидел древние зубчатые стены, за которыми высился огромный квадратный норманнский замок с четырьмя башнями, чьи узкие оконца походили на прищуренные злые глаза. Высокий, выщербленный временем шпиль замка был наполовину скрыт зарослями плюща, ночью казавшегося не зеленым, а черным.

— Какой же он древний! — невольно вырвалось у меня.

Уильям Коуэт кивнул.

— Строительство начал Анри де Монтаржи в тысяча сто двадцать втором году, — сообщил он и двинулся вверх по склону.

Когда впереди замаячила стена замка, буря усилилась. Хлестал дождь,

ревел ветер, не давая нам говорить. Пригнув голову, мы медленно шли вперед.

Добравшись до стены, я был поражен ее высотой и толщиной. Такая стена выдержит огонь самых мощных вражеских пушек и удары стенобитных орудий.

Переходя через деревянный подъемный мост, я глянул вниз, где чернел ров. Была ли там вода, я не разглядел. Мы приблизились к низким полукруглым воротам. За ними находился мощеный внутренний двор замка, где не было ни души, лишь с шумом неслись потоки воды.

Пройдя широкими шагами через двор, управляющий подвел меня к воротам в другой стене. За ними находился еще один маленький дворик, а в нем — заросшее плющом основание главной башни замка.

Пройдя по темному каменному проходу, мы оказались перед тяжелой почерневшей дубовой дверью, обитой железными скобами. Управляющий распахнул дверь — и перед нами предстал огромный зал старинного замка.

Вдоль стен тянулись длинные резные столы со скамьями. К каменным колоннам, поддерживавшим крышу, были подвешены старинные металлические кронштейны, проржавевшие от времени. На стенах висели старинные доспехи, геральдические щиты, алебарды, пики и знамена — огромная коллекция трофеев и наград, собранных за время кровавых войн в те годы, когда замок был фактически королевством в королевстве. В тусклом пламени свечей — другого освещения в зале не было — эта мрачная атмосфера казалась еще более зловещей.

— Владельцы замка Чилтон воевали многие века, — обводя зал рукой, сказал Уильям Коуэт.

Мы прошли через зал и ступили в темный коридор. Я молча следовал за управляющим.

— Фредерик, юный наследник графа, слаб здоровьем, — тихо говорил он, пока мы двигались по коридору. — Смерть отца чуть не убила его самого. А теперь еще это ужасное испытание, которое предстоит ему сегодня ночью.

Остановившись возле деревянной двери с резьбой в виде лилий и узоров, Коуэт бросил на меня загадочный взгляд и постучал.

Из-за двери спросили, кто там. Управляющий назвал свое имя. Звякнул тяжелый засов, и дверь распахнулась.

Если когда-то Чилтон-Пейны и были лихими вояками, то за прошедшие столетия их воинский дух выветрился, ярким примером чему служил юный наследник, тринадцатый граф Чилтонский. Я увидел худосочного и бледного юнца с темными запавшими глазами, полными

страха и обреченности. Его костюм был невероятно старомоден и от этого казался театральным: темно-зеленая бархатная куртка и такие же брюки, зеленый атласный пояс, на шее и запястьях — пышные белые кружева.

Юноша нехотя кивнул нам и закрыл дверь. Стены его комнаты были увешаны старинными гобеленами с изображениями охоты и битв. Из-за сквозняка гобелены чуть заметно шевелились, отчего казалось, что они существуют сами по себе. В одном углу комнаты стояла старинная кровать, в другом — большой письменный стол с агатовой настольной лампой.

После короткого знакомства и объяснения, как; и почему я оказался в замке, управляющий спросил его сиятельство лорда, готов ли тот к посещению тайной комнаты.

И без того бледное лицо наследника стало еще бледнее. Тем не менее он кивнул и шагнул в коридор. Мы двинулись за ним.

Уильям Коуэт прошел вперед и возглавил шествие, граф следовал за ним, позади шел я.

Дойдя до конца коридора, управляющий открыл дверь старой кладовой, где заранее оставил свечи, стамеску, кирку и кувалду. Сложил все это в кожаный мешок, взвалил мешок на плечо, взял с полки факел, зажег его и подождал, пока огонь разгорится. Затем закрыл дверь кладовки и кивком пригласил нас следовать за собой.

Мы подошли к каменной винтовой лестнице, круто уходившей вниз. Подняв факел над головой, управляющий начал спускаться. Мы молча пошли за ним.

Я насчитал пятьдесят ступенек. По мере того как мы спускались ниже, каменные ступеньки становились холодными и влажными; воздух также похолодел, но этот холод не освежал. От него несло сыростью и плесенью.

Ступеньки вывели нас к туннелю, где стояли непроглядная тьма и гробовая тишина.

Управляющий поднял факел.

— Считается, что замок Чилтон строили норманны, однако ходят слухи, что он возведен на руинах какого-то саксонского замка — Нахмурившись, он заглянул в туннель. — А может быть, и более древнего сооружения.

Коуэт на секунду остановился, к чему-то прислушиваясь. Бросил на нас быстрый взгляд и направился в туннель.

Я, дрожа, шагал за юным графом. Мертвый ледяной холод подземелья пробирал до костей. Камни под ногами были покрыты скользкой слизью. Мне хотелось яркого света, но у нас не было ничего, кроме тусклого пляшущего огонька факела.

Через некоторое время управляющий вновь остановился и к чему-то прислушался, но вокруг царила полная тишина, и он двинулся дальше.

Туннель закончился еще одной лестницей, тоже ведущей вниз. Пройдя пятнадцать ступенек, мы вошли в другой туннель — по всей видимости, вырубленный в скале, на которой возвышался замок. Его стены были покрыты белыми разводами селитры. В ледяном воздухе стоял сильный запах плесени и еще чего-то отвратительного.

Наконец управляющий остановился, поднял факел и сбросил с плеча кожаный мешок. Мы замерли перед глухой стеной, сложенной из какого-то строительного камня. На ней тоже виднелись разводы селитры, но она явно появилась после того, как был построен замок.

Оглянувшись на нас, Уильям Коуэт протянул мне факел.

— Будьте любезны, держите его крепче. У меня, конечно, есть свечи, но…

Не договорив, он вынул из мешка кирку и изо всех сил ударил ею в стену. Стена оказалась крепкой; после нескольких ударов Коуэту все же удалось пробить дыру, и он принялся расширять ее с помощью кувалды. Я предложил ему подержать факел, чтобы я тоже поработал кувалдой, но он лишь покачал головой.

За все это время юный лорд не проронил ни слова. При виде бледного напряженного лица юноши я испытывал к нему жалость, хотя сам трясся от страха.

Внезапно Уильям Коуэт опустил кувалду, и наступила тишина. Взглянув на стену, я увидел, что разрушена лишь верхняя часть, а до пола остается еще фута два.

Коуэт нагнулся и стал рассматривать кладку.

— Прочная, — с таинственным видом сказал он. — Ладно, я оставлю все как есть. Через нее можно перешагнуть.

Целую минуту мы простояли возле стены, вглядываясь во тьму. Потом управляющий повесил на плечо мешок с инструментами, взял у меня факел и шагнул в проем. Мы последовали за ним.

Едва мы вошли в подземелье, как в нос ударил такой мерзкий запах, что нас едва не стошнило. Я слышал, как мои спутники жадно хватают ртом воздух.

В перерывах между приступами кашля управляющий сказал:

— Подождите, минуты через две это пройдет. Встаньте возле проема.

Через некоторое время мерзкая вонь и в самом деле начала ослабевать, и мы смогли вздохнуть свободнее.

Уильям Коуэт осветил факелом камеру, где мы находились. Я

осторожно выглянул из-за его плеча.

Стояла полная тишина, и сначала я не увидел ничего, кроме стен в белых разводах и влажного каменного пола. Затем в дальнем углу внезапно загорелись две крошечные огненные точки. Я попытался внушить себе, что в свете факела вспыхнули два маленьких драгоценных камня, скажем, два рубина.

Однако я уже понял — вернее, почувствовал, — что это такое. Два красных глаза, не мигая, смотрели на нас.

— Стойте там, — тихо сказал нам управляющий.

Он прошел в дальний угол, остановился и вытянул руку с зажатым в ней факелом. Затем тяжело и прерывисто вздохнул.

Когда он заговорил, его голос звучал совсем иначе — как замогильный шепот.

— Подойдите, — сказал он этим странным, мертвым голосом.

Мы с Фредериком подошли к управляющему и встали возле него.

Увидев, кто скрючился на каменной скамье в дальнем углу подземелья, я едва не упал в обморок. На пару секунд у меня буквально остановилось сердце. Кровь застыла в жилах, голова закружилась. Я хотел закричать, но горло онемело.

Существо, сидевшее на каменной скамье, как будто выползло из ада. Его злобные сверкающие глаза говорили о том, что участь его крайне тяжела, и все же оно продолжает жить, хотя и превратилось в черный, иссохший, мумифицированный труп. На черных костях кое-где болтались ветхие лохмотья. Из серовато-белого черепа торчали клоки седых волос. Узкая щель рта была вымазана чем-то красным.

Существо разглядывало нас с откровенной враждебностью, но в его взгляде не было ничего человеческого. Выдержать этот взгляд я не мог. В нем сквозила такая злоба, что становилось страшно за свою душу, рискующую сгореть в огне этих дьявольских глаз.

Отведя взгляд, я увидел, что управляющий поддерживает юного лорда, который, едва держась на ногах, смотрел на жуткого призрака расширенными от ужаса глазами. Мне стало его жаль.

Коуэт снова вздохнул и заговорил тем же замогильным голосом.

— Перед вами, — сказал он, — леди Сьюзан Гланвиль. Ее приковали к стене этого подземелья в тысяча четыреста семьдесят третьем году.

Я содрогнулся от ужаса, ибо почувствовал, что мы столкнулись с силами, выбравшимися из самой преисподней.

Трудно было понять, какого пола это существо, однако при звуке своего имени призрак растянул в усмешке красный иссохший рот.

Только тут я заметил, что чудовище и в самом деле приковано к стене. Тяжелые двойные цепи так почернели от времени, что я их не сразу разглядел.

Управляющий продолжал говорить, словно механизм:

— Леди Гланвиль — родоначальница семейства Чилтон-Пейн. Она вступила в сделку с дьяволом. Ее приговорили к сожжению, но она избежала казни. В конце концов собственные родственники схватили ее, привезли сюда, приковали к стене и оставили умирать. — Он помолчал. — Но было слишком поздно. Графиня уже подписала договор с князем тьмы, а дьявол отплатил ей вечной пыткой: стать бессмертной и жить в горе и страдании. — Коуэт осветил факелом красноглазое существо. — Когда-то она была красавицей и ненавидела смерть, потому что боялась ее. И продала свою бессмертную душу — и тело — за вечную жизнь.

Мне казалось, что я сплю и вижу кошмарный сон. Голос управляющего звучал откуда-то издалека.

— Условия той сделки настолько ужасны, что я не буду о них распространяться, — продолжал он. — Ни один из потомков графини не решился повторить ее поступок, ибо последствия находились у каждого перед глазами. Таким образом, леди Гланвиль пребывает в подземелье вот уже пять веков.

Я думал, что на этом управляющий закончит свою речь, но ошибся. Глянув вверх, Уильям Коуэт поднял факел высоко над головой и осветил потолок.

— Эта камера, — сказал он, — находится под фамильным склепом. После смерти очередного графа его тело оставляют в усыпальнице. Когда погребальная процессия уходит, плита, на которой стоит гроб с телом, опускается, и мертвец попадает сюда, в это подземелье.

Я увидел на потолке квадратный люк.

Голос управляющего звучал едва слышно.

— Когда умирает очередной граф Чилтонский, леди Гланвиль получает пищу — в виде тела почившего графа. Таково условие неписаного договора, который нельзя нарушить.

Теперь я понимал — холодея от невыносимого ужаса, — чем вымазан рот сидящего перед нами существа.

Словно в подтверждение своих слов, Коуэт наклонил факел и осветил пол возле ног прикованного к стене чудовища.

Он весь был усеян костями, а рядом с графиней валялся окровавленный череп мужчины. В отдалении лежали кучи уже почерневших от времени костей.

И тут Фредерик закричал. Подземелье огласилось его пронзительными истерическими воплями. Коуэт попытался его успокоить, сильно тряхнув за плечи, но юноша продолжал визжать тонким от ужаса голосом.

Существо взглянуло на него своими жуткими красными глазами, и мы услышали животный визг — монстр смеялся.

Внезапно чудовище вскочило на ноги, соскользнуло со скамьи и метнулось к юному графу. Черные цепи, которыми оно было приковано к стене, позволяли ему отойти ярда на два, не больше, поэтому его резко отбросило назад, однако монстр продолжал отчаянно рваться, пытаясь дотянуться до графа. На его лице играла такая дьявольская усмешка, что у меня волосы встали дыбом.

Уильям Коуэт попытался отогнать его факелом, но нечисть не обратила на него никакого внимания. Подземелье оглашалось воплями несчастного юноши и пронзительным смехом чудовища. Я почувствовал, что тоже сойду с ума, если это немедленно не прекратится.

Впервые за все время, что длилось это ужасное испытание, поставившее под угрозу наш разум и саму нашу жизнь, Уильям Коуэт дрогнул. Я проследил его взгляд и понял, куда он смотрит: на кольца в стене, к которым прикреплялись цепи.

Вдруг они не выдержат? Ведь прошло столько лет, и они давно могли проржаветь.

Внезапно Коуэт сунул руку в карман и вытащил оттуда что-то блестящее. Это было серебряное распятие. Шагнув вперед, он ткнул им в искаженное лицо чудовища, некогда бывшего прекрасной леди Сьюзан Гланвиль.

Монстр отскочил назад, издав пронзительный вопль, заглушивший даже крики графа Чилтонского. Затем забрался на скамью, скрючился и застыл. О том, что чудовище живо, говорили лишь горящие злобой красные глаза и шевелящийся рот.

Уильям Коуэт сурово сказал:

— Адская тварь! Если ты еще раз посмеешь соскочить со своей скамьи, мы уйдем из подземелья и запечатаем дверь, но, клянусь, распятие я оставлю у тебя!

Красные горящие глаза смотрели на Коуэта с безумной ненавистью. Они буквально полыхали огнем. И все же в них пряталось и другое чувство — страх.

Внезапно в подземелье наступила мертвая тишина, но она длилась лишь несколько секунд. Юный граф перестал кричать, но произошло нечто более страшное. Он засмеялся.

Это был очень тихий смех, но для нас он был гораздо страшнее криков. Граф все смеялся и смеялся, тихо и бессмысленно.

Обернувшись ко мне, управляющий кивком показал на проем в стене. Я выбрался из камеры. За мной вышел Коуэт, ведя за собой юного графа. Тот волочил ноги, как древний старец, и что-то тихо и бессвязно бормотал.

Затем последовала невыносимо долгая пауза, в течение которой управляющий заделывал проем в стене строительным раствором, который заранее оставил в туннеле. При свете факела он развел раствор водой и заложил проем теми же камнями, что выломал недавно.

Пока он работал, граф сидел в сторонке и тихо смеялся.

Из подземелья не доносилось ни звука. Только один раз послышалось звяканье цепей.

Наконец управляющий закончил работу и повел нас обратно по темным туннелям и ледяным лестницам. Граф едва волочил ноги; Коуэт с трудом заставлял его сделать очередной шаг.

В своей увешанной гобеленами комнате граф уселся на постель и уставился в пространство, тихо смеясь. Только тут я с ужасом заметил, что его черные волосы стали совсем седыми. Управляющий заставил его выпить стакан какого-то питья, в которое наверняка было подмешано успокоительное, и уложил юношу на постель.

После этого Уильям Коуэт проводил меня в спальню. Мне хотелось одного — немедленно покинуть дьявольский замок, однако бушевала гроза, и я не был уверен, что в такую погоду смогу добраться до гостиницы.

Управляющий печально покачал головой.

— Боюсь, его сиятельство долго не протянет, — сказал он. — Он и без того не отличался здоровьем, а после сегодняшней ночи… вряд ли он оправится.

Я выразил сочувствие. Управляющий взглянул на меня холодными голубыми глазами.

— Мне кажется, — проговорил он, — что в случае смерти юного графа вас можно… — Он помедлил, — Вы становитесь наследником титула.

Дальше слушать я не стал. Пожелав управляющему спокойной ночи, я выпроводил его, запер дверь на засов и безуспешно попытался урвать хотя бы несколько минут сна.

Но сон не шел. Перед глазами вставали страшные видения: красные горящие глаза, цепи, дыра в стене, спуск по скользким ледяным ступенькам…

Перед самым рассветом я тихо отпер дверь спальни и крадучись, как

вор, пробрался по холодным коридорам в главный зал. Затем перебежал мощеный двор, перебрался по мосту через ров и побежал вниз по склону в сторону деревни.

Задолго до полудня я был уже на полпути в Лондон. Мне повезло — на следующий день я плыл по водам Атлантики.

В Англию я больше не вернусь. Я принял твердое решение: пусть меня и замок Чилтон с его бессмертным обитателем разделяет океан.

Элджернон Блэквуд

Элджернон Блэквуд (1869–1951) родился в юго-восточной части Лондона и учился в колледже Веллингтон, а затем в школе моравского братства в Германии и в Эдинбургском университете, где основной круг его чтения составляли книги о восточных религиях и оккультизме. Почти десятилетие он жил в Канаде и Нью-Йорке, где держал ферму, управлял отелем, работал натурщиком, барменом, редактором, репортером, личным секретарем банкира, учителем музыки, а в 1899 году вернулся в Англию, где спустя семь лет дебютировал в качестве писателя.

Хотя Блэквуд написал 16 романов начиная с «Джимбо» (1909), сегодня его помнят главным образом как автора многочисленных рассказов, составляющих более тридцати сборников (хотя позднейшие по большей части состоят из произведений, входивших в его ранние книги).

Лучшие его сочинения относятся к жанру историй о сверхъестественном и ужасном — в том числе неоднократно включавшийся в различные антологии рассказ «Ивы» (1907), который знаменитый «маэстро ужасов» Г. Ф. Лавкрафт расценил как величайшее творение Блэквуда, повесть «Вендиго» (1910), где изображен монстр-людоед из алгонкинского фольклора, и превосходная серия новелл об «оккультном детективе» Джоне Сайленсе, чьи расследования составили отдельный сборник (1908).

Рассказ «Удивительная кончина Мортона» был впервые опубликован в журнале «Трамп» в декабре 1910 года.

Удивительная кончина Мортона

Сумерки перетекали в ночную тьму, пока двое мужчин медленно пробирались сквозь густой ельник, плотно окутывающий склоны горы. Долгий подъем утомил их — оба были уже не первой молодости, к тому же июльский день выдался жарким. Маленькая гостиница, где они остановились, находилась внизу, в долине, среди садов, отделявших лес от виноградников.

Оба молчали. Впереди шел высокий, неся за плечами рюкзак, а его спутник, пониже ростом и постарше, уже заметно уставший, семенил

сзади, спотыкаясь о камни. Наблюдательный человек заметил бы, что он спотыкается не от усталости, а потому что полностью погружен в свои мысли и не замечает, куда ступает.

— Ну как, все в порядке? — бросал на ходу высокий.

— А? Что? — Низенький вздрагивал, словно только что проснулся.

— Я не слишком быстро иду?

— Нет-нет, все хорошо.

Правда, один раз он добавил:

— Если хочешь, иди вперед и садись ужинать. Я тебя догоню.

Однако высокий не согласился и продолжал идти с прежней скоростью, время от времени задавая те же вопросы. Пару раз он останавливался и оглядывался назад.

Так они добрались до окраины леса. Вся долина была покрыта густыми зарослями. Белые известняковые выступы, по которым карабкались путники, мягко поблескивали на фоне бледного вечернего неба. Порывы ветра внезапно стихли, словно самому ветру тоже захотелось полюбоваться лунным светом и он решил успокоить раскачивающиеся ветви деревьев: сквозь них лился свет, рисуя на зарослях мха замысловатые серебряные узоры.

Путники на секунду остановились, любуясь этой картиной. Внезапно сзади послышались шаги, приглушенные толстым слоем опавших сосновых иголок, и старший из двоих, все еще отстававший, резко обернулся, словно кто-то позвал его по имени.

— Ну вот, опять она, эта девушка! — сказал он.

В его голосе слышалось странная смесь радости, удивления и… смутного беспокойства.

В пятне яркого лунного света появилась фигура молодой девушки. Она замерла на мгновение, словно не решила, идти дальше или нет, потом улыбнулась и быстро скрылась во тьме. При свете луны блеснули ее глаза и зубы, тогда как тело осталось в тени. Из-за этого создалось очень странное впечатление — словно в воздухе проплыли лишь плечи и голова, одарили путников сияющей улыбкой и исчезли.

— Не будем останавливаться, ради бога, вперед! — воскликнул высокий.

В его поведении чувствовалось скорее нетерпение, чем дружелюбие. Второй стоял, напряженно вглядываясь в темноту, где скрылась девушка. Его друг решительно позвал его, и через мгновение оба вышли на дорогу. Вдали поблескивали огоньки какой-то деревушки, позади остался лес, похожий на огромное покрывало ночи.

Оба путника молчали. Затем высокий остановился и подождал, пока к нему подойдет второй.

— В этой долине, — сказал высокий, — есть что-то такое… странное. Он решительно поправил на спине рюкзак, и в этом жесте выразился какой-то инстинктивный протест. — Что-то жуткое, — добавил он и широким шагом двинулся дальше.

— И что-то удивительно прекрасное…

— Я вижу, тебя она привлекает больше, чем меня, — коротко бросил высокий.

— Тут еще живы совершенно удивительные поверья, — заметил его спутник. — Они действуют на воображение человека помимо его воли.

Последовала пауза, и высокий попытался ускорить шаг. Судя по всему, тема разговора отчего-то делала его нетерпеливым.

— Возможно, — сказал он через некоторое время. — Хотя я считаю, что причина в удивительной безлюдности здешних краев. Подумай сам, мы находимся в самом центре набитой туристами Европы, но отрезаны от всего мира. Эти места забыты Богом и людьми. Странное противоречие. К тому же совсем рядом проходит граница часового пояса: в миле от вон той деревни время смещается на час. Невольно задумаешься о том, насколько оно нереально.

Он засмеялся и привел еще несколько доводов. Его друг согласился с их обоснованностью, но говорил неуверенно, поминутно оглядываясь. В лунном свете ясно виднелся горный склон, по которому они только что прошли.

— Странно, — сказал старший из путешественников, — я не вижу фермы, где мы покупали молоко. Ее должно быть хорошо видно отсюда.

— При таком освещении вряд ли. Все-таки странное место, — повторил высокий. Он не отрицал удивительной атмосферы здешних гор, но ему хотелось найти всему разумное объяснение. Эта ферма… Мне она сразу не понравилась — и черт меня побери, если я знаю почему. Не понравилась, и все. И девица появилась неизвестно откуда, хотя вокруг никого не было. И молчала она как-то странно. Почему, скажи на милость, она не отвечала на вопросы? Хорошо, что я не стал пить молоко. Я бы не смог проглотить. Интересно, где они его берут? Поблизости нет ни одной коровы или козы!

— А я выпил немного, несмотря на его вкус, — ответил его спутник, улыбаясь внезапной разговорчивости приятеля.

Внезапно он обернулся и посмотрел в лицо друга. Что это действие лунного света или его загорелая кожа и в самом деле стала мертвенно-

бледной?

— Послушай, старина, — проговорил высокий, с серьезным видом глядя на приятеля, — как ты думаешь, кто она? Почему она такая и какого дьявола тащится за нами?

— Я думаю, — последовал ответ, — что она преследует не нас, а меня.

Эти слова и убежденный тон, с которым они были произнесены, были неприятны высокому. Он уже пожалел, что решился откровенно заговорить о своих опасениях. Имея такого впечатлительного спутника, нервного и наделенного буйным воображением, выражать мысли вслух — значит поступать необдуманно, даже глупо. И высокий зашагал вперед так быстро, что приятель отстал от него минут на пять, а когда догнал, то задыхался от быстрой ходьбы, прихрамывал и обливался потом.

— Завтра я хочу уехать в Швейцарию, — проговорил высокий, когда оба улеглись в постели в двухместном номере гостиницы. — Мне кажется, мы здесь слишком задержались. А? Как ты считаешь?

Ответа не последовало, ибо второй путешественник уже спал, похрапывая.

— Да, он смертельно устал, — пробормотал высокий и повернулся на бок, чтобы последовать примеру приятеля.

Однако сон не шел. Ему не давали спать странные тревожные мысли и чувства. В такое состояние он впадал крайне редко, и оно было очень неприятным. Конечно, все это полнейшая чепуха, и все же ему было не по себе — до такой степени, что это не давало ему уснуть, заставляя ворочаться на постели.

«Я просто переутомился, — убеждал он себя, — только и всего».

Странные чувства, вызвавшие бессонницу, было трудно проанализировать, но он точно знал, что их вызвало. Перед его глазами стояла одна картина одинокое ветхое шале на горном склоне, где они остановились на отдых несколько часов назад. Это была маленькая ферма, грязная и запущенная. Название было написано черными буквами на голубой доске, приколоченной над входной дверью: «Ла шениль». [44] Вокруг фермы не было видно ни души, на двери висел замок, окна закрыты, из трубы не шло ни единой струйки дыма. Словом, грязь, запустение и нищета.

И вдруг, когда они после нескольких безуспешных попыток достучаться и докричаться уже собрались уходить, за одним из неплотно прикрытых ставней мелькнуло чье-то лицо. Его приятель заметил это первым и снова принялся звать хозяев. Вскоре из-за угла дома появилась молоденькая девушка — очевидно, она вышла из дома через заднюю дверь

— и остановилась в отдалении, пристально разглядывая незнакомцев.

Именно тогда, насколько помнил высокий путешественник, он начал испытывать эти странные чувства — страх, недоверие, дурное предчувствие. Даже сейчас, лежа в постели в темной комнате, он вспоминал ту минуту, и от ужаса его волосы встали дыбом. Девушка внушала ему необъяснимый леденящий страх. При этом она была очень юная и хорошенькая, даже соблазнительная, гибкая, как змейка, и с таким же холодным и пристальным змеиным взглядом. На все вопросы об отдыхе в доме она лишь улыбалась и не произносила ни слова, но все равно производила впечатление человека властного, при желании способного причинить большие неприятности. Несмотря на очарование, в облике девушки чувствовалось что-то зловещее. Разговаривал с ней в основном он, но все ее улыбки предназначались его старшему приятелю: девушка не отрывала от него глаз, а один раз, проходя мимо, даже коснулась его руки.

Самым странным сейчас казалось то, что он никак не мог вспомнить, как она была одета, какого цвета ее глаза и волосы. Словно ее присутствие он ощущал, но не видел.

А молоко… Девушка ушла куда-то за дом и вскоре вернулась с кувшином и двумя деревянными мисками. Молоко имело такой странный вкус, что высокий путешественник не смог проглотить его и выплюнул. Но его друг, умиравший от жажды, без раздумий выпил свою миску до последней капли. Пока пил, он неотрывно смотрел в лицо девушки, стоявшей прямо перед ним.

С того момента старший приятель изменился. Всю дорогу домой он говорил какие-то странные слова, вспоминал ферму «Ла шениль», девушку и чудесный, дивный вкус молока. Свои мысли он выражал таким образом, что слушать его было дико и неприятно. Высокий путешественник попытался вспомнить, что говорил его друг, но смысл слов от него ускользал. Он помнил, что те слова вызывали отвращение и предчувствие чего-то скверного. А ночь, как известно, усиливает подобные чувства!

Потом, в довершение всего, девушка стала их преследовать. Это казалось какой-то невероятной глупостью, абсурдом, и тем не менее все было именно так. Девушка путала его; перемена в поведении друга была дурным знаком. Он не мог ничего объяснить. Возможно, объяснение придет позже, а пока ему отчаянно хотелось поскорее убраться отсюда и увести друга.

С этой мыслью он уснул, вернее, забылся тяжелым сном.

Окна были широко раскрыты, а за ними находился сад, окруженный довольно высокой оградой. В дальнем конце сада виднелись закрытые на

замок ворота, за которыми лежали частные владения, а также кладбище и маленькая церковь. Когда-то эти ворота были не заперты, и постояльцы гостиницы пользовались ими, чтобы прогуляться по полям. Обычно они терялись в лабиринте тропинок и виноградников, поскольку выхода к главной дороге или горам не было. Любители прогулок выходили к кладбищу и возвращались в деревню мимо церкви, которая была постоянно открыта, либо стучались в дома местных жителей и просили указать им дорогу. В итоге ворота заперли — во избежание проблем.

Высокий на несколько часов забылся беспокойным сном, задыхаясь от жары, а потом проснулся. Попытался потянуться, но не смог и сел на постели, тяжело дыша и чувствуя, что ему не хватает воздуха. При слабом свете звезд, сиявших на летнем небе, он увидел, что его друг встал и бродит по комнате. Тот иногда ходил во сне, вспомнил высокий и мягко, но властно произнес:

— Мортон, старина, ложись спать! Ты и так гулял целый день!

Фигура, подчинившись приказу, как это обычно делают лунатики, прошла через комнату и скрылась в тени, окутывающей постель. Высокий улегся поудобнее и вновь приготовился уснуть, однако духота, слишком короткая кровать и частые утомительные пробуждения никак не давали ему забыться. Он заставлял себя лежать с закрытыми глазами и не шевелиться, но что-то сверлило его мозг, словно мышь, вгрызающаяся в него острыми зубками. Как говорится, он дремал вполглаза. В открытое окно текли запахи сена, цветов и раскаленной земли, и вместе с ними в комнату проникали звуки. Эти тихие звуки беспокоили его, хотя были едва слышны.

Ему все же удалось уснуть, как вдруг мозг пронзила страшная мысль. Он вздрогнул и сразу проснулся. Как же он раньше не догадался! Человеческая фигура в комнате — это вовсе не его друг!

Едва он подумал об этом, его охватила страшная тревога, а тело покрылось холодным потом. Трясущимися руками он попытался нащупать спички, но не нашел их; потом вспомнил, что в комнате проведено электрическое освещение, зашарил пальцами по стене — и нащупал маленький выключатель. В ярком свете, внезапно вспыхнувшем в комнате, он увидел, что постель его друга пуста. И тогда, внезапно и инстинктивно, без раздумий, мозг молнией пронзило воспоминание: перед глазами встала ветхая ферма «Ла шениль», стакан молока, странное поведение друга и… девушка.

В ту же секунду он заметил, что в комнате, где только что царили ароматы полей, цветов и ночи, появился какой-то новый запах — запах свежевскопанной земли. Сразу за этим открытием последовало другое:

тихие звуки, доносившиеся из окна, не были обычными ночными звуками вроде шелеста ветерка или стрекотания насекомых. Нет — это были тихие шаги. Кто-то очень осторожно ступал по посыпанным гранитной крошкой тропинкам сада.

Он оделся в рекордно короткое время, успев заметить, что ночная рубашка друга лежит на постели. Значит, Мортон тоже оделся. Затем он заметил, что дверь комнаты приоткрыта. Все было ясно: он действительно уснул и с того момента, когда он видел призрачную фигуру, прошло немало времени. Через пару минут он осторожно спустился по лестнице и вышел в залитый лунным светом сад. Там он сразу вспомнил то, о чем недавно говорил хозяин гостиницы: о странных поверьях, до сих пор бытующих у жителей долины, затерянной среди гор и сосновых лесов. При мысли о девушке ему стало нехорошо. От ударившего в нос запаха свежей земли едва не вывернуло желудок. Усилием воли он пытался отогнать от себя чудовищные образы, навеянные рассказами хозяина гостиницы, однако они упорно преследовали его воображение в этот ранний утренний час, словно он остался один на один с ночью и тишиной. Да, чары действуют. Нужно быть совсем бесчувственным, чтобы отрицать это.

Он обыскал маленький садик из конца в конец. Никого! Остановившись возле ворот, взялся за мокрые от росы прутья и выглянул наружу. Ему показалось, что вдали, среди полей, что-то движется. Спустя секунду он был в этом уже уверен. Справа, за деревьями, что-то шевелилось. Там находилось кладбище.

Осознав это, он содрогнулся от ужаса и отвращения. Он пошевелил губами, пытаясь произнести имя своего друга, но ни единого звука не сорвалось с его губ. Какой-то инстинкт велел ему молчать. Ценой невероятных усилий он забрался на ворота и вскоре спрыгнул на мягкую траву на противоположной стороне. Затем, стараясь держаться в тени, пригнулся и побежал в сторону кладбища, подхватив на бегу, сам не зная зачем, тяжелую палку. Через минуту он уже стоял возле низкой кладбищенской стены — стоял и смотрел.

Там, за надгробиями с омерзительными металлическими венками и увядшими цветами в вазонах, он видел силуэт своего друга — низко склонившийся, почти касавшийся коленями земли, легко различимый во тьме на фоне двух густых тисов. Мортон был не один; рядом с ним пригнулась к земле еще одна фигура — тоненькая, призрачная, стройная.

На этот раз высокий путешественник сумел заставить себя крикнуть:

— Мортон! Мортон! Господи боже, чем вы там занимаетесь? Что с вами?..

В тот самый миг, когда его низкий громовой голос прорезал тишину ночи, тоненькая фигурка, наполовину заслонявшая собой его друга, обернулась и уставилась на него. Он увидел белое лицо с сияющими глазами и зубы — луна окрасила их в свои собственные странные тона. Это было фантастическое, нереальное, жуткое зрелище. Через рот, от губ до подбородка, шла широкая ярко-красная полоса.

В следующее мгновение фигурка быстро скользнула, словно перелетела по воздуху, в направлении деревьев и скрылась среди тисов и надгробий в той стороне, где находилась церковь. Тяжелая палка, брошенная ей вслед, не достигла цели и упала, сбив металлический крест на одной из могил, а бросивший ее человек со всех ног побежал к сгорбленной фигуре друга, не обращая внимания на тонкий жалобный вопль, вырвавшийся из уст исчезнувшего призрака. Не заметил он и того, что на нескольких могилах разрыта земля и ее запах, который он почувствовал в своей комнате, стал сильнее. Все внимание высокого путешественника было направлено на того, кто лежал у его ног.

— Мортон, друг мой, вставай! Проснись, бога ради! Ты же ходил во сне и…

Слова замерли у него на губах. Только сейчас заметив неестественное положение плеч Мортона и его бессильно болтающуюся голову, он замер, как громом пораженный. Друг не подавал признаков жизни. Тогда он взвалил его на плечи и понес в гостиницу; он не помнил, как туда добрался.

Это был самый настоящий кошмар — кошмар, прорвался в реальность. Он слышал, как хозяин гостиницы и его жена суетились у постели, помнил, как срочно вызвали деревенского доктора и как он сам сбивчиво и путано объяснял, что произошло, не забыв упомянуть о том, что Мортон был сомнамбулой. Однако смысл случившегося дошел до него только тогда, когда он увидел лицо доктора — тот тщательно осмотрел больного и обернулся к высокому путешественнику.

— Вы будете его будить? — услышал он свой собственный голос, — Или оставите спать до утра?

По выражению лица доктора он понял все еще до того, как услышал ответ.

— Ах, месье, боюсь, ваш друг больше не проснется. Сердце — увы, у него внезапно отказало сердце…

Финальные сцены этой маленькой трагедии, которая столь внезапно и ужасно завершила приятное путешествие, не нуждаются в описании, ибо уже не имеют отношения к этой истории. Впрочем, впоследствии всплыла пара довольно любопытных деталей. Во-первых, за несколько недель до

этого случая на кладбище было разрыто несколько свежих могил. Власти пытались выяснить, кто бродит по ночам на кладбище, и обвинили местного сумасшедшего, однако поиски не дали никаких результатов. Во-вторых, на следующее утро после смерти Мортона на полу в церкви нашли кровавый след, словно кто-то прополз от задней двери к главному входу. В ту же неделю в церкви была совершена специальная служба, дабы очистить святое место от зла, поскольку суеверные местные жители немедленно заявили, что такой след не мог оставить человек. Такой след мог оставить только вампир, которого потревожили в полночь и заставили покинуть мир мертвецов.

Помимо таких нелепых глупых слухов наш герой рассказал еще кое-что, и это нельзя оставить без внимания. После смерти друга он поговорил с местным доктором, и разговор произвел на него сильное впечатление. Доктор, человек очень умный и здравый, принялся дотошно расспрашивать его о жизни и привычках погибшего друга. Услышав рассказ о том, как путешественники поднялись на гору и зашли в маленькое шале под названием «Ла шениль», доктор не смог скрыть изумление.

— Но такого шале больше нет! — сказал доктор. — Я давно не слышал этого названия. Пятьдесят лет тому назад такое место существовало, однако его стерли с лица земли по приказу местных властей, поскольку люди, жившие там, имели весьма скверную репутацию. Шале попросту сожгли. Сейчас от него остались несколько кусков сломанной стены да фундамент.

— Люди со скверной репутацией, говорите?

Доктор пожал плечами.

— Там пропадали путешественники и даже местные крестьяне, — сказал он. — В шале жили старуха с дочерью. Говорят, они поили людей отравленным молоком. Однако их обвинили и в более страшных злодеяниях, чем обычное убийство…

— В каких же?

— Говорили, что старухина дочка была вампиром, — коротко ответил доктор. Немного помолчав, он добавил, глядя в сторону: — Осматривая вашего друга, я обнаружил кое-что. На его горле была крохотная дырочка, маленькая, как след от булавки, но очень глубокая. А сердце — я вам уже сообщил? — было полностью обескровлено.

Кларк Эштон Смит

Кларк Эштон Смит (1893–1961) родился в Лонг-Вэлли, штат Калифорния, в нескольких милях южнее Оберна, где прошли его детские годы. Он мало времени проводил в школе и предпочитал заниматься

самообразованием, читая и перечитывая «Британскую энциклопедию» и неадаптированные словари и изучая таким способом французский и испанский языки.

Когда Смит был еще подростком в журналах «Оверлэнд мансли» и «Черный кот» появились его первые рассказы, однако он быстро переключил свое внимание на поэзию и в 1912 году выпустил в свет сборник «Ступающий по звездам» и другие стихотворения, имевший необыкновенный успех. Рецензенты приветствовали автора как «Китса тихоокеанского побережья» и «гениального мальчика Сьерры» (хотя звучали и откровенно недоброжелательные отзывы). Смит продолжал писать стихи в последующие полтора десятилетия, несмотря на то что его ранняя слава быстро сошла на нет, вынудив поэта опубликовать следующие два сборника за собственный счет.

В 1922 году он начал переписываться с Г. Ф. Лавкрафтом, и великий автор литературы ужасов посоветовал ему попробовать свои силы в жанре темной фэнтези; в 1926 году в «Оверлэнд мансли» появились «Ужасы Йондо» — первый рассказ Смита, выдержанный в этой традиции. Необходимость в постоянном заработке подвигла его на то, чтобы всерьез заняться сочинением прозы, и вскоре он стал постоянным автором «Странных историй»: публикуя с 1929-го по 1937 год по меньшей мере один рассказ в месяц, Смит приобрел репутацию одного из величайших представителей палп-хоррора.

Рассказ «Смерть Илалоты» впервые был напечатан в «Странных историях» в сентябре 1937 года.

Смерть Илалоты

О, повелитель зла, владыка темных сил!

Пророк твой возвестил,

Что новым даром наделил посмертно

Ты колдунов и ведьм: восстав из тлена, Они запретных чар сплетают паутину,

И мертвецы, могильный прах отринув,

Живых вновь обретают зыбкий зрак,

И оскверняя склепов древний мрак,

Там нечестивой предаются страсти

С несчастными, кому их черный морок

Застил глаза, и в их купаются крови,

Ей упиваясь в пыльных саркофагах.

Молитва Лудара к Тасейдону

Как с давних пор повелось в Тасууне, похороны Илалоты, придворной

дамы вдовствующей королевы Зантлики, явились поводом для пышных празднеств и необузданного веселья. Три дня, облаченная в роскошные одеяния, лежала мертвая Илалота посреди огромного пиршественного зала королевского дворца в Мираабе на устланных пестрыми восточными шелками носилках под пологом цвета розовых лепестков, вполне достойном венчать чье-нибудь брачное ложе. Вокруг нее от рассвета до заката, от прохладных вечерних сумерек до жаркой хмельной зари неослабно бушевал неистовый водоворот погребальных оргий. Вельможи, сановники, стражники, поварята, астрологи, евнухи, все фрейлины, камеристки и рабыни королевы Зантлики без устали и перерыва предавались неукротимому разгулу, дабы почтить память усопшей так, как она того заслуживала. Своды зала оглашали непристойные песни и фривольные куплеты, танцоры исступленно кружились в неистовых плясках под сладострастный хор неутомимых лютен. Вина и прочие хмельные напитки лились рекой; столы ломились от изобилия пряных яств, которые горами высились на подносах и никогда не иссякали. Пьющие вскидывали кубки во славу Илалоты, пока устилавшие ее носилки шелка не побагровели от пролитого вина. Повсюду вокруг нее в самых разнузданных и непринужденных позах раскинулись тела тех, кто решил предаться любовным утехам или пал жертвой чересчур обильных возлияний. Лежа с полусмеженными веками и чуть приоткрытыми губами в розоватой тени полога, Илалота ничем не напоминала умершую, а казалась спящей императрицей, которая беспристрастно правит живыми и мертвыми. Это обстоятельство, равно как и то, что после смерти ее прекрасные черты странным образом стали еще прекраснее, отмечали многие, а некоторые даже утверждали, что она, казалось, ожидает поцелуя возлюбленного, а не могильного тлена.

На третий вечер, когда были зажжены многоглавые медные светильники и обряды уже подходили к завершению, ко двору возвратился лорд Тулос, официальный любовник королевы Зантлики, который неделю назад уехал проведать свои владения на западной границе и не слыхал о кончине Илалоты. Когда, все еще ни о чем не подозревая, он вступил в зал, вакханалия уже начала утихать и тех, кто в изнеможении распростерся на полу, насчитывалось больше, чем тех, у кого еще оставались силы двигаться, пить и веселиться.

На лице его не отразилось никакого удивления, ибо к подобным сценам он привычен был с малолетства. Однако же, когда он приблизился к погребальным носилкам, то был поражен, увидев, кто на них упокоен. Среди многочисленных красавиц Мирааба, на которых ему доводилось

обратить свой сладострастный взор, Илалота удерживала его интерес дольше многих прочих и, как говорили, оплакивала его непостоянство безутешнее остальных. Месяцем раньше ее потеснила Зантлика, в недвусмысленной манере изъявившая Тулосу свою благосклонность, и тот оставил свою прежнюю возлюбленную, впрочем, не без сожаления, ибо положение любовника королевы, хотя и не лишенное определенных преимуществ и приятности, было довольно шатким. Поговаривали, что Зантлика избавилась от покойного короля Аркейна при помощи обнаруженного в одной из древних гробниц фиала с ядом, который силой своего действия был обязан искусству колдунов прежних дней. Обретя свободу, она сменила затем множество любовников, и тех, кому не посчастливилось навлечь на себя ее недовольство, неизменно ждал конец столь же жестокий, как и Аркейна. Взыскательная и ненасытная, она требовала неукоснительно хранить ей верность, что вызывало у Тулоса некоторую досаду, и он был рад провести неделю вне королевского двора, сославшись на неотложные дела в своих не близких владениях.

Теперь, стоя перед усопшей, Тулос позабыл про королеву и погрузился в воспоминания о летних ночах, напоенных одуряющим ароматом жасмина и хмельными ласками Илалоты. Ему труднее, чем кому-либо, было поверить в ее кончину, ибо нынешний вид Илалоты ничем не отличался от обличья, которое она нередко принимала во времена их близости. Покоряясь его прихоти, она прикидывалась недвижной и безмолвной, словно скованная оцепенением сна или смерти, и он любил ее со всем пылом, не растрачивая силы на тигриную страсть, с которой она в противном случае отвечала на его ласки или сама вызывала их.

Мало-помалу, точно подчиняясь чарам какого-то могущественного некроманта, Тулос оказался во власти диковинной иллюзии. Ему чудилось, что те жаркие ночи вернулись вновь и он очутился в заветной беседке в дворцовом саду, где Илалота ждала его на ложе, усыпанном душистыми лепестками, недвижная и безмолвная. Он словно перенесся из людного зала с его слепящим светом и разрумянившимися от хмеля лицами в озаренный луной сад, где цветы сонно клонили свои головки к земле, а возгласы придворных превратились в еле слышный посвист ветра в ветвях кипарисов и жасмина. Июньская ночь полнилась теплым, будоражащим кровь благоуханием, и снова, как в былые времена, казалось, что его источает сама Илалота, а не цветы. Охваченный неодолимым желанием, он склонился над ней и почувствовал, как ее прохладная рука невольно затрепетала под его губами.

Однако грезы его были грубо прерваны полным медоточивого яда

шепотом:

— Мне показалось или ты и вправду забылся, господин мой Тулос? Впрочем, я едва ли удивлена, ибо многие мои приближенные полагают, что после смерти она стала прекраснее, чем была при жизни.

Морок рассеялся, и Тулос, обернувшись, увидел перед собой Зантлику. Одеяния ее были в беспорядке, распущенные волосы всклокочены, и, пошатнувшись, она впилась в плечо Тулоса острыми ногтями. Пухлые кроваво-красные губы ее изгибались в недоброй улыбке, а желтые кошачьи глаза под удлиненными веками горели ревнивым огнем.

Тулос, охваченный странным смятением, лишь отчасти помнил наваждение, во власти которого оказался, и не понимал, впрямь ли он поцеловал Илалоту и ощутил ответный трепет ее плоти. Поистине, подумалось ему, такого не могло случиться, он просто грезил наяву. Однако гнев Зантлики и ее слова встревожили его, и полупьяные смешки и непристойные шуточки, которые пробежали по залу, — тоже.

— Берегись, Тулос, — шепнула королева; необъяснимая вспышка гнева ее, казалось, миновала, — ходят слухи, что она была ведьмой.

— Как она умерла? — спросил Тулос.

— От любовной лихорадки, как поговаривают.

— Ну, тогда она точно не была ведьмой, — произнес Тулос беспечно, однако на душе у него скребли кошки. — От этого недуга у истинной колдуньи непременно нашлось бы противоядие.

— Ее снедала любовь к тебе, — произнесла Зантлика угрюмо, — а сердце у тебя, как известно любой женщине, чернее и тверже, чем черный алмаз. С ним не совладать ни одним чарам, даже самым могущественным. — Настроение ее внезапно переменилось. — Твое отсутствие слишком затянулось, мой лорд. Приходи ко мне в полночь, я буду ждать тебя в южном павильоне.

И, одарив Тулоса знойным взглядом из-под полуопущенных ресниц, она ущипнула его за руку с такой силой, что ногти ее, точно кошачьи когти, оставили красные отметины на коже, видимые даже сквозь ткань рукава, после чего Зантлика отвернулась, чтобы подозвать к себе евнухов.

Тулос же, воспользовавшись тем, что королева отвлеклась, отважился еще раз взглянуть на Илалоту. Из головы у него не шли странные намеки Зантлики. Он знал, что Илалота, подобно многим дамам при дворе, баловалась магией и приворотными зельями, но это никогда не заботило его, ибо он не испытывал никакого интереса к иным чарам, кроме тех, какими природа наделила женщин. Он не мог поверить, что Илалоту сгубила смертельная страсть, поскольку по его опыту страсть никогда не

бывала смертельной.

И снова, когда он смотрел на нее, обуреваемый противоречивыми чувствами, ему показалось, что она вовсе не умерла. Странное наваждение больше не повторялось, но ему почудилось, что она неуловимо переменила позу на своем багровом от вина погребальном ложе и еле заметно повернула к нему лицо, как женщина подается навстречу долгожданному возлюбленному, а рука, которую он поцеловал то ли во сне, то ли наяву, лежит чуть дальше, чем лежала до этого.

Тулос склонился над ней, завороженный этой загадкой и влекомый какой-то необъяснимой силой. И вновь он сказал себе, что грезит наяву или просто ошибается, однако в этот миг грудь Илалоты слабо затрепетала и до него донесся еле различимый шепот:

— Приходи ко мне в полночь. Я буду ждать тебя… в могиле.

В это мгновение перед погребальными носилками появились люди в мрачных, цвета ржавчины, одеяниях могильщиков; они безмолвно прошли в зал, не замеченные ни Тулосом, ни кем-либо из собравшихся. На плечах они несли саркофаг из блестящей бронзы. Они явились забрать тело усопшей и отнести его в усыпальницу, где покоились члены ее семьи, в старом некрополе к северу от дворцовых садов.

Тулос, когда увидел могильщиков, силился закричать, остановить их, но язык отказался ему повиноваться; он не в силах был шевельнуть ни рукой ни ногой. Не понимая, сон вокруг него или явь, он смотрел, как могильщики уложили Илалоту в саркофаг и поспешно понесли ее прочь; ни один из осоловевших гуляк не последовал за ними и даже не проводил их взглядом. Лишь когда погребальная процессия удалилась, Тулос смог сойти со своего места перед опустевшим ложем. Мысли у него путались, в голове стоял вязкий тяжелый туман. Охваченный неодолимой усталостью, не удивительной после столь продолжительного путешествия, он удалился в свои покои и мгновенно забылся мертвым сном.

Когда Тулос пробудился, бледная бесформенная луна уже выплыла из-за кипарисов, тянувших к ней длинные и тонкие, как пальцы ведьм, сучья, и повисла в западном окне. Близилась полночь, и он вспомнил о свидании, которое назначила ему королева Зантлика и на которое он не мог не явиться без того, чтобы не навлечь на себя неминуемую королевскую немилость. В тот же миг с путающей ясностью в памяти его всплыла другая встреча… в то же самое время, только в ином месте. И сейчас же все события и впечатления от похорон Илалоты, которые тогда казались сомнительными и похожими на сон, обрушились на него со всей несокрушимой убедительностью реальности, точно впечатанные в его сознание каменной

тяжестью сна… или стараниями каких-то колдовских чар. Теперь он был убежден, что Илалота и впрямь пошевелилась на своем погребальном ложе и заговорила с ним и что могильщики погребли ее заживо. Быть может, ее смерть на самом деле была просто чем-то вроде каталепсии, или же она намеренно прикинулась мертвой в последней попытке вновь распалить его страсть. Все эти мысли разожгли в нем любопытство и желание; перед глазами, точно по волшебству, встал ее бледный, недвижный, головокружительно прекрасный облик.

В полнейшем смятении Тулос двинулся по темным лестницам и переходам и очутился в залитом лунном светом саду. Он проклинал Зантлику с ее требовательностью, которая была ему так некстати. Впрочем, сказал он себе, королева, вероятно, после их разговора продолжила воздавать должное крепким тасуунским винам и давным-давно уже достигла такого состояния, в котором не способна будет не то что сдержать свое обещание, но и вообще вспомнить о нем. Эта мысль придала ему духу и в его воспаленном сознании очень скоро превратилась в убежденность; он не стал спешить в южный павильон, а неторопливо зашагал по темным аллеям.

Чем дальше он заходил, тем сильнее крепла в нем уверенность, что он единственный в округе бодрствует в этот час: давно погруженные во мрак крылья дворца были тихи и безмолвны, а дорогу ему преграждали лишь безжизненные тени да разлитые в неподвижном воздухе озерца благоухания, и с небес, точно исполинский бледный мак, лила свой дремотный млечный свет луна.

Не вспоминая более о свидании с Зантликой, Тулос без дальнейших колебаний устремился туда, куда настойчиво гнал его внутренний голос. Ему непременно нужно было наведаться в склеп и понять, заблуждается он в своих подозрениях относительно Илалоты или нет. Если он туда не пойдет, она задохнется в закрытом саркофаге и ее мнимая смерть быстро обернется настоящей. И вновь совершенно явственно, как будто они только что прозвучали перед ним в лунном свете, он услышал слова, которые она прошептала, или ему показалось, что прошептала, со своего погребального ложа: «Приходи ко мне в полночь… Я буду ждать тебя… в могиле».

Сердце у него забилось учащенно, как у любовника, стремящегося поскорее оказаться у ложа нежной возлюбленной; через северную калитку он покинул дворцовый сад и по заросшей травой лужайке поспешил к старому кладбищу. Без трепета и колебания прошел он меж осыпающихся колонн в никогда не запиравшиеся владения смерти, вход в которые неусыпно стерегли изваянные из черного мрамора чудища с головами

вурдалаков, грозно взиравшие на входящих жуткими провалами глаз.

Безмолвие осевших могил, суровая белизна мраморных колонн, застывшие во мраке черные силуэты кипарисов, всеобъемлющее присутствие смерти, которым дышало все вокруг, лишь подстегнули странное возбуждение, волновавшее кровь Тулоса. Его словно опоили каким-то могущественным зельем. Гробовая тишина, царившая вокруг, вдруг ожила, наполненная тысячей ослепительных воспоминаний об Илалоте и смутных грез, которые роились в его мозгу, силясь принять какие-то очертания…

Однажды он навещал вместе с Илалотой подземную усыпальницу ее предков и теперь, с легкостью воскресив в памяти место, где она располагалась, без колебаний направился к низкому входу в склеп, скрытому в тени мрачных кедров. Густая крапива и пахучая дымянка, буйно разросшиеся вокруг входа, были примяты ногами тех, кто побывал здесь прежде Тулоса; ржавая кованая дверь на разболтанных петлях была приоткрыта. На земле лежал потухший факел, брошенный, без сомнения, кем-нибудь из могильщиков. Тулос спохватился, что, собираясь, не взял с собой ни свечи, ни лампы, и решил, что этот так кстати подвернувшийся факел — хороший знак.

Засветив его, Тулос вступил под своды гробницы. Он не стал тратить время на пыльные саркофаги у самого входа; в прошлый их визит Илалота показала ему укромную нишу в самой глубине усыпальницы, где в положенный срок рядом с прочими отпрысками их угасающего рода предстояло упокоиться ей самой. В затхлом воздухе вдруг неуловимо повеяло дыханием весеннего сада, одуряюще сладким ароматом жасмина, невесть откуда взявшегося в этой обители мертвых. Благоухание привело его к саркофагу, который единственный среди всех был открыт. Там в своих пышных погребальных одеяниях с полусмеженными веками и чуть приоткрытыми губами лежала Илалота, все такая же ошеломляюще красивая, такая же обольстительно бледная и неподвижная, как и в тот миг, когда сердцем Тулоса завладел черный морок.

— Я знала, что ты придешь, о Тулос, — прошептала она и слабо, как бы невольно, затрепетала под его все более пылкими поцелуями, которыми он принялся покрывать сначала ее шею, а потом грудь.

Факел вывалился из руки Тулоса и угас в густой пыли…

Зантлика, еще засветло удалившаяся в свои покои, спала неважно. Быть может, она выпила слишком много хмельного тасуунского вина или, наоборот, слишком мало, а может, возвращение Тулоса сильно разгорячило ее кровь, а жаркий поцелуй, который он запечатлел во время тризны на

руке Илалоты, всколыхнул в душе королевы ревность. Она не находила себе места; беспокойство подняло ее с постели задолго до часа условленной встречи с Тулосом, и она подошла к окну в поисках прохлады.

Однако воздух казался раскаленным, точно подогреваемый незримыми жаровнями; сердцу было тесно в груди, и зрелище залитых лунным светом садов не успокаивало, а лишь еще больше растравляло душевную смуту. Она поспешила бы в павильон на свидание, но, несмотря на снедавшее ее нетерпение, ей хотелось заставить Тулоса ждать ее. Она выглянула в окно и вдруг увидала внизу его. Он шел между клумбами, и ее поразили его непривычная поспешность и целеустремленность. Однако с каждым шагом он удалялся от места их условной встречи. Он скрылся из виду за кипарисами, которыми была обсажена аллея, ведущая к северным воротам, и ее изумление вскоре сменилось тревогой и гневом, когда он не вернулся.

Зантлика и помыслить не могла, чтобы Тулос, равно как и всякий другой мужчина, будучи в здравом уме, посмел забыть о назначенном ей свидании, и в поисках объяснения предположила, что дело не обошлось без каких-то могущественных чар. Столь же несложно, в свете недавних происшествий, свидетельницей которых она стала, и многочисленных толков, которые ходили среди ее подданных, оказалось и определить ту, которая навела эти чары. Королева знала, что Илалота была влюблена в Тулоса до безумия и безутешно горевала, когда тот покинул ее. Поговаривали, что она, хотя и тщетно, перепробовала самые разнообразные приворотные средства, чтобы вернуть неверного возлюбленного; напрасно пыталась она вызывать демонов и приносить им жертвы, бесплодны были ее старания наслать на Зантлику порчу и извести ее. В конце концов она умерла от досады и отчаяния, а может, умертвила себя при помощи какого-нибудь хитрого яда… А как гласило известное тасуунское поверье, ведьма, умершая таким образом, могла обратиться в ламию или вампиршу и добиться тем самым исполнения всех своих заклятий…

Королева содрогнулась, вспомнив про эти слухи, а также про чудовищное превращение, которым, как утверждали, сопровождался подобный конец, ибо тот, кто прибегал к помощи потусторонних сил, должен был принять внутреннюю суть и внешний облик их служителей. Слишком хорошо она представляла себе судьбу Тулоса и опасность, которой он подвергался, если ее опасения были верны. И, отдавая себе отчет, что навлекает на себя опасность ничуть не меньшую, Зантлика приняла решение последовать за ним.

Сборы ее были недолги, ибо нельзя было терять время; она вытащила из-под шелковых подушек маленький острый кинжал, который всегда

держала под рукой. Клинок от острия до рукоятки был покрыт ядом, равно, как: утверждали, смертоносным и для живых и для мертвых. Зажав его в правой руке, Зантлика взяла в левую фонарь, который мог понадобиться ей позднее, и торопливо прокралась к выходу из дворца.

Остатки хмеля выветрились из ее сознания, и в нем всколыхнулся рой смутных расплывчатых страхов, точно голоса предков пытались предостеречь ее. Однако, твердая в своей решимости, она двинулась в том же направлении, в котором скрылся Тулос, по следам могильщиков, которые относили Илалоту к месту погребения. Луна, словно бледный лик, источенный изнутри червями, провожала Зантлику взглядом с темного неба. Мягкая поступь ее обутых в котурны ног нарушала мертвую тишину и, казалось, разрывала тонкую призрачную пелену, отделявшую королеву от мира потусторонних ужасов. В памяти ее всплывали все новые и новые легенды о существах, подобных Илалоте, и сердце замирало у королевы в груди, ибо она знала, что ей предстоит противостоять не смертной женщине, но порождению самых темных сил зла. Но сквозь леденящий ужас мысль о Тулосе в объятиях ламии раскаленным тавром жгла ее сердце.

Перед Зантликой простирался некрополь, утопающий в непроглядной тени погребальных деревьев, словно готовая проглотить ее исполинская пасть, ощерившаяся клыками белых изваяний. Воздух стал затхлым и зловонным, точно отравленный тлетворным дыханием открытых склепов. Королева дрогнула и заколебалась; незримые черные тени, казалось, поднялись из могил и окружили ее плотным кольцом выше памятных стел и вершин деревьев, готовые наброситься на нее, если она отважится двинуться дальше. Однако же она тотчас миновала темный вход и с трепетом засветила фонарь. Его огонек чуть разогнал угрожающую подземную тьму, и она с едва подавляемым ужасом и отвращением двинулась в эту обитель мертвых… а может, и нежити.

Оставив позади первые несколько поворотов лабиринта, она поняла, что не видит вокруг ничего более омерзительного, нежели могильная сырость и вековая пыль, ничего более пугающего, нежели ряды саркофагов, которыми были уставлены глубокие каменные выступы, вытесанные в стенах, саркофагов, которые стояли безмолвные и никем не тревожимые с тех самых пор, как заняли тут свое место. Никто не покушался здесь на вечный сон мертвых, никто не осквернял необратимость небытия.

Королева почти уже была готова усомниться, что Тулос побывал здесь до нее, пока, посветив наземь, не обнаружила среди следов грубой обуви могильщиков в глубокой пыли изящные отпечатки его остроносых пуленов.

Следы Тулоса вели только в одну сторону, тогда как все остальные явственно указывали на то, что те, которые их оставили, побывали в глубине подземелья и вернулись обратно.

Потом откуда-то из мрака впереди донесся странный звук, не то стон охваченной любовной горячкой женщины, не то рык шакальей стаи, рвущей кусок мяса. У Зантлики кровь в жилах застыла от ужаса, однако она продолжала медленно продвигаться вперед, крепко сжимая в одной руке свой кинжал, а другой высоко держа над головой фонарь. Звук с каждым шагом становился громче и отчетливее; теперь в воздухе разливалось благоухание, напоминавшее аромат цветов в теплую июньскую ночь, однако чем ближе она подходила, тем сильнее примешивалось к нему невыразимое зловоние, подобного которому ей не доводилось обонять никогда прежде, и терпкий запах свежей крови.

Еще через несколько шагов Зантлика остановилась, точно удерживаемая незримой рукой демона: свет фонаря озарил запрокинутое лицо и торс Тулоса, свисавший с новенького сияющего саркофага втиснутого в узкую щель между остальными, позеленевшими от времени. Одна его рука судорожно цеплялась за край саркофага, а другая, нетвердая, казалось, ласкала расплывчатую тень, склонявшуюся над ним. Узкий луч фонаря выхватил из мрака жасминно-белую руку с темными пальцами, впившимися в его грудь. Голова и тело Тулоса напоминали опустевшую оболочку, рука, цеплявшаяся за бронзовую стенку, была тонкой, как плеть, а весь облик казался обескровленным, как будто он потерял куда больше крови, чем это можно было предположить по его разорванному горлу и лицу, побагровевшим одеяниям и слипшимся волосам.

От твари, склонившейся над Тулосом, безостановочно исходил тот самый звук, наполовину стон, наполовину рык. Зантлике, в ужасе и отвращении застывшей на месте, показалось, будто с губ Тулоса срывается какой-то нечленораздельный лепет, выдававший скорее наслаждение, нежели муку. Потом лепет затих, и голова его безжизненно повисла; королева поняла, что он мертв. Гнев придал ей мужества подкрасться ближе и поднять фонарь выше; вопреки затмевавшему все паническому страху ей пришла в голову мысль, что, быть может, отравленный колдовским ядом кинжал поможет ей умертвить существо, растерзавшее Тулоса.

Дрожащий свет постепенно озарил мерзкую тварь, которую еще миг назад ласкал во мраке Тулос.

…Она вытянулась от багровых от крови складок кожи до клыкастого отверстия, которое представляло собой наполовину пасть, наполовину

клюв… и Зантлика поняла, почему от Тулоса осталась одна лишь сморщенная оболочка. В том, что предстало глазам королевы, об Илалоте не напоминало ничто, кроме обольстительных белых рук да расплывчатых полукружий человеческой груди, которая в мгновение ока превратилась в грудь нечеловеческую, точно глина в пальцах какого-то демонического ваятеля. Руки тоже начали стремительно меняться и темнеть, и в этот миг обмякшая рука Тулоса вновь дрогнула и с нежностью потянулась к чудовищному созданию. Существо, словно не замечая его порыва, вытащило пальцы из его груди и, удлиняясь на глазах, потянулось схватить королеву своими окровавленными когтями.

Вот тогда-то Зантлика выронила и фонарь, и кинжал и с пронзительными воплями, перемежаемыми безумным смехом, в котором не было уже ничего человеческого, бросилась из усыпальницы прочь.

Строки, выведенные кровью

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1832), уроженец Франкфурта-на-Майне, в юности изучал право в Лейпциге и Страсбурге, однако остался в истории как поэт, драматург, романист, философ, государственный деятель и ученый. Книгой всей его жизни стал «Фауст», завершенный за год до смерти автора, космический по масштабу заложенных в нем смыслов, эволюционирующих от романтического субъективизма первой части к альтруистическому идеализму второй. Будучи кратким сводом западной интеллектуальной истории XVIII и начала XIX века, «Фауст», вкупе с широким кругом гётевских сочинений, относящихся к другим жанрам, вознес репутацию автора много выше пределов литературы, сделав его в глазах современников и потомков одним из величайших мыслителей Европы. Его ставили в один ряд с Вергилием, Шекспиром и Данте как одно из редких воплощений универсального литературного гения.

Баллада Гёте «Коринфская невеста», возможно, и не открыла историю бытования легенды о вампирах в Германии, но поместила эту легенду в фокус культурного внимания. Сюжет баллады подсказан автору историей Филиннион, описанной Флегоном из Тралл: юный афинянин, навещающий старого отцовского друга, с чьей дочерью он некогда был обручен, в полночный час встречает в его доме свою умершую невесту, ставшую вампиром. Гёте поэтически обработал этот сюжет в ходе дружеского состязания с Шиллером в сочинении баллад.

«Коринфская невеста» впервые была опубликована в 1797 году в издававшемся Шиллером журнале «Оры». В 1835 году баллада переведена на английский язык Джоном Анстером.

Коринфская невеста
Из Афин в Коринф многоколонный
Юный гость приходит, незнаком, —
Там когда-то житель благосклонный
Хлеб и соль водил с его отцом;
И детей они
В их младые дни
Нарекли невестой с женихом.
Но какой для доброго приема
От него потребуют цены?
Он — дитя языческого дома,
А они — недавно крещены!
Где за веру спор,
Там, как ветром сор,
И любовь и дружба сметены!
Вся семья давно уж отдыхает,
Только мать одна еще не спит,
Благодушно гостя принимает
И покой отвесть ему спешит;
Лучшее вино Ею внесено,
Хлебом стол и яствами покрыт.
И, простясь, ночник ему зажженный
Ставит мать, но ото всех тревог
Уж усталый он и полусонный,
Без еды, не раздеваясь, лег,
Как сквозь двери тьму,
Движется к нему
Странный гость бесшумно на порог.
Входит дева медленно и скромно,
Вся покрыта белой пеленой:
Вкруг косы ее, густой и темной,
Блещет венчик черно-золотой.
Юношу узрев,
Стала, оробев,
С приподнятой бледною рукой.
«Видно, в доме я уже чужая, —
Так она со вздохом говорит, —
Что вошла, о госте сем не зная,
И теперь меня объемлет стыд;

Спи ж спокойным сном
На одре своем,
Я уйду опять в мой темный скит!»
«Дева, стой, — воскликнул он, — со мною
Подожди до утренней поры!
Вот, смотри, Церерой золотою,
Вакхом вот посланные дары;
А с тобой придет Молодой Эрот,
Им же светлы игры и пиры!»
«Отступи, о юноша, я боле
Непричастна радости земной;
Шаг свершен родительскою волей:
На одре болезни роковой
Поклялася мать
Небесам отдать
Жизнь мою, и юность, и покой!
И богов веселых рой родимый
Новой веры сила изгнала,
И теперь царит один незримый,
Одному распятому хвала!
Агнцы боле тут
Жертвой не падут,
Но людские жертвы без числа!»
И ее он взвешивает речи:
«Неужель теперь, в тиши ночной,
С женихом не чаявшая встречи,
То стоит невеста предо мной?
О, отдайся ж мне,
Будь моей вполне,
Нас венчали клятвою двойной!»
«Мне не быть твоею, отрок милый,
Ты мечты напрасной не лелей,
Скоро буду взята я могилой,
Ты ж сестре назначен уж моей;
Но в блаженном сне
Думай обо мне,
Обо мне, когда ты будешь с ней!»
«Нет, да светит пламя сей лампады
Нам Гимена факелом святым,

И тебя для жизни, для отрады
Уведу к пенатам я моим!
Верь мне, друг, о верь,
Мы вдвоем теперь
Брачный пир нежданно совершим!»
И они меняются дарами:
Цепь она спешит златую снять, —
Чашу он с узорными краями
В знак союза хочет ей отдать;
Но она к нему:
«Чаши не приму,
Лишь волос твоих возьму я прядь!»
Полночь бьет — и взор доселе хладный
Заблистал, лицо оживлено,
И уста бесцветные пьют жадно
С темной кровью схожее вино;
Хлеба ж со стола
Вовсе не взяла,
Словно ей вкушать запрещено.
И фиал она ему подносит,
Вместе с ней он ток багровый пьет,
Но ее объятий как ни просит,
Все она противится — и вот,
Тяжко огорчен,
Пал на ложе он
И в бессильной страсти слезы льет.
И она к нему, ласкаясь, села:
«Жалко мучить мне тебя, но, ах,
Моего когда коснешься тела,
Неземной тебя охватит страх:
Я как снег бледна,
Я как лед хладна,
Не согреюсь я в твоих руках!»
Но, кипящий жизненною силой,
Он ее в объятья заключил:
«Ты хотя бы вышла из могилы,
Я бы согрел тебя и оживил!
О, каким вдвоем
Мы горим огнем,

Как тебя мой проникает пыл!»
Все тесней сближает их желанье,
Уж она, припав к нему на грудь,
Пьет его горячее дыханье
И уж уст не может разомкнуть.
Юноши любовь
Ей согрела кровь,
Но не бьется сердце в ней ничуть.
Между тем дозором поздним мимо
За дверьми еще проходит мать,
Слышит шум внутри необъяснимый
И его старается понять:
То любви недуг,
Поцелуев звук,
И еще, и снова, и опять!
И недвижно, притаив дыханье,
Ждет она — сомнений боле нет —
Вздохи, слезы, страсти лепетанье
И восторга бешеного бред:
«Скоро день — но вновь
Нас сведет любовь!»
«Завтра вновь!» — с лобзаньем был ответ.
Доле мать сдержать не может гнева,
Ключ она свой тайный достает:
«Разве есть такая в доме дева,
Что себя пришельцам отдает?»
Так возмущена,
Входит в дверь она —
И дитя родное узнает.
И, воспрянув, юноша с испугу
Хочет скрыть завесою окна,
Покрывалом хочет скрыть подругу;
Но, отбросив складки полотна,
С ложа, вся пряма,
Словно не сама,
Медленно подъемлется она.
«Мать, о мать, нарочно ты ужели
Отравить мою приходишь ночь?
С этой теплой ты меня постели

В мрак и холод снова гонишь прочь?
И с тебя ужель
Мало и досель,
Что свою ты схоронила дочь?
Но меня из тесноты могильной
Некий рок к живущим шлет назад,
Ваших клиров пение бессильно,
И попы напрасно мне кадят;
Молодую страсть
Никакая власть,
Ни земля, ни гроб не охладят!
Этот отрок именем Венеры
Был обещан мне от юных лет,
Ты вотще во имя новой веры
Изрекла неслыханный обет!
Чтоб его принять,
В небесах, о мать,
В небесах такого бога нет!
Знай, что смерти роковая сила
Не могла сковать мою любовь,
Я нашла того, кого любила,
И его я высосала кровь!
И, покончив с ним,
Я пойду к другим, —
Я должна идти за жизнью вновь!
Милый гость, вдали родного края
Осужден ты чахнуть и завять,
Цепь мою тебе передала я,
Но волос твоих беру я прядь.
Ты их видишь цвет?
Завтра будешь сед,
Русым там лишь явишься опять!
Мать, услышь последнее моленье,
Прикажи костер воздвигнуть нам,
Свободи меня из заточенья,
Мир в огне дай любящим сердцам!
Так из дыма тьмы
В пламе, в искрах мы
К нашим древним полетим богам!»

Лорд Байрон

Джордж Гордон, лорд Байрон (1788–1824) родился в Лондоне, учился в Харроу, а затем в Тринити-колледже Кембриджского университета. С детства страдавший хромотой, он вместе с тем обладал необычайно привлекательной внешностью, вызывавшей восхищение как у женщин, так и у мужчин. Уже в университетские годы он оказался вовлечен в бисексуальные отношения и карточные игры, следствием которых стали значительные долги. В 1809–1811 годах он совершил путешествие по Средиземноморью, во время которого впервые познакомился с легендами о вампирах и написал первые две песни поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», прославившие его имя. Впоследствии он создал две заключительные песни «Паломничества», а также шесть «восточных» поэм, включая «Гяура».

Одна из величайших фигур в литературе романтического периода, Байрон был близким другом Шелли, с которым познакомился после того, как из-за своего эпатирующего поведения, шедшего вразрез с общественными устоями того времени, был фактически изгнан из Англии. Личный врач и секретарь Байрона Джон Полидори избрал его прототипом аристократического вампира лорда Рутвена, главного героя своей повести «Вампир» (1819); в первом издании она была приписана самому поэту, что вызвало его гнев. Из множества блистательных поэтических сочинений Байрона выделяется общепризнанный шедевр — объемный стихотворный роман «Дон Жуан», оставшийся неоконченным вследствие кончины автора, случившейся в греческом городе Миссолонги, где поэт боролся за свободу Греции от гнета Оттоманской империи.

«Гяур: Фрагмент турецкой повести» был впервые опубликован в Лондоне Джоном Мерреем в 1813 году.

Гяур Отрывок из поэмы

Чалма из камня. За кустом
Колонна, скрытая плющом,
Где в честь умершего османа
Стихи начертаны Корана, —
Не видно больше ничего
На месте гибели его.
В сырой земле лежит глубоко
Вернейший из сынов Пророка,
Каких досель из года в год
К себе святая Мекка ждет.
Он, твердо помня запрещенье,

К вину всегда питал презренье,
Лишь «Алла-Гу», призыв святой,
Он слышал — чистою душой
Тотчас стремился он к Пророку,
Оборотись лицом к востоку.
От рук гяура здесь он пал.
В родной долине умирая,
Врагу он мщеньем не воздал…
Но там, на небе, девы рая
Его нетерпеливо ждут,
И стройных гурий взоры льют
Лучи небесного сиянья.
Свое горячее лобзанье
Они несут ему скорей.
Такой кончины нет честней.
В борьбе с неверным смерть — отрада
Ее ждет лучшая награда.
Изменник с черною душой!
Тебя Монкир своей косой
Изрежет. Коль освободиться
Успеешь ты от этих мук,
То вечно должен ты вокруг
Престола Эблиса кружиться,
И будет грудь гореть огнем…
Нет, о страдании твоем
Пересказать не хватит силы.
Но перед этим из могилы
Ты снова должен выйти в мир
И, как чудовищный вампир,
Под кровлю приходить родную —
И будешь пить ты кровь живую
Своих же собственных детей.
Во мгле томительных ночей,
Судьбу и небо проклиная,
Под кровом мрачной тишины
Вопьешься в грудь детей, жены,
Мгновенья жизни сокращая.
Но перед тем, как умирать,
В тебе отца они признать

Успеют. Горькие проклятья
Твои смертельные объятья
В сердцах их скорбных породят,
Пока совсем не облетят
Цветы твоей семьи несчастной.
Когда же юной и прекрасной
Любимой дочери придет
Погибнуть за тебя черед —
Она одна тебя обнимет,
И назовет отцом, и снимет
Она кору с души твоей,
И загорится пламень в ней.
Но все же нет конца мученью:
Увидишь ты, как тень за тенью
Румянец нежный на щеках
У юной жертвы исчезает
И гаснет блеск у ней в глазах,
И взгляд печальный застывает…
И ты отделишь от волос
Одну из золотистых кос,
И унесешь в воспоминанье
Невыразимого страданья:
Ведь в знак любви всегда с собой
Носил ты локон золотой.
Когда с кровавыми устами,
Скрежеща острыми зубами,
В могилу с воем ты придешь,
Ты духов ада оттолкнешь
Своею страшною печатью
Неотвратимого проклятья.

Джон Китс

Джон Китс (1795–1821) родился в Лондоне в семье владельца извозной конюшни. В юности он был учеником врача в Эдмонтоне и в 1816 году успешно сдал экзамены, позволяющие заниматься медицинской практикой, однако уже тогда его куда больше увлекало поэтическое творчество. В возрасте шестнадцати лет он перевел прозой «Энеиду», а спустя четыре года Ли Хант опубликовал его первое значительное стихотворение — «Сонет, написанный после прочтения Гомера в переводе Чапмена». Вскоре вышла в свет первая книга Китса, «Стихотворения»

(1817), которая, однако, не получила одобрительных отзывов критики, равно как и вторая — большая повествовательная поэма «Эндимион» (1818), знаменитая своей часто цитируемой начальной строкой «Прекрасное пленяет навсегда…».

Летом 1818 года Китс вместе со своим другом Чарльзом Брауном предпринял пешее путешествие по Шотландии и, как принято полагать, подхватил там туберкулез — хотя не исключено, что он заразился этой болезнью еще в детстве от матери (или — позднее — от брата). В декабре 1818 года он переехал в Хэмпстед, где испытал глубокое чувство к семнадцатилетней Фанни Браун; эта любовь, кажется, принесла ему не много счастья, но зато способствовала наступлению самого плодотворного периода его творчества. В течение года Китсом были созданы поэма «Канун святой Агнесы», баллада «La Belle Dame Sans Merci» и знаменитые оды — «Ода соловью», «Ода греческой вазе», «Ода Психее» и «Ода меланхолии». Его заболевание прогрессировало, и в сентябре 1820 года он отправился в Рим, стремясь избежать английских зимних холодов, но умер спустя несколько месяцев, не дожив до 26 лет.

Баллада «La Belle Dame Sans Merci» была впервые опубликована в журнале «Индикейтор» 10 мая 1820 года.

La Belle Dame Sans Merci Баллада
О рыцарь, что тебя томит?
О чем твои печали?
Завял на озере камыш,
И птицы замолчали.
О рыцарь, что тебя томит?
Ты изнемог от боли.
У белки житница полна,
И сжато поле.
Лицо увлажнено росой,
Измучено и бледно,
И на щеках румянец роз
Отцвел бесследно.
Я встретил девушку в лугах —
Прекрасней феи мая.
Взвевалась легким ветерком
Прядь золотая.
Я ей венок душистый сплел:
Потупившись, вздохнула
И с нежным стоном на меня

Она взглянула.
Я посадил ее в седло:
Ко мне склонясь несмело,
Она весь день в пути со мной
Мне песни пела.
И корни трав, и дикий мед
Она мне отыскала —
На чуждом, странном языке
«Люблю» сказала.
Она вошла со мною в грот,
Рыдая и тоскуя,
И я безумные глаза
Закрыл, целуя.
И убаюкан — горе мне! —
Я был на тихом лоне,
И сон последний снился мне
На диком склоне.
Предстала бледная как смерть
Мне воинская сила,
Крича: «La Belle Dame Sans Merci»,
Тебя пленила.
Грозились высохшие рты,
Бессильные ладони…
И я очнулся поутру
На диком склоне.
И вот скитаюсь я один
Без сил, в немой печали.
Завял на озере камыш,
И птицы замолчали.

Трудные времена для вампиров

Чарльз Бомонт

Чарльз Бомонт (наст, имя Чарльз Лерой Натт, 1929–1967) родился в Чикаго. Его мать дурно обращалась с ним, одевала его, как девочку, и однажды убила его домашнего питомца, дабы наказать сына за плохое поведение. В детстве он перенес менингит, который, несомненно, способствовал его ранней смерти, ставшей, согласно медицинскому заключению, следствием болезни Альцгеймера. Оставив среднюю школу, чтобы вступить в армию, он в дальнейшем работал иллюстратором, диджеем, швейцаром, мойщиком посуды, а в 1950 году продал журналу

«Удивительные истории» свой первый рассказ. Спустя четыре года, в сентябре 1954-го, его рассказ «Черная страна» появился в «Плейбое» и стал первой публикацией художественной прозы в этом журнале.

В это же время Бомонт начал много и успешно работать для телевидения, написав сюжеты двадцати двух эпизодов «Сумеречной зоны» и став любимцем Альфреда Хичкока как сценарист телешоу «Альфред Хичкок» и «Час Альфреда Хичкока». Им также написаны сценарии сериалов «Алкоа представляет», «Есть оружие — могу путешествовать», «Ричард Даймонд, частный детектив», «Обнаженный город» и «Путешествие в неизведанное».

Известный в основном как автор рассказов — его дебютный сборник «„Голод“ и другие истории» (1957) стал событием в мире фантастической литературы, — Бомонт выпустил лишь один роман, «Захватчик» (1959), по которому позднее написал сценарий для одноименного фильма (1962) Роджера Кормана с Уильямом Шатнером в заглавной роли. Он также выступил соавтором романа «Бегство от охотника» (1957) под псевдонимом Кит Грантленд.

Рассказ «Место встречи» был впервые опубликован в научно-фантастическом журнале-альманахе «Орбита» в декабре 1953 года.

Место встречи

Ветер, дувший с гор, нес запах свежести, но и холодную влажность осени. Врываясь в долину, в город, он шелестел ветвями мертвых деревьев, заставлял вывески раскачиваться и скрипеть. Добравшись до церкви, зазвонил в колокол, заменяя отсутствующего звонаря.

Люди во дворе смолкли, слушая эту угрюмую музыку.

Джим Кронер, рослый детина, тоже слушал. Затем он прочистил горло и хлопнул в ладоши — мозолистые, с въевшейся в поры грязью, — и громко сказал:

— Пора начинать. Время делом заняться. — Выйдя из толпы, он повернулся к ней лицом. — У кого список?

— Вот, — ответила женщина, державшая в руках растрепанную записную книжку.

— Все здесь?

— Все, кроме одного немца. Грунин… нет, Грунгер.

Кронер улыбнулся, затем сложил ладони рупором и прокричал:

— Грунинген! Бартольд Грунинген!

— Да… ест сдесь, — тут же ответил ему щуплый усатый человек. — Немношко трудно после могила…

— Прекрасно. Главное, что вы здесь.

Кронер внимательно просмотрел страницы, после чего засунул руку в карман плаща, вынул огрызок карандаша и слегка послюнявил.

— Прежде чем мы начнем, спрашиваю: вопросы есть? Замечания? — Он оглядел молчаливые лица собравшихся. — Может, кто-то не знает, кто я? Нет таких?

Новый порыв ветра подхватил полы плащей, взъерошил мокрые волосы, опрокинул мертвые розы и гортензии в оловянных вазах. Пыль из лепестков понеслась вдоль могил и надгробий. Теперь ветер уже не пах дождем и свежестью; пролетев над полями, он вобрал миазмы гниющих останков жизни.

Кронер сделал пометку в записной книжке и выкрикнул:

— Эдвард Андерсон!

Вперед вышел человек в таком же плаще, как у Кронера.

— Энди, ты обследовал долину Скагит, округа Снохоумиш и Кинг, Сиэтл и далее.

— Да, сэр.

— Что можешь сказать?

— Там все мертвы.

— Ты внимательно смотрел? Не ленился заглядывать во все дыры?

— Да, сэр. И во всем штате — ни одного живого человека.

Кронер снова черканул у себя в книжке.

— С тобой, Энди, все. Теперь — Катина Авакян.

Из задних рядов вышла молодая женщина в шерстяной юбке и серой кофте и тут же принялась оживленно что-то говорить, размахивая руками. Кронер постучал своей палкой о землю:

— Послушайте меня еще немного. Не все из вас умеют сносно говорить по-английски. Чтобы вы не путались в словах, упростим задачу. Если на мой вопрос вы отвечаете «да», достаточно кивнуть. Вскинуть и опустить голову. Вот так… Если ответ «нет» — помотайте головой из стороны в сторону. Это понятно?

В толпе зашептались и зашушукались. Женщина по фамилии Авакян безостановочно кивала.

— Отлично, — сказал Кронер. — Мисс Авакян. Вы обследовали… что? Иран, Ирак, Турцию, Сирию. Нашли хоть кого-нибудь живого?

Женщина перестала кивать.

— Нет, — ответила она. — Нет. Нет.

— Вы свободны, мисс Авакян. — Кронер отметил следующую фамилию. — А теперь — Петер Болеславский.

— Да, сэр. — На полянку вышел мужчина в ярком городском костюме

и остановился, ожидая вопроса.

— Что можете нам сообщить?

— Тщательно прочесал всю центральную часть Нью-Йорка. — Болеславский пожал плечами. — Потом Бруклин и Джерси. Ни одного человека. Нигде.

— Он прав, — дрожащим голосом подтвердила смуглолицая женщина. — Я там тоже была. Везде только мертвые. По всему городу. На улицах, в машинах, в офисах. Везде.

— Пьетро Чавес, Нижняя Калифорния. [45]

— Все мертвы, сеньор председатель.

— Руджеро Чодо, Капри.

Итальянец лихорадочно замотал головой.

— Шарлотта Денман, юг Соединенных Штатов.

— Мертвы, как дверные гвозди…

— Дэвид Элгар…

— Игнац Феррацио…

— Бернард Гольдфарб…

— Халперн…

— Ив… Кранек… О’Брайен…

Все новые и новые имена Кронер выстреливал в вечерние сумерки, но ответами ему были либо интенсивные мотания головой, либо короткие «нет».

Список закончился. Кронер закрыл записную книжку и простер свои крупные руки мастерового к толпе — перед ним были округлившиеся глаза, дрожащие губы, молодые лица, все полные испуга.

Одна девочка заплакала, сев на влажную землю, пряча лицо в ладонях и всхлипывая. Ее погладил по голове какой-то старик с печальным, но не испуганным лицом — страх испытывали только молодые.

— Успокойтесь, — твердым голосом произнес Кронер. — Успокойтесь и послушайте меня. Я снова задам вам все тот же вопрос, поскольку мы должны знать наверняка.

Он обождал, пока толпа утихнет.

— Так. Теперь слушайте, все и каждый. Мы обследовали почти все уголки. Кому-то удалось найти хотя бы один признак жизни?

Ветер опять стих. Собравшиеся молчали — установившаяся тишина тоже была мертвой. Сквозь ржавую проволочную ограду виднелись серые луга, где валялись разлагающиеся туши коров, лошадей, а на одном поле — и овец. Над дохлыми животными не жужжали мухи, в гнилом мясе не ползали черви. В небе не кружили грифы. Птиц не было вообще. На

пожухлых травянистых холмах, некогда звучащих на миллионы голосов, на всех пространствах царила полная тишина. Тишина, сравнимая с течением лет и неслышимым движением звезд.

Кронер смотрел на собравшихся: на молодую женщину в веселом ситцевом платье, на высокого африканца с раскрашенным лицом и подчеркнутыми шрамами, на свирепого шведа, утратившего в сероватых сумерках изрядную часть своей свирепости. Он смотрел на рослых и невысоких, молодых и старых, собравшихся сюда со всего мира. Разноязыкое население, явившееся на встречу в это уединенное и заброшенное место: его покинули задолго до того, как в те жуткие три дня и три ночи с неба на землю падали газовые бомбы и снаряды со смертоносными болезнями. Покинули и забыли.

— Джим, поговорите с нами, — попросила женщина, что подавала ему записную книжку.

Женщина эта была из новых.

Кронер спрятал список в одном из громадных карманов плаща.

— Расскажите нам, как мы будем кормиться? Что будем делать? — послышалось из толпы.

— Весь мир мертв, — застонала другая девочка. — Совсем мертвый. Весь мир…

— Todo el mundo, — повторил кто-то те же слова по-испански.

— Месье Кронер. Месье Кронер, что нам делать? — спросили его на ломаном английском, ставя ударение на последний слог.

— Делать? — с улыбкой спросил Кронер и взглянул туда, где сквозь ядовитое облако лился леденящий свет взошедшей луны. — Мы будем делать то, что некоторые из нас уже делали, — ровным, безжизненным голосом сказал он. — Вернемся на свои места и будем ждать. Такое случается не в первый раз. И не в последний.

Толстый лысый коротышка с отражением древности в глазах вздохнул и начал таять в октябрьских сумерках: сперва очертания его тела задрожали, а потом оно исчезло под тенью деревьев, куда не проникал лунный свет. Другие продолжали слушать Кронера.

— Мы будем делать то, что делали всегда и, думаю, будем делать и потом. Мы вернемся туда, откуда вышли, и погрузимся в сон. И будем ждать. Потом все начнется заново. Люди опять построят города. Новые люди, с новой кровью. Тогда мы проснемся. Возможно, ждать придется долго. Но это не так уж плохо: лежать в тишине и знать, что время проходит.

Он подхватил на руки девушку лет пятнадцати или шестнадцати.

— Не унывай! Думай о том, как ты славно попируешь, когда все отстроится!

Девушка улыбнулась. Кронер обвел глазами лица собравшихся и махнул руками. Крупными, сильными руками, огрубевшими от камня полуночных пирамид. Эти руки держали мушкеты; их ломило от долгих ночных смен на заводах. Они крутили рули грузовиков. Они знали удары томагавка и пулеметные пули. Там, куда не въелась грязь, эти руки были совсем белыми и бескровными. Древние руки. Древние настолько, что их возраст не поддавался подсчету.

Словно повинуясь его знаку, с гор вновь хлынул ветер. Загнусавил колокол, заскрипели вывески, между мертвых деревьев заструилась пыль.

Кронер видел, как почернел воздух. Как наполнился звуками, напоминающими хлопанье крыльев, шелестом и писком. Через какое-то время он прекратил махать руками, вздохнул и зашагал прочь.

Там, где густо росли кустарники и вился плющ, он ненадолго остановился, глядя на островки могил среди высокой темной травы. Каменные свитки, застывшие каменные дети с могильных памятников. На кресты он не смотрел. Собравшиеся разошлись, поле опустело.

Кронер разгреб листву. Потом забрался в гроб и опустил крышку.

Вскоре он заснул.

Эд Горман

Эдвард Джозеф Горман родился в 1941 году в Сидар-Рапидсе, Айова, и учился в Коу-колледже в своем родном штате. Он проработал двадцать лет в рекламном бизнесе, а затем, с 1989 года, целиком посвятил себя сочинению художественной прозы. Кроме того, он много лет является ответственным редактором журнала, посвященного новинкам детективной литературы, а также редактором множества детективных и хоррор-антологий, в том числе великолепной «Большой книги нуара» (1998).

Работая одновременно в нескольких жанрах, Горман приобрел себе самых верных поклонников как автор детективов в первую очередь благодаря шеститомной серии книг о Джеке Дуайере, отставном полицейском из Сидар-Рапидса, начатой романом «Черновой монтаж» (1985). В 1987–1990 годах он опубликовал четыре романа о Лео Гилде, «охотнике за головами» из западных штатов. Другие «сквозные» персонажи Гормана — Дев Мэллори, агент секретной службы, появляющийся в романах «Фальшивые деньги» (2005) и «Кратчайший путь» (2006), Роберт Пейн, бывший судебный психолог из ФБР, действующий в четырех романах, и Сэм Маккейн, адвокат из вымышленного местечка Блэк-Ривер-Фоллс в штате Айова, фигурирующий в шести романах. В 1992 году

Горман получил от Американской ассоциации авторов вестернов премию «Шпора» за рассказ «Лицо», победивший в номинации «Лучший рассказ»; он также дважды номинировался Американской ассоциацией авторов хоррора на премию Брэма Стокера — как автор сборников рассказов «Клетки» (1995) и «Фантастическая тьма» (2001).

Рассказ «Долг» был впервые опубликован в антологии «Под клыком» под редакцией Роберта Р. Маккаммона (Нью-Йорк: Покет-букс, 1991).

Долг

Ранним утром, едва солнце начало выжигать росу на фермерских полях, Келлер выкатил свой старенький «швинн». [46] Не прошло и минуты, как он двинулся в путь, оставив за спиной крытую толем лачугу, где жил в компании козы, трех кур (он так и не мог решиться их съесть), четырех кошек и хомяка. Прежде хомяк принадлежал Тимми.

Сегодня он ехал по двухполосному шоссе. Солнце жарило спину. Келлер вспоминал времена, когда по здешнему асфальту, оглашая воздух всплесками рок-н-ролла, неслись красные открытые машины, в которых сидели розовощекие блондинки. Или, словно громадные зеленые улитки, неспешно катились трактора фирмы «Джон Дир», [47] приводя в бешенство городских водителей.

Да, прежние времена. Еще до перемены. Он любил сидеть на стуле перед лачугой, болтая со своей женой Мартой и сыном Тимми, пока тот не засыпал на материнских коленях. Тогда Келлер осторожно брал сынишку на руки, нес в дом и укладывал в кроватку, целуя во влажный лобик и желая спокойной ночи. Местные фермеры называли их семейством хиппи, однако не вкладывали в эти слова пренебрежительного оттенка. Звание хиппи Келлер носил с достоинством, как орден. В мире, помешавшемся на деньгах и власти, он хотел жить, вновь и вновь открывая простые радости жизни: ночное звездное небо, чистоту быстрых ручьев, незатейливость горных мелодий, которые он наигрывал на шестиструнной гитаре под крики сов и мяуканье котят, адресуя свою музыку молчаливым крокусам. Когда-то он занимался финансами и даже преуспел в этом, получив степень магистра. Но, встретив Марту (прежде такие счастливые и довольные люди ему не попадались), он последовал за нею и еще ни разу не пожалел, что оставил вероломный мир.

Келлер думал об этом, стараясь держаться середины шоссе, где асфальт получше. Его сопровождал Энди — золотистый колли, радующийся неожиданной прогулке. За плечами Келлера висел старый рюкзак, купленный, еще когда он учился в колледже; за двадцать лет рюкзак настолько истрепался и выгорел на солнце, что слово «Адидас»

почти исчезло с его поверхности.

Келлер крутил педали; велосипедная цепь провисла и иногда ударяла по раме. Случалось, что на особо крутых подъемах переднее крыло начинало царапать покрышку. Не реже раза в неделю Келлер внимательно и методично осматривал свой «швинн», подкручивая и подтягивая все, что этого требовало. Однако велосипед вел себя, будто непослушный мальчишка, не желавший подчиняться правилам. Совсем как Тимми.

За два часа пути Энди заметно устал и бежал теперь, высунув розовый язык, да и Келлер притомился.

Фермерский дом находился к востоку от шоссе, на склоне довольно крутого холма.

Остановившись, Келлер достал из рюкзака бинокль и минут десять внимательно разглядывал строение и окрестности. Ничего конкретного он не искал: ему просто нужно было убедиться, что хозяева дома и что супружеская пара, передавшая ему приглашение через Конроя (тот жил в десяти милях к западу от Келлера и разводил свиней), были именно те, за кого себя выдавали.

Он увидел крепкую женщину в выцветшем домашнем платье — она развешивала белье на заднем дворе. Увидел загорелого мужчину в голубом комбинезоне, окруженного колышущимся ковром белых голодных кур, на которых сыпался золотистый дождь кукурузных зерен. Рядом с домом стояла старая ветряная мельница: ее лопасти лениво крутились на южном ветру, не теряя дряхлого достоинства. Келлер убрал бинокль, потрепал уставшего пса по голове, вновь оседлал велосипед и направился к холму.

Первой его заметила женщина. Она как раз заканчивала развешивать белье, когда Келлер вывернул из-за большого двухэтажного каркасного дома.

При виде гостя женщина почти не пыталась скрыть злость. Говорить с Келлером она не пожелала, а кликнула мужа: к счастью, тому удалось расслышать ее сквозь плотный куриный гвалт. Мужчина опустил на землю жестяную миску с остатками кукурузных зерен, подошел к жене и встал рядом с нею.

— Что-то вы рано, — сказал он Келлеру.

Фермера звали Элси Доддсом, а его жену — Мирной. До того как случилась перемена, Келлер часто видел их на обедах вскладчину. [48], устраиваемых сообществом фермеров.

— Я не знал, сколько времени займет дорога к вам. Думаю, приехал не намного раньше обещанного.

— Вам нравится это занятие, мистер Келлер? Поди, удовольствие

получаете? — спросила Мирна Доддс.

— Мирна, ну зачем ты…

— Хочу услышать его ответ. Пусть скажет честно.

Ее слова не задели Келлера — он привык. Вполне нормальная человеческая реакция.

— Она уже пару ночей не смыкает глаз, — пояснил муж. — Вы понимаете, о чем я.

Келлер кивнул.

— Кофе хотите? — спросил Элси Доддс.

— С удовольствием.

И вдруг Мирна заплакала. Даже не заплакала, а завыла. Ее полное тело сотрясалось под мешковатым платьем.

Подобное горе Келлер видел везде, куда его звали. Увы, утешить эту женщину ему было нечем.

Доддс осторожно обнял жену за талию.

— Дорогая, почему бы тебе не пойти взглянуть на Бет?

Его неуклюжие старания сделали только хуже. Услышав это имя, женщина заплакала в голос.

Через какое-то время она отняла руки от мокрого лица и сердито поглядела на Келлера.

— Надеюсь, вы сгниете в аду, мистер Келлер. Там вам самое место.

Опущенные жалюзи частично предохраняли кухню от жары. На плите подрагивала крышка большой кастрюли: оттуда пахло тушеным мясом, помидорами, луком и паприкой.

Оба мужчины сидели за небольшим столом. На стене висел домашний календарь из тех, что продаются в похоронных заведениях, — с него глядел молодой, очень симпатичный бородатый Иисус. Келлер и Доддс допивали по второй кружке кофе.

— Вы уж извините мою хозяйку.

— Я ее понимаю. У меня были бы такие же чувства.

— Мы всегда думаем: с нами этого не произойдет.

— Вообще-то они в такую даль не лезут. Им это ни к чему. Липнут к городам или хотя бы к тем местам, где население поплотнее.

— Как видите, добираются и сюда. Понятное дело: люди стараются помалкивать о таких визитах, но они случаются.

Келлер вздохнул и уставился в почти опустевшую кружку.

— Думаю, да.

— У вас ведь это тоже было, — сказал Доддс. — Сын?

— Да.

— Мерзавцы паршивые. Гнусь ополоумевшая.

С этими словами Доддс хватил кулаком по столику, покрытому красно-белой клетчатой клеенкой — вероятно, новой, поскольку она еще не утратила характерного запаха. В окне над раковиной синело небо и зеленели деревья.

— А вы сами их видели? — помолчав, спросил Доддс. — Живьем.

— Нет.

— Мы однажды видели. Мы ездили в Чикаго. Хотели вернуться в гостиницу еще до сумерек, когда эта нечисть выползает на улицы. Да вот заблудились. Вам рассказывали, чем от них воняет?

— Да.

— Чем-то вроде гниющего мяса. Просто не веришь. Особенно когда их собирается целая куча. И все в язвах, как прокаженные. Наконец мы нашли нужную улицу, но пока добрались, увидели двоих. Совсем дети, но уже обратившиеся. Выбрали себе старуху. Сначала они ее просто дразнили, затем начали приставать. Растягивали удовольствие, как могли. Она кинулась бежать, но упала. Тут один опустился на колени и принялся за дело. А вы знаете, что их после этого рвет?

— Да. Чужая кровь ударяет по их пищеварительной системе.

— Видели бы вы, как их выворачивало! Уши хотелось заткнуть — так эти детки вопили. Потом старуха встала и тоже закричала. Но не как человек. Как зверь. С ней тоже началась перемена.

Келлер допил остатки кофе.

— Хотите еще?

— Спасибо, мистер Доддс. Мне достаточно.

— Может, выпьете пепси? Мы купили ящик для особых случаев. — Он пожал плечами. — Я не особо жалую спиртное.

— Нет, мистер Доддс. Спасибо. Пепси я не хочу.

Доддс тоже допил свой кофе.

— Можно вас кое о чем спросить?

— Конечно, — ответил Келлер.

Наступало время приниматься за то, ради чего он сюда приехал. Доддс мешкал. Келлер вполне его понимал и не упрекал.

— Бывало, что вы ошибались?

— То есть как, мистер Доддс?

— Ну… вы думали, что они обратились, а на самом деле — нет. Такое было?

Келлер прекрасно понимал, о чем пытается спросить у него Доддс. Это был даже не вопрос, а мольба, обращенная к Богу, если тот существовал:

«Сделай так, чтобы это оказалось ошибкой. Пусть все окажется не таким, каким видится».

— До сих пор… я не ошибался, мистер Доддс.

— Вы знаете, каково ей будет… моей жене?

— Догадываюсь, мистер Доддс.

— Ей уже не стать такой, как была.

— Да. Не хочу вас обнадеживать.

Доддс разглядывал свои руки, которые вновь сжались в кулаки.

— Шваль вонючая, — прошептал он.

— Мистер Доддс… может, я пойду и… взгляну?

— Вы действительно не хотите еще кружку кофе?

— Спасибо за предложение, но два мне вполне хватило.

В доме было сумрачно и прохладно. Сразу чувствовалось, что это здание старой постройки: и потолки высокие, и отделка красным деревом, и пол успел истереться. Но, невзирая на почтенный возраст, дом выглядел приятным и уютным. Особенно в жаркий день.

Еще в коридоре Келлер услышал пение миссис Доддс — весьма странное пение, правильнее даже было бы назвать это бормотанием.

— Если она опять вам что-то скажет, вы… простите ее, мистер Келлер.

Приехавший кивнул.

В это время в окно гостиной влетел камень. Звук разбившегося стекла прозвучал не резко, а скорее приятно, почти музыкально.

Доддс бросился по коридору, оклеенному розовыми обоями. Гость побежал за ним. Хозяин рванул дверь-ширму, едва не задев локтем лицо Келлера.

На лужайке, в тени вяза, стояли люди: шестеро мужчин и четыре женщины. Соседи. У двоих в руках были карабины.

— Вот он, — сказал один из мужчин.

— Сукин сын Келлер, — подхватил другой.

— Проваливайте отсюда, — взревел Доддс, спускаясь по ступеням крыльца. — Это моя земля.

— Элси, ты что, действительно позволишь ему это сделать? — спросил кто-то из мужчин.

— Это мое дело, — ответил Доддс, вцепившись в лямки комбинезона.

Вперед вышла миловидная женщина.

— Прости, Элси, что мы сюда явились. Но мужчин было не удержать. А мы поехали с ними, чтобы они сгоряча не наделали глупостей.

— Говори за себя, милашка, — возразила ей другая женщина — толстуха в клетчатой мужской рубашке и джинсах. — Лично я не прочь

отрезать этому Келлеру яйца и скормить моим свиньям.

Двое мужчин расхохотались. Чувствовалось, толстуха хотела их подзавести, и это ей удалось.

— Думайте, что говорите и делаете, а то как бы потом жалеть не пришлось, — угрюмо бросил им Доддс.

— И твоя жена на это согласна? — спросил мужчина со вторым карабином и сам же ответил на свой вопрос. — Бьюсь об заклад, что нет. Уверен, она противилась тебе, как могла.

Подул прохладный ветерок. В такой день приятно пить лимонад, следить за полетом бабочек-данаид или разглядывать жеребят, скачущих вверх-вниз по зеленым холмам. Обозленные мужчины с карабинами в него вписывались плохо.

— Я вам все сказал, — буркнул Доддс.

— А как насчет тебя, лепешка навозная? Что ты скажешь нам, Келлер?

— Черт бы тебя побрал, Дэви… — начал было Доддс.

— Мне и карабина не нужно, Элси. Я его голыми руками.

С этими словами человек по имени Дэви отдал свое оружие и подошел к крыльцу.

Келлер узнал этого человека: он возил на продажу зерно и фураж и любил помахать кулаками в барах. Не дай бог оказаться у такого на пути. Его веснушки напоминали оспины, а кулаки были тяжелыми, как две наковальни.

— Эй, кусок дерьма! Я, кажется, задал тебе вопрос.

— Дэви, — вновь попробовал урезонить его Доддс.

Келлер спустился с крыльца. От буяна разило пивом.

— Дэви, мистеру Доддсу было тяжело на это решиться, — сказал Келлер. Он говорил настолько тихо, что остальным пришлось подойти ближе. — Но это их с женой совместное решение.

— А ты и рад, гаденыш, — сказал Дэви, обдав Келлера новой волной пивного перегара. — Ты из тех извращенцев, которые любят такие штучки.

За спиной Дэви послышались проклятия в адрес Келлера, что только подзадорило забияку. Правой рукой он наотмашь ударил Келлера в челюсть.

Тот стал оседать на землю. Перед глазами замелькали желтые и черные пятна. И тут Дэви ударил его правой ногой в грудь.

— Убей этого подонка, Дэви! — завопил мужчина с карабином. — Не церемонься с ним!

И тут со стороны дома ударил дробовик.

Дробь пролетела совсем близко от Дэви, продырявив ему правый рукав

— рубаха приобрела такой вид, будто над ней потрудился шаловливый щенок.

На крыльце стояла миссис Доддс с двуствольным обрезом в руках. Оружие было вполне серьезным, как и решимость хозяйки.

— Все слышали, что сказал мой муж? Убирайтесь с нашей земли!

— Мы же только хотели помочь тебе, Мирна, — промямлил Дэви. — Знали, что ты против.

— Заткнись, Дэви. Я ошибалась насчет Келлера. Он занимается этим не ради удовольствия. То же самое ему пришлось сделать со своей женой и сыном. Или вы забыли?

— Но… — пробормотал драчун.

Стволы обреза были нацелены ему прямо в грудь.

— Напрасно ты думаешь, Дэви, что мне не хватит духу тебя застрелить, — сказала Мирна.

Жена Дэви дернула его за рукав.

— Идем, дорогой. Ты же видишь, она не шутит.

Однако тот не хотел отступать просто так.

— Этот Келлер занимается грязным делом. Совсем недавно и ты, Мирна, была того же мнения.

Миссис Келлер грустно покачала головой.

— А что стало бы с ними, если бы он этого не делал? Если забыл, съезди в город, посмотри. Потом скажешь, хочется ли тебе, чтобы кто-то из твоих превратился в такое же чудовище.

Жена Дэви вновь дернула мужа за рукав.

— Прости его, Мирна, — сказала она миссис Доддс. — И остальных тоже. Парни слишком налегали на пиво. Нам было их не остановить. Прости, Мирна.

Десять незваных гостей побрели к проселку, где стояли их машины. На чету Доддсов они старались не смотреть.

— Красивая комната, — сказал Келлер двадцать минут спустя.

Так оно и было. По голубому фону обоев кувыркались плюшевые мишки и единороги. Детский столик с парой стульчиков, глобус, несколько детских энциклопедий. То, что может понадобиться растущему ребенку. Точнее, могло бы понадобиться.

Детская кроватка стояла в углу. Миссис Доддс загородила ее собой.

— Вы простите, что я вас так встретила, — сказала она Келлеру.

— Это вполне понятно.

— И за Дэви тоже простите.

— Вы тут ни при чем.

Келлер понял: Мирна Доддс не только оттягивала время. Она… умоляла его.

— Вы повнимательнее осмотрите нашу малютку.

— Обязательно.

— Я слышала, случаются ошибки. Думают, началось обращение, а там совсем другая болезнь, но с похожими симптомами.

«Обращение — не болезнь», — мысленно возразил ей Келлер.

— Я очень внимательно осмотрю вашу дочь, — пообещал он вслух.

— Нам с женой уйти? — спросил Доддс.

— Для вашей жены так будет лучше.

Миссис Доддс резко повернулась к кроватке, где лежала ее семимесячная дочь. Синюшный оттенок кожи и затрудненное дыхание — первые признаки начавшегося обращения.

Мать схватила девочку, прижала к груди и громко зарыдала. Келлер стоял молча, опустив голову.

Мистеру Доддсу пришлось буквально вырвать ребенка из рук жены, а ее силой увести из детской.

Глаза отца тоже были полны слез.

— Вы только посмотрите внимательно, мистер Келлер. Убедитесь наверняка, — всхлипывая, попросил он.

Келлер кивнул.

В комнате пахло нагретой солнцем пылью, тканью занавесок и детской присыпкой.

Стенки кроватки были подвижными. Келлер опустил их и склонился над ребенком. Маленькая Бет была полненькой и очень симпатичной: светлые волосики, пухлые губки. Мать спеленала ее. Пеленки казались ослепительно белыми в сравнении с цветом кожи.

Осмотреть девочку не составило труда. Доддсы могли бы это сделать и сами. Келлер вполне понимал их нежелание: осмотр только подтвердил бы худшие опасения.

Он открыл малышке рот. Девочка заплакала. Вначале Келлер осмотрел ее десны, а затем и зубы. Десны начали твердеть и покрываться коростой. Зубы заметно удлинились.

Осмотр подтверждал страшный факт: семимесячный ребенок претерпевал обращение.

Иногда обращенные добирались из городов в захолустье и хватали все, что могли найти. Пару недель назад кто-то из них проник в дом Доддсов и очутился в детской.

Как всегда, Келлер действовал быстро. Не медлил он и после того

страшного дня, когда его жена и сын подверглись нападению в лесу и у них началось обращение.

Все, что уцелело от цивилизации, забилось в глухие углы вроде этого. Сколько бы ты ни любил своих близких, их нельзя было оставить жить и позволить обратиться. Впереди их ждало ужасное существование: непрестанная охота за новыми телами, ненасытный аппетит и ужасные язвы по всему телу. И все это — навсегда.

Если ты любил их, у тебя оставался только один выбор.

В здешнем сообществе фермеров осуществлять этот выбор было по силам одному лишь Келлеру. Остальные тешились обманами, будто их близкие не совсем заразились или не совсем начали обращаться. Так эта печальная миссия закрепилась за Келлером.

Раскрыв рюкзак, он быстро достал оттуда молоток и деревянный кол.

Келлер подошел к кроватке и поцеловал малышку в лобик.

— Ты пребудешь с Богом, дорогая, — сказал он ей. — Ты пребудешь с Богом.

Потом он выпрямился, взял в левую руку кол, приставил к сердцу девочки, а затем с великой печалью устало поднял молоток.

Он прикончил ее так же, как прежде всех остальных, — быстро и с одного удара. Хлынувшая из раны горячая отравленная кровь забрызгала ему лицо и рубашку. Но и его душа была ранена — предсмертным криком семимесячной Бет.

Провожал Келлера Элси Доддс — его жена оставалась в спальне. Когда они вышли, фермер положил руку ему на плечо и сказал:

— Я буду молиться за вас, мистер Келлер.

— Мне действительно понадобятся ваши молитвы, мистер Додд.

Кивнув на прощание, гость поспешно сел на велосипед и уехал.

Через полчаса он снова катил по шоссе. Отдохнувший Энди проворно бежал следом, высунув розовый язык.

В рюкзаке лежали липкие от сохнущей крови молоток и кол — орудия, которыми он снова и снова устранял последствия заразы, просачивающейся сюда из городов.

Пошел дождь. Келлер продолжал думать о маленькой дочери Доддсов и о невинном взгляде ее глазенок.

Он не замечал ни дождя, ни тихо опустившихся сумерек.

Скрипели велосипедные педали, лязгала цепь, погнутое переднее крыло задевало за колесо. Через каждую четверть мили Энди останавливался и стряхивал с шерсти дождевую воду.

«Поганые мерзавцы, — думал Келлер. — Поганые мерзавцы».

Дэвид Шоу

Дэвид Джеймс Шоу родился в 1955 году в Марбурге в американской семье. В юности он работал кино и литературным критиком, а в возрасте двадцати трех лет начал сочинять художественную прозу и опубликовал в журнале «Галилео» свой первый рассказ. Со временем он стал плодовитым новеллистом, получив от журнала «Сумеречная зона» премию «Дименшен» за самый популярный рассказ в 1985 году и Всемирную премию фэнтези в номинации «Лучший рассказ» в 1987-м. В том же году его повесть «Потомство Памелы» была удостоена премии Брэма Стокера в соответствующей номинации. За первым сборником рассказов Шоу («Видя красное», 1990) последовали еще шесть. Он также автор ряда романов, последним из которых на данный момент является «Пальба» (2008).

Наибольшего успеха Шоу добился в качестве сценариста, начав с написания диалогов к «Кошмару на улице Вязов-5: Дитя снов» (1989); в том же году им созданы сценарии одного из эпизодов телесериала «Кошмары Фредди» (эпизод «Безопасный секс») и полнометражного фильма «Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой-3» (1990). Он также является сценаристом фильмов «Зубастики-3» (1991), «Зубастики-4» (1992), «Ворон» (1994) и «Техасская резня бензопилой: Начало» (2006).

Ему принадлежит авторство терминов «слэшер» (1977) и «сплэттерпанк» (1986).

Рассказ «Неделя с нежитью» был впервые опубликован в антологии «Шепот крови» под редакцией Эллен Датлоу (Нью-Йорк: Морроу, 1991).

Неделя с нежитью

Когда закалываешь кровососа, его кровь извергается густым черным потоком, тягучим, как мед. Я видел, как она пузырится. Тварюга билась и извивалась, стараясь вытащить кол, — они всегда пытаются это сделать, если не доведешь все до конца, — но, как выразился бы Стокер, с третьего удара с ним было покончено на все сто.

Счет им я потерял давно. Не важно. Я уже даже не рассматриваю их как бывших когда-то человеческими существами и не испытываю по отношению к ним никакого сочувствия. Я не вижу в их глазах ни грусти, ни любви, ни подкупающей мягкости. Лишь похоть, ярость, что его перехитрили, и низменность устремлений.

1

Ведение дневника — занятие традиционное. Пусть так. Хотите — зовите меня несущим вахту, часовым. Когда они погружаются в свой коматозный сон, я подкрадываюсь и приканчиваю их. Пока они бодрствуют, прячусь я. И успешнее, чем они.

Они вовсе не такие находчивые, какими их пытаются преподнести вам беллетристика и кино. Хитрости и звериной смекалки у них хватает. Но я опытная гончая: распознаю приметы, читаю их следы, сам воздух говорит мне об их присутствии. Невидимое или эфемерное для обычного человека зримо для меня.

И вот вам мой дневник, на случай, если мне вдруг не повезет.

Солнце заходит. Пора вздремнуть.

2

Естественно, полицейские принимают меня за маньяка-убийцу. Это неизбежно; то же самое было и с моими предшественниками. Держаться подальше от глаз. Осторожность стала моей второй натурой. Полицейские действуют рационально и не спеша; они имеют дело с повседневными происшествиями, хватает дел и без кровососов.

Полиция любит останавливать и обыскивать людей. К счастью, молоты, колья и кресты еще не запрещены в этой стране. Поднятые брови, шутки, подтрунивание, но до арестов дело не доходит. Когда они сами поймут, какая чума накрыла их город, они вспомнят меня, возможно, с благодарностью. Мой удел — одиночество. Я знаю это и ничего другого не жду. Пускай.

Город за городом. Я неплохо отыскиваю их логова. Для меня их методы убийства — как сигнальный красный огонь. Полицейские обращают внимание только на всяких стебанутых, не знают, что с чем связано; они хватают и сажают за решетку простых смертных, ничего не видят.

Я не так глуп, чтобы просто оставлять кровососов лежать в покое. Хотя вся эта дрянь обычно исчезает сама, орудия могут быть обнаружены. Иногда остается что-то еще. Городские свалки и канализация позволяют надежно и удобно разделаться с отходами, неизбежными в выполнении моей миссии.

Потери во вражеском стане. Быть бы мне советником у властей предержащих, работать бок о бок с ними. Слишком сложно. Чересчур большое разнообразие. Ситуация, где невозможен надлежащий контроль. Кровопийца смывается, используя любую щель, поди тут разберись.

Вывод: никому не доверяй.

3

Сегодняшняя была в женском обличье. Забавно. Таких меньше, чем вы могли бы подумать.

Имелся у нее любовник из числа людей, послушаешь ее — прямо Ромео и Джульетта. Бывать у него могла только по ночам и только после

насыщения, ведь и кровососа страсть может завести куда как далеко.

Я думаю, она намекала на свое нездешнее искусство по части плотской любви; наверное, ее слова были просто попыткой не дать мне уничтожить ее.

Чтобы соблазнять смертных, рот ей был ни к чему. Я вонзил кол ей в мозг, через рот. Она была продукцией недавнего розлива: не растаяла и не испарилась. Трахая ее останки, я с удивлением обнаружил, что внутри она тепла, а не холодна, как труп. Тепла. У некоторых из них человеческое тепло сохраняется долго. Но все равно уходит.

4

Прежде я не встречал таких, кто расставался бы с жизнью без борьбы, но сегодняшний вел себя так, как будто сам приглашал меня освободить его от бремени нежизни. Он не отрицал своей сущности и не пытался одурачить меня. Спросил только, может ли сначала со мной поговорить.

В комнате на четвертом этаже, окна в которой были закрашены черной краской, он начал говорить. Сказал, что всегда ненавидел вкус крови; сказал, что предпочитает ананасный сок или даже кофе. Пока мы говорили, он и в самом деле сварил кофе.

Я дал ему допить чашку, прежде чем вонзил ему ясеневый кол глубоко в грудь, откуда брызнула черная жижа, разбавленная выпитым кофе.

5

Сегодня подумалось: надо бы заиметь «Поляроид» или что-то вроде того, тогда был бы и визуальный материал на случай, если этот дневник когда-либо станет достоянием общественности. Хорошо бы иметь иллюстрации, свидетельства. Я подумал о тех фразах, которые сплошь и рядом слышишь в кино. Уверен, вам они знакомы: «Нет никаких вампиров!», «Что за чушь!» Или в том же духе: «Бред — но зато эффект налицо!» или «Нам не должны быть препятствием глупые народные суеверия!»

Действительно: нащелкать снимочков на память, пока кровососы не испарились как облачко. Трепотня, что ты не можешь запечатлеть их на снимках, тоже идет из кинематографа. Столько вымысла пущено в оборот, что кровососам — настоящим — ничего не стоит разгуливать в центре города — безнаказанно. В то время как мы с вами беседовали, это слово и мне показалось неподходящим. Но, проанализировав его употребление, посмотрев репортажи, интервью с представителями правоохранительных органов в нашей стране и выяснив, что, несмотря на очевидный пафос в восприятии массами коннотации данного слова, его как раз активно употребляют и для носителя русского языка оно вполне естественно

воспринимается в данном контексте, я решил оставить первоначальный вариант. Однако, если у вас возникли другие соображения на этот счет, мне будет очень интересно с ними ознакомиться, говоря языком полицейских сводок.

Неплоха идея записать на пленку звуки, издаваемые ими, когда они умирают. Видеозапись с ними, умоляющими о пощаде. Можете не сомневаться: у всех тех заядлых киноманов глаза полезут на лоб.

6

Как много их в этом городе. Чувствуешь, насколько это не в твою пользу. Я говорил уже, что потерял счет.

Сегодня есть неплохая возможность сделать шаг вперед. Как и они, я становлюсь более уязвимым, если слишком долго ничего не предпринимаю, а наибольшая осмотрительность состоит в том, чтобы менять образ действий и быть непредсказуемым.

Это легко. Мне многого не надо. Большая часть того, чем я владею, это я сам.

7

Они стопорнули меня на шоссе № 10, на выезде из города, из-за сломанной задней левой габаритки. Мой факсимильный портрет украсил лобовое стекло патрульной машины. Дневник забрали в качестве свидетельства, так что пока я пользуюсь самодельным пером и клочком студенческой записной книжки, который надеюсь включить в дневник позднее.

В камере, рассчитанной на четверых, я совсем один. В серой литой двери оконце для передачи пищи, не как в наглухо закрытой камере полицейского участка. По пути в камеру я заметил, что и они поймали кровососа. Скорее всего, случайно; наверное, они и не догадываются, кто у них в руках. Тут нет ни восхода, ни заката, и если он выбирается наружу по ночам они об этом так и не узнают. Но я-то знаю. Пока не буду ничего говорить. Я весь на виду и в невыгодном положении. Вместо одного, ускользнувшего сегодня, я смогу уничтожить десятерых на следующей неделе.

8

Следующая неделя. Я оправдан наконец.

Я успокоился, как только они показали мне фотоснимки. Понятия не имею, как им удалось собрать данные о нескольких последних кровососах, которых я изловил. Сразу будто гора с плеч. Теперь мне незачем пускаться в объяснения по поводу дневника, который, как вы можете видеть, мне возвратили сразу. У них были тысячи вопросов. Они хотели знать о

молотах, кольях, о предпочтительном методе нанесения смертельного удара. Я предупредил их, что следует избегать широких облав, особенно по ночам, когда враг всего сильней.

На этот раз они прислушались к моим словам, это меня очень взбодрило. Теперь борьба сможет выйти на новый уровень.

Они также дали понять, что мне не придется оставаться за решеткой. Привести в порядок кое-какие бумаги, и я снова буду там, среди них. Один чиновник — не полисмен, а врач — поздравил меня с хорошо выполненной нелегкой работой. Он пожал мне руку, от имени всех их, как он сказал, и упомянул, что собирается писать книгу о моей деятельности. Как волнующе!

По моей просьбе кровосос из соседней камеры был переведен в другую. Я сказал им, что для большей надежности им следует пользоваться одним из моих кольев. Это, впрочем, голое тщеславие с моей стороны. Я вытачиваю свои колья из ясеня на токарном станке. Дал им знать, что согласен, чтобы мои колья служили рабочей моделью для надлежащего производства того количества, которое потребуется им вскоре.

В следующий раз надо бы спросить у охраны, откуда у них такое количество кровососов на свежих форматах восемь на десять. Все эти имена и даты. Первоклассная документация.

Кажется, я даже немного завидую.

Они выпивают душу

Д. Г. Лоуренс

Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) родился в шахтерском городке Иствуд, графство Ноттингемшир, в семье шахтера и школьной учительницы. Закончив Ноттингемский университет, он также стал учителем. В 1910 году, когда его мать заболела, он помог ей уйти из жизни при помощи сильной дозы снотворного. В 1912 году Лоуренс познакомился с немкой Фридой фон Рихтгофен, к которой испытал сильное чувство и на которой впоследствии женился; во время Первой мировой войны он был обвинен в шпионаже в пользу немцев и в 1917 году вынужденно покинул Корнуолл. В 1919 году Лоуренс с женой навсегда оставили Англию и в последующие годы много путешествовали. Остаток жизни писатель провел в эмиграции, главным образом в Италии, Америке и Франции, где и скончался.

Лоуренс был плодовитым поэтом, в наследии которого около восьмисот стихотворений, критиком, новеллистом, драматургом, эссеистом, романистом, переводчиком и автором книг путешествий; многие его сочинения вызывали горячие споры. Феминистки сочли его прозу

женоненавистнической, а откровенное изображение секса в ряде его книг, в первую очередь в «Любовнике леди Чаттерли» (1928), расценивалось при жизни автора как порнография. Среди других его романов, признанных сегодня значительными произведениями литературы XX века, — «Белый павлин» (1911), «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915) и «Влюбленные женщины» (1920).

Рассказ «Красавица» был впервые опубликован в сборнике «Черная чаша» под редакцией Синтии Асквит (Лондон: Хатчинсон, 1927).

Красавица

В полумраке гостиной семидесятидвухлетняя Полина Аттенбро выглядела не старше тридцати. Да, она удивительно хорошо сохранилась и к тому же всегда была безупречно элегантна. Конечно, здесь важную роль играет сложение. Ее скелет пленил бы всех совершенством пропорций, а череп — обворожительной женственностью очертаний и прелестной наивной улыбкой этрусской царевны, покоящейся под крышкой саркофага в склепе.

Лицо у миссис Аттенбро было идеально овальной формы, слегка плоское — такие дольше всего противостоят времени. Когда щеки не пухлые, они и не отвисают. Точеный аристократический нос по-прежнему чуть вздернут. Только большие серые глаза слегка навыкате, они-то в первую очередь ее и выдавали. Порой казалось, что тяжелые синеватые веки наливаются болью — такого усилия стоило им удержать в глазах блеск и оживление; и еще в уголках глаз таилась тонкая паутинка морщин, порой она распускалась в дряблую кляксу, потом вдруг подтягивалась упруго и словно бы исчезала, в глазах сверкало лукавство, казалось, Полина вот-вот рассмеется — совсем как женщина на портрете Леонардо.

Одна только Сисили знала, что от морщинок Полины тянутся невидимые нити к ее силе воли. Только Сисили с вниманием наблюдала, как гаснут ее глаза и по многу часов остаются старыми, пустыми, безжизненными — пока домой не вернется Роберт. И тотчас же таинственные невидимые нити, которые управляли лицом Полины, туго натягивались, выцветшие, опустошенные жизнью старые глаза навыкате вдруг ярко вспыхивали, веки легко вспархивали, жидкие, едва заметные бровки изгибались горделивыми дугами — и перед вами вновь оказывалась молодая красавица во всем всемогуществе своего обаяния.

Да, ей, верно, и вправду была ведома тайна вечной молодости, или, может быть, она умела призывать к себе молодость, как охотник призывает сокола. Но она берегла свой дар и в высшей степени расчетливо оделяла им лишь избранных. Своего сына Роберта по вечерам; сэра Уилфрида Найпа,

который приходил иногда пить чай; редких гостей, посещавших их по воскресеньям, когда Роберт был дома, — их встречала обворожительная молодая красавица, чьему «разнообразью нет конца, пред ней бессильны возраст и привычка», [49] — само остроумие, сама любезность, с едва уловимой усмешкой Джоконды, которой известна ваша тайна. Полине были известны все ваши тайны, но она и не думала кичиться этим. Она просто смеялась своим обворожительным смехом, весело и насмешливо, но без тени ехидства, только добродушие и снисходительность, шла ли речь о добродетели или о пороке — добродетель, естественно, встречала несравненно большую снисходительность. Так, во всяком случае, можно было заключить по ее шаловливым интонациям.

И только на племянницу Сисили она не находила нужным расточать свое обаяние. Да Сисс все равно не оценила бы; к тому же она некрасивая, а главное — влюблена в Роберта; нет, пожалуй, главное то, что ей тридцать лет и она живет на содержании своей тетки Полины. Подумаешь, есть ради кого стараться.

Сисили, которую и тетка, и кузен Роберт называли Сисс — как будто кошка шипит, — была высокая смуглая молодая женщина с толстым широким носом, очень молчаливая, редко когда с трудом выдавит из себя несколько слов. Она была дочь бедного священника конгрегационалистской церкви, а священник был родной брат покойного мужа тети Полины, и вот уже пять лет тетя Полина опекала Сисс.

Жили они втроем милях в двадцати пяти от города, среди небольшой уединенной долины, в аристократическом, но небольшом замке в стиле времен королевы Анны, окруженном небольшим, но на редкость живописным парком. Для семидесятидвухлетней тети Полины лучшего места было не найти, здесь она идеально устроила свою жизнь. Вспорхнут, бывает, зимородки из кустов черной ольхи у ручья, сверкнут своими синими спинками — и затрепещет от восхищения сердце тети Полины. Очень она была чувствительна к красоте.

Роберт был на два года старше Сисс; он каждый день ездил в город, в свою адвокатскую контору. Он был барристер [50] и, к своему глубочайшему и тайному унижению, зарабатывал около ста фунтов в год. Как он ни старался, подняться выше этой цифры ему не удавалось, зато как легко было сорваться вниз. Конечно, это не имело решительно никакого значения. У Полины были средства. Но ведь принадлежали-то они Полине, и хотя она тратила деньги довольно щедро, вы всегда чувствовали, что вам сделали прелестный и незаслуженный подарок. Ах, насколько приятней делать подарки, когда их не заслужили, твердила тетя Полина.

Роберт был тоже некрасивый и почти всегда молчал. Среднего роста, крепкий, коренастый, но не полный. Полноватым было только его лицо, бритое, с очень нежной белой кожей, замкнутое и неподвижное, как у итальянского священника. Но глаза были серые, как у матери, только очень застенчивые и робкие, ни тени Полининой уверенности. Наверное, одна только Сисс чувствовала, сколь неодолима его ужасающая застенчивость и неизбывное ощущение стесненности, неловкости, словно его душа мается в чужом теле. Но он никогда не пытался избавиться от своих мук. Ездил в Лондон в суд, занимался делами. Однако интересовали его только нераскрытые преступления многолетней давности. Он собрал редчайшую коллекцию старинных документов, относящихся к судопроизводству в Мексике: заявления оснований иска и защиты против иска, обвинительные заключения, апелляции, и единственной, кто знал об этой коллекции, была его мать, ей одной он показывал документы, в которых отразилась жуткая, леденящая кровь смесь положений светского законодательства и узаконений суда инквизиции в Мексике семнадцатого века. Ему как-то попалось дело двух английских солдат, которых судили в 1620 году в Мексике за убийство, и он с интересом его изучил, потом в руках у него оказался обвинительный приговор, вынесенный в 1680 году некоему дону Мигелю Эстрада за то, что он соблазнил одну из монахинь монастыря Святого Сердца Господня в Каксаке, и Роберт окончательно увлекся.

Полина и ее сын Роберт проводили восхитительные вечера, разбирая эти старинные документы. Красавица немного знала испанский. Она даже внешне была слегка похожа на испанку — в волосах высокий гребень, на плечи наброшена роскошная темно-коричневая шаль, сплошь расшитая серебристым шелком. Вот она сидит за бесценным старинным столом, мягко отражаясь в зеркальной поверхности его столешницы глубоко-коричневой древесины, в волосах высокий гребень, серьги с длинными подвесками, все еще прекрасные руки обнажены, шея унизана жемчугом, бархатное платье терракотового цвета, на плечах коричневая шаль или какая-нибудь другая, столь же роскошная, мягко горят свечи — и вам действительно кажется, что перед вами испанская аристократка, красавица лет тридцати двух — тридцати трех. Искусно расставленные ее рукой свечи освещают ее лицо так, что оно кажется особенно юным и прекрасным; высокая, выше головы, спинка кресла обита зеленой парчой, и лицо на ее фоне напоминает распустившуюся в оранжерее к Рождеству неясную розу.

Они всегда обедали втроем и каждый вечер выпивали бутылку шампанского: Полина и Сисс по два бокала, Роберт остальное. Какой лучезарной улыбкой сияла красавица Полина, каким искрилась

оживлением! Сисс, с коротко стриженными черными волосами, в обтягивающем широкие плечи красивом, очень ей идущем платье, которое тетя Полина помогала ей шить, глядела своими тихими, смущенными ореховыми глазами то на тетушку, то на кузена, выполняя роль заинтересованной публики. А интереса было хоть отбавляй. Пять лет она наблюдала этот спектакль и порой готова была ахнуть от восхищения — до чего же блистательно играла Полина. Но в глубине души она хранила свидетельства преступлений куда более зловещих, чем дела, которые коллекционировал Роберт, и все эти свидетельства касались ее тетки и кузена.

Роберт был джентльмен до кончиков ногтей, его старомодная церемонная учтивость идеально маскировала терзающую его застенчивость. Впрочем, он был не только застенчив, но еще и скован, и Сисс это знала. Ему было еще невыносимее, чем ей. Сисили страдала от скованности всего пять лет. Роберт, судя по всему, начал страдать еще до рождения. Ему наверняка было очень неудобно в утробе его красавицы матери.

Он уделял матери все свое внимание, покорно тянулся к ней, как цветок к солнцу. И все же как священник, который видит всю свою паству, он постоянно краешком сознания ощущал присутствие Сисс, ее отстраненность от них с Полиной и чувствовал, что совершается какая-то несправедливость. Он ощущал, что в гостиной теплится еще одна, третья душа. А вот для Полины племянница была всего лишь частью обстановки, ей и в голову не приходило, что это живой человек.

Роберт пил кофе с матерью и Сисс в тепло натопленной гостиной, среди изысканной антикварной мебели — миссис Аттенбро зарабатывала неплохие деньги, торгуя картинами, мебелью и разной экзотикой из неприобщенных к цивилизации стран, хотя и не афишировала эту свою деятельность, — и до половины девятого все трое болтали о том о сем. Было очень приятно сидеть так, очень уютно, даже по-домашнему; Полина среди коллекции дорогой антикварной мебели сумела создать настоящий домашний уют. Болтали о чем-нибудь незатейливом и почти всегда смеялись. Полина была в своей стихии: беззлобные насмешки, тонкие шутки, блестящие остроты так и искрились, так и порхали, — но потом вдруг она умолкала.

Сисс тотчас же вставала, говорила «покойной ночи», прощалась и уходила, унося на подносе кофейный прибор, чтобы Бернетт их не тревожил.

И тут наконец наступало долгожданное упоительное время,

счастливые часы, когда мать и сын оставались вдвоем и с увлечением погружались в расшифровку рукописей и обсуждали юридические тонкости; и лицо Полины сияло тем восторженным оживлением юной девушки, которое всем было так хорошо известно. И она вовсе не притворялась. Каким-то непостижимым образом она сохранила в себе эту удивительную способность увлекаться — когда дело касалось мужчины. Казалось, что сдержанный, немногословный, спокойный Роберт старше ее, он даже напоминал священника наставляющего юную пансионерку. Примерно так он себя и чувствовал.

Сисс жила отдельно, в комнатах над помещением, где раньше были конюшня и каретный сарай. Лошадей сейчас не держали, а автомобиль Роберт ставил в бывший каретный сарай. У нее были три очень миленькие комнатки анфиладой, и она привыкла к тиканью конюшенных часов.

Но она не всегда сразу шла к себе. Летом часто садилась на стриженую траву и слушала летящий сверху, из открытого окна гостиной, мелодичный, завораживающий смех Полины. Зимой молодая женщина надевала теплое пальто и медленно шла к мостику через ручей и там, прислонясь к ограде, долго глядела на три освещенных окна гостиной, где мать и сын так счастливо проводили вечер вдвоем.

Сисс была влюблена в Роберта и была уверена, что Полина не прочь, чтобы они поженились — но только после ее смерти. Но Роберт, бедный Роберт, его и сейчас терзают муки ада, когда он с кем-то разговаривает, будь то мужчина или женщина, — так трудно одолеть ему свою застенчивость. Что от него останется, когда умрет мать, лет эдак через десять — пятнадцать? Пустая оболочка — оболочка мужчины, который так и не узнал, что такое жизнь!

Среди уз, связывавших Роберта и Сисс, было и то удивительное, необлекаемое в слова притяжение, которое невольно возникает между молодыми, когда они живут под гнетом стариков. Существовало и другое чувство, только Сисс не знала, как превратить его в узы, — страсть. Бедняжка Роберт был по натуре человек страстный. Его молчаливость, его болезненная застенчивость, которую ему с таким трудом удавалось скрывать, были следствием пылкого темперамента, от которого тайно страдала его плоть. И как же искусно Полина на этом играла! Видела, видела Сисс, что было в глазах Роберта, когда он глядел на мать, — зачарованность была в них, унижение и жгучий стыд. Стыдился он того, что он не мужчина. И что не любит свою мать. Он восхищался ею. Безмерно восхищался. Перед всеми же остальными ему суждено было всю жизнь цепенеть в непреодолимом смущении.

Сисс оставалась в саду, пока в спальне Полины не зажигался свет — значит, уже десять часов. Красавица удалилась на покой. Роберт будет сидеть в гостиной еще час-полтора один. Потом тоже уйдет спать. Сисс, затаившейся в темном саду, иногда хотелось прокрасться к нему наверх и сказать: «Ах, Роберт, Роберт, какую мы оба совершаем ошибку!» Но она боялась, что тетя Полина услышит. У Сисс не хватало решимости. Вечер за вечером она неизменно возвращалась в свои комнаты.

Утром всем трем членам семьи приносили в спальню на подносе кофе. Ровно в девять Сисс полагалось быть в доме сэра Уилфрида Найпа, где она два часа занималась с его младшей внучкой. Это было ее единственное серьезное занятие, если не считать, что она любила играть на рояле и много времени проводила за инструментом. Роберт уезжал в город около девяти. Тетя Полина появлялась к ланчу, а иногда лишь к чаю. Появлялась юная и свежая. Но если был день, очень скоро начинала никнуть, как сорванный цветок, который забыли поставить в воду. Это был ночной цветок, он расцветал при свете свечей.

И потому днем она всегда отдыхала. Если светило солнце, принимала солнечные ванны. Это была одна из ее маленьких тайн. Во время ланча она съедала что-нибудь очень легкое; а солнечные ванны принимала или до полудня, или после, смотря по настроению. Чаще все-таки она загорала после полудня, когда на обсаженной тисами небольшой площадке за бывшей конюшней так ласково грело солнышко. Здесь, в укромном уголке возле красных кирпичных стен бывшей конюшни, скрытой темной густой изгородью тисов, Сисс раскладывала шезлонг, стелила пледы, на всякий случай ставила легкий зонтик от солнца. И сюда с книгой приходила красавица. А Сисс поднималась к себе в комнаты охранять тетку — у той был необыкновенно чуткий слух, вдруг вдали раздадутся чьи-то шаги.

Как-то раз Сисили подумала, а почему бы и ей тоже не принять солнечную ванну, вот она и скоротает скучные послеполуденные часы. Давно копившаяся в ней досада не находила выхода. А тут вдруг открылась такая возможность развлечься — позагорать на плоской крыше конюшни, куда можно подняться с чердака. Она часто поднималась сюда заводить конюшенные часы, эту обязанность она взяла на себя сама. И вот сейчас Сисс перекинула через руку плед, вылезла наверх, посмотрела на небо, на макушки вязов, на солнышко, потом разделась и легла в уголке на краю крыши у ограды, где ее никто не видел, зато всю освещало солнце.

А это, оказывается, приятно — окунуться обнаженным телом в нагретый солнцем воздух! Удивительно приятно! Ей даже показалось, что неизбывная тяжесть чуть отпустила сердце, что не так остро точит его

горечь невысказанной обиды. Она привольно раскинулась на пледе, радостно подставляя тело солнцу. Пусть у нее нет возлюбленного, зато никто не отнимет ласку солнца! Она в истоме перевернулась на спину.

И вдруг сердце остановилось в груди, волосы поднялись дыбом — тихий, задумчивый голос произнес возле самого ее уха.

— Нет, Генри, нет, мой родной! Я не виновата в том, что ты не женился на этой своей Клодии и умер. Радость моя, как можно такое вообразить? Я очень хотела, чтобы ты на ней женился, хоть это был бы ужасный мезальянс.

Сисили вжалась в плед, тело стало ватным, она похолодела от ужаса. Какой ужасный голос, вроде бы тихий, задумчивый и при этом сверхъестественный. Совершенно нечеловеческий голос. Но все равно кто-то наверняка на крыше есть! Господи, какой невыразимый кошмар!

Она с трудом приподняла голову и боязливо оглядела покатую свинцовую крышу — никого. Трубы слишком узкие, в них не спрячешься. Значит, кто-то затаился в деревьях, в вязах. А может быть, — о несказанный ужас! — это просто голос, голос без тела. Она подняла голову чуть выше.

И тут голос снова заговорил:

— Ты должен мне верить, мой милый! Я только хотела доказать тебе, что через полгода она тебе наскучит, может быть и раньше. И я оказалась права, трижды права! Мне так хотелось оградить тебя от разочарования. Ты просто надорвал себе душу, ты сам не знал, любишь эту дурочку Клодию или нет — бедняжка, она потом так горевала! — и организм твой ослаб, при чем же тут я? Ты сам запутался в этих сетях, мой любимый. А я — я всего лишь предупреждала тебя. Что мне еще оставалось? А ты сломился и умер и даже не узнавал меня перед смертью… О, какая это была мука, какая боль…

Голос умолк. Сисили в изнеможении опустилась на плед, сердце бешено колотилось — с таким напряжением она слушала. Господи, какой ужас! Сияет солнце, небо такое голубое, летний день сказочно хорош, мир прекрасен. А ей — о неисповедимый ужас! — ей слышится голос какого-то духа и вынуждает поверить, что сверхъестественное существует! Она просто не выносит разговоры о сверхъестественном, занятия спиритизмом, привидения, голоса, стуки и прочую чепуху.

И вот поди ж ты — слышит этот жуткий, прямо из кошмара голос, от которого бросает в дрожь, хрипловатый, с призвуками шепота! Но самое страшное — этот голос ей знаком! И страх отнимает все силы. Бедная Сисили лежала окаменев, раздетая и потому чувствовала себя еще более

жалкой и беспомощной, от ужаса она даже пальцем не могла пошевелить.

И вдруг послышался вздох — глубокий и зловеще знакомый, однако ничего человеческого в нем не было.

— Да, милый, мое сердце истекает кровью. Но пусть лучше истекает кровью, чем разобьется. Горе, горе, мне нет утешения! Но только я, мой мальчик, не виновата. И если Роберт хочет, пусть женится на этой глупой корове Сисс — хоть завтра. Но он не интересуется женщинами, зачем навязывать ему брак? — Слова звучали то громче, то тише, шепот становился почти совсем неразличим. Сисс вся обратилась в слух — не пропустить ни звука!

Когда голос произнес последние слова, она почувствовала, что сейчас громко, истерически расхохочется. Но удержалась — осторожность и удивившая ее самое хитрость победили. Да это же тетя Полина! Тетя Полина занимается чревовещанием! Вот ведьма!

Интересно, где она? Сисс оставила ее внизу, в шезлонге, возле стены конюшни, где сейчас сама загорает на крыше. Происходит какой-то дьявольский фокус чревовещания или чтение мыслей на расстоянии. Звуки налетали волнами, порой едва различимые, не громче шелеста. Сисс напряженно слушала. Нет, это не чревовещание. Дело обстоит куда страшнее: она принимает чужие мысли, которые почему-то облечены в звуковую оболочку. Чудовищно! Сисили лежала все так же без сил, скованная страхом; но где-то в глубине души возникло подозрение, оно ее успокаивало. Эти звуки — сатанинский трюк, который придумала эта знающаяся с нечистой силой женщина.

А она и в самом деле ведьма! Догадалась, что Сисили считает ее убийцей собственного сына, Генри. Бедный Генри был старший брат Роберта, между ними была разница двенадцать лет. В двадцать два года Генри скоропостижно умер, не выдержав мучительной борьбы с собой, потому что он был страстно влюблен в прелестную молоденькую актрису, а мать презирала его за это увлечение и всячески потешалась над влюбленными. Генри заболел какой-то безобидной болезнью, но яд проник ему в мозг и убил его, он умер, так и не придя в сознание. Сисс знала эту историю от отца. Полина убьет и Роберта, как когда-то убила Генри. Она же настоящий убийца! В голове не укладывается: мать убивает своих слишком чистых душою детей, которые очарованы ею, — коварная Цирцея!

— Наверное, уже пора, — пробормотал далекий глухой голос. — Быть на солнце слишком долго так же вредно, как не быть вовсе. Нужно отмерять солнце, отмерять любовь, еду — ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше, и женщина может жить вечно. Да, вечно, я в этом

убеждена. Нужно впитывать в себя столько жизни, сколько ты тратишь. Или чуть больше!

Конечно же, это тетя Полина! Чудовищно, невероятно! Она, Сисс, слышит мысли тети Полины! Можно рассудок потерять! Мысли тети Полины распространяются как радиоволны, а она, Сисс, вынуждена слышать, о чем думает ее тетка! Кошмарно! Непереносимо! Одна из них умрет, тут и сомневаться нечего.

Сисс сжалась в комок и лежала без движения, глядя перед собой пустыми глазами. Это была последняя, предельная пустота. А между тем прямо перед ее глазами находилось отверстие. Она глядела чуть не в самое это отверстие и не видела его, а оно было в самом углу крыши — жерло свинцового желоба. Наконец она разглядела отверстие, но все равно ничего не поняла. Только еще больше испугалась.

И тут из отверстия вырвались вздох и несколько слов шепотом:

— Ну все, Полина, вставай! На сегодня хватит.

Господь милосердный! Это же водосточная труба! Водосточная труба выполняла роль переговорной! Немыслимо! А почему, собственно, нет? Еще как мыслимо! Она даже в какой-то книге о таком читала. Оказывается, тетя Полина как многие старики с нечистой совестью, разговаривает сама с собой. Вот тайна и раскрыта!

Душу Сисс захлестнуло мрачное ликование. Так вот почему она никогда никого не пускает к себе в спальню, даже Роберта. Вот почему не дремлет в кресле, никогда не позволяет себе задуматься, вот почему, кончив разговор, тотчас уходит к себе в комнаты и проводит там почти все время, вот почему покидает спальню, только когда чувствует себя свежей и бодрой. Как только она забывает, что надо быть начеку, она начинает разговаривать сама с собой вслр! Разговаривает тихо, тоненьким голосочком, как сумасшедшая. Но ведь она никакая не сумасшедшая. Просто ее мысли рвутся наружу.

Ага, значит, тетку мучают угрызения совести, она считает себя виноватой в смерти несчастного Генри! И правильно считает! Сисс была уверена, что тетя Полина любила своего первенца, высокого, красивого, талантливого и веселого, несравненно больше, чем любит Роберта, и что его смерть была для нее ударом, которого она так и не простила Судьбе. Роберту, бедняжке, было всего десять лет, когда Генри умер. С тех пор Полина пытается заменить им старшего сына.

Но тетя Полина очень странная женщина. Она оставила мужа, когда Генри был еще ребенком, за несколько лет до рождения Роберта. Рассталась без намека на ссору. Она даже иногда встречалась со своим мужем,

относилась к нему вполне дружелюбно, однако с легкой ноткой сарказма. Даже давала ему деньги.

У Полины был свой собственный источник дохода. Ее отец в свое время служил консулом в нескольких странах на Востоке, потом в Неаполе и всюду собирал с пламенным увлечением истинного коллекционера красивую, дорогую экзотику. Вскоре после рождения внука Генри он умер, оставив драгоценную коллекцию дочери. Эта коллекция и легла в основу состояния, которое составила себе тетя Полина, обладавшая поистине всепоглощающей страстью к красоте и умевшая зорко разглядеть ее всюду — будь то форма, материал или цвет. Она продолжала пополнять коллекцию, покупала экзотические вещи всюду, где могла, и продавала коллекционерам и музеям. Одной из первых она начала продавать музеям древние уродливые африканские фигурки и резных божков из слоновой кости, привезенные из Новой Гвинеи. Если она видела Ренуара, она немедленно его покупала. А вот от Руссо отворачивалась. И одна, без чьей-либо помощи, составила себе крупное состояние.

После смерти мужа она больше выходить замуж не стала. Никто не знал, есть у нее любовники или нет. Если и были, то не в кругу тех мужчин, кто открыто ею восхищался и почтительно, настойчиво ухаживал. Все они были просто «добрые друзья».

Сисили тихонько оделась, подхватила плед и быстро, но осторожно спустилась по лестнице на чердак. И в этот миг ее позвал звучный мелодичный голос: «Ну что же ты, Сисс?» — это означало, что красавица завершила воздушные процедуры и хочет идти домой. Даже голос ее был удивительно молод и глубок, гармонично прекрасен и властно уверен в себе. Неужели это она только что лепетала тускло и полубезумно, считая, что рядом никого нет? Тот голос был голосом старухи.

Сисс поспешила к укромной площадке, где стоял удобный шезлонг с массой мягчайших пледов и нежнейших покрывал. Все вещи Полины были самые дорогие и изысканные, вплоть до тонкой соломенной циновки на земле. От густых тисовых изгородей уже падали длинные тени. Солнце и тепло задержались только в уголке, на нежных красках смятых пледов.

Собрав пледы и сложив кресло, Сисили нагнулась, ища раструб водосточной трубы — тут ли он. Да, действительно тут, в углу, под небольшим выступом кирпичной кладки, едва различимый среди густых листьев дикого винограда. Если Полина, лежа в шезлонге, повернет голову к стене, прямо перед ней окажется раструб водосточной трубы и слова полетят в него. Сисили успокоилась. Она и в самом деле подслушала мысли своей тетки, нечистая сила оказалась тут ни при чем.

В тот вечер тетя Полина, словно чувствуя что-то неладное, была чуть молчаливей обычного, хотя, как всегда, излучала безмятежность. А после кофе сказала Роберту и Сисс:

— Я смертельно хочу спать. Разомлела на солнце. Я им полна, как пчела медом. Пойду лягу, если вы меня отпустите. А вы посидите поболтайте.

Сисили кинула быстрый взгляд на своего двоюродного брата.

— Может быть, ты предпочтешь остаться один? — спросила она.

— Нет… почему же? — возразил он. — Побудь со мной немного, если тебе не скучно.

Окна были распахнуты, из сада волнами вплывал аромат жимолости, ухала сова. Роберт молча курил. Плотный, коренастый, он сидел неподвижно, и в этой неподвижности чувствовалось отчаяние. Он был похож на кариатиду, придавленную непосильной тяжестью.

— Ты помнишь своего брата Генри? — неожиданно спросила Сисили.

Он удивленно поднял голову.

— Помню. Очень хорошо помню.

— Какой он был? — спросила она, заглядывая в глаза кузена, большие, пытающиеся утаить смятение, глаза без проблеска надежды.

— Какой он был? Очень красивый: высокий, с ярким румянцем, волосы густые, волнистые, каштановые, как у мамы. — (У Полины, между прочим, волосы были теперь седые.) — Он очень нравился женщинам и не пропускал ни одного бала.

— А что он был за человек?

— Удивительно добрый и жизнерадостный. Обожал всякие шутки. Умница, ему всегда все удавалось, как маме, и до чего же с ним было весело.

— А он любил тетю Полину?

— Очень. И она его любила — больше, чем меня, что уж тут скрывать. Он гораздо больше соответствовал ее представлению о том, каким должен быть мужчина.

— Чем?

— Ну как же… красивый, обаятельный, веселый… и я уверен, он стал бы знаменитым адвокатом. А я… у меня нет ни одного из его достоинств.

Сисс внимательно смотрела на Роберта задумчивыми ореховыми глазами. Да, на нем маска безразличия, но она знала, что он невыносимо страдает.

— Ты действительно считаешь, что у него были одни достоинства, а у тебя их вовсе нет?

Он сидел, опустив голову, и молчал. Потом наконец произнес:

— Жизнь моя проходит впустую, уж это-то мне ясно как день.

Она долго не решалась спросить, потом все-таки осмелилась:

— И ты с этим смирился?

Он не ответил. Сердце у нее упало.

— Понимаешь, моя жизнь тоже проходит впустую, как и твоя, — проговорила она. — Но я не могу смириться, все во мне протестует. Мне тридцать лет.

Она увидела, как его белая выхоленная рука задрожала.

— Боюсь, мы начинаем бунтовать, — произнес он, не глядя на нее, — когда время уже упущено.

Как странно было слышать от него эти слова!

— Роберт! — сказала она. — Я тебе хоть немного нравлюсь?

Его нежное оливковое лицо, неподвижное до мраморности, побледнело.

— Я очень привязан к тебе, — пробормотал он.

— Поцелуй меня, пожалуйста. Никто никогда меня не целовал, — прошептала она беспомощно.

Он посмотрел на нее, и она не узнала его глаз — в них были страх и словно бы вызов. Он встал, тихо подошел к ней и осторожно поцеловал в щеку.

— Ах, Сисс, как все это несправедливо! — прошептал он.

Она поймала его руку и прижала к своей груди.

— И пожалуйста, Роберт, сиди со мной иногда в саду, — с усилием выговорила она. — Прошу тебя.

Он взволнованно, пытливо всматривался в ее лицо.

— А как же мама?

Сисс улыбнулась с легкой насмешкой и посмотрела ему в глаза. Он вспыхнул до корней волос и отвернулся. На него было больно смотреть.

— Но я ведь не умею ухаживать за женщинами, я и сам знаю.

Он говорил резко, с вымученным сарказмом, но даже она не представляла, какой его терзает стыд.

— Ты никогда и не пытался, — возразила она.

Опять его взгляд странно изменился.

— А разве нужно пытаться?

— А как же! Если не пытаться, ничего и не получится.

Он опять побледнел.

— Может быть, ты права.

Немного погодя она простилась с ним и ушла к себе. Ну что ж, она

хотя бы попыталась сбросить тяжесть, которая давила их столько лет.

Дни по-прежнему стояли солнечные, Полина продолжала принимать солнечные ванны, а Сисс лежала у себя и без зазрения совести подслушивала. Но трудилась она зря. Труба больше не приносила теткиных признаний. Наверное, Полина откинула голову в сторону, подставив лицо солнцу. Сисс почти не дышала. Да, Полина что-то говорила, но долетало лишь тихое, похожее на шелест бормотание, ни одного слова разобрать было нельзя.

Вечером Сисили села на скамейку, с которой видны были окна гостиной и боковая дверь в сад, и стала молча ждать под звездами. Вот в теткиной комнате зажегся свет. Потом наконец погрузилась во тьму и гостиная. Она ждала. Но Роберт не пришел. Она просидела в темноте чуть не до рассвета и слушала, как ухает сова. Сидела одна-одинешенька.

Два дня ей ничего не удавалось подслушать: тетка не делилась своими мыслями; а вечера проходили как обычно. На третий день она снова села вечером в саду и стала ждать с тяжким, безнадежным упорством. И вдруг вздрогнула. Роберт вышел из дома. Она поднялась и неслышным шагом пошла к нему по траве.

— Молчи! — шепнул он.

Тихо ступая в темноте, они пошли по саду. Вот и ручей, мостик, на той стороне выгон со стогами сена — луг в этом году скосили очень поздно. Тут они остановились под звездами, разрываемые мукой.

— Пойми, — заговорил он, — разве я вправе добиваться любви, если не чувствую ее в себе? Ты ведь знаешь, ты мне очень дорога…

— Да как же ты можешь чувствовать любовь, если ты вообще ничего не чувствуешь?

— Это верно, — согласился он.

Она ждала — что-то он скажет еще?

— И разве я могу жениться? Я жалкий неудачник, зарабатываю гроши. А просить у матери не могу.

Она глубоко вздохнула.

— Ну и не надо думать сейчас о браке, — сказала она. — Ты просто люби меня немножко, хорошо?

Он коротко рассмеялся.

— Чудовищно в этом признаться, но как же трудно даются первые шаги.

Она снова вздохнула. Он был как каменный.

— Посидим немного? — предложила она. И когда они опустились на сено, спросила: — Можно, я дотронусь до тебя? Ты не боишься?

— Боюсь. Но пожалуйста, дотронься, если тебе хочется, — ответил он застенчиво и с той порывистой искренностью, которая, как он отлично знал, многим казалась смешной. Но в душе у него бушевал ад.

Она провела пальцами по его черным, всегда таким ухоженным волосам.

— Нет, я чувствую, скоро мое терпение лопнет, — вдруг произнес он.

Они посидели еще немного, пока их не начал пробирать холод. Он крепко сжимал ее руку, но так и не обнял. Наконец она поднялась, пожелала ему покойной ночи и ушла к себе.

Днем Сисили лежала на крыше и загорала; в душе было смятение, ее переполнял гнев, солнце жарило, кожа пылала, и вдруг… Она невольно вздрогнула от ужаса. Опять этот голос!

— Caro, caro, tu non l’hai visto! [51] — лепетал он внизу на языке, которого Сисили не знала. Она поджала покрасневшие руки и ноги, жадно ловя итальянские слова, которых не понимала. Нежный, тающий, упоительно томный голос скрывал под обволакивающей негой вкрадчивое коварство и непреклонную властность. — Bravo, si, molzo bravo, poverino, ma nomo come te mon sara mai, mai, mai! [52] Ах, как остро чувствовала Сисс ядовитые чары этого голоса, его льнущую ласку, змеиную гибкость, несказанную мягкость — и всепоглощающую любовь к себе. И как тяжко ненавидела эти неведомо откуда прилетающие вздохи и воркование. Почему, почему теткин голос так нежен, так мелодичен и гибок, почему так завораживающе красив, почему Полина так виртуозно владеет им, а она, Сисс, только бормочет смущенно и бесцветно? Бедная Сисили, она корчилась под послеполуденным солнцем — какая мука знать, что она смешная, неуклюжая, нескладная, куда ей до тетки — ведь та сама грация.

— Нет, Роберт, нет, милый, никогда тебе не стать таким, каким был твой отец, хоть ты и похож на него немного. Он был мужчина. И какой изумительный любовник, его ласки были нежны, как прикосновение цветка, а страсть пронзала, как меч. Cara, cara mia belissima, ti hoaspottato come l’agonissante aspetta la morte, morte deliziosa, quasi quasi troppo deliziosa per una mora anima Humana! [53] Он отдавался женщине, как отдавался Богу. Mauro! Mauro! [54] Как ты любил меня! Как ты меня любил!

Голос умолк, говорившая задумалась. Теперь Сисили точно знала то, о чем догадывалась раньше: Роберт не сын дяди Рональда, он сын какого-то итальянца.

— Ты — мое разочарование, Роберт. В тебе нет пылкости. Твой отец был священник и принадлежал к ордену иезуитов, но он был идеальный

любовник, на свете нет мужчины, который был бы одарен такой же пылкостью. А его сын — рыба, холодная и вялая. И за этой рыбой охотится кошка — наша Сисс. Еще менее поучительная история, чем случилась с бедняжкой Генри.

Сисили быстро наклонилась к отверстию трубы и произнесла низким голосом:

— Оставь Роберта в покое! Не убивай хотя бы его!

Наступило мертвое молчание; в зное июльского дня собиралась гроза. Сисили лежала ничком, сердце колотилось гулкими толчками. Она вся обратилась в слух. Наконец до нее донесся шепот:

— Кто-то что-то сказал?

Сисили вновь наклонилась к самому отверстию водосточной трубы.

— Не убивай Роберта, как ты убила меня, — медленно и торжественно произнесла она негромким низким голосом.

— Ай! — воскликнули внизу. — Кто со мной говорит?

— Генри, — ответил низкий голос.

Опять упало мертвое молчание. Бедная Сисили чувствовала, что лишается последних сил. А мертвое молчание длилось, длилось… Но вот наконец прилетел шепот:

— Я не убивала Генри. Боже спаси и сохрани! Нет, Генри, ты не должен обвинять меня. Я любила тебя, мой ненаглядный сын, я просто хотела помочь тебе.

— Нет, ты убила меня! — продолжал обвинять суровый, притворно низкий голос. — Пощади Роберта! Пусть он живет! Пусть женится!

Тетя Полина молчала.

— Какой ужас, какой непереносимый ужас! — задумчиво прошептал голос. — Неужели это возможно, Генри, неужели ты дух и неужели ты проклинаешь меня?

— Да, я тебя проклинаю!

Сисили почувствовала, как вся обида, столько лет копившаяся в ней, камнем упала в водосточную трубу. И в то же время ее душил смех. Ужасно!

Она лежала все так же неподвижно, все так же пытаясь уловить хоть звук. Ни шороха! Казалось, время остановилось, она словно заснула под теряющим свой жар солнцем, и вдруг вдали заворчал гром. Она села. Небо наливалось желтизной. Сисили быстро оделась, спустилась по чердачной лестнице, вышла в сад и побежала к укромному уголку за конюшней.

— Тетя Полина, — тихонько позвала она, — гром слышали?

— Слышала. Я иду в дом. Не жди меня, — слабым голосом отозвалась

тетка.

Сисили снова поднялась на чердак и стала тайком наблюдать за тетей Полиной: красавица набросила на себя изысканнейшей красоты накидку из старинного голубого шелка и неверными шагами засеменила к дому.

Небо заволакивали тучи. Сисили поспешно собрала пледы. И вот грянула гроза. Тетя Полина не вышла к чаю. Гроза плохо на нее действовала. Роберт тоже приехал уже после чая, приехал под проливным дождем. Сисили прошла к себе крытым переходом и тщательно оделась к обеду, даже приколола к платью на груди веточку белых аквилегий.

Гостиная была освещена мягким светом притененной лампы. Роберт, одетый к обеду, уже ждал, слушая, как стучит дождь. Видно, и у него нервы были натянуты до предела — вот-вот не выдержат. Вошла Сисили, белые колокольчики качали головками на ее смуглой груди. Роберт смотрел на нее странным взглядом, она еще никогда не видела такого выражения на его лице. Сисили подошла к книжному шкафу возле двери и стала искать какую-то книгу, а сама чутко вслушивалась. Вот раздался шорох, стала тихо отворяться дверь. И когда она открылась полностью, Сисс неожиданно повернула выключатель у двери, яркий электрический свет залил комнату.

В дверях стояла тетя Полина в черном кружевном платье на кремовом чехле. Ее лицо было искусно подкрашено и напудрено, но искажено невыразимым бешенством, словно копившаяся много лет злоба и отвращение к ближним мгновенно обезобразили его и превратили молодую красавицу в древнюю каргу.

— Ой, тетя! — вскрикнула Сисили.

— Что это, мама, ты, оказывается, у нас совсем старенькая старушка! — изумился Роберт совсем по-детски и словно бы в шутку.

— Ты только сейчас это заметил? — язвительно отрезала старуха.

— Да! Я думал… — Его голос прервался, душу наполнило недоброе предчувствие.

Старая, вся в морщинах, Полина чуть ли не рявкнула в ярости:

— Мы что, не собираемся обедать?

Она даже не заметила, какой яркий свет в гостиной, а ведь всегда от него пряталась. Неверными шагами она стала спускаться по лестнице.

Сели за стол; вместо лица у нее была маска в глубоких морщинах, она выражала неописуемое отвращение. Полина была старуха, старая старуха, страшная, как ведьма. Роберт и Сисили тайком бросали на нее взгляды. Наблюдая за Робертом, Сисс поняла: отвратительный облик матери так его потряс, что прежнего в нем ничего не осталось.

— Как ты возвращался нынче домой? — процедила Полина, даже не

пытаясь скрыть раздражение.

— Лил ужасный дождь, — ответил он.

— Кто бы мог подумать, что ты это заметишь, какая тонкая наблюдательность! — Куда девалась прежняя, ласковая и шаловливая, улыбка, лицо Полины исказила злобная, вызывающая жуть усмешка.

— Я тебя не понимаю, — проговорил он мирно и очень вежливо.

— Где уж тебе, — прошептала мать, быстро и неряшливо поглощая то, что лежало у нее на тарелке.

Она ела жадно, как изголодавшаяся бездомная собака, прислуга была в ужасе. Давясь последним куском, она побежала вверх по лестнице — как-то странно, боком. Роберт и Сисили кинулись за ней, им казалось, будто они заговорщики.

— Разливай кофе сама. Ненавижу эту процедуру! Я ухожу к себе. Покойной ночи! — выкрикивала старуха, будто швыряла в них камни. И скрылась за дверью.

Наступила мертвая тишина. Наконец Роберт сказал:

— Боюсь, мама заболела. Надо уговорить ее принять доктора.

— Да, — подтвердила Сисили.

Роберт и Сисс затопили камин и устроились в гостиной. Сидели и молчали. За окном лил холодный дождь. Оба делали вид, что читают. Им не хотелось разлучаться. Весь вечер они ощущали присутствие какой-то мрачной тайны, но почему-то время прошло очень быстро.

Часов в десять двери вдруг распахнулись и на пороге появилась Полина в голубой накидке. Она затворила за собой дверь и подошла к камину. Потом с ненавистью посмотрела на молодых людей — это была настоящая ненависть.

— Советую вам как можно скорей жениться, — с омерзением прошипела она. — Так хоть пристойней будет. Ах, какая трогательная пара влюбленных голубков!

Роберт поднял на нее спокойный взгляд.

— Мне казалось, мама, ты считаешь, что двоюродным не следует жениться, — сказал он.

— Да, считаю. Но вы не двоюродные. Вы вовсе не родня. Твой отец был священник-итальянец. — Выверенным кокетливым движением она протянула к огню ножку в изящной туфельке. Тело пыталось повторять привычные грациозные движения. Но жизненные силы души иссякли, Полина казалась зловещей карикатурой на самое себя.

— Как, мама, это правда? — спросил он.

— Еще бы не правда! Он был замечательный человек, иначе не стал

бы моим любовником. Такой блестящий, выдающийся человек — и такое жалкое ничтожество его сын. Это ничтожество я терплю возле себя всю жизнь.

— Как несчастливо все сложилось! — медленно проговорил он.

— Это для тебя-то несчастливо? Нет, тебе удивительно повезло. Все горе досталось мне, — ледяным тоном бросила она.

На нее было страшно смотреть — казалось, драгоценная ваза венецианского стекла разбилась и кто-то варварской рукой склеил осколки.

Она резко повернулась и ушла.

Так продолжалось неделю. Ее нервы были все так же взвинчены. Казалось, их натянули до предела, как струны, и они начали лопаться в визгливой безумной какофонии. Пришел доктор, прописал успокоительные лекарства, потому что у нее была бессонница. Без снотворных она не засыпала ни на минуту, она без конца ходила взад-вперед по спальне, страшная, злобная, и исходила ненавистью. Ни сына, ни племянницу она не могла видеть. Когда кто-нибудь из них приходил к ней, она ядовито спрашивала:

— Ну что, когда свадьба? Может быть, уже отпраздновали?

Сначала Сисили была в ужасе: да ведь она совершила преступление!

Она смутно догадывалась, что после того, как обвинение пробило великолепную броню ее тетки, Полина стала, корчась, погибать в своей скорлупе. Чудовищно, чудовищно… Сисс извелась от страха и угрызений совести. Потом ей вдруг пришло в голову: «Да ведь она всю жизнь была такая. Вот и пусть теперь доживает остаток дней в своем истинном обличье».

Дней этих Полине было отмерено совсем немного. Она угасала на глазах. Не выходила из спальни, никого не желала видеть. Приказала убрать все зеркала.

Роберт и Сисили почти все время проводили вместе. Обезумевшая Полина просчиталась — ее язвительные насмешки не оттолкнули их друг от друга. Но Сисили не смела признаться ему, какой поступок совершила.

— Как ты думаешь, твоя мать хоть кого-нибудь когда-нибудь любила? — осторожно и грустно спросила она его однажды вечером, когда они сидели в гостиной.

Он пристально посмотрел на нее.

— Да, себя, — наконец ответил он.

— По-моему, это даже нельзя назвать любовью, — возразила Сисс. — Это какое-то другое чувство. Только вот какое? — Она взволнованно, в растерянности смотрела на него.

— Жажда власти, — коротко сказал он.

— Жажда власти? Какой власти? Не понимаю!

— Власти над людьми, у которых она отнимает жизненные силы, — с горечью сказал он. — Она была красавица и жила, отнимая жизнь у других. Отняла ее у Генри, отнимала у меня. Запускала в душу человека щупальца и пила его жизненные силы.

— Ты не простил ее?

— Нет.

— Бедная тетя Полина!

Но на самом деле Сисс не жалела тетку. Ей было только страшно.

— У меня есть сердце, я знаю, — со страстью проговорил он, прижав руку к груди. — Но оно иссохло. И душа у меня тоже есть, но где она? Что с ней стало? Она словно каменная пустыня. Ненавижу людей, которые жаждут власти над ближними.

Сисс молчала. Что она могла ответить?

Через два дня Полину нашли в постели мертвой, она приняла слишком большую дозу веронала, и ее ослабевшее сердце не выдержало.

Но она сумела нанести удар своему собственному сыну и племяннице из гроба. Роберту она оставила щедрую сумму — тысячу фунтов стерлингов, Сисс — сто фунтов. Вся остальная часть ее состояния, включая ценнейшие произведения древнего искусства, должна была пойти, согласно завещанию, на создание «Музея Полины Аттенбро».

Артур Конан Дойл

Сэр Артур Игнатиус Конан Дойл (1859–1930) родился в Эдинбурге в аристократической ирландской католической семье. Он получил медицинский диплом в Эдинбургском университете и в 1882 году открыл врачебную практику; к тому времени уже были опубликованы несколько его рассказов. Поскольку пациентов у Дойла было крайне мало, у него оставалось время для литературных занятий, однако некоторые рассказы той поры и такие романы, как «Торговый дом Гердлстон» и «Майка Кларк», дожидались публикации в течение нескольких лет. В 1887 году он продал «Рождественскому ежегоднику Битона» первую историю о Шерлоке Холмсе — повесть «Этюд в багровых тонах».

Хотя Конан Дойл сегодня знаменит главным образом как создатель канонической «холмсианы», не теряют популярности и его научно-фантастические романы о профессоре Челленджере, особенно «Затерянный мир» (1912) и «Отравленный пояс» (1913); первый из них стал сюжетной основой для пяти кинофильмов и вдохновил создателей многих других картин. Дойл также написал немало фантастических и «страшных»

рассказов. Вероятно, его страстная увлеченность спиритизмом придала достоверности этим историям, которые не могли бы разыграться в обстоятельствах обыденной жизни.

Повесть «Паразит» представляет собой раннюю и весьма убедительную историю о психологическом вампиризме; изображенная в ней вампирша так же властвует над своей жертвой, как если бы она еженощно пила кровь из ее горла.

Повесть была впервые опубликована отдельной книгой в серии «Акме лайбрери» (Лондон: Констебл, 1894).

Паразит

I

24 марта. Весна уже вовсю хозяйничает у нас. За окном лаборатории большой каштан весь покрыт крупными клейкими почками, и они уже начинают раскрываться, показывая маленькие зеленые воланчики. Гуляя по лугам, ощущаешь, что вокруг совершается великая, безмолвная работа сил природы. Влажная земля пахнет плодородием и сладкими соками. Там и сям пробиваются зеленые побеги. Ветви напряжены — сок течет под блестящей корой; влажный, густой воздр Англии полон чуть смолистым ароматом. Живые изгороди подернуты зеленью, вдоль них бродят ягнята — всюду протекает процесс воспроизводства жизни!

Я чувствую это вокруг себя — но вместе с тем и внутри. Ведь у нас также бывает своя весна, когда мелкие сосуды расширяются, лимфа течет быстрее, железы работают активнее, и мы ощущаем душевный подъем и бодрость. Каждый год природа заново производит настройку всего механизма. Прямо сейчас я чувствую действие ферментов в моей крови, и мне хочется плясать в лучах прохладного солнечного света, льющегося в окно, словно маленькой мошке. Да я бы так и поступил, только вот Чарльз Сэдлер может прибежать сюда, наверх, чтобы узнать, в чем дело… И потом, следует помнить, что я — профессор Гилрой. Старый профессор может себе позволить быть естественным, но когда фортуна предоставила одну из лучших университетских кафедр мужчине всего сорока трех лет, нужно очень стараться соответствовать доверенной роли.

Что за чудо этот Уилсон! Если бы я мог заниматься физиологией с тем же энтузиазмом, какой он вкладывает в психологию, я бы стал по меньшей мере вторым Клодом Бернаром! [55] Вся его жизнь, все силы души направлены к одной цели. Он забывает лечь спать, когда нужно подвести итог работы, проделанной за день, а утром, проснувшись, составляет план исследований на сегодня. И все же за пределами узкого кружка, следящего за его успехами, труды Уилсона не пользуются особым доверием.

Физиология — наука уважаемая. Если кто-то добавляет хотя бы один кирпичик в ее здание, все сразу это видят и рукоплещут. Но Уилсон пытается заложить основы науки будущего. Он работает под землей, и труды его незаметны. Однако он не ропщет и движется вперед, готовый вести переписку с сотней полоумных в надежде найти хоть одного надежного свидетеля, просеивая сотни ложных сообщений ради проблеска истины. Он сопоставляет сведения, обнаруженные в старых книгах, читает запоем новые, экспериментирует, устраивает популярные лекции, пытаясь зажечь в других людях тот яростный огонь, который снедает его самого. Меня охватывает восторг и удивление, когда я думаю о нем, и все же на предложение присоединиться к его исследованиям я вынужден говорить ему, что в своем нынешнем виде они мало привлекательны для человека, преданного точным наукам. Если бы Уилсон смог показать мне что-то положительное, объективное, я, пожалуй, испытал бы соблазн проверить физиологический аспект проблемы. Но до тех пор, пока половина его тематики запятнана шарлатанством, а другая — истерией, мы, физиологи, должны довольствоваться телом и оставить разум нашим потомкам.

Я, без сомнения, материалист. Агата даже называет меня отъявленным материалистом. Я же отвечаю ей, что это отличный повод ускорить завершение нашей помолвки, поскольку мне срочно нужна ее идеалистическая духовность. Притом я вижу в себе любопытный пример того, как влияет полученное человеком образование на темперамент, поскольку от природы (если только не обманываюсь на этот счет) я был нервным, легко возбудимым мальчиком, мечтателем, сомнамбулой, меня переполняли впечатления и интуитивные догадки. Мои черные волосы, темные глаза, узкое оливково-смуглое лицо, длинные тонкие пальцы — все это характерно для моего истинного темперамента, и знатоки вроде Уилсона заявляют, что я — объект как раз для них. Однако мой мозг пропитан точным знанием. Я научился иметь дело только с фактами и доказательствами. Предположениям и фантазии нет места в моей системе мышления. Покажите мне то, что я могу увидеть под микроскопом, разрезать скальпелем, взвесить на весах, и я посвящу всю жизнь этому исследованию. Но когда меня просят изучить чувства, впечатления, мнения, я воспринимаю это как мерзкое и даже деморализующее дело. Отклонение от чистого разума действует на меня как неприятный запах или фальшивые ноты в музыке.

Этих ощущений вполне достаточно, чтобы мне сегодня не слишком хотелось идти к профессору Уилсону. Однако я понимаю, что не ответить на приглашение значило бы проявить неприкрытую грубость; да к тому же

там будут миссис Марден и Агата, а значит, пойду и я, хотя, будь у меня уважительное оправдание, все-таки не пошел бы. Я предпочел бы встретиться с ними в каком-нибудь другом месте. Я знаю, что Уилсон затянул бы меня в эмпиреи своей туманной полунауки, если бы смог. Энтузиазм одевает его такой броней, от которой отскакивают намеки или увещевания. Ничто, кроме открытой ссоры, не заставит его осознать, насколько мне отвратительна вся его возня. Не сомневаюсь, что он припас какого-нибудь нового последователя месмеризма, [56] или ясновидящего, или медиума, или фокусника, чтобы продемонстрировать нам, ибо даже в часы досуга он не слазит со своего любимого конька. Впрочем, Агате это доставит большое удовольствие. Она интересуется этим, как любая женщина, — их притягивает все смутное, мистическое и неопределенное.

10.50 вечера. Мне кажется, что ведение дневника — это проявление того научного склада ума, о котором я писал нынче утром. Мне нравится регистрировать впечатления, пока они еще свежи. Хотя бы раз в день я стараюсь определить, в каком состоянии находится мой разум. Это полезный прием самоанализа, он оказывает, по-моему, стабилизирующее воздействие на характер. Откровенно говоря, должен признаться, что мой характер нуждается в любых средствах стабилизации, какие найдутся под рукой. Я опасаюсь, что значительная часть моего невротического темперамента сохранилась, несмотря ни на что, и я далек от хладнокровной, спокойной точности, свойственной Мердоку или Пратт-Хэлдейну. Иначе как объяснить, почему виденное мною сегодня дурацкое представление так ударило по нервам, что я до сих пор не могу опомниться? Утешает меня лишь то, что ни Уилсон, ни мисс Пенклоуза, ни даже Агата не могли заметить мою слабость.

И что там могло меня взволновать? Ничто или какие-то пустяки — если про них написать, получится просто смехотворно.

Мардены явились к Уилсону раньше меня. Точнее, я пришел одним из последних и застал в комнате целую толпу. Едва я успел перемолвиться несколькими словами с миссис Марден и Агатой (она выглядела очаровательно в бело-розовом наряде, с блестящими заколками-птичками в волосах), как Уилсон подошел и ухватил меня за рукав.

— Вы ищете что-нибудь позитивное, Гилрой? — сказал он, отводя меня в угол. — Дорогой мой друг, у меня есть для вас феномен — истинный феномен!

Я, пожалуй, впечатлился бы сильнее, если бы не слыхал подобных заверений уже много раз прежде. Его сангвинический дух превращает всякого светлячка в звезду.

— На сей раз никаких сомнений в bona fides [57] — добавил он, видимо заметив проблеск насмешки в моих глазах. — Моя жена знакома с нею много лет. Они обе родом с Тринидада, вы знаете? Мисс Пенклоуза пробыла в Англии пару месяцев и не знает никого вне пределов университетского крута, но я уверяю вас, что нескольких ее высказываний уже достаточно, чтобы установить факт ясновидения на абсолютно научной основе! С ней не сравнится ни один любитель или профессионал. Пойдемте, я вас представлю!

Терпеть не могу тех, кто торгует таинствами, но особенно любителей. Если перед вами выступает трюкач за деньги, вы можете подловить его и разоблачить, как только разберетесь в его фокусе. Его дело — обмануть, ваше — выяснить, как это получается. Но что можно поделать с подругой жены хозяина дома? Можно ли внезапно включить свет и показать всем, что она украдкой дергает струны банджо? Или швырнуть липучку на ее вечернее платье, когда она крадется вокруг стола с бутылочкой фосфора либо применяет еще какую-нибудь сверхъестественную пошлость? Выйдет скандал, и вас зачислят в негодяи. Соответственно, вы можете выбирать между этим званием и позицией одураченного простака. Потому я был не в самом лучшем настроении, идя следом за Уилсоном к упомянутой даме.

Трудно было более не соответствовать моим представлениям об уроженках Вест-Индии. Невысокое хрупкое создание, на вид хорошо за сорок, с бледным остреньким личиком и светло-каштановыми волосами. Ее присутствие никем не замечалось, вела она себя скромно. В любой группе из десяти женщин на нее обратили бы внимание последней. Самой примечательной и, скажем прямо, самой неприятной чертой ее внешности являются глаза. Они серые — серые с оттенком зеленого, — и их выражение поразило меня: они были очевидно скрытными. Не знаю, подходит ли здесь это слово, может, лучше сказать «свирепые»? Подумав, я бы применил слово «кошачьи». Рядом с нею у стены стоял костыль, и его назначение стало болезненно очевидным, когда она поднялась: у нее была покалечена одна нога.

Итак, меня представили мисс Пенклоуза, и от моего внимания не ускользнуло, что при произнесении моего имени она искоса глянула на Агату. Уилсон, надо полагать, уже успел все разболтать ей. И теперь, без сомнения, она сообщит мне, при помощи оккультных тайн, что я помолвлен с молодой леди, у которой птички в прическе. Интересно, подумал я, что еще рассказал ей Уилсон обо мне?

— Профессор Гилрой — ужасный скептик, — сказал он. — Я надеюсь, мисс Пенклоуза, что вы сумеете обратить его в нашу веру!

Она пристально глянула на меня и сказала:

— Профессор Гилрой вполне прав, будучи скептиком, если не видел никаких убедительных доказательств. А мне кажется, — добавила она, — что вы сами могли бы стать отличным доказательством!

— Чего, позвольте узнать? — поинтересовался я.

— Ну, например, месмеризма.

— Мой опыт подсказывает, что месмеристы ищут свои объекты среди умственно нездоровых людей. И все полученные ими результаты, на мой взгляд, лишаются силы доказательности тем фактом, что они имеют дело с аномальными организмами.

— Скажите, которая из присутствующих здесь дам, по-вашему, обладает нормальным организмом? — спросила она. — Я хотела бы, чтобы вы сами выбрали ту, чей разум, по-вашему, наиболее уравновешен. Скажем, вон ту девушку в белом и розовом — кажется, это мисс Агата Марден, если не ошибаюсь?

— Да, я счел бы веским доводом любые результаты, полученные от нее.

— Я еще не имела возможности выяснить, насколько она впечатлительна. Конечно, одни люди реагируют намного быстрее, чем другие. Могу ли я узнать, как далеко простирается ваш скептицизм? Допускаете ли вы возможность месмерического сна и внушения?

— Я не допускаю ничего без доводов, мисс Пенклоуза.

— Ах, господи, а я думала, что наука уже ушла далеко от этой точки! Разумеется, я ничего не знаю о научной стороне вопроса. Я знаю только, что могу сделать сама. Вот посмотрите, например, на ту девушку в красном возле японского кувшина. Я захочу, чтобы она подошла к нам.

С этими словами мисс П. наклонилась и уронила на пол свой веер. Девушка резко повернулась и направилась в нашу сторону. Судя по выражению лица, она пыталась понять, не позвал ли ее кто-то.

— Что скажете, Гилрой? — воскликнул Уилсон, немедленно приходя в экстаз.

Я не рискнул сказать ему, что я об этом думаю. Для меня это было самым откровенным, бесстыдным проявлением плутовства из всех, какие мне доводилось видеть. Наличие предварительного сговора и сигнала было попросту явственно.

— Профессор Гилрой не удовлетворен, — сказала женщина, бросив на меня острый взгляд своих странных маленьких глаз. — Мой бедный веер подорвал его доверие. Ладно, нужно попробовать что-нибудь другое. Мисс Марден, вы не возражаете, если я использую вас?

— О, пожалуйста! С удовольствием! — воскликнула Агата.

К этому времени все общество собралось вокруг нас: мужчины в крахмальных манишках, женщины с высокими белыми воротничками — одни настроенные благоговейно, другие критично, как будто наблюдали нечто среднее между религиозной церемонией и выступлением заклинателя змей. Обитое красным бархатом кресло выдвинули в центр круга, и Агата уселась в него, откинувшись на спинку, слегка зарумянившаяся и дрожащая от возбуждения. Я заметил это, потому что птички в ее волосах подрагивали. Мисс Пенклоуза встала со своего места и остановилась рядом с креслом, опираясь на костыль.

И тут я заметил, как она переменилась. Она более не казалась мелкой, незначительной и выглядела теперь на двадцать лет моложе. Глаза ее сияли, желтоватые щеки порозовели, фигура распрямилась и стала будто выше. Такую перемену я видал когда-то: юноша с тусклыми глазами, апатичный, в мгновение ока ожил и обрел энергию, получив задание из области, в которой ощущал себя мастером. Мисс Пенклоуза смотрела на Агату с таким выражением, что я в глубине души возмутился: так могла бы смотреть на коленопреклоненную рабыню какая-нибудь римская императрица. Затем быстрым повелительным жестом она вскинула и медленно опустила руки, протянув их вперед, — раз, другой, третий…

Я пристально наблюдал за Агатой. Она, по-видимому, просто забавлялась, следя за этими пассами. На четвертом я заметил, что глаза ее словно стекленеют, а зрачки расширяются. На шестом она на мгновение застыла, на седьмом ее веки стали опускаться. На десятом пассе глаза ее закрылись, дыхание стало медленнее и глубже, чем обычно. Наблюдая, я старался сохранять спокойствие, как пристало ученому, но глупое беспричинное возбуждение одолевало меня. Надеюсь, мне удалось это скрыть, но чувствовал я себя не лучше, чем ребенок в темноте. Ни за что бы не поверил, что еще способен на подобную слабость!

— Она в трансе, — сказала мисс Пенклоуза.

— Она спит! — возразил я.

— Тогда разбудите ее!

Я подергал свою невесту за руку и громко окликнул. Реакции не было — она была как мертвая. Тело ее лежало на бархатном кресле. Органы тела работали — сердце, легкие. Но душа! Она выскользнула за пределы области нашего понимания. Куда делась душа? Какая сила разорвала ее связь с телом? Я был озадачен и смущен.

— Вот это и есть месмерический сон, — сказала мисс Пенклоуза. — Что касается внушения, то я могу внушить мисс Марден все, что пожелаю,

и она непременно выполнит это, сейчас или после того, как выйдет из транса. Хотите доказательств?

— Всенепременно, — сказал я.

— Вы их получите.

По ее лицу промелькнула улыбка, как будто ей пришло в голову что-то забавное. Она нагнулась и очень серьезно прошептала что-то на ухо подопытной. Агата, не услышавшая меня, кивнула ей в ответ.

— Пробудитесь! — воскликнула мисс Пенклоуза, резко стукнув костылем о пол.

Глаза Агаты раскрылись, остекленение постепенно исчезло, и душа вновь явилась после странного затмения.

Мы ушли домой рано. Агата чувствовала себя после опыта превосходно, зато я нервничал и не мог ни слушать, ни отвечать на поток комментариев, которые Уилсон изливал на меня. Когда я прощался с мисс Пенклоуза, она сунула мне в руку клочок бумаги.

— Ради бога, простите меня, — сказала она, — если я переусердствовала, стараясь преодолеть ваш скептицизм. Прочтите эту записку завтра в десять часов утра. Это маленькое испытание лично для вас.

Не имею понятия, что она хотела сказать, но записка лежит передо мною, и я разверну ее, как было велено. Голова у меня болит, и на сегодня я написал уже достаточно. Завтра, я уверен, все, что кажется необъяснимым, примет совсем иной оттенок. Я не отдам своих убеждений без боя!

25 марта. Я поражен, сбит с толку. Очевидно, мне придется пересмотреть свое мнение об этом случае. Но сперва нужно изложить по порядку, как все произошло.

Я позавтракал и просматривал кое-какие графики, которыми должен проиллюстрировать лекцию, когда вошла квартирная хозяйка и сообщила, что Агата ждет в кабинете и желает видеть меня немедленно. Я глянул на часы и удивился — было всего половина десятого.

Когда я вошел в кабинет, Агата стояла на коврике возле камина, глядя на меня. Странная жесткость ее позы заставила меня похолодеть, и слова, готовые сорваться с губ, замерли. Вуаль с ее шляпки была приспущена, но я разглядел, что она бледна и лицо застыло.

— Остин, — сказала она, — я пришла, чтобы сообщить тебе: наша помолвка разорвана.

Я пошатнулся. Пошатнулся в буквальном смысле, поскольку в следующий момент обнаружил, что опираюсь на книжный шкаф, чтобы не упасть.

— Но… но… — забормотал я. — Отчего так внезапно, Агата?

— Да вот так, Остин. Я пришла, чтобы сказать тебе об этом.

— Но почему? — воскликнул я. — Должна же быть какая-то причина! Это не похоже на тебя, Агата. Скажи, чем я мог обидеть тебя?

— Просто все кончено, Остин.

— Но почему? Видимо, тебя ввели в заблуждение, Агата. Может, до тебя дошла какая-то клевета обо мне? Или ты неверно поняла какие-то мои слова? Прошу тебя, объясни, в чем дело, и я сразу все расставлю по местам!

— Мы должны считать, что все кончено.

— Но вчера мы расстались без малейших признаков неудовольствия с твоей стороны! Что могло приключиться за ночь? Наверное, что-то произошло вчера вечером. Ты обдумала это и сочла мое поведение недостойным? Неужели все из-за этой демонстрации месмеризма? Ты осуждаешь меня за то, что я позволил той женщине проявить свою власть над тобою? Но ты же знаешь, при малейшем знаке я вмешался бы!

— Не трать слова, Остин. Все кончено.

Голос ее звучал холодно и размеренно; она вела себя до странности официально и жестко. Мне показалось, что она твердо решила не ввязываться ни в какие споры или объяснения. Я же дрожал от возбуждения и вынужден был отвернуться, стыдясь, как бы она не заметила, насколько я не владею собою.

— Ты должна понимать, какой удар наносишь мне! — воскликнул я. — Ты ломаешь все мои надежды и разрушаешь жизнь! Не можешь же ты так наказать меня, не дав даже объясниться! Ты обязана сказать, в чем дело. Подумай также и о том, что я ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе так обращаться с тобой… Бога ради, Агата, скажи, что я натворил!

Она, не откликнувшись ни словом, прошла мимо меня к выходу.

— Все бесполезно, Остин, — сказала она. — Ты должен считать нашу помолвку расторгнутой.

Еще мгновение, и она ушла; прежде чем я сумел опомниться достаточно, чтобы последовать за ней, я услышал, как хлопнула, закрываясь, входная дверь.

Я бросился в свою комнату — переодеться: мне хотелось поскорее побежать к миссис Марден и узнать у нее, чем вызвано мое несчастье. Я был настолько потрясен, что с трудом завязал шнурки ботинок. Никогда не забуду те ужасные четверть часа. Я уже натянул сюртук, но тут часы на каминной полке пробили десять.

Десять! Я вспомнил о записке мисс Пенклоуза. Она лежала передо

мной на столе, я вскрыл ее и прочел. Слова были нацарапаны карандашом, своеобразным угловатым почерком:

Дорогой профессор Гилрой! Умоляю, простите, что я позволила себе испытать Вас, используя Ваши личные чувства. Профессор Уилсон вчера вечером мельком упомянул при мне, какие отношения связывают Вас и мою подопытную, и мне показалось, что Вас ничто не убедит надежнее, чем приход мисс Марден со словами, которых Вы от нее не ждете. Потому я внушила ей, что она должна явиться к Вам в половине десятого утра и заявить о расторжении помолвки; сцена должна продлиться около получаса. Наука столь требовательна, что трудно провести испытания с удовлетворительной точностью, но я убеждена, что девушка вряд ли совершила бы поступок такого рода по собственной воле. Забудьте все, что она могла Вам сказать, поскольку она совершенно не осознавала, что делает, и не вспоминайте об этой сцене, так как она начисто ее забудет. Я дала Вам эту записку, чтобы сократить срок Ваших мучений, и еще раз прошу простить за душевный дискомфорт, который причинила Вам, хоть и на краткое время.

Искренне Ваша, Хелен Пенклоуза.

Честно говоря, прочтя записку, я испытал такое облегчение, что ничуть не рассердился. Конечно, это была излишняя вольность со стороны дамы, которая познакомилась со мною лишь вчера. Но в конце концов, я сам раздразнил ее своим скептицизмом. Пожалуй, она права: выдумать эксперимент, который удовлетворил бы меня, не так-то просто.

И ей это удалось. По этому вопросу у меня больше нет сомнений. Я наконец убедился в возможности гипнотического внушения. Оно занимает отныне свое место в ряду несомненных фактов реальности. То, что Агату, самую уравновешенную из всех знакомых мне женщин, удалось довести до состояния автоматизма, вполне очевидно. Особа, находившаяся на большом расстоянии от нее, действовала как инженер, запускающий с берега торпеду Бреннана, [58] чтобы она разорвалась далеко в море. Другая личность словно бы вторглась в ее душу, оттолкнула в сторону ее сознание и завладела ее нервной системой, говоря: «Я попользуюсь этим на полчасика». И Агата, должно быть, не запомнила, как ходила ко мне и как возвращалась. Смогла ли она благополучно пройти по улицам в таком состоянии? Я поспешно надел шляпу и помчался выяснять, все ли с нею в порядке.

Да. Она была дома. Меня провели в гостиную, где я и нашел ее, сидящую с книгой на коленях.

— Ты что-то рано нынче, Остин, — сказала она с улыбкой.

— А ты и вовсе ранняя пташка, — ответил я. Она взглянула на меня озадаченно и спросила:

— Что ты имеешь в виду?

— Разве ты сегодня не выходила из дому?

— Нет, конечно же нет!

— Агата, — сказал я серьезно, — прошу, расскажи мне подробно, что ты делала сегодня утром?

Она засмеялась, видя мою крайнюю серьезность:

— Ты сейчас выглядишь как профессор за работой, Остин. Вот что значит обручиться с ученым мужем! Ладно, я все расскажу, хотя ума не приложу, зачем тебе это нужно. Я встала с постели в восемь, в половине девятого позавтракала в десять минут десятого вошла сюда и села читать «Мемуары мадам Ремюза». Но спустя несколько минут я сделала нелестный комплимент этой француженке, задремав над ее книгой. Одновременно это было лестным комплиментом вам, сэр, поскольку ты мне приснился. Я проснулась несколько минут назад.

— И обнаружила себя на том же месте?

— Разумеется! Чего бы ради я должна была оказаться на другом?

— Скажи мне еще, пожалуйста, Агата, что именно я делал в твоем сне? Я спрашиваю вовсе не из любопытства, поверь!

— У меня просто осталось смутное впечатление, что ты там был. Никаких подробностей не помню.

— Но если ты сегодня не выходила, Агата, отчего на твоих ботинках пыль?

По ее лицу пробежала тень досады.

— Право, Остин, не пойму, что с тобой сегодня? Тебя послушать, так ты даже сомневаешься в моих словах! Если моя обувь в пыли, это значит, разумеется, что я надела ту пару, которую служанка не вычистила.

Теперь мне было вполне очевидно, что она не знает о собственном поступке, и я рассудил, что разумнее будет ничего не рассказывать. История могла испугать Агату и вряд ли улучшила бы наши отношения. Потому я перевел разговор на другое и вскоре откланялся, поскольку пора было идти читать лекцию.

Но сам я безмерно впечатлен. Горизонт возможностей науки внезапно расширился перед моими глазами. Меня больше не удивляет, отчего Уилсон проявляет такую дьявольскую энергию и энтузиазм. Кто бы не стал трудиться усердно, видя перед собою невозделанную целину, ради будущего плодородия? Мне приходилось испытывать восторг, когда я обнаруживал неизвестную прежде форму ядрышек или какую-нибудь

новую подробность о поперечно-полосатой мускулатуре, увиденной под микроскопом. Но какими мелкими кажутся эти восторги по сравнению с открытием, которое обнажает самые корни жизни и природу души! Я всегда рассматривал дух производным от материи. Печень выделяет желчь, мозг выделяет разум — таково мое убеждение. Но как совместить этот принцип с тем, что я сегодня наблюдал? Неужели разум может работать на расстоянии и управлять материальным телом, как музыкант справляется со скрипкой? Значит, тело является не источником души, но грубым инструментом, при помощи которого разум проявляет себя. Ветряная мельница ветра не создает, а только указывает на его наличие. Такие соображения противоположны привычному строю моего мышления, и все же отрицать их было невозможно, и они представлялись мне достойными исследования.

И почему я должен отказываться от изучения нового предмета? Вот я вижу собственную запись под вчерашним числом: «Если бы он смог показать мне что-то положительное, объективное, я, пожалуй, испытал бы соблазн проверить проблему с физиологической точки зрения». Ну что же, необходимое доказательство налицо. Теперь нужно сдержать слово. Уверен, что исследование будет интереснейшим. Кое-кто из моих коллег посмотрит на это косо — наука полна бессмысленных предрассудков — но, если Уилсону достало мужества держаться своих убеждений, я продержусь тоже. Завтра утром я пойду к нему — к нему и к мисс Пенклоуза. Если она на пробу показала нам так много, весьма вероятно, что в запасе у нее есть еще многое.

II

26 марта. Как я и предвидел, Уилсон пришел в полный восторг от моего обращения в его веру, и мисс Пенклоуза тоже сдержанно (с притворной скромностью) проявила радость по поводу такого результата своего эксперимента. До чего странно: как молчаливо и бесцветно это создание, когда не пускает в ход свою силу, но стоит хотя бы заговорить на эту тему, как она расцветает и оживает. Ко мне мисс П., кажется, испытывает особый интерес. Я не могу не замечать, что она постоянно следит за мной глазами.

У нас состоялся чрезвычайно интересный разговор о ее способностях. Его содержание необходимо записать, хотя никакого научного веса ее слова, конечно, не имеют.

— Вы пока увидели только самый краешек этого явления, — сказала она, когда я выразил изумление тем образчиком гипноза, который был продемонстрирован. — Я не оказывала никакого прямого влияния на мисс

Марден, когда она пришла к вам. Я даже вовсе не думала о ней в то утро. Я сделала лишь одно: настроила ее разум, как могла бы настроить будильник, с тем чтобы в указанный час он сам сработал. Если бы я указала срок шесть месяцев или двенадцать часов, итог вышел бы такой же.

— А если бы ей внушили, что она должна меня убить?

— Она непременно так и сделала бы.

— Но это ужасно! Ужасна такая власть! — вскричал я.

— Да, вы правы, это ужасная сила, — очень серьезно ответила старая дева. — И чем больше вы о ней узнаете, тем ужаснее будет она казаться вам.

— Позвольте спросить, что вы подразумевали, говоря, будто вопрос внушения — это лишь подступы к предмету? Что же вы считаете сутью и основой?

— Я не хотела бы говорить об этом.

Ответ прозвучал решительно, и это меня удивило.

— Поймите, — сказал я, — мои вопросы продиктованы не любопытством, но надеждой найти какое-либо научное объяснение фактам, которые вы мне предоставляете!

— Откровенно говоря, профессор Гилрой, — сказала она, — я совершенно не интересуюсь наукой, и мне все равно, могу я классифицировать эти силы или нет.

— Но я надеялся…

— Ах, тогда совсем иное дело. Если у вас есть личный интерес, — сказала она с приятнейшей улыбкой, — я буду просто счастлива рассказать все, что вы пожелаете узнать. Дайте-ка вспомнить: о чем вы спрашивали? А, о том, какие еще существуют силы. Профессор Уилсон не желает в них верить, но они вполне истинны. Например, владеющий гипнозом человек — я назову его оператором — может добиться полного подчинения субъекта, если, конечно, тот для такого опыта годится. Без всякого предварительного внушения оператор может заставить его делать все, что ему заблагорассудится.

— И субъект не будет ничего знать?

— Смотря по обстоятельствам. Если была приложена достаточная сила, человек будет осознавать свои действия не более, чем мисс Марден, когда она пришла и так сильно вас напрала. Либо, если воздействие было не столь мощным, он может осознавать, что делает, но будет совершенно не способен остановиться и не выполнить приказ.

— Значит, субъект утратит собственную силу воли?

— Она будет вытеснена другой, более сильной.

— Вам случалось применять эту силу?

— Несколько раз.

— То есть у вас очень сильная воля?

— Знаете, успех не вполне зависит от этого. Многие обладают сильной и неотьелмемой волей. Но важно иметь еще способность ставить ее на первое место и передавать другой личности. Я замечала, что результат зависит от моей собственной силы и здоровья.

— По сути, вы отправляете свою душу в тело другого человека?

— Пожалуй, можно сказать и так.

— И что же при этом происходит с вашим телом?

— Оно просто впадает в сон, напоминающий летаргию.

— Но не вредно ли это для вашего собственного здоровья? — спросил я.

— Может, отчасти и вредно. Нужно соблюдать осторожность и не отпускать полностью свое сознание, иначе могут возникнуть трудности с возвращением. Мы должны, так сказать, всегда поддерживать связь. Боюсь, я выражаюсь очень неуклюже, профессор Гилрой, но ведь меня не учили научным терминам… Я просто описываю собственный опыт и даю те объяснения, какие сама придумала.

Сейчас, записав все это и перечитывая без спешки, я дивлюсь самому себе! Где же тот Остин Гилрой, который пробился на передний край науки благодаря силе логики и приверженности фактам? Вот он — почтительно записывает болтовню старой девы, уверяющей, будто она умеет отделять свою душу от тела и, находясь в летаргии, способна управлять поступками людей на расстоянии. Принимаю ли я это на веру? Разумеется, нет. Она должна будет доказывать свои утверждения снова и снова, прежде чем я поддамся хотя бы на пядь. Но, оставаясь по-прежнему скептиком, я все же перестал быть насмешником. Сегодня вечером мы договорились собраться, и она попробует оказать месмерическое воздействие на меня. Если ей это удастся, мы получим отличную отправную точку для нашего исследования. Уж меня-то, во всяком случае, не обвинят в сообщничестве! Если у нее ничего не выйдет, придется подыскать такого подопытного, который был бы вне подозрений, как жена Цезаря. А Уилсон совершенно не поддается воздействию.

10 часов вечера. Я полагаю, что нахожусь на пороге эпохального исследования. У меня есть возможность изучить эти феномены изнутри — мой организм способен реагировать! — и в то же время мой мозг будет критически оценивать все происходящее. Это, конечно же, уникальное, выгоднейшее сочетание качеств! Уилсон, по-моему, отдал бы пять лет

жизни за то, чтобы обладать такой же восприимчивостью.

Присутствовали только Уилсон и его жена. Меня усадили так, чтобы я мог откинуть голову, и мисс Пенклоуза, встав передо мною, чуть левее кресла, принялась производить те же широкие, плавные пассы, что и в случае с Агатой. При каждом ее движении на меня словно веяло потоком теплого воздуха, с головы до ног меня охватила мелкая дрожь, обдало жаром. Я пристально смотрел на мисс Пенклоуза, но черты ее лица постепенно размывались и таяли. Я отчетливо различал только ее глаза, устремленные на меня, серые, глубокие, непроницаемые. Они росли, становились все шире, потом вдруг превратились в два горных озера, и я стал падать, падать в них с ужасной скоростью. Меня передернуло, и где-то в глубине сознания я отметил: наверное, в этот момент мое тело застыло, как это произошло с Агатой, когда я за ней наблюдал. Еще мгновение — и я рухнул в озеро (они теперь слились в одно) и ушел вглубь, чувствуя, как гудит в голове и звенит в ушах. Я опускался все ниже, ниже, ниже, а потом меня вдруг понесло снова вверх, и вскоре я увидел яркий свет, пронизывающий зеленую воду. Я уже почти достиг поверхности, когда в голове прогремело: «Пробудитесь!» — и я обнаружил, что сижу в кресле, а мисс Пенклоуза смотрит на меня, опираясь на костыль, и Уилсон, с блокнотом в руке, выглядывает из-за ее плеча. Я не испытывал никакой тяжести, усталости. Напротив, хотя после эксперимента прошло чуть больше часа, я настолько бодр, что более склонен заняться делом, чем ложиться в постель. Я предвижу целый ряд интересных экспериментов, и мне не терпится приступить к ним.

27 марта. День прошел впустую: мисс Пенклоуза с Уилсоном и его женой уехали в гости к Саттонам. Начал читать Бинэ и Ферра, «Животный магнетизм». Впечатление такое, будто глядишь в воды глубокой, таинственной реки. Обилие результатов — а причина явлений остается абсолютной тайной. Книга возбуждает воображение, но я должен быть настороже. Нельзя делать ни предположений, ни выводов — ничего, кроме неоспоримых фактов. Я знаю, что месмерический транс — реальность; знаю, что месмерическое внушение существует; знаю, что обладаю чувствительностью к этой силе. Таково настоящее положение дел.

Я завел большой новый блокнот, куда намерен заносить исключительно научные подробности.

Долго беседовал вечером с Агатой и миссис Марден насчет нашей свадьбы. Мы думаем, что летние каникулы (в самом начале) — наилучшее время для венчания. Зачем откладывать? Мне тяжела даже эта отсрочка в несколько месяцев. Ничего не поделаешь, миссис Марден права, говоря,

что нужно очень многое устроить.

28 марта. Меня снова месмерировала мисс Пенклоуза. Ощущения те же, что и в первый раз, однако бесчувствие настало намного быстрее. См. данные в блокноте. А — температура в комнате, барометрическое давление, мой пульс и глубина дыхания, определенные профессором Уилсоном.

29 марта. Месмеризация снова прошла успешно. Подробности в блокноте А.

30 марта. Воскресенье, пустой день. Меня бесит любой перерыв в экспериментах. В настоящий момент мы занимаемся определением физических признаков легкой, полной и предельной десенсибилизации. Затем мы надеемся заняться феноменом внушения и прозрачности сознания. Бывало, что профессора демонстрировали их на примере разных женщин, в Нанси и клинике Сальпетриер в Париже. Но выйдет куда убедительнее, когда женщина использует профессора для демонстрации, причем другой профессор послужит свидетелем. И субъектом буду я — скептик, материалист! По меньшей мере я сумел показать, что моя преданность науке больше, чем стремление к личной состоятельности. Признать ошибочность собственных мнений — это величайшая жертва, которую нам приходится приносить на алтарь истины.

Мой сосед, Чарльз Сэдлер, красивый молодой человек, работающий демонстратором на лекциях по анатомии, пришел ко мне сегодня вечером, чтобы вернуть том «Архивов Вирхова», [59] который я недавно одолжил ему. Я называю его молодым, но на самом деле он годом старше меня.

— Я так понимаю, Гилрой, — сказал он, — что вы позволили мисс Пенклоуза экспериментировать над собой?

— Знаете, — продолжил он, когда я ответил утвердительно, — на вашем месте я не позволил бы ей заходить слишком далеко. Вы, конечно, сочтете меня нахалом, но все же я чувствую, что должен посоветовать вам: не имейте больше с нею дела!

Понятно, что я спросил — почему?

— Я нахожусь в щекотливом положении и потому не могу вдаваться в подробности, хотя и считаю это желательным, — сказал он. — Но мисс Пенклоуза — приятельница моего друга, и я вынужден соблюдать деликатность. Могу сказать лишь одно: я сам был объектом нескольких экспериментов этой женщины и они оставили у меня самое неприятное впечатление.

Вряд ли он рассчитывал, что я удовлетворюсь этим утверждением, и я очень постарался вытянуть из него какие-либо более точные объяснения, но успеха не добился. Не лежит ли в основе его слов ревность из-за того,

что мне удалось превзойти его? Или он относится к тем людям науки, кому кажется, будто их лично оскорбили, когда факты противоречат их предвзятому мнению? Не может же он всерьез предполагать, что из-за каких-то его смутных огорчений я брошу серию экспериментов, обещающих принести богатые плоды? По-видимому, Сэдлера удручила та легкость, с которой я отнесся к его туманным предупреждениям, и мы расстались с некоторой взаимной холодностью.

31 марта. Месмеризация у мисс П.

1 апреля. Месмеризация у мисс П. (См. блокнот А.)

2 апреля. Месмеризация у мисс П. (Сфигмограмму составил профессор Уилсон.)

3 апреля. Возможно, курс месмерических сеансов оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье. Агата говорит, что я похудел и под глазами у меня круги. Я и сам ощущаю нервозность, раздражительность, какими прежде не страдал. Малейший шум, например, заставляет меня вздрагивать, глупость студентов не забавляет, а приводит в отчаяние. Агата хочет, чтобы я остановился, но я убеждаю ее, что всякое исследование утомительно и нельзя достичь стоящих результатов, не заплатив за них свою цену. Когда она увидит, какую сенсацию вызовет статья, которую я готовлю — «О взаимосвязи между разумом и материей», — она поймет, что небольшое истощение нервов и усталость следует считать не столь существенной платой. Я не удивлюсь, если после публикации буду принят в Королевское научное общество.

Месмеризация и сегодня вечером прошла успешно. Теперь эффект достигается быстрее, и субъективные видения менее выражены. Я подробно записываю каждый сеанс. Уилсон собирается уехать в город на неделю или на десять дней, но мы не прервем эксперименты, ценность которых зависит как от моих ощущений, так и от его наблюдений.

4 апреля. Мне нужно быть начеку. В нашу работу прокралось непредвиденное осложнение. В стремлении к научным фактам я был слеп, как глупец, и не подумал о человеческих отношениях между мисс Пенклоуза и мною. Я запишу здесь то, о чем и словом не обмолвлюсь ни единой живой душе. У несчастной женщины, кажется, зародилась привязанность ко мне.

Я не стал бы утверждать подобное даже на потаенных страницах дневника, если бы обстоятельства не делали невозможным игнорировать факты. В течение некоторого времени — в общем, за последнюю неделю — я замечал кое-какие признаки, но отбрасывал их в сторону и отказывался думать о них. Ее оживление, когда я прихожу, ее печаль, когда я прощаюсь,

ее готовность часто видеться со мной, выражение глаз, тон голоса — я пытался убедить себя, что все это ничего не значит, и списывал на пылкость вест-индского характера. Но вчера вечером, просыпаясь от месмерического сна, я неосознанно, невольно протянул руку и коснулся ее руки. Когда я полностью пришел в себя, мы сидели, держась за руки, и она смотрела на меня с улыбкой ожидания. И самое ужасное то, что я почувствовал желание сказать ей то, чего она от меня ждала. Каким же жалким подлецом я мог оказаться! Как бы я презирал сейчас самого себя, поддайся я этому минутному искушению! Но слава богу, мне хватило сил вскочить и броситься вон из комнаты. Боюсь, я повел себя грубо, но я не мог, нет, не мог ручаться за себя, останься я там еще хоть на минуту! Я, джентльмен, человек чести, обрученный с одной из чудеснейших девушек Англии, — и все же еще минута, и я в порыве безрассудной страсти чуть не объяснился в любви женщине едва знакомой! Она намного старше меня и к тому же калека. Одиозно, чудовищно! Однако импульс был так силен, что еще одной минуты пребывания рядом с нею хватило бы для предательства. Что это было? Я учу других тому, как работает наш организм, ничего не зная об этом сам! Было ли это внезапным выбросом с какого-то низшего уровня сознания, где таятся грубые примитивные инстинкты? Я уже готов поверить в рассказы об одержимости злыми духами, настолько властно заявило о себе то чувство.

Итак, этот инцидент ставит меня в весьма неловкое положение. С одной стороны, очень не хочется бросать серию экспериментов, зашедшую уже так далеко, и с перспективой получения столь блестящих результатов. С другой, если эта несчастная старая дева воспылала ко мне страстью… Но вероятно, я просто допустил ужасную ошибку. Она, с ее возрастом и уродством! Это невозможно. И ведь она знает об Агате. Она понимает, каковы мои обстоятельства. Может быть, она просто улыбнулась, довольная успехом, когда я в затуманенном состоянии схватил ее за руку. Очевидно, мой мозг, еще не свободный от месмерического воздействия, придал этому наблюдению смысл и с животной быстротой откликнулся на него. Жаль, что мне не удается убедить себя в этой версии событий. Наверное, в целом мудрее всего было бы отложить эксперименты до возвращения Уилсона. Потому я написал записку мисс Пенклоуза, никак не упоминая о вчерашнем вечере, но ссылаясь на неотложную работу, которая заставляет меня прервать сеансы на несколько дней. Она ответила достаточно формально: если я все-таки изменю свои планы, то найду ее дома в обычный час.

10 вечера. Ох, я не человек, а тряпичная кукла! За последнее время я

узнал лучше самого себя, и чем больше узнаю, тем ниже падаю в собственной оценке. Конечно, я не всегда был так слаб. Скажи мне кто-нибудь в четыре часа, что я нынче вечером пойду к мисс Пенклоуза, мне бы только стало смешно, и все же в восемь я был уже у дверей Уилсона, как обычно. Сам не знаю, как это получилось. Сила привычки, должно быть. Вероятно, существует тяга к месмеризму, наподобие тяги к опиуму, и я стал ее жертвой. Знаю только, что, работая в своем кабинете, испытывал нарастающее беспокойство, ерзал, нервничал. Я не мог сконцентрировать внимание на рукописи. И наконец, едва понимая, что делаю, схватил шляпу и поспешил на встречу в обычный срок.

Вечер вышел интересный. Миссис Уилсон была почти все время с нами, и это избавило нас (или меня одного?) от неизбежной неловкости. Мисс Пенклоуза вела себя как обычно и не выразила удивления по поводу того, что я пришел вопреки своей записке. Она никак не выказывала впечатления, которое мог произвести на нее вчерашний инцидент, и я решил, что и в самом деле все выдумал.

6 апреля (вечер). Нет, нет, нет, ничего я не выдумал. Я больше не пытаюсь скрыть от самого себя, что старая дева в меня влюбилась. Это чудовищно, однако это правда. Сегодня я снова, выйдя из месмерического транса, обнаружил свою руку в ее ладони и испытал то отвратительное чувство, которое побуждает меня презреть честь, карьеру, вообще все ради существа, лишенного и капли обаяния. Находясь вдали от ее влияния, я это вижу отчетливо, но, когда я рядом с нею, реальность забывается. Она возбуждает что-то во мне, что-то недоброе, о чем я предпочел бы не думать. Она парализует все высокое, стимулируя худшее. Решительно, мне следует больше не общаться с нею.

Вчера было еще хуже, чем прежде. Вместо того чтобы сбежать, я просидел какое-то время с нею, рука в руке, беседуя о самых личных предметах. Мы говорили и об Агате. О чем я думал тогда? Может, все это сон? Мисс Пенклоуза сказала, что моя невеста слишком привержена к условностям, и я согласился. Один или два раза она отозвалась об Агате в презрительном тоне, и я не протестовал. Что за тварь из меня сделали!

Но, несмотря на проявленную слабость, я по-прежнему твердо намерен положить этому конец. Подобное не должно повториться. У меня хватит здравомыслия бежать, если нет сил бороться. С сегодняшнего воскресного вечера и впредь я более не буду проводить сеансы с мисс Пенклоуза. Никогда более! Прекратить эксперименты, завершить исследование; все лучше, чем борьба с ужасным соблазном, тянущим меня на дно. Я ничего не сказал мисс Пенклоуза, но просто буду держаться

подальше. Она без всяких слов сама поймет причину.

7 апреля. Остался дома, как и намеревался. Жаль бросать такую интересную тему, но еще больше мне жаль губить свою жизнь, и я ЗНАЮ, что не могу доверять самому себе в присутствии этой женщины.

11 вечера. Господи, помоги мне! Что со мной творится? Не схожу ли я с ума? Мне нужно успокоиться и разобраться во всем. Но сначала запишу как можно точнее события этого вечера.

Когда сегодня я занес на эту страницу первые строки, было около восьми. Ощущая странное беспокойство и тоску, я ушел из дому, чтобы провести вечер с Агатой и ее матерью. Они обе заметили, что я бледен и выгляжу изможденным. Около девяти пришел профессор Пратт-Хэлдейн, и мы сели играть в вист. Я изо всех сил старался сосредоточиться на картах, но беспокойство все нарастало, и наконец я понял, что сопротивляться больше не могу. Я попросту не мог оставаться за столом. Наконец, на середине партии я бросил карты и, пробормотав что-то о назначенной и забытой встрече, ринулся прочь из комнаты. Словно во сне, я слабо припоминаю, как вбежал в прихожую, сдернул с вешалки шляпу и так резко распахнул дверь, что она с грохотом захлопнулась за мной. От улицы у меня тоже осталось размытое воспоминание, как сон, — только двойной ряд газовых фонарей; судя по забрызганным грязью ботинкам, я, видимо, бежал прямо посередине проезжей части. Все казалось туманным, странным, неестественным. Я пришел к Уилсону; я увидел миссис Уилсон и мисс Пенклоуза. С трудом припоминаю, о чем мы говорили, но все-таки помню, как мисс П. шутливо погрозила мне костылем и пожурила за то, что я опоздал и, наверное, утратил интерес к экспериментам. Мы не занимались месмеризмом, но я пробыл там некоторое время и только что вернулся домой.

Сейчас мой мозг вполне прояснился, и я могу обдумать случившееся. Абсурдно было бы полагать, что дело просто в слабохарактерности и силе привычки. Вчера я пытался объяснить ситуацию таким образом, но эта версия уже не годится. Происходит нечто более глубокое и страшное. Меня потянуло прочь от Марденов, от карточного стола так, словно кто-то тащил меня на веревке. Я больше не могу скрывать это от самого себя. Злая женщина накинула на меня петлю. Я в ее когтях. Но я должен собраться с духом, с мыслями и решить, как выбраться из западни.

Но каким же я был слепым дураком! В своем исследовательском энтузиазме я прямиком угодил в яму, хотя подготовленная ловушка даже не была ничем прикрыта. Ведь мисс П. сама предупредила меня! Вот я перечитываю записи в дневнике: она же сразу сказала, что, завладев

субъектом, может заставить его желать что угодно по ее воле! И она действительно завладела мною. И в настоящий момент я всецело в подчинении у этого создания с костылем. Я должен являться, когда она желает. Я должен поступать, как она хочет. Хуже того: даже чувствовать я обязан так, как ей угодно. Я испытываю к ней отвращение и страх, и все же, пока чары действуют, она, несомненно, способна заставить меня любить ее.

Единственное утешение мое в том, что те мерзкие порывы, за которые я так себя порицал, в действительности проистекают не из моей души. Насколько я могу догадываться, они порождаются приказами, поступающими от «оператора». Так, кажется, она себя называла?… От этих мыслей мне становится легче, я словно очищаюсь.

8 апреля. Да, и теперь, среди бела дня, в хладнокровном состоянии, имея время на обдумывание, я готов подтвердить все, что записал в дневник накануне. Положение мое ужасно, однако, прежде всего, нельзя терять голову. Я должен ополчить мой интеллект против власти колдуньи. В конце концов, я не безмозглая кукла я не буду плясать на веревочке, как марионетка. У меня есть энергия, разум, отвага. Какие бы дьявольские козни она ни строила, я все еще могу победить. Могу? Я должен, иначе что станется со мною дальше?

Поразмыслим здраво. Из собственных объяснений этой женщины следует, что она способна подчинять мою нервную систему. Она как бы проецирует свою личность в мое тело и обретает контроль над ним. У нее — душа-паразит; она сама паразит, чудовищный паразит. Она прокрадывается внутрь моей личности, как рак-отшельник в раковину моллюска. Я бессилен. Что же я могу сделать? Я противостою силам, о которых ничего не знаю. И не могу ни с кем поделиться своей бедой. Меня примут за сумасшедшего. Несомненно, если поднимется шум, университет сочтет, что им не требуется профессор, одержимый дьяволом. И Агата!.. Нет, нет, я вынужден бороться в одиночку.

III

Перечитал запись рассказа этой женщины о своих способностях. Один момент вызывает у меня беспокойство. Она утверждала, что при слабом воздействии субъект знает, что делает, но не может контролировать себя, а вот при сильном внушении действия становятся полностью бессознательными. Так вот, я всегда осознавал, что делаю, хотя вчера вечером сознание у меня было уже затуманено. Это, по-видимому, означает, что она еще ни разу не воздействовала на меня с полной силой. Был ли кто-то еще подвергнут такой обработке?

Да, кажется, был, и притом совсем близко от меня. Чарльз Сэдлер должен что-то знать об этом! Его смутное предостережение становится теперь понятным. О, если бы я прислушался к нему тогда, прежде чем, участвуя в сеансах, сам помог выковать звенья цепи, связавшей меня теперь! Но сегодня я увижусь с ним. Я извинюсь за свое неуместное легкомыслие. Посмотрим, что он сможет посоветовать мне.

4 часа дня. Он не помог. Я переговорил с ним, и сильное удивление, которое вызвали у него первые же мои слова, когда я попытался описательно изложить суть моей невыразимой тайны, заставили меня остановиться. Насколько я могу судить (по намекам и обмолвкам, а не из прямых высказываний), его собственный опыт ограничивается несколькими фразами или взглядами наподобие тех, которые испытал я. Собственно, то, что он сумел оторваться от мисс Пенклоуза, само по себе свидетельствует: она не трудилась над ним всерьез. Ох, знал бы он, какой беды избежал благодаря своему флегматичному англо-саксонскому темпераменту! Я же — черноволосый кельт, и когти этой ведьмы крепко вцепились в мои нервы. Удастся ли мне когда-нибудь вырваться? Стану ли я снова тем человеком, каким был всего лишь пару недель назад?

Нужно подумать, как лучше повести себя. Я не могу оставить университет в середине семестра. Будь я свободен, дальнейшие шаги были бы очевидны: я немедленно собрался бы и уехал в Персию. Но позволит ли она мне уехать? И не может ли ее воздействие достать меня и в Персии, заставить вернуться в пределы досягаемости ее костыля? Границы этой адской власти я могу определить лишь на собственном горьком опыте. Я буду сражаться, сражаться неустанно — что еще мне остается?

Я прекрасно понимаю, что около восьми часов вечера стремление увидеть ее, непреодолимое беспокойство охватят меня. Как можно избавиться от него? Есть ли способы? Я должен сделать невозможным выход из дому. Я запру дверь и выброшу ключ из окна. Но как же я выберусь утром? Ладно, потом разберусь. Сейчас важнее всего любой ценой разорвать цепь, держащую меня.

9 апреля. Победа! Все прошло отлично! Вчера в семь вечера я наскоро пообедал и заперся в своей спальне, а ключ выбросил в сад. Выбрал веселенький роман и пролежал часа три в постели, пытаясь читать, но на самом деле с ужасом, с трепетом ожидал, когда же подействует импульс вызова. Ничего такого, однако, не произошло, и я проснулся утром с ощущением, что благополучно пережил темный кошмар. Возможно, чертовка поняла, что я сделал, и отказалась от попыток повлиять на меня. Во всяком случае, один раз мне удалось ее побить, а если так, то я смогу

повторить успех и еще раз.

С ключом вышла, конечно, неловкость. К счастью, в саду утром работал помощник садовника, и я попросил его забросить ключ мне в окно. Он наверняка подумал, что я просто обронил его. Ради избавления от власти ведьмы я готов запереть и окна, и двери и нанять шестерых крепких молодцов — пусть удерживают меня в постели. Любые способы хороши… Я не сдамся!

После полудня получил записку от миссис Марден — приглашение навестить ее. Я и сам хотел зайти к ним, но никак не ожидал, что там меня застанут плохие известия. Выяснилось, что Армстронги, которых Агата ожидает со дня на день, должны вернуться из Аделаиды на «Авроре» в ближайшее время и они прислали ей и миссис Марден письмо, предлагая встретиться в городе. Отсутствовать они, вероятно, будут месяц-полтора, а поскольку «Аврора» прибывает в среду, ехать им нужно немедленно — то есть завтра, если они успеют собраться. Утешает меня только то, что после их возвращения уже ничто не будет стоять между мной и Агатой.

— Я хочу, чтобы ты сделала кое-что, Агата, — сказал я, когда мы остались с нею наедине. — Если вам случится встретиться с мисс Пенклоуза, в городе либо здесь, обещай мне никогда больше не позволять ей вводить тебя в месмерический транс.

Агата широко раскрыла глаза:

— Странно! Только на днях ты говорил, как все это было интересно, как ты хочешь довести до конца свои эксперименты!

— Верно, однако с тех пор я изменил свое мнение.

— И больше не будешь этим заниматься?

— Не буду.

— Как я рада, Остин! Ты сам не видишь, каким стал бледным и усталым за последние дни. На самом деле главное, из-за чего мы не хотели ехать в Лондон, — твое состояние. Мы боялись оставлять тебя одного, когда ты так удручен. И вел ты себя порой так странно, особенно в тот вечер, когда оставил бедняжку профессора Пратт-Хэлдейна играть вместо себя. Я убеждена, что эти опыты плохо сказываются на твоих нервах.

— Я теперь тоже так думаю, дорогая.

— И для мисс Пенклоуза они тоже даром не прошли. Ты слышал, что она больна?

— Нет.

— Миссис Уилсон рассказала нам об этом вчера вечером. Она называет это заболевание нервной горячкой. Профессор Уилсон должен вернуться на этой неделе, и миссис Уилсон, конечно, очень беспокоится,

чтобы мисс Пенклоуза выздоровела к его приезду, ведь у него намечена целая программа опытов, и он просто жаждет их осуществить.

Меня порадовало обещание Агаты — довольно того, что эта женщина вцепилась в меня. С другой стороны, я встревожился, услышав о болезни мисс Пенклоуза. В этих обстоятельствах моя вчерашняя победа блекнет. Я вспомнил, как она говорила, что сила ее воздействия зависит от состояния здоровья. Вероятно, именно поэтому я сумел так легко продержаться. Ладно, ладно, я приму сегодня те же меры предосторожности и посмотрю, что получится. Когда я думаю о ней, меня одолевает совершенно детский страх.

10 апреля. Вчера вечером все прошло отлично. Меня позабавило лицо садовника, когда мне снова пришлось утром окликнуть его и попросить перебросить мне ключ. Я стану знаменит среди прислуги, если буду продолжать в том же духе. Но для меня важнее всего то, что я оставался в своей комнате без малейшего побуждения покинуть ее. Я верю, что все-таки стряхну эти невероятные путы, — хотя, возможно, силы этой женщины дремлют, пока она не восстановит здоровье? Мне остается лишь молиться, чтобы все обернулось к лучшему.

Мардены уехали нынче утром, и мне кажется, что сияние весеннего дня померкло. Но все же солнце так прекрасно освещает зеленые каштаны напротив моих окон и придает веселый вид тяжелым, поросшим лишайниками стенам древних колледжей. Как приятна, добра и утешительна природа! Кто бы мог поверить, что в ней заодно таятся столь злые силы, столь зловещие способности! Ведь я, конечно же, понимаю, что настигшая меня жуть не сверхъестественна, даже не противоестественна. Нет, это сила природы, о которой общество и не подозревает, а малоприятная женщина умеет использовать. Уже сам факт существования зависимости между степенью оказываемого на других воздействия и здоровьем действующего лица показывает, что это явление полностью подчиняется физическим законам. Будь у меня время, я докопался бы до его глубин и нашел противоядие. Но невозможно заниматься укрощением тигра, когда он вцепился в тебя когтями. Вам остается лишь попробовать вырваться и убежать. Ах, когда я смотрю в зеркало и вижу собственные темные глаза и точеное испанское лицо, я сожалею, что на меня не брызнула щелочь или не обезобразила оспа. Что-нибудь в этом духе могло бы избавить меня от теперешнего несчастья…

Я склонен думать, что нынче ночью мне придется трудно. Настораживают меня два момента. Во-первых, я встретил на улице миссис Уилсон, и она сказала, что мисс Пенклоуза уже поправляется, хотя еще

слаба. Я же от всего сердца желал бы, чтобы эта болезнь стала ее последним недугом. Во-вторых, профессор Уилсон вернется через день-два, и его присутствие подействует на старую деву стеснительно. Общение с нею в присутствии третьих лиц меня не обеспокоит.

По обеим этим причинам я предчувствую, что сегодня она захочет действовать, и приму те же меры предосторожности, что и вчера.

Все еще 10 апреля. Нет, хвала Господу, вечер прошел спокойно. Снова обращаться к садовнику было свыше моих сил, потому я, заперев дверь на ключ, просунул его в щель под нею, чтобы наутро попросить горничную выпустить меня. Но предосторожность оказалась излишней, поскольку я вовсе не испытал стремления куда-либо идти. Третий вечер подряд я провел дома! Несомненно, мои беды подходят к концу, ведь Уилсон явится сегодня либо завтра. Есть ли смысл рассказать ему, какому испытанию я подвергся? Уверен, что с его стороны не дождусь ни малейшего сочувствия. Он воспримет эту историю как интересный случай и охотно выступит с докладом о нем на очередном заседании Физического общества, причем непременно с важным видом остановится на вопросе, могу ли я быть сознательным лжецом, и определит вероятность, не нахожусь ли я на ранней стадии заболевания лунатизмом. Нет, от Уилсона мне утешения не дождаться.

Чувствую себя удивительно бодрым и здоровым. Пожалуй, никогда раньше я не читал лекций с большим воодушевлением. О, если бы я мог развеять тень, павшую на мою жизнь, я стал бы счастливейшим человеком! Я молод, прилично обеспечен, стою в первых рядах своей профессии, обручен с красивой, очаровательной девушкой — у меня есть все, о чем мог бы мечтать мужчина. Лишь одно облако омрачает мой горизонт, но какое!

Полночь. Я сойду с ума. Да, вот чем это все кончится. Я сойду с ума, я уже недалек от этого. Руки мои горячи, голова раскалывается. Я весь дрожу, как испуганная лошадь. О, что за ночка мне выпала! И все же у меня есть некоторые поводы для радости.

Рискуя стать посмешищем также для моей собственной служанки, я снова просунул ключ под дверь, сделавшись пленником на всю ночь. Потом, видя, что ложиться в постель еще рано, я прилег одетый и взялся читать роман Дюма. Внезапно меня схватили — схватили и сдернули с кушетки. Только такими словами я могу описать силу удара, настигшего меня. Я вцепился в покрывало. Я охватил руками спинку кушетки. Кажется, я даже вскрикнул от напряжения. Все это было бесполезно, безнадежно. Я должен идти! Избавиться от приказа не было возможности.

Сопротивлялся я только поначалу. Нажим вскоре стал настолько мощным, что исключал неповиновение. Слава богу, что никто не видел моей борьбы и не вмешался. Я бы не мог ручаться за себя, если бы кто-то попробовал. И еще: помимо решимости выйти во что бы то ни стало я обрел также способность хладнокровно и изобретательно искать средства решения задачи. Я зажег свечу и, опустившись на колени у двери, попробовал подтащить ключ кончиком гусиного пера. Но его длины не хватило, я лишь оттолкнул ключ еще дальше. Тогда, со спокойным упорством, я вынул из ящика стола нож для разрезания бумаги и с его помощью сумел подцепить ключ. Я открыл дверь, зашел в кабинет, взял из бюро свой фотографический портрет и, сделав на нем надпись наискось, положил во внутренний карман сюртука и отправился к Уилсону.

Все происходящее было вполне отчетливо и все же отличалось от реальной жизни, как бывает в ярких снах. Мое сознание своеобразно раздвоилось: чужая воля, преобладающая, заставляла меня двигаться в сторону своего обладателя, а другая, моя собственная, более слабая, протестовала, пытаясь вырваться, наподобие пса, ведомого на поводке. Я помню, что распознал две эти противоборствующие силы, но как я шел по улице, как меня пустили в дом, в памяти не отложилось.

Очень ясно запомнилась, однако, моя встреча с мисс Пенклоуза. Она полулежала на диване в том маленьком будуаре, где мы обычно проводили свои опыты: голова склонилась на руку, ноги прикрыты покрывалом из тигровой шкуры. Она с надеждой взглянула на меня, и в свете лампы я рассмотрел, что она очень бледна, осунулась, под глазами — темные пятна. Она улыбнулась мне и жестом пригласила сесть на низкую скамеечку рядом с собою. Жестом левой руки… Ринувшись к ней, я схватил эту руку — мне противно вспоминать об этом, — и стиснул ее, и страстно поцеловал. Потом, опустившись на скамеечку, не выпуская ее руку из своей, вручил хромоножке принесенную с собой фотографию, и заговорил, и заговорил о том, как люблю ее, и как горевал, пока она болела, и как радовался ее выздоровлению, и с каким трудом вытерпел два вечера вдали от нее. Она молча слушала, глядя на меня сверху вниз властными глазами и вызывающе улыбаясь. Мимоходом она провела рукой по моим волосам, словно поглаживая собаку; и эту ласку я воспринял с удовольствием, как наслаждение. Я был порабощен душой и телом и в тот момент радовался своему рабству.

И тут вдруг настала благословенная перемена. Не говорите мне, что Провидения не существует — не поверю! Я стоял на краю. Я был на волоске от гибели. Случайным ли совпадением объяснить то, что именно в

тот момент пришла помощь? Нет, нет, нет, Провидение действует, и его рука оттащила меня от пропасти. Есть нечто во вселенной более сильное, чем эта дьяволица с ее фокусами. Ах, каким целительным бальзамом стали эти мысли для моей души!

Было так: я взглянул на нее и осознал, как она изменилась. Лицо, и прежде бледное, теперь было мертвенным. Глаза потускнели, тяжелые веки опустились. А главное, выражение спокойной уверенности исчезло. Уголки губ опустились, лоб сморщился. Она выглядела испуганной и нерешительной. И по мере того, как я наблюдал эту перемену, мое сознание затрепетало и напряглось, отчаянно пытаясь вырваться из захвата, который с каждой минутой становился все слабее.

— Остин, — прошептала она, — я перестаралась. У меня не хватило сил. Я еще не вполне поправилась после болезни. Но я не могла больше вынести разлуку с вами. Вы же не оставите меня, Остин? Это лишь мимолетная слабость. Пять минут, и я приду в себя. Подайте мне вон тот маленький графин со столика возле окна!

Но я уже овладел собою. Ее влияние исчезло с упадком сил, я освободился, и главным моим чувством теперь стала ярость — горькая, жгучая ярость. Наконец-то я обрел возможность, пусть единственную, выказать этой женщине те чувства, которые в действительности питал к ней. Моя душа наполнилась ненавистью столь же низменной, как та любовь, против которой она была направлена. То была свирепая, убийственная страсть восставшего раба. Я мог в тот момент схватить костыль и ударить ее по голове. Она вскинула руки, словно защищаясь от удара, и отпрянула от меня, забившись в угол кушетки.

— Бренди! — едва слышно попросила она. — Дайте мне бренди!

Я взял графин и вылил его содержимое под корни пальмы, росшей в горшке у окна. Потом выдернул фотографию из ее пальцев и разорвал снимок на сотню клочков.

— Мерзкая женщина, — сказал я, — если бы я решил выполнить свой долг перед обществом, вы не вышли бы никогда из этой комнаты живой!

— Я люблю вас, Остин, я люблю вас! — захныкала она.

— Да?! — воскликнул я. — А до того — Чарльза Сэдлера. И сколько таких еще было ранее?

— Чарльз Сэдлер! — ахнула она. — Он говорил вам? А, значит, Чарльз Сэдлер, Чарльз Сэдлер! — Из ее побелевших губ это имя вырвалось, как шипение змеи.

— Да, я уже распознал вас, и другие тоже распознают в свой срок. Вы — бесстыдная тварь! Вы знали, в каком я нахожусь положении, и все же

использовали свою мерзкую силу, чтобы привлечь меня к себе. Возможно, вам еще удастся снова добиться этого, но по меньшей мере теперь вы запомните, что я люблю мисс Марден всем сердцем, а вы мне отвратительны, ненавистны! Даже видеть вас, слышать ваш голос мне тяжко. В моей душе лишь ужас и омерзение. И думать о вас не желаю! Вот что я чувствую на самом деле, и если вы вновь вздумаете своими фокусами связать меня, притащить, как притащили сегодня, вряд ли вам доставит много удовольствия любовник, насильно созданный из человека, прямо высказавшего вам свое истинное отношение. Вы можете заставить меня произносить любые слова, но не сможете скрыть, что…

Я умолк, потому что голова ее запрокинулась, она потеряла сознание. Не вынесла того, что я высказал ей в лицо! О, какое удовлетворение согревает меня при мысли, что впредь она уже не сможет ошибиться в моих чувствах, как бы ни сложились обстоятельства. Но что дальше? Что она предпримет теперь? Я не решаюсь загадывать. Хоть бы она оставила меня в покое! Но когда я вспоминаю, что сказал ей… Ладно. Пусть хоть ненадолго, но я победил ее.

11 апреля. Я почти не спал ночью и утром почувствовал такую слабость и лихорадку, что был вынужден попросить Пратт-Хэлдейна заменить меня на лекциях. Впервые за все время преподавания я пропускаю занятия. Около полудня я встал с постели, но голова болит, руки трясутся, и нервы в плачевном состоянии.

И надо же было явиться ко мне вечером не кому иному, как Уилсону! Он только что вернулся из Лондона, где давал лекции, читал доклады, устраивал собрания, демонстрировал медиума, провел ряд опытов по передаче мысли, развлекал профессора Рише из Парижа, просиживал часами, уставившись в кристалл, и получил кое-какие доказательства прохождения материи сквозь материю. Все это он излил на меня единым залпом.

— Но вы-то! — воскликнул он наконец. — Вы плохо выглядите. И мисс Пенклоуза сегодня в полной прострации. Как ваши опыты?

— Я их прекратил.

— Да что вы! Почему?

— Подопытный субъект показался мне опасным.

На свет божий явился его большой коричневый блокнот.

— Очень интересно, — заявил он. — На каких основаниях вы это утверждаете? Пожалуйста, изложите факты в хронологическом порядке, укажите время, хотя бы приблизительно, и имена надежных свидетелей, а также их постоянное место жительства!

— Но сначала я должен спросить: приходилось ли вам наблюдать случаи, когда кто-то посредством месмеризма добился власти над другим человеком и воспользовался ею в предосудительных целях?

— Десятки случаев! — возвестил он с восторгом. — Преступления путем внушения…

— Речь идет не о внушении. Я имею в виду ситуации, когда от одного лица к другому внезапно передается импульс — неуправляемый импульс.

— Одержимость! — вскричал он, чуть ли не ликуя. — Редчайшее явление! Известно пять случаев, из них три с солидной аттестацией. Но неужели вы… — Экзальтация лишила его дара речи.

— Нет, ничего подобного, — сказал я. — Доброго вам вечера! Вы уж простите меня, но я нынче нездоров…

Так я наконец отделался от него, уже держащего наготове карандаш и блокнот. Всякому нелегко будет воспринять рассказ о моей беде, но уж лучше прятать горе в душе, чем позволить Уилсону выставить меня напоказ, как уродца на ярмарке. Он перестал воспринимать окружающих как людей. Для него мы все — только случаи и феномены. Мне легче умереть, нежели снова завести с ним разговор на эту тему.

12 апреля. Вчерашний день был благословенным оазисом спокойствия, и ночь минула без происшествий. Приезд Уилсона — великое утешение. Что может теперь предпринять эта женщина? Несомненно, выслушав то, что я сказал, она воспылает ко мне таким же отвращением, как я к ней. Она не должна бы, нет, просто не может желать любовника, который так ее оскорбил. Да, от любви ее я, очевидно, избавлен. Но как насчет ненависти? Ведь она может применить свои способности и для отмщения! Стоп! Хватит пугаться всякой тени! Она забудет обо мне, я забуду о ней, и все будет хорошо.

13 апреля. Мои нервы вполне восстановились. Я все больше уверяюсь, что победил ужасное создание. Но должен признаться, смутное ожидание неприятностей меня не оставляет. Старая дева выздоровела: мне рассказали, что сегодня после полудня она каталась в экипаже вместе с миссис Уилсон по главной улице.

14 апреля. Сильно сожалею, что не могу уехать отсюда насовсем. Я полечу к Агате, как только закончится семестр. Увы, это мечты слабого человека, признаю, но мерзкая женщина ужасно действует на мои нервы. Мы снова виделись и говорили с нею.

Дело было сразу после второго завтрака; я курил сигарету в своем кабинете, и вдруг в коридоре послышались шаги моей горничной Мэррей. Я вяло отметил, что за нею идет кто-то еще, и не дал себе труда подумать,

кто бы это мог быть. Но тут едва слышный звук заставил меня вскочить, и по телу моему пробежали мурашки от дурного предчувствия. Никогда прежде я не замечал специально, как стучит костыль при ходьбе, однако тут натянутые нервы подсказали мне, что означает резкое деревянное постукивание, чередующееся с приглушенным топотом обутой ноги. И через мгновение служанка ввела в комнату незваную гостью.

Я даже не пытался соблюдать светские условности, она тоже. Я просто стоял с тлеющей сигаретой в руке и глядел на нее. Она же молча смотрела на меня. Мне вспомнилось, как в этой самой тетради когда-то пробовал определить выражение ее глаз: скрытные или свирепые? Сегодня они были свирепые — холодные, неумолимые без всяких сомнений.

— Итак, — сказала она наконец, — ваше настроение не переменилось с того раза, когда мы виделись?

— Оно всегда оставалось неизменным.

— Давайте объяснимся, профессор Гилрой, — медленно произнесла она. — Я не из тех людей, с которыми можно шутить, как вы уже, видимо, должны были усвоить. Именно вы попросили меня начать серию опытов, именно вы завоевали мою привязанность, именно вы признались мне в любви. Наконец, вы принесли мне в подарок фотографию со словами привязанности, и вы же, в тот же самый вечер, сочли уместным грубо оскорбить меня, говоря со мною так, как еще ни один мужчина не рискнул. Признайтесь, что эти слова вырвались у вас в момент страстного увлечения, и я готова простить и забыть. Ведь в действительности вы не имели в виду того, что сказали, Остин? Вы не питаете ко мне ненависти на самом деле?

Я мог бы пожалеть эту искалеченную женщину — такая тоска по любви вдруг мелькнула в ее глазах, вытеснив угрозу. Но я вспомнил, что мне пришлось пережить, и мое сердце стало тверже кремня.

— Если вы и слышали от меня слова любви, — сказал я, — то произнесены они были вашим голосом, не моим, и вы прекрасно это знаете. Единственные искренние слова мне удалось сказать в последний раз, когда мы виделись.

— Я знаю. Кто-то настроил вас против меня. Это был он! — Она стукнула костылем по полу. — Хорошо же! Вы отлично знаете, что я могла бы сию минуту заставить вас ползать у моих ног, подобно виноватому спаниелю. Вы более не застанете меня в момент слабости, когда можно оскорблять меня безнаказанно. Берегитесь, профессор Гилрой, хорошенько подумайте, как быть дальше! Положение ваше ужасно. Вы еще не вполне осознали, как крепко я держу вас.

Я пожал плечами и отвернулся.

— Ладно, — сказала она, помолчав, — если вы презрели мою любовь, посмотрим, что можно сделать посредством страха. Улыбаетесь? Улыбайтесь, но настанет день, когда вы, стеная, явитесь ко мне молить о прощении. Да, вы будете ползать на брюхе передо мною, вы, такой гордый, и проклинать тот час, когда вы сами превратили лучшего друга в злейшего врага. Берегитесь, профессор Гилрой!

Она вскинула свою белую руку, и я заметил, что ее трясет, а лицо почти утратило человеческие черты, так исказила его ярость. Спустя мгновение она убралась, я услышал, как быстрый топот и постукивание удаляются прочь.

Но она оставила тяжелое бремя на моем сердце. Смутные предчувствия грядущих бед тяготят меня. Я напрасно пытаюсь убедить себя, что слышал лишь пустые угрозы разгневанной фурии. Поверить трудно — я слишком явственно помню ее беспощадные глаза. Что делать, как быть? Я больше не хозяин собственной душе! В любой момент отвратительный паразит может прокрасться внутрь, и тогда… я должен открыть кому-то свой жуткий секрет, да, открыть — или сойти с ума. Если бы рядом находился кто-нибудь, кто мог бы посочувствовать, дать совет! Об Уилсоне и речи быть не может. Чарльз Сэдлер поймет меня лишь настолько, насколько позволит его личный опыт. Пратт-Хэлдейн! Он человек уравновешенный, весьма здравомыслящий и толковый. Пойду к нему, расскажу все. Господи, пусть он что-то присоветует мне!

IV

6.45 вечера. Нет, все бесполезно. Ни один человек не поможет мне; я должен сражаться в одиночку. Передо мной лежат два пути. Я могу стать любовником этой женщины. Или выдержать все те преследования, которые повлечет за собой отказ. Даже если она ничего не предпримет, я буду жить в аду, постоянно ожидая беды. Она может терзать меня, может свести с ума, может и убить, но я никогда, никогда не поддамся. Может ли она причинить мне худшее зло, чем потеря Агаты и осознание собственной преступной лживости и того, что я опозорил имя джентльмена?

Пратт-Хэлдейн был чрезвычайно любезен и выслушал мою историю со всей возможной вежливостью. Но когда я посмотрел на его лицо с крупными неподвижными чертами, его тусклые глаза и громоздкую обстановку кабинета, окружавшую его, я с трудом подобрал слова, чтобы изложить свое дело. Все это было такое прочное, такое материальное… И кроме того, что сказал бы я сам какой-нибудь месяц назад, если бы один из моих коллег стал рассказывать мне об одержимости демоном? Я, наверное,

не сумел бы так терпеливо слушать, как он. Он даже записал мои слова, спросил, много ли чаю я пью, по сколько часов сплю, не переутомлялся ли в последнее время, не было ли у меня внезапных головных болей, тяжелых снов, звона в ушах, искр перед глазами — все эти вопросы указывали на то, что в основе моей беды лежит заболевание мозга. Наконец он отпустил меня, щедро снабдив тривиальными советами насчет упражнений на свежем воздухе и размеренной жизни без волнений. Выписанный им рецепт на хлорал и бром я скомкал и выбросил в водосточную канаву.

Нет, на помощь человеческих существ я рассчитывать не могу. Если я обращусь еще к кому-то, они могут прийти к общему мнению — и я оглянуться не успею, как меня запрут в дом умалишенных. Придется стиснуть в кулак все отпущенное мне мужество и молиться, чтобы высшие силы не оставили своим попечением честного человека.

15 апреля. Такой весны не помнят даже старожилы. Она прекрасна. Так зелена, нежна, тепла! Ах, как противоречит состояние природы моей душе, терзаемой сомнениями и ужасом! День прошел без происшествий, но я знаю, что вот-вот упаду в пропасть. Знаю и все же соблюдаю рутинный распорядок жизни. Лишь один просвет есть в окружающем меня мраке: у Агаты все в порядке, ей ничто не грозит. Если бы мегера вцепилась в нас обоих, ее власть стала бы безграничной!

16 апреля. Эта женщина — изобретательный палач. Она знает, как я увлечен своей работой, как высоко ценит публика мои лекции. Именно с этой стороны она и решила теперь атаковать меня. Кончится тем, что я потеряю место профессора, но я буду сражаться до конца, не дам ей обездолить меня так легко! Сегодня утром во время лекции я не ощутил никаких изменений, лишь на минуту у меня закружилась голова и все поплыло перед глазами, но тут же состояние нормализовалось. Даже наоборот, я поздравил себя с тем, что мне удалось сделать тему сегодняшнего занятия (функции красных кровяных телец) и интересной, и понятной. Потому я очень удивился, когда сразу после лекции один студент зашел ко мне в лабораторию и пожаловался на непонимание: он обнаружил расхождение между моими высказываниями и содержанием учебника. Он показал мне свою тетрадь. Из его записей явствовало, что в одной из частей лекции я высказывался в поддержку чрезвычайно нелепых и антинаучных теорий. Разумеется, я отрицал это и уверил студента, что он меня неправильно понял, но, сопоставив эти записи с конспектами его соучеников, признал его правоту: я действительно позволил себе весьма нелепые утверждения. Конечно, я буду объяснять это случайной рассеянностью, но не сомневаюсь: продолжение последует. До конца

занятий остается всего лишь месяц, но удастся ли мне продержаться?

26 апреля. Десять дней, как я не в силах сделать очередную запись в дневнике. Не хочу фиксировать на бумаге собственную деградацию и унижение. Я поклялся никогда больше не открывать эту тетрадь. И все же сила привычки велика, и вот я снова записываю свои ужасные переживания — примерно в таком настроении мог бы самоубийца изучать воздействие яда, выпитого им.

Итак, крах, который я предвидел, разразился не далее чем вчера. Руководство университета отстранило меня от лекций. Это было сделано со всей деликатностью, под предлогом избавить меня от переутомления и дать возможность восстановить здоровье. Тем не менее меня отставили и я больше не профессор Гилрой. Лаборатория остается по-прежнему в моем ведении, но я не сомневаюсь, что и ее у меня также скоро отнимут.

Дело в том, что мои лекции превратились в посмешище для всего университета. Аудитория все эти дни была набита студентами, являвшимися посмотреть и послушать, что еще учудит эксцентричный профессор. Я не способен подробно описать пережитое унижение.

О дьяволица! Она ввергла меня в самые глубины шутовства и идиотизма. Всякий раз я начинаю лекцию вразумительно, логично, но мучаюсь предчувствием провала. Потом я ощущаю ее воздействие и пытаюсь бороться с ним, стиснув кулаки, покрываясь испариной от усилия вырваться, а студенты между тем, слыша мой бессвязный лепет и наблюдая, как я корчусь, покатываются со смеху, радуясь шутовским выходкам профессора. А когда она полностью овладевает мною, я несу полную бессмыслицу: глупые шутки, излияния чувств, пригодные для застольного тоста, обрывки баллад и обидные эпитеты по адресу коллег и учеников. А потом вдруг мой мозг вновь проясняется, и лекция благополучно и пристойно подходит к концу. Неудивительно, что о моем поведении судачат во всех колледжах. И сенат университета просто вынужден был официально отреагировать на подобный скандал. О дьяволица!

Самое ужасное в моем нынешнем положении — одиночество. Вот я сижу у обыкновеннейшего английского окна-эркера, глядя на обыкновеннейшую английскую улицу с ярко раскрашенными омнибусами и ленивым полицейским, а за мною висит завеса тьмы, ничем не связанная со временем и пространством. В обители знания меня угнетает и изводит сила, о которой наука ничего не знает. Ни один чиновник не выслушает меня. Ни одного доклада не будет прочитано о моем случае. Ни один врач не поверит в мои симптомы. И мои собственные, самые близкие друзья

воспримут все это лишь как проявление неполадок в мозгу. Человечество мне помочь не сможет. О дьяволица! Ну, пусть побережется! Она может завести меня слишком далеко. Когда закон не способен помочь человеку, он вправе сам создать для себя закон. Она встретилась мне вчера вечером на Хай-стрит и заговорила со мной. Право, ей повезло, что это случилось не где-нибудь между зелеными изгородями на пустынной деревенской дороге. Она спросила меня с холодной улыбкой, не готов ли я уже раскаяться, вполне ли ощутил тяжесть наказания. Я не удостоил ее ответом. «Попробуем закрутить винт потуже», — сказала она. Берегитесь, барышня, берегитесь! Один раз вы уже оказывались в моей власти. Возможно, такой случай представится и еще раз.

28 апреля. Отмена моих лекций привела также к тому, что у нее не стало способа докучать мне, и потому я провел два дня в блаженном покое. В конечном счете, причин отчаиваться нет. Сочувствие изливается на меня со всех сторон, и все сходятся во мнении, что моя нервная система пострадала из-за усердия в науке и горячего увлечения исследованиями. Я получил весьма любезное письмо от университетского совета, где выражается уверенность, что я вновь готов приступить к своим обязанностям в начале следующего семестра, а пока могу съездить попутешествовать за границу. Мне особенно польстили их упоминания о моей карьере и о вкладе в деятельность университета. Только когда приходит беда, узнаешь меру собственной популярности. Это чудовище способно истощить силы, мучая меня, и тогда все еще может наладиться. Дай бог, чтобы так и стало!

29 апреля. В нашем сонном городишке произошла сенсация. До сих пор здесь знали лишь один вид преступлений: когда какой-нибудь буйный во хмелю выпускник разобьет несколько фонарей или подерется с полицейским. Однако прошлой ночью была совершена попытка взломать дверь в отделении Английского банка, и теперь мы все взволнованы.

Паркинсон, управляющий этим отделением, — мой добрый приятель; наведавшись к нему после завтрака, я застал его в сильном возбуждении. Но если бы воры проникли в помещение бухгалтерии, им пришлось бы еще иметь дело с сейфами, так что оборона была значительно прочнее, чем сила нападающих. И в самом деле, не похоже, чтобы они сильно старались. На рамах двух окон нижнего этажа видны следы, как если бы кто-то пытался открыть их, подсунув стамеску или другой подобный инструмент. У полиции есть в руках надежный ключ к разгадке: рамы покрасили в зеленый цвет всего лишь день назад, и, судя по тому, как смазана краска, часть ее, очевидно, попала на руки или одежду преступника.

4.30 пополудни. О, эта проклятая тварь! Трижды проклятая! Ну ничего! Она не одолеет меня! Нет, я не поддамся! Но она — сущий дьявол! Она лишила меня профессорского звания. Теперь намерена лишить чести. Неужели я ничего не могу с нею поделать, кроме… О нет, как ни тяжело мне приходится, я не позволю себе думать об этом!

Примерно час назад я зашел в спальню и причесывался перед зеркалом, когда вдруг в глаза мне бросилась подробность, от которой мне стало до предела тошно и тяжко; я опустился на край кровати и заплакал. Много лет прошло с тех пор, как я был способен лить слезы, но мои нервы сдали совсем, и я не мог не разрыдаться от бессильного гнева и горя. На крючке у гардероба висела моя домашняя куртка, которую я ношу после обеда, и правый рукав ее был густо вымазан от манжета до локтя зеленой краской.

Вот, значит, что она подразумевала, говоря «закрутить винт потуже»! Она выставила меня идиотом в глазах общества. Теперь она планирует заклеймить меня как преступника. На этот раз у нее не получилось. Но ведь будут и следующие попытки? Я не в силах подумать об этом… и об Агате, и о моей бедной старой матушке! Лучше бы я умер! Да, винт завернули потуже. И видимо, именно это она имела в виду, когда говорила, будто я еще не постиг всей силы ее власти надо мной. Я просмотрел запись нашего разговора и теперь вижу: она не голословно утверждала, что при более сильном напряжении воли может заставить человека действовать бессознательно. Вчера ночью я не осознавал своих действий. Крепко спал в постели и даже снов не видел, клянусь! И тем не менее эти пятна свидетельствуют, что я оделся, вышел, попытался вскрыть окна банка и вернулся домой. Был ли я кем-то замечен? Мог ли кто-то увидеть меня за этим занятием и проследить до самого дома? Ах, моя жизнь превратилась в ад! Я лишен покоя, отдыха. Но мое терпение подходит к концу.

10 вечера. Отчистил куртку терпентином. Не думаю, чтобы кто-то мог меня видеть. Следы на рамах оставила моя отвертка. Я нашел ее, вымазанную краской, и отчистил тоже. Голова болит так, словно вот-вот лопнет, пришлось принять пять гран антипирина. Если бы не Агата, я предпочел бы принять пятьдесят и покончить с этим.

3 мая. Три спокойных дня. Это адское создание играет со мною, как кошка с мышью. Она отпускает когти лишь затем, чтобы еще больнее ударить. Я теперь особенно боюсь, когда все спокойно. Физическое состояние мое плачевно: постоянная икота и подергивание левого века.

Я узнал, что Мардены возвращаются послезавтра. Не скажу, радует это меня или печалит. В Лондоне они были в безопасности. Здесь их может

затянуть та же страшная паутина, в которой барахтаюсь я сам. И мне придется открыть им все. Я не должен жениться на Агате, пока знаю, что не способен отвечать за свои поступки. Да, нужно поговорить с ними, даже если после этого между нами все кончится.

Сегодня вечером — университетский бал, и мне стоит там побывать. Видит бог, никогда я не испытывал большего нежелания развлекаться, но не могу допустить, чтобы потом сказали, будто я не в силах появиться на публике. Если меня там увидят и я переговорю кое с кем из университетского руководства, это поможет им убедиться, что было бы несправедливо лишать меня кафедры.

10 вечера. Вернулся с бала. Мы пошли туда вдвоем с Чарльзом Сэдлером, но ушел я, не дожидаясь его. Мы условились, впрочем, что он зайдет ко мне, поскольку, честно говоря, в последнее время я боюсь ложиться спать. Он жизнерадостный, практичный малый, и, поболтав с ним, я укреплю свои нервы. В целом вечер прошел очень успешно. Я поговорил со всеми влиятельными лицами и, думаю, сумел убедить их, что моя кафедра не может пока считаться вакантной. Мерзкая женщина тоже была на балу — конечно, не танцевала, но сидела с миссис Уилсон. То и дело глаза ее останавливались на мне. Ее взгляд — последнее, что я заметил, покидая зал. Один раз, присев неподалеку, я понаблюдал за нею и заметил, что она следит за кем-то другим. Это был Сэдлер, он танцевал со средней мисс Терстон. Судя по выражению лица дьяволицы, ему повезло, что он не попался в ее ловушку, как я. Он не знает, какой беды избежал. Кажется, я слышу его шаги на улице. Спущусь и открою ему дверь. Если он согласится…

4 мая. Почему вчера вечером я оборвал запись на полуслове? И к входной двери так и не спустился — по меньшей мере не помню, чтобы спускался. Но не помню и как ложился в постель. Утром я обнаружил, что одна рука у меня сильно распухла, и все же не припоминаю, как повредил ее вчера. С другой стороны, я чувствую себя намного лучше после вчерашнего праздника. Только не пойму, как могло получиться, что я не встретился с Чарльзом Сэдлером, хотя так хотел этого. Возможно ли… господи, возможно и даже очень вероятно! Неужели она заставила меня снова плясать под свою дьявольскую дудку? Пойду к Сэдлеру и расспрошу его.

Полдень. Ситуация достигла критической точки. Моя жизнь больше не стоит ни гроша. Но если мне предстоит умереть, она умрет также. Я не оставлю ее в мире живых, не позволю сводить с ума других, как меня. Я действительно дошел до предела выносливости. Она сделала меня самым

отчаянным и опасным человеком на земле. Видит бог, прежде я и мухи бы не обидел и все же, попади эта женщина мне в руки, она никогда бы не вышла отсюда живой. Сегодня я увижусь с нею, и она узнает, чего может ждать от меня.

Я пришел к Сэдлеру и застал его, к моему удивлению, в постели. Он приподнялся и посмотрел на меня. Лицо его имело такой вид, что мне стало страшно.

— Ох, Сэдлер, что случилось? — воскликнул я, но сердце мое уже леденело от предчувствия.

— Гилрой, — ответил он невнятно, едва шевеля распухшими губами, — уже несколько недель у меня складывалось впечатление, что вы сошли с ума. Теперь я знаю это точно. Вы безумец, и притом опасный. Если бы не мое нежелание устраивать скандал в колледже, вы сейчас сидели бы под замком в полиции!

— Что вы хотите… — начал я, но он перебил:

— Я хочу сказать, что вчера вечером, как только я открыл вашу дверь, вы набросились на меня, ударили кулаками в лицо, а когда я упал, со всей силы пнули ногою в бок и оставили лежать почти без сознания на улице. Поглядите на свою руку — она свидетельствует против вас!

Да, моя рука походила теперь на подушку, костяшки пальцев были ссажены, как после какого-то ужасного удара. Что мне оставалось делать? Пусть он считает меня безумцем, я должен открыть ему всю подоплеку случившегося…

Я присел у его постели и подробно изложил все мои беды с самого начала. Слова мои лились горячим потоком, руки дрожали; кажется, я мог бы убедить даже закоренелого скептика.

— Она ненавидит и вас, и меня! — воскликнул я. — Она отомстила вчера нам обоим разом. Она увидела, что я покидаю зал, видела, наверное, также и вас. Она знала, сколько времени вам понадобится, чтобы дойти до меня, и ей оставалось лишь применить свою злую волю. Ах, право, ваше разбитое лицо — ничто по сравнению с разбитой моею душой!

Он был поражен моим рассказом. Это было очевидно.

— Да-да, она следила за тем, как я выходил из зала, — пробормотал он. Она способна на такое. Но возможно ли, что она действительно довела вас до такого? Что вы намерены предпринять?

— Прекратить это! — вскричал я. — Я доведен до полнейшего отчаяния. Сегодня я предупрежу ее, и следующая попытка с ее стороны станет последней!

— Только не теряйте благоразумия! — предостерег он.

— Благоразумия! — воскликнул я. — Единственное, что для меня сейчас будет неблагоразумно, — это отложить дело еще на час!

С этими словами я оставил его, поспешно вернулся домой, и вот теперь стою на пороге поступка, который может привести к кризису всю мою жизнь. Я отправляюсь немедленно. Мне сегодня кое-что удалось: я сумел убедить хотя бы одного человека в правдивости пережитых мною мучений. И если случится худшее, останется этот дневник — доказательство того, каким стрекалом подстегивали и мучили меня.

Вечер. Когда я пришел к Уилсонам, меня впустили в дом, и я нашел в гостиной хозяина в обществе мисс Пенклоуза. С полчаса мне пришлось терпеть его беспорядочную болтовню о недавно проведенных им исследованиях истинной природы спиритуалистического экстаза. Мы с моей мучительницей слушали молча, глядя из разных углов комнаты друг на друга. В ее глазах я читал мрачное удовольствие, а она, должно быть, увидела ненависть и угрозу на моем лице. Я уже было отчаялся дождаться возможности переговорить с нею, но тут Уилсона зачем-то вызвали из комнаты, и на несколько минут мы остались наедине.

— Ну, профессор Гилрой, — или лучше называть вас теперь «мистер Гилрой»? — сказала она с характерной для нее горькой усмешкой. — Как поживает ваш друг мистер Чарльз Сэдлер после бала?

— Вы мерзавка! — воскликнул я. — Но теперь вашим выходкам будет положен конец. Я не потерплю более никаких фокусов. Слушайте меня внимательно!

Я пересек комнату и грубо схватил ее за плечо.

— Как есть Господь на небесах, так я клянусь, что, если вам захочется еще раз втянуть меня в вашу дьявольскую игру, вы поплатитесь за это жизнью. Во что бы то ни стало я лишу вас жизни. Я дошел до предела терпения, доступного человеку.

— Расчеты между нами еще не вполне закончены, — ответила она с такой же яростью. — Я могу любить, могу и ненавидеть. Вам был предоставлен выбор. Вы предпочли отказаться от любви. Значит, вам придется испытать другое. Я вижу, что нужно еще немного потрудиться, чтобы сломить ваш дух, но сломлен он будет непременно. Мисс Марден, кажется, приезжает завтра?

— Какое вам до этого дело? — воскликнул я. — Даже в мыслях не смейте пачкать ее грязью! Если я пойму, что вы намерены причинить ей вред…

Хотя она и пыталась бесстыдно смотреть мне в лицо, я увидел явственно, что она испугалась. Она прочла мои черные мысли и отпрянула

от меня.

— Она может гордиться таким защитником. Он не боится угрожать одинокой женщине! Воистину, я должна поздравить мисс Марден с таким приобретением!

Слова ее были достаточно желчны сами по себе, но голос и тон еще добавляли им едкости.

— Всякие слова бесполезны, — сказал я. — Я пришел сюда лишь затем, чтобы объявить вам — объявить самым серьезным образом, что следующее ваше бесчинство относительно меня станет последним!

С этими словами я вышел, так как услышал шаги Уилсона на лестнице и не желал продолжать пустой разговор. Да, она может выглядеть смертельно ядовитой, но при всем том теперь начнет понимать, что ей стоит бояться меня не меньше, чем я боюсь ее. Убийство! Звучит отвратительно. Но ведь никто не говорит об убийстве, уничтожая змею или тигра! Пусть теперь побережется.

5 мая. Встретил Агату и ее мать в одиннадцать утра на станции. Она выглядит столь свежей, счастливой, красивой! И так искренне обрадовалась мне! Чем я заслужил такую любовь? Я поехал вместе с ними и позавтракал у них. Все беды, казалось, развеялись, и жизнь ненадолго стала светла. Моя милая невеста говорит, что я бледен и выгляжу озабоченным, больным. Дорогое дитя, она объясняет это одиночеством и недостаточной заботливостью экономки. О, пусть она никогда не узнает истину! Пусть тень, если уж суждено тени омрачать наш небосклон, затмит мою жизнь и оставит ее на солнечном свету! Я только что вернулся от нее, чувствуя себя возрожденным. Когда она рядом, я могу храбро смотреть в лицо любым жизненным невзгодам.

5 вечера. Итак, попробую вспомнить все точно. Попробую изложить дотошно, как все произошло. Все еще свежо в моей памяти, и я могу ручаться за подробности, хотя не верится мне, что настанет такой день, когда я забуду эти события.

После второго завтрака я вернулся от Марденов и занимался исследованием некоторых срезов, приготовленных на микротоме, [60] когда вдруг лишился сознания, что за последнее время стало обычным, но неизменно ненавистным делом для меня.

Казалось, минуло всего мгновение, но когда я очнулся, то обнаружил, что сижу в маленькой комнатке, совершенно не похожей на мой рабочий кабинет — уютной, светлой, с диванчиками, обтянутыми ситцем, цветными занавесками и множеством милых безделушек на стене. Маленькие нарядные часы тикали передо мною, стрелки показывали половину

четвертого. Все это мне было хорошо знакомо, однако я смотрел на окружающие предметы с недоумением, пока мне на глаза не попался фотопортрет, изображающий меня самого. Он стоял на пианино рядом с другим портретом — миссис Марден. Только тогда я наконец сообразил где нахожусь. Это был будуар Агаты.

Но как я попал туда и зачем? Сердце мое дрогнуло и упало, охваченное ужасом. Неужели меня отправили сюда с каким-то дьявольским заданием? Выполнил ли я его? По-видимому, выполнил, ибо иначе мне не позволили бы прийти в чувство. О, как мучителен был тот момент! Что я натворил? В отчаянии я вскочил, и тут стеклянная бутылочка скатилась с моих колен на ковер.

Она не разбилась, и я ее подобрал. На бутылочке была этикетка с надписью «Серная кислота концентрированная». Я вытащил круглую стеклянную пробочку, и из бутылочки выползла струйка дыма; едкий, царапающий горло запах разлился по комнате. Я сообразил, что именно эту бутылочку хранил у себя дома для проведения химических анализов. Но зачем я принес ее сюда, к Агате? Ведь этой густой, дурно пахнущей жидкостью порой пользуются женщины, когда хотят изуродовать красивых соперниц! С замиранием сердца я поднес бутылочку к свету. Слава богу, она была полна доверху! Беды не случилось… Но приди Агата минутой раньше, адский паразит в моей душе непременно вынудил бы меня плеснуть на нее кислотой… Ах, даже думать об этом невыносимо! Но фантазия чудовища, несомненно, была именно такова. Иначе зачем бы мне приносить кислоту с собой? При мысли о том, что я мог натворить, мои подорванные нервы сдали и я рухнул на кресло, дрожа и дергаясь, — достойная жалости развалина человека.

Заслышав голос Агаты и шуршание ее платья, я опомнился. Я поднял голову и встретился со взглядом ее голубых глаз. Она смотрела на меня с глубокой нежностью и сочувствием.

— Нам необходимо увезти тебя в деревню, Остин, — сказала она. — Тебе нужен покой и отдых. Ты выглядишь совершенно больным!

— Пустяки! — сказал я, пытаясь улыбнуться. — Какая-то мгновенная слабость, не более. Сейчас я уже в полном порядке.

— Прости, что заставила тебя ждать. Бедный мальчик, ты, должно быть, скучал здесь целых полчаса! Но у нас в гостиной сидел викарий, а я знаю, что ты его недолюбливаешь, и потому велела Джейн проводить тебя сюда. Мне казалось, этот гость никогда не уйдет!

— Слава богу, что он засиделся! Слава богу! — воскликнул я на грани истерики.

— Ох, да что же с тобой, Остин? — спросила она, взяв меня за руку, когда я, пошатываясь, поднялся с кресла. — Почему тебя так радует, что викарий пробыл у нас долго? И что это за бутылочка у тебя в руке?

— Да так, не важно, — только и сумел сказать я, засовывая бутылочку в карман. — Но мне нужно идти. У меня есть очень важное дело.

— Ты смотришь так сурово, Остин! Я еще не видала тебя таким. Ты сердишься?

— Да, сержусь.

— Но не на меня?

— Нет-нет, дорогая! Просто… тебе этого не понять.

— Но ты даже не объяснил мне, зачем пришел!

— Пришел, чтобы спросить, готова ли ты любить меня всегда — что бы я ни сделал, какая бы тень ни легла на мое имя? Будешь ли ты верить мне, доверять, какие бы неблаговидные на первый взгляд поступки я ни совершал?

— Ты знаешь, что я готова, Остин.

— Да, знаю. То, что я делаю, делается ради тебя. Я вынужден так поступить. Другого пути для нас нет, дорогая!

Я поцеловал ее и бросился прочь из комнаты.

Время нерешительности осталось позади. Пока чудовище угрожало только моим видам на будущее и моей чести, еще можно было колебаться в выборе. Но теперь, когда Агата — моя невинная Агата — оказалась под угрозой, долг стоял передо мною, как застава на дороге. У меня не было никакого оружия, но это не причина, чтобы мешкать. Зачем оружие, когда я чувствовал, как трепещет каждый мой мускул, наполняясь силой ярости? Я мчался по улицам, предельно нацеленный на предстоящее действие, и едва сознавал, что встречаю друзей — в том числе, смутно помню, встретился мне и профессор Уилсон. Он бежал не менее поспешно в обратном направлении. Задыхаясь, но полный решимости, я достиг их дома и позвонил. Горничная с лицом белее полотна открыла дверь и побелела еще сильнее, когда увидела, как я смотрю на нее.

— Проводите меня немедленно к мисс Пенклоуза, — потребовал я.

— О сэр, — выдохнула она, — но мисс Пенклоуза умерла только что, в половине четвертого!

Харлан Эллисон

Харлан Джей Эллисон родился в 1934 году в Кливленде, штат Огайо. Ему довелось попробовать себя в различных профессиях (исполнителя в музыкальных шоу, сборщика зерна, повара, водителя грузовика с динамитом, таксиста, литографа, книгопродавца, дежурного

администратора в супермаркете, продавца щеток, стендап-комика и актера) в разных частях страны, прежде чем он поселился в Нью-Йорке и всерьез занялся писательской деятельностью.

Невероятно плодовитый новеллист, эссеист, критик, романист, сценарист, Эллисон, кроме того, является, возможно, самым титулованным автором в области фантастической литературы. Он десять раз получал премию «Хьюго» (за лучшее научно-фантастическое произведение и лучшую фэнтези), четыре раза — премию «Небьюла» (в том числе звание грандмастера за вклад в литературу от Американской ассоциации писателей-фантастов), пять раз — премию Брэма Стокера (в том числе за вклад в литературу от Американской ассоциации авторов хоррора), восемнадцать раз — премию «Локус», два раза — премию Эдгара Аллана По от Американского общества авторов детективов; он единственный писатель, который четырежды удостаивался награды Гильдии американских писателей в категории «Самый выдающийся телесценарий».

Рассказ «Одинокие женщины — вместилища времени» был впервые опубликован в 1976 году в сборнике «МидАмериКон программ бук» под редакцией Тома Рейми; позднее включен в авторский сборник «Чужое вино» (Нью-Йорк: Харпер-энд-Роу, 1978).

Одинокие женщины — вместилища времени

После похорон Митч отправился в «Динамит», бар для одиночек. Вернон, бармен, работавший в дневную смену, уже ждал его, заранее зарезервировав место у стойки.

— Я так и думал, что ты зайдешь, — сказал он, смешивая коктейль «Тиа Мария» и протягивая его Митчу. — Мои соболезнования по поводу Энн.

Митч кивнул, отхлебнув глоток коктейля, и обвел взглядом бар. Несмотря на пятницу, народу в «Динамите» было пока не много. Несколько парней оккупировали лучшие места у стойки, инкрустированной мозаикой и цветным стеклом, да в укромных кабинках парочки на плюшевых диванчиках урывали свободные минуты, прежде чем отправиться домой к своим женам и мужьям. Было лишь три часа дня, а секретарши обычно появлялись в баре не раньше половины шестого. Это потом «Динамит» наполнится шумом голосов и раздающимися время от времени взрывами смеха, болтовней и запахами разгоряченных тел, кружащих друг вокруг друга в поисках добычи — традиционный брачный ритуал завсегдатаев бара для одиночек.

В маленьком дальнем закутке, рядом со стеклянной будкой, где диджей каждый вечер крутил свои пластинки диско, он заметил де¬вушку. Но ее

полностью скрывала тень, и в любом случае сейчас у него не было желания с кем-либо заигрывать. Однако он мысленно отметил ее для себя — на будущее.

Митч потягивал коктейль, продолжая думать об Энн, пока на соседний стул не плюхнулся рекламщик из «Инкуайрера», которого он знал лишь по имени, и начал изливать на него потоки сочувственных речей. Ему хотелось повернуться к этому типу и прямо сказать: «Слушай, может, отвалишь наконец? Я просто подцепил ее однажды вечером в пятницу и провел с ней времени чуть больше, чем с остальными; так что хватит капать мне на мозги, и катись отсюда». Однако он промолчал и продолжал слушать всяческий бред, пока хватало терпения, после чего, извинившись, забрал недопитый коктейль и двойной виски «Катти Сарк» с содовой и потащился в кабинку у дальней стены. Сидя в полутьме, он пробовал понять, почему Энн покончила с собой, но ответа так и не находил.

Он пытался в точности вспомнить, как она выглядела, но на ум не приходило ничего, кроме ее волос цвета меда и ее роста. Куда-то исчезла ее особенная, ни на что не похожая улыбка. Куда-то исчезли наклон ее головы и нетерпеливый жест рукой. Куда-то исчез тембр ее голоса… Исчезло все, и он знал, что это должно его огорчать — но не огорчало.

Он не любил ее и на самом деле готов был бросить ради той стюардессы из компании БОАК. Но она оставила записку, в которой клялась в вечной любви, и он знал, что должен чувствовать себя ответственным за ее смерть.

Но не чувствовал.

Главное, черт побери, состояло в том, чтобы не оставаться одному. Главное — получить как можно больше, самого лучшего и везде, где только возможно, лишь бы не быть одному, лишь бы не быть несчастным, лишь бы одиночество не столь глубоко вонзало в тебя свои клыки.

Вот что главное, черт побери.

Он вспомнил всю ту чушь, которую вывалила на него какая-то феминистка в этом же самом баре всего неделю назад. Тогда он подклеился к одной девице из страховой компании и, терпеливо выслушивая ее бесконечное нудное повествование о контрактных обязательствах, утверждении завещаний, временных судебных ограничениях и тому подобной ерунде, не отводил взгляда от ее невероятных зеленых глаз, пока Энн наконец не рассердилась и не подошла к ним, намекая, что пора идти.

Он поступил тогда с ней резко, честно говоря — даже грубо, сказав ей, чтобы она вернулась на место и сидела, пока он не будет готов. Феминистка с соседнего стула тут же выплеснула на него поток шовинистических

словоизлияний, пытаясь объяснить ему, какое он на самом деле дерьмо.

«Послушайте, леди, — ответил он ей, — если вам не нравится, как устроен мир — идите и найдите хорошую клинику, где вам пришьют мужской член, и тогда вы наконец перестанете досаждать тем, кто занят своим делом».

Весь бар аплодировал ему стоя.

Виски по вкусу напоминало опилки. В воздухе пахло плесенью. Митчу вдруг стало не по себе, и он заерзал, пытаясь найти позу поудобнее. Почему, черт побери, ему так паршиво? Из-за Энн, вот почему. Но он ни в чем не виноват. Она знала, что все случившееся между ними — лишь флирт, не более чем игра. Она знала это с того самого мгновения, когда они встретились. Она не была новичком в подобных барах, она любила жизнь, в чем, черт возьми, дело? Но он чувствовал себя крайне дерьмово, и это было самое главное.

— Могу я предложить вам выпить? — послышался женский голос.

Митч поднял взгляд. Похоже, та самая девушка, что сидела в углу.

Потрясающе красивая. Черты словно из граненого хрусталя, полная верхняя губа… Медового цвета волосы… опять. Высокая, гибкая, с хорошей грудью и изящными ногами.

— Конечно. Садитесь.

Она села и подвинула ему двойной «Катти Сарк» с содовой.

— Бармен сказал мне, что именно вы предпочитаете.

Четыре часа спустя — он так и не узнал, как ее зовут, — она предложила ему поехать к ней домой. Он вышел следом за ней из бара, и она подозвала такси. Сидя на заднем сиденье, он смотрел, как в ее глазах мерцают проносящиеся мимо уличные огни.

— Всегда приятно встретить девушку, которая не теряет зря времени, — сказал он.

— Надо понимать, тебя уже подцепляли раньше, — ответила она. — Впрочем, ты очень симпатичный.

— Гм… спасибо.

В ее квартире в районе Восточных пятидесятых они еще немного выпили — обычный подготовительный ритуал. Митч почувствовал, что уже в достаточной степени опьянел, и отказался от очередной порции. Ему хотелось показать все, на что он способен. Правила он знал — или будь мужчиной, или убирайся вон.

Они отправились в спальню.

Остановившись, он уставился на обстановку комнаты, увешанной белыми прозрачными занавесками, вероятно тюлем, походившим на очень

тонкую сетку. Белые стены, белый потолок, белый ковер, настолько толстый, что в него проваливались ноги. И огромная круглая кровать, покрытая белой шкурой.

— Белый медведь, — сказал он, издав пьяный смешок.

— Цвет одиночества, — ответила она.

— Что?

— Ничего, забудь, — сказала она и начала его раздевать.

Она помогла ему лечь, и он не отводил от нее взгляда, пока она снимала одежду. Ее бледное тело, казалось, светилось изнутри, словно у ледяной девушки из далекой волшебной страны. Он почувствовал, как у него возникает непреодолимое желание.

А потом она пришла к нему.

Когда он проснулся, она стояла у противоположной стены, глядя на него. Глаза ее больше не сияли восхитительной синевой. Они потемнели, словно наполнившись дымом. Он чувствовал себя…

Он чувствовал себя… отвратительно. Ему стало не по себе от смутного страха и безграничного отчаяния. Он чувствовал себя… одиноким.

— Ты продержался не столь долго, как я думала, — сказала она.

Он сел и попытался выбраться из постели, из белого моря, но не смог и снова лег, глядя на девушку.

Помолчав, она наконец сказала:

— Вставай, одевайся и убирайся отсюда.

Он с трудом поднялся, и пока он неуклюже одевался, чувствуя, как в нем нарастает чувство одиночества, от которого мутился рассудок и бросало в дрожь, она рассказала ему о том, чего ему не хотелось знать.

Об одиночестве, заставляющем людей совершать поступки, за которые они ненавидят себя на следующий день. О свойственной людям болезненной потребности в тех, для кого они хоть что-то значат.

О хищниках, которые чуют подобные жертвы и используют их, опустошая еще сильнее, чем до того, как впервые почуяли их запах. И о себе самой, о сосуде, вмещавшем одиночество, подобно дыму, ждавшем лишь появления пустых вместилищ вроде Митча, чтобы отлить в них немного яда, возможности вернуть часть боли за причиненную боль.

Кем она была, откуда пришла, в какой мрачной стране родилась — о том он не знал и не посмел спрашивать. Но когда он, спотыкаясь, направился к двери и она открыла ее перед ним, улыбка на ее губах напугала его больше, чем что-либо за всю его жизнь.

— Не считай себя брошенным, малыш, — сказала она. — Есть и

другие, такие, как ты. Ты их еще встретишь. Возможно, сумеешь организовать что-то вроде клуба.

Он не знал, что ответить; ему хотелось сбежать, но он знал, что она окутала туманом его душу и что, если он выйдет за дверь, прежнее спокойствие никогда к нему не вернется. Стоило попытаться в последний раз…

— Помоги мне… прошу тебя, мне так… так…

— Я знаю, каково тебе, малыш, — ответила она, выталкивая его за дверь. — Теперь ты знаешь, каково им.

И она закрыла за ним дверь. Очень мягко.

Очень твердо.

Красным по черному

Фредерик Браун

Фредерик Уильям Браун (1906–1972) родился в Цинциннати, штат Огайо. Он учился на вечернем отделении Университета Цинциннати, а затем провел год в Ганноверском колледже в штате Индиана. Более десяти лет он работал конторским служащим, а следующее десятилетие прослужил корректором в «Милуоки джорнал». До 1949 года он не имел возможности полностью посвятить себя писательской деятельности, хотя на протяжении предшествующих лет сочинил немало рассказов, в том числе в столь любимой им ультракороткой форме (от одной до трех страниц текста), в которой он достиг высот мастерства и читательского успеха. Уже сочинив более трехсот рассказов, Браун написал свой первый роман — детектив «Невероятное вымогательство» (1947), за который был удостоен премии Эдгара Аллана По.

Хотя Браун утверждал, что пишет детективы ради денег, а научную фантастику — ради забавы, его одинаково чтут поклонники обоих жанров. Не обладая солидным достатком, он был вынужден сочинять с невероятной скоростью, но, казалось, получал от этого удовольствие назло писательской рутине. Многие рассказы и романы Брауна полны юмора, который проявляется, в частности, в его пристрастии к каламбурам «Писатель для писателей», он высоко был ценим коллегами по цеху: Микки Спиллейн называл Брауна своим любимым автором, Роберт Хайнлайн посвятил ему своего «Чужака в чужой стране», а Айн Рэнд в книге «Романтический манифест» назвала его оригинальнейшим из писателей.

Рассказ «Крови мне, крови!» был впервые опубликован в «Журнале фэнтези и научной фантастики» в феврале 1955 года.

Крови мне, крови!

Из всех вампиров их уцелело лишь двое, Врон и Дрина, — и то

потому, что им удалось перенестись на машине времени в будущее и тем самым избежать уничтожения. Охваченные ужасом, страдающие от голода, они держались за руки и утешали друг друга.

Произошло это так: в двадцать втором веке люди обнаружили их и поняли, что легенда о тайно живущих среди людей вампирах вовсе не легенда, а существующий факт. По земле прокатилась волна погромов, убивали каждого, кого сумели найти, но эти двое, к тому времени уже закончившие создание своей машины, сумели бежать. В будущее, достаточно отдаленное, чтобы само слово «вампир» оказалось там забыто; туда, где они смогли бы начать новую жизнь — и возродить свою расу.

— Я голодна, Врон. Ужасно голодна.

— Я тоже, дорогая Дрина. Скоро мы сделаем еще одну остановку.

Они уже останавливались четыре раза, но каждый раз едва избегали гибели. Вампиров все еще не забыли. Во время последней остановки, полмиллиона лет назад, выяснилось, что миром завладели собаки — в буквальном смысле этого выражения. Человечество вымерло, его место заняли цивилизованные, человекоподобные собаки. Но и они быстро разобрались, кто такие Дрина и Врон. Тем не менее вампиры сумели насладиться нежным вкусом крови молодой суки, но потом за ними бросились в погоню и гнали до самой машины времени.

— Спасибо за то, что ты решился сделать новую остановку, — со вздохом сказала Дрина.

— Не стоит благодарности, — мрачно ответил Врон. — Мы в тупике. У нас кончилось топливо, и здесь мы его не найдем — к этому времени все радиоактивные элементы превратились в свинец. Мы остаемся жить тут или…

Они отправились на разведку.

— Смотри! — взволнованно произнесла Дрина, указывая на кого-то, направляющегося в их сторону. — Таких существ раньше не было! Значит, собаки исчезли и их место занял кто-то другой. Ну, теперь-то уж точно о нас никто не помнит.

Приближающееся существо оказалось телепатом.

«Я слышал ваши мысли, — зазвучало у них в сознании. — Вы хотите знать, известно ли нам, кто такие вампиры. Нет, неизвестно».

Дрина в восторге стиснула руку Врона.

— Свобода! — пробормотала она и добавила, терзаемая муками голода — И еда!

«Вас также интересует, — продолжал голос, — кто я такой. Сегодня на земле существуют исключительно растительные формы жизни. Я… — Он

низко им поклонился. — Я принадлежу к доминирующей расе, ведущей свой род от того, что вы когда-то называли репой».

Стивен Кинг

Стивен Эдвин Кинг родился в 1947 году в Портленде, штат Мэн, и закончил Университет Мэна, получив звание бакалавра искусств по специальности «английская литература». Не сумев найти себе место школьного учителя, он продал несколько рассказов в различные издания, в том числе в «Плейбой». Пребывая под сильным влиянием Г. Ф. Лавкрафта и страшных историй, выпускавшихся издательством «Интертейнинг комикс», он сосредоточил свои силы на литературе ужасов. Первая книга Кинга, «Кэрри» (1973), повествующая о девочке, наделенной паранормальными способностями, была отправлена им в мусорное ведро, но, к счастью, спасена женой писателя Табитой, которая убедила его отделать роман и выпустить в свет. За книгу автору заплатили очень скромный аванс, но ее огромный успех дал старт его впечатляющей карьере: на протяжении двух десятилетий Кинг оставался самым успешным американским писателем.

Помимо романов и рассказов перу Кинга также принадлежат сценарии и сочинения нехудожественного толка, в которых он зарекомендовал себя знатоком «черной» литературы и кинематографа. По его книгам либо при его участии снято более ста фильмов и телепрограмм, из которых наиболее известны «Кэрри» (1976), «Сияние» (1980), «Будь со мной» (1986, по повести «Тело»), «Побег из Шоушенка» (1994, по рассказу «Рита Хейворт и побег из Шоушенка») и «Зеленая миля» (1999).

Рассказ «Попси» был впервые опубликован в антологии «Маски-2: Новые истории об ужасном и сверхъестественном» под редакцией Дж. Н. Уильямсона (Балтимор: Маклай, 1987). В 2006 году сценарист и режиссер Брайан Хейнс снял по его мотивам короткометражный фильм продолжительностью 2,5 минуты.

Попси

Шеридан медленно проезжал вдоль длинной стены торгового центра, как вдруг увидел маленького мальчика, который вышел из главного входа под ярко освещенной вывеской «Казинтаун». Издалека трудно было определить его возраст — это мог быть крупный мальчик лет трех, но уж никак не больше пяти. На его лице было выражение, которое Шеридан научился распознавать с первого взгляда: ребенок силится не плакать, но вот-вот заплачет, несмотря на все старания.

На мгновение Шеридан задумался, чувствуя знакомую волну отвращения к себе… хотя с каждым разом, когда он похищал ребенка, это

чувство становилось все менее острым. После первого случая он не мог уснуть целую неделю. Его мысленный взор не покидал этот большой жирный турок, звавший себя мистером Уизардом, не покидали мысли о том, что он делает с этими детьми.

— Они уплывают на пароходе, мистер Шеридан, — сказал ему турок и улыбнулся.

Шеридан прочитал в его улыбке: «Если вы не хотите, чтобы с вами произошли крупные неприятности, не задавайте больше таких вопросов». Прочитал четко и ясно, без всякого акцента.

Шеридан больше не задавал вопросов, но это вовсе не значило, что его не мучила совесть. Особенно после каждого нового похищения. Он ворочался в постели, жалея о том, что нельзя начать все сначала. Тогда бы все было по-другому, он сумел бы избежать искушения. Второй раз угрызения совести были почти столь же сильными… после третьего раза стало чуть легче… а после четвертого он почти перестал задумываться о поездке на пароходе и о том, что ждет маленьких мальчиков после прибытия к месту назначения.

Шеридан поставил свой фургон на одно из мест, отведенных для парковки машин, принадлежащих инвалидам. Сзади на фургоне имелся специальный регистрационный номер, которые штат выдавал инвалидам. Этот номер был на вес золота, потому что не вызывал подозрений у полицейских, следивших за порядком в торговом центре, а эти места перед центром были весьма удобными и обычно пустовали.

Так уж всегда: делаешь вид, будто вовсе не отправляешься на поиски мальчишек, но всякий раз за день или два снимаешь с автомобиля какого-нибудь инвалида специальный номерной знак.

«Хватит этих глупостей», — сказал он самому себе.

Сейчас он оказался в очень затруднительном положении, и вот тот мальчик мог разрешить для него массу проблем.

Шеридан вышел из машины и направился к мальчику, который с растущей паникой оглядывался по сторонам. Шеридан подумал, что ему не меньше пяти лет, может быть, даже шесть — но он такой хилый. В резком свете флюоресцентных ламп, пробивающемся через стеклянные двери, лицо мальчика выглядело белым, как пергамент. Он казался даже не испуганным, а скорее больным. Впрочем, по мнению Шеридана, мальчик был просто сильно перепуган. Шеридан научился узнавать этот взгляд, потому что за последние полтора года нередко видел такой же панический страх в собственном зеркале.

Мальчик с надеждой смотрел на прохожих, которые обходили его,

торопясь сделать покупки в торговом центре или покидая его с покупками в руках и изумленными, почти ошеломленными лицами от увиденного внутри.

Мальчик, одетый в джинсы и майку с надписью «Питсбургские пингвины», хотел, чтобы ему помогли. Надеялся, что кто-нибудь посмотрит на него и увидит, что с ним что-то случилось, искал человека, готового задать ему самый важный вопрос: «Ты потерял где-то своего папу, малыш?» — Короче говоря, мальчик искал друга.

«Это я, — подумал Шеридан, направляясь к мальчику. — Вот он я, сынок, — твой друг».

Он уже почти подошел к мальчику и тут заметил полицейского, медленно направляющегося по главному вестибюлю к дверям. Полицейский сунул руку в карман, наверное за пачкой сигарет. Сейчас он выйдет наружу, увидит мальчика, и это положит конец удаче Шеридана.

Черт побери, подумал он, по крайней мере, полицейский не увидит, что он разговаривает с мальчиком, когда выйдет из торгового центра. Все могло бы оказаться куда хуже.

Шеридан остановился и сделал вид, будто ощупывает свои карманы в поисках ключей. Он быстро взглянул на мальчика, потом на полицейского и снова на мальчика. Ребенок начал плакать. Это был еще не рев, нет, но огромные слезы, которые казались розовыми в отраженном свете красной вывески «Казинтаун», уже катились по его щекам.

Девушка в справочной будке жестом подозвала к себе полицейского и что-то сказала ему. Она была симпатичной, темноволосой, лет двадцати пяти; он — блондин с песочными волосами и светлыми усами. Когда коп наклонился, опершись локтями о стойку и улыбаясь девушке, Шеридан подумал, что они походят на рекламу сигарет, которые он видел на обложках журналов — «Дух Салема», «Закурим „Лаки страйк“». Он, Шеридан, погибал здесь, у стены торгового центра, а они занимались пустой болтовней: что ты будешь делать после работы, давай зайдем в мою новую квартиру и выпьем по стаканчику — бла-бла-бла. А теперь она начала строить ему глазки. Как интересно.

Шеридан внезапно решил рискнуть. Грудь малыша вздрагивала, и как только он разразится рыданиями, кто-нибудь неминуемо заметит его. Шеридану не хотелось подходить к мальчику, когда меньше чем в шестидесяти футах маячил полицейский, но если он в течение двадцати четырех часов не отдаст долг мистеру Реджи, к нему придут двое очень крупных мужчин и подвергнут его импровизированной хирургической операции, добавив несколько дополнительных локтевых суставов к его

рукам.

Он подошел к малышу — высокий мужчина, одетый в обычную рубашку, купленную в магазине Ван-Хойсена, и брюки цвета хаки, мужчина с широким, самым обычным лицом, которое на первый взгляд казалось добрым. Он наклонился над маленьким мальчиком, упершись руками в колени, и тот повернул к Шеридану свое бледное испуганное лицо. Его глаза были изумрудно-зелеными, текущие из них слезы, отражающие свет, подчеркивали их цветовую гамму.

— Ты заблудился и потерял своего папу, сынок? — спросил Шеридан.

— Моего попси, — ответил малыш, вытирая слезы. — Я… Я не могу найти м-м-моего попси!

Тут мальчик разрыдался, и женщина, спешившая к входу в торговый центр, оглянулась на них с выражением смутной тревоги на лице.

— Не беспокойтесь, все в порядке, — сказал ей Шеридан, и женщина ушла.

Шеридан успокаивающим жестом положил руку на плечо малыша и легонько потянул его вправо… в сторону фургона. Затем он снова посмотрел внутрь торгового центра.

Охранник наклонился вперед, его лицо почти касалось лица девушки из справочной будки. По-видимому, сегодня вечером полицейский вдует ей что-то еще кроме сигаретного дыма. Шеридан успокоился. Если в подобной ситуации здесь, прямо в вестибюле, станут грабить банк, коп ничего не заметит. Похоже, все пройдет гладко.

— Я хочу найти моего попси! — рыдал мальчик.

— Разумеется, хочешь, разумеется, — произнес Шеридан. — И мы найдем его. Только не расстраивайся.

Он снова подтолкнул его вправо.

Мальчик посмотрел на него с надеждой.

— Правда найдете? Найдете моего попси, мистер?

— Ну конечно! — Лицо Шеридана расплылось широкой улыбкой. — Поиски пропавших попси… можешь считать это моей специальностью.

— Неужели? — Мальчик даже едва заметно улыбнулся, хотя из глаз его по-прежнему текли слезы.

— Да уж это точно, — кивнул Шеридан и снова посмотрел на полицейского, которого он теперь едва различал (и который тоже едва бы различил Шеридана с мальчиком, если бы поднял взгляд). Коп все еще был увлечен разговором с девушкой. — Как был одет твой попси, сынок?

— На нем был его костюм, — ответил мальчик. — Он почти всегда носит свой костюм. Только однажды я видел его в джинсах. — Он говорил

так, словно Шеридану должно быть все известно о его попси.

— Готов побиться об заклад, что это был черный костюм, — заметил Шеридан.

Мальчик поднял на него радостный взгляд.

— Значит, вы в самом деле видели его! Где?

Он быстро пошел к дверям, забыв о слезах, и Шеридан с трудом удержался от того, чтобы схватить мальчишку и как следует встряхнуть. Как раз этого делать нельзя. Нельзя привлекать к себе внимание. Люди могут запомнить это и позднее рассказать о происшедшем. Надо затащить его в фургон. У фургона были затемненные солнцезащитные стекла, исключение составляло лишь ветровое стекло. Заглянуть внутрь было почти невозможно, разве что прижать к стеклу лицо.

Значит, прежде всего нужно затащить мальчишку в фургон.

Он прикоснулся к руке малыша.

— Я не видел его внутри, сынок. Он был вон там.

Шеридан махнул рукой в дальний угол огромного участка стоянки, заставленной сотнями машин. В этой стороне участка проходила подъездная дорога, а за ней виднелись двойные желтые арки «Макдоналдса».

— Но почему попси пошел именно туда? — спросил мальчик, словно Шеридан или попси — а может быть, оба — внезапно сошли с ума.

— Не знаю, — покачал головой Шеридан.

Его мозг работал с быстротой курьерского поезда. Это происходило всегда, как только наступал момент, когда требовалось закончить подготовительную работу и приступать к делу — либо начинать решительные действия, либо напустить на себя вид оскорбленной невинности. Итак, попси. Не папа или папочка, а попси. Малыш уже поправил его один раз. Может быть, попси означает дедушку. Шеридан принял решение.

— Но я просто уверен, что это был именно он. Пожилой мужчина в черном костюме. Седые волосы… зеленый галстук…

— У попси был синий галстук, — сказал мальчик. — Он знает, что мне больше всего нравится синий галстук.

— Да, конечно, возможно, и синий, — заметил Шеридан. — При таком освещении разве разберешь? Пошли, залезай в фургон, и я отвезу тебя к нему.

— Вы уверены, что это был попси? Я просто не понимаю, почему он пошел в то место, где они…

— Послушай, малыш, — пожал плечами Шеридан. — Если ты уверен,

что это был не он, ищи его сам. Может быть, тебе даже удастся найти его. — Он повернулся и быстрым шагом направился к фургону.

Малыш не поддался на уловку. Шеридан подумал, что ему, может быть, следует вернуться, сделать еще одну попытку, но прошло слишком много времени — нужно или свести к минимуму разговор с ребенком, на который обратят внимание прохожие, или тебе угрожает двадцать лет в тюрьме Хаммертон-Бей. Лучше уж попробовать у другого торгового центра. В Скоттервилле, пожалуй. Или…

— Подождите, мистер! — послышался голос малыша. В нем звучала паника. Шеридан услышал шлепанье бегущих ножек. — Подождите! Я сказал ему, что мне хочется пить, он подумал, должно быть, что пройдет на ту сторону, чтобы принести мне напиться. Подождите!

— А я и не собирался бросать тебя, сынок, — обернулся Шеридан с широкой улыбкой.

Он повел мальчика к своему фургону, выпущенному четыре года назад и окрашенному в неприметный голубой цвет. Открыл дверцу, улыбнулся малышу, нерешительно глядящему на него зелеными, полными слез глазами на бледном маленьком лице, огромными глазами, как у бездомного ребенка на рекламной картине в дешевых бульварных еженедельниках вроде «Нэшнл инкуайрер» и «Взгляд изнутри».

— Добро пожаловать в мою гостиную, маленький приятель, — сказал Шеридан, и на его лице появилась почти естественная улыбка. Он становился в этом деле настоящим профессионалом, что ему самому казалось чем-то сверхъестественным.

Малыш последовал его совету, и, хотя он не знал этого, теперь, с того самого момента, как захлопнулась дверца фургона, его зад принадлежал Бриггсу Шеридану.

В жизни Шеридана была только одна страсть. Это не были женщины, хотя он с удовольствием слышал шорох юбки или чувствовал гладкую поверхность шелкового чулка, ничуть не уступая в этом любому мужчине. И не алкоголь, несмотря на то что он нередко выпивал за вечер стаканчик, а то и три. Страстью Шеридана — его, можно сказать, пагубным пороком — были карты. Любая карточная игра — лишь бы на деньги. Увольнения с работы, утрата кредитных карточек, продажа дома, завещанного матерью, — ничто его не останавливало. Однако никогда — по крайней мере пока — он не попадал в тюрьму. Но когда он впервые столкнулся с неприятностями у мистера Реджи, то понял, что тюрьма была бы по сравнению с ними просто санаторием.

Той ночью он излишне увлекся. Потом понял, что бывает гораздо

лучше, если проигрываешь сразу. Проигравшись сразу, расстраиваешься, уходишь домой, смотришь по телику шоу Леттермана и затем ложишься спать. Но когда сначала тебе везет, ты продолжаешь играть, а потом пытаешься отыграться. Тем вечером Шеридан пытался отыграться, и когда игра закончилась, оказалось, что он проиграл семнадцать тысяч долларов. Он с трудом поверил в это. Потрясенный, отправился домой едва не в восторге от колоссальной суммы своего проигрыша. По пути домой в машине он говорил себе, что должен мистеру Реджи не семьсот, не семь тысяч, а семнадцать тысяч баксов! Всякий раз, когда Шеридан осознавал это, он хихикал и увеличивал громкость своего радиоприемника.

Однако он не хихикал на следующий вечер, когда двое громил — тех самых, которые примут меры, чтобы его руки изгибались в самые разные и неожиданные стороны, если он вовремя не заплатит долг, — привели его в кабинет мистера Реджи.

— Я расплачусь, — тут же залепетал Шеридан. — Я обязательно расплачусь, послушайте, никаких проблем, через пару дней, самое большее — через неделю, через две в крайнем случае…

— Вы надоели мне, Шеридан, — перебил его мистер Реджи.

— Я…

— Заткнитесь. Если я дам вам неделю, неужели вы думаете, что я не знаю, как вы поступите? Вы займете у приятеля пару сотен — если найдется такой. Когда вы поймете, что ни у кого не можете занять, ограбите магазин, торгующий спиртным, — если у вас достанет смелости. Я в этом сомневаюсь, но чего не бывает. — Мистер Реджи наклонился вперед, положил подбородок на руки, локтями уперся в стол и улыбнулся. От него пахло одеколоном «Тед Лапидус». — Вдруг у вас появятся двести долларов, что вы сделаете с ними?

— Отдам их вам, — пролепетал Шеридан. Он с трудом сдерживался, чтобы не заплакать.

— Нет, не отдадите, — покачал головой мистер Реджи — Вы пойдете с ними на бега и попытаетесь увеличить свой капитал. А мне представите массу дерьмовых оправданий. Вы проиграли слишком много, мой друг. Слишком много.

Шеридан больше не мог сдержать слезы и разрыдался.

— Вот эти парни могут уложить вас в больницу на долгое время, — задумчиво произнес мистер Реджи. — В руках у вас будет по трубке для внутривенного вливания и еще одна — в носу.

Шеридан зарыдал еще громче.

— Но я предлагаю вам выход из положения, — сказал мистер Реджи и

подтолкнул через стол к Шеридану сложенный лист бумаги. — Вы можете найти общий язык с этим парнем. Он зовет себя мистером Уизардом, но на самом деле он такой же мешок с дерьмом, как и вы. А теперь убирайтесь. Между прочим, жду вас здесь через неделю, и ваши фишки будут лежать на этом столе. Вы или выкупите их, или я отдам вас своим друзьям, чтобы они поработали с вами. И как говорил философ Букер, стоит им начать, они будут заниматься этим, пока не удовлетворятся.

На листе бумаги было написано настоящее имя турка. Шеридан поехал к нему и услышал про мальчиков и пароходы. Мистер Уизард также назвал сумму — не слишком большую, но достаточную, чтобы выкупить фишки у мистера Реджи. После этого Шеридан начал объезжать торговые центры.

Он выехал с главной парковочной площадки торгового центра «Казинтаун», оглянулся по сторонам, нет ли транспорта, пересек подъездную дорогу и въехал на дорогу, ведущую к «Макдоналдсу». Малыш все время сидел на переднем пассажирском сиденье, наклонившись вперед, упершись руками в колени, обтянутые джинсами, и напряженно глядел вперед. Шеридан подкатил к зданию, обогнул его, чтобы миновать сквозную полосу, и поехал дальше.

— Почему вы объезжаете его сзади? — спросил малыш.

— Нужно подъехать к другим дверям, — объяснил Шеридан. — Не нервничай, сынок. По-моему, я видел его здесь.

— Честное слово? Правда видели?

— Да, вроде видел.

По лицу мальчика пробежало удивительное облегчение. На мгновение Шеридану стало жаль его — черт возьми, ведь он же не какое-то чудовище или маньяк. Однако всякий раз у мистера Реджи оставалось больше фишек, чем раньше, и этот сукин сын без зазрения совести позволял ему увеличивать ставки. На этот раз он проиграл не семнадцать тысяч, как в первый раз, и не двадцать, и не двадцать пять. Теперь он был должен тридцать пять косых, целый марширующий батальон баксов, и обязан был выкупить свои фишки до следующей субботы, если не хочет получить новый комплект локтевых суставов.

Шеридан остановил фургон позади закусочной, рядом с установкой, утрамбовывающей мусор. Здесь не было ни единой машины. Превосходно. На внутренней стороне дверцы слева от него был пластиковый пакет для карт и прочих предметов. Он сунул руку внутрь и достал пару стальных наручников. Они были открыты.

— Почему мы остановились здесь, мистер? — спросил мальчик. На его лице снова появилось выражение страха, но теперь оно было уже иным.

Он внезапно понял, что, может быть, то, что ему не удалось найти старого доброго попси в наполненном людьми торговом центре, далеко не худшее, что может случиться с ним.

— Вообще-то мы не собирались здесь останавливаться, — с легкостью солгал Шеридан. Уже после второго раза он понял, что нельзя недооценивать даже шестилетних мальчишек, когда они насмерть перепуганы. Второй по счету мальчишка пнул его в яйца и едва не убежал. — Просто я вспомнил, что забыл надеть очки, когда сел за руль. Меня могут лишить за это водительских прав. Они в футляре вон там на полу, соскользнули в твою сторону. Найди их и передай мне, пожалуйста.

Мальчик наклонился за очешницей, которая оказалась пустой. Шеридан вытянулся назад и защелкнул один браслет наручника на руке мальчишки, причем без всякого труда. И тут начались неприятности. Разве он только что не напомнил себе, как опасно недооценивать шестилетних мальчишек? Этот сопротивлялся, как волчонок, выворачиваясь с такой силой, что Шеридан просто не поверил бы в это, не испытай такое на себе. Мальчишка дергался из стороны в сторону, отчаянно бился, рвался к двери, тяжело дыша и издавая странные птичьи крики. Он сумел схватиться за ручку двери. Она открылась, но свет в салоне не загорелся. — Шеридан испортил контакт после второго случая.

Он схватил мальчишку за воротник его пингвинской майки и затащил обратно в фургон, попытался пристегнуть второй браслет наручников к специальной распорке у пассажирского сиденья и промахнулся. Мальчишка дважды укусил его за руку. Потекла кровь. Господи, зубы у него были острые, как бритва. Боль оказалась настолько сильной, что пронзила всю руку. Шеридан ударил мальчишку кулаком в зубы. Тот упал на сиденье, потрясенный, кровь Шеридана текла по его губам и подбородку и капала на майку. Шеридан защелкнул второй браслет наручников, прикрепленный к распорке, и затем рухнул на собственное сиденье, поднеся к губам укушенную правую руку.

Было удивительно больно. Он посмотрел на укушенную руку в слабом свете приборов на панели управления. Две неглубокие рваные раны, каждая дюйма по два длиной, протянулись от костяшек пальцев в сторону кисти. Из ран, слабо пульсируя, текла кровь. И все-таки у него не было желания снова ударить мальчишку, причем это никак не было связано с повреждением товара, который он вез турку, несмотря на почти суетливую заботу, проявленную тем. Турок предостерег его: нельзя портить товар. «Повредишь товар — уменьшишь его ценность», — предупредил турок своим жирным голосом.

Нет, Шеридан не сердился на мальчишку за то, что тот сопротивлялся, — на его месте он поступил бы так же. Раны придется дезинфицировать как можно быстрее, может быть, стоит даже сделать уколы от столбняка. Он читал где-то, что человеческие укусы представляют наибольшую опасность. И все-таки Шеридан не мог не восхищаться смелостью мальчика.

Он включил скорость, отпустил педаль тормоза, объехал киоск, где продавали гамбургеры, миновал окно, где можно было получить еду, не выходя из машины, и выехал на подъездную дорогу. Здесь он повернул налево. У турка был большой дом типа ранчо на Талуда-Хайтс, на окраине города. Но Шеридан решил на всякий случай ехать туда проселочными дорогами. Тридцать миль. Минут сорок пять, может быть — даже час.

Шеридан проехал мимо вывески, где было написано: «Благодарим, что вы заехали за покупками в наш великолепный торговый центр Казиптаун», повернул налево и поехал со скоростью сорок миль в час, что в точности соответствовало правилам. Он вытащил из заднего кармана носовой платок, обмотал его вокруг правой руки и стал думать о сорока косых, которые обещал ему турок за маленького мальчика.

— Вы пожалеете об этом, — сказал малыш. Шеридан нетерпеливо оглянулся на него, оторвавшись от своей мечты, в которой он только что выиграл двадцать раз подряд. Теперь мистер Реджи рыдал у него в ногах, весь потный от страха, умоляя Шеридана остановиться: неужели он хочет разорить его?

Малыш снова заплакал, и его слезы все еще имели такой же розоватый оттенок, хотя они уже далеко отъехали от ярких огней торгового центра. Впервые Шеридан подумал о том, что мальчик, может быть, болен какой-то заразной болезнью. Впрочем, решил он, сейчас поздновато беспокоиться о таких вещах, и выбросил эти мысли из головы.

— Когда мой попси найдет меня, вы пожалеете об этом, — предупредил малыш.

— Да, — согласился Шеридан и закурил.

Он свернул с шоссе 28 на проселочную дорогу в две полосы, покрытую асфальтом. По левую сторону от дороги лежало длинное болото, по правую стоял густой лес.

Малыш всхлипнул и потянул за наручники.

— Перестань. Это ничем тебе не поможет.

Тем не менее малыш потянул снова. На этот раз заскрипел гнущийся металл. Это совсем не понравилось Шеридану. Он оглянулся и с изумлением увидел, что металлическая распорка — распорка, которую он

приварил собственными руками, — заметно изогнулась. Черт возьми! — подумал Шеридан. У него зубы как бритвы, а теперь еще выясняется, что мальчишка силен, как проклятый вол. Если он таков, когда болен, не дай бог попытаться похитить его, когда он здоров.

Шеридан съехал на травянистую обочину и остановил фургон.

— Сейчас же прекрати!

— Нет!

Мальчишка снова дернул за наручники, и Шеридан увидел, как распорка еще немного согнулась. Господи, как может ребенок обладать такой силой?

Панический страх, решил он. Вот почему мальчишке это удается.

Но в прошлом ни одному из мальчиков не удавалось это сделать, а многие из них были перепуганы куда больше.

Шеридан открыл бардачок и достал оттуда шприц. Его дал ему турок и предупредил, что пользоваться им следует только в случае крайней необходимости. Наркотики, заметил турок, могут испортить товар.

— Видишь?

Мальчишка взглянул на шприц уголком глаза и кивнул.

— Хочешь, чтобы я сделал тебе укол?

Он тут же отрицательно покачал головой. Сильный или нет, но у него был инстинктивный страх ребенка перед шприцами, с удовлетворением подумал Шеридан.

— Ты, видно, не дурак. Иначе ты мгновенно уснул бы. — Он помолчал. Ему не хотелось говорить это — черт возьми, ведь он хороший парень вообще-то, когда не оказывается в безвыходном положении. Но придется.

— А мог бы даже не проснуться.

Малыш смотрел на него. Губы его дрожали, щеки от испуга стали белей бумаги.

— Перестань дергать за наручники, и я уберу шприц. Согласен?

— Согласен, — прошептал малыш.

— Обещаешь?

— Да. — Его верхняя губа поднялась, обнажив белые зубы.

Один из них был все еще в крови Шеридана.

— Клянешься именем своей матери?

— У меня не было матери.

— Проклятье, — с отвращением произнес Шеридан, и фургон снова покатил вперед. Теперь он ехал быстрее, и не только потому, что свернул с главного шоссе. Этот малыш наводил на него какой-то страх. Шеридану

хотелось побыстрее сдать его турку, забрать деньги и уехать.

— Мой попси очень сильный, мистер.

— Вот как? — спросил Шеридан и подумал это уж как пить дать. Единственный в доме для престарелых, способный сам выгладить свой собственный грыжевой бандаж.

— Он найдет меня.

— Обязательно.

— Он найдет меня по запаху.

В это Шеридан верил. Даже он чувствовал запах малыша. Во время своих прошлых экспедиций он узнал, что страх обладает запахом, но мальчишка пахнул чем-то необычным — странной смесью пота, грязи и разогретого аккумуляторного электролита. Шеридан все больше убеждался в том, что с этим малышом происходит что-то странное… очень странное… но скоро это станет проблемой мистера Уизарда, а не его. Вся ответственность переходит к покупателю, как любили говорить старые парни в судейских тогах.

Шеридан опустил стекло в своем окне. По левой стороне продолжало тянуться болото. Пятна лунного света мерцали на стоячей воде.

— Попси может летать.

— Да, конечно, — отозвался Шеридан и про себя добавил после пары бутылок самогона он наверняка летает, как наскипидаренный орел.

— Попси…

— Хватит болтать о своем попси, малыш, понятно?

Малыш замолчал.

Через четыре мили болото слева от дороги расширилось и превратилось в широкое пустое озеро. Шеридан свернул на проселочную дорогу, огибающую его северный берег. Через пять миль к западу он повернет направо, на сорок первое шоссе, а оттуда прямо к Талуда-Хайтс.

Он посмотрел в сторону озера — гладкая серебряная поверхность в лунном свете… и вдруг лунный свет исчез, заслоненный чем-то. Над головой послышался хлопающий звук, какой издают висящие на веревке большие простыни, раздуваемые ветром.

— Попси! — радостно закричал малыш.

— Заткнись. Это всего лишь птица.

Внезапно его бросило в дрожь, охватил какой-то необъяснимый ужас. Шеридан оглянулся на мальчика. Губы его были оттянуты назад, зубы обнажены. Очень белые, очень большие зубы.

Нет… не большие. Большие — это неправильное описание его зубов. Правильнее назвать их длинными, особенно два верхних зуба с каждой

стороны. Как их называют? Клыки.

Его мозг снова лихорадочно заработал, словно он принял сильно возбуждающий наркотик.

Я сказал ему, что мне хочется пить.

Я просто не понимаю, почему попси пошел в то место, где они…

(едят? он хотел сказать едят?)

Он найдет меня.

Он найдет меня по запаху.

Попси может летать.

Что-то опустилось на крышу фургона, тяжело и неуклюже.

— Попси! — снова закричал малыш, почти обезумев от радости. Шеридан больше не видел дороги — огромное крыло из мембран с пульсирующими венами закрыло ветровое стекло от одного края до другого.

Попси может летать.

Шеридан вскрикнул и обеими ногами нажал на тормоз, надеясь сбросить это существо с крыши под передние колеса. Раздался стонущий, протестующий звук разрываемого металла справа от него и затем короткий звонкий щелчок. Через мгновение ногти малыша вцепились ему в лицо, разодрали щеку.

— Он похитил меня, попси! — завизжал малыш своим птичьим голосом, подняв голову к крыше фургона. — Он похитил меня, он похитил меня, этот плохой человек похитил меня!

«Ты не понимаешь, малыш, — подумал Шеридан. Он начал шарить в поисках шприца и нащупал его. — Я не плохой человек, просто попал в безвыходное положение».

Затем рука — скорее лапа с длинными когтями, чем настоящая рука, — разбила боковое стекло и выхватила шприц у Шеридана вместе с двумя его пальцами. Еще одно мгновение спустя попси сорвал целиком дверцу со стороны водителя, вырвал ее из рамы. Шеридан успел заметить, как мелькнули петли дверцы — искореженные пластинки ненужного металла. Он увидел развевающийся плащ, черный снаружи, с подкладкой из красного шелка внутри, и галстук существа… Это была бабочка, она оказалась синей — в точности как сказал мальчик.

Попси выдернул Шеридана из машины, его когти прокололи пиджак и рубашку и глубоко вонзились в мышцы плеч: зеленые глаза попси внезапно стали красными, как кровавые розы.

— Мы пришли в торговый центр, потому что моему внуку захотелось трансформеров, — прошептал попси. От его дыхания несло

разлагающимся мясом. — Такие фигурки, их показывают по телевидению. Они нравятся всем детям. Лучше бы ты не трогал его. Лучше бы ты не трогал нас всех.

Он тряхнул Шеридана, как тряпичную куклу. Шеридан вскрикнул, и попси встряхнул его снова. Он услышал, как попси заботливо спросил, все ли еще малыш хочет пить, и малыш ответил: да, очень, плохой человек так его перепугал, что у него совсем пересохло в горле. Шеридан лишь на мгновение увидел ноготь большого пальца попси, и затем он исчез под его подбородком. Ноготь был толстым и зазубренным. Этот ноготь перерезал горло Шеридана еще до того, как тот понял, что происходит. Последнее, что он увидел перед тем, как все помутнело перед его глазами, были ладони малыша, подставленные под струю крови подобно тому, как сам Шеридан в детстве жарким летним днем подставлял сложенные ковшиком ладошки под льющуюся из крана воду. Увидел он и самого попси, нежно, как любящий дедушка, поглаживающего малыша по голове.

Р. Четвинд-Хейс

Рональд Генри Глинн Четвинд-Хейс (1919–2001)родился в Айлворте на западе Лондона. В четырнадцатилетнем возрасте он оставил школу и начал трудовую жизнь, сменив множество занятий, включая работу актера массовки в британских военных фильмах. В годы Второй мировой войны служил в действующей армии.

Прославившийся впоследствии как «британский князь ужаса», Четвинд-Хейс дебютировал в литературе научно-фантастическим романом «Человек из бомбы» (1959), а затем выпустил мистический роман «Человек тьмы» (1964). Свой первый «страшный» рассказ, «Нечто», он продал в «Панораму ужасов-7» (1966) Герберта Ван Тала. Приметив на полках у одного книготорговца множество книг в жанре хоррор, он написал книгу «страшных» историй и предложил ее двум издателям одновременно, тем самым поставив себя в трудное положение, поскольку заключить с ним контракт согласились оба. На исходе 1980-х годов, уже будучи маститым автором, выпустившим в свет два десятка сборников, он получил премии за вклад в жанр от Американской ассоциации авторов хоррора и Британского общества фэнтези. По его рассказам сняты художественные фильмы «Из могилы» (1973), «Клуб монстров» (1980) и один из эпизодов (1973) сериала «Ночная галерея Рода Серлинга».

Рассказ «Оборотень и вампиры» был впервые опубликован в авторском сборнике «Клуб монстров» (Лондон: Нью инглиш лайбрери, 1975).

Оборотень и вампиры

Причиной того, что случилось с Джорджем Хардкаслом, стала, конечно же, его чрезмерная любовь к собакам. Этот молодой человек не мог пройти мимо ни одного пса, не потрепав того по голове. Стоило какой-нибудь шелудивой, блохастой дворняге появиться из-за угла, как Джордж уже свистел, подзывая ее.

— Иди сюда, моя хорошая. Иди же.

Никто не знал, откуда у него такая неистовая привязанность к этим четвероногим, но факт остается фактом: Джордж Хардкасл просто обожал собак.

И все же трагедии могло не произойти, не отправься он в Гринсэнд-Хиллс. Точнее, в район Клэндон-Даун, где на холмах растут карликовые дубы, бледнолистные березы и мрачные ели и где в густом подлеске прячутся такие формы жизни, которые не всегда и увидишь. Однако Джордж, как и многие до него, ничего об этом не знал. Он весело взбирался по склонам холмов, радуясь свежему воздуху, полной тишине и собственной молодости.

Вот тут-то он и услышал вой, который принял за собачий. Джордж замер и стал вслушиваться, пытаясь определить направление. Впоследствии он вспоминал, что ему на ум не пришло ничего в этом роде: во-первых, он считал подобные легенды суевериями минувших веков, а во-вторых, разные ужасы всегда происходили ночью, при полной луне, а сейчас был самый разгар дня. Сквозь густую листву пробивались солнечные лучи, в теплом воздухе не пахло ничем особенным — только обычной лесной прелью. Словом, обыкновенная загородная местность, по которой гулял обыкновенный юноша англо-саксонского типа, с чистой кожей и светлыми волосами, не ахти какой умный, но наделенный хорошим здоровьем и приятной внешностью.

Вой повторился: протяжный, берущий за душу. Где-то страдала собака, и теперь Джордж знал, куда ему бежать. Нужно взять чуть влево и миновать рощицы молодых деревьев, чередующихся с зарослями густых кустарников. Мысль об опасности даже не мелькнула у Джорджа в голове. Он свернул с исхоженной тропы и углубился туда, где даже в солнечные летние дни всегда было сумрачно и прохладно. Воображение рисовало ему капкан, защемивший лапу несчастной псины. Он знал, что в таких случая собаки начинают отчаянно метаться и лишь усугубляют боль. Жалость заставляла его бежать изо всех сил. Джордж несся, не обращая внимания на ветви, хлещущие его по лицу, цепляющиеся к брюкам колючки и прочие препятствия. Вой раздался в третий раз, теперь немного справа. Следом послышалось утробное рычание. Будь на месте Джорджа другой человек,

возможно, рычание его бы насторожило.

Минут пятнадцать он бежал в одном направлении, затем в другом и наконец остановился передохнуть под громадным дубом, что рос на полянке. Здесь, при виде сумрачных зарослей, Джорджа впервые обуял страх. Казалось бы, ну как можно заблудиться в английском лесу? Однако парню пришла в голову смехотворная мысль: ночь оставляет на день своих стражников и те способны в любой момент опутать его тенями.

Джордж выбрался из-под тенистого дуба и двинулся, как ему показалось, в том направлении, откуда пришел. Он успел сделать пару шагов, и вдруг, в нескольких ярдах слева, опять послышалось рычание. Сострадание покинуло его, как сорванный лист, унесенный бурей, взамен наполнил страх — необъяснимый, панический ужас. Он бросился бежать, упал, вскочил и помчался дальше. А за ним, пробираясь сквозь кустарник, несся какой-то зверь. Джордж слышал его тяжелое дыхание и ощущал, насколько тот разъярен. Разум покинул парня, место связного мышления занял инстинкт самосохранения. Сейчас он сознавал только одно: его кто-то преследует. Точнее, нагоняет.

Джордж не отваживался оглянуться, но, судя по звукам, зверь находился уже всего в нескольких футах. Неведомое существо принюхивалось, поскуливало, рычало, предвкушая добычу, а затем… Джордж завопил от нестерпимой боли, опалившей ему правое бедро. Он упал. Боль превратилась в яростное пламя, после чего его поглотила спасительная темнота.

Прошло не менее часа (возможно, что и более), прежде чем к Джорджу Хардкаслу вернулось сознание. Он лежал не шевелясь и пытался вспомнить, почему валяется здесь, в густом лесу. Тупая боль в правой ноге напомнила ему о произошедшем. Память обвила своими холодными щупальцами его мозг. Джордж отважился сесть и оглядеться по сторонам.

Смеркалось. Вечер быстро занимал свои позиции, но Джорджу хватило и этого сумеречного света, чтобы разглядеть мертвеца, лежащего в нескольких футах от него. Джордж сдавленно вскрикнул и попятился, а чтобы не видеть синюшного лица и выпученных глаз, закрыл свои собственные. Но это не помогло, поскольку отключить память ему не удавалось, а воспоминания пугали молодого человека еще сильнее, чем окружающая действительность. Он вновь открыл глаза и оглядел покойника. На вид тому было лет сорок или чуть больше; коротко стриженные волосы, минные усы и желтоватые зубы, оскаленные в улыбке смерти. Цвет лица наводил на мысль, что незнакомец умер от внезапного сердечного приступа.

Следующий час оставил смутные, но кошмарные воспоминания. Джордж пополз сквозь кустарник и по чистому везению сумел выбраться на одну из главных дорожек.

Утром его обнаружил отряд бойскаутов.

Скорее всего, Джордж подвергся нападению крупной бешеной собаки. Полиция и целая армия добровольцев прочесали весь лес, но следов свирепого и опасного зверя не нашли. Зато был найден и опознан мертвец. Им оказался рабочий с близлежащей фермы; человек как человек, только замкнутый. При вскрытии было установлено, что он умер от сердечного приступа. Скорее всего, он перенапрягся, пытаясь помочь раненому юноше. Таково было мнение врачей.

Эпизод этот на какое-то время вызвал много разговоров, после чего о нем забыли.

Миссис Хардкасл с гордостью причисляла себя к матерям, которые не сюсюкают над своими заболевшими чадами, а сражаются с болезнью. За три недели она поставила Джорджа на ноги и сказала, что теперь лучшим лекарством для него будут длительные прогулки. Сын послушно воспринял материнские наставления и стал усердно гулять. В один из пасмурных дней он очутился возле Хэмптон-Корта. [61] Начал накрапывать дождь, и Джордж вспомнил, что ему давно хотелось побывать в этом дворце. Он вошел и стал бродить по залам и покоям, разглядывая картины и восхищаясь кроватями под балдахином. Затем он присоединился к экскурсии и с интересом послушал рассказ гида, подробно повествовавшего для туристов об особенностях придворного быта. Так он добрался до аудиенц-зала королевы, где почувствовал усталость и присел на уютный диванчик возле окна Джордж смотрел на мокрые от дождя внутренние сады, затем, позевывая, окинул взглядом анфиладу комнат.

И вдруг его внимание привлекла одна из посетительниц, идущая по длинному ковру. То была девушка, в облике которой главным образом бросались в глаза два цвета, черный и белый: черные волосы, белое лицо и руки, черное платье. В ней не было ничего зловещего или пугающего, и лишь когда она приблизилась, Джордж увидел в ее больших черных глазах неописуемую печаль. Девушка держалась довольно робко и чем-то напоминала ожившую черно-белую фотографию.

Незнакомка вошла в аудиенц-зал. Джордж слышал ее легкую поступь, шелест платья, но даже эти негромкие звуки казались какими-то нереальными. Девушка обходила помещение, с интересом разглядывая картины. И вдруг, словно по сигналу, она остановилась. Красивые черные глаза глядели прямо на Джорджа.

Встреча словно бы удивила и смутила их обоих; Джордж подумал, что они, наверное, когда-то уже виделись. Хотя вряд ли; такую девушку он наверняка бы запомнил. С легкой улыбкой она подошла и присела на другой край той же скамейки, глядя на Джорджа своими удивительными глазами.

— Привет, — сказала она — Меня зовут Карола.

Никто из девушек еще не знакомился с Джорджем столь решительным образом. Парень оробел, точнее, был почти шокирован, отчего утратил дар речи. Между тем его молчаливость лишь подбодрила Каролу ее улыбка стала шире, а в голосе зазвучали шутливые нотки.

— В чем дело? Ты никак язык проглотил?

Девичья настырность быстро освободила его от оков застенчивости, и он ответил:

— Почему же? Когда мне хочется, я говорю.

— Вот так лучше. Я сразу же увидела связующие нити. Между нами есть определенная связь. Вроде семейной. Как ты думаешь?

Этот вопрос был способен вновь замкнуть парню уста, но Джордж сумел едва слышно произнести одно слово:

— Семейной?

— Да. — Она кивнула. Ее волосы переливались, как черный шелк на солнце. — Между нами существует отдаленное родство. В аллегорическом смысле. Но не будем говорить об этом. Я так рада, что сегодня смогла погулять днем. Ночью бывает жутко, и потом, тогда я вообще сама не своя.

Джордж решил, что эта милая девушка, вероятно, немного сумасшедшая, и произнес фразу, которую посчитал вполне безобидной и подходящей для беседы с кем угодно:

— Не правда ли, сегодня ужасная погода?

Девушка нахмурилось, и Джордж почувствовал себя так, словно нарушил правила приличий.

— Не говори глупостей. Ты же знаешь, погода просто замечательная. Столько прекрасных облаков.

— Да, а вскоре покажется ужасное солнце, — в той же манере ответил Джордж, посчитав эти слова шуткой. Да и чем же еще они могли быть?

Девушка вздрогнула, как от удара, а в ее красивых глазах блеснули слезы.

— Бесчувственное животное — вот ты кто! Как у тебя язык поворачивается говорить столь отвратительные вещи? Не будет никакого солнца. Так утверждает бюро прогнозов. Я-то думала, ты приятный парень, а тебе просто нравится пугать меня.

Она поднесла к глазам черный кружевной платочек. Джордж не знал, как ему выбраться из умственного лабиринта, где каждое слово обладало двойным смыслом.

— Прости меня, — пробормотал он. — Я не нарочно…

— А тебе бы понравилось, если бы я сказала про серебряные пули? — всхлипнула Карола.

Джордж почесал в затылке, наморщил лоб и состроил гримасу.

— Вообще-то я не понимаю, о чем ты, но серебряные пули мне без разницы.

Девушка убрала платок в сумочку, встала и быстро ушла. Джордж провожал ее глазами, пока она не скрылась за углом.

— Сумасшедшая. Жаль. Красивая, но сумасшедшая, — пробормотал он.

Думая об этой девушке, он все больше жалел, что у нее не в порядке с головой. Карола ему понравилась, и он был бы не прочь познакомиться с нею поближе; при воспоминании о ее черных волосах и белом лице его охватывало чувство потери, так что он с трудом подавил в себе желание вскочить и броситься за нею. Впрочем, здравый смысл подсказывал ему, что вокруг достаточно не менее красивых, зато вполне нормальных девушек.

Выглянув в окно, Джордж увидел, что дождь кончился. По небу плыли густые облака.

— Прекрасные облака и ужасное солнце, — слегка улыбнувшись, прошептал он.

Оказавшись снаружи, он уже проходил через дворик Анны Болейн [62] когда легкое прикосновение к плечу заставило его обернуться. Перед ним стояла черноволосая и белолицая Карола с печальной улыбкой на губах.

— Ты прости, что я так набросилась на тебя во дворце. Но я терпеть не могу, когда меня дразнят. Ты это знаешь. Ведь ты один из нас. Нам нельзя ссориться. Мир?

— И ты прости, если я тебя обидел, — сказал Джордж. — Я вовсе этого не хотел.

В тот момент он был настолько счастлив, так полон глупого ликования, что был готов извиняться даже за собственное дыхание.

— Вот и хорошо, — вздохнула Карола и тут же взяла его за руку, будто так и было надо. — Мы про все это забудем. Только, пожалуйста больше так не шути.

— Нет. Ни за что, — пообещал Джордж.

Он совершенно не представлял, насчет чего ему нельзя шутить, но

завязал в памяти узелок: больше не говорить с Каролой о погоде и серебряных пулях.

— Ты обязательно должен познакомиться с моими родителями, — продолжала девушка. — Они будут страшно рады тебя видеть. Держу пари, они не поверят своим носам.

Последняя фраза вновь напомнила Джорджу, что у его новой знакомой непорядок с головой, но молодой человек предпочел счесть это случайной оговоркой.

— Конечно, это очень мило с твоей стороны, но не слишком ли рано? — осторожно спросил он. — Ты уверена, что мне удобно идти к вам?

Карола мелодично рассмеялась. Ее смех показался Джорджу тихим звоном серебряного колокольчика, и он почувствовал себя еще счастливее.

— Смешной ты парень. Да они просто порозовеют от радости. По-другому и быть не может. Впервые за столько лет нам не потребуется следить за тем, что мы говорим в присутствии гостя.

Джордж быстро обмозговал услышанное и посчитал это своеобразным комплиментом.

— Мне все равно, что говорят другие люди. Я люблю, когда они ведут себя естественно, — бодрым тоном заявил он.

Карола сочла эти слова еще более забавными: она засмеялась громче и сильнее сжала руку Джорджа.

— У тебя потрясающее чувство юмора. Подожди, я еще передам папочке твои слова. «Я люблю, когда они ведут себя естественно».

Карола просто покатилась со смеху. Джордж присоединился к ней, хотя не совсем понимал, что именно развеселило ее. И вдруг веселье оборвалось. Западный край неба заметно посветлел, и девушка тревожно вскрикнула, увидев это.

— Солнце! О Люцифер, сейчас покажется солнце, — сдавленно прошептала она.

— Ты уверена? — Джордж внимательно оглядел небо. — По-моему, ты… не права.

Он посмотрел на свою очаровательную спутницу.

— Прости меня, но ты что… не любишь солнце?

Лицо Каролы превратилось в маску ужаса. Она вскрикнула, будто солнце было для нее источником душевной и физической боли, и Джордж вновь с сожалением подумал о ее душевном нездоровье. Но девушка была такой красивой — словно безупречная жемчужина на черном бархате. Он обнял Каролу за худенькие плечи, а она спрятала лицо в складках его куртки и дрожащим шепотом попросила:

— Пожалуйста, отведи меня домой. Поскорее.

— А солнца нет и в помине, — сказал он, довольный, что может сообщить ей радостную весть. — Был короткий просвет, но облака его вновь затянули.

Карола опасливо подняла голову, и глаза, из которых были готовы вот-вот брызнуть слезы, посмотрели на западный край неба. Джордж был вознагражден: гримаса на ее лице исчезла, губы девушки разошлись в удивительной, очаровательной улыбке.

— Как замечательно! Милые, милые, милые облака. А вот и ветер подул. Большой, толстый бог ветра раздувает мехи и гонит в мир спасительный туман, чтобы солнце-демон нас не уничтожило. Иногда его яростный крик слышен по всему небу. А бывает, он шепчет успокоительные слова и говорит нам, чтобы не теряли веры. Страшная ночь одиночества небесконечна.

Джордж недоумевал, не зная, как отнестись к услышанным аллегориям. Но его любовь и сострадание, до сих пор достававшиеся собакам, теперь возросли и устремились к прекрасной, хотя и несколько странной девушке.

— Идем, — сказал он. — Я отведу тебя домой.

Джордж толкнул металлическую решетчатую дверь в ограде и пропустил Каролу вперед. Дорожка, ведущая к дому, была вымощена в стиле дикой природы: разнокалиберные куски камня располагались хаотично, без намека на какую-либо симметрию. Дом блестел свежей краской и чисто вымытыми окнами — в лондонских пригородах такие дома исчисляются тысячами; по виду его можно было заключить, что здесь живет женщина, гордящаяся крахмальной белизной своих занавесок, и мужчина, умеющий держать в руках малярную кисть. Крылечко было выложено красной глазурованной плиткой, напоминающей по цвету воду в час заката. Карола и Джордж едва успели подняться, как дверь стремительно распахнулась и на пороге возникла невысокая, полная, седовласая женщина.

— Девочка моя, а мы с Отцом уже волновались! — воскликнула она, порывисто обнимая Каролу. — Думали, не попала ли ты в солнечную бурю.

Карола нежно поцеловала мать в щеку (Джордж мельком отметил, что у женщины столь же бледный цвет лица), затем повернулась и сияющими глазами посмотрела на Джорджа.

— Мамочка, а это… — Карола захихикала, как маленькая, и замотала головой. — До чего же глупо. Я ведь даже не спросила твоего имени.

— Джордж. Джордж Хардкасл.

Сказать, что его появление встревожило женщину, было бы явным преуменьшением. Ее обуял ужас. Она схватила дочь и крепко прижала к себе, словно им обеим угрожал тигр-людоед. Но Карола тихо засмеялась и что-то шепнула матери на ухо — и недоверие хозяйки мгновенно растаяло, уступив место приветливой улыбке.

— Какая редкая удача, любовь моя. И где же ты его нашла?

— Во дворце, — с гордостью ответила Карола. — Сидел в аудиенц-зале королевы.

Ее мать буквально подскочила к Джорджу, обняла его и расцеловала в обе щеки. Потом она отошла и стала глядеть на молодого человека с явным удовольствием.

— Я должна была догадаться, — сказала она, кивая в такт своим словам. — Слишком давно ни с кем не общалась. Но что же мы стоим? Пойдемте в дом. Отец будет рад. Ему недостает смерти, когда рядом всего две женщины.

Джордж слегка насторожился, но тут же подумал, что склонность к странным оговоркам, вероятно, у них семейная. Зато с каким искренним вниманием его здесь встретили! Он прошел в недавно отремонтированную прихожую и послушно снял куртку, которую Карола тут же поместила на вешалку. Мамочка приоткрыла другую дверь и крикнула:

— Отец, надевай галстук, у нас гость.

В ответ послышался неопределенный звук, будто кто-то пробудился от дневного сна.

— Может, желаешь вымыть руки и все такое? — лучезарно улыбаясь, предложила Джорджу хозяйка. — Это у нас наверху. Чувствуй себя как дома, если ты понимаешь, о чем я.

— Благодарю вас. Руки у меня чистые, — не слишком уверенно ответил Джордж.

— Тогда идем в зал.

То, что Мамочка называла «залом», представляло собой комнату с очень приятными обоями на стенах, лампами под ярко-розовыми абажурами, мягким диваном и такими же креслами, большим телевизором, низким столом — имитацией под орех, проигрывателем, несколькими аляповатыми репродукциями и электрокамином с искусственными поленьями. С дивана поднялся крепкий мужчина с редеющими седыми волосами. Его галстук был повязан эффектно, но довольно небрежно.

Мамочка быстро оглядела «зал», словно желала убедиться, что все в надлежащем порядке.

— Отец, это Джордж. Карола встретила его во дворце. С ним все в

порядке. Можешь не волноваться, — добавила она, понизив голос.

Хозяин протянул Джорджу руку.

— Рад, очень рад познакомиться с тобой, парень, — громко и задушевно произнес он. — Я всегда знал наступит время и наша девочка найдет себе пару. Вот только подходящую породу отыскать трудно, и это факт.

Рука хозяина была неприятно холодной и дряблой, но сам он распространял такое радушие, что Джордж не обратил на это внимания.

— Отец, ты смущаешь нашу Каролу, — сказала Мамочка.

И действительно, девушка смутилась, однако ее щеки почему-то не покраснели, а приобрели сероватый оттенок.

— Джордж, ну что ты стоишь столбом? Садись и чувствуй себя как дома, — подбодрила его Мамочка. — Мы не на торжественной церемонии, чтобы стоять.

Гость уселся на диван рядом с Отцом. Когда их взгляды встречались, тот многозначительно подмигивал. Мамочку же заботило, не проголодался ли их гость.

— Ты давно ел? Я знаю: ты еще не чувствуешь необходимости соблюдать диету, как мы. А то и из вежливости отказываться начнешь. Здесь ты можешь не стесняться. У меня в холодильнике припасен чудный кусок бекона. Я тебе моментально сделаю яичницу.

Что-то в этом искреннем предложении насторожило Джорджа, однако он усилием воли прогнал эту мысль.

— Очень любезно с вашей стороны, но я, в общем-то…

— Не отказывайся, парень, — умоляюще произнес Отец. — Пусть она немного займется стряпней. Честно говоря, ей редко выпадает такая возможность.

— Ну, если это не доставит хлопот.

Мамочка издала странный звук, похожий на ржание.

— Хлопот! Ох, не могу! По-моему, нам самое время пропустить по стаканчику вкусненького.

Женщины удалились на кухню, а Джордж остался с Отцом, который поглядывал на него с обескураживающим интересом.

— Ездил отдыхать?

— Нет. Уже поздновато для поездок.

Отец вздохнул, будто вспоминая золотые деньки молодости.

— А мы недурно проводили время в Клактоне. Погода там стояла превосходная. Две недели — густой туман. В нескольких дюймах ничего не видно.

— Надо же, — пробормотал Джордж.

Потом он умолк, переваривая услышанное. Отец осторожно толкнул парня под ребра.

— Слушай, хочу задать тебе один щекотливый вопрос. Не хочешь — можешь не отвечать. Но я спрошу. Ты как часто переменяешься?

Джорджу этот вопрос показался не просто щекотливым, а глубоко личным. В его представлении радушная встреча как-то не вязалась с таким назойливым вторжением в частную жизнь. Но оставлять вопрос без ответа было невежливо.

— Я это… каждую пятницу. После ванны.

Отец даже присвистнул от изумления.

— Так часто? Я удивлен. Я знал одного парня в твоем положении. Так он переменялся только в полнолуние.

— Боже милосердный, — прошептал Джордж, а затем попытался задать вполне уместный вопрос: — А почему я должен…

Отец понимающе кивнул.

— Да потому что от тебя повanивает. Но ты не беспокойся. Мы это чуем, потому что у нас очень сильно развито обоняние.

Никогда еще Джордж не чувствовал себя так скверно. Он не знал, что и думать. Похоже, он вообще утратил эту способность. Словно заводная кукла, он последовал за Мамочкой в столовую, где на столе был приготовлен всего один прибор и три бокала с соломинками. В своем отрешенном состоянии он не заметил особенностей сервировки. Не обрадовала его и яичница с беконом, которую Мамочка выложила ему на тарелку, сказав:

— Вот тебе, парень. Наверни это — и голодным не будешь.

Семейство угощалось красноватой густой жидкостью, которую Джордж посчитал томатным соком. Почему-то они пили сок через соломинку. Карола с изяществом, Мамочка с некоторым беспокойством, а Отец — жадно. Осушив бокал, он тут же налил себе вторую порцию.

— Знаешь, Мамочка, ты всегда подаешь превосходную смесь групп А и В.

— Стараюсь. — Хозяйка вздохнула. — Нынче молодежи не получить того, что я называю высококалорийным питанием. Разве это сравнишь с тем, когда сам припадешь, вонзишь зубы? А здесь натуральные свойства продукта уже потеряны.

Отец рыгнул и издал неприятный чавкающий звук.

— Мамочка, мы должны быть благодарны. Многим и этого не перепадает, и они вынуждены насыщаться из жестянок.

Джорджа разобрало любопытство.

— Простите, а почему никто из вас ничего не ест? — вырвалось у него раньше, чем он успел подумать.

За столом установилась гнетущая тишина, будто Джордж совершил непростительный грех. Отец уронил бокал.

— Ох, Джордж, — с упреком вздохнула Карола.

Мамочка сердито нахмурилась:

— Джордж, тебя что, никогда не учили хорошим манерам?

В ее голосе была не столько злость, сколько досада, и Джордж, совершенно не понимая, что же такое он натворил, мгновенно пробормотал:

— Простите меня, пожалуйста, но…

— Мне самой нужно было об этом подумать. — Мамочка говорила вежливым, но твердым тоном. — Вот уж не ожидала, что услышу подобный вопрос у себя за столом. Наверное, тебе бы не понравилось, если бы я спросила, кого ты пожираешь с потрохами, когда шастаешь по ночам… Ладно, я свое сказала, и больше к этому возвращаться не будем. Угощайся шоколадным пудингом.

Джорджу было очень неприятно выслушивать упреки, тем более что смысл их от него ускользал. Он начинал догадываться: эти постоянные оговорки не случайны, дело в другом. В нем нарастало неприятное чувство: с каким бы радушием его здесь ни встретили, любая его фраза в доме этого странного семейства приходилась некстати. Даже такому покладистому парню, как Джордж, надоело извиняться непонятно за что.

— Я никого не пожираю с потрохами, — заявил он, когда Мамочка положила ему щедрую порцию шоколадного пудинга и вновь наполнила бокалы.

Мамочка выразительно посмотрела на Отца. Тот откашлялся.

— Слушай, парень. Есть вещи, о которых в присутствии женщин не говорят. Что происходит с тобой в то время, когда ты переменяешься, остается между тобой и черным человеком. Так что давай-ка поговорим о чем-нибудь другом.

Как и все миролюбивые люди, Джордж иногда достигал, черты, где единственно возможным действием была война или, правильнее сказать, нападение. И тирада Отца подвела его к такой черте. Он с шумом бросил на стол вилку и нож.

— Спасибо. Сыт по горло! Стоило заговорить о погоде, как меня тут же отчитали. Я спросил, почему вы ничего не едите, и получается, нанес вам жестокое оскорбление. Зато вам вполне можно спрашивать, как часто я

меняю белье, а потом упрекать, что от меня воняет. Наконец, я получаю обвинение в том, что пожираю людей с потрохами, и тут же предупреждают: не смей об этом говорить. Теперь и я вам кое-что скажу. По-моему, вы здесь все чокнутые.

Карола разрыдалась и выбежала из комнаты. Отец выругался; точнее, пробормотал: «Сатанинский галстук!» — что здесь считалось ругательством. У Мамочки был очень озадаченный вид.

— Погоди, мальчик, — сказала она, поднимая белый морщинистый указательный палец. — Ты пытаешься нас убедить, что ты ничего не смыслишь во всем этом?

— Я вообще не понимаю, о чем вы тут толкуете.

Отец и Мамочка некоторое время глядели друг на друга, затем почти хором произнесли, будто их разом осенило:

— Так он всего лишь укушенный!

— Но ведь кто-то должен ему рассказать, — вслед за тем заявила Мамочка, разглядывая Джорджа, которому вдруг стало очень страшно. — И это должен сделать мужчина.

— Имей он от рождения здравый смысл, сам бы догадался, — проворчал Отец, чье лицо посерело от удивления. — Адский грохот! Моему старику не понадобилось мне объяснять, что я вампир.

— Но ты сам видишь: парень не больно-то сообразительный, — возразила Мамочка. — Не у всех такие мозги, как у тебя. Зато у парня есть сердце. Я считаю, сердце всегда лучше, чем мозги. Скажи, парень, тебя недавно покусали?

В ответ Джордж лишь кивнул и с тоской поглядел на дверь.

— Большая долговязая тварь с влажной мордой. Ничего удивительного. Ты, сынок, теперь оборотень. Нюх вампиров не обманешь. Внутренности твои начинают меняться, меняется и запах. Понимаешь? Как же я не подумала?.. Отец, в какой фазе сейчас луна?

— Семь восьмых.

Мамочка с мрачным удовлетворением кивнула.

— Я должна была догадаться, что где-то в ночь на пятницу с тобой начнется перемена. Скажи, вблизи твоего дома есть какое-нибудь не особо людное место? Парк или что-то в этом роде?

— Есть, — ответил Джордж, глубоко втягивая в себя воздух. — Парк Клэфам-Коммон.

— Так. Надо будет туда прогуляться. Ты только лицо себе прикрой. Нормальные люди, когда впервые видят оборотня, очень пугаются. Начинают вопить во все горло.

Джордж встал и направился к двери. Он молил небеса, чтобы ему хватило сил усомниться во всем, что он услышал. Мамочка хмуро глядела на него.

— Только фырчать не нужно, парень. Сам бы мог догадаться, что мы вампиры. Как по-твоему, что мы тут пили? Малиновый сок? И вот что я тебе скажу: мы твои самые лучшие друзья. Как только полная луна взойдет над этим миром, никто не захочет знаться с тобой. Так что не плюй в наш колодец…

Но Джордж ее не слушал. Он опрометью бросился через «зал», сбежал с крылечка, пронесся по «дикой» дорожке и выскочил на улицу. Люди удивленно оборачивались вслед странному парню, который бежал, выкрикивая:

— Они безумцы… безумцы… безумцы…

С наступлением полнолуния Джорджем овладело странное беспокойство. Все началось с бессонницы. Раньше он засыпал, едва донеся голову до подушки, но теперь некая сила стремительно выталкивала его из сна. У него появилась настоятельная потребность в долгих прогулках под луной. Поначалу Джордж противился этому искушению, но затем уступил. Его тянуло бегать, прыгать, кувыркаться в траве — словом, делать все, что выходило за рамки проклятых человеческих условностей. Его наполняла великая радость, неведомая прежде, и требовала выражения. Джордж скакал и плясал на лужайках парка, оглашая спящие пригороды протяжным воем, напоминающим собачий. Он двигался легко и бесшумно, будто луч матери-луны.

Но за эту радость нужно было платить. Когда первые лучи солнца проникали в комнату Джорджа, разум возвращался к нему и требовал объяснений. Джордж с тревогой осматривал свое лицо и руки. До сих пор он не замечал никаких пугающих изменений — пока не замечал, но, может быть, просто еще рано и перемены следует ожидать в любой день? Или в любую ночь? Иногда он падал, ничком на кровать и плакал, страстно желая, чтобы в нем укоренилось неверие.

— Такого просто не может быть, — твердил он. — Сумасшедшие хотели сделать безумным и меня. Но я-то не безумец.

В его поведении появились все возрастающие странности, привлекающие внимание людей. Джордж постоянно находился в напряжении и вздрагивал от любого звука; он стал замкнут, недоверчив к незнакомым людям, а улыбка его теперь напоминала оскал, в котором не было ни капли веселья. Мать Джорджа говорила об этом простым языком, не стесняясь сильных выражений.

— По-моему, ты рехнулся. Честное слово. Молочник мне вчера рассказывал: он видел, как ты рычал на собаку миссис Редферн.

— Она прыгнула на меня, — объяснил Джордж. — Ты бы на моем месте тоже зарычала.

— Ну уж нет. — Миссис Хардкасл резко замотала головой. — Никогда на собак не рычала. Даже в детстве. Прежде ты каждую шавку был готов целовать. С тобой что-то творится.

— Со мной все в порядке, — твердил Джордж, стараясь главным образом убедить самого себя. — Со мной ничего не творится. Я ни в кого не превращаюсь.

— Тебе лучше знать.

Джорджу не давала покоя мысль: его мать относится к нему без всякой заботы, словно он подопытное животное.

— Скажи, ты ходишь гулять по ночам, когда мы с отцом засыпаем?

— А если и хожу, что тут особенного? — парировал Джордж, не имея времени сочинить убедительную ложь.

— Это я у тебя должна спросить. Нашлись люди, которые видели, как ты в три часа ночи скакал и кувыркался по парку. Тоже скажешь — ничего особенного?

Постепенно начались и физические изменения. Однажды Джордж проснулся от страшной боли в правой руке и некоторое время лежал, не решаясь на нее посмотреть. Потом он левой рукой включил прикроватную лампу и наконец осмелился вытащить правую руку из-под одеяла. Ладонь покрылась мягким пушком, а пальцы не желали распрямляться. Они так и оставались согнутыми, зато ногти сделались длиннее и толще. Джорджу было противно глядеть на изменившуюся руку, но потом это чувство прошло. Он даже удивлялся, отчего так разнервничался. Это вполне нормально, что вместо пальцев у него когти, а ладонь покрыта шерстью. На следующее утро правая рука ничем не отличалась от левой, и Джордж посчитал случившееся безумным сном, хотя сам в это мало верил.

Но однажды ночью ему приснился ужасающий кошмар, где фантазия так перемешалась с реальностью, что правда и вымысел стали неразличимы. Джордж бежал по парку, делая большие изящные прыжки. Его сердце ощущало удивительную радость, а ум — безграничную свободу. Мир вокруг стал черно-белым: черная трава, белые силуэты деревьев, серое небо, белая луна. Однако за всей этой радостью и свободой таилось слабое подспудное ощущение нереальности происходящего. Что-то взывало к его разуму, требуя рассеять иллюзию. Мозг, выполнявший роль стороннего наблюдателя, требовал: «Проснись!» Но Джордж не спал. Не

под его ли ногами хрустела трава и не его ли шерсть обдувал приятный ночной ветерок? Впереди несся большой черный кот, пытаясь спастись от погони. Но ни деревьев, ни крыш котяре не попадалось, а колючие кустарники были слишком низкими, чтобы служить защитой. Наконец Джордж загнал его в какую-то дыру. Отчаянные вопли кота, его острые когти, теплая кровь, теплое мясо, в которое вонзились зубы Джорджа. Это было восхитительно. Он насытился.

Утром Джордж проснулся в своей кровати и уже был готов объявить ночные события кошмарным сном, если бы не царапины на лице и руках и не кровь в слипшихся волосах. Джордж думал о психиатрах и клиниках, о священниках и религии. Перебрав множество разных возможностей, он остановился на единственно приемлемом решении. Во всем мире он знал лишь трех человек, способных понять и объяснить его состояние.

Дверь ему открыла Мамочка. Отец дружески пожал руку, Карола нежно поцеловала его, а когда он заплакал, так же нежно обняла.

— Никто из нас не стремился к подобной участи, — прошептала она. — В нашей жизни больше ужасов, чем мы отваживаемся показать.

— Все мы занимаем свои места на большом кладбище, — подхватил Отец. — Ты охотишься, мы сосем кровь, упыри рвут трупы, тенюшники лижут, что осталось, смешатники дуют, а тенюшатники — помесь тенюшников со смешатниками, — те вообще могут только свистеть.

— И я теперь… всегда буду таким? — дрожащим голосом спросил Джордж.

Семейство кивнуло: Мамочка мрачно, Отец — со знанием дела, а Карола — с грустью.

— До тех пор, пока луна не исчезнет с небес, — в унисон произнесли они.

— Или пока тебе не выстрелят в сердце серебряной пулей, — прошептала Карола. — Но убить тебя сможет только тот, кто еще лишь думает о грехе, а сам безгрешен. А когда ты станешь совсем старым, у тебя сердце может не выдержать превращения…

— Перестань болтать разные ужасы, — осадила ее Мамочка. — Парню и так досталось, а ты добавки подкладываешь. Лучше иди завари ему чаю. И нам сделай коктейльчик повкуснее. Только не пролей нулевую группу. Ее у нас мало.

Они уселись возле камина с искусственными поленьями. Джордж глотал горячий чай, семейство потягивало холодную кровь. Никто над ним не смеялся, никто не упрекал, наоборот, давали полезные советы. Впервые за долгое время Джордж почувствовал себя вполне уютно.

— Все, кто из нашей породы, должны держаться подальше от церквей, священников и бойскаутов, — наставлял Джорджа Отец.

— Беги от креста, а от молитвы — так со всех ног, — добавила Мамочка.

— Вдвоем бежать легче, — робко заметила Карола.

На следующий день Джордж объявил матери, что намерен покинуть родительский дом и жить отдельно. Пару месяцев назад миссис Хардкасл стала бы спорить и говорить, что он еще наживется самостоятельно. Но сейчас, глядя на мрачное, бледное лицо сына, она понимала: мальчик вырос совсем не таким, о каком она мечтала.

— Что ж, думаю, самое время, — сказала она и принялась помогать ему собираться.

Отец Джорджа, у которого был знакомый торговец недвижимостью, подыскал сыну четырехкомнатный домик близ церковного кладбища. Родители отдали ему кое-что из мебели и утвари. Разумеется, новое жилище Джорджа не отличалось изяществом дворца Хэмптон-Корт, зато теперь никто не узнает, когда он уходит на свои ночные прогулки и когда возвращается.

Старые легенды об оборотнях, как он обнаружил, были изрядно приукрашены: он не чувствовал желания кого-либо рвать когтями или даже кусать. В том не было надобности; в животном царстве убивают только из-за чувства голода, а Джорджу вполне хватало обычной пищи. Ему было достаточно прыгать, кувыркаться, ловить свой хвост и иногда выть от переполнявшей его радости жизни. А радость Джорджа, надо сказать, возрастала с каждым днем.

По вполне понятным причинам бракосочетание Джорджа и Каролы происходило не в церкви, а в соответствующем отделе муниципалитета. Казалось, темные боги благословляют этот союз, поскольку день выдался на редкость туманным. Празднество было достаточно скромным. Для тех, кто мог есть обычную пищу, приготовили красивый трехслойный торт, покрытый красной глазурью и украшенный (как надеялся Джордж) засахаренными вишенками. Со стороны жениха гостей не было, поскольку собравшееся здесь общество могло бы шокировать людей непосвященных: трое упырей в крахмальных саванах сосредоточенно глодали то, о чем лучше умолчать, невеста и ее родители потягивали из красных бокалов свой любимый и единственный напиток. Жених находился накануне очередной перемены, и потому, когда его просили передать салфетку, в ответ рычал. Находившийся среди гостей некий дядюшка Дитмарк — вампир старого закала — без конца требовал, чтобы ему подали связанную

жертву, а то он жаждет напиться свежей крови.

Наконец молодоженам позволили уйти. Родители невесты плакали, бросая гробовые гвозди вслед удаляющемуся катафалку.

— Прекрасное торжество, — всхлипывал Отец, утирая глаза тыльной стороной ладони. — Давно не видел такой кровавой сходки. Тебе есть чем гордиться, Мамочка.

— А сколько добрых напутствий получили молодые, — сказала та. — Теперь, как говорят, им пора самим вскрывать себе вены.

Джордж и Карола следили за луной, поднимавшейся над остроконечной крышей церкви. Это было немного опасно — в лунном свете отчетливее проступал крест. Однако в ту ночь они могли бы противостоять самому Папе Римскому.

— Мы с тобой больше не одиноки, — прошептала Карола. — Мы любим и любимы, и это наверняка превратило нас из чудовищ в богов.

— Если счастье способно преобразить ветхий домик в рай, тогда мы и впрямь боги, — ответил Джордж, негнущимися пальцами гладя жену по волосам.

Он только забыл, что в каждом раю обязательно есть свой змей. Их змей скрывался под личиной пухленького священника по имени Джон Коул. Нос святого отца был устроен так, что везде и всюду вынюхивал притаившееся зло. Прошло совсем немного времени, и в поле зрения бдительного Коула попали обитатели домика на краю кладбища.

Священник нанес визит, когда Джорджа не было дома, и пригласил Каролу на собрание комитета молодых прихожанок, занимавшихся украшением алтаря. Карола посерела, извинилась и сказала, что прийти не сможет. Тогда преподобный Коул достал Библию и предложил почитать избранные отрывки из Священного Писания. Увидев книгу, хозяйка дома отпрянула, будто кролик от надвигающейся кобры. После этого священник, словно бы случайно, уронил ей на колени свое распятие. Молодая женщина вскрикнула, точно на нее пролили кипяток, потом упала в обморок. Святой отец удалился, испытывая большую радость, какую испытывает садист, знающий, что всего лишь исполняет свой долг.

На следующий день, когда Джон Коул спешил к постели умирающей прихожанки, его не слишком учтиво схватил за пухлую руку Джордж.

— Это вы напугали вчера мою жену, когда меня не было дома?

Священник оскалил зубы, и хотя Джордж сейчас находился вполне в человеческом облике, оба мужчины напоминали псов перед дракой.

— Какая благочестивая женщина съежится при виде святой книги и станет кричать от прикосновения распятия? — назидательно спросил

преподобный Коул.

Пальцы Джорджа еще сильнее стиснули мясистую руку священника.

— Запомните, как вас там, у нас с женой аллергия на Библию, кресты и пронырливых священников. Первое я жгу, второе ломаю, а третье — развеиваю в прах. Я доходчиво объяснил?

— У меня долг перед Богом и человеком, — заявил Божий служитель, неприязненно глядя на руку дерзкого парня. — И долг этот велит клеймить зло везде, где оно мне попадется. И делаю я это всеми средствами, каковые есть в моем распоряжении.

Они расстались с чувством взаимной неприязни. Джордж по своей наивности полагал, что страх является действенным оружием.

К сожалению, он не знал, что гораздо чаще раны лишь усиливают, а не ослабляют сопротивление. В одну из ночей полнолуния, когда церковь и окрестности превратились в черно-белую гравюру, преподобный Коул столкнулся с исчадием, лишившим его дара речи на целых двенадцать часов. Это существо двигалось на согнутых ногах и имело очень длинные руки, которые оканчивались когтями, жадно тянувшимися в глотке священника. Морда существа могла привидеться только в кошмарных снах. Однако Коул зрел ее наяву — жуткую морду с большим слюнявым рылом.

В то же время жена священника — женщина весьма пугливая и еще не познавшая силу двух деревянных брусьев, соединенных под углом девяносто градусов, зажала рот рукой, чтобы не закричать при виде бледнолицей молодой женщины, невесть откуда появившейся в спальне. Реакция мужа и жены наглядно отражала их характеры. Преподобный Коул, испустив вопль, бросился бежать со всех ног и мчался, пока не очутился в церкви и не забаррикадировал вход большим крестом, использовавшимся для торжественных служб. Миссис Коул даже не вскрикнула — она просто упала в обморок. И если священник на время лишился дара речи, то его жена, очнувшись, обнаружила, что лишилась некоторого количества крови.

Преподобный Коул был весьма эксцентричным проповедником. От его проповедей вставали волосы на головах даже самых равнодушных и циничных прихожан… если, конечно, те вслушивались в смысл изливающихся с кафедры слов. Сила воскресной проповеди, воспламененной личным кошмарным опытом и страданиями жены, была такова, что трое прихожан проснулись, а мальчик-служка проглотил комок жевательной резинки.

— Дьявол заслал своих лазутчиков в наши ряды, — гремел с амвона святой отец. — Да, возлюбленные мои! Они имели дерзость поселиться

совсем близко от нашей церкви и пугать богобоязненных людей своим звериным обличьем.

Служка, проглотивший жвачку, хихикнул. Гнев священника, который нарастал и искал выхода, тут же излился на дерзкого юнца.

— Не смей хихикать! Тебе говорю, маловер! Я говорю о том, чему сам был ужаснувшимся свидетелем. Всего несколько ярдов отделяло меня да, примерно так, как от кафедры до того места, где ты сидишь, неразумный смехач… несколько ярдов отделяло меня от жуткого зверя и его слюнявой морды. Его когти тянулись к моему горлу, и только заступничество Господа не позволило ему вцепиться мне в глотку и разорвать ее. Столкновение с этим исчадием даже привело к самопроизвольному опорожнению моих внутренностей, однако я сразу понял, кто передо мною. То был один из воинства Сатаны, а именно — мерзкий оборотень.

Услышав это, не менее дюжины прихожан решили, что их священник спятил и вместо проповеди изливает на них какие-то бредни. Еще двадцать вообще не поняли, о чем речь, и только одна старуха подумала, что присутствует при блестящем изложении трех начальных стихов из тринадцатой главы Откровения святого Иоанна. Остальные вообще не слушали, но заметили, что святой отец сегодня в особом ударе. Его голос гремел на всю церковь, а пухлый кулак молотил по кафедре.

— Но на этом, возлюбленные мои, ужасные события, обрушившиеся на нашу семью, не кончились. Моя супруга и помощница во всем, с которой мы вот уже двадцать лет идем по жизни рука об руку, тоже подверглась нападению другого исчадия, в женском облике. Ее атаковала нечестивая вампирша, вылезшая из своей смердящей могилы и отнявшая у моей дорогой жены то, с чем ей было так тяжело расставаться…

Но на пути его красноречия встали невежество и невнимание публики. Слова преподобного Коула падали на весьма каменистую почву, и им не поверил никто, кроме Вилли Митчема. Вилли искренне верил в вампиров, оборотней, а также признавал существование банши, демонов, полтергейста, всевозможных призраков и монстров. Он даже верил в большое, скользкое, извивающееся нечто, чему еще не дали имени. Поскольку Вилли было всего двенадцать лет, он с усердием набирался знаний о нечистой силе и стал настоящим экспертом по демонологии. К тайной радости отца и явному неудовольствию матери, книжный шкаф мальчишки был плотно набит всевозможными книжками о всевозможной чертовщине. Например, Вилли знал, что единственный способ прогнать банши — это трижды плюнуть в открытую могилу, трижды поклониться луне и громко произнести заклинание:

Иди на север, иди на юг,

Прямо к дьяволу — тебе он друг.

Отныне и днем, и ночью молчи, Иначе задую, как пламя свечи.

Из книг, телепередач и фильмов мальчишка усвоил, что вампира можно убить только колом, который нужно загнать ему в сердце, сделав это в промежуток времени от рассвета до заката. Против оборотней тоже имелось надежное средство — серебряная пуля. И потому Вилли внимательно слушал проповедь Коула и понимал то, чего не могли и не желали понять взрослые. Мальчишке хотелось крикнуть священнику, что давно существуют проверенные временем способы борьбы со всей этой нечистью. Вилли был готов рассказать об этом обстоятельно, со всеми необходимыми подробностями, не утаив ни светлых, ни мрачных последствий. Однако мать толкнула демоноборца в бок и велела не ерзать. Вилли затих, но внутри его все пылало, и сам он сгорал от нетерпения просветить Коула насчет столь очевидных вещей.

В начале марта, одним прекрасным ранним утром, население домика у кладбища увеличилось. Окна были тщательно зашторены, чтобы не пропускать внутрь лучи яркого весеннего солнца. А счастливые родители смотрели на свое чадо — первого вампирооборотня. Как и все новорожденные, он был маленьким, сморщенным, жутко несимпатичным, но молодая мать словно не видела этого. Ее восхищало, что дитя родилось с двумя глазными зубами. Вместо плача младенец издавал резкие шипящие звуки, будто был детенышем королевской кобры, и кусал все, что двигалось.

— Гляди, какая прелесть, — восторженно вздыхала Карола. Она помахала младенцу, который тут же изогнул губки и заурчал. — Какой проворный. Милый маленький кусачка Мамочкин кусачка.

— Он станет необычайно умным, — заключил Джордж, понаблюдав за сыном. — Широкий лоб. А какие у него темные глаза! В них просто бездна ума. Заметь, дорогая, у него твой рот.

— Пока еще нет, но скоро будет, если за ним не следить, — ответила Карола. — Сейчас он выглядит как вампир, а в полнолуние у него появятся шерсть на ручках, коготки и премиленький хвостик.

Ее предсказания в точности исполнились.

Преподобный Джон Коул выждал несколько недель, после чего решил нанести молодым родителям официальный визит. За это время он укрепил свое мужество (надо признать, он был весьма мужественным человеком), посоветовался с церковным начальством (чья помощь ограничилась общими фразами) и не раз пытался убедить всех подряд, какая опасность

им угрожает. Число его прихожан сокращалось; завидев священника, многие переходили на другую сторону улицы. Зато его постоянно донимал какой-то настырный мальчишка, болтающий разную чушь про оборотней и вампиров. Наконец святой отец почувствовал, что готов к решительной схватке со злом. Вооружившись верой, распятием и бутылочкой виски, он отправился на битву. Из окна дома напротив за ним следил Вилли Митчем. Мальчишка сразу догадался, куда направил свои стопы неистовый проповедник. Распахнув форточку, он крикнул:

— Не будьте идиотом, святой отец! Сейчас полнолуние.

Джон Коул не слышал этих слов. Все его мысли были заняты предстоящим сражением.

На его громкий стук в дверь никто не ответил, что было совсем не удивительно: Карола вновь отправилась с визитом к миссис Коул, а Джордж несся по пустоши, преследуя обезумевшую от страха овцу. Младенец еще не достиг того возраста, когда от детей требуется подходить к двери и спрашивать, кто там. Преподобный Коул подергал ручку и обнаружил, что не заперто. Тогда он открыл дверь, перекрестился и с благочестивым рвением устремился внутрь.

Внутри ждала довольно уютная маленькая гостиная с беленными стенами, двумя старинными креслами, складным столом и приятными ковриками на полу. Здесь было тепло от недавно топленного камина, с потолка свисала старинная масляная лампа, которую Джордж переделал под электричество.

— Есть тут кто-нибудь? — спросил преподобный Коул.

Не получив ответа, он плюхнулся в кресло и стал ждать. Кресло было мягким и удобным, комната — теплой, и бдительность священника сменилась сонливостью. Он стал клевать носом, веки отяжелели, рот открылся, и через некоторое время гостиная наполнилась негромким музыкальным храпом.

Надо сказать, что преподобный Коул до последнего момента противился сну и отчитывал свою плоть за слабость. Но его благостная дрема длилась недолго. Священника разбудил собственный крик, заставивший его подскочить в кресле. Правую лодыжку обожгло болью. Он дернул ногой, и что-то мягкое, но тяжелое придавило его ступню, издавая странное шипение. Священник снова закричал, дрыгнул ногой и с усилием сбросил непонятное существо. Пролетев по воздуху, оно шлепнулось на ковер у окна, а потом, шипя и скуля, вновь поползло в сторону обомлевшего священника. Коул попробовал было закрыть глаза, однако они не желали закрываться и позволили ему разглядеть создание, которое

только человек с извращенным чувством юмора мог бы назвать младенцем. Тело вампиреныша (так мысленно обозначил существо Коул) густо покрывала шерсть, руки больше напоминали когтистые лапы, а спина оканчивалась хвостиком, сердито дергающимся в разные стороны. Ноги действовали как пружины, позволяя перемещаться быстрыми прыжками. Лицо у него было белое, с двумя крошечными клыками, торчащими из-под верхней губы, кровь священника испачкала рот (или пасть), хищные глазки радостно сверкали. Чувствовалось, что лакомство вампиренышу очень понравилось и ему не терпелось снова припасть к жизнетворному источнику.

Тут преподобный Коул истошно закричал и вспомнил, что у него тоже есть ноги, способные если не прыгать, то бегать. И бросился к двери.

Зрелище было неповторимое: грузный пыхтящий священник, давно забывший, что такое бег, несся, перепрыгивая через могилы. Вампиреныш остался на пороге и с тоской глядел вслед улепетывающему Коулу. Потом он завыл и стал царапать пол. Досада вампиреныша была вполне понятной: не успел он найти такую чудную и вкусную поилку, как она ускакала.

Вилли Митчем торжествовал. Наконец-то среди упрямых и тупоголовых взрослых нашелся один, которого беда заставила увидеть истинное положение вещей. Наткнувшись на священника, запутавшегося в кусте боярышника, он понял теперь его выслушают со вниманием. И не только выслушают, но и послушаются.

— Я его видел, — сообщил Вилли, чувствуя себя счастливейшим мальчишкой в мире. — Клыки — во! Выбежал из своего дома и поскакал в сторону пустошей.

— Ах! — воскликнул преподобный Коул и стал пересчитывать свои пальцы.

— И ее я видел, — продолжал Вилли. — Подошла к вашему дому и по водосточной трубе забралась в окно спальни. Совсем как в фильме «Знак вампира».

— Уничтожь все зло, — закричал преподобный Коул. — Вырви его с корнем. Иссеки…

— Да не то вы говорите, — перебил его Вилли. — Чтобы убить вампира, нужно вогнать ему в сердце кол. А оборотня убивают серебряной пулей, и сделать это должен тот, кто только думает о грехе.

— Откуда ты почерпнул все эти сведения? — спросил священник.

— Как откуда? Из ужастиков. Ну, комиксы есть такие. Про разные ужасы. Там все очень подробно рассказано. А если вы сходите на фильм «Вампир из Хэкни-Вик», то сами увидите, что делал священник.

— А что он делал? — неуверенно спросил Джон Коул.

— Он отрезал вампиру голову и еще ему в рот засунул чеснок.

— Покажи мне все, что у тебя есть, — потребовал священник.

— Сейчас уже поздно. Завтра приходите. Покажу, — пообещал гордый собой Вилли и удалился.

Семейство Митчемов не только удивилось, но и несколько встревожилось, когда их сын впустил преподобного Коула и небрежно бросил родителям:

— Это ко мне. Святой отец хочет посмотреть мои ужастики.

Взяв оторопевшего священника за руку, юный эксперт-демонолог повел его к себе на второй этаж.

К своему ужасу, преподобный Коул убедился, что Вилли Митчем ни капельки не преувеличивал. Священник шумно дышал, листая комиксы с наглядными картинками и доходчивыми объяснениями. За каких-нибудь два часа он немало узнал о происхождении, привычках, увлечениях и ритуалах вампиров, оборотней и прочих исчадий мира тьмы.

— А где мы добудем… — начал было Коул, но Вилли понял его с полуслова.

— У нас в кладовке есть колья для палатки. Возьму мамин молоток, которым она уголь разбивает. Шикарно подойдет.

— Но ведь нужные еще серебряные пули. — Священник удрученно покачал головой. — Не думаю, что их продают в охотничьих магазинах.

— Я и про это подумал. От деда остались серебряные запонки. Мы их паяльником расплавим и зальем в патрон от папиной винтовки двадцать второго калибра. Ваше преподобие, давайте это сделаем. Если вы согласитесь, обещаю, что больше не буду пропускать воскресную школу.

Преподобный Коул не терзался долгими раздумьями: укус вампиреныша послужил весомым аргументом.

— Да, — кивнул он мальчишке. — Мы избраны. Так препояшем же наши чресла, натянем боевые тетивы и уничтожим порождения зла.

— Классно! — поддержал его обрадованный Вилли. — Столько крови. А вы позволите мне отрезать им головы?

Если бы кому-нибудь вздумалось прогуливаться в два часа ночи вблизи кладбища, его взору предстало бы любопытное зрелище. Между могил крался грузный священник, вооруженный распятием и угольным молотком. За ним вприпрыжку двигался мальчишка, неся в одной руке палаточный кол, а в другой — легкую охотничью винтовку.

Они подошли к логову зла. Священник распахнул дверь и выставил перед собой распятие. Гостиная встретила их теплом и уютом. В камине

потрескивали дрова, и пламя бросало отсветы на потолок. Неярко светила медная лампа, похожая на застывшую звезду. Все остальное тонуло во мраке. Джон Коул вошел в гостиную, будто ангел возмездия, и громогласно возвестил, подняв над головой распятие:

— Я пришел искоренить зло и выжечь грех. Ибо как сказал Господь, да будут прокляты поклоняющиеся тьме.

Послышался вздох. Возможно, шипящее всхлипывание. Карола сжалась в углу. У нее подкосились ноги, лицо было белым, как снежный сугроб под луной, глаза — черные лужицы ужаса. Зато губы вампирессы были ярко-красными, словно запечатлели миллион кровавых поцелуев. Руки, бледные и слабые, тщетно пытались заградиться от стены нетерпимости. Священник опустил распятие, и всхлипывание превратилось в крик отчаяния.

— За что? — прошептала она.

— Где твое исчадие, укусившее меня в ногу?

Карола была не в силах отвести глаза от нависшего над нею распятия.

— Я отнесла его… отнесла его… к бабушке.

— Так значит, вас больше, чем я думал? Может, имя вам — легион? Дьявол заботится о своем потомстве.

— Мы на грани исчезновения, — прошептала она.

Когда преподобный Коул увидел ужас в красивых глазах вампирши, его душа возликовала, а когда Карола закричала, он словно вкусил плодов радости. Схватив ее за платье, священник вначале поставил женщину на ноги, а затем поднял и разложил на столе. Он шипела и делала слабые попытки защититься, даже слепо вцепилась белыми зубками в его руку. Но на этом сопротивление Каролы прекратилось: не было ни отчаянной битвы за существование, ни взываний к темным богам. Она полностью покорилась судьбе и лежала на столе, а ее черные волосы свисали до самого пола. Казалось, ее настигло неизбежное возмездие, от которого она долго скрывалась. Священник приставил кол к ее сердцу, взял из рук скачущего от радости Вилли молоток и произнес традиционные слова:

— Так отправляйся же в ад, где тебе гореть всю вечность и еще один день. И пусть твой смердящий труп послужит пищей шакалам, и шелудивые псы будут лизать твою кровь.

Первый удар вогнал кол на три дюйма. Послышался хруст ребер. На мгновение священник в ужасе отпрянул. Боясь, как бы его решимость не ослабела, он ударил снова, и из тела Каролы хлынул ярко-красный фонтан, похожий на россыпь рубинов. Кровью забрызгало медную лампу, потолок и лицо священника. Подобно деснице судьбы, молоток ударил в третий раз.

Фонтан иссяк, а под столом собралась лужа крови. Карола испустила последний вздох и застыла, словно деталь черно-белого натюрморта.

— Отрежьте ей голову, — крикнул священнику Вилли. — Обязательно отрежьте, иначе все пропадет. И чеснок затолкайте в рот.

Но преподобный Коул был занят другими мыслями. Он с ужасом обнаружил, что с ног до головы залит кровью вампирши: кровь забрызгала ему волосы, попала в глаза, испачкала всю одежду и превратила ногти на руках в красные когти. Вилли рылся в кармане куртки. Вот, я мамин хлебный нож прихватил. Полосните ей по шее.

Преподобный Коул отер рукавом глаза и стряхнул кровь с пальцев. Истинно сказано: и поведет их малое дитя. Будь я внимательнее к делам Господа, я бы догадался взять ножовку с мелким полотном.

Резать голову хлебным ножом было трудновато. Священник справился с этим лишь наполовину, когда дверь распахнулась и на пороге гостиной появился Джордж. Он находился в стадии перемены, и Вилли не сразу определил, готовится ли оборотень принять звериный облик или, наоборот, возвращается к человеческому. Силуэт Джорджа застыл на фоне освещенного луной дверного проема, в своей неподвижности не менее опасный.

Он быстро вошел в гостиную, и преподобный Коул столь же быстро отступил.

Джордж поднял на руки изуродованное тело любимой. Его глаза были полны страдания.

— Мы с ней любили друг друга. За одно это многое должно было нам проститься. Мы не боялись смерти. Что такое смерть, как не славная награда за необходимость жить? Но это…

Он указал, на торчащий палаточный кол, на полуотрезанную голову и вопросительно поглядел на священника. Тогда преподобный Коул поднял крест и, держа его перед собой, выкрикнул голосом, хриплым от праха веков:

— И сказал Господь: Я есмь альфа и омега, и Я низрину тебя в бездну, где пребудешь вечно, до скончания времен и после. Ибо ты и род твой — суть смрадные порождения зла, и всякое зло, какое сотворят тебе, будет добром в очах Моих.

Лицо Джорджа Хардкасла превратилось в каменный барельеф. Потом оно заблестело, морщины расправились, кожа покрылась шерстью, а глаза отступили в глубь глазниц. Челюсти и нос слились воедино и превратились в длинное остроконечное рыло. Оборотень бросил на пол останки жены и двинулся на ее убийцу.

— Изыди, Сатана!

Преподобный Коул выставил вперед распятие, считая его действенным оружием. Но оборотень легко переломил крест своими шерстистыми лапами. Отшвырнув обломки, он взвыл и кинулся на священника. В жирное плечо Коула вонзились острые клыки.

Под качающейся медной лампой сцепились силы добра и силы зла. Коулом и оборотнем в одинаковой степени двигали ненависть и страх. Каждый из них видел только своего врага. На мальчишку с винтовкой никто не обращал внимания. Гостиная была полна сопения и рычания, сквозь которые легкий хлопок почти не был слышен. Но результат говорил сам за себя. Оборотень закричал, потом с немым укором поглядел на сияющего Вилли, после чего рухнул на пол. Когда священник несколько пришел в себя и глянул вниз, он увидел мертвое лицо Джорджа Хардкасла. Находись преподобный Коул чуть правее границы, разделяющей рассудок и безумие, возможно, его обуяли бы ужасные сомнения.

— Вы ей голову отрежете до конца? — спросил Вилли.

Преподобного Джона Коула поместили в тихий дом, окруженный прекрасным садом. Вилли Митчема отправили в другой дом, поскольку суд по делам несовершеннолетних в своей мудрости решил, что он нуждается в опеке и защите. Тела Джорджа и Каролы похоронили на церковном кладбище, произнеся над их могилами красивые траурные речи.

Очень жаль, что никто не прислушался к словам Вилли, когда он говорил о необходимости довести это дело до конца.

Как-то вечером, когда светила полная луна, двое джентльменов из числа персонала дома с прекрасным садом зашли в комнату, чтобы поговорить с бывшим священником Джоном Коулом. К сожалению, разговор этот не состоялся. Один из двоих тут же скончался от страха, а второй впал в безумие, которым вовсе не страдал его пациент Коул. Бывший священник Джон Коул был искусан малолетним исчадием тьмы, его кровь до последней капли высосала вампирша, а тело разодрал взрослый оборотень.

Только добрый Бог на небесах и злой Сатана в аду знают, кем был этот взрослый оборотень.

Ричард Бертон Матесон

Ричард Бертон Матесон родился в 1926 году в Эллендейле, штат Нью-Джерси, а затем переселился в Бруклин, штат Нью-Йорк. В годы Второй мировой войны он вступил в действующую армию и служил в пехоте. Он получил звание бакалавра журналистики в Университете Миссури, а потом переехал в Калифорнию, где стал популярным прозаиком и сценаристом.

Его книгам обязано своим появлением множество разнообразных теле- и кинофильмов, в том числе «Дуэль» (1971), снятая для телевидения дебютная лента Стивена Спилберга о грузовике-убийце, терроризирующем мирного водителя легковушки, «Крадущийся в ночи» (1972), получивший премию Эдгара Аллана По как лучшая телепостановка, ряд эпизодов в многочисленных сериалах, среди которых — «Есть оружие — могу путешествовать», «Час Альфреда Хичкока», «Ночная галерея» и самые запоминающиеся выпуски «Сумеречной зоны».

Перу Матесона принадлежит ряд киносценариев, написанных по мотивам как его собственных, так и чужих произведений, — например, «Уменьшающийся человек» (1956), экранизированный в 1957 году под названием «Невероятно уменьшающийся человек», несколько фильмов Роджера Кормана, являющихся вольными переложениями рассказов Эдгара По, и, наконец, «Я — легенда» (1954), экранизированный в 1964 году под названием «Последний человек на Земле», в 1971 году — под названием «Человек Омега» и в 2007 году — под названием «Я — легенда», а также ставший сюжетной основой «Ночи живых мертвецов» (1968) Джорджа Ромеро.

Рассказ «Кровный сын» был впервые опубликован в журнале «Воображение» в апреле 1951 года.

Кровный Сын

Когда обитатели дома узнали о сочинении Джула, они окончательно уверились, что Джул псих.

Подозревали об этом уже довольно давно.

От его пустого пристального взгляда людей бросало в дрожь. Его сиплый гортанный голос никак не вязался с хрупким телом. Его бледная кожа пугала многих детей. Создавалось впечатление, будто бы она ему велика. Он ненавидел солнечный свет.

И мысли его казались окружающим несколько «с приветом».

Джул хотел стать вампиром.

Люди уверяли, будто знают наверняка, что он родился в ту ночь, когда буря с корнем вырывала деревья. Ходили слухи, что он родился с тремя зубами. Утверждали, будто бы этими зубами он впивался в материнскую грудь и сосал вместе с молоком кровь.

Говорили, что он часто лаял и гоготал в своей колыбельке с наступлением темноты. Говорили, что он пошел в два месяца и сидел, таращась на луну, когда она появлялась на небе.

Вот что говорили другие.

Родители вечно переживали из-за него. Единственный ребенок, так что

они быстро заметили все его странности.

Они думали, что он слепой, пока врач не объяснил им, что он просто смотрит мимо предметов. Он сказал им, что Джул, при такой огромной голове, может оказаться гением или же идиотом. Выяснилось, что он идиот.

Он не произносил ни слова до пяти лет. После чего однажды вечером он пришел к ужину, сел за стол и произнес: «Смерть».

Его родители не знали, что испытывать: восторг или ужас. В итоге они нашли золотую середину между двумя эмоциями. Они решили, что Джул не понимает значения этого слова.

Но Джул прекрасно понимал.

Начиная с того вечера у него накопился такой обширный лексикон, что все знавшие его были ошеломлены. Он не только запоминал любое сказанное ему слово, слова с вывесок, из журналов и книг — он придумывал свои собственные слова.

Такие как сумракасание. Или гибелюбовь. Конечно, это были просто пары слов, слитые воедино. Они обозначали явления, которые Джул понимал, но не мог выразить обычными словами.

Он часто сидел на крыльце, пока остальные дети играли в классики, мячик и другие игры. Он сидел там и пристально глядел в переулок, придумывая слова.

До двенадцати лет Джул почти не попадал в неприятные истории.

Правда, однажды его застукали за тем, что он раздевал в переулке Олив Джоунз. А еще раз его поймали за вскрытием котенка прямо на кровати.

Но эти случаи разделял промежуток в несколько лет. Те скандалы позабылись.

В общем и целом он пережил детство, не вызывая в людях особого отвращения.

Он ходил в школу, но ничему не учился. Он сидел по два-три года в каждом классе. Все учителя знали его по имени. На некоторых уроках, таких как чтение и письмо, он блистал.

На других — безнадежен.

В одну субботу, когда ему исполнилось двенадцать, Джул отправился в кино. Он смотрел «Дракулу».

Когда сеанс закончился, он прошел, дрожащий комок нервов, мимо других мальчиков и девочек.

Он пришел домой и на два часа заперся в ванной комнате.

Родители колотили в дверь и угрожали, но он так и не вышел.

В итоге он отпер дверь и сел за стол ужинать. Палец у него был

перевязан, а по лицу растекалось довольное выражение.

На следующее утро он отправился в библиотеку. Это было воскресенье. Он весь день просидел на ступеньках, дожидаясь, пока библиотека откроется. В конце концов он вернулся домой.

На следующее утро он снова пришел сюда, вместо того чтобы пойти в школу.

Он обнаружил на полке «Дракулу». Он не имел права взять книгу, потому что не был записан в библиотеку, а чтобы записаться, требовалось привести кого-нибудь из родителей.

Поэтому он сунул книгу за пояс брюк, вышел из библиотеки и так и не вернул книгу.

Он направился в парк, сел там и прочитал книгу от корки до корки. Был уже поздний вечер, когда он закончил.

После чего начал сначала, переходя от одного уличного фонаря к другому, и читал всю дорогу домой.

Он не услышал ни слова, пока его бранили за то, что он пропустил обед и ужин. Он поел, ушел в свою комнату и читал книгу, пока не дочитал до конца. Его спросили, где он взял книгу. Он сказал, что нашел ее.

Шли дни, а Джул все перечитывал и перечитывал «Дракулу». Он так и не пошел в школу.

Поздно ночью, когда сон все-таки брал над ним верх, мать приносила книгу в гостиную показать отцу.

Однажды они заметили, что Джул подчеркивает некоторые места неровными карандашными линиями.

Например: «Ее губы были багровыми от свежей крови, тонкая струйка стекала с подбородка, марая белоснежный батистовый саван».

Или: «Когда кровь брызнула, он крепко сжал обе мои ладони своей рукой, а свободной схватил меня за шею и прижал мой рот к ране».

Когда мать увидела это, она вышвырнула книгу в мусоропровод.

На следующее утро, обнаружив пропажу, Джул визжал и выкручивал матери руку. Чтобы его успокоить, она сказала ему, где книга.

Тогда он кинулся в подвал и принялся рыться в грудах мусора, пока ее не нашел.

С кофейной гущей и яичными скорлупками, приставшими к рукам, он отправился в парк и еще раз прочитал книгу.

Он перечитывал ее целый месяц. После чего изучил так хорошо, что выбросил, потому что знал ее теперь наизусть.

Из школы приходили сообщения о прогулах. Мать ругалась. Джул решил на время вернуться туда.

Он хотел написать сочинение.

И в один прекрасный день написал его в классе. Когда все закончили писать, учительница спросила, не хочет ли кто-нибудь прочитать свое сочинение перед классом.

Джул поднял руку.

Учительница удивилась. Однако отнеслась благожелательно. Ей хотелось подбодрить его. Она указала на него своим крошечным подбородком и улыбнулась.

— Прекрасно, — произнесла она. — Слушаем внимательно, дети. Джул сейчас прочитает нам свое сочинение.

Джул встал. Он был взволнован. Тетрадь дрожала у него в руке.

— «О чем я мечтаю», сочинение…

— Выйди к доске, Джул, детка.

Джул вышел к доске. Учительница ласково улыбнулась. Джул начал снова:

— «О чем я мечтаю», сочинение Джула Дракулы.

Улыбка померкла.

— Когда я вырасту, я хочу стать вампиром.

Уголки губ учительницы опустились, рот приоткрылся. Глаза расширились.

— Я хочу жить вечно, расквитаться со всеми и сделать всех девчонок вампиршами. Я хочу вдыхать запах смерти.

— Джул.

— Я хочу выдыхать смрад мертвой земли, склепа и гниющих гробов.

Учительница содрогнулась. Она вцепилась руками в зеленый классный журнал. Ей было трудно поверить своим ушам. Она посмотрела на детей. Те сидели с разинутыми ртами. Некоторые хихикали. Но только не девочки.

— Я хочу, чтобы моя плоть была гнилой и холодной, а по венам струилась кровь других людей.

— Этого… кхе-кхе, гм!

Учительница громогласно откашлялась.

— Этого хватит, Джул, — сказала она.

Джул принялся читать громче и отчаяннее.

— Я хочу погружать свои жуткие белые клыки в чужую плоть. Я хочу, чтобы они…

— Джул! Немедленно сядь на место!

— Я хочу, чтобы они, словно лезвия, взрезали кожу и проникали до вен, — неистово продолжал Джул.

Учительница вскочила на ноги. Детей трясло от ужаса. Никто уже не

смеялся.

— Тогда я вытащу клыки и позволю крови литься потоком мне в рот, жаркими струями стекать по глотке и…

Учительница схватила его за руку. Джул вырвался и убежал в угол. Отгородившись стулом, он вопил:

— И я высуну язык и прильну губами к горлу своей жертвы! Я хочу пить кровь девочек!

Учительница кинулась на него. Она вытащила его из угла. Он царапался и завывал всю дорогу до двери, а потом до кабинета директора.

— Вот о чем я мечтаю! Вот о чем я мечтаю! Вот о чем я мечтаю!

Это было жутко.

Джула заперли у себя в комнате. Учительница с директором сидели вместе с родителями Джула. Они говорили траурными голосами.

Они пересказывали случившееся.

Все родители в доме обсуждали это. Многие из них сначала не поверили. Они решили, что их дети все выдумали.

Потом подумали, каких же чудовищных детей вырастили, если они выдумывают такое.

В общем, они наконец поверили.

После чего все вокруг ястребами высматривали Джула. Люди избегали его прикосновения или взгляда. Родители забирали детей с улицы, когда он приближался. Все рассказывали о нем небылицы.

Снова начали приходить записки о его прогулах.

Джул сказал матери, что больше не станет ходить в школу. Ничто не могло заставить его переменить решение. Он туда не пойдет.

Когда за ним пришел школьный надзиратель, занимавшийся прогульщиками, Джул бежал по крышам, пока не ушел от долга достаточно далеко.

Год протащился без толку.

Джул слонялся по улицам, выискивая что-то, он сам не знал что. Он заглядывал в переулки. Он заглядывал в мусорные бачки. Он заглядывал на стоянки. Он заглядывал в богатые районы, и в бедные, и в районы между ними.

Он не мог найти то, что хотел.

Он редко спал. Он совсем не разговаривал. Он все время смотрел в землю. Он забыл придуманные им словечки.

И вот.

В один прекрасный день Джул брел через зоопарк.

Словно электрический разряд пробежал по телу, когда он увидел

летучую мышь — вампира.

Глаза его расширились, а бесцветные зубы тускло блеснули в широкой усмешке.

И начиная с того момента Джул каждый день ходил в зоопарк и смотрел на летучую мышь. Он разговаривал с ней и называл ее Графом. Он чувствовал в глубине души, что это на самом деле человек, превратившийся в мышь.

Его снова охватила жажда к самообразованию.

Он украл из библиотеки еще одну книгу. О жизни животных.

Он нашел страницу с летучей мышью — вампиром. Вырвал ее, а книгу выбросил.

Он заучил этот раздел наизусть.

Он знал, как мышь прокусывает ранку. Как она слизывает кровь, словно котенок, лакающий сливки. Как она ходит на сложенных крыльях и задних лапах, словно черный, покрытый шерстью паук. Почему она не питается ничем, кроме крови.

Месяц за месяцем Джул смотрел на летучую мышь и разговаривал с ней. Это стало его единственным утешением в жизни. Единственным символом воплощенной мечты.

Как-то раз Джул заметил, что проволочная сетка снизу клетки отходит.

Он огляделся по сторонам, его черные глаза забегали. Он не заметил, чтобы кто-нибудь смотрел на него. День был пасмурный. Людей вокруг было не много.

Джул потянул сетку на себя.

Она слегка подалась.

Потом он увидел, как из домика с вольерами для обезьян выходит служитель. Так что он убрал руки и пошел прочь, насвистывая только что придуманный мотив.

Поздно ночью, когда предполагалось, что он уже спит, он босиком прошел через комнату родителей. Слышно было, как похрапывают отец и мать. Он поспешно выскочил из комнаты, надел ботинки и побежал в зоопарк.

Каждый раз, когда ночной сторож уходил подальше, Джул оттягивал проволочную сетку.

Он тянул ее, пока не оторвал.

Когда он закончил и ему было пора возвращаться домой, он приставил сетку на место. Чтобы никто не заметил.

Весь день Джул стоял перед клеткой, смотрел на Графа, посмеивался и говорил ему, что скоро тот снова окажется на свободе.

Он пересказывал Графу все, что изучил. Он сказал ему, что хочет попробовать спускаться по стенам вниз головой.

Он уговаривал Графа не переживать. Скоро тот выйдет на свободу. И тогда, вместе, они будут бродить по округе и пить кровь девчонок.

А ночью Джул отодвинул сетку и забрался внутрь.

Было очень темно.

Он опустился на колени перед маленьким деревянным домиком, прислушиваясь, в надежде уловить писк Графа.

Джул сунул руку в черный провал двери. Он все время шептал что-то.

Подскочил, когда почувствовал, будто в его палец впились иголки.

С выражением крайнего удовольствия на худом лице, Джул вытянул трепещущий шерстяной комок наружу.

Он выбрался из клетки с мышью в руке и побежал прочь из зоопарка. Он мчался по молчаливым улицам.

Время шло к рассвету. Черные небеса начали сереть. Он не мог вернуться домой. Ему надо было найти себе место.

Он прошел по переулку и перелез через забор. Он крепко держал мышь. Она прильнула к струйке крови, текущей из его пальца.

Джул прошел через двор и вошел в маленький заброшенный домик.

Внутри было темно и сыро. Дом был забит мусором, жестяными банками, промокшими картонками и испражнениями.

Джул решил, что отсюда мыши не сбежать.

Тогда он плотно прикрыл дверь и закрыл на щеколду.

Он чувствовал, как сильно бьется сердце и дрожат конечности. Он отпустил летучую мышь. Та улетела в темный угол и вцепилась в деревянную стену.

Джул судорожно сорвал с себя рубаху. Губы его дрожали. На его лице горела улыбка безумца.

Он сунул руку в карман брюк и вытащил маленький перочинный ножик, который похитил у матери.

Раскрыл лезвие и провел по нему пальцем. Нож прорезал кожу.

Дрожащей рукой он вцепился себе в горло. Полоснул по шее ножом. Кровь потекла по пальцам.

— Граф, Граф! — кричал он в безумном восторге. — Пей мою алую кровь! Пей меня! Пей меня!

Спотыкаясь о консервные жестянки, поскальзываясь, он двинулся к мыши. Мышь слетела со стены, метнулась через комнату и вцепилась в противоположную стену.

Слезы потекли по щекам Джула.

Он заскрежетал зубами. Кровь текла по его плечам и по впалой безволосой груди.

Все тело лихорадочно подергивалось. Он шагнул к противоположной стене. Оступился и упал, распоров бок об острый край жестяной банки.

Руки его взметнулись. Он схватил летучую мышь. Приложил ее к своему горлу. Опустился спиной на холодный сырой пол. Вздохнул.

Принялся стонать и хвататься за грудь. Содержимое желудка подступало к горлу. Черная мышь у него на шее беззвучно слизывала его кровь.

Джул ощутил, как жизнь вытекает из него.

Он подумал обо всех прошедших годах. Об ожидании. О своих родителях. О школе. Дракуле. Мечтах. Об этом. Этом нежданном счастье.

Глаза Джула резко распахнулись.

Зловонная комната поплыла вокруг него.

Он с трудом дышал. Он раскрыл рот, чтобы глотнуть воздуха. Он втянул его в себя. Воздух был полон смрада. Он закашлялся. Тощее тело содрогалось на холодном полу.

Языки тумана покидали его сознание.

Выплывали один за другим, похожие на шелковые вуали.

Внезапно его разум заполнила ужасающая ясность.

Он ощутил пронзительную боль в боку.

Он осознал, что лежит, полуобнаженный, среди мусора и позволяет летучей мыши пить свою кровь.

Со сдавленным криком он протянул руку и оторвал от себя покрытый мехом живой комок. Отшвырнул мышь от себя. Она вернулась, овевая ему лицо хлопающими крыльями.

Джул с усилием поднялся на ноги.

Двинулся к двери. Он едва видел. Он пытался остановить кровотечение из горла.

Ему удалось распахнуть дверь.

После чего, вырвавшись на темный двор, он упал лицом в высокую траву.

Он пытался позвать на помощь.

Но ни звука, если не считать бессмысленного бульканья, не сорвалось с его губ.

Он услышал хлопанье крыльев.

После чего внезапно все затихло.

Сильные пальцы осторожно подняли его с земли. Умирающий взгляд Джула различил высокого черноволосого мужчину, глаза которого

сверкали, словно рубины.

— Сын мой, — произнес мужчина.

Роджер Джозеф Желязны

Роджер Джозеф Желязны (1937–1995) родился в Юклиде, пригороде Кливленда, Огайо; он получил звание бакалавра искусств по специальности «английская литература» в Университете Западного резервного района и звание магистра по специальности «елизаветинская и яковитская драма» в Колумбийском университете. Работая в представительствах Службы социального обеспечения в Кливленде и Балтиморе, он по ночам сочинял рассказы и постепенно осваивал более крупные прозаические формы — повести, а впоследствии и романы. В 1969 году Желязны оставил службу, чтобы целиком посвятить себя литературному творчеству.

В 1954 году состоялась его первая публикация: рассказ «Мятеж мистера Фуллера», написанный в жанре фэнтези, приобрел журнал «Литературная кавалькада». Дебютным романом Желязны стал «Этот бессмертный» (1966, другое название «…И зовите меня Конрад»), разделивший с «Дюной» Фрэнка Герберта премию «Хьюго». За ним последовали романы «Повелитель снов» (1966), «Князь Света» (1967, премия «Хьюго»), «Создания Светы и Тьмы» (1969), «Остров мертвых» (1969) и «Долина проклятий» (1969). По мотивам последней из этих книг в 1977 году был снят одноименный фильм (чрезвычайно далекий от сюжета первоисточника) с Джорджем Пеппардом, Яном-Майклом Винсентом и Полом Уинфилдом в главных ролях; задумывавшийся как блокбастер, он был заслонен «Звездными войнами» — другим научно-фантастическим фильмом, выпущенным студией «20-й век Фокс» в том же году. Желязны — один из самых значительных представителей движения «новой волны» в научной фантастике 1960-х годов, перенесшего внимание с технологической проблематики на человеческую психологию. Он лауреат шести премий «Хьюго» и трех премий «Небьюла» от Американской ассоциации писателей-фантастов.

Рассказ «Дневная кровь» был впервые опубликован в журнале «Сумеречная зона» в мае-июне 1985 года.

Дневная кровь

Я припал к земле за углом провалившегося сарая у разрушенной церкви. Сырость просачивалась сквозь джинсы, но я знал, что мое ожидание должно скоро окончиться. Полосы тумана живописно стелились над промокшей землей, слегка колеблемые предутренним ветром. Погода для Голливуда…

Я бросил взгляд на светлеющее небо, точно определяя направление их прибытия. Через минуту я увидел, как они возвращаются: одно существо большое и темное, другое — бледное и поменьше. Как можно было догадаться, они проникли в церковь через отверстие, образовавшееся несколько лет тому назад, когда провалилась часть крыши. Я подавил зевок, глянув на часы. Через пятнадцать минут восходящее солнце окрасит румянцем восток. За это время они должны угомониться и заснуть. Может быть, чуть быстрее, но дадим им немного времени. Спешить пока некуда.

Я потянулся и захрустел суставами. Хорошо сейчас дома лежать в постели. Ночи предназначены для сна, а не для того, чтобы играть роль няньки для парочки глупых вампиров.

Да, Вирджиния, это действительно вампиры. Хотя нечему удивляться. Странно, что вы не встречали ни одного. Сейчас их не так уж много вокруг. Фактически они чертовски близки к вымирающему виду — что и понятно, если принять во внимание их уровень интеллекта.

Возьмем, например, этого парня, Бродски. Он живет, простите, обитает рядом с городом с населением несколько тысяч человек. Он мог бы посещать различных людей каждую ночь без опасения повториться, оставляя своих поставщиков продовольствия лишь с легким ощущением боли в горле, приступом временной слабости и парочкой царапин на шее, которые быстро заживают.

Но нет. Он испытывает симпатию к местной красотке — некоей Элайне Уилсон. Приходит к ней много раз. Вскоре она впадает в привычную кому и превращается в вампира. Знаю, знаю — я говорил, что вампиров вокруг не так уж много, но лично я полагаю, что еще несколько штук не повредили бы. Правда, Бродски мне не кажется удачным экземпляром, слишком он глуп и жаден. Никакой тонкости, никакого планирования. Одобряя прибавление новых членов к неумирающим, я опасаюсь его беспечности в проведении такой серьезной акции. Он оставляет след, который кто-нибудь может обнаружить; он также ухитряется оставить после себя так много хорошо описанных в литературе знаков и примет, что даже в наше время разумный человек мог бы догадаться, что к чему.

Бедный старина Бродски все еще живет в своем средневековье и ведет себя так же, как во времена расцвета вампиров. Очевидно, ему никогда не приходило в голову рассмотреть это математически. Он пьет кровь у некоторых людей, которые его чем-то привлекают, и они становятся вампирами. Если они имеют те же склонности и так же себя ведут, они продолжают это дело и вовлекают все новых людей в свои ряды. И так

далее. Похоже на письма по цепочке. Через некоторое время все станут вампирами, и не останется тех, у кого они берут кровь. И что? К счастью, у природы есть способы обращения с популяционными взрывами даже на этом уровне. Однако внезапное увеличение количества новобранцев в век средств массовой информации может нанести чувствительный удар по этой экосистеме, связанной с преисподней.

Но хватит философии. Время войти и заняться делом.

Я взял пластиковый пакет и пошел прочь от сарая, тихо ругаясь, когда натыкался на стволы и получал хороший душ. Я прошел по полю к боковой двери старого здания. Она была закрыта на ржавый замок, который я сорвал и забросил на кладбище.

Внутри я взгромоздился на прогибающиеся перила, окружающие место для хора, и открыл сумку. Я вытащил блокнот для набросков и карандаш, которые носил повсюду. Свет проникал через разбитое окно. То, на что он падал, было по большей части ерундой. Не особенно вдохновляющая сцена. Но уж какая есть… Я начал зарисовывать ее. Всегда хорошо иметь хобби, которое может служить оправданием для странных поступков.

Десять минут, загадал я. Самое большее.

Шестью минутами позже я услышал их голоса. Они не были особенно громкими, но у меня исключительно острый слух. Их было трое.

Они также вошли через боковую дверь, крадучись, нервно озираясь и ничего не замечая. Сначала они даже не заметили меня, творящею произведение искусства там, где в прошлые годы детские голоса заполняли воскресные утра хвалой Богу.

Здесь был старый доктор Морган, из черной сумки которого торчали несколько деревянных кольев (готов держать пари, что молоток был там же; я думаю, что клятва Гиппократа не распространяется на неумирающих — primum, non nocere, и так далее); отец О`Брайен, сжимающий в одной руке Библию, а в другой — распятие; и молодой Бен Келман (жених Элайны) с лопатой на плече и с сумкой, из которой доносился запах чеснока.

Я кашлянул, и все трое резко остановились и повернулись, налетев друг на друга.

— Привет, док, — сказал я. — Здравствуйте, святой отец. Бен…

— Уэйн! — сказал доктор. — Что ты здесь делаешь?

— Наброски, — объяснил я. — Я сейчас занимаюсь старыми зданиями.

— Проклятье! — сказал Бен. — Простите меня, святой отец… Вы здесь за материалом для вашей чертовой газеты!

Я покачал головой:

— Вовсе нет.

— Гас никогда не позволит вам напечатать что-нибудь об этом, и вы это знаете.

— Честное слово, — сказал я, — я не собираю материал для статьи. Но я знаю, зачем вы здесь, и вы правы: даже если я напишу ее, она никогда не появится на свет. Вы действительно верите в вампиров?

Док уставился на меня холодным взглядом.

— До сих пор не верили, — сказал он. — Но, сынок, если бы ты видел то, что видели мы, ты поверил бы.

Я кивнул и сложил свой блокнот.

— Ну ладно, — сказал я. — Я вам признаюсь. Я здесь потому, что любопытен. Хочу увидеть это своими глазами, но не хочу идти вниз один. Возьмите меня с собой.

Они обменялись взглядами.

— Я не знаю… — сказал Бен.

— Это не для слабонервных, — сказал доктор.

— Я не знаю, нужно ли, чтобы еще кто-то участвовал в этом деле, — добавил Бен.

— А кто еще знает об этом? — спросил я.

— Только мы, — объяснил Бен. — Мы единственные, кто видел его в действии.

— Хороший репортер знает, как держать язык за зубами, — сказал я, — но он очень любопытен. Позвольте мне пойти с вами.

Бен пожал плечами, доктор кивнул. Спустя мгновение отец О`Брайен кивнул тоже.

Я засунул блокнот и карандаш в сумку и слез с ограды.

Я проследовал за ними через церковь к открытой покосившейся двери. Док включил фонарь и направил свет на шаткий пролет лестницы, ведущей вниз, в темноту. Помедлив, он начал спускаться. Отец О`Брайен последовал за ним. Лестница скрипела и шаталась. Бен и я ждали, пока они не спустились.

Затем Бен засунул свой пакет с пахучим содержимым под пиджак и вытащил из кармана фонарь. Он включил его и начал спускаться. Я следовал прямо за ним.

Я остановился, когда мы достигли основания лестницы. В лучах фонарей я увидел два гроба, помещенные на козлы, а также нечто на стене над гробом побольше.

— Святой отец, что это? — спросил я.

Кто-то услужливо навел луч фонаря.

— Похоже на веточку омелы, завязанную на фигуре маленького каменного оленя, — сказал он.

— Вероятно, имеет отношение к черной магии, — предположил я.

Он перекрестился, повернулся и снял ее.

— Вероятно, так, — сказал он, раздавив омелу и швырнув ее на пол. Затем он разбил оленя и отбросил куски прочь.

Я улыбнулся и сделал шаг вперед.

— Давайте откроем их и посмотрим, — сказал доктор.

Я помог им. Когда гробы были открыты, я не слушал комментарии о бледности, сохранности и окровавленных ртах. Бродски выглядел так же, как и всегда: темные волосы, тяжелые темные брови, втянутый рот, небольшое брюшко. Девушка была прелестна. Выше, чем я думал. Горло слегка пульсировало, кожа отливала синевой.

Отец О`Брайен открыл Библию и начал читать, держа фонарик дрожащей рукой. Док поставил сумку на пол и что-то нащупывал внутри ее.

Бен отвернулся со слезами на глазах. Я дотянулся до него и бесшумно сдавил его шею, пока другие занимались своими делами.

Уложив его на пол, я подошел к доктору.

— Что? — начал он, и это было его последним словом.

Отец О`Брайен прекратил чтение. Он уставился на меня.

— Ты работаешь на них? — вскричал он, бросив взгляд на гробы.

— Пожалуй, нет, — ответил я, — но они мне нужны. Они — кровь моей жизни.

— Я не понимаю…

— Все является чьей-нибудь добычей, и мы делаем то, что должны. Такова экология. Простите, святой отец.

Я воспользовался лопатой Бена, чтобы похоронить всех троих под полом — с чесноком, кольями и прочим. Затем я закрыл гробы и вытащил их вверх по лестнице.

Я оглядывался, пока шел через поле, затем сел в грузовик. Было еще сравнительно рано, вокруг ни души.

Я погрузил оба гроба в кузов и прикрыл тряпкой. В тридцати милях езды была еще одна разрушенная церковь, о которой я знал.

Позднее, когда я установил их на новом месте, я написал карандашом записку и вложил ее в руку Бродски:

Дорогой Б.!

Пусть это будет вам уроком. Вы должны прекратить действовать как

Бела Лугоши. Вы не достигли его уровня. Считайте удачей, что вы вообще проснетесь этой ночью. В дальнейшем будьте осмотрительнее в своих действиях, или я сам отправлю вас в отставку. В конце концов, я здесь не для того, чтобы вас обслуживать.

Ваш всегда,

У.

P. S. Омела и статуя больше не действуют. Почему вы вдруг стали так суеверны?

Я взглянул на часы. Было одиннадцать пятнадцать. Я зашел в магазин и воспользовался телефоном.

— Привет, Кела, — сказал я, когда услышал ее голос. — Это я.

— Вердет, — сказала она. — Ты долго не появлялся.

— Я был занят.

— Чем?

— Ты знаешь, где находится старая церковь Апостолов рядом с шоссе номер шесть?

— Конечно. Она есть в моем списке.

— Встречай меня там в двенадцать тридцать, и я все расскажу тебе за обедом.

Содержание

Ким Ньюман. Предисловие (Перевод С. Антонова)
Нил Гейман. Предисловие (Перевод С. Антонова)
Отто Пенцлер. Введение. Да будет кровь! (Перевод С. Антонова)
Предшественники Дракулы
М. Э. Брэддон. Добрая леди Дакейн (Перевод А. Бродоцкой)
Уильям Гилберт. Последние владетели Гардонеля
(Перевод О. Шаповаловой)
Энн Кроуфорд. Таинственное происшествие в Кампанье
(Перевод О. Шаповаловой)
Элиза Линн Линтон. Убийство мадам Кабанель
(Перевод О. Шаповаловой)
Мэри Чолмондели. Освободи! (Перевод О. Шаповаловой)
Амброз Бирс. Смерть Хэлпина Фрейзера (Перевод А. Мотылева)
Джулиан Готорн. Тайна Кена (Перевод С. Антонова)
Джозеф Шеридан Ле Фаню. Кармилла (Перевод А. Крыловой)
Ф. Дж. Лоринг. Могила Сары (Перевод С. Теремязевой)
Эдгар Аллан По. Лигейя (Перевод И. Гуровой)
Хьюм Нисбет. Старинный портрет (Перевод С. Антонова)
Хьюм Нисбет. Девушка-вампир (Перевод С. Антонова)

Подлинные истории о вампирах
Эрик, граф Стенбок. Правдивая история вампира
(Перевод С. Трофимова)
Луиджи Капуана Случай мнимого вампиризма
(Перевод С. Теремязевой)
Франц Хартманн. Подлинная история вампира
(Перевод С. Теремязевой)
Кладбища, замки, церкви, развалины
Карл Якоби. Откровения в черном (Перевод С. Алукард, В. Терещенко)
Энн Райс. Хозяин Рэмплинг-гейта (Перевод В. Полищук)
Фредерик Коулс. Вампир из Кальденштайна (Перевод С. Теремязевой)
М Р. Джеймс Случай в кафедральном соборе (Перевод А. Сергеева)
Д Скотт-Монкрифф. Замок Ваппенбург (Перевод С. Теремязевой)
Г. Ф. Лавкрафт. Пес (Перевод Е. Нагорных)
Танит Ли. Некусайка, или Флёр де фёр (Перевод И. Смирновой)
Джозеф Пейн Бреннан. Ужас замка Чилтон (Перевод С. Теремязевой)
Элджернон Блэквуд. Удивительная кончина Мортона
(Перевод С. Теремязевой)
Кларк Эштон Смит. Смерть Илалоты (Перевод И. Тетериной)
Строки, выведенные кровью
Иоганн Вольфганг фон Гёте. Коринфская невеста
(Перевод А. К. Толстого)
Лорд Байрон. Гяур (Перевод С. Ильина)
Джон Китс. La Belle Dame Sans Merci (Перевод С. Сухарева)
Трудные времена для вампиров
Чарльз Бомонт. Место встречи (Перевод И. Иванова)
Эд Горман. Долг (Перевод И. Иванова)
Дэвид Шоу. Неделя с нежитью (Перевод Е. Сытник)
Они выпивают душу
Д Г. Лоуренс. Красавица (Перевод Ю. Жуковой)
Артур Конан Дойл. Паразит (Перевод А. Немировой)
Харлан Эллисон. Одинокие женщины — вместилища времени (Перевод К. Плешкова)
Красным по черному
Фредерик Браун. Крови мне, крови (Перевод Б. Жужунавы)
Стивен Кинг. Попси (Перевод И. Почиталина)
Р. Четвинд-Хейс Оборотень и вампиры (Перевод И. Иванова)
Ричард Матесон. Кровный сын (Перевод Е. Королевой)
Роджер Желязны. Дневная кровь (Перевод В. Самсоновой)

Примечания

1

От лат. dominus — господин. (Здесь и далее примечания переводчиков, кроме особо оговоренных случаев.).

(обратно)

2

Прекрасная безжалостная дама (фр.).

(обратно)

3

В российский прокат фильм вышел под названием «Нефть», повторяющим заглавие романа (1927), по которому он поставлен.

(обратно)

4

Pan Book of Horror Stories.

(обратно)

5

Лига — старинная английская мера длины (4,83 км). То же, что французское лье.

(обратно)

6

Кто его знает? (ит.).

(обратно)

7

Белые Дамы — сверхъестественные существа, призраки, лесные духи. Белая Дама выведет на дорогу заплутавшего путника, превратит камень в амулет, покажет клад и т. п. Увидеть Белую Даму может только тот, кто родился в воскресенье, или у кого при себе талисман эльфов. Белая Дама — красавица с длинными белокурыми волосами, в белом платье с кружевами, а под длинным подолом спрятаны птичьи лапы. Если рассердить Белую Даму или не отблагодарить за подарок, она лишит человека того, чем он дорожит больше всего на свете. Своему возлюбленному Белая Дама подарит богатство и волшебные амулеты, но покинувшего ее ради земной женщины ждет смерть.

(обратно)

8

Бруколак — разновидность вампира.

(обратно)

9

Жизнь коротка, искусство вечно (лат.).

(обратно)

10

Парафраз реплики шекспировского Гамлета, обращенной к Горацио: «Готовность — всё» (V, 2).

(обратно)

11

Чарльз Джеймс Левер (1806–1872) — ирландский писатель, автор многочисленных романов из жизни военных.

(обратно)

12

Аллюзия на слова Гамлета о Полонии: «Ужин, где не он ест, а едят его» (IV, 3).

(обратно)

13

Замок (нем.).

(обратно)

14

Замок (фр.).

(обратно)

15

Шекспир У. Венецианский купец. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

(обратно)

16

Празднества (фр.).

(обратно)

17

Госпожа графиня (фр.).

(обратно)

18

Местный говор (фр.).

(обратно)

19

Господин генерал (фр.).

(обратно)

20

«Посмертная магия», «О чудесном» Флегона, «О почитании усопших» Августина, «Философские и христианские рассуждения о вампирах» (лат.).

(обратно)

21

Гленвилл Джозеф (1636–1680) — английский священник и философ, автор трактата «Тщета догматики» (1661). (Все примечания к данному рассказу А. Николюкина.).

(обратно)

22

Аштофет — богиня финикийского города Сидона (II тысячелетие до н. э.), на месте которого ныне находится ливанский город Сайда. В древней Финикии поклонялись также богине плодородия — Ашторет (Астарта), которую почитали и в Египте. Астарта упоминается в стихотворении По «Улялюм».

(обратно)

23

Согласно греческой мифологии, на острове Делос родилась и жила вместе с подругами богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.

(обратно)

24

Слова Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), получившего в 1618 г. титул барона Верулама, в его эссе «О красоте» (1625). У Бэкона не «утонченная красота», а «совершенная красота».

(обратно)

25

Клеомен — это имя значится на статуе Венеры Медицейской. Аполлон, покровитель искусств, назван здесь как вдохновитель создателя знаменитой скульптуры.

(обратно)

26

Имеется в виду «восточный» роман «История Нурджахада» (1767) английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724–1766), матери известного драматурга.

(обратно)

27

Имеется в виду приписываемое Демокриту (ок. 460–370 гг. до н. э.) высказывание «Истина обитает на дне колодца».

(обратно)

28

Две яркие звезды в созвездии Близнецов, носящие имена Кастора и Полидевка — согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой от Зевса.

(обратно)

29

Имеется в виду звезда Вега в созвездии Лиры. Двойная звезда этого созвездия известна под именем Эпсилон Лира.

(обратно)

30

Трансцендентализм — движение философского идеализма в Америке XIX в. По считал эту философию наивной.

(обратно)

31

Азраил, правильнее Израил, — в мусульманской мифологии ангел смерти.

(обратно)

32

Луксор — город в Египте на правом берегу Нила, на месте древних Фив, где находятся руины знаменитого храма бога Амона (XV в. до н. э.).

(обратно)

33

Pearl (перл) — жемчужина (англ.).

(обратно)

34

Китс. Дж. Падение Гипериона. Песнь первая. Перевод Сергея Александровского.

(обратно)

35

«Тайну Эдвина Друда» (1870) — последний (неоконченный) роман Чарльза Диккенса с детективным сюжетом.

(обратно)

36

Дословно (лат.).

(обратно)

37

Декан — ранг следующего по старшинству после епископа духовного лица в католической и англиканской церкви. Настоятель собора; старший священник.

(обратно)

38

Трифориум — аркада во 2-м ярусе центрального нефа романских и готических базилик, состоящая из ряда трифориев. Служит для облегчения

стены, имеет декоративное значение. Узкая галерея за аркадой или парапетом над сводами и под скатом крыши боковых нефов, а иногда в обходе хора готического храма.

(обратно)

39

«Приди» — 95-й псалом («Приидите, воспоем Господу…»). Как правило, им открывается заутреня в католических и англиканских церквях.

(обратно)

40

Здесь покоится Ламия (лат.). Ламия — в греческой мифологии чудовище, дочь Посейдона, похищавшая и пожиравшая детей. Так как Гера лишила ее сна, Ламия бродит по ночам, Зевс даровал ей возможность вынимать свои глаза, чтобы она могла заснуть. В Европе Ламия ассоциировалась с ночным кошмаром.

(обратно)

41

Камиль Женатци — (1968–1913) — бельгийский автогонщик и конструктор.

(обратно)

42

Первые регулярные автомобильные гонки, впервые прошедшие в 1900 г. во Франции.

(обратно)

43

Франц Иосиф I — (1830–1916) император Австрии и король Венгрии.

(обратно)

44

La Chenille — гусеница (фр.).

(обратно)

45

Самый северный штат Мексики.

(обратно)

46

Популярная в США марка велосипеда одной из старейших велосипедных компаний, основанной в 1895 г. выходцем из Германии Игнацем Швинном.

(обратно)

47

Марка тракторной компании, основанной в 1912 г.

(обратно)

48

Обед вскладчину (Potluck dinner) — встреча, где каждый из участников приносит какое-то блюдо собственного изготовления (пирог, салат и так далее) Распространено в фермерской среде и в религиозных общинах.

(обратно)

49

Шекспир У. Антоний и Клеопатра. Акт 2, д. 2. Перевод Б. Пастернака.

(обратно)

50

Адвокат, имеющий право выступать в высших судах; является членом одного из «Судебных иннов».

(обратно)

51

Ах, милый, ты ведь не видел его! (ит.).

(обратно)

52

Он был такой мужественный, настоящий мужчина, и ты, бедняжка, никогда этого не узнаешь, о, никогда, никогда! (ит.).

(обратно)

53

Моя возлюбленная, моя красавица, я ждал тебя, как умирающий ждет смерти, прекрасной смерти, душе не выдержать такого счастья! (ит.).

(обратно)

54

Мауро! Мауро! (ит.).

(обратно)

55

Клод Бернар (1813–1878) — французский ученый, основатель современной физиологии и экспериментальной патологии.

(обратно)

56

Месмеризм — учение о «животном магнетизме», разработанное австрийским врачом Ф. Месмером (1734–1815). Месмер считал, что планеты действуют на человека посредством особой магнитной силы и человек, овладевший этой силой, может излучать ее на других людей, благотворно действуя на течение любых заболеваний.

(обратно)

57

Bona fides («добрая вера») — латинское выражение, которым обозначают надежность человека, достоверность информации и т. п.

(обратно)

58

В 1876 году англичанин Бреннан продал британскому Адмиралтейству чертежи самодвижущейся мины (торпеды) с оригинальной системой двигателя. Однако испытания показали низкую эффективность конструкции.

(обратно)

59

Вирхов Рудольф (1821–1902) — немецкий ученый и политический деятель, основатель современной патологической анатомии, создатель теории клеточной патологии. В 1847 году совместно с Рейнхартом основал журнал «Архив патологической анатомии, физиологии и клинической медицины», известный под названием «Вирховского архива». Журнал издается и поныне.

(обратно)

60

Микротом — инструмент для получения исследуемых под микроскопом тонких срезов с кусочков органов и тканей, залитых в парафин или замороженных. Разработан в первой половине XIX века.

(обратно)

61

Хэмптон-Корт — дворец, бывшая загородная резиденция английских королей. Бывшая загородная реиденция английских королей. Расположен в Ричмонде-на-Темзе — юго-западном предместье Лондона. Во времена королевы Виктории стал общедоступным музеем.

(обратно)

62

Анна Болейн (1507–1536) вторая жена Генриха VIII (казненная им), мать Елизаветы I.